Варлам ШАЛАМОВ

4

Варлам
ШАЛАМОВ



собрание сочинений в *шести* томах

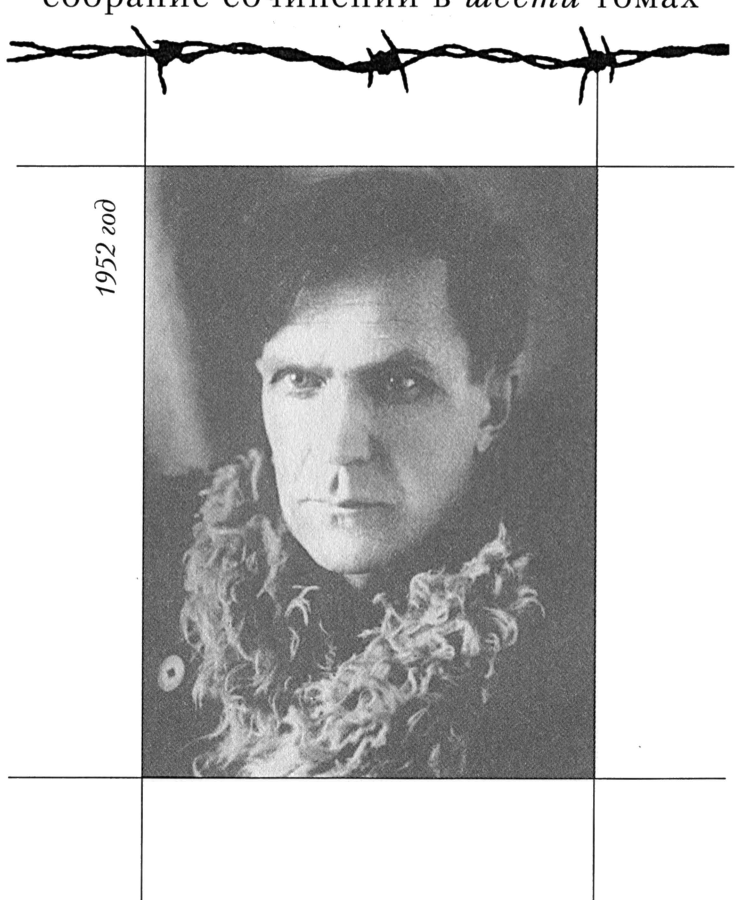
4

Варлам
ШАЛАМОВ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

Варлам ШАЛАМОВ

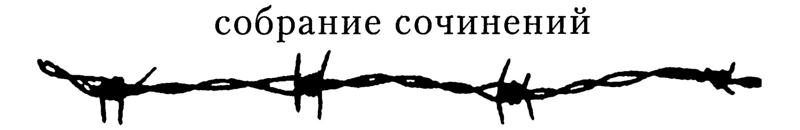
собрание сочинений в *шести* томах



БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

Варлам **ШАЛАМОВ**

собрание сочинений



том четвертый

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»



УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус)6
Ш 18

Оформление художника
С. Любаева

Составитель
И. Сиротинская

Воспоминания В Т Шаламова и его Записные книжки подготовлены составителем при поддержке гранта Президента Российской Федерации № 5 96-рп от 13 декабря 2003 г.

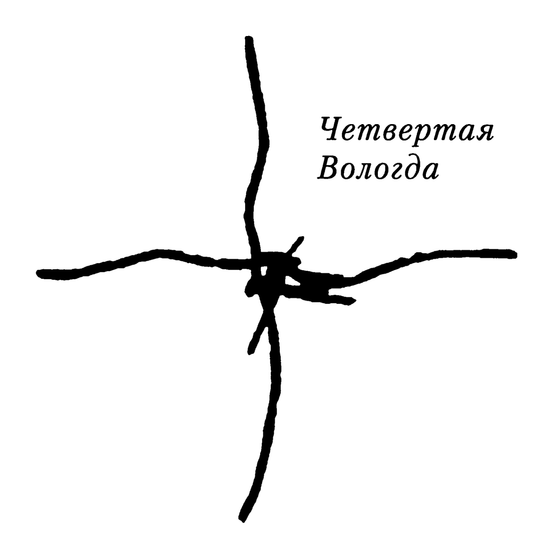
Шаламов В. Т.
Ш18 Собрание сочинений: В 6 т. + т. 7, доп. Т. 4: Автобиографическая проза / Сост., подгот. текста, прим. И. Сиротинской. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. — 640 с.

ISBN 978-5-4224-0701-9 (т. 4)
ISBN 978-5-4224-0697-5

Четвертый том собрания сочинений Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982) составлен из автобиографической прозы: повести о детстве и юности писателя «Четвертая Вологда», антиромана «Вишера» — о его первом лагерном сроке, а также воспоминаний Шаламова, чья проза и поэзия стали откровением для русских и зарубежных читателей. Детство, юность, участие в литературной жизни Москвы 20–30-х годов, арест, лагеря, возвращение. Кристальная честность и взыскательность к себе рельефно воссоздают облик уникальной личности автора.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4224-0701-9 (т. 4)
ISBN 978-5-4224-0697-5



Четвертая Вологда

I—II

Есть три Вологды: историческая, краевая и ссыльная. Моя Вологда — четвертая.

«Четвертую Вологду» я пишу в шестьдесят четыре года от роду… Я пытаюсь в этой книге соединить три времени: прошлое, настоящее и будущее — во имя четвертого времени — искусства. Чего в ней больше? Прошлого? Настоящего? Будущего? Кто ответит на это?

Прозаиком я себя считаю с десяти лет, а поэтом — с сорока. Проза — это мгновенная отдача, мгновенный ответ на внешние события, мгновенное освоение и переработка виденного и выдача какой-то формулы, ежедневная потребность в выдаче какой-то формулы, новой, не известной еще никому. Проза — это формула тела и в то же время — формула души.

Поэзия — это прежде всего судьба, итог длительного духовного сопротивления, итог и в то же время способ сопротивления — тот огонь, который высекается при встрече с самыми крепкими, самыми глубинными породами. Поэзия — это и опыт, личный, личнейший опыт, и найденный путь утверждения этого опыта — непреодолимая потребность высказать, фиксировать что-то важное, быть может, важное только для себя.

Границы поэзии и прозы, особенно в собственной душе, — очень приблизительны. Проза переходит в поэзию и обратно очень часто. Проза даже прикидывается поэзией, а поэзия — прозой.

Я начинал со стихов, с мычанья ритмического, шаманского покачивания — но это была лишь ритмизированная шаманская проза, в лучшем случае верлибр «Отче наш».

Тогда мне было непонятно, что поэзия — это особый мир, что начавшаяся с песни поэзия доходит до высот

Шекспира и Гете и что никакие арины родионовны не остановят ее развития. Путь этот — необратим.

Для письменной речи песня акына лишь подножье, почва, окультуренный сад.

Я пишу с детства. Стихи? Прозу? Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Проза тоже требует ритмизации и без ритма не существует. Но писание как особенность мгновенной отдачи, для которой я нашел мне принадлежащий, личный способ торможения, фиксации, — а торможение внешнего мира и есть процесс писания, — я отношу к десяти годам, к времени возникновения моей игры в «фантики», моих литературных пасьянсов, которые так тревожили мою семью.

Вологда — не просто город Большого Севера, Севера с большой буквы, не просто архитектурная летопись церковной старины. Много столетий этот город — место ссылки или кандальный транзит для многих деятелей сопротивления — от Аввакума до Савинкова, от Сильвестра до Бердяева, от дочери фельдмаршала Шереметева до Марии Ульяновой, от Надеждина до Лаврова, от Германа Лопатина до Луначарского. Нет в русском освободительном движении сколько-нибудь значительного деятеля, который не побывал бы в Вологде хотя бы на три месяца, не регистрировался бы в полицейском участке. И далее — либо увязал обеими ногами в жирную унавоженную кровью вологодскую почву, либо, обрывая эти корни, бежал.

Вот этот классический круговорот русского освободительного движения — Петербург — тюрьма — Вологда — заграница, Петербург — тюрьма — Вологда — и создал за несколько веков особенный климат города, и нравственный, и культурный. Требования к личной жизни, к личному поведению были в Вологде выше, чем в любом другом русском городе.

В Вологде всегда подвизались профессиональные учителя жизни. Со сцены: Мамонт Дальский, Павел Орленев, Николай Россов. Антреприза городского театра держала курс именно на этих проповедников, пророков, носителей добра, а не красоты — передовых, прогрессивных гастролеров, а не на моду, вроде Художественного театра. Художественный театр признавался Вологдой, но только в ряду подальше, чем пьесы Шиллера, Гюго, Островского и Гоголя, принесенные скитающимися звездами — гастролирующими пророками столичной

и провинциальной сцены. То обстоятельство, что в «Лесе» Островского Несчастливцев путешествует из Керчи в Вологду — было самим документом. Ибо именно в Вологде такой гастролер мог встретить и понимание, и помощь, и поддержку. Вологда была передовым актерским городом, где жили высшие ценители, высшие критики, высшие русские авторитеты — общество вологодских ссыльных.

Ни Ярославль, ни Архангельск, ни Самара, ни Саратов, ни Сибирь — Восточная и Западная — не имели такого особенного, нравственного акцента.

Это относится не только к театру.

Есть три Вологды.

Первая Вологда — это местные жители Сольвычегодска, Яренска, Усть-Сысольска, Великого Устюга, Тотьмы, говорящие на вологодском языке, одном из русских диалектов, где вместо «красивый» говорят «баской», а в слове «корова» не акают по-московски и не окают по-нижегородски, а оба «о» произносят как «у», что и составляет фонетическую особенность чисто вологодского произношения. Не всякий приезжий столичный житель освоится сразу с вологодскими фонетическими неожиданностями. Первая Вологда — это многочисленное крестьянство подгороднее: молочницы, огородники, привлекаемые запахом легкого заработка на городском базаре.

В этих близких и дальних северных деревнях спокон века есть свои грешники, свои праведники, свои карьеристы и злодеи — человеческий тип синантропа немногим отличается от современника, изучающего кибернетику и ритмы Гете. Фашизм, да и не только фашизм, показал полную несостоятельность прогнозов, зыбкость пророчеств, касающихся цивилизации, культуры, религии.

Но до революции именно в эту зыбкость-то и не верили, убаюкивая себя и своих близких скорым пришествием рая — все равно, земного или небесного.

Сюрприз крестьянства был только одним из многих сюрпризов революции.

Революция вошла в село решительной походкой, удовлетворяя прежде всего деревенскую страсть к стяжательству.

Стяжательство вологодских крестьян имело свои особенности. На вологодском рынке всегда продавалось молоко первосортное. Разрушен мир или нет — на жир-

ности молока это не отражалось. Торговки никогда не доливали молоко водой, что крайне удивляло театрального гастролера Бориса Сергеевича Глаголина. Привыкший ко всему петербургский желудок знаменитого русского актера испытывал неуверенность в честной, христолюбивой Вологде.

Царское правительство вербовало из вологодских рекрутов самую надежную тюремную стражу, конвойные полки и часовых на тюремные башни.

Подобно тому как профессия дворника закреплена в Москве за татарами, подобно тому как калужане — землекопы, а ярославцы — торгаши, конвойная служба от века и века в руках вологжан. Свое место в царской империи вологжане заняли, охраняя тюремные замки и защелкивая тюремные замки.

Выражение «вологодский конвой шутить не любит» вошло в историю революционного движения, укрепилось в тюремной традиции и после революции дошло до наших дней, вписав надлежащие сведения в охрану концлагерей двадцатых, тридцатых, сороковых годов.

Я был поражен, читая в «Былом» протоколы «дела Нечаева» — подготовку его уникального побега из Шлиссельбурга[1]. Вся охрана Шлиссельбурга — а ее судили за подготовку побега Нечаева — состояла из вологжан.

Случай Нечаева заслуживает того, чтобы о нем вспомнить подробно.

Нечаев — и это уникальный, единственный случай в мировом революционном движении, — будучи безымянным вечником шлиссельбургской одиночки, лишенный имени и засунутый на самое дно самого глухого карцера в России, не только сам подготовил свой побег изнутри, но связался с Исполнительным комитетом «Народной воли», переписывался с этим комитетом, давал советы. Когда народовольцы хотели освободить Нечаева, Нечаев отказался от побега ради другого варианта — убийства царя. На цареубийстве были сосредоточены все силы «Народной воли». Нечаеву самому дали решить этот вопрос, и он его решил в пользу центрального удара, что и привело к 1 марта 1881 года. Нечаев понимал, конечно, что такой выбор обрекает его самого на смерть, ибо неминуемо усилят охрану, живым не выпустят. Действительно, после цареубийства, после усиления бдительности была разоблачена и разгромлена попытка солдат подготовить нечаевский побег, и сам Нечаев умер безымянным через несколько лет естественной тюремной смертью.

Заговор был открыт, солдаты осуждены военным судом — протоколы их допросов печатались в «Былом».

Каким же путем Нечаев приобрел такое влияние на своих часовых?

Можно допустить исключительный талант Нечаева в конспирации, гипнотическую силу знатока человеческих душ и сердец.

И все же — с чего началась деятельность Нечаева в Шлиссельбургском каземате?

Шлиссельбург знал голодовки, протесты, самосожжения, самоповешения на простынях, на белье. Здесь обливали себя керосином и сжигались, умирая от ожогов, срывали погоны с тюремных генералов.

Нечаев поступил иначе. Он ударил кулаком в лицо шефа жандармов генерала Потапова. Ударив, разбил тому нос в кровь. И — не был расстрелян, избит или задушен.

Угрозы расправиться с Потаповым сопровождали этот поступок.

Случай, небывалый случай, подвергся бурному обсуждению в общежитии конвоиров.

Никто не мог дать сколько-нибудь разумного объяснения. Ждали смерти Нечаева — Нечаев продолжал жить.

— Это, наверное, брат или родственник царя, — вот единственное объяснение, которое нашел конвой.

— А если так, действительно так, — говорили конвоиры, — нам нужно держаться осторожно. Завтра он выйдет на волю и нам отомстит. Сотрет нас в порошок.

Нечаев, гений всяческой мистификации, конспирации, не мог не почувствовать, что солдаты его боятся. Он сам стал играть в брата царя. Через полгода солдаты носили его письма на волю. Златопольский, кажется, дал ему адрес Исполкома и явку к «Народной воле». И переписка Нечаева с народовольцами началась.

А когда Александр II был убит, солдатская организация все еще существовала. Нечаев все еще ею командовал. Но после убийства Судейкина в Шлиссельбург пришел Стародворский — главный физический убийца Судейкина. Стародворский во время следствия стал осведомителем и, придя в Шлиссельбург, выдал Нечаева. Нечаеву-то, конечно, ничего не было. Но его охрану судили, дали каторжные приговоры.

Современный историк почему-то умолчал об этом красочном эпизоде публичной пощечины шефу жан-

дармов Потапову. Потапов умолчал об этой пощечине по очень простой причине — донести об этом царю значило самого себя поставить в положение, приводящее к отставке.

Потапов прослужил царю еще много лет, и о пощечине документы были опубликованы лишь в «Былом» — в 1907 году.

Итак, первая Вологда — это деревенское стяжательство и верная служба режиму.

К этой же, первой, Вологде относится и неяркая северная природа, а также знаменитые на весь мир сливочное масло и вологодские кружева.

Вторая Вологда — это Вологда историческая, город церковной старины, в то же время ярчайшая страница русской истории.

Нужно вернуться в доисторическое время, чтобы ощутить глубину дыхания тогдашней Вологды, силу ее могучих мышц, ее инфраструктуру — говоря современным языком, ее санные пути, ее реки, пристани и причалы, крепости, монастыри, военные склады, транзитные могучие транспортные артерии страны.

Россия Ивана Грозного — Север, Ермак. Россия Петра — Балтика. Россия Николая — Россия Юга, Черного моря.

Вологда была и местом героических сражений — война с поляками второго самозванца проходила именно здесь.

Вологда знала и военные предательства, горестные поражения и радостные победы.

Иван Грозный хотел сделать Вологду столицей России вместо Москвы.

Москву Грозный не любил и боялся.

Грозный бывал в Вологде не один раз.

Софийский кафедральный собор, «Холодный собор», как его звали в нашей семье, был построен в честь царя, и Грозный был на освящении храма.

«Холодным» собор назывался потому, что это был единственный храм в Вологде, где не было отопления. Молиться в соборе можно было только летом. Поэтому рядом стоял другой собор — с печами, более теплый, где и молились.

И пасхальные, и рождественские службы проходили в «теплом» соборе, и только летом железные двери Со-

фийского собора раскрывались, а с первым снегом запирались опять.

На Троицу, Духов день службы служили в Холодном соборе.

Высоченные колонны уносили вверх расписное небо, огромные трубы ангелов тревожили мое детское небо, звали к каким-то необычайным земным свершениям.

Трубы ангелов закрывали все небо. На отсеках были фрески, знаменитые фрески Рублевской школы: князья и отцы церкви.

К алтарю ставился обыкновенный земной иконостас, упрятывая и загораживая святых и воителей на фресках и столбах.

Молиться нужно было не фрескам, а иконам, где тысячи свечей горели. И я ребенком нет-нет да и взглядывал вверх — на ногу ангела, из которой выпал камень.

Предание говорило, что во время молебствия на ногу Грозного упал кирпич, выпавший из ноги ангела в росписи церковного потолка. Кирпич раздробил большой палец ноги царя. Грозный, напуганный приметой, изменил решение — Вологда не стала столицей России.

Дело совсем не в том, что в Вологде не нашлось столь смелого хирурга, чтобы ампутировать раздробленный царский палец. Значение таких грозных примет в жизни любого государя, а тем более русского самодержца, не следует преуменьшать. Именно так, как поется в песне, и обстояло дело.

И тут суть не в том, был ли Грозный свободомыслящим или рабом религии своего века. Ни один политик не мог бы пройти мимо такого события. Кирпич, упавший на ногу царя во время молитвы, был ясным советом, и уклониться от него не мог бы ни один царь мира, начиная с Соломона, ни один политик.

Вологду царь оставил не по своему капризу, а затем, чтобы не пренебречь мнением народным. Ни отец, ни Грозный не были людьми суеверными. Просто они отдавали дань паблисити и не хотели искушать судьбу именно в этом земном смысле.

Я много раз бывал в этом храме, ведь мы жили рядом, в доме соборного причта. Я помню черную дыру в потолке. Пустоту — след, оставленный камнем в небе храма. Эта пустота на ноге ангела береглась много столетий.

Софийский собор — это храм холодный, и даже в официальной переписке и газетных корреспонденциях того времени назывался Холодным собором, с большой

буквы, — будто это официальное название храма, возведенного в честь Софии.

В моем детском мозгу слово «Софийский» не отражалось, но держалось. Холодного собора было вполне достаточно не только для детских воспоминаний.

Это — угрюмый храм, хоть и красивый, — нет в нем душевной теплоты.

Желтые трубы ангелов так велики и так тревожны, что заполнили весь потолок, весь купол храма, и сразу дают знать, что близится Страшный Суд — в земной ли его либо в апокалиптической сущности, было для храма, для священников, и для причта, и для молящихся, и, вероятно, для Бога — все равно.

Тревога есть тревога, сигнал есть сигнал.

Рублевские или околорублевские фрески заполняли весь храм, а суть Рублевской школы в ее заземленности — в смешении неба и земли, ада и рая.

И действительно — не звуки этих ангельских желтых труб собирают, трепеща; сами земные люди — ближе к входу (он же и выход) — это уже послерублевские напевы. Рай и ад теснятся поближе к выходу — а сам храм — во власти ангельских труб, тревоги Страшного Суда.

Для того чтобы сгладить, смягчить иконопись Холодного собора, рядом стоит зимний, теплый, уютный собор — где бывать неинтересно, — защищенный от всех ветров и дождей, от всей метеорологии. Потолки здесь низкие, углы сглажены, иконы — робкие, свечи — полупритушены. Никаких ангельских крыльев нет в этом соборном храме — он, с его архитектурой и иконами, держится на отступлении от неба, от слишком серьезной требовательности Холодного собора. Здесь все — современность, столько же древнего, как Государственный банк, присутственные места.

Вблизи нет зданий, которые могли сравниваться с Холодным собором. Но на одной из улиц стоит деревянная церковь — ценность зодчества, равная Кижам, — церковь святого Варлаама Хутынского, покровителя Вологды. В честь этого святого назван и я, родившийся в 1907 году. Только я по своей воле превратил свое имя — Варлаам — в Варлама. По звуковым соображениям новое имя казалось мне более удачным, без лишней буквы «а».

Церковь эта — классический памятник русской архитектуры XVII века.

Наречение меня в честь покровителя Вологды тоже дань декоративности, склонность к паблисити, которая всегда жила в отце.

В Вологде жил десятки лет Батюшков, великий русский поэт, помешанный сифилитик. Много лет он прожил в психическом расстройстве и похоронен в Прилукском монастыре — в семи верстах от Вологды.

Отец никогда не говорил мне о Батюшкове, хотя на доме Батюшкова, где располагалась Мариинская женская гимназия и где учились мои сестры, есть большая мемориальная доска, которую я мог читать не менее десяти раз в день, ибо этот дом — в двухстах метрах от нашего дома.

Из этого я заключаю, что отец не любил стихов, боялся их темной власти, далекой от разума, а главное — от здравого смысла. Поэтому только взрослым мне удалось повторить своими губами и гортанью: «О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной», но и понять его удивительную допушкинскую власть над словом — более свободную, чем у Пушкина, более необузданную, хранящую самые неожиданные открытия. Если бы не было Пушкина, русская поэзия в лице Батюшкова, Державина и Жуковского — стояла бы на своем месте. Лермонтова, возможно бы, не было. Но по сравнению с Батюшковым, Державиным, Жуковским Лермонтов не такая уж ощутительная потеря для русской поэзии.

Это — не хула Лермонтову, не хула Пушкинской плеяде! Но в допушкинских поэтах есть все, что дает место в мировой литературе русским именам.

К высотам Грозного Вологда никогда не возвращалась.

Петр I постройкой Петербурга взял совсем другой курс: «ногою твердой стать при море» — Балтийском. «Прошло сто лет, и юный град...» Прошло сто лет, и другой выдающийся русский император сумел «ногою твердой стать при море» — Черном.

Строительство Российской империи, начатое Петром, было закончено Николаем.

Николай I — фигура мало оцененная и историками, и писателями как судьями историков. Ошибался — это мы учим ежечасно, ежедневно, только потому, что воспитаны на Герцене и Льве Толстом. На декабристах, а не на стратегии Николая. То, что Николай был декабристом без декабризма — железные дороги, наступающая Россия, отмена крепостного права — как план чрезвычайно энергичного международного политика, — все это забыто.

В отличие от Наполеона Николай не ошибся в оценке роли парового винта.

Отношение Николая к Пушкину, даже к декабристам, в действительности было иным, чем заученные нами с детства эпизоды. Николай — фигура, которая еще ждет в истории своей реабилитации.

Современный историк (Пирумова) выражается о Николае так: «Чего-чего, а уж ума у этого императора хватало».

Строя Петербург, Петр не забывал о Севере. Дом Строгановых до революции сохранял некие торговые позиции и в Сольвычегодске, и в Вологде.

Петр ориентировал Вологду на Петербург — стало традицией поступление в высшие учебные заведения вологжан именно на берегах Балтийского моря. Москва для вологжан стала заштатной столицей, приютом неудачников и ворчунов, вроде Чаадаева, — история России решалась на Невском проспекте во всех ее неожиданностях — в бомбах, в выстрелах, в крестных ходах, в забастовках.

Только в двадцатые годы двадцатого столетия Вологда вернулась к своей допетровской позиции — в инфраструктуре более Ивана Грозного, чем Петра.

Вологда была провинцией и для Петербурга, и для Москвы, но для Петербурга она была городом менее заштатным, городом, где деятели будущего могли отдышаться после бурного бега. Это и была третья Вологда.

Третья Вологда обращена духовно, а зачастую и физически, материально — к Западу, к обеим столицам — Петербургу и Москве — и тому, что стоит за этими столицами, Европе, Миру с большой буквы.

Эту третью Вологду в ее живом, реальном виде составляли всегда ссыльные и по моральным, и по физическим причинам. Для этих ссыльных — сколько бы поколений ни жили они в городе — Вологда была лишь тюремным транзитом, ссыльным этапом их напряженной жизни.

Именно ссыльные вносили в климат Вологды категорию будущего времени, пусть утопическую, догматическую, но отвергающую туман неопределенности во имя зари надежд.

Это будущее России в Вологде было уже настоящим в философских спорах кружков, диспутах, лекциях.

Надежды эти всегда сбывались и сбывались немедленно — ссыльные бежали, их привозили из побегов, и все начиналось сначала.

Именно из Вологды Герман Лопатин увез Лаврова, чтобы тот успел принять участие на баррикадах Парижской коммуны — по железной дороге Вологда — Петербург. Лопатин в Вологде долго ждал поезда и чуть не сгубил дело.

Но поезда не стали ходить медленнее. Напротив, поезда стали ходить чаще, расстояние от столицы до Вологды все уменьшалось. Бежать становилось все легче и все заманчивей.

Тех ссыльных, кто не бежал, освобождали по заявлению. Вернуться в столицы было легко. Вековать в Вологде никто из ссыльных не хотел и не вековал.

Вот эта устремленность на Запад и создает третью Вологду — Вологду ссыльных — бывших, сущих и будущих. Такие семена никогда не остаются бесплодными.

Почва слишком богата, жирна, пропитана кровью — и в буквальном, и в переносном смысле.

Споры ссыльных между собой — это не споры о пальце Ивана Грозного — а о будущем России, о смысле жизни.

Временность ссылки не подменяет временности земного бытия, свободомыслие цветет в Вологде ярким цветом — свободомыслием Джефферсона, Франклина.

Доклад о современных, революционных движениях любой вологодский ссыльный может сделать вполне квалифицированно — на уровне самых последних философских, религиозных, экономических течений.

Политика здесь, как всегда, выступает в смысле рычага общей культуры. Вологда осведомлена и о Блоке, и о Бальмонте, о Хлебникове, не говоря уж о Горьком или о таком кумире русской провинции, как Некрасов. «Колокол» Герцена — а не только «Кто виноват» — идет нарасхват.

Естественно, что отец — шаман и сын шамана[2] — вернулся после двенадцати лет заграничной службы европейски образованным человеком — вернулся не к первой Вологде — оттуда он вышел родом, не ко второй — исторической, от имени которой он уже научен был говорить, а к третьей Вологде — Вологде освободительного движения. В эту третью Вологду отец и вошел со всеми своими знакомствами, интересами, связями и идеалами — по возвращении из Америки, в 1905 году, за два года до моего рождения. Уже замысел моего рождения продиктован другим человеком, чем тот священник, который уезжал в прошлом столетии на Алеутские острова.

Я не был экспериментом отца, я был ставкой, шашкой в его игре — в шахматы отец не умел играть, а то бы я применил другое сравнение, — отнюдь не азартной, а рассчитанной, продуманной, разумной, победоносной партии.

И не вина отца, что силы, с которыми он столкнулся, были слишком неожиданны, масштабы их нельзя было определить ни в каком политическом клубе.

Даже Достоевский, который много угадал, прошел мимо практического решения этого теоретического вопроса.

Отец мало обращался к Достоевскому, к художественной литературе вообще. Позитивист до мозга костей, он не верил никаким пророчествам. Напротив, пророчества оскорбляли его разум — отец не нуждался в пророчествах. Поэтому в будущем он ничего не угадал... Он только воспитал в себе вкусы, понятия, пытался по этим понятиям жить и учить как-то других.

У Вологды была еще одна важная сторона. Там создавалась как бы «обязательная школа», «техминимум революции», выражаясь языком тридцатых годов. Эта обязательная школа, может, была и побольше, чем техникум, — вроде гимназического диплома.

Вологда была легкой ссылкой, и в то же время обязательной, как бы почетной и зависящей от самого ссыльного.

В этой легкости — ссылка могла быть прервана в любой момент по заявлению ссыльного, да еще близость к столицам — ночь до Москвы, ночь до Питера, — создавалось для либеральных высших чиновников статистическое оправдание. Ведь в тюремных заведениях статистика всегда в почете.

Сколько сослали — столько-то. Борьба, значит, ведется. А куда же сослали? В Вологду. Цифры успокаивали верхи и радовали либералов,

Вологду не сравнивайте с Сибирью. Вологда — это Москва и Петербург. Только об этом не говорите при начальстве.

Вологодская ссылка была отпиской либеральных царских министров начала XX века. Потому-то в Вологде и не проходило дня без рефератов, диспутов, споров.

Конечно, как во всякой ссылке, в Вологде были свои драмы, свои вожди и пророки, свои шарлатаны.

Но я не пишу ни истории революции, ни истории своей семьи. Я пишу историю своей души — не более.

Но: публичность этой третьей Вологды, ее ориентация на глобальность, на современность создает особую страну в северном русском городе.

Эта третья Вологда не писала своей истории, как написали Нерчинск, Акатуй и — в более широком смысле — Сибирь.

Для русского освободительного движения Вологда — это своеобразный Барбизон для французской новой живописи.

Третья Вологда была вся в живой борьбе, глубоко дыша воздухом обеих столиц. Укрепляла свои силы мышцами традиций поисков смысла жизни, решения вечных вопросов.

Энтузиастов хватает в каждом русском поколении.

Во время моей юности я слушал лекцию Владимира Александровича Поссе[3] — тоже одного из праведников прошлого столетия. Сама лекция его так и называлась: «В чем смысл жизни?» В. А. Поссе был только одним из сотен, из тысяч других.

Все эти речи обращались именно к третьей Вологде. Традиции города в этом смысле были чрезвычайно плодотворны. И хотя меня не лекция Поссе заставила задуматься над смыслом жизни — Поссе немного опоздал, — все же я слушал его с большим мальчишеским вниманием и пиететом.

Поссе был седой краснощекий старик в вельветовой куртке, размахивающий маленькими короткими руками над затаившим дыхание залом женской гимназии.

Дорог для утверждения добра Поссе предлагал очень много, слишком много для такого юного догматика, каким был я.

Третья Вологда знала пути на любые вкусы. Третья Вологда организовывала народные читальни, библиотеки, кружки, кооперативы, мастерские, фабрики.

Каждый уезжающий ссыльный — это было традицией — жертвовал свою всегда огромную библиотеку в книжный фонд Городской публичной библиотеки — тоже общественного предприятия, тоже гордости вологжан.

III

Резкой металлической дробью щелкал рукомойник, и где-то совсем близко за стеной на этот звук отзывались колокола. Чесучой шуршала одежда отца, вздыхала с

чуть слышным скрипом тяжелая дверь в парадное, выпуская отца на улицу, звякал тяжелый крюк, возвращаясь в гнездо под рукой матери. Все стихало. Через какое-то время звуки возвращались в обратном порядке. Стучал откидываемый крюк, скрипела дверь, шуршала одежда.

Колокола негромко отыгрывали какую-то поспешную, торопливую мелодию, металлом гремел рукомойник на кухне.

Семья садилась за утренний завтрак, который у нас почему-то назывался чаем, хотя меньше всего тут было чая.

Каждому выдавалась серебряная ложка; ставилось молоко — топленое и обыкновенное — и сахарный песок наполнял сахарницу — отец не признавал другого. Ни пирожных, ни конфет никогда не давалось. А если пироги, то только собственной материнской выпечки, да и то если остались от праздничных трудов.

Праздников, впрочем, в городе было немало. Я как-то подсчитал все царские дни, церковные и светские праздники. Насчитал около 120 дней в году — когда пироги могли быть традицией.

Большой раздвижной стол с обеих сторон занимали дети — отец на главном месте со своим стаканом с серебряным подстаканником и огромной, какой-то особенной ложечкой, которая щелкала весьма выразительно, аккомпанируя то заочным мыслям, то открытым поучениям отца.

Для матери тут не было места. Она только носила посуду, подавала самовар, успевала все нужное сварить и приготовить. Вдобавок отец любил черный хлеб собственной материнской выпечки. Это заставляло мать ежедневно заводить опару, выпекать хлеба, хотя в магазине хлеб был гораздо вкуснее и дешевле, и все дети любили магазинный хлеб.

Но дома подавался хлеб только домашний, и притом самой свежей сиюминутной выпечки, теплый.

Отец вечно спешил на какие-то заседания, собрания — уже за завтраком было видно, что он давно вне дома.

И вот он вынимал свои огромные золотые часы, резко щелкала крышка, привлекая всеобщее внимание к солнечному лучу зайчика, прыгавшего на этой крышке. Крышка закрывалась, и отец уходил.

Эти золотые часы — американский полухронометр — хорошо известны мне с детства. Именно по ним

мама моя проверяла, заводила и переводила свои дешевые кухонные ходики с гирями. Никаких других часов, настольных, например, в нашем доме не было.

Когда наступило время продажи этих часов, выяснилось, что часы — не золотые, а только позолоченные, — тоже одно из открытий моей юности. Но как бы то ни было, часы пережили разрухи, революцию и войны, пережили и лагерь — были со мной на Колыме после освобождения и вернулись в Москву и живут до сих пор у меня.

IV

Крошечная казенная квартира из трех комнат и кухни для семьи из шести, а когда родился я — из семи человек;[4] в казенном соборном доме для причта — старинной постройки, охраняемой государством сейчас, — дом уцелел из-за близости к собору Ивана Грозного, к ценному архитектурному комплексу.

Устраивал он отца и не только по своим архитектурным качествам.

Жизнь соборного священника, живущего на жалованье, а не на сбор подаяний во время «славления», привлекала его, и ни старшие дети, ни я никогда к этой стороне поповской жизни не обращались — отец просто выключал свою семью из разнообразного круга влияний специфического быта духовенства.

Вторым достоинством этой службы была близость к реке — от реки Вологды дом отделяла минута ходьбы, что отец — рыбак и охотник — считал весьма важным.

Недалеко был и базар.

При квартире во дворе стояли сараи — «дровеники» на ярком вологодском диалекте, — были огороды, сад, где у всех были участки, чтобы духовенство не заболело архиерейской болезнью, описанной Лесковым.

Вплотную к огородам примыкал большой архиерейский сад, правильнее назвал бы его парком, где иногда прогуливался архиерей, живший тут же, только в особых палатах.

Тут было чем компенсировать некоторую квартирную тесноту. Ни сыновья, ни дочери никогда не имели в доме отца даже подобия отдельной комнаты — ни в детстве, ни в молодые годы.

Отец — полузырянин, выходец из самой глуши усть-сысольских деревень — считал, видимо, такую

возможность излишней, и прежде всего по педагогическим соображениям.

Позднее я попал в гости к своему гимназическому товарищу Виноградову, сыну ссыльного меньшевика, и был просто поражен, что в его собственном двухэтажном деревянном доме у городского театра все дети имеют отдельные комнаты.

Но, разумеется, и не только потому, что авторитет отца был в нашей семье непререкаем, а просто мне своим детским разумом казалось, что столь просторной жилплощади и не нужно. И я не завидовал.

По резкому звонку — электричества в доме нашем не было — открывалась обитая клеенкой дверь парадного, и я перешагивал порог своей квартиры. Не очень нам разрешалось пользоваться парадным для повседневной жизни, существовало черное крыльцо, но гости, визитеры попадали именно через это парадное крыльцо, на котором была приколота визитная карточка отца.

Дверь эту я вспоминаю по двум причинам. Во-первых, именно эту дверь я затворил за собой, навсегда покинув город своей юности, дом, где я родился и вырос. Это было ветреной дождливой осенью 1924 года в листопад боярышника, березы. Вихри метелей кружились по городским улицам, взрывались при неожиданном изменении направления ветра.

Другая причина та, что этой тяжелой дверью в мальчишеской драке мне оторвали палец — палец попал в самый замок и был оторван, как срезан, и мне слепили его в больнице и кое-как срастили. Но случай этот с пальцем я и сейчас не могу забыть.

Да, как-то вышло, что я уходил не с черного крыльца.

В прихожей, где, впрочем, нам (или мне) не давали играть, стояли вешалки и открывалась дверь в зало. Другая дверь вела в кухню, но мне пользоваться этой дверью не приходилось — для детей было открыто только черное крыльцо.

Слева стоял огромный дубовый шкаф с тяжелой дверью, которой надлежало распахиваться, открывая свои тайны в полутьме — свет доходил только через дверь, ведущую в зало, и дверь, ведущую на кухню, — но этих двух лучей было недостаточно, чтобы осветить внутренность шкафа, и летом, и особенно зимой, тогда зажигали лампу-пятилинейку, вешали на стену. Мы действовали в шкафу на ощупь. Дубовый шкаф заключал в себе только отцовские вещи.

Отец не без основания в своей общественной карьере придавал большое значение паблисити.

В шкафу висела повседневная одежда отца — хорьковая шуба с бобровым воротником, бобровая шапка, шелковые рясы самого модного и дорогого покроя.

Второй шкаф был отведен для домашних вещей нашей остальной семьи — мамино пальто, Наташино, Галино пальто, а также и одежда двух братьев, а позднее и трех. Прикасаться нам к отцовскому шкафу, именуемому «гардероб», запрещалось.

Из прихожей прямо против входной была другая дверь без стекла, ведущая в проходную комнату, где спали три брата. В углу прихожей располагался уверенно и просторно багажный сундук, в каком плавали в заморское путешествие вещи семьи. Сундук был заклеен всевозможными путевыми заграничными клеймами, что, по тайной мысли отца, содействовало паблисити. А может быть, и без всякого паблисити отцу просто нравилось, чтобы вещи напоминали ему о чем-то важном или любимом, о чем-то дорогом.

Поэтому этому сундуку всегда находилось достойное место. Сундук отвечал на внимание хозяев удобствами, и в нем на легчайших крестообразных прокладках помещалось множество вещей. В революцию были проданы вещи, а потом и сам сундук, увезенный в какую-то крестьянскую обитель, чтобы в свою очередь напоминать деревенскому хозяину о времени, о победе, успехе.

V

Глухая дверь с двумя створками — свет шел только из фрамуги — открывалась в зал, или, по домашнему диалекту, — «зало».

Это была проходная комната с такой же двойной створчатой дверью справа, ведущей внутрь квартиры, в комнату сестер. В мое детское время комната эта была наглухо заперта на ключ и никогда не открывалась, а в мое юношеское время была отобрана, и в ней жили жильцы по ордерам горжилотдела. Дверь в комнату сестер забили гвоздями, и пользоваться парадной дверью нам уже почти не пришлось.

На окнах висели легкие кружевные занавески — отец не переносил штор, а между окнами стояли зеркала от потолка до полу в дорогих рамах черного дерева.

Диван и два глубоких кресла черного дерева с плетеными сиденьями стояли слева у стены, еще один диван того же гарнитура с плетеным сиденьем стоял у стены напротив удивительного предмета — ящика тоже черного дерева, застекленного параллелепипеда с открывающейся стеклянной крышкой, со стеклянными стенками вроде аквариума. Но это был не аквариум, а коллекция редкостей, которую вывез отец с Алеутских островов. Коллекция эта была составлена по знаменитому принципу Музея естественной истории в Нью-Йорке. В том музее отец бывал неоднократно за свою двенадцатилетнюю службу в Америке.

Бывал он и в других музеях — в Берлине, в Гамбурге.

Принцип подлинности — вот что отличало черный ящик в зале. Тут не было никаких копий, никаких муляжей, а труды отца Марины Ивановны Цветаевой, наверное, не были одобрены моим отцом.

Не муляжи в натуральную величину, не фальшивые подделки, а подлинность, вот что хранилось в этой стеклянной коробке.

Индейские стрелы, алеутские топоры, культовые предметы эскимосов и алеутов — маски шаманов и орудия еды, моржовый клык во всем его желтоватом блеске лежали тут же...

Тут же лежала бутылка с кораблем внутри — известный портовый сувенир массового производства. Хранил ее отец, наверно, в память океанских своих путешествий. Тут же лежала фотография парохода, на котором отец двадцать лет назад уехал в Америку.

Даже я сумел сделать вклад в эту этнографическую коллекцию. Пойдя в годы революции по подвалам архиерейского дома, по закоулкам Вологодского кремля, я нашел два каменных ядра, которые после проверки у музейных работников — такие проверки отец считал необходимыми, и приговор официальных работников такого рода был для него непререкаем, — каменные эти ядра он запер собственной рукой в нашу домашнюю естественно-научную коллекцию.

Создание такой коллекции вполне отвечало тщеславию отца, служило темой для «светских» разговоров во время приемов и визитов и семейных праздников, вообще было подходящим материалом для бесед отца, ненавидящего пустые разговоры.

Эта коллекция должна была высечь искру из моего «медного лба», чтобы загорелся свет не столько Божий, сколько Прометеев.

Лбы моих братьев, наверно, уже были испытаны этим домашним музеем и не дали желаемого результата. Но, критически относясь к педагогической деятельности своего отца, — а он считал себя великим педагогом, — при воспоминании об этой коллекции я могу только восхищаться принципами, правилами, океанским ветром, залетевшим в наши комнаты, и следом великих походов.

Отец хорошо понимал разницу между подлинным и муляжом. Напрасная трата денег в музее Александра III возмущала его.

На стенах не висело никаких портретов — ни священнослужителей, ни царских, ни мертвых, ни живых.

Стены были оклеены обоями, пол выкрашен.

В комнате находилась еще одна экзотичность, вызывавшая разговоры во всем городе, — ее я приберег на конец.

Это висевшая в правом углу большая, даже огромная, икона с огромным ликом Христа в терновом венце. Перед ней круглые сутки горела лампада на серебряной цепи.

Отец и молился перед этой иконой, и служил молебны, когда приезжали в праздники «славильщики», — это была традиция, от которой отец уклониться не мог. Но все молебны служили именно перед этой иконой. Это не была старинная икона, не Рублев и не Феофан Грек, хотя Рублевская школа сильная имелась в Вологде — в Прилуках, Кириллове, Белозерске, и старинных икон видел отец, наверное, немало.

Отцовская икона была — репродукция картины Рубенса, простая олеографическая картинка, наклеенная на фанеру и заключенная в узкую раму. Эту репродукцию отец надлежащим образом освятил, освятил по всем каноническим правилам, и молился перед ней — до самого конца жизни.

Бешенство, в которое приходила «черная сотня» Вологды при виде этого кощунства, было в городе хорошо известно. И в столицах тоже.

Митрополит Александр Введенский, приятель отца, при сходных обстоятельствах, пользуясь своим правом епископа, причислил к лику святых свою собственную мать.

Я не епископ и не священник. Но свою маму хотел бы причислить к лику святых.

Тщеславие отца питали другие, вполне земные истоки.

VI

Это была проходная комната с одним окном и тремя дверями, где жили два моих брата, Валерий и Сергей. Кровати их стояли, как и кровати сестер, под прямым углом друг к другу, и подоконники, и кровати, и стены в этой комнате были завешаны охотничьим оружием и рыболовными снастями. Под кроватями спали две собаки: сеттер Спорт и пойнтер Орест, визжавшие при каждом движении братьев, когда они собирались на охоту.

У каждого из братьев было свое ружье — двустволка центрального боя, традиционный подарок отца мужчинам в нашей семье с незапамятных времен.

У Сергея, младшего, талантливого охотника и беззаветного рыбака, были еще два ружья, которые он купил самостоятельно, и что, конечно, вызывало всегда одобрение отца. О брате Сергее, которого я считаю не менее известным в городе человеком, чем отец, хотя и своеобразной известности, я напишу отдельно...

Комната была в беспрерывном движении — заряжали патроны, пробовали двустволки, новые охотничьи приборы.

В этой же комнате слева от двери — сразу у стены стоял большой купеческий сундук «со звоном». Этот сундук ни в какой Америке не бывал, но оказался очень удобной вещью гардероба в большой семье — сундук было удобно открывать, и мать держала в нем всякие свои вещи.

А на крышке сундука на тюфячке спал я всю тамошнюю жизнь, тюфячок только становился все длиннее.

Тут я рос и вырос и научился раскладывать длинные литературные пасьянсы. Оружие братьев, их дела не вызывали у меня ни малейшего интереса.

У меня были свои дела — школа, товарищи, чтение, игра в фантики.

Я по возрасту далеко отстаю от братьев и сестер. Ближайшая ко мне по годам сестра Наташа старше меня на семь лет. В 1914 году мне было семь лет, а ей четырнадцать — разница очень велика.

Потом на моих глазах охотничье оружие сменилось боевым — оба брата вернулись из армии — один офицером, другой солдатом. Они привезли, особенно второй брат, большое количество боевого оружия: винтовки, револьверы, пулеметные ленты. После все это было сдано на военные склады — один брат демобилизовался, а

второй, Сергей, продолжал служить до 1920 года, когда был убит взрывом гранаты. А собаки были все те же. Спорт и Орест, стали чуть постарше, но выли и в упоении бросали лапы на плечи братьев.

А я все так же спал на том же сундуке и раскладывал свои литературные пасьянсы, свои таинственные фантики.

Позднее, уже в юности, я переехал с сундуком в комнату родителей — в угловую с тремя окнами на двор, где стоял обеденный стол раскладной, самой дешевой фабрики, и семейная кровать с пружинным матрасом и решеткой с шишечками. Ширма отделяла кровать от комнаты. Здесь же стояло единственное кресло отца, домашнее, с высокой спинкой, но не вольтеровское, а со скошенными перилами. Это кресло придвигалось к обеденному столу. Перед письменным же столом стояло кресло отца типа венского стула — легкое, твердое и сухое.

Письменный стол только в юности казался мне огромным — это был фабричный письменный стол с двумя парами тумбочек, в которых хранились отцовские бумаги.

Чернильница, письменный прибор, икона, лампада.

Картина Рубенса после жилищного ограничения переехала именно сюда.

Тут же стоял комод довольно затрапезного вида с всегда раскрытыми ящиками, буфет ломаный-переломаный — и все. Никаких других буфетов и комодов у мамы не было.

В нашем детстве за этим столом обедала вся семья, а в юности моей только мама с отцом и я, а сестер и братьев уже не было дома.

В праздник стол накрывался в комнате сестер.

VII

В комнате сестер с двумя окнами по фасаду стояли две кровати с пружинными матрасами под прямым углом друг к другу, а вдоль стены два шкафа — один вроде комода, поверх которого стоял шкаф карельской березы — многополочный, многоящичный — кустарное изделие какого-то местного искусника. Это была аптечка — царство отца: всевозможные рецепты на сигнатурках, порошки, пластыри. В те времена не было таблеток, поэтому все лекарства готовились и прини-

мались только порошками. Тут же стояла склянка с йодом и следы брызг от нетерпеливой руки отца — единственного авторитетного лекаря в доме. Какие-то отвары, декокты — все это остатки от каких-то исключительных событий — отец не любил ни лечиться, ни лечить. Он твердо держался курса Земляники: что «если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет».

Смеясь над этой репликой в театре или в домашнем чтении, отец твердо держался этих высмеиваемых правил.

Никаких кавалеров сестры тут принимать, конечно, не могли, и вся их девичья жизнь проходила вне дома.

Рядом со старым комодом, задевая за шкаф карельской березы, стоял большой книжный шкаф отца — средоточие моих детских мечтаний. Если мебель в гостиной была из черного дерева, — книжный шкаф, огромный, глубокий, застекленный, был из красного дерева.

Это тоже было отцово царство, с ключом от верхней и нижней половин. Нижняя была двустворчатая, глухая — не было видно, какие книги там лежат, а верхняя — под стеклом. И я в детстве забирался в комнату сестер, разглядывал, встав на табуретку, отцовские книжные сокровища.

Не давая рассмотреть ничего другого, том в том стояли книжки «Знания», переплетенные, со штампом городской библиотеки Общества трезвости.

Остальные части занимали евангелия и потертые отцовские требники, несколько таких же затертых служебных книг.

Далее на тех же полках стоял «Петербург» Белого, курс «Новая история», сборник «Вопросы идеализма», книга Булгакова «Капитализм и земледелие», Флоренский — «Столп и утверждение Истины», несколько брошюр Маркса, Толстой — «Война и мир» в четырех томах, хрестоматия Галахова для средней школы, трехтомник Михайлова, переводы Гейне без переплета — приложения к журналу «Семья и школа» или «Природа и люди» — и все.

Очевидно, сокровища скрывались в нижней половине, и мне еще только предстояло их разглядеть.

С этими мыслями я слезал с гигиенического венского стула — в квартире не было мягкой мебели — и переходил в следующую комнату, где спал я сам.

VIII

Брат мой Сергей, исключенный из пятого класса вологодской гимназии за неуспеваемость, был в высшей степени примечательным человеком, талантливым и одаренным в не меньшей степени, чем отец, хотя и в несколько ином роде, не менее популярной в городе личностью.

В шестидесятых годах в Москве, в беседе со мной, коренной вологжанин — художник Сигорский[5] сказал: «А я и жил напротив Шаламовской горки».

Шаламовская горка — это Соборная горка, но прозвище получила отнюдь не от отцовской фамилии. Она названа, прозвана и спокон века называлась в Вологде по имени моего брата Сергея.

Выросший на Алеутских островах — знаменитый в городе пловец, удачливый охотник, он был главным организатором знаменитого в Вологде народного катанья — ледяной горки с высокой Соборной горы, где сани взлетали на противоположный берег реки, и свист саней заглушал моторы первых самолетов, поднимавшихся в небо Вологды.

Эта гора строилась под непосредственным руководством брата.

Во всяком любительском общественном деле есть человек, который найдет поливщиков льда, срубит елки в лесу, не менее трехсот, — вколотит эти елки в снег вдоль ледяной дорожки, достанет провода, электрические лампочки, осветит фонарями эту бесплатную городскую гору — любимое зимнее развлечение вологжан. Само собой вышло, что этим делом всегда занимался Сергей.

Он был хозяином Соборной горы, главным инженером. Гору открывали к Рождеству для катания всего города, а таяла она в марте. На следующий год все начиналось сначала.

Все это делалось, разумеется, в порядке, как теперь говорят, субботников, но гораздо раньше события на Казанской дороге. Молодежь трудилась самозабвенно — с утра до ночи. А Сергей управлял всем этим строительством как безусловный и окончательный авторитет.

Я тоже был однажды освещен отблеском его славы.

Брат привел меня на воскресное катанье и поручил какому-то мальчику постарше меня.

— Ну-ка подвинься, пацан, — весело сказал мне усаживающий свою даму на сани «тормозки», как они назывались на ярком вологодском диалекте.

— Это не пацан, — холодно сказал мой провожатый, — это брат Сережки Шаламова.

Пареньку пришлось усадить свою даму чуть пониже, а я остался стоять, разглядывая гору сверху.

Рядом город всегда делал большой каток, где не было, правда, беговых дорожек. Это был прямоугольник льда, который тоже поливали, чистили, загораживали елками.

Ходил Сергей и на лыжах в большие походы.

Летняя известность брата в городе превосходила его зимние успехи.

Знаменитый пловец на великие скорости еще без секундомера, на стайерские дистанции еще без стайерских правил и марафона. Плаванье в одиночку из устья реки Тошни до Вологодского моста — на спор. Каждое лето приносило подвиги брата в таком же роде.

Брат — самый лучший в городе ныряльщик за мертвецами.

Мертвецов — в пьяном, разумеется, виде — в Вологде тонуло очень много. Всегда ездила вдоль берега лодка, нащупывая шестом тело. И уж если тело было не прибито к берегу, а найдено шестом и нащупано — три четверти успеха обеспечены.

Я сам подошел к такой лодке, караулившей что-то в воде или на дне.

— Что это?

— Мертвец.

— Ну что, чего ж его не тащат?

— Сережку Шаламова ждут. Он будет тащить.

И действительно, примчавшийся брат быстро разделся, по какой-то лодчонке перешел на лодку, державшую мертвое тело шестами, и по одному из шестов скользнул вниз и вынырнул вверх, таща за собой за волосы мертвеца. Сдав мертвое тело родным, брат направился для совершения своих очередных подвигов, вроде уличных драк.

Но самая главная слава брата была в его удачливой охоте, брат дышал охотой, вся жизнь была подчинена охотничьему ритму, начиная с ранней-ранней весны, с половодья, где в топях брат убивал уток во время перелетов. Эта охотничья страсть не может быть удовлетворена одним ружьем. Одно ружье — это прогулка, даже охотничьи поездки брата на собственной лодке, с собственным ружьем напоминали охотничьи экспедиции, когда длились по нескольку дней.

В конце какого-то дня еще с берега начинался крик: «Едут, едут. Сережка едет!» — и к городской пристани, где полоскали белье, причаливала лодка, осевшая от тяжести уток.

Добыча тащилась к нам на двор, и мама распределяла на крыльце все это богатство поровну между всеми участниками — только за лодку Сергей получал лишнюю часть. Это я хорошо помню. В его охотах никто не стрелял «на себя», а дележка всегда была у нашего крыльца.

Толпы зрителей, радостный вой похудевших охотничьих псов — все нравилось и отцу, и матери чрезвычайно.

В компании городских охотников Сергей был авторитетом. Он знал на тридцать верст кругом города все охотничьи места. Подружейная охота — прогулка с сеттером по лесам и полям подгородним — мало как-то занимали Сергея. Он ходил и на эти прогулки, но оживлялся только во время больших экспедиций, подготовленных им самим.

Брат был столь же удачливым рыболовом, — отцовские сети — закидной невод и ботальница — всегда были к его услугам. Так подплывали лодки, доверху груженные рыбой, и рыба взлетала на нашем дворе, подброшенная рукой матери.

Кончалось лето — охота, рыбная ловля, плаванье, и начиналась ледяная гора.

В этот круговорот природы брат вписался необычайно удачно.

Весь день с нашего двора шла стрельба — проверка кучности боя и прочих достоинств централок.

Точно так же на сборы ягод, грибов уходили отцовские лодки, и в этих экспедициях Сергей играл немаловажную роль.

Именно Сергей ездил за мукой во время разрухи в какой-то «Ташкент — город хлебный» и привез мешок муки.

Сергей был любимым сыном и матери, и отца.

И хотя я был самым младшим, на десять лет моложе Сережи, последним ребенком матери, я не мог занять в ее сердце первого места. Первое место было отдано целиком Сергею.

Матери — потому, что именно он был вполне реальной поддержкой в семье. Семейный авторитет был для него выше всего на свете, за исключением охотничьих прогнозов. Сергей почти никогда не забывал во время многочисленных охотничьих поездок привезти матери

что-нибудь в хозяйство, что всегда было и нужно, и полезно. Для отца и выбора не было. Сергей был его незаживающей раной, вечной обидой — проигранной картой в общественных сражениях отца.

И хотя ничего особенного в исключении брата из гимназии не было, — родившийся где-то на острове Кадьяк, выросший в морской свободе, эту свободу он считал своим идеалом и мог заниматься действительно плохо, — отец никогда не простил отцам города исключение сына из гимназии.

В отцовском понимании, и мать разделяла это мнение, — исключение сына вызвано исключительно политикой — способ личной мести отцу за его смелую борьбу за лучшее будущее России.

Отец не хотел подумать, что Сергей действительно плохо занимался — вырванный из жизни и природы и поставленный в унизительные школьные условия — непереносимые по дисциплине, по ненужности занятий.

Сергей был, безусловно, авторитет, идеал, которому подражали все уличные мальчишки. Но не только по уличным подвигам, не только охотой вошел Сергей в сердце отца и матери.

Сергея всю жизнь преследовала смерть. Череп брата, левое темя было разрублено в детстве тяжелым ударом — звездчатый рубец прикрывал детскую травму.

В детстве, в состязании луков на Алеутских островах товарищ брата запустил индейскую железную стрелу. Стрела вернулась и рассекла череп брата. Сергей лежал дома, не вставая, там ведь не было больницы, несколько месяцев, между жизнью и смертью. Спор был решен в пользу жизни. И Сергей поднялся.

Весной город управляет ручьями, ищущими выхода, грозящими половодьями. Соборная гора не укреплена и требует внимания и заботы всего населения, чтобы снеговые ручьи отошли по канавам, канавкам, канавищам в большие оттоки — протоки. Сотни мальчишек по берегам орудуют, ставя плотины, разрушая заторы. Брат самым естественным образом занимал командное положение в этой работе — она кончалась с ледоходом.

Река Вологда — медленного течения, и ледоход спокоен, как бы ни были велики снегопады. Важно только управлять лесным снегом весной на ее последнем этапе, когда снеговая вода по побуревшим от грязи и солнца ледяным откосам сольется с потоками весенней воды, несущей разбитые льдины.

Ручьи, водотоки — все это работа нескольких дней в вологодской весне.

Вот тут человек самым естественным образом сливается с природой — традиционное единство.

На Соборной горе стояли испокон века деревянные скамейки, врытые в землю скамейки без всяких спинок, — просто длинные доски прибиты к врытым в землю столбам. Там отдыхали горожане летом и осенью. Да и весной тоже.

В 1914 году с началом войны, с победными реляциями о подвигах генерала Самсонова и Кузьмы Крючкова, с обилием конфетных бумажек с портретами генералов, спичечных коробок, оклеенных физиономией геройского казака, подцепившего на пику десятки тевтонов, в Вологду стали прибывать первые доказательства силы, мудрости и военного таланта наших генералов — захваченные в плен немецкие солдаты и офицеры. Немецкие каски показывались в каждой семье.

Вологда всегда была местом, где размещались военнопленные — и австрийцы, и чехи, и галичане, после Брусиловского прорыва. Но в начале войны — только немцы. Ходили они по улицам города свободно, дышали той же самой весной. Гуляли немцы обычно компаниями — возгласы ликующих мальчишек не смущали их.

И вот в весну 1915 года немецкие солдаты затеяли перебранку с той группой весенних гидрологов, которую возглавлял брат...

Немцы не знали русского языка, русские — немецкого, а на незнакомом языке любое оскорбление принимает неожиданно значительные формы. Возможно, что немец, ругавшийся с Сергеем, был тоже из молодых каких-нибудь дрезденских героев, который боялся отступить, показаться недостаточно храбрым в глазах своих же товарищей. Этот дрезденский герой, возможно, был похож на вологодского героя — моего брата.

Как уж можно оскорблять, не зная языка? Брат потом говорил, что напомнил о зверствах над Панасюком. Фотография Панасюка с отрезанным носом и ушами обходила тогда газеты. Рукой, что ли, Сергей показывал немцу историю с Панасюком.

Эта военная пантомима, завуалированный танец, громкий спор двух врагов с помощью рук — боевое сближение двух городских героев привело к паузе, — и хотя немец был взрослым солдатом, а Сергей мальчишка пятнадцати лет, Сергей, конечно, не побежал и не от-

ступил. Говорят, немец ударил брата кулаком, а Сергей ударил немца палкой, той самой палкой, которой проводил ручьи.

И тогда немец вынул кинжал военный и ударил брата кинжалом, целясь в сердце. Сергей отклонился, и кинжал немца пропорол ему живот. Нож — страшное оружие для брюшных ранений — гораздо хуже пули, дроби.

Сергея увезли в больницу. Хирургом там был Мокровский — знаменитый хирург и энтузиаст, в совершенстве знавший свое дело, достойный наследник Пирогова.

Но в 1915 году Александр Флемминг еще не изобрел пенициллин — до открытия оставалось еще поколение, и жизнь брата повисла на волоске.

Мокровский поступил по самым совершенным рецептам, которые, впрочем, мало отличались от рецептов Пирогова: удалил пораженные кишки, сшил остальные. Сергею надлежало перебороть инфекцию самому.

На начавшийся перитонит Мокровский ответил новой операцией, новым удалением всего опасного. И после этой двойной операции Сергей выздоровел.

К этому времени относится странное детское воспоминание — раздраженный шепот отца, даже не шепот, а приглушенный голос. Будто я сплю, а где-то рядом шуршит газета, и отец гневно комментирует: «Ша! Жэ! Не могли напечатать полностью, что ли?»

В памяти моей осталась газетная заметка строк на шестьдесят, где описывается этот случай так, как я только что рассказал. Но заметки такой в «Вологодском листке» сам я никогда не читал, — запомнил с чужих слов, что ли?

В 1968 году, перебирая «Вологодский листок» военных и революционных лет, пока газета не преобразилась в «Известия Вологодского Совета», я нашел странную заметку в марте или апреле — не помню сейчас.

«Что касается происшествия на Соборной горе с гимназистом Ш., то редакция обещает, по расследовании обстоятельств дела, опубликовать все, что интересует читателей»[6].

Вот такие бывают чудеса памяти.

Ранение брата входило в область международного права, и решения по этому делу никогда не были сообщены семье.

Впрочем, не прошло и двух лет, как Вологда, и страна, и наша семья были потрясены событиями, оттеснив-

шими ранение Сергея в самый глухой угол. Только я о нем помню. У брата (не было) ни невесты, ни жены, когда он умер. Только в зыбкой памяти моей хранится его рана и судьба.

Меня вместе с сестрой Наташей мама водила к Сергею, когда он уже шел на выписку. Издали он мне показывал, отогнув рубашку, звездчатый рубец, коричневый, в правом углу живота.

— Попутно удалили аппендикс, — сказал Мокровский, стоявший тут же. Я тогда не понял, о чем тут идет речь, о каком аппендиксе, и только через много лет сообразил, что Мокровский был сторонником раннего удаления червеобразного отростка слепой кишки и проводил свою идею постоянно, не теряясь в самых неожиданных ситуациях.

Сергей вернулся домой, пошел добровольцем в армию в 1917 году простым солдатом — образование не давало ему права на офицерскую школу, как старшему брату, приезжал в революцию домой, потом поступил в Красную Армию красноармейцем химической роты и был убит в 1920 году <осколком> от разрыва гранаты. Отец сам ездил за телом.

Сам он стоял около гроба в первой комнате, в зале. Оттуда были вынесены все красоты паблисити, и отец остался лицом к лицу со смертью своей главной надежды. В епитрахили, измятой, перекосившейся, отец сидел на стуле около тела сына всю ночь. Оторванный нос брата, ухо дали надежду поверить, что это не брат, что погиб кто-то чужой, и когда отец вышел куда-то, я проскользнул в комнату и отогнул простыню для самой надежной проверки. Именно я открою семье, что произошло, что тело — совсем не Сергея. Я воскрешу семью, возвращу ее к жизни. Но звездчатый шрам в правом углу живота был на месте, грубая толстая кожа брата была мертвой, холодной, и я выскользнул из комнаты.

IX

Старший мой брат Валерий был ничтожеством. Отец совершенно подчинил его волю своей.

Валерий окончил Вологодскую гимназию и мог и хотел получить высшее образование. Право на поступление без экзамена в университет у него было. Но Валерий

не имел склонности к медицине, а отец не представлял иного высшего образования для мужчин из Шаламовского рода, исключая духовное, к которому у Валерия не было склонности.

Но ведь можно было окончить традиционный для вологжан Лесной. Выбор был достаточный. Однако отец заставил его в порыве патриотизма поступить в офицерскую школу, и как только школа была окончена — пойти на фронт, на передовую, в Действующую армию, как это тогда называлось.

Валерий заикнулся было, что хотел бы жениться, и невеста уже есть, но отец наотрез отказал.

— После первой раны. Приедешь в отпуск, и сыграем свадьбу.

Так и было. Была торжественная офицерская свадьба, где я сидел по левую руку отца. Отец, верный своим обычаям, не пил и не считал нужным пригубить.

Невесту Валерий показал отцу. Она понравилась обходительностью, бойкостью.

— Она умнее тебя, — сказал отец сыну.

Свадьба не была удачной, ибо измены начались чуть ли не со свадебного дня. Потом она как-то скоро умерла, уже в разводе с Валерием, — от туберкулеза.

На фронте Валерий встретил революцию, приехал домой, и вот тут-то я был свидетелем одного важного разговора. Отец меня не стеснялся, мальчиком, что ли, считал, а может быть, его вечная привычка — учить детей извлекать поучительные уроки из самых разнообразных жизненных ситуаций — такой вариант возможен вполне.

— Я слышал, — сказал отец, — что ты хочешь демобилизоваться из Красной Армии.

— Да, — сказал Валерий, — я так решил.

— Не советую тебе этого делать, — сказал отец. — Подумай хорошо. Ведь военное дело — это твоя специальность, твоя профессия. Так какого черта ты не идешь дорогой, которую уже выбрал и даже успел получить образование и стаж? Ты не хочешь служить в Красной Армии? Напрасно. Боишься разговоров о классовом враге? Пойми, что именно в армии будут наибольшие послабления. Разве не делает так Брусилов, Бонч-Бруевич? Разве ты один? Все они служат России. В России сейчас Советская власть. Вот и служи ей, как военный специалист. Ни в коем случае именно сейчас не уходи.

Но желание родственников жены оказалось сильнее, и Валерий демобилизовался.

Это было страшной ошибкой, исковеркавшей всю его жизнь, хотя отец, за исключением популярного примера из лучших людей России, ничего, наверное, и не имел в виду в своих опасениях и предостережениях.

Но оказалось, что кроме высоких слов о долге русского гражданина — есть еще такая неприятная, но весьма реальная вещь, как ЧК.

Всю жизнь потом Валерия до самой его смерти вызывали в ЧК, время от времени задавая один и тот же вопрос:

— Почему вы, царский офицер, уже служивший в Красной Армии, демобилизовались в такой важный, в такой ответственный момент, час, как 1918 год? Почему вы оставили Красную Армию?

Валерия сделали осведомителем, унижали, топтали, и подняться он уже не мог.

Валерий — сын, который публично отказался от отца-священника; в дальнейшем понадобились и такие демонстрации.

Я бывал у него во время моей учебы в университете; он работал в секретариате Наркомзема на какой-то канцелярской должности и ретиво принимал участие в выпусках Наркомземовской стенгазеты — прошлое и душа художника, которые он еще не забыл при выпиливании рамок по чужой канве, уменье растворять краски, хотя бы клеевые. Валерий был главным оформителем праздничной стенгазеты Наркомзема и очень гордился пользой, которую он как художник не перестает приносить.

Я встретился с ним на похоронах отца неожиданно, потому что он никогда не помогал отцу и матери — ничего, кроме проклятий по их адресу, не слышал я из его уст, — и вдруг лямка отцовского гроба.

Уезжали мы не вместе — он попозже, я пораньше. И когда пошли прогуляться, выяснилось, что он чего-то ждет.

— Да, Валерий, вот возьми отцовскую цепочку и игрушку — моржового слоненка. Я их приготовила в столе.

Наташа, которая в нашей семье олицетворяет справедливость и которая лучше всех знала материальные возможности матери и отца, бросилась на Валерия тут же.

— Да как ты смеешь просить такой подарок? Ведь мама на эту цепочку проживет не один год.

Но мама ясно и твердо сказала:

— Он ничего не просил и не просит, это я так хочу.

Валерий умер в тот самый день и час 12 ноября 1953 года, когда иркутский поезд дальнего следования подошел к московскому перрону и я вылез после шестнадцатилетнего отсутствия.

X

Сестра Наташа была старше меня на семь лет. Значит, в 1917 году ей было 17, а в 1918 — восемнадцать.

Эти два рубежа — возрастной и исторический — тесным образом переплелись в жизни моей сестры.

Семнадцатый год Наташа встретила в белом платье с сияющим лицом. Представители городской думы поздравляли Наташу с окончанием женской гимназии.

— Он сказал нам — товарищи! — без конца повторяла Наташа, кружась по комнате, целуя отца и мать, тиская меня.

Все горизонты мира распахивались перед Наташей, и она настроена была использовать все возможности — образования, путешествий, свободы.

А в 1918 году перед семьей стоял суровый человек, переживший вместе с семьей тягчайший удар — и моральный, и материальный.

Никакой возможности куда-то ехать внезапно не стало, и на Наташу самым тяжелым образом упала ответственность за семью. Наташа сразу как-то поняла, что не время трепать языком, а надо искать какую-то реальную опору для своей жизни, чтобы реально помочь семье и себе.

Наташа сейчас же поступила в сестринский техникум двухлетний, с военного времени существующий в Вологде, и как было ни ничтожно это образование — это давало возможность помочь семье.

Брат Валерий, женившийся в 1915 году, оставил дом. Его же путем пошла сестра Галя. Сергей был в армии, я — в школе.

Путем исключения легко догадаться, что вся ответственность и материальная тяжесть легли именно на хрупкие плечи Наташи. Ее работа дала ей хлебные карточки, сохранила квартиру от дальнейших уплотнений — сколько ни мала была эта помощь, сколько ни жалким был общественный вес, все же в ней было единственное спасение.

Именно Наташа сохраняла семью целый ряд лет гражданской войны.

Именно она бегала на приемы ко всем председателям новых городских организаций, доказывая, протестуя и добиваясь.

Потом Наташа вышла замуж за одного профсоюзника, работала, уехала из дому, родила сына — воспитала <этого> сына и дочь от первого мужа и уехала из Вологды в Нижний Новгород, где ее <второй> муж работал на высокой должности, а потом в Москву, где он устроился в какой-то наркомат, получила квартиру в Москве на Потаповском, работала медсестрой в поликлинике ВЦСПС.

Наташа была олицетворением справедливости на наших семейных совещаниях, превосходя в этом отношении даже мать. Наташа смело бросалась во всякие домашние сражения, обличая неправоту, фальшь и ложь.

Наташа безоговорочно поддержала меня в отказе от духовной карьеры, одобрила все решения, связанные с моим отъездом из города.

Совещание это происходило на печке в кухне, на лежанке русской печи, где лежали Наташа и я, а снизу отец и мать задавали мне последние вопросы о моем будущем.

— Я мог дать тебе письмо для Духовной академии, к Введенскому.

— Я не хочу учиться в Духовной академии.

— Тогда — на свободу. Будешь искать свое место в жизни сам.

— Пусть так.

Мать, которой хотелось видеть меня именно в Духовной академии, грустно молчала.

Но я выбрал другую дорогу, и все охотничье оружие, все славное наследство братьев было продано до последней рыболовной снасти, до последней гильзы — и я уехал в Москву.

Вот в этом-то совещании Наташа и одобрила именно это мое решение.

Потом Наташа вышла замуж и ей пришлось выдержать большую борьбу не за свою семью, а за нашу — ибо начался очередной жилищный бум — выселение с милицией. Наташе почему-то везло именно на выселения.

Второй ее муж — профсоюзный работник — получил комнату в квартире барачного типа в Потаповском — верх мечтаний тогдашней Наташи, воспитывавшей двухлетнего сына, семилетнюю дочь от первого брака.

Еще в Нижнем Новгороде выяснилось, что муж Наташи, профсоюзный работник, — запойный пьяница. Запои — это страшная русская болезнь. Человек пропивает абсолютно все, до старого чужого белья, все, что видит и может схватить, унесет в кабак.

Трезвый, организатор Общества трезвости, отец едва ли был польщен родством с алкоголиком.

Муж Наташи был парень хороший, как все запойные алкоголики, доброжелательный. Наташа выходила за него замуж под честное слово, что он бросит пить.

Таких честных слов в истории русского общества, в семейных архивах хранятся не миллионы, а миллиарды.

Наташе хотелось верить и в себя, и в него, и вместо того, чтобы бежать от него, как от чумы, она вышла за него замуж. Он не сдержал слова, да и не мог сдержать — нет таких примеров в истории, и Наташа шагнула обеими ногами в разряд мучениц.

Когда муж стал не только пропивать все свое, но и чужое, и детское, Наташа с ним развелась, поступила на работу снова медсестрой в поликлинику своего Наркомтруда, а потом ВЦСПС, когда жилищный фонд был передан профсоюзам. Это было в 1934 году. Я был в Москве.

Объявили ремонт — ликвидацию всех перегородок, а после ремонта весь этаж должен был превратиться в одну квартиру, не то для секретаря ВЦСПС, не то для какого-то министра, или наркома — как их тогда называли.

Все было сделано абсолютно по закону — всем живущим в доме, имевшим отдельные комнаты, дали отдельные же комнаты, а то и квартиры — даже отдельные дачи. Беда была только в том, что эти дачи, ордера на которые выдал жильцам райжилотдел, были в Перове. История эта — обычная для тридцатых годов, — когда министр топтал подчиненных, и все подчинялись и освобождали помещения.

А Наташа не поехала, обжаловала решение, но, инстанция за инстанцией, проигрывала решение и дело.

По этому делу Наташиного выселения я ходил на прием к прокурору города Москвы, к Филиппову, и получал от него отказы. Был назначен срок, подана машина, и милиционер с представителями ВЦСПС стали выносить в коридор немудреные Наташины пожитки.

Вот как раз в это самое время, по этому самому Наташиному жилищному делу, я обратился к Сосновскому, известному фельетонисту «Известий». Сосновский

вернулся после ссылки и работал в «Известиях». Попасть к нему было очень легко.

Сосновский спокойно выслушал все обстоятельства дела — я не давал себе увлечься всякими аналогиями — и тут же позвонил прокурору Филиппову, посадив меня около стола.

В трубке был хорошо слышен голос Филиппова, догадываться мне было не надо. Я записал этот разговор тотчас же по возвращении домой.

— Товарищ Филиппов, это Сосновский говорит.

— Здравствуйте, товарищ Сосновский, чем могу служить?

— Вот у меня сидит человек по делу об одном выселении медицинской сестры Шаламовой.

— Товарищ Сосновский, — заговорил прокурор, — я хорошо знаю лично это дело, и брат медсестры был у меня еще вчера. Тут все сделано по закону, все совершенно правильно.

— У меня складывается другое впечатление, — холодно сказал Сосновский. — Но дело не в этом. Я попрошу вас лично, городского прокурора, остановить это выселение своей властью. Пошлите милиционера от себя — там уже выносят вещи. Потом мы увидим, кто тут прав, но выселение надо остановить.

— Хорошо, товарищ Сосновский, я сейчас же пошлю милиционера, — сказал городской прокурор.

— И позвоните мне завтра.

Я пожал руку, поблагодарил Сосновского.

Вот мой единственный разговор с Сосновским по личному делу...

Все дело в том, что сзади этого вопроса стояло очень многосложное, болезненно пережитое Москвой дело Зорича, фельетониста «Правды», пострадавшего в сходных обстоятельствах несколько лет назад.

Дело Зорича было одной из самых первых административных расправ сталинской эпохи, расправ принципиальных, означавших какой-то важный поворот в принципах партии и страны.

В чем было дело? Жены видных партийных работников старались вести себя в большинстве вроде Аллилуевой, Крупской, Цюрупы, не только не давая повода для злословия, но крайне болезненно относясь к репутации чисто личного плана.

И Бухарин, и Сталин, и Рыков — также жили очень скромно. Еще скромнее жили их жены.

Исключение составляла только жена Кирова, которая еще по Баку прославилась захватом буржуазных квартир для родных своего мужа. Притчей во языцех была эта дама. Подвиги ее говорили, что у Кирова не хватает времени, чтобы одернуть ретивую жену.

В 1926 году Киров получил назначение в Ленинград на борьбу с оппозицией и выехал громить троцкистов. А жена его осталась в Баку и — когда она позднее прибыла к мужу — замучила всю железную дорогу. Она ехала в двух вагонах — сама в одном, в другом кировские собаки. Управление дороги было приведено в трепет ее телеграммой в Ленинград Кирову для ускорения движения спецпоезда в северную столицу.

По прибытии в Ленинград дама эта бросилась выбирать и отбирать уже квартиры побогаче, чтобы дать наконец отдых мужу, мучающемуся в «Астории», не имевшему угла отдохнуть.

Перебрав несколько квартир, переехав из одной в другую за неделю, жена Кирова не оставила вмешательства во всевозможные дела.

Вот об этом странном путешествии по железной дороге Баку — Москва этой энергичной дамы и был написан Зоричем фельетон. Ясно, что документов в таком деле у фельетониста было более чем достаточно.

Зорич работал тогда фельетонистом в «Правде» наравне с Кольцовым. Фельетон был напечатан в 1927 году под названием «Дама с собачкой».

Зорич ждал, как поставят Кирова на место, укажут, чего можно и чего нельзя руководителю советскому и партийному.

Всего год назад на пристани Энгельс — Саратов председатель Совнаркома Республики Немцев Поволжья (Курс) ударил кулаком в лицо комсомольца, не пустившего Курса в пьяном виде на пароход.

Курс не успел еще проспаться после пьянки, как был снят со всех постов, и вынырнул много лет спустя директором Московского отделения «Интуриста».

Именно таких результатов и ждал Зорич от «Дамы с собачкой».

Результат разбора «Дамы с собачкой» в ЦКК принес неожиданный результат:

1) Зорича исключили из партии.
2) Запретили работать в печати пожизненно.
3) Уволили из редакции «Правды».

Все материалы данного решения — сделать широко известными всей партии снизу доверху.

Киров, энергично поддержанный Сталиным, среагировал самым принципиальным образом.

Партийные решения не должны касаться ошибок, клеветы, неверной информации.

Факт, по мнению Кирова, с опубликованием «Дамы с собачкой» (хотя там не было опубликовано ни фамилии, ни названия дороги), есть только один.

Журналист замахнулся на члена Политбюро, первого секретаря обкома — ничего другого Киров и знать не хочет и ставит вопрос о принципиальном примерном наказании фельетониста. Вопросы правды-неправды тут вовсе не встают и не могут вставать.

Решением по делу Зорича на много лет номенклатурные работники были ограждены от критики, тем более в печати.

Так и было сделано. Зорич до самой смерти не имел возможности писать в «Правде» — перешел на очерки, на рассказы. Смерть не очень задержалась. Зорича расстреляли в 1938 году как троцкиста, хотя он ни к какой оппозиции никогда отношения не имел[7].

Сосновский, который знал про это дело (еще бы!), смело вступил на путь защиты маленьких людей. Сосновский был расстрелян в том же 1938 году, но это я так, к слову.

Дело о выселении кончилось победой министра над медсестрой. Наташа выехала в Перово.

У Наташи мне было хорошо бывать, можно было поесть и подумать над своим без ущерба для чувства гостеприимства. Можно было встать и уйти, ничего не объясняя и ничего не обещая.

Последний раз я видел Наташу в Перово над стиркой в мыльном пару, выжимающей с усилием не то скатерть, не то простыню.

Как легко может догадаться внимательный читатель, Наташа умерла тридцати семи лет от туберкулеза в Кратовском тубсанатории. А ее запойный алкоголик-муж, уморив трех жен, одной из которых была Наташа, умер персональным пенсионером в возрасте 84 лет от инсульта.

XI

Я никогда не видел маму красивой, хотя и прожил с родителями целых семнадцать лет. Я видел распухшее от сердечной болезни безобразно толстое рабочее жи-

вотное, с усилием переставлявшее опухшие ноги и передвигающееся в одном и том же десятиметровом направлении от кухни — до столовой, варящей пищу, ставящей опары, с опухшими руками, пальцами, обезображенными костными панарициями.

В деревнях приходилось мне встречать единственный способ облегчения женщинам кухонного дела — варить щи, а мясо в горячем вареном виде резать. Так я видел в рабочих артелях, например.

Но в нашей семье делали и вторые блюда — жаркое какое-нибудь, котлеты, рыба, дичь или свинина своего убоя. И третье — гороховые, овсяные кисели. Каша обязательно гречневая, рассыпчатая — по вкусу отца.

Мама печь хлеб и варить суп не умела, но семейная жизнь на Алеутских островах выучила ее и печь хлеб, и стряпать.

Какие тут потрачены нравственные силы, нервы — я боюсь и сейчас подумать.

Даже хлеб выпекался у нас ежедневно, той же маминой рукой, — значит, должна быть всегда опара. Ежедневно свой свежий хлеб — это отец считал элементарным, обязательным.

В магазинах города хлеб продавался и дешевле, и вкуснее, но нами покупной хлеб приобретался только в большие праздники. И мы отдавали ему честь среди бесчисленных домашних пирогов, которые умеют и любят печь в Вологде, — Вологда славится пирогами.

Но мама не любила печь, мама любила стихи, но не рецепты поэтической кухни довелось ей выполнять, а самые важные — из поваренной книги. Поваренных книг у нас было две. Популярная Молоховец, засаленная, затертая, оправдавшая себя на двести процентов, и переплетенная в изящный фиолетовый переплет, особая книга вегетарианской кухни под названием «Я никого не ем».

Но отец не был вегетарианцем. Напротив, он считал вегетарианство фокусничеством, извращением — его языческая сущность, его охотничье прошлое, его ясное понимание законов природы — где существуют и охотники, и волк, и капуста, и только в гармонии взаимного убийства развивается видимый мир.

Пошлые советы Толстого или Репина вызывали у отца только смех. У нас никогда не готовили вегетарианского. Вопрос этот никогда даже не обсуждался в семье. Зачем же отец приобрел сборник вегетарианских рецептов? Я думаю, из того же паблисити сделал он этот по-

дарок матери. Стараясь показать, между прочим, что вегетарианская пища сложнее, дороже — и чтоб был какой-нибудь справочник под руками.

Слева от входа была дверь в «зал», а справа дверь на кухню, в мамино царство.

Стояли лари с мукой, бочки соленья, варенья, квашенья, висели нитки грибов, батманы лука, связка лука на вологодском языке называется «батман», — весом батман может быть до десяти килограммов.

Посреди кухни был вырублен подвал, который был забит обязательно каким-то особенным, по рецепту отца — синим льдом с реки. Дверь в просторный подвал, лестница вниз шла посреди кухни. Подвал был набит битой птицей покупной и дичью, стрелянной сыновними руками, тушами баранов, колотых кабанов, выкормленных матерью.

Кабаны визжали на дворе, блеяли козы — несколько коз. Отец, по каким-то своим экономическим подсчетам, еще без помощи электронных машин, вычислил, что три козы по удою заменяют корову, а козье молоко — козьим молоком отец увлекался всегда, до самой смерти.

Ловя детей, две охотничьи собаки плясали среди этого звериного царства.

Кошка была единственным домашним животным, которого никогда не было в нашей семье. Ее независимый характер не устраивал отца.

Несколько поленниц березовых дров, купленных на базаре, — сухих, уже черных березовых поленьев. Полено и косарь — щепать лучину на самовар.

Древесный уголь на растопку и огромная русская печь, где с ухватом тяжелыми чугунами круглые сутки ворочала мама моя.

И все это я ненавидел с самого раннего детства, как помню себя.

Моя оппозиция, мое сопротивление уходит корнями в самое раннее детство, когда я ворочался с огромными кубиками — игрушечной азбукой — в ногах моей матери.

Я был педагогическим маминым экспериментом, единственным опытом, который провела мать для себя и по своему собственному соображению.

Козы у нас были и в довоенное время, и в разруху, и в гражданскую войну, словом — всегда.

Кудахтали куры — отец был куровод, менял породы. По десятку-два кур яйценоских, вроде итальянских леггорнов, держались у нас всегда.

За грибами, за ягодами в нужное время плыла вся семья на двух лодках — две лодки отец имел постоянно, с миллионом корзин, и мама делила грибную или ягодную удачу.

Варенье вот варить только мама никогда не выучилась — все то жидко, то перестоит или изойдет пеной, и для варки варенья приглашались посторонние люди, умевшие обуздать медный сверкающий таз.

Стоя на крыльце, мама встречала целые лодки рыбы, которые привозил брат Сергей, целые лодки уток, застреленных братом во время его охотничьих поездок, делила мама.

Хлюпали в лужах домашние утки, и гусаки гоготали.

И все это я ненавидел.

Мама печь хлеб не умела и не любила кухни. Мама любила стихи, а не ухваты.

Мама моя была тяжелая сердечная больная, ковылявшая по комнате, где жила она с отцом, из огромной квартиры их давно выкинули, выселили, — держась за стенки, за мебель — от кухонной печки до семейной кровати под образами.

Передвигаясь на огромных опухших ногах, мама что-то стирала, что-то мыла, а отец сидел в кресле в углу у окна, полузакрыв глаза. Отец ослеп после смерти сына, моего брата Сергея, и прожил слепым четырнадцать лет. Вот эти четырнадцать лет мама кормила и себя, и отца.

Так чем же жила мама эти четырнадцать лет? Ведь надо есть двоим четыре — или по крайней мере — три раза в день. Какие тут рецепты? Это одна из тайн, которую я никогда не узнаю.

Конечно, и я после женитьбы, и Наташа еще раньше, предлагали переехать в Москву. Но и мать и отец категорически отказывались, и были правы, конечно.

Когда мать осталась одна — то есть в 1934[8] году, — я еще раз предложил ей переехать в Москву.

Мама смеялась:

— Как я уеду из города, где я прожила всю жизнь вместе с отцом.

— Я умру скоро, — сказала мама. — Есть примета. Если живут дружно столько лет...

— Да, — сказал я.

— Так вот, мы не жили дружно. Мы жили трудно. Дело не в последних четырнадцати годах, когда он был слепой, — это все другое, более ясное и простое. Трудно

было раньше. Ах, как мне хотелось, чтобы ты женился в Вологде. Тебе я могла рассказать.

Я слушал, затаив дыхание.

Но больше мама ничего не сказала.

У мамы было собственное, эсхатологическое, в высшей степени своеобразное учение о конце мира.

Успехи науки, особенно химии, вдохновляли маму на соображения о Страшном Суде и воскресении мертвых. Постепенно люди превратятся в тончайших духов, существ почти бестелесных. К воскресению мертвых все люди превратятся в духов и одновременно воскреснут, и не будет на земле тесно.

Я слушал все это с величайшей внимательностью, просто с жалостью и болью.

Отец мой человек светский, то есть гражданский, мирской до мозга костей.

Все, что могло служить успеху, то и одобрялось.

Но потом, взрослым, уже сидя в тюрьме, я изменил это детское мнение.

Не то что изменил, а из большой тени, что отбрасывала фигура отца на прошлое, выползала вдруг на самый яркий свет опухшая грубая фигура моей матери, судьба которой была растоптана отцом.

С мамой моей отец никогда и ни в чем, даже в мелочах, не считался — все в семье делалось по его капризу, по его воле и по его мерке.

Но — при его жажде успеха — зачем он стал священником, зачем взял на себя неправедное право — право давать советы другим.

Трудно? Почему же? Почему же трудно?

Отец мой был человек абсолютно мирской, никаких потусторонних интересов не было у него в Вологде. Конечно, я — пятый ребенок в семье, да трое родились мертвыми — мама испытала обычную русскую женскую судьбу. Мама посвятила всю себя интересам отца... Мама — способная, талантливая, энергичная, красивая, превосходящая отца именно своими духовными качествами. Мама прожила жизнь, мучаясь, и умерла, как самая обыкновенная попадья, не умея вырваться из цепей семьи и быта...

Этого я долго не понимал. Мне все представлялось, что именно отец, блестящий диалектик, умелый оратор светского толка, популярный городской священник, принял на себя столь жестокий удар судьбы, как слепота! Отец — герой.

Я могу понять какого-нибудь аскета, пророка, внимающего голосу Господа в пустыне. Но обращаться к Богу за мирскими советами и испрашивать советов Бога для других, чтобы передать благодать, — это было мне чуждо и не вызывало ни уважения, ни желания подражать...

XII

Отец мой родом из самой темной лесной усть-сысольской глуши, из потомственной священнической семьи, предки которой еще недавно были зырянскими шаманами несколько поколений, из шаманского рода, незаметно и естественно сменившего бубен на кадило, весь еще во власти язычества, сам шаман и язычник в глубине своей зырянской души, был человеком чрезвычайно способным.

Сама фамилия наша — шаманская, родовая — в звуковом своем содержании стоит между шалостью, озорством и шаманизмом, пророчеством.

И того, и другого в избытке хватало в характере отца.

Успеху своему на выбранном пути отец был обязан самому себе, а путь был выбран еще в юности.

Отец родился в 1868 году близ Усть-Сысольска и учился в Вологодской семинарии, идя по традиционной для рода дороге. Отец проявил блестящие способности и, поработав года полтора учителем среди коми-зырян, женился и принял священнический сан. В Духовную академию, куда отцу была открыта дорога, отец не пошел, а сразу, с молодых лет пошел на заграничную службу — поехал в Америку, на Аляску, на Алеутские острова православным миссионером среди алеутов и проработал там двенадцать лет.

Заграничная служба в православной церкви давала большую пенсию, достаточную для того, чтобы безбедно кормить большую семью. Эта пенсия давалась за двадцать лет службы. Но можно было уволиться, вернуться и после десяти лет службы — тогда пенсия была половинной, платилась пожизненно и сохранялась при всех условиях — продолжал ли пенсионер церковную службу или нет.

Отец вернулся в 1905 году[9], привлеченный революционными ветрами первой революции — свободой печа-

ти, веротерпимости, свободой слова, надеясь принять личное участие в русских делах.

К этому времени заграничная служба отца достигла двенадцати лет, и отец пользовался правом на половинную пенсию.

Отец не поехал в столицу, а вернулся в тот город, где он учился в семинарии и женился. А мать моя — не из духовного звания, как это бывает по традиции, не из епархиального училища, а из самой нормальной светской Мариинской женской гимназии — той самой, которая расположена в доме Батюшкова, где мемориальная доска.

Мать — учительница, из чиновничьей семьи, ее сестра пыталась поступить на Бестужевские курсы и получила медицинское образование, работала всю жизнь фельдшерицей в Кунцеве.

Замужество матери тоже было встречено с удивлением в либеральной семье чиновника, где нет людей из поповского рода, но мать выбрала отца, вместе с ним уехала в Америку и разделила его судьбу и его интересы в многочисленных общественных начинаниях.

Мать — коренная вологжанка, и выбор службы отца в Вологде связан с корнями матери. У отца никаких родных нет, или, если и были, связи с ними разорваны из-за заграничного жития, и в доме у нас никто из родственников отца — если они и были — никогда не бывал[10].

Отец получил службу четвертым священником городского собора. Для церковных властей это было хорошим решением — молодой проповедник из заграничной службы, владеющий английским в совершенстве, французским и немецким со словарем, лектор, миссионер и насквозь общественный организатор — кандидатура отца у Синода не вызывала, конечно, возражений. А что он стригся покороче, носил рясы покороче, чем другие, крестился не столь истово, как остальные, — все это не пугало Синод.

Место городского священника было почетным местом — движением ввысь по служебной лестнице духовенства.

Служба в городском соборе — как ни тесна была наша крошечная квартира на Соборной горе — устраивала отца еще по одной немаловажной причине.

Соборный священник получает жалованье или подобие жалованья вполне официально и избавлен от унизительного «славления», собирания «руки», подачек в рождественские, пасхальные праздники. А ведь из этих

подарков-подачек и складываются главные заработки приходского священника — все равно, в деревне или в городе.

Отец не любил этих унизительных молебнов «на дому» с закуской и выпивкой — от закуски можно было бы еще отбиться, от денег — никогда.

Соборный же священник избавлен от этих поездок.

Даже после собора, когда отец нашел службу у ссыльной миллионерши-анархистки баронессы Дес-Фонтейнес — там тоже он получал оговоренное жалованье, а не жил на «поборы».

Однако первая же проповедь отца вызвала усиленное внимание духовной цензуры.

Вологда — город «черной сотни», где бывали еврейские погромы.

Отец самым резким образом выступал в соборе против погромов, а когда в Петербурге был убит председатель Думы депутат Герценштейн, отец отслужил публичную панихиду по Герценштейну.

Эта панихида отражена в истории русского революционного движения — не один отец поступил таким же образом[11].

Отец был отстранен от службы в соборе и направлен в какую-то другую церковь, кажется, Александра Невского. Отец обжаловал решение местных церковных властей, и с этого времени начинается длительная, активная борьба с архиереями, которые, на грех, приезжали один черносотеннее другого.

Естественно, что поведение сразу его отбросило в лагерь вологодских ссыльных. Ссыльные, которых в Вологде было много, — стали друзьями. Это — Лопатин, меньшевик Виноградов, активные сионисты вроде Митловского, значительный слой тогдашних эсеров.

Отец, чрезвычайно активный общественник, беспрерывно открывал то Общество трезвости, то воскресные школы, то участвовал в митингах, которых было тогда очень много.

Центром приложения сил, прогрессивных и черносотенных, была в Вологде ряд лет постройка по подписке Народного дома. Этот Народный дом выстроен на месте теперешнего городского театра (бывшего Дома Революции), и отец на митингах в нем выступал несколько раз.

Этот Народный дом был сожжен дотла осенней ночью черносотенцами, виновники не найдены[12]. Здание отстроено лишь после революции, хотя поднимались

стены и раньше, до первой войны, и восстановление было прервано именно войной.

Дом Революции был открыт (в 1924 году) киносеансом Гриффита «Нетерпимость». Тогда в Вологде существовал городской театр, деревянный, который не перенес поджогов, ибо не был «Народным домом», а обычным театральным зданием. Театр старой архитектуры сгорел все же — и никогда не был восстановлен.

Дом Революции, построенный вместо Народного дома 1905 года, стал называться городским театром.

Но в мое время был и театр, и Дом Революции.

У отца, чрезвычайно активного общественного деятеля, была и своя собственная социологическая теория, основанная на глубоких выводах, солидных основаниях, надежных перспективах.

Отец уверял, что будущее России в руках русского священства, и именно русскому священству сужден самой судьбой путь государственного строительства и обновленчества — и государственных реформ, и личного быта.

Для этого — по мысли отца — есть все основания. Священство — четверть населения России. Простой цифровой подсчет убеждал в серьезности этой проблемы. Составляя такую общественную группу, духовенство еще не сыграло той роли, которая ему предназначалась судьбой — дав им право исповедовать и отпускать грехи всех людей — от Петербурга до глухой зырянской деревушки, от нищего до царя.

Никакое другое сословие не поставлено в столь благоприятные условия.

Эта близость к народу, знание его интересов начисто снимает для разночинцев проблему «интеллигенция-народ», ибо интеллигенты духовного сословия — сами народ, и никаких тайн психологии народ для них не приносит.

Это не разночинство отрицания типа Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Кибальчича, Гапона, а разночинство созидания, типа Ключевского, Пирогова, Павлова, Булгакова, Флоренского, Григория Петрова.

Это должно быть священство мирское, светское — живущее вместе с народом, а не увлеченные ложным подвигом аскеты вроде старчества, монастырей. Монастыри — это ложный путь, как и распутинские прыжки.

Церковь должна быть светской, мирской, жить мирскими интересами, а в самой мирской жизни быть началом разума, культуры, образования, цивилизации.

История хранит бесконечное количество подвижников, пророков из духовного сословия.

Но задачи XX века более сложны, более земны.

Русское священство должно обратить внимание не на личное совершенствование, на личное спасение, а на спасение общественное, завоевание выборным путем государственных должностей и поворачивать дело в надлежащем направлении. Не в старообрядчестве и не в сектантстве нужно искать, а в самом современном церковном служении.

Даже такой вопрос, как распад семьи — профессиональная болезнь русской интеллигенции, — может быть решительным образом ослаблен, и не только примером многочисленных семей духовенства. Но эта проблема, по мысли, разрешится сама собой.

Что плохо — не безбожие, а малая культурность народа. Безбожие исчезнет вместе с неграмотностью.

История русской культуры должна гордиться своим духовным сословием.

Славные имена выходцев из духовного сословия — знаменитых хирургов, агрономов, ученых, профессоров, ораторов, экономистов и писателей известны всей России. Они не должны терять связи со своим сословием, а сословие должно обогащаться их идеями.

Русское священство, белое духовенство — вот кому принадлежит главная роль в воспитании общества.

Не аскеты монашества, не истерические старцы, а традиционная форма грамотного культурного русского священства.

Не истерические проповеди Иоанна Кронштадтского, не цирк Распутина, Варнавы и Питирима.

А женатое, семейное священство — вот истинные вожди русского народа. Духовенство — это такая сила, которая перевернет Россию. Надо только сделать ниву культурной — совершенно земные задачи совершенно земных людей.

Себя отец и считал человеком, посвятившим себя высокой цели освобождения России...

Умение хорошо одеваться отец, не без основания, считал важным и надежным средством паблисити. Зимой он ходил в дорогой бобровой шапке, в хорьковой шубе с широким воротником морского бобра, в шелковой щегольской рясе. Все это было пошито в столицах у модных портных — по чуть укороченному, далеко видному, но все же не нарушающему канон фасону.

Серая шляпа, вроде котелка, самого дорогого качества, уверенно сидела на уверенно посаженной, коротко подстриженной голове.

Мать обычно ножницами доводила отцовскую прическу до желаемого ему конца.

Щелкали ножницы в руках матери, раздавался резкий голос отца: «Короче! Короче! Еще короче!» — потом начиналось оглядывание прически в зеркало.

Камилавки — служебный церковный головной убор отца — всегда были высшего качества и всегда свои. В церкви для службы даются и казенные камилавки — но камилавки с другого человека, со следами чьей-то чужой головы внутри — этого бы отец не перенес.

Обувь — щегольские полусапожки с резинкой, тщательно начищенные. Дома отец переодевался в домашнее, но тоже добротное, удобное, хотя и недорогое. Был у отца и штатский костюм весьма невыразительного свойства. Поскольку в те времена костюм не был пригоден для публичного выхода священника, это были брюки в полоску, сапоги или плащ брезентовый для дождя.

На всех церковных службах отец выглядел самым красивым, самым картинным во всяком случае, чем мать немало гордилась.

Скромность отец не считал достоинством. В программу паблисити, которую отец перенес как педагогический прием в воспитание своих детей — дочерей и сыновей — входило всегда публичное утверждение достоинства, преимуществ — всяческих соревнований, начиная от состязания умов, вроде диспута, и кончая гонкой лодок, плаванием, стрельбой, охотничьей удачей.

— Надо взять себе за правило — не скрывать своих преимуществ перед сверстниками, — учил отец, — знаешь вопрос — смело поднять руку на вопрос учителя и смело отвечать, только надо знать, а не молоть пустяки. В состязаниях юности всякий ложный стыд вреден, а смирение паче гордости — чушь!

Скрывать свое умение, свое превосходство отец не имел привычки.

У нас было две лодки, и лодки эти отец выбирал всегда сам — ездил куда-то в верховья Сухоны в надежные места и на барже или пароходе привозил, тащил лодку в свое собственное хозяйство. Но лодки северные — это долбленые челноки. Для того, чтобы превратиться в рыболовную, в охотничью лодку, челнок должен обрасти бортами. Это немалое умение, и не всякий

столяр успешно нарастит в нужном весе, размере борта. Этой работой отец занимался всегда сам, выполняя ее в высшей степени эффектно и уверенно.

Столярный верстак становился поперек двора, отец взмахивал рубанком, и сотворение лодки начиналось. Собирались зеваки, а также жаждущие инструктажа, и отец под взмах рубанка, срезающего легкие осиновые стружки, читал соответствующую лекцию о новом способе наращения бортов, которому он выучился или в юности в Усть-Сысольске, или почерпнул у алеутов на острове Кадьяк, либо вычитал из книжки и сейчас хочет попробовать.

Я думаю, эти спектакли имели многие значения, как всякое действие отца, всегда многозначное, всегда с подтекстом.

Помимо прямого паблисити — поп с рубанком — было еще удовлетворение жажды физических движений — чисто спортивная форма отца. Давал примеры сыновьям, учил друзей техническим приемам стружки. Просто отводил душу в любезных сердцу разговорах. Что еще?

С детства меня раздражало совмещение приятного с полезным, а для отца это было испытанным педагогическим приемом, даже принципом.

За чайным столом мы всегда видели отца аккуратно одетым и куда-то спешащим.

В семье у нас не знали кофе — пили только чай. Отец покрепче, дети — пожиже.

Мать сидела у самовара. Самовар отец считал важной приметой быта. У нас было два самовара, большой ведерный, блестящий, но дешевый — он сохранился надолго, и малый, желтой меди, на десять стаканов, который мы очень любили. В гражданскую медный был продан за муку, а побольше — стоял на кухне, потом был починен и какое-то время служил отцу и матери...

На торжественные службы отец надевал крест червонного золота, который сам же в торгсинное время разрубил топором на куски. Я написал об этом рассказ «Крест», входящий в «Колымские рассказы».

Мою мать отец тоже заставлял носить новое, делал ей подарки. Деньгами в доме распоряжалась мать, но как-то так выходило, что семейные лодки, козы, собаки диктовались потребностями и вкусами отца. Личных же ценных вещей у мамы не было; кроме дорогой шали черного кружева и венчальных свечей, ничего мать в своем сундуке не хранила. Наверное, были подарки вначале, но дети — восемь человек детей, из них трое

умерших — заставили мать или передаривать или перешивать детям — либо сам вкус ее изменился и вошел в привычный круг потребностей и планов отца.

Кроме этой черной кружевной шали, никаких вещей у мамы не было. Да и шаль полетела на рынок много раньше отцовских вещей. Муфта была еще у мамы модная, шляпка какая-то с перьями.

Как и подобает потомственному шаману, отец был у нас главный лекарь, лечил всех без врачей, полистав модный лечебник, терапевтический справочник и ограничившись визуальным осмотром. Лечить бы ему по-алеутски, по-шамански, — успехов было бы больше. Лечение давало плачевные результаты...

Никак не хотел согласиться на операцию при своей глаукоме, болезни мучительной, сводящей больного с ума. Достаточно было перерезать нерв, и боли исчезли бы. Время операции, когда можно было рассчитывать на успех, он прозевал, и хотя объехал буквально всех главных специалистов Москвы — Страхова, Головнина, — вылечить его было нельзя. У меня хранится письмо Страхова ко мне — я просил его написать по поводу отцовской болезни. Почему отец не согласился на операцию — не знаю. Исход, наверное, был не ясен, и решил, превозмогая боли, прожить в полуслепоте. Очки отец носил с юности. Но это решение ждать совпало со смертью сына Сергея, и процесс слепоты полетел под откос. Отец ослеп в 1920 году, а умер в 1934. Четырнадцать лет слепоты. Надежда была, наверное, наивная — что вот-вот найдут какое-нибудь средство против глаукомы. Средство такое не найдено и сейчас.

Со своей безграничной верой в силу печатного слова, главным образом, газетного — американская школа паблисити, заокеанская надежность газетных объявлений — он и лечил по книгам в физическом смысле и в духовном. В физическом — он доверялся популярному «лечебнику» — толстенной книге, в которую заглядывал много раз, а также унаследованному от русских и алеутских шаманов «умению» управлять холодом и теплом в их почти безграничной клавиатуре.

Души он лечил советом, как исповедник, исповедующий вместо лечебника — Евангелие или требник, давал советы по всем случаям жизни.

Лечение физическим методом было всегда удачным — ведь неудачи в практике такого рода не регистрируются.

Не регистрируются и утешения, и пророчества.

В Вологде он вмешался в мою болезнь, не понял ее, и я промучился целую жизнь с хроническим насморком, да не пустяковым, а таким, что заполняет нос. Я навсегда лишен обоняния, слух мой испорчен бесповоротно и безнадежно. Только потому, что меня не показали в раннем детстве врачу. У меня природное искривление носовых перегородок — пустячная операция, и мне возвратился бы орган обоняния.

Мать много раз просила показать меня врачу-специалисту. Ответом был только презрительный хохот. Именно отец дал мне в семье прозвище «тяптя» — ты сопля — из-за вечного насморка. Сопли эти не вылечились и на Колыме и заливают мой нос и по сей день. В день я трачу два носовых платка.

Отец все толковал слишком просто: «Не хочет высушить ноги, дрянь. Пройдет».

Но сопли и потеря обоняния — это еще не все.

Вторым моим позором в глазах отца была моя болезнь, нарушение моего вестибулярного аппарата, то, что называется болезнью Меньера.

У меня — боязнь высоты. На вологодской колокольне — триста ступеней беспрерывного ежедневного страха, шатаний. А ведь колокольня — единственное развлечение вологжан, да еще ребят вологодских.

Каждое воскресенье колокольня открывается — такие виды на весь город, и весь город тянется пролезть к железным перилам, весь город, кроме сына отца Тихона, который шарахается от высоты, плачет и бежит вниз.

Все это было расценено как заговор против доброго имени отца — вырастил неженку.

Болезнь Меньера не дала мне побеждать на гимнастическом бревне, прыгать через ручьи, переходить по бревнам лесные рвы, лазить за яблоками, зорить птичьи гнезда, пробегать по одной доске, прыгать на одной ноге, гонять железное колесо по городу. Во всех этих играх я был самый последний. Ничего, кроме многолетних издевок, я не услышал от отца.

Мать тоже не понимала моей болезни и тоже плакала, что я не хочу зорить гнезда, хотя это истинно мужское занятие для мальчишек и Шаламовского, и Воробьевского рода[13].

Но и нераспознанный Меньер не был концом моих детских страданий.

У меня — своеобразное устройство глаз: правый близорукий, а левый дальнозоркий — редчайшее сочетание, которое без очков позволяет и читать, и глядеть вдаль. У меня нет очков и сейчас. Эту мою особенность открыл мне доктор Страхов — бывший главный врач Алексеевской больницы, тогда мне было уже 27 лет, и я явился к нему за советом.

Страхов проверил, лучше ли я вижу обоими глазами, чем одним, при добавлении на другой глаз усиления или уменьшения, убедился, что зрение мое при любом добавлении стекол остается тем же самым, и предсказал мне всю мою редчайшую глазную судьбу.

Это пророчество — на сей раз научное пророчество — исполнилось самым абсолютным образом. Я до сих пор, до 65 лет, читаю без очков и хожу без очков, не обращаюсь к глазным врачам.

Но у Страхова я побывал после смерти отца. А все мое детство я прожил под градом оскорблений.

— Не хочет стрелять! Врешь, что не видишь мушки! Ведь ты читаешь? Как же ты можешь не видеть мушки?

Мое нежелание убивать, стрелять, охотиться, резать кроликов и кур, закалывать кабана — тоже привело к тяжелому конфликту. Пока я категорически отказывался от охотничьего ружья, богатый семейный арсенал был продан — к позору отца, и сын уехал в Москву.

Вот к какому тяжелому, многолетнему конфликту привела медицинская неграмотность и самоуверенность отца.

То, что я прекрасно плаваю, управляю лодкой — без всякого обучения и показывания, — тоже казалось отцу вредным ударом по его авторитету — значит, можешь, не инвалид.

Не выдержав экзаменов в королевскую гвардию — охотничью дружину, отказавшись от рыболовства, я был передвинут в ряды домашней обслуги — ухаживать за скотом.

Тут я нашел себе применение, нашел себя — но скоро выяснилось, что я не переношу смерти коз, кроликов, и сам не хочу, не могу убивать.

По книгам выбирались козы. Книга князя Урусова «Коза — корова бедняка» всегда лежала на его письменном столе вместе с требником и была надежным пособием в отцовских экспериментах.

Охота, рыбная ловля, кролики, куры, огород, — все это было и до революции, все это отец держал из чисто-

го любительства. В революцию это чистое любительство вдруг обернулось и вполне реальной пользой, хотя и не такой значительной, как хотел представить отец. А когда он ослеп, уход за козами в течение нескольких лет дал ему отвлечение, сознание какой-то пользы, которую он утверждал с всегдашней своей самоуверенностью. Мать не спорила с ним. Ведь именно матери нужно было и покупать коз, и варить им корм, заготовлять сено на зиму. Кроме своей еды — должна была заготовляться еда козам. Все это ведь каждодневно...

Куроводство у нас тоже велось по книгам. Покупались необходимые проспекты. Отец писал заказ в магазин, выписывались семена каких-то трав, огурцов, необыкновенного редиса.

У нас никогда не выписывали семян цветов, и даже на куст сирени, расцветшей в общем огороде, отец смотрел подозрительно. На своем участке он выращивал помидоры. Отец провел свою семью мимо цветов.

На сей предмет читались, впрочем, и лекции — как хорошо собирать полевые цветы, — и все братья, все сестры, особенно брат Сергей, привозили матери охапки полевых васильков, кувшинок, лилий из своих охотничьих поездок. Но никто никогда не привозил в наш дом цветов оранжерейных.

Не было у нас ни фикусов, ни герани. Помню какой-то олеандр в бочке — единственное оранжерейное растение, которое пыталось прижиться в нашей квартире, но из-за невнимания к поливке как-то этот олеандр не нашел себе места в моей памяти.

Никаких цветочных горшков не было на окнах нашей квартиры. За окном при входе на наше крыльцо цвел вологодский боярышник, а не сирень.

Странной и страстной, постоянной мечтой отца было участие во всяких сельскохозяйственных выставках, особенно со своими экспонатами — тыквой или парой кроликов.

Отец — один из организаторов в Вологде сельскохозяйственных выставочных дел.

В голодные годы важной культурой стал картофель. Отец высаживал картофель строго по книжке — по самой модной, хоть и советской инструкции, — был ли в этом толк, ответить сейчас не могу.

Гроб сыну — моему брату Сергею — отец хотел выбрать тоже по какому-то кладбищенскому проспекту — но в то время было не до проспектов. Помню, мы вдвоем

с отцом везли откуда-то с горы, из-за города, тяжелый сырой деревянный крест — санки разъезжались по грязи, крест был сырым, тяжелым, тот самый Голгофский крест Христа. Санки — обыкновенные вологодские «тормозки» — заносило, и тогда тяжелый крест сам командовал этим движением, сам отдыхал и сам двигался дальше по грязи, по лужам, по льду. Мы — я и отец — только сопровождали, только присутствовали при этом неторопливом движении.

Самой главной личной проблемой отца во время его двенадцатилетней службы в качестве православного миссионера на Алеутских островах было своевременное и разумное полноценное обучение детей.

Я, к счастью, родился после этих педагогических экспериментов отца.

У отца была философия: «каждый пробьется сам», принцип, который он считал пригодным и для гуманитарного апостольства XIX века, и для жестокой конкуренции XX, хотя практические рецепты философии Максима Горького явно не годились для послереволюционных лет.

И в этом вопросе отец поступил в полном согласии со своими убеждениями, сводом правил, из которого не было исключений.

Выписал на Алеутские острова заочный курс «Гимназии на дому» — было такое халтурное издание — и со всей страстью убежденного заочника занялся подготовкой и педагогической деятельностью вполне во вкусе яснополянских упражнений Толстого, кое в чем — по тайной гордости отца — и превосходящей затеи графа.

К счастью, рядом с отцом была моя мать — профессиональный педагог, сменившая указку городской учительницы на ломаное алеутское копье, совершившая с отцом заокеанское путешествие. Мать организовала несколько алеутских школ, а своих детей учила сама по школьным программам казенных учебных заведений, ни много ни мало целых двенадцать лет.

Так учились Валерий, и Галя, и Наташа. Только второй сын, Сергей, отставал из-за лени. Отец, получив своеобразный сигнал, взялся за обучение Сергея сам, чтобы показать матери, насколько прогрессивны методы, разработанные лучшими людьми России — цветом русской профессуры — для популярного издания «Гимназия на дому».

В 1905 году отец с семьей вернулся в Вологду, второй мой брат, Валерий, поступил в гимназию — в тот

самый класс, куда и надлежало ему поступить, сдал и вступительные, а позднее — и выпускные экзамены.

Так было и с сестрами, Наташей и Галей. Галя даже получила серебряную медаль при окончании Мариинской женской гимназии. Все братья и сестры проходили в Вологде одинаковые испытания, все сдавали вступительные экзамены, соответственно возрасту, и, один за другим переходя из класса в класс, доходили до выпуска. Наташа, младшая сестра, кончила гимназию в 1917 году.

Иначе пошло дело с Сергеем, которого готовил для верности сам отец по прогрессивной «Гимназии на дому».

Сергей был принят, но только в пятый, а не в шестой, как было задумано. В пятом классе брат был оставлен на второй год, а потом — исключен за неуспеваемость.

Этого оскорбления отец никогда не простил хозяевам города. Со своей холерической мнительностью, привыкший все усложнять, менять масштабы явлений, отец не хотел и подумать о самом простом ответе на этот столь важный для него вопрос, перебирая различные варианты подспудного борения высших сил. О том, что Сергей просто не имеет способностей для учения в школе — в том классе, который намечался отцом, а «Гимназия на дому» есть только «Гимназия на дому» — учебник для заочного образования. Не хотел поглубже заглянуть в психологию собственного сына.

А если бы заглянул, увидел бы, что по своим качествам, физическим и моральным, по праву на карьеру, на успех, по беззаветной способности показать личный пример — Сергей для нашего города не менее яркая и не менее характерная фигура, чем отец — того же нравственного ряда, но физического, а не духовного порядка.

Здесь я продолжаю рассказ о педагогических воззрениях отца, с которыми столкнулся и не согласился его третий сын — я.

Было ясно, что я поглощаю и способен проглотить огромное количество книг.

Но книг-то у отца и не оказалось. Кроме справочников по животноводству и профессиональных требников в книжном шкафу отца не было (ничего).

И это одно из самых поразительных моих детских открытий.

Книжный шкаф красного дерева, который так выгодно был продан в годы голода, выменян на целый пуд муки, не скрывал за собой никаких книжных сокровищ.

Ни Достоевского, ни Шекспира не было в библиотеке отца. Но был Розанов — «Легенда о великом инквизиторе» — и это все. Кто-то сюда же поставил «Войну и мир», переводы Михайлова, Гейне в переводах Вейнберга, однотомник Жуковского. Но это были все не отцовские книги. Старшие мои братья и сестры удовлетворялись хрестоматией Галахова.

Я помню чей-то разговор, чей-то вопрос по этому поводу. А может, я этот разговор и вопрос выдумал сам. И отцовский ответ.

«Передовая русская интеллигенция должна удовлетворяться народной библиотекой. Кропоткин и Лавров для этого и жертвовали свои книги и библиотеки, чтобы каждый мог пользоваться. Мой сын может пользоваться».

К счастью, мне удалось получить разрешение на получение книг в новой «Рабочей библиотеке» — образованной из конфискованных помещичьих библиотек. Там я досыта начитался Дюма, Буссенара, Жакоба, капитана Марриэта.

Наиболее ценные книги шли в Публичную библиотеку.

Но и этого было, конечно, мало, хотя я читал дни и ночи напролет. К счастью, у нас никогда не запрещали читать за столом во время обеда и ужина.

Отец читал газеты, журналы. Мне, конечно, сейчас же выписали журнал «Семья и школа», но я давно очень далеко ушел в чтении вперед, и «Семья и школа» могли только льстить тщеславию моего отца.

В это время, кроме быстрого чтения, я открыл в себе еще одну способность, о которой не знали и не подозревали ни отец, ни мать, ни сестры.

Лет примерно восьми с помощью так называемых фантиков — сложенных в конвертики конфетных обложек — легко проигрывал для себя содержание прочитанных мною романов, рассказов, исторических работ, а впоследствии и своих собственных рассказов и романов, которые не дошли до бумаги и не предполагалось, что дойдут. Это оказалось в высшей степени увлекательным занятием в виде литературного пасьянса. Я играл в эти фантики сам с собой несколько лет — тюрьма Бутырская, кажется, остановила эту игру.

Мы жили очень тесно. Мое место было последним, а мир фантиков был моим собственным миром, миром видений, которые я мог создавать в любое время.

Сестры, да и мать думали, что я таким способом зубрю или учу уроки. Но никаких уроков с помощью этих

фантиков я не учил. Я увез коробку фантиков в Москву, и только после моего первого ареста сестра, уничтожая всю мою жизнь — все мои архивы, — сожгла и эту драгоценную коробку вместе с моими дневниками и письмами.

Так вот, отключаться в этот мир мне было очень легко, и, в сущности, все читанные мною книги я с помощью фантиков повторил.

Отец уже начинал слепнуть, и то, что я не занимаюсь, читаю только за обедом, раздражало отца. Он пытался иногда вмешаться в этот мир.

— Что ты делаешь?

— Читаю.

Все мы трое — мать, отец и я — сидим очень тесно у керосиновой лампы семилинейной, в ее керосиновых лучах я ловлю буквы, перелистывая толстую книгу.

— Что ты читаешь?

— Книгу.

— Какого автора?

— Понсон дю Террайля.

— Как называется?

— «Похождения Рокамболя».

Отец встает, и мне следует выволочка и длительное объяснение, что чтение таких книг не приведет к добру.

— Мой сын должен читать Канта и Шеллинга, — важно говорит отец, — а не Понсон дю Террайля, не Конан Дойля.

Отец что-то думает и выносит решение в своем энергическом стиле:

— Надо сходить к дяде Коле.

Дядя Коля — старший брат матери, единственный ее родственник, с которым у отца хорошие отношения. Дядя Коля — чиновник Казенной палаты. У него свой дом двухэтажный. Жена его давно умерла, а жена, которая жила с ним без венца, — хозяйка местной типографии, тоже приятельница отца. Она умерла первой, и отец служил панихиду на ее могиле.

Дядя Коля одинок в большом новом двухэтажном доме. Оба этажа — в стеллажах действительно большой библиотеки тысячи на две, а то и на три тысячи названий. Дядя Коля выписывает много журналов самых передовых, ведет дневники — каллиграфическим почерком, сочиняет сатирические стихи, обличающие местное начальство.

Мать показывала мне дяди Колину эпиграмму на очередного губернатора.

Когда подобострастно
 льстивые уста
Ему лизали жопу
 с чувством наслажденья,
А у него была вся
 жопа нечиста,
То это, господа, достойно удивленья.

Эта эпиграмма закончила служебную карьеру дяди. Тогдашний «самиздат» работал достаточно проворно и с хорошей отдачей.

Мать показывала мне несколько дядиных поэм и в более приличном, несколько мечтательном и вполне самокритичном роде.

Хранил от всех их много лет
Затем, что не был я поэт.

Не только любителем литературы, дядя был и квалифицированным судьей тоже.

— Вот Андерсен.

— Это все я читал.

— Ну, лишний раз прочтешь, — миролюбиво сказал отец.

— А Канта?

— Да! Вот стоит у вас «Критика чистого разума».

— Это тебе еще рано, — сказал отец.

— Видите, какие проблемы, — сказал дядя Коля неуверенно.

— Ну, вот что, Николай Александрович, — сказал отец, поднимаясь уходить. — Я зачем к вам — жизнь есть жизнь. Оставьте вашу библиотеку Варламу.

— Охотно, — сказал дядя Коля с улыбкой. — Можешь считать себя наследником моей библиотеки.

Меня покоробило от бесцеремонности отца. Но разговор был весь в его стиле.

Случилось так, что Галя — красавица и скромница — скоропалительно вышла замуж вовсе не в ту семью, о которой думал отец, — за сына местного жандармского офицера. Муж ее дослужился до штабс-капитана, был ранен и отсиживался в Вологде.

Молодые искали квартиру, и дядя Коля предложил отцу поселить их у себя. В ту же зиму дядя Коля умер от инсульта, а муж сестры продал все книги букинистам, кроме томов энциклопедий Брокгауза и Граната. У дяди было несколько словарей, которые сестра и муж сожгли зимой, не заботясь о покупке дров.

Это потрясло отца, и он проклял дочь. Разумеется, тут дело не в продаже букинистам, не в краже, а именно в сожжении, в физическом участии дочери в таком варварском акте.

С этого часа и до самой смерти Галя в Вологду не являлась. И никакие материнские мольбы не могли изменить отцовского решения.

Это был тот самый муж, который выдавал Гале рубль в день на хозяйство в течение нескольких лет, пока она не бросила его и не уехала в Сухум со своим вторым мужем.

Старший сын Валерий был человек, раздавленный отцом, — первое из его многочисленных семейных разочарований. Любитель-художник, вернее, рисовальщик, достигший немалой искусности в выпиливании по дереву по готовым рисункам. Эти рисунки, к позору брата, украшали его стену в братской комнате (проходной).

В юности отец дал ему возможность съездить в Третьяковку, к передвижникам, конечно, ибо другой живописи для отца не существовало.

Визит этот краткий не дал желаемого результата. Вообще отец практиковал своеобразный педагогический прием: любого знакомить с любым искусством — хоть с эстрадой, хоть с цирком, с модерновыми стихами и Четьи-Минеями, с живописью и философией, с животноводством и огородничеством, охотой и плаваньем.

Получив этот первичный толчок, сын, по мысли отца-творца, должен откликнуться и в унисон тому толчку, который дан, зазвучать сам.

Так и меня он водил то в церковь, где служил сам, то на бумажную фабрику, то в синагогу.

То заставлял участвовать в каком-то детском спектакле. Влечения лицедействовать в пять лет я не получил, но впоследствии не один год был связан с литературно-драматическим кружком школы и через этот кружок — с городским театром.

Для первого моего посещения театра отец сам выбрал пьесу — было это в восемнадцатом году. Пьеса и автор были выбраны умело — «Эрнани» Виктора Гюго. Умело выбран был и актер Россов, восьмидесятилетний старец, игравший двадцатилетнего короля Карла.

Впечатление было ошеломляющим. С театральным правом на возраст я соглашаюсь всю жизнь.

Следующий спектакль, на который мне были куплены билеты, были «Разбойники» Шиллера, где Россов играл Франца.

А затем последовало бесконечное количество показанных в Вологде в те годы спектаклей.

В Вологодском театре я даже жалованье получал, как статист, один какой-то сезон в бумажных миллионах. Театр полюбил, но актером не стал.

Тогда была мода на диспуты, на обсуждение репертуара.

Борис Глаголин там ставил и играл ряд сезонов. Кончался спектакль, Глаголин выходил на сцену, не разгримировываясь, и начиналось обсуждение спектакля.

Актера из меня не получилось, даже для школьной драмы. Но любовь к театру я сохранил.

Театральные кружковые дела давали мне официальную возможность поздно приходить домой. Матери было запрещено расспрашивать что-либо о проведенной ночи. И мать обычно говорила, отпирая дверь и зажигая лампу:

«На шестке там стоит суп — ешь».

Этой вольной жизнью пользовался не только я — десятилетний мальчик, но и мои старшие братья и сестры.

За чтением детей следили, но по каким-то старым, давно установленным правилам, которые никто из старших детей и не думал нарушать и которые внезапно выплыли в самом моем раннем детстве.

Так выяснилось, что мне можно читать — кроме школьного чтения — Уэллса, Майн Рида, Жюль Верна, Густава Эмара, Киплинга «Маугли», Виктора Гюго. Стендаля, Анатоля Франса я прочел много позже.

В индексах запрещенной литературы числились почему-то Александр Дюма, Жаколио, Луи Буссенар, капитан Марриэт и особенно Конан Дойль. Почему такая жестокая дискриминация постигла Александра Дюма с Конан Дойлем — я не знаю.

Александра Дюма я ввел в наш дом всем девяностопятитомным изданием сразу — из новой библиотеки, составленной из конфискованных книг помещичьих усадеб. Штампов я уже не помню. Штампы были, их не вырезали, а просто ставили новый: «Рабочая библиотека г. Вологды». Все эти тома, их было очень много, были переплетены в веселенькие ситцевые переплеты.

А с Конан Дойлем случилась такая поучительная история. Я как-то открыл чулан — он был под лестницей — и вытащил из-под пыльного хлама бумажный, выгоревший на солнце полуистлевший клад. Это были приключения Шерлока Холмса, неразрезанной пачкой,

хранящей следы веревки. Я понял, что это приложение к сойкинскому журналу «Природа и люди», который выписывали моему старшему брату несколько лет.

Отец отобрал приложения и запер в чулан, судя по истлевшей бумаге, несколько лет назад.

Я, конечно, прочел это чудное чтиво. А потом уж из библиотеки достал и другие романы Конан Дойля вроде «Затерянного мира», «Похождений бригадира Жерара».

Конечно, чтение и знание — разные вещи. Но ни на какое земное счастье не променяю ощущения жажды чтения, которое нельзя насытить никаким количеством книг, страниц и слов, это сладостное чувство еще не прочтенной хорошей книги. Я глубоко понимаю людей, которые не хотят слушать даже беглого изложения сюжета принесенной, врученной, но еще не прочитанной книги.

Сам я прочел бесчисленное количество книг в любом порядке и давно. Научился разбираться — интересная книга или нет. Я не считаю свой метод познания мира идеальным, но даже в университете не научился отделять полезное от чтения вообще.

Уэллс, Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер — суховатое чтиво, вовсе недостаточное, чтобы залить просыпающуюся жажду чтения. Все эти авторы и в подметки не годятся Александру Дюма — романисту, и Киплингу, Джеку Лондону.

Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский — все это школьное чтение, и на него нет эмбарго.

Катастрофа, которую потерпел отец в обучении своего сына Сергея, исключенного из гимназии за неуспеваемость, подействовала на отца самым угнетающим образом.

Третьего сына — меня — отец готовить в школу не стал и бросил мое обучение на руки матери.

Мать, вместе со своими обязанностями кухарки, поварихи и скотницы, стала меня готовить к школе. Никаких игрушек. Только кубики с буквами.

Быстро выяснилось, что у меня хорошие способности и что меня могут принять раньше на год — то есть семи лет.

Отец при известии о таком успехе приободрился и велел обучать меня по самой лучшей, самой модной, самой прогрессивной, самой современной «Новой азбуке» Льва Толстого.

Выяснилось, что педагогические способности графа ко мне нельзя применить, ибо мне не нужна «Новая азбука»... я читаю с трех лет и пишу печатными буквами с этого же возраста, без помощи прогрессивной азбуки. На учебнике «Новая азбука» я написал несколько слов и цифр печатными буквами, мать обвела их чернилами и строгой своей учительской профессиональной рукой написала дату. Эта «Новая азбука» долго хранилась у матери и сожжена лишь во Вторую мировую войну — в моем архиве.

Ознакомившись с результатами моего соревнования с Львом Толстым, отец решил подать мои бумаги в Вологодскую гимназию — ту самую, где учились мои братья и где Сергей потерпел столь тяжелый крах всего несколько лет назад.

В Вологде два средних учебных заведения для мальчиков — гимназия и реальное училище. Реальное училище было обеспечено педагогами лучшими — да и время тянуло в сторону техники, науки, — словом, более современным было бы учиться мне именно в реальном училище. Но окончание гимназии давало право поступления без экзамена в университет, что дальновидный отец имел в виду, во избежание каких-нибудь конфузов.

Через десять лет я мог поступить на медицинский факультет — никакого другого образования отец не представлял для своего сына, идущего по светской части.

В реальном училище я был бы, конечно, избавлен от произвола гимназических учителей и отцов города, командующих в гимназии Александра Благословенного, — выгода немалая для мнительного отца.

Реальное же училище не давало таких прав, как гимназия, — там давали знания, а не права. Но все это было отклонено отцом, ибо никакой другой карьеры, кроме карьеры врача, он не представлял.

Словом, обдумав все «за» и «против», в которых немалое значение имели мои личные способности, расчет доказать всему свету и произвол русский, и талантливость нашего рода, которую опровергали черносотенцы, отец лично за руку отвел меня в гимназию — подавать документы.

В вестибюле, прохладном и полутемном, люстры не зажигались, отец подвел меня к мраморной доске, где были высечены золотыми буквами фамилии первых учеников, окончивших мужскую Вологодскую гимназию имени Александра Благословенного с года ее открытия и по 1913 год.

— Вот здесь, — протянул руку отец, — в таком-то году, — отец подсчитал в уме чуть-чуть нетвердо, — должна быть высечена твоя фамилия.

— Хорошо, папа, — сказал я покорно.

Осенью 1914 года я начал там учиться. Из приготовительного класса я перешел в первый — с лучшими отметками по всем предметам.

В течение всей жизни своей я никогда не учил уроков — с первого до последнего класса, все запоминалось в школе. Немудрено, что я всегда был плохой педагог, никогда не умел толком объяснить другому решение задачи, хотя бросался помогать другим много раз.

Все задания на дом я делал в первый же час по приходе домой, часто еще до обеда, пока мать разогреет суп — с тем чтобы ничего не оставалось не только на завтра, не только на сегодняшний вечер, но и на следующий час после прихода домой.

Не знаю, сам ли я научился такому способу занятий или мама подсказала, только я этим способом учусь всю жизнь.

Во время революции целый ряд лет ученикам вовсе не давали «домашних заданий» — принципы и практика Дальтонова плана[14] устраивали меня вполне.

Вскоре я обнаружил, что обладаю даром, который в нынешней науке называется быстрым чтением.

Тяжело мне досталось в семье мое быстрое чтение.

В мое зрение попадают двадцать — тридцать строк сразу, и так я читаю все книги всю жизнь.

Способность эта обнаружена мной в самом себе еще до школы за нашим общим чайным или обеденным столом. Читать у нас за столом не запрещалось, так сказать, юридически, и пока отец справлялся с «Русскими ведомостями», я обычно успевал пролистать полромана, а то и целый очередной роман. Уэллс, Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер входили в индексы дозволенных к чтению книг.

— Ты не читаешь ведь, а проглядываешь.

— Нет, читаю...

Школьные дневники мои были в пятерках, но отец не верил никому, кроме себя. Постоянное мое чтение за столом не нравилось отцу — хотя всегда декларировалось в нашей семье весьма часто. Отец решил лично и публично разоблачить вундеркинда, открыть его тайну, изобличить и разоблачить.

Великий вечер настал. Для эффективного сокрушения восьмилетнего грешника была собрана вся семья, и

отец приступил к публичному допросу, то глядя на свои золотые часы, то опять убирая в карман свой американский «полухронометр», как нам объяснялось всегда, когда нам удавалось дотронуться до этого священного отцовского предмета.

В нашей семье не вертели спиритических блюдечек — занятие, которым увлекалась вся интеллигентная Вологда. В нашей семье не играли в лото — любимое препровождение времени чиновничьими вечерами, кроме преферанса.

Но карты были запрещены отцом и даже для пасьянса, для гостей береглась одна колода, но она никогда не вскрывалась, и мать не раскладывала пасьянсов.

Поэтому я не знаю, есть ли у меня флюиды в пальцах — и что нужно кричать, вытаскивая из мешка бочонок с цифрой «90».

Не умею я прикупить втемную, как, впрочем, и всветлую.

Все это я считаю лишним — как музыку, как живопись — способности мои не сумели развиться.

И если в живописи я имею какие-то любительские, но все же устойчивые вкусы, то к музыке и подступиться не решался. Учитель пения Александров захлопнул эту дверь.

Можно было бы ведь что-то слушать на музыкальных вечерах — ходить на концерты и вести себя в этом зыбком море.

Способностей музыканта у меня не было. Но вот мать предъявляла какие-то мои новые качества, не менее тонкие, как какие-нибудь «до-диез», и не менее необъяснимые.

Отец был преисполнен решимости разоблачить зазнавшегося медиума, зарвавшегося спирита, свившего гнездо в собственной его семье, положить конец шалостям новоявленного гения, дать публичное представление на манер спиритического сеанса, где восьмилетний медиум — отец не любил спиритизма, которым увлекалась вся Вологда тогда, — под твердой научной рукой будет разоблачен.

Горела керосиновая лампа с резервуаром в форме капустного кочана. В темноте вздыхали сестры, Наташа и Галя, — и где-то вглуби, почти растворившаяся во тьме, стояла мать, вышедшая из кухни.

Мы сидели друг против друга. Венские стулья потрескивали, у отца — почаще, у меня — пореже.

Цирковое представление не обещало быть долгим — об этом можно было судить по нервным пальцам отца, перебиравшим стопку книг на этажерке.

— Ну, — сказал отец громко и раздельно. — Возьмем что-нибудь такое, чтобы сразу стало ясно. Вот — «Строитель Сольнес» Ибсена — это ты читал?

В руках отца была тоненькая книжка «Универсальной библиотеки» в издании Сытина.

— Читал, — сказал я. — Еще в прошлом году.

— Расскажи содержание.

Я напрягся, и губы сами собой начали выговаривать фразы тем способом, который внесли в мою жизнь «фантики».

— В норвежские горы приезжает архитектор, чтобы построить храм Богу. — Голос мой креп с каждой фразой, и я уверенно пересказал «Строителя Сольнеса». Я ничего не забывал, а тем более читанное год назад.

— Да, вроде правильно, — сказал отец, поигрывая часами и что-то соображая. Не то он сам не мог вспомнить содержание ибсеновской пьесы, не то, наоборот, с удовольствием вспоминая.

— Правильно! — вздохнули сестры в темноте.

— Правильно! — показалась на свет мать. Но спектакль еще не был окончен.

— Но ведь ты рассказываешь сюжет? — озаренный какой-то новой педагогической идеей, спросил отец.

— Сюжет, — подтвердил я.

— Сюжет, — торжествующе дохнули сестры.

— Сюжет, — подтвердила мать, растворясь во тьме.

— Тонкостей не улавливаешь? — строго спросил отец.

— Тонкостей не улавливаю, — покорно согласился я.

— Он не улавливает тонкостей, — задышали сестры.

— Не улавливает, — дохнула из кухни мать.

— Так зачем же такое чтение? — отец уже уселся на своего любимого коня. — Зачем же такое пустое чтение? Прочтя художественное произведение, человек должен уметь увидеть характеры героев, увязать их с эпохой, со средой, а не тратить время на это бесполезно, прямо-таки вредно. Ты понимаешь, если чтение бесполезно, то оно тем самым и вредно?

— Понимаю, — сказал я.

— Вот видишь, понимаешь. А сам читаешь этого капитана Марриэта. Где ты берешь этого капитана Марриэта?

Я сказал, что беру у одного из школьных товарищей, Воропанова.

— Надо записаться в школьную библиотеку, или даже в городскую библиотеку. И там читать. Эти библиотеки создавали лучшие люди России. И сами лучшие люди России в свои школьные годы читали в таких библиотеках.

— Там мало дают, — искренне сказал я.

— Как мало дают?

— Две книги в неделю. Третью я успеваю прочесть, пока в очереди стою.

— Это совсем не мало. Над вопросом, сколько давать книг читать, думали лучшие люди России — Рубакин, Владиславлев. Норма эта — результат глубокого изучения вопроса, а не высосана из пальца, не взята с потолка. Ты должен читать в той же библиотеке, где читает вся русская интеллигенция, а не пользоваться какой-то контрабандой вроде капитана Марриэта. Я завтра же скажу директору Публичной библиотеки, и он даст распоряжение, чтобы тебе давали три книги в неделю. Библиотечные книги, кстати, нельзя будет читать за чаем, это отучит тебя загибать страницы, что ты допускаешь в отношении капитана Марриэта.

Залить эту жажду чтения не удалось. По совету кого-то меня отвели к вологодскому ссыльному, содержавшему библиотеку. Визит этот и его последствия описаны мной в рассказе «Ворнсгофер».

Мычанье, шепот искали выхода и слова. Никакие «Ай-ду-ду» не могли заменить того, что существовало помимо меня, жило помимо меня, хотя и во мне. Владея грамотой с трех лет, я к пяти годам научился пересказывать своими словами то, что я прочел в книжке. Но это были не сказки, не детские «Ай-ду-ду», а странным образом прозаические пересказы для старших классов мужской гимназии. Я подобрал хрестоматийного Знойко, попавшегося мне в учебниках брата Валерия. Вот из этой-то хрестоматии я почерпнул свои импровизации, которыми развлекал сестер, тревожил мать.

Мне было предложено показать случившееся со мной высшему арбитру — отцу, и отец выслушал не без интереса Плутарха и Овидия Назона из уст своего собственного сына.

Никакого решения по этому вопросу в семье принято не было, но с этого времени меня каждый вечер заставляли являться пред светлые очи отца, который сидел с

гостем или в зале, если гость был дальним, либо в комнате сестер, если гости были ближними — родственниками, хорошими знакомыми, соратниками отца по его кооперативным сражениям, и меня заставляли без подготовки рассказывать миф Назона либо биографии из Плутарха. Сначала я делал это охотно, но мне это осточертело, такая профанация того таинственного дара, который стучал в моем сердце. Как я ни старался варьировать какой-нибудь миф о Ниобее и биографию Цезаря, мне было тесно в границах прочтенного, и отец легко обнаружил, что я не всегда барабаню одинаково, а пытаюсь, как он выражался, «подвирать». Это подвиранье нарушало какой-то его тайный идеологический принцип, и вскоре меня не стали вызывать для рассказа о мифах.

Разумеется, хотя речь шла об адаптированной для средней российской школы хрестоматии без «Метаморфоз» Овидия и страстных биографий Светония — где все было целомудренно по-вегетариански, все же гости ожидали от способного мальчика, что он шагнет за страницы учебника Знойко и угостит слушателей настоящим Овидием, поэтом науки страсти нежной, или воскресит Агриппину, задушившую мужа, чтобы сделать императором сына.

Но я не уходил далее Знойко, не было у меня и сведений об этом.

Плутарха, конечно, нужно читать в юности, в детстве.

Это книга вроде Библии. Но не в адаптации для школьников. Поэтому Плутарх не мог оказать на меня влияния ни вредного, ни полезного — просто потому, что это был не Плутарх...

Когда я поступил в Вологодскую гимназию в приготовительный класс в 1914 году — и переходил далее в первый, второй — революция застала меня в третьем классе гимназии, — я был предупрежден отцом и мамой, чтобы я не огорчался, если буду получать плохие оценки, хотя буду заниматься хорошо. Не плакал, словом, не обижался, — на это есть высшие причины.

Однако никаких высших причин не оказалось, я окончил и приготовительный, и первый, и второй классы первым учеником. Родители внимательно рассматривали все мои пятерки — в дневнике, а также в свидетельстве об окончании четверти, полугодия всегда были пятерки.

— Меня боятся! — комментировал презрительно отец.

Стихи отцом презирались. Вот газетные заметки или статьи — другое дело — это патент на признание, а уж работа в редакции журнала — я заведовал в тридцатых годах двухнедельным журнальчиком в Москве[15] еще при жизни отца — такая деятельность вызывала в нем одобрение и уважение, хотя что может быть менее солидно. Отец не мог оценить и художественную прозу.

Я читал его очерки (мать показывала) о Кадьяке в церковном журнале, читал воспоминания о вологодских епископах, напечатанные в церковной прозе двадцатых годов.

У отца не было литературного таланта, американскими очерками он очень гордился, гордилась и мать.

Гимназическое учение начиналось с приготовительного класса, который считается теперь первым. В приготовительный класс принимали с восьми лет, но делалось и исключение. Я сел за гимназическую парту этой гимназии осенью 1914 года. Все экзамены, опросы шли в высшей степени благополучно для тщеславия отца, за исключением урока пения.

Пение преподавал городской капельмейстер по фамилии Александров, по кличке «Козел», чьи белые перчатки я часто видел мелькающими почти в цирковом темпе у городского военного оркестра, духового оркестра, хлещущего летний вологодский воздух резкими звуками, как бы пощечинами по вологодской тишине.

Малышом, затерянным в толпе, я часто вглядывался в неподвижное маскообразное лицо капельмейстера и удивлялся, как по взмаху именно его палочки то бушует, то смиряется оркестр. Как можно при таком неподвижном лице указать какие-то аллегро и престо, сразу доходящие до глубины души слушателей, ибо оборванные небрежной рукой в белой перчатке туши, гимны сейчас же вызывали движение, возгласы толпы. Ни одного лица оркестрантов я не видел. Лица были закрыты геликонами, корнет-а-пистонами, и что за тайна скрывается там, я еще не знал. Но лицо капельмейстера я видел ясно, вглядывался в его черты напряженно, хорошо запомнил его маскообразность, равнодушие.

И вот сейчас этот изученный мной на всех городских парадах человек подходит ко мне, но не с геликоном, не с флейтой-дубинкой, чтоб оглушить, навсегда лишить слуха мои бедные уши, а со скрипкой, чтоб тончайшим ликованьем, движеньем смычка извлечь сокровенную

суть детской души. И звенит струна, поет, пищит струна учителя над самым ухом.

— Ну! Тяни за мной! А-а-а...

Я протянул, подчинившись этой все сметающей воле, погрузившей меня в невидимый, неслыханный дотоле мир.

Учитель пения поглядел на меня с интересом, и тщеславное мое сердце уже забилось ожиданием очередной победы, ибо и арифметика, и русский язык — все это уже были проверенные рубежи.

Все в классе остановилось, замерло.

— Ну, потяни еще раз.

Я потянул еще раз.

Учитель сказал:

— Слух у тебя, Шаламов, как бревно. — И перевел внимание своей скрипки на следующего ученика.

Я расплакался нервными истерическими слезами, ничего не понимая. На перемене парту мою окружили товарищи.

— Дурак, — кричали они. — У тебя же нет слуха.

— Нет слуха, — в отчаянии ревел я.

— Так что же ты ревешь, дубина? Тебе не надо будет ходить на спевки.

Но я был неутешен, обижен этой неожиданной дискриминацией.

Отчет мой дома был выслушан не то что недоброжелательно (с отцом всякое бывало), а просто.

— Нет так нет...

Отец, вероятно, не имел бы ничего против, если бы я пел в каком-нибудь детском хоре — но законами физики отец командовать не мог, и семья примирилась с этой моей утерей.

А утеря была очень большая. Я так и вырос без музыки, представляя уже взрослым музыку мира по Блоку — как некий шум времени. Но шум этот вовсе не был музыкальным. Ритмы, которые слышал Блок, скорее уж относились к конкретной музыке, а к ограниченности гамм никакого отношения не имели.

Между тем малыш так тосковал именно по ритму, что задумал быть даже певцом — не художником, не скульптором, а певцом, и именно эта тяга к музыке и свела мальчика со стихами.

Капельмейстер «Козел» — Александров — появляется в моей жизни еще дважды. Не пройдет и пяти лет, как в послереволюционной школе я буду раздавать посылки «Ара»[16] и делить школьный хлеб — всем школь-

никам в тот год давали, кроме четверки — четверти фунта по общей карточке, — еще и восьмушку в школе. Прямо привозилась черная теплая буханка ржаного хлеба, липкого, грязного, и делилась — всегда мной в нашем классе.

После резки и раздачи обычно я вытряхивал мешковину, на которой резали хлеб, кому-то в руки. Но на этот раз не сумел сделать этого последнего движения.

Из темноты класса, откуда-то из коридора приблизилась фигура, в которой я с трудом узнал нашего учителя пения из первого класса гимназии, нашего городского капельмейстера Александрова. Он был, разумеется, в штатском, в каком-то кургузом пальто не по росту. Пение у нас давно, разумеется, не преподавалось, как буржуазная наука, и не было жертв — дискриминированных только потому, что у них музыкального слуха нет.

Я с трудом узнал капельмейстера.

— Разрешите мне, — сказал Александров приглушенно, — собрать эти крошки хлеба. У меня — курочки, курочки есть просят.

— Собирайте, — разрешил я. И Александров умелым движением повернул мешковину и вывел все хлебные крошки себе на ладонь. С ладони он пересыпал крошки в какую-то торбочку, мешочек, но торбочка была невелика.

Я спрятал мешковину, нож и пошел домой. Выбираясь из коридора школы, я увидел Александрова, вытряхивавшего себе в рот крошки.

Третий раз судьба свела нас еще через два года.

Начался нэп, и в родной город к отцу явилась его родная дочь. Ни более ни менее как балетная артистка. И не просто балетная артистка, а сама Мария д'Арто — таков был псевдоним этой популярной, прогрессивной, вошедшей в историю русского балета артистки, подруги Веры Комиссаржевской. Мария д'Арто провела в Вологде несколько концертов, но сразу было видно, что балерина отяжелела, что ей не поспеть за бойкой чечеткой местной «Синей блузы». И Мария д'Арто покинула Вологду.

Александров, ее старик отец, посещал, разумеется, все концерты своей любимицы, да еще артистки такой прогрессивной славы. Александров, одетый в лучший костюм, чуть припахивающий нафталином, сидел в первом ряду, ловя каждое слово, каждое движение знаменитости.

Следующим важным рубежом на моем пути к музам был урок рисования. Рисование началось не с начала года, как пение, и я был уже предупрежден дома, что я — не Рембрандт и не Репин, спросу с меня в школе будет немного, как и интереса к моим многочисленным рисункам — зверькам, человечкам, домам, — похожим больше на иконы в церкви, чем на произведения настоящего художника, обладающего знанием перспективы. Однако я должен очень внимательно вести себя на уроках рисования — ибо учитель Трапицын, преподававший две науки — чистописание и рисование, — родной брат нашего архиерея Александра Трапицына и даже живет в архиерейском доме — в соседстве с нами.

Рыжий, пухлый господин Трапицын, по-видимому, и от своего брата получил указание, как действовать с дерзкими школьниками, потому что никакого интереса моя личность в нем не вызывала. Я срисовывал какие-то кубы, цилиндры, сдавал контрольные работы, получал оценки — пятерки, не ниже четверок, ибо главное тут оценивалось — внимание, добросовестность выполнения задания — и все.

С революцией Трапицын исчез из нашего города, из нашей гимназии, из нашего класса, из моей жизни — навсегда.

Уроки рисования не были для меня ни скучными, ни веселыми, не хуже и не лучше математики и русского языка. И пятерки за них я получал так же, точно таким же способом, как и за решение арифметических задач. Но первого и единственного урока пения я не забыл никогда.

После архиерейского брата, носившего фамилию Трапицына, а не Тряпицына, как легко запоминалось, перебирая в уме звуковую основу фамилии — первые уроки геометрии мы уже получили, — я подумал, что наш учитель рисования — не от «тряпки», что было бы слишком для архиерейского брата, а от трапеции. Трапицын от трапеции. В этом нечто благородное, достойное. Но исчез с революцией Трапицын, и я перестал думать о правильном произнесении его фамилии; тем более что имя у учителя рисования было вполне подходящее — «Аполлон», Аполлон Александрович!

Я уже забыл думать о своем живописном образовании, продолжал рисовать свои домики, как вдруг году в восемнадцатом, что ли, было объявлено, что наш класс примет новый учитель рисования Александр Николаевич Россет — прямой родственник фрейлины Смирно-

вой, приятельницы Пушкина и Гоголя, калужской губернаторши.

Но о калужской губернаторше мы еще ничего тогда не знали и встретили нового учителя со страстным интересом. Казалось, что именно он написал «Евгения Онегина» и «Пиковую даму».

Россет нас не разочаровал. Одетый в черный отутюженный костюм, в сверкающей белизной накрахмаленной рубашке, с платочком, сложенным каким-то необыкновенным углом, — новый преподаватель был сама учтивость.

Сейчас же все ученики засели за рисунки — поставлен был для всех не то цилиндр, не то куб — белый, на подставке, и каждый на ватмане или просто белой бумаге попытался уловить душу этого белого куба.

Все еще рассчитывая, что пламя Микеланджело наверняка горит в моей душе, я, не жалея времени, изображал белый куб со всей строгостью того небольшого реалистического багажа, который был внесен в мою душу Аполлоном Трапицыным, а также и всем уровнем и вкусом тогдашнего русского искусства.

Все мои тридцать соседей сделали то же самое.

Россет собрал рисунки и сел за учительский стол.

— Ну, — сказал он, смешивая и перекладывая наши листочки, тасуя вверх-вниз, как колоду карт, — художников среди вас — нет. И я не ставлю задачу сделать из вас художников. Художниками надо родиться. А вот графически грамотными людьми можно стать, и этому я вас выучу.

К сожалению, Россет исчез из Вологды после первого же урока. Но еще долго мне чудился в классе запах его отличных духов, его крахмальная сорочка.

Живописную культуру мне пришлось уже пройти попозже — в музее Западной живописи на Кропоткинской, на выставках тогдашних — их было немало. Третьяковка меня угнетала с первых дней. В живопись передвижников я никогда не верил.

Врубель? Но про деятельность Стасова с Горьким против Врубеля на Нижегородской выставке[17] мне, к сожалению, не было известно. Врубеля в моей жизни было очень мало, и я очень медленно ощутил и принял его силу.

Рисунки мои, тетрадочки и показать было некому. Проклятый куб закрывал дорогу моим домикам, медведям и лисам в моем саду.

После приговора Россета надежды отца на мою живописную одаренность, которую, по его мнению, мог скрыть архиерейский брат Трапицын, умышленно мстя отцу, — развеялись в дым...

Участие в драмкружке давало возможность не бывать дома вечерами на законном основании, без всяких доводов, докладов и разрешений.

Деятельность этого кружка описана мною в очерке «Некрасовский вечер в клубе “Красная Звезда”».

К тому же у нас был кружок литературно-драматический, и я именно литературной силой-то и был — издавал рукописный журнал, делал доклады о поэтах, читал стихи на вечерах.

В двадцать первом году доползла до Вологды книга — один экземпляр на целый город — однотомник Некрасова под редакцией Корнея Чуковского с ГИЗовской маркой. Книга была отпечатана очень бледно — смутный текст на плохой оберточной бумаге, — но это был новый, невиданный некрасовский текст стихов и поэм, заученных нами ранее в ином, в куцем варианте.

Прибытие книги вызвало энтузиазм в городе, и в нашем школьном литературно-драматическом кружке было решено кое-чем дополнить программу вечера памяти Некрасова, чье столетие со дня рождения отмечалось в нынешнем году. Мы уже давно готовили «Мороз — Красный нос», «Железную дорогу», «Размышления у парадного подъезда», и наш руководитель давно уже вел борьбу с потоком шипящих «Рыцаря на час». Все это было выбрано и заучено еще нашими старшими братьями и старшими сестрами. Дорога для нас была давно проторена.

Но теперь был новый текст. Стихотворение, посвященное Комиссарову[18], исчезло, а вместо точек в «Княгине Трубецкой» появились слова.

Решили инсценировать разговор с губернатором, который затеяла княгиня в Иркутске. После долгих проб, сцен зависти, ревности и огорчений решили, что губернатором будет Лев Шиловский, пятнадцатилетний сын председателя местной талмуд-торы, врача-психиатра городской психиатрической лечебницы.

Его уверенный басок напоминал отцовское покрикивание на городских психов в сумасшедшем доме — отец работал психиатром в загородной психиатрической лечебнице много лет, там жил и отдыхал.

Губернатор в тогдашнем нашем понимании должен был иметь начальственный басок — да и для наших

зрителей только такой губернатор произвел бы впечатление реализма и жизненной правды.

Княгиней Трубецкой была Лида Перова, бывшая гимназистка из Мариинской женской гимназии, сущая школьница женской трудовой школы — в Вологде долго не вводили совместного обучения. Пятнадцатилетняя Лида была единственная старая сотрудница нашего литературного кружка. Главной задачей Лиды было донести до слушателей этот новый, найденный и опубликованный Чуковским некрасовский текст.

Сцена на станции нас не смущала: стол из фойе, две табуретки, коробка есть, чтоб чиркать спичкой и зажечь спектакль. Но княгиня! Меха! Соболя! Правдой был бы реальный тулуп ямщицкий, сибирский — только в такую овчину кутали княгиню в ее долгой морозной скачке. Но нам казалось — тулуп это не то, это не для княгинь. У самой же Лиды дома никаких мехов драгоценных не нашлось.

Выручила учительница немецкого языка Елизавета Николаевна. Она только что вышла замуж и «справила» себе к свадьбе беличью муфту и беличью шапку — да не ушанку, а цилиндром. Елизавета Николаевна, узнав про наши меховые затруднения, дала на время муфту и шапку княгине Трубецкой. Вопрос аппликации для княгини был решен.

А губернатор? Как быть с мундиром губернатора? С любым военным мундиром... Года четыре назад это в Вологде не было проблемой. Но через четыре года после революции? Затруднение казалось непреодолимым. В конце концов кто-то принес адмиральскую двууголку, новенькую, с атласной подкладкой, пахнущей нафталином.

— А вы меня не угробите, ребята?

Ребята не угробили. Потом эта двууголка так и осталась у нас — никто не хотел брать обратно.

Литературный вечер должен был состоять из двух частей. «Княгиня Трубецкая» была вторым, заключительным отделением. А первое было — концертом.

От линкующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

. . . .

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские..
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Концерт был большой. По два стихотворения никто не читал — в кружке было более ста школьников. Я тоже читал в том концерте стихотворение, но не Некрасова, а Игоря Северянина, из «Поэзоантракта». Стихотворение называлось «Сеятель» и было посвящено и адресовано Некрасову. В этом стихотворении не было никаких ананасов в шампанском.

А еще учкомом школы я был уполномочен попросить у заведующего школой две керосиновых лампы-«молнии» по 30 «линий», как это тогда называлось, ибо в клубе «Красная Звезда» электрического света не было. Эти две керосиновые лампы со стеклянным резервуаром и высокими ламповыми стеклами были величайшей драгоценностью для заведующего школой, ибо училась наша школа второй ступени, наша ЕТШ № 6, где придется, часто по вечерам, в темноте, и керосиновая лампа была единственным светочем, ведущим нас к высотам знания. Школу гоняли из помещения в помещение — лазареты, госпитали, военные курсы вытесняли нашу школу из одного помещения в другое: без керосиновой лампы в нашем пути нечего было делать. Лампы берегли. Керосин был тоже ценен, но тут не в керосине было дело. Лампы были большие и осветить сцену должны были, по нашему мнению, отлично. Переговоры об этих лампах велись с заведующим школой давно, но Леонид Петрович отказывал наотрез, — все, что у ламп можно было разбить, уже было разбито, — это были последние две лампы, я пошел к заведующему школой последний раз.

— Хорошо, — сказал Леонид Петрович. — Даю, Шаламов, под вашу ответственность личную. И если что-нибудь...

— Я даю вам слово, что ничего не случится. Я буду сам наблюдать.

На том мы и порешили. Почему понадобились эти лампы на сцену: ведь мы уже ставили вечера Пушкина в Доме Революции, Лермонтова — в городском театре, вечер Островского — в бывшей гимназии, но там в дни спектаклей работал свет. А Некрасовский вечер должен был быть в новом, свежесрубленном клубе 6-й армии «Красная Звезда». Электричество туда еще не было проведено. Наш некрасовский спектакль и начинал

жизнь этого клуба. Этот дом, этот клуб и сейчас показывают туристам, если городской музей закрыт по случаю выходного дня и туристов возят на автобусе по улицам Вологды глазеть на образцы деревянного зодчества — северную архитектуру в дереве — теплую, живую, в отличие от знаменитого, но мертвого камня южных стран.

У строителей северных храмов, деревянных церквушек был большой перерыв — война, революция, гражданская война. Накопленное уменье мастеров, религиозный пыл зодчих деревянных храмов нашел выход в яростном возведении клуба «Красная Звезда». Это было первое здание после революции, где методам топора и пилы было что сказать, доказать и показать. Укороченные церкви, превращенные в кинотеатры, в народные дома, мало что говорили прохожим о северном зодчестве, о деревянной архитектуре.

Клуб был выстроен на пустыре, на углу двух улиц к четырехлетию Октябрьской революции. Достраивался клуб в спешке, в фойе валялись балки, не ставшие балками. Еще занавес ходил туго, останавливался, когда хотел, и нарочно поставленные люди раздвигали и задергивали занавес изнутри — дополнительное зрелище сатирическое и лирическое. В клубе пахло еловой смолой, а не табачным дымом.

Программа Некрасовского вечера должна была начинаться с выхода бирючей с ручными трещотками перед закрытым занавесом. Трещотки мы брали в городском театре, где за контрамарки служил статистом один из наших школьников.

Трещотки эти и бирючи остались на Некрасовский вечер от Лермонтовского. При инсценировке «Песни про купца Калашникова» там эти трещотки и бирючи среди всяких «Гой-еси» были весьма к месту.

К месту бирючи были и в Пушкинском спектакле, привлекая внимание к перипетиям сюжета «Бориса Годунова». Было ясно, что и в Некрасовском вечере обойтись без бирючей нельзя.

Оба эти мальчика-бирюча были нашими же школьниками. Они привыкли к трещоткам, и трещотки привыкли к ним. Трещотки иногда заедало, но наши бирючи действовали весьма уверенно. Бирючи выходили на авансцену, в зал давался свет и только после бирючинского пролога выключался. Выключался свет и в Доме Революции — том самом Пушкинском доме, который был сожжен черносотенцами в 1906 году. Выключался в

городском театре — крошечном деревянном здании, где в зрительном зале были при партере ложи, бельэтаж и галерка.

В клубе «Красная Звезда» сцена была крошечная, а света совсем не было — только две школьные керосиновые лампы на полу. Слышно было, как тяжко дышит, как переполняется зал. Никто не снимал полушубки — в зале было морозно. Махорочное облако плыло над залом, где сидели вразвалку в левом углу бойкие парни в ярко-синих или ярко-красных галифе, в которых отплясывали они на всех вологодских вечерах падеспани и падекатры, падепатинеры, матчиши, и вальсы, и краковяки. На этот Некрасовский вечер висела рукописная афиша — «Танцы до утра! Фейерверк!». Танцы эти шли под трехрядку — один из бирючей и был гармонистом.

Долго не налаживался занавес, долго в последний раз устанавливалась очередность участвующих в концерте. Наконец школьник-сценариус — тогда помощники режиссера назывались сценариусами — толкнул бирючей в спину. Пошли. Бирючи выходили с разных сторон занавеса. Пространство до края рампы было так мало, что, отодвинув ногой занавес назад, бирюч зацепился и разбил лампу. Лампа вспыхнула и сейчас же была потушена. В щель занавеса я увидел искаженное от злобы лицо Капранова. У другой лампы стоял караульный, чтобы при первой тревоге погасить свою лампу. Так он и сделал, и бирючи остались в полной темноте. Это были ребята опытные. Зная, что в зале света не будет, по давно заученному счету «раз! два! три!» бирючи запустили трещотки.

Тут же в зале раздался винтовочный выстрел, второй, слова короткой команды. Бирючи наши смолкли. Как-то удалось зажечь оставшуюся лампу и развести занавес.

В зрительном зале была уже построена круговая оборона — почти у всех оказались винтовки, наганы; вперед, замаскированный скамейками, был выкачен пулемет «максим». Пулеметчик уже заложил ленту.

Немногие штатские — в том числе и наш заведующий школой Капранов — были положены на пол, в сторону.

Два красноармейца-латыша пробежали по сцене, под сценой, выскочили во двор, пробежали вокруг дома, вернулись, доложили командиру, и Некрасовский вечер продолжался. Скамейки были расставлены по местам, и

заведующий школой с его штатским спутником был усажен на почетное место.

Все номера обоих отделений прошли с огромным успехом, воодушевлением и артистов, и зрителей, которое все росло от стихотворения к стихотворению. Княгиня Трубецкая произвела фурор.

Злосчастный бирюч приблизил пальцы к ладам трехрядки, и падеспани и падекатры зашуршали по новенькому полу. Красноармейцы, шаркая валенками, крутились в бесконечных падеспанях.

Усталый бирюч ждал сигнала на вальс, ведь вальс — последний танец, такова традиция вологодских вечеров, а вальса все не было. Но прошел и вальс, и толпа высыпалась на ступени клуба — и исчезла в безлунной ночи.

— А где же фейерверк? Фейерверк!

Я вытащил пять военных ракет, пять картонных трубок с военного склада. Это тоже, как губернаторская двууголка, как беличья муфта княгини Трубецкой, было сюрпризом. Я сорвал крышку, обнажил запал. Зеленая парабола взлетела в вологодское небо.

Уже ушедшие домой красноармейцы кинулись к клубу обратно, пулеметчик тащил пулемет, а губвоенком еще не ушел.

— Опять он зеленое пускает, товарищ комиссар!

— Это мы пускаем, — сказал военком. И повернулся ко мне: — Больше не надо фейерверка.

На другой день меня потребовали к заведующему школой. Но что я мог сделать? Да и он — что он мог сделать? Футляр лампе смастерили цинковый вместо стеклянного, но вот стекла лампового не было уже никогда. Консервная банка была для него приспособлена, а когда достали новое ламповое стекло в 30 линий, пришел нэп, а я — кончил школу.

В коридоре у директора ждал меня незнакомый человек.

— Я главный режиссер театра, — сказал он, — и хотел бы с вами поговорить.

— Пожалуйста, — сказал я с облегчением.

— Я был вчера на вашем вечере в клубе «Красная Звезда». Лежал там среди стружек рядом с Леонидом Петровичем. Вы читали там Северянина, да?

— Да, Северянина, — сказал я, все еще не понимая, в чем дело.

— Вы не могли бы прочесть это самое стихотворение сегодня в Доме Революции? Я ставлю там Некра-

совский вечер. Вечер кончается апофеозом. Нечто вроде живых картин. Но эти живые картины — мертвы. Их надо оживить. Поставить стихотворную строчку. Вот это самое ваше стихотворение. Так как? Согласны прочесть в конце вечера то, что вы читали вчера?

— Хорошо, — сказал я. — Только...

— Без всяких только. Вы приходите, оба отделения — у нас тоже два отделения, как и у вас, — посмотрите из зала, а после занавеса приходите за кулисы и читайте стихи во время апофеоза... Я махну вам рукой, когда начинать.

В тот же вечер я прошел в театр и поднялся в антракте на сцену. Главный режиссер ждал меня.

— Вот тут и встаньте и лицом к залу прочтете. Здесь холодновато, вы шубы не снимайте, а шапку, пожалуй, снимите, в руках ее, что ли, держите. — Главный режиссер удалился, и ко мне сейчас же подступил человек, вышедший из-за кулис.

— А чем кончается ваше стихотворение?

— Как, чем кончается?

— Какая последняя фраза?

Сразу я не мог вспомнить последней фразы и стал читать стихотворение с самого начала.

— Нет, избавьте, — остановил меня новый мой знакомый. — Только последнюю фразу вашего стихотворения.

— Это не мое стихотворение.

— А чье же?

— Игоря Северянина.

— Игоря Северянина? Некрасову? Это — оскорбление. Игорь Северянин — не поэт. Это — футурист. Ну — какая последняя фраза этой бездарности?

— «Слава тебе».

— «Слава тебе»! «Слава тебе», «слава тебе», — энергично повторил мой новый знакомый, — а Виктор Николаевич, режиссер, говорит, что малыш... сочинил... Все обман!

Главный режиссер мчался мне на выручку.

— Это машинист сцены, — объяснил он мне, — ему надо знать, когда закрывать занавес, на какой фразе. Ни Северянин, ни Некрасов его не интересуют.

— «Слава тебе» — вот эта фраза, — сказал я.

В апофеозе участвовали загримированные актеры городского театра, размещенные на сцене по принципу физкультпаузы в спортивном параде, или так, как раз-

мещал фотограф группу своих клиентов, — чтобы все попали в объектив, а на почетном месте оказался самый знатный из клиентов. Самым знатным в том некрасовском апофеозе был сам Некрасов. Некрасовым был загримирован актер Вологодского театра с заношенной до предела театральной фамилией Ленский.

В городе не было второго экземпляра нового издания под редакцией Чуковского, поэтому о «Княгине Трубецкой» не могло быть и речи. В концертной программе жали на «Княгиню Волконскую», на декламацию и мелодекламацию, на лирическое сопрано и меццо-сопрано, на басы и тенора — все это имелось в вологодской труппе. Впрочем, иркутский губернатор участвовал в апофеозе, напялив на лоб двууголку похуже, что была на нашем вечере.

Был дан свет на сцену, и я, держа шапку в руках, не расстегивая ватного пальто, прочел стихи Северянина. Легко побежал занавес, отгородивший искусство от жизни...

Когда я увлекался футболом, да еще в школьной команде играл, отцу это не понравилось. Посмотрев один из календарных матчей городских команд, отец сообщил:

— Смотрел я эту новую игру. Бегаете в поту, в пыли, в грязи. Что за интерес? Пойди к матери и дров наколи!

Но отучить меня от футбола отцу не удалось.

Отец верил в личный пример. Всякое отрицание в его душевном строе выглядело как символ веры, немедленно подтвержденный. Отцовский символ веры последовательней и неуклонней самого символа веры из молитвенника, ибо тот, как казалось мне, — литература, а отцовский пример — вот он.

Отцовская проповедь в Обществе трезвости — а этих обществ он открывал немало — была вовсе не пустые слова.

Отец не пил, не курил, и никто из его гостей не пил и не курил в его присутствии. Даже в самые большие праздники, так называемые двунадесятые, даже на Пасху и Рождество, в нашем доме не подавалось никаких алкогольных напитков — ни виноградного вина, ни настоек или наливок, ни пива — ничего, что могло бы скрывать в себе алкоголь.

Это страстное воздержание имело и одну чисто личную причину. Отец отца — мой дед, деревенский священник где-то в усть-сысольской глуши, — был пьяница. Часто ссорился с бабкой. Однажды он напился и дошел пьяный до дома, стучался, но бабка не открывала. И дед мой умер на крыльце собственной избы, замерз[19].

Мне это рассказала мать. Отец не считал нужным в своих действиях с детьми ссылаться на какие-то примеры, из жизни или из книг — все равно. Единственный пример, на который он ссылался, — это была ссылка на лучших людей, но я хорошо знал, что вслед за упоминанием о лучших людях России последуют щипки и толчки.

Хоть ты тысячу раз почетный гость, но если ты хочешь курить, то вылезай из-за стола и иди на кухню или на улицу, если лето. Кухня была мамино царство с более либеральным принципом жизненного устройства.

Исключений не делалось ни для кого.

Естественно, что при таких традициях, да еще трактуемых как символ веры, гостей у нас было очень мало. Даже в большие праздники приходили братья матери, и то ненадолго. Своих родственников в городе у отца не было.

Результат этого догматического воспитания подтвержден личным примером.

Все три брата и две сестры — нас в семье было пятеро — курили все. Я сам курю с восьми лет. Дома, конечно, не курил никто, никогда. Я первый раз закурил на похоронах отца, закурил дома открыто.

Потянулся за пачкой в карман и рефлекторным движением встал, чтобы пойти на кухню. Мать рукой удержала меня на месте.

— Кури уж здесь.

Я сел и закурил.

После смерти отца стала курить и мама, понемножку, целый год курила, а потом умерла.

Конечно, при таких жестких правилах воспитания любая брань не только изгонялась и осуждалась. Даже за слово «черт» следовал немедленный шлепок, а то и построже что-нибудь. Никто из детей, разумеется, и не думал о ругани, любой — это было вытравлено в нашей семье. И сам отец, конечно, никогда не ругался: ни «сволочь», ни «черт» — вообще никаких бранных слов не могло быть в его лексиконе.

Но однажды я случайно услышал, как отец бранится про себя, и этот единственный случай запомнил на всю жизнь.

Я и он в темном сарае поили коз. Козы — животные чрезвычайно дисциплинированные. Перепутать порядок кормления просто невозможно. Та, которой дано не в очередь, принятую в этой группе коз и установленную самими козами, — не возьмет ни за что свою еду. Услышав матерную брань отца, я подумал, что какая-нибудь Тонька или Машка кинулись не в очередь хватать хлебово. Но оказалось, что матерная брань отца относится не к козам, а к Финляндии, которая только что отделилась. По этому воспоминанию я могу рассчитать и месяц — вроде декабря 1917 года...

Ни к живописи, ни к музыке, ни к театру способностей у меня не оказалось, оставались одни стихи, но о стихах отец и думать не хотел.

Я пишу стихи с детства, и это неприятно удивляло отца, не подозревавшего, что настоящая поэзия начинается очень поздно.

Ломая дурную привычку, отец подарил мне к пятилетию, узнав от матери, что я читаю с трех лет, типографским способом изготовленную, тисненную золотыми буквами толстую тетрадку «Дневник Варлама Шаламова». Вся страсть отца к паблисити была в этом подарке. Отец произнес небольшую речь, общий смысл которой был таков: вот, дескать, тебе дневник — мы будем совершать героические поступки, а ты — их описывать. Но, конечно, в прозе: факты там всякие, делать вклейки.

Словом, ни одной страницы в этом дневнике так и не было записано.

Сестра Галя, заглянувшая в дневник, подивилась моему упорству. С того момента, как сестра заглянула в дневник, он был для меня осквернен.

Я никогда в жизни не вел дневников. Жизнь, правда, сложилась так, что и возможности вести дневник не было. Моим дневником были стихи. Это я отчетливо чувствовал, ибо по поводу этого подарка я сочинил стихи о том, как мне подарили дневник.

В самом этом факте уже был ответ на отцовский вопрос. Но отец этого никогда не почувствовал.

Когда я поступил в гимназию и стал учиться на пятерки, это не удалило меня от стихописания. Одно из стихотворений — военных, разумеется, — было показано отцу, но отец перенес решение в официальную орга-

низацию — велел показать преподавателю русского языка Ширяеву.

Я помню и сейчас одну из строф, разумеется, беспощадно слабых:

Вот кавалерия неслась,
В столбах пыли взвиваясь.
Невдалеке гром пушек грохотал,
Свистели ядра, в воздухе взрываясь.
И страшный взрыв людей
там убивал

Я ждал, разумеется, одобрительного приговора, но приговор Ширяева был неодобрительный.

Более всего меня поразил разбор этого стихотворения, сделанный тут же:

— По-русски надо писать:

Вот в столбах пыли взвиваясь,
Кавалерия неслась.

В этом роде, отвергая начисто пушкинскую инверсию и даже более элементарные вещи.

Я со страхом увидел и услышал, что наш преподаватель литературы, как и мой отец, вовсе не понимает, не «слышит» стихов.

Отзыв Ширяева — мне было тогда восемь лет, — разумеется, упрочил мнение о моем графоманстве.

Через все мое детство, через все мои вечера проходит крик отца:

— Брось читать!

— Положи книгу!

— Туши свет!

Лампа у нас была одна, но речь тут шла не о лампе, а о свете в его самом высоком значении. По мысли отца, далеко не всякая книга полезна, а беллетристика и стихи определенно вредное чтение.

Мать заботилась о керосине в смысле физического света, отец же разумел свет духовный.

Ссоры отца с архиереями — притча во языщех в городе — все дальше толкали нашу семью в сторону дружбы с политическими ссыльными.

В доме бывали эсеры, меньшевики из ссыльных. Семья Виноградова, где мне разрешили бывать, — как раз семья ссыльного меньшевика, обосновавшегося в Вологде. Алексей Михайлович Виноградов был присяжный поверенный[20].

В это время началась Первая мировая война. Война изменила положение отца в глазах и светского, и духовного начальства, точно так же, как изменила положение всех ссыльных «оборонцев» от Керенского до Плеханова и Мартова, от Кропоткина до Лопатина, от Савинкова до Николая Морозова.

Во время войны тиран сближается с народом — это свидетельство истории. Не было исключения и в войну 1914 года.

Ораторская энергия отца, которому было тогда всего 46 лет, нашла выход в бешеной прямо-таки военной пропаганде. Отец, конечно, немедленно попросился на фронт, в Действующую армию, на «театр военных действий», как это официально тогда называлось, — но, получив отказ из-за многосемейности, сейчас же послал старшего сына, моего брата Валерия, в офицерское училище, сорвав ему высшее образование, хотя брат никакого патриотизма не обнаруживал.

Неудачу армии Самсонова отец переживал как свой личный позор.

Вступление немцев в Бельгию, Реймс и бомбардировка Роттердама — все это соответствующим образом комментировалось отцом и публично — во время служб, панихид, и дома — за чайным столом. Отец каждый день читал газеты — «Русские ведомости» и «Вологодский листок» — о чем, о чем, а о немецких зверствах наша семья была осведомлена более чем достаточно...

Галоши — великая вещь в русской провинции с ее вековой липкой грязью, глинистой грязью, облизывающей сапоги, распутицей, разрушающей обувь.

В 1956 году в Озерках, после Колымы, после многих лет сухой горной устойчивой почвы, несмотря на всю ее гибельность, я видел, как родители носят детей в школу на руках круглое лето, чавкая резиновыми сапогами, и только в крайнюю жару трещины и провалы поселка превращаются в гигантские впадины, похожие на калифорнийские каньоны, и становятся доступны пешеходу.

Вологда любого, в том числе и семнадцатого года, была такой же опасной, грязной, засасывающей, как и среднерусские тверские Озерки. Жить в городе нельзя было без галош, которые в Вологде почему-то назывались «калоши» и в устной, и в письменной транскрип-

ции, и только в Москве я с трудом отучил себя от вологодского произношения сего важного предмета.

Существовало даже выражение «поповские галоши» — глухие, с пряжками — того самого фасона, что в Москве пятидесятых годов был модой. Потом уже пошли галоши на «молнии».

Все городское священство носило как бы форменные, глубокие теплые галоши на застежке. Но отец не носил поповских галош, он подчеркнуто шлепал по грязи в светских, коротких, блестящих галошах.

В раннем детстве я гляделся в отцовские галоши, как в зеркало. Светлые, блестящие, новенькие отцовские галоши всегда стояли в передней. Разумеется, дети подрастали, им покупались галоши такие же, новые.

Свою же столь стеснительную обувь я ненавидел. Но правила вологодские требовали галош.

Поэтому одно из воспоминаний связано, сцеплено с сияющим ясным днем, солнцем, заливающим все тротуары и особенно ярко играющим на двух парах галош — отцовских и моих.

Февральская революция начинается для меня с блеска галош.

Февральская революция встречена была в городе восторженно. В ясное голубое утро началась в Вологде манифестация — так это тогда называлось.

Отец взял меня с собой, твердя: «Ты должен запомнить этот день навсегда», — и вывел меня на городскую улицу. Оба мы, сняв шапки, шли к городской Думе. Туда же со всех сторон города текли ряды людей с красными бантами, снявших шапки, взявшихся за руки. Все пели. Пели разные песни — каждая колонна свою, но главными были: «Смело, товарищи, в ногу», «Отречемся от старого мира», «Вы жертвою пали» и «Вставай, проклятьем заклейменный».

Было слышно и видно, что текст любой песни еще не заучен всеми на память. Песня рвалась и продолжалась снова. В семьях города и городских школах учили эти песни наизусть, переписывая друг у друга слова.

Но уже через несколько дней в Вологду был привезен из Петрограда выпущенный каким-то энергичным издателем целый песенник революционных песен. Песенник на газетной бумаге, в белой обложке, с краткой надписью «Гимн свободы». Там были тексты всех песен революции, вплоть до анархического гимна «Черное знамя», «Вставайте же, братья, под громы ударов...». От-

крывался сборник «Марсельезой» — «Отречемся от старого мира...».

Был там и «Интернационал», амфитеатровская «Дубинушка» и «Утес Стеньки Разина» Навроцкого заняли свое законное популярное место.

Но во время манифестации пели неуверенно, завидуя тем, кто по счастливой случайности или семейным обстоятельствам знал все слова.

Полиции не было — движением управляла новая молодая вологодская милиция с красными повязками на рукавах.

— Звездани его! — советовал товарищам какой-то милиционер, пользуясь вологодским глаголом.

Поющая толпа плыла к городской Думе, где на балконе стояли люди, которых я не знал, но городу они были известны.

Мы с отцом пошли к нашей гимназии. Около гимназии была толпа, а с фронтона гимназии старшеклассник в гимназической шинели сбивал огромного чугунного двуглавого орла. Чугунный орел был велик, с размахом крыльев метра полтора. Гимназист никак не мог ломом вывернуть птицу из ее гнезда.

Наконец это удалось, и орел рухнул на землю, плюхнулся и засел в сугробе снега. Мы двинулись дальше, а отец твердил что-то о великой минуте России.

Февральская революция была народной революцией, началом начал и концом концов.

Для России рубеж свержения самодержавия был, может быть, внешне более значительным, более ярким, что ли, чем дальнейшие события.

Именно здесь была провозглашена вера в улучшение общества. Здесь был — верилось — конец многолетних, многостолетних жертв. Именно здесь русское общество было расколото на две половины — черную и красную. И история времени так же — до и после.

Февральская революция была в Вологде праздником, событием чрезвычайным. В русском обществе водораздел сил шел именно по трещине, щели, линии свержения самодержавия. К длинному плечу этого рычага второго рода было приложено множество сил.

Февральская революция была народной революцией, стихийной революцией в самом широком, в самом глубоком смысле этого слова.

Десятки поколений безымянных революционеров умирали на виселицах, в тюрьмах, в ссылке и на катор-

ге — их самоотверженность не могла не сказаться на судьбах страны.

Для того чтобы раскачать эту твердыню, было нужно больше, чем героическое самопожертвование.

Героизм должен быть безымянным. История не сохранила имен тех людей, кто взорвал дачу Столыпина, а ведь чтобы искать такие имена, открыть архивы, нужна революция.

Люди эти, столько раз менявшие фамилии, что нет никаких надежд напасть на их след, как, впрочем, они хотели и сами.

Разве мы подробно знаем о Тетерке? Об Ошаниной? О Климовой? О Клеточникове?[21]

Ошанина и Климова в галерее русских женщин более значительны, чем прославленная Перовская или некрасовские героини.

Февральская революция была точкой приложения абсолютно всех общественных сил, от трибуны Государственной думы до террористического подполья и до анархических кружков.

И, конечно, в первых рядах жертв, борцов шла русская интеллигенция. В этой борьбе было всякому место: профессору и священнику, кузнецу и паровозному машинисту, крестьянину и аристократу, либеральному министру и колоднику-арестанту. Каждый старался вложить все свои силы. Это было моральным кодексом времени — встречать репрессии царского правительства с мужеством. Эти репрессии более всего касались партии эсеров, которая неожиданно стала партией миллионов.

Тут нет никакого чуда — эсеров в 1917 году было более миллиона. Февральская революция в значительной степени была сделана руками эсеров, и они получили большинство мандатов в Учредительное собрание.

Я не собираюсь здесь делать никаких подсчетов, хотя этот подсчет уже давно есть.

Для меня речь идет о детских впечатлениях, о юношеском восприятии событий, отраженных в нашей семье.

Отец мой был оборонец самого патриотического толка — как Кропоткин, Лопатин, Савинков, Горький, Сологуб, Бальмонт, Григорий Петров, Александр Введенский, Николай Морозов. Та борьба с царизмом, в которую вступил отец на своем месте, которая привела его в ряды освободительного движения еще при возвращении из Америки и свела с культурным священст-

вом — вроде Булгакова и Флоренского, при Временном правительстве показалась отцу недостаточно левой.

Силу освобождения России отец увидел в эсерах — в Питириме Сорокине[22], земляке и любимом герое отца — по теории «живых Будд».

Известна статья Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина»[23] и статья, написанная Сорокиным после беседы с Лениным в Бутырской тюрьме. Эта-то беседа и сохранила жизнь Сорокину, арестованному в Великом Устюге ЧК, и дала Ленину возможность написать «Ценные признания Питирима Сорокина».

Питирим Сорокин — будущий гарвардский профессор, президент Всемирного союза социологов, историк культуры, создавший многотомную теорию конвергентности. Истоки этой теории уходят в вологодскую глушь.

В Учредительное собрание отец голосовал по списку эсеров. В семнадцатом году после свержения самодержавия естествен поворот влево на несколько десятков градусов — от 90 до 180. Оценки, переоценки, заскоки и недоскоки.

Вот этот поворот и нуждается в жертвах, в живой крови.

Уже недостаточна была деятельность культуризма, воскресных школ, тут отец разошелся со своими всегдашними советчиками — Флоренским и Булгаковым.

Отец считал, что сам поворот этого огромного колеса, какими бы соединенными силами, разными силами ни вызывался, обязывает не тормозить его движения — в церкви, в воскресной школе, а, наоборот, ускорить ход, раз уж этот механизм пришел в движение.

Конечно, все это теперешние мои соображения.

Для «полевевшего» отца слишком ясной была беспомощность в физическом смысле кадетской партии: отец стал искать себе новых кумиров.

Вне всякой связи с отцом, а, наоборот, как бы в пику его вкусам, как бы вызовом недостаточной левизне его взглядов, в наш дом, в мою душу хлынул поток новых книг. Их немало было издано в 1917—1918 годах, на оберточной бумаге с бледной типографской краской. Хлынули книги, которых раньше не бывало.

«Андрей Кожухов», «Штундист Павел Руденко» Кравчинского, «Взаимная помощь как фактор эволюции», «Записки революционера» Кропоткина, «Овод» Войнич, сборники «Былое» и особенно книги автора, который оказал сильнейшее влияние на формирование и

укрепление моего главного жизненного принципа, соответствия слова и дела, — определили мою судьбу на много лет вперед.

Этим автором был Борис Викторович Савинков, романист Ропшин, особенно его книги «Конь бледный» и «То, чего не было».

Тогда говорили очень много, каждый был оратором, митинговал, мобилизовывал: каждый, во всяком случае, испытывал себя на ораторской трибуне.

Даже поговорка существовала: «При Романовых мы триста лет молчали, работали. Теперь будем триста лет болтать и ничего не делать».

Но митинги, устная агитация, ораторские баталии — хотя и с немедленным вывозом на фронт против Колчака — «Бей буржуя!» — то была лишь наиболее парадная часть этого перелома, этого землетрясения.

К этому же времени все типографии России на все запасы бумаги, до последнего фунта типографской краски печатали огромное количество книг — еще невиданных, неслыханных российским читателем. Какая-то брешь была пробита в 1905 году, теперь в эту брешь направлялся поток — не только листовок, что было и в военное время средством борьбы регулярным и действенным, классическим средством, а поток книг, брошюр самых разнообразных политических направлений — анархисты Бакунин и Кропоткин, эсеры Савинков и Чернов, Степняк и Вера Фигнер, Войнич «Овод». Ропшинский роман вдруг приобрел популярность и ответственность катехизиса, учебника жизни, не говоря уже об «Оводе» Войнич.

«Спящий пробуждается» мирного Уэллса толковали как взрыв, как лозунг.

«Записки цирюльника» Джерманетто разрывались на части рядом с романом о Спартаке. Этих книг оказалось не так мало.

Я не знаю, включил ли Керенский себе в заслугу эти многочисленные издания, которые вышли к душе читателя.

Не «Антона Кречета», не Ната Пинкертона, не «Пещеру Лейхтвейса» требовал новый читатель, а то, что было вокруг него и где он сам мог найти сразу в день, в час свое самое активное место.

Соответствие слова и дела этих авторов определило мою судьбу на много лет вперед.

Герцен и Чернышевский, явившиеся в магазинном издании, много теряли в своей привлекательности, не

были столь жизненно важными — кислорода в них было маловато, то есть попросту таланта.

Книгу Ропшина «То, чего не было» всю почти помню на память. Знаю все почему-то важные для меня абзацы, целые куски помню. Не знаю почему, я учил эту книгу наизусть, как стихи. Эта книга не принадлежит к числу литературных шедевров. Это — рабочая, пропагандистская книга, но по вопросу жизни и смерти не уступала никаким другим. Дело тут в приобщении к сегодняшнему дню, непосредственной современности. Это — книга о поражении революции 1905 года. Но никогда еще книга о поражении не действовала столь завлекающе, вызывая страстное желание стать в эти же ряды, пройти тот же путь, на котором погиб герой.

Этот фокус документальной литературы рано мной обнаружен и учтен. Судьба Савинкова могла быть любой. Для меня он и его товарищи были героями, и мне хотелось только дождаться дня, чтобы я сам мог испытать давление государства и выдержать его, это давление. Тут вопрос не о программе эсеров, а об общем моральном климате, нравственном уровне, которые создают такие книги.

Запойное мое чтение продолжалось, но любимый автор уже был определен.

Первая за триста лет свободная манифестация продолжалась.

Как всегда, кто-то кого-то толкнул, вырвал из рук кумачовый лозунг, разорвал ряды людей, пытавшихся спеться на ходу, хотя бы на «Вы жертвою пали...»

— Звездани его! — кричал вологодским глаголом молодой милиционер с красным бантом своему товарищу про нарушителя, прорвавшего ряды.

У праздника был свой план, диспозиция. Отец неодобрительно покачал головой и вывел меня в сторону от перебранки.

— Толпа — это толпа, — прошептал отец.

Эти слова я вспомнил позже, когда читал дневник комиссара Временного правительства Панкратова[24], народовольца и бывшего шлиссельбуржца. Панкратов караулил царя в Тобольске, был комиссаром Временного правительства при царе, когда Временное правительство уже не существовало. Панкратов запретил царю и его семье молиться в соборе, хотя собор был через площадь в несколько десятков метров.

Когда царь попросил объяснений и заявил протест, Панкратов, сам шлиссельбуржец, сам испытавший не-

мало расправ русского православного народа с врагами царя, заметил царю так:

— Да, это я запретил. Мой приказ. Поймите, гражданин Романов, толпа — есть толпа.

И Николай Романов понял и больше не просил разрешения ходить в собор, а молился в домашней церкви.

Было тут что-то общее не в ситуации, а в самом существе дела.

Если бы я пробегал на улице этот день один, а не прошагал, держась за руку отца, я больше бы почувствовал, больше бы понял, настолько был тонок мой нервный механизм, всегда напряженный. Но отец и не думал о таком варианте. Он считал, что, если он сам, своей рукой будет водить меня по праздничной России, я крепче запомню все, что увижу, запомню, во всяком случае, и его собственное участие в моем приобщении к «великим вопросам России».

Во всяком случае, кроме глухого недоброжелательства к отцу и недовольства этим путешествием, — память моя ничего не сохранила.

Мне все время было всюду тесно. Тесно было на сундуке, где я спал в детстве много лет, тесно было в школе, в родном городе. Тесно было в Москве, тесно в университете. Тесно было в одиночке Бутырской тюрьмы.

Мне все время казалось, что я чего-то не сделал — не успел, что должен был сделать. Не сделал ничего для бессмертия, как двадцатилетний король Карлос у Шиллера.

Я опаздывал к жизни, не к раздаче пирога, а к участию в замесе этого теста, этой пьяной опары.

Даже в первой моей семье дело кончилось крахом — двадцатью двумя годами тюрьмы заплатил я при столкновении интересов семьи и государства. Государство топтало любые семьи, дробило их на мелкие. Можно было сказать что-то, что-то склеить, если бы моя семья опиралась на семью, не прибегая к помощи государства.

Увы, в нашей семье при всех обстоятельствах делался выбор всегда в пользу государства, хотя это никого и никогда не спасало.

Но сейчас не время, да и не место вспоминать что-либо, кроме Вологды, — все мое прошлое было еще впереди.

Незадолго до революции в Вологодскую губернию была выслана знаменитая анархистка — миллионерша, баронесса Дес-Фонтейнес.

Наследница огромного состояния, баронесса не дала его в фонд какой-нибудь революционной партии России — как это часто делалось, традиция даже была, а нашла возможность использовать свои колоссальные деньги в высшей степени эффективным и оригинальным способом.

Ее люди скупили все бумажные фабрики Севера, все леса Вологодского, Архангельского, Великоустюгского, Тотьменского, Сольвычегодского края и приступили к постройке бумажных фабрик в этих краях.

Старый фабрикант Печаткин, имевший бумажную фабрику на тряпье на Сухоне, продал ее баронессе. Баронесса расширила Печаткино, а рядом с ним выстроила фабрику «Сокол» — под таким названием эта фабрика на Сухоне работает и сейчас. Это название было дано баронессой.

Такому фабриканту бумаги, как Сумкин, пришлось уступить свои торговые связи баронессе.

В тридцати верстах от Вологды баронесса возвела эту фабрику «Сокол» по самой модной модели. Иностранные инженеры — англичане, бельгийцы, получавшие бешеные деньги, составляли технический штаб баронессы.

Там был восьмичасовой рабочий день. Поселок для семей рабочих был выстроен по самому прогрессивному плану. Заработки и на фабрике, и на лесозаготовках, принадлежавших также баронессе, были гораздо выше, чем в соседних селах, районах, городах, вплоть до Вологды, где и жила сама баронесса.

Я учился с ее сыном — сын мой сверстник, только он учился в реальном училище, а я — в гимназии.

Вокруг этих фабрик в деревнях Вологодской губернии росли школы — преподавание там велось по лучшим заграничным образцам.

Все ее дела развернулись наглядно в огромное культурное начинание.

Для рабочих была выстроена и церковь — новая церковь, деревянная, как резная игрушка, поставленная на снег среди высоченных елей, и сама деревянная, еловая, резная. Вот в эту-то церковь и приглашен был фабричным священником мой отец в 1917 году, после Февральской революции ушедший со службы в соборе.

В 1917 году после резкого конфликта с духовным начальством отец ушел из собора вовсе. На этот раз он не был лишен сана, ему не было запрещено священнослу-

жение, только городской собор ему пришлось оставить. Отец принял предложение ссыльной миллионерши, анархистки, баронессы Дес-Фонтейнес и перешел фабричным священником на ее бумажную фабрику.

Отец перевез туда книжный шкаф красного дерева, письменный стол белого дуба и переехал сам.

Дети, сестра Наташа и я, жили у него там поочередно.

Лагауэр, учившийся в Брюсселе пожарник, развлекал гостей за табльдотом, который держала его жена.

Я был очередной жертвой неистощимого дружелюбия брюссельского брандмейстера. Со мной брандмейстер немедленно заключил пари, что встанет с кровати, где спит в белье, и наденет свою амуницию в одну минуту по секундомеру. Я — человек еще далекий от прикладной физкультуры, заинтересовался опытом. Действительно, надев брюки и всунув ноги в стоящие наготове сапоги, брандмейстер уже надел плащ и каску, когда еще не исполнилось и минуты.

Что там Россия! Там пожары!

По окончании моего кратковременного визита отец объявил, что перед моим отъездом мне, десятилетнему мальчугану, покажут всю фабрику, ни много ни мало.

Хотя меня и не очень интересовало, я согласился, чтобы не огорчать отца.

Бумажная фабрика, бумажная машина — это зрелище очень эффектное: ведь на одном конце заталкивают в дробилку бревно, а на другом — машина сама вяжет готовую бумагу в тетради.

Мне подарили кучу тетрадей в желтой обложке. Я осмотрел все производство. Инженер, или кто-то из начальства, сопровождал меня — именно меня, а не отца — в этом был весь фокус: сам отец эту фабрику уже, конечно, знал.

На этой-то фабрике для отца и строили новую церковь. Он участвовал в ее освящении и был первым священником там. Отец выбирал иконы для иконостаса и алтаря, советовал в росписях храма. Я был у него на одной из таких служб зимой 1917—1918 года.

Крошечная церковь стояла в густом еловом лесу. Снег был густой, и это еще увеличивало игрушечность новенькой церкви.

Люди сходились туда тропками с высокими бортами, почти коридорами снежными. На отцовских службах присутствовали все иностранные инженеры — американцы, англичане, служащие баронессы. Им тоже весь-

ма импонировало и то, что отец владеет английским языком, и вся его биография, и то, что он служит на русском языке, а не на славянском.

К сожалению, эта кратковременная удача быстро была прервана рукой судьбы. Баронесса уехала за границу, церковь закрыли. Фабрику конфисковали.

Зимой восемнадцатого года, возвращаясь с «Сокола» в Вологду, отец заболел крупозным воспалением легких.

Поезда тогда ходили плохо. Из-за поднявшейся метели отец ожидал поезда на каком-то полустанке. Следующий шел утром. Ждать отец не стал и пошел пешком по шпалам в город с чемоданом сквозь жестокую метель. Дойти-то он дошел, но продуло его насквозь, и он заболел крупозным воспалением легких с последующим плевритом — это были дофлемминговские времена. Ничего, кроме тепла и собственного сердца, человек не мог противопоставить болезни. Началось воспаление легких, плеврит, но он все же поднялся, хотя в это время по городу уже шли постоянные обыски и больного каждую ночь поднимали с кровати, вытаскивали и ощупывали самым жестоким образом.

Церковные дела моего отца были в высшей степени связаны с борьбой обновленческого движения против патриарха Тихона. Службы в церкви отцу не нашлось.

Выздоровев после воспаления легких, отец поступил заведующим книжным магазином «Жизнь и Знание», принадлежавшим той самой кооперации, чьим организатором и членом правления был отец с незапамятных времен, и несколько недель работал там — это не только давало карточки на хлеб, но было гораздо большим в жизни отца.

Но после газетной заметки в «Известиях Вологодского исполкома», заменивших «Вологодский листок», «Поп в книжном магазине»[25] — отец был отстранен от работы...

Отец не понял чего-то очень важного, что случилось со страной, чего не могли предсказать никакие футурологи из русской интеллигенции и что, с другой стороны, было давно предсказано, угадано, но от этих предсказаний и пророчеств отец отвернулся, ибо он не был поклонником ни Достоевского, ни Леонтьева. Этим пророчествам отец боялся поверить — все его прошлое бунтовало в его крови.

Девятнадцатый век боялся заглядывать в те провалы, бездны, пустоты, которые все открылись двадцатому столетию.

Слепому добраться до любой новой истины нелегко. На церковную службу отец вернулся уже слепым — в момент взрыва, подъема так называемого обновленческого движения. Вот тут-то отец и познакомился с Александром Введенским, знаменитым вождем радикального крыла обновленческого движения, встречаясь с ним неоднократно лично.

Об этом обновленческом движении бытует мнение, что вот были борцы с патриархом Тихоном, затем патриарха Тихона сменил патриарх Сергий, и Сергий ликвидировал обновленческий раскол, приняв покаяние всех обновленческих епископов, кроме Введенского.

На самом деле все было гораздо сложнее и гораздо проще.

В обновленческом движении — новом церковном движении в России, в котором имелись другие истоки, судьбы и пути, чем пути реализации философских исканий русского священства, — отец принял самое горячее участие. Именно это движение несло дорогую сердцу отца реформу — служба на русском языке, второбрачие духовенства, борьба белого духовенства с черным монашеством. Но самый главный свой вклад отец внес в тогдашнюю борьбу за веру — в антирелигиозные диспуты, которые с благословения или разрешения новой власти проходили во всех городах в открытом ораторском состязании. Вот тут-то отец и принимал самое горячее участие.

Опытный полемист, хороший оратор — все были ораторами в наш ораторский век, — отец не пропустил ни одного такого диспута. Их было очень много и в школах, и в мастерских, и в рабочих клубах, и в городском театре.

Слепого, я водил его на все эти диспуты и по сигналу председателя подводил к кафедре или столу, а после выступления отводил на место. Случалось, отец ошибался в направлении — в волнении, в жестикуляции, поворачивался лицом не к залу, и тогда я подходил, поправлял его позицию. Успех его речей был в Вологде велик, да в самом деле он был хороший оратор, опытный полемист. Речь его была абсолютно светская, со множеством светских примеров, что, конечно, производило хорошее впечатление.

Я помню его замечание на речь анархиста Герца, отбывавшего ссылку в Вологде, царскую еще...

Герц повторил вольтеровский каламбур о том, что верующий лавочник обманет меньше, чем неверующий лавочник.

«Если это так, — говорил отец, — одного этого достаточно, чтобы оправдать существование религии, если вас не будут обманывать в лавках».

Второе хорошее замечание запомнилось по поводу моднейшего тогда лозунга «Религия — опиум для народа», вывешенного на всех фронтонах театров, на всех площадях страны.

— Мы можем принять этот лозунг Маркса. Да, религия — опиум. Лекарство. Но кто из вас, — следует обводящий зал жест, — может сказать, что нравственно здоров?

Знаменитого столичного оратора двадцатых годов митрополита Александра Введенского я слышал много раз в антирелигиозных диспутах, которых тогда было очень много. Введенский разъезжал с лекциями по России, вербуя сторонников в обновленческую церковь, да и в Москве его проповеди в храме Христа Спасителя или диспут с Луначарским в театре собирали неисчислимые толпы.

И было что послушать.

Александр Введенский из всех ораторов был самым выдающимся, самым ярким, значительно превосходя Троцкого, Бухарина, Луначарского, Зиновьева, Керенского — все они были тогда ораторами.

Человек колоссальной эрудиции, исключительной памяти, цитировавший во время речи на десятке языков философию, социологию всех лагерей и наук — для того, чтобы, процитировав, разбить и сразить острейшим орудием своей сверкающей мысли.

Его службы в храме Христа Спасителя собирали тысячи людей.

Дважды на него совершалось покушение, дважды ему разбивали лоб камнями, как антихристу, какие-то черносотенные старушки. Дважды Введенский лежал в больнице после этих покушений, и в то время, когда я его слушал на диспуте, — носил черную повязку на лбу.

Смугловатый, худощавый, высокий, в черной рясе, с крестом и панагией — знаками епископского достоинства, черноволосый, коротко подстриженный, Введенский производил сильнейшее впечатление еще до того, как ему удавалось, прервав овации, начать речь, разинуть рот. Оратор абсолютно светский, длиннейшие речи Введенский произносил без бумажки, без тени конспекта, записи какой-то, и это тоже производило впечатление.

Радикальное крыло православной церкви, которое возглавлял Введенский, называлось «Союзом древле-апостольской церкви». Несмотря на некоторую грузность термина, уступавшего более краткому «Живая церковь», что из-за своего удобства в запоминании вошло в историю, хотя «Союз древле-апостольской церкви», возглавляемый Введенским, был гораздо многочисленнее, чем «Живая церковь», возглавляемая Красицким и его группой.

Литературность, звучность формулы в истории много значат. Но в «Союзе древле-апостольской церкви», сокращенно СОДАЦ, что тоже было данью моде, данью влечения к всевозможным растущим как грибы «аббревиатурам» тех лет, была главная мысль Введенского — жить по заветам древних христиан, самих апостолов.

Героическая пробоина во лбу митрополита, прикрытая черной повязкой, свидетельствовала, что это не пустые слова. Какая-то старуха, агент тихоновской церкви, пробила Введенскому голову, когда тот выходил из храма Христа Спасителя в Москве.

Таких покушений, после которых митрополит лежал в больнице, было два — в 1922 и 1924 году.

В практической жизни, в каноническом плане Введенский действовал весьма решительно, ставя все точки над «i».

Подобно тому, как мой отец освятил рубенсовскую репродукцию головы Христа и перед ней молился дома, митрополит Введенский, пользуясь своим правом епископа, причислил к лику святых свою собственную мать.

Любой епископ может выдвигать в святые любого человека, нужно только пропеть определенное количество или число молитв определенного чина в определенном порядке.

Ничего неканонического в поступке Введенского не было. Его святительская уверенность производила сильное впечатление.

Проповедь Введенского о Блоке, сказанная в храме Христа Спасителя, распространялась с энтузиазмом самиздата в наши дни.

Митрополит Введенский был не из церковных кругов. Сын директора гимназии в Витебске и сам учитель гимназии, он принял сан в 1912 году. Уже во время войны он выдвинулся своим ораторским талантом и деятельностью, весьма заметной. В 1917 году Введенский участвовал как делегат в Демократическом совещании в

Москве, произнес там речь в поддержку Временного правительства, а перед наступлением 18-го июня поехал на фронт, где, по примеру Керенского, пытался вдохнуть боевой дух в русские войска.

После Поместного собора 1917—1918 года, избравшего патриарха Тихона руководителем русской церкви, Введенский возглавлял борьбу церковной оппозиции, резко выступая против призыва патриарха Тихона не сдавать церковные ценности для помощи голодающим. Введенский был в числе тех пяти священников, добившихся у патриарха Тихона отказа от патриаршей власти, отказа от руководства русской церковью.

Именно в руки Введенского патриарх Тихон передал письменное заявление о том, что Тихон отказывается управлять русской церковью и поручает управление ярославскому митрополиту Агафангелу. В это время патриарх Тихон был арестован и начался его процесс. Арестован был и митрополит Агафангел, принявший церковную власть. Русская церковь осталась без управления. Вот тут-то Введенский вместе с другими и организовал свое обновленческое Высшее Церковное управление.

Начался обновленческий раскол, продолжавшийся более двадцати лет и оконченный в 1946 году со смертью митрополита Александра Введенского.

Обновленческое движение — яркая страница истории русской, ибо патриарх Сергий, решительно боровшийся с обновленчеством, взял на вооружение именно идеи Введенского.

На церковной сцене был разыгран не очень новый сюжет.

Победив Введенского, патриарх Сергий взял на вооружение именно его идеи — за исключением вопросов о монашестве, бесплатных требах — и победил.

Суть победы Сергия была в том, что он (а все заявления Сергия в правительство написаны в тюрьме) казался Сталину более надежным представителем русской церкви, более типичным, более авторитетным, чем модернист Введенский, соратник Керенского, постигающий тайны Блока. Само образование Введенского было помехой на его пути к переговорам с властью, хотя именно Введенский провозглашал, что коммунизм — это Евангелие, напечатанное атеистическим шрифтом. Луначарскому это суждение казалось тонким, Ленину смешным, Сталину опасным. Поэтому правительство поддержало более ему знакомые формулы патриарха Сергия.

Проповедь Сергия — за советскую власть — по радио, решавшая пути церкви и русских православных мирян, решила судьбу и Сергия, и Введенского.

Тут-то и было покончено с обновленчеством.

Этой известной проповедью и начал свой победоносный путь Сергий — митрополит, но еще не патриарх (патриархом Сергий стал в 1943 году, что имеет свои подробности). Когда Сталин выразил согласие на предложение Сергия о поддержке правительства по радио, именно Сергию доверялась эта речь. Поспелов[26] вел эти переговоры: Сергий — Сталин. Сталин сказал: «Надо получить текст речи и можно разрешить». С этим явился Поспелов к Сергию. Сергий наотрез отказался:

— Я произношу проповеди, говорю без подготовки всю жизнь. Я никогда не выступал и не буду выступать по бумажке. Если товарищ Сталин хочет, чтобы я выступил, пусть разрешает без подписанного текста.

С этим ответом Поспелов приехал к Сталину, и было решено рискнуть.

Митрополит Сергий говорил два часа. Доверие власти здесь было ему оказано, им — оправдано.

В 1943 году Сергий стал патриархом, разгромил обновленцев, взяв их программу, а в 1944 году умер, передав бразды правления Алексию.

Но в 1923 году все было еще впереди.

Введенский был создателем собственной оригинальной концепции в христологии, отличающейся, скажем, от Ренана или Штрауса.

Христос в понимании Введенского — земной революционер невиданного масштаба.

Толстовскую концепцию о непротивлении злу Введенский высмеивал многократно и жестоко. Напоминал о том, что евангельскому Христу более подходит формула «не мир, но меч», а не «не противься злому насилием». Именно насилие применял Христос, изгоняя торгующих из храма.

В работах всех христологов концепция Введенского обязательно излагается.

Обновленческое движение погибло из-за своего донкихотства: у обновленцев было запрещено брать плату за требы — это было одним из основных принципов. Обновленческие священники были обречены на нищету с самого начала; и тихоновцы, и сергиевцы как раз брали плату — на том стояли и быстро разбогатели.

Идея союза с передовой наукой, борьба со всякой магией, колдовством, понимание обрядности в свете критического разума — тоже было идеей Введенского.

В обновленческом расколе было много личного, много мелкой политики, много от пресловутой «конкретной ситуации».

В идейном же смысле церковная смута закончилась полной победой Александра Введенского.

Но тогда, сорок лет назад, Введенский казался разрушителем, лже-Христом, то есть Антихристом. Так его черносотенцы и называли.

Удивительным образом договоренность правительства с вождями церкви велась как бы в тюрьме. Именно из тюрьмы писал свои послания Тихон Белавин, его местоблюститель Агафангел. Не изменил этой русской традиции и митрополит Сергий — его проект об организации русской церкви прислан из Бутырской тюрьмы в 1927 году.

Введенский же в тюрьме не сидел. Он проводил в 1925 году Третий Поместный Собор[27] в Москве и сам был докладчиком по всем важнейшим вопросам церкви.

По просьбе отца я ходил на открытие Собора в 1925 году — чтобы не упустить, пользуясь словарем отца, великий день России.

Введенский был очень эффектен на фоне монашеских либеральных клобуков в самом темном подвале Троицкого подворья на Самотеке — месте баталии за высшую церковную власть.

На самом Соборе обновленческое движение не захватило, к моему удивлению, никаких новых рубежей.

Среди всевозможнейших диспутов, лекций, ораторских сражений, конгрессов, совещаний, когда дня не хватало студенту, чтобы пробежать по всем этим чудесам, когда каждый день мы стояли перед выбором — куда же пойти? Кого же послушать — анархиста Иуду Гроссмана, Розанова или обер-прокурора Синода Львова? или Бухарина или Кони? Чью проповедь выслушать? Куда пойти — в подпольный анархический кружок или к Мейерхольду в буденовке, размахивающему пистолетом? В Кривоколенный к Воронскому или в Колонный зал к Троцкому? Послушать лекцию в РАНИОНе о Фурье или выслушать Густава Инара, участника Парижской коммуны?

Горький был прогнан за границу, и не было известно, вернется ли он в Россию.

Но из самых высоких ораторских зрелищ того ораторского века были, безусловно, диспуты Луначарский — Введенский. Их было много: «Бог ли Христос?», «Христианство и коммунизм».

Попасть на эти диспуты было очень трудно, не потому, что они были платные, — но ограждение пройти было совершенно невозможно даже таким специалистам, как я и мой ближайший друг, студент того же курса и факультета МГУ, что и я.

У нас сорвались все попытки хоть какой-нибудь бумажкой заручиться. Оставался день до диспута, и я решился на крайнюю меру. Шапиро пришла мысль пойти и попросить контрамарки, но не у Луначарского и его многочисленного окружения — а у Введенского. «В этом есть что-то — комсомолец МГУ у архиепископа — обязательно даст», — рассуждал Шапиро. Но кто пойдет? Кто будет говорить? И что?

Но у меня сразу же сверкнул в голове план, и мы помчались в Троицкое подворье отыскивать Священный Синод, а там получить домашний адрес епископа.

По узким, заставленным шкафами коридорам, мы добрались до канцелярии Священного Синода. Одна-единственная комната с единственным столом. Сидевший за столом человек встал и сказал, что архиепископа сейчас нет.

— А где он живет?

— Да тут и живет, — сказал канцелярист, — вот тут за дверью. Что ему сказать, если он дома? Кто его спрашивает?

— Скажите, что его спрашивает сын священника Шаламова из Вологды.

Закрытая дверь сейчас же распахнулась, и Введенский вошел в комнату, очевидно, стоял за дверью и слышал наш разговор. Дома он был в вельветовом пиджаке и полосатых каких-то брюках.

Я изложил нашу просьбу.

— Охотно, — сказал Введенский, сел к столу и, выдвинув ящик стола, взял тонкий листок с типографским адресом и написал: «На два лица. А. В.».

— С удовольствием выполняю просьбу, — сказал Введенский. — Прекрасно помню вашего отца. Это слепой священник, чье духовное зрение видит гораздо дальше и глубже, чем зрение обыкновенных людей.

Я, разумеется, написал об этом отцу и доставил ему большое удовольствие.

Обрадованные, с заветной контрамаркой, не зная, где только ее сохранить ночь, мы помчались на ближайший митинг во втором Госцирке — на Садовой-Триумфальной, — от Самотеки, с Троицкого подворья было рукой подать. Вернее, «ногой», ибо трамвай и по Садовой ходил, кольцевой «Б», увешанный людьми, да еще ползущий мимо базара всех времен и народов, Сухаревки, которая в те времена действовала еще по всем правилам и во всей силе.

Мы добрались до Госцирка, где был митинг — протест по поводу поражения английской забастовки, — даже Триумфальная площадь была заполнена народом, и оттуда доносился резкий высокий тенор председателя Коминтерна Зиновьева: «Продали! Предали!» — осуждая английских профвождей, предавших английскую стачку.

Митинг закончился только с темнотой, и мы пешком добрались: Шапиро[28] к родным на Арбат, а я в Черкасский — в общежитие.

Мы спали спокойно, обладая чудодейственными контрамарками с инициалами А. В. Это было силой, которая дала бы нам возможность не только пройти все контроли, но и разгромить театр, если понадобится.

Но все же, оценивая ситуацию, мы собрались на диспут на два часа раньше. Все улицы, все подходы вокруг театра Зимина — к Дмитровке (теперь Театр оперетты) были заполнены народом.

Диспут «Бог ли Христос?» — Луначарский — Введенский. Быстро работая локтями, мы добрались до первого контроля и попали во внутреннюю цепь — добровольцев, которые сами, каждый вызвался на эту работу, чтобы послушать двух знаменитых ораторов.

Мы постарались проникнуть в партер, и нам это удалось. Хотя, конечно, все время пришлось стоять. Но это не имело никакого значения.

Все понимали отчетливо, и сам Введенский в первую очередь, что он выступает впервые за время существования советской власти открыто в защиту веры, поднимает перчатку, брошенную властью атеизма, безверия — как государственной религии тогдашней России. Если раньше сражение с попами велось в ЧК или в приемных народных комиссаров, то из церквей христианская религия впервые выходит сегодня на открытое сражение с властью в одном из главнейших вопросов идеологии.

Атеистические власти обязательно должны были бросить перчатку вызова на такой диспут — герольды ЧК должны были обязательно проскакать по всем площадям России, вызывая Бога на турнир словесный — другие турниры были выиграны властью давно. Крайне было важно для церковников, для верующих мирян, чтобы представителем религии — религии, не церкви — был достаточно талантливый, достаточно яркий и достойный человек.

Таким человеком и был Александр Введенский, священник в войну, протоиерей в революцию, епископ после церковного переворота, архиепископ во время диспута, митрополит в будущем, — а в самые последние годы имевший чин «митрополита-благовестника», то есть митрополита-пророка, предвещателя побед.

Александр Введенский вышел в черной рясе, перекрещенной цепями креста и панагии, черноволосый, смуглый, горбоносый. Вышел и сел за длинный красный стол без всякой застилки, где в президиуме уже сидели лица разного революционного калибра — от народовольца вроде Николая Морозова до социал-демократов вроде Льва Дейча.

Сел Луначарский в весьма пристойном пиджаке, перебирая пачку конспектов пальцами — собирал и раскладывал стопку листов. Ему надо было начинать доклад, а время уже истекало. Взрывы аплодисментов, требующих начала — существует такой вид аплодисментов, — становились все чаще.

Наконец Луначарский встал и пошел к трибуне, разложил на ней листки и начал свой доклад — одно из тех пятидесяти выступлений Луначарского, которые довелось слушать мне, тогдашнему студенту.

Луначарский был нашим любимцем. Это был культурный, образованный человек, чуть-чуть злоупотреблявший этой культурой, почему недруги из нашей же среды звали его «краснобай». Эта интеллигентность, мягкость Луначарского в то время не нравилась не только скептикам из студенческой среды.

Я сам слышал своими ушами доклад Ярославского в Театре Революции к десятилетию Октября, где позиция Луначарского во время штурма Кремля вызывала всякие поношения твердокаменного Емельяна в наглухо застегнутой кожаной куртке, произносившего с авансцены Театра Революции свои осуждающие слова по адресу Луначарского. Ярославский в Октябре в Москве был комиссаром ЦК при Москве.

Но мы не разделяли столь сурового ригоризма. Нам Луначарский казался барином, присоединившимся к революции барином, который, если его держать в узде и надеть ошейник, может принести большую пользу тому же Ярославскому.

В годы революции и гражданской войны Луначарский не играл в Москве большой роли и тем более не поправлял, не учил Ленина, как замечено и некоторыми документальными картинами последнего времени («Шестое июля»).

При Луначарском в Наркомпросе всегда был комиссар — сначала Крупская, потом Яковлева, потом Вышинский. Любой вольт и загиб наркома можно было вовремя удержать.

Хозяевами Москвы тогда были Сапронов, Бухарин, Преображенский — все РАНИОНовцы[29], строившие новую жизнь. Практика Луначарского насчет Маяковского и Большого театра неоднократно осуждалась Лениным.

Все это нам было известно. Известно было и то, что Луначарский вступил в партию лишь около 1917 года — в числе межрайонцев — на Шестом съезде партии.

Его сражения с Лениным после 1908 года — каприйская школа и школа Болоньи, где командовали Богданов, Луначарский и Горький и откуда был вышиблен Ленин, — так и вторично в Париже, школа Лонжюмо — без Луначарского, вопреки Луначарскому.

Все это было нам хорошо известно.

Не питая никакого политического доверия к Луначарскому, тогдашняя молодежь просто любила его послушать.

С авторитетом Троцкого речь Луначарского ни в какое сравнение не могла идти ни в политическом, ни тем более — в литературном плане. Троцкий — оратор более талантливый, чем краснобай Луначарский. Троцкий — оратор стиля особого, где сначала делался вывод, а потом он доказывался.

Луначарский же принадлежал к классической школе — накопление аргументов и — логический вывод.

В этом накоплении аргументов Луначарский пользовался весьма широким привлечением фактов, имен и идей, — подчас даже возникало недоумение — как увязывает Луначарский свой только что рассказанный факт, случай с темой его речи, доклада, от которых он отступил довольно далеко.

Было особенным удовольствием следить за путаными извивами мысли наркома, предвидеть их, угадывать или

не угадывать — и с восторгом или осуждением принимать какой-то логический сюрприз, логический парадокс.

Но Луначарский обычно благополучно выбирался из всех сетей, из всех неводов, которые сам себе расставлял, и срывал гром аплодисментов.

Иначе говорил Троцкий. У Троцкого не было лишней фразы, не служащей главной мысли, которая уже высказана. Тебе предстояло лишь подсчитывать бесконечные аргументы — одетые, конечно, всегда в оригинальную, блестящую даже одежду.

Студенческие скептики даже говорили, что из-за этого постоянного блеска слушатель, зритель отвлекался от глубины суждений Троцкого, которые были бы яснее при более простом, более шаблонном изложении дела.

Диспуты Луначарский — Введенский были построены тогда по весьма примитивной схеме. Докладчик — Луначарский, один час. Содокладчик — Введенский, сорок пять минут. Прения — по десять минут всем записавшимся. В случаях интереса выступлений время добавлялось при немедленном голосовании в зале.

После прений — заключительное слово содокладчика — двадцать минут, а заключительное слово докладчика — тридцать минут.

Регламент таких диспутов был построен самым, конечно, выгоднейшим образом для первого докладчика. Но это никого не обижало. На Введенского надеялись, и он всякий раз оправдывал все надежды.

Луначарский начал свой доклад — полемика эта издана, — привлекая большое количество самых современных мнений, а также и самых древних, от Эпикура до Вольтера. Доклад звучал в высшей степени убедительно.

Оставалось только послушать — какие стрелы, какие камни бросит из своей пращи Давид — Введенский в правительственного Голиафа — Луначарского.

Введенский встал, поправил на груди крест и резкими шагами вышел прямо к трибуне, где еще собирал свои листки Луначарский. В руках Введенского не было ни одной бумажки.

Введенский встал. В возникшей тишине отчетливо и громко выговорил: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Перекрестился и сделал шаг вперед, начал говорить, быстро овладевая вниманием зала.

Утверждение Луначарского было самым смелым образом подвергнуто открытой иронической критике.

Камня на камне не осталось от положений Луначарского. В том диспуте «Бог ли Христос?» Луначарский слишком много напирал на противоречия в Евангелии, опровергая историчность Христа.

Именно в этом видел Введенский подтверждение историчности Апостолов — не стенографичность. Это свидетели. Возьмем любой протокол суда — шесть свидетелей казни описывают объект и только по-иному.

В историчности Христа Введенский не хотел сомневаться, не только потому, что в этом не сомневается Ренан.

Словом, каждое положение, которое мы с такой надеждой принимали, было высмеяно открыто в самой блестящей форме.

Введенский цитировал на память целые страницы из трудов философов, отцов церкви, современных политических деятелей на десяти языках, современных и древних, что, разумеется, производило сильное впечатление. Тут же делался перевод (все без всяких бумажек) и следовала критика уже на русском языке.

Луначарский был явно побежден.

Прения были довольно серыми. Выступали какие-то митрополиты и просто любители, чьи речи я не запомнил.

Я ждал второго выступления Введенского.

Второе выступление Введенского было посвящено разбору аргументации оппонентов в прениях, всякий раз с тем же уничижительным блеском.

«Избави нас Бог от таких друзей, — сказал по поводу какого-то сомнительного комплимента Введенский, — а с врагами мы и сами справимся».

Понимая, что после заключительного слова будет выступать Луначарский, Введенский не преминул пустить наиболее эффектную стрелу в качестве предварительного удара, заранее предвидя, что последует и возражение. Эта стрела была вот какая.

— Иногда думают — да и вы сами тоже, наверное, что мы с Анатолием Васильевичем враги, ибо мы так яростно сражаемся здесь. На самом деле мы хорошо относимся друг к другу. Я уважаю Анатолия Васильевича, он — меня. Мы просто расходимся с ним по ряду вопросов. Так вот, Анатолий Васильевич считает, что человек произошел от обезьяны. Я же держусь другого мнения. Ну что ж, каждому его родственники лучше известны.

Буря аплодисментов приветствовала эти слова. Зал встал и аплодировал целых пятнадцать минут. И мы

ждали, как же ответит Луначарский на такой удачный удар противника. Обойти этот вопрос было нельзя — по законам диалектических турниров того времени. Промолчать — значит признать поражение.

Но Луначарский не промолчал. Все заключительное слово он посвятил разбору аргументов содокладчика, и казалось, что он уже от ответа уходит. Но Луначарский не ушел, и мы удовлетворенно вздохнули.

— Вот архиепископ Введенский упрекнул меня за такое родство с обезьяной. Да, я считаю, что человек произошел от обезьяны. Но в том-то его гордость, что на протяжении сотен тысяч поколений он поднялся от пещеры неандертальца, от дубинки питекантропа до тонкой шпаги диалектики участника нашего сегодняшнего турнира, что все это человек сделал без всякой помощи Бога, а сам.

Таким образом, удар шпаги Введенского был отбит, и мы успокоились. Побежали — я в общежитие, а Лазарь — к родным на Арбат.

Если в Москве в сражениях с Введенским Луначарскому приходилось трудновато — а это было весьма заметно, то уж в Вологде выступления Введенского напоминали избиение младенцев.

Тогда власти разрешали устраивать такие диспуты в целях общего просвещения. Отец мой активно участвовал в этих диспутах со стороны религии, хотя был уже вовсе слепым.

Введенский пользовался широчайшей популярностью, приезжал на эти диспуты в Вологду, вербуя себе сторонников в свое радикальное крыло русской церковной смуты.

Диспуты в Вологде велись по московским правилам. Докладчиком с заключительным словом был кто-то из местных — лектор совпартшколы Кондратьев или любитель-диспутант, скептик, вроде ссыльного анархиста Герца.

Обновленческое движение завоевало себе прочные позиции в Вологде — власти отдали им собор, из которого в революцию был выброшен отец. Служить как священник отец уже не мог из-за слепоты — провел только какую-то службу, где наградили его митрой. Но как консультант, как автор воспоминаний — в Вологде был и журнал «Церковная заря», номера три или четыре вышли, где были напечатаны воспоминания отца о кое-каких вологодских иерархах.

Но дело, конечно, не в этом. То, что отец оказался нужен, чрезвычайно его оживило. Я водил его на все диспуты как поводырь.

К сожалению, глаукома не хотела ждать, боли все увеличивались, а отец все не хотел перерезать нерв, все ждал, что вот-вот наука одержит решающие, возвращающие зрение победы. Операции Филатова над катарактой усиливали его надежды.

В конце концов он так и умер. Да и сейчас нет средств от глаукомы. Глаукому оперируют, но в более раннем периоде болезни, чем тот, который уже был у отца, когда он обратился к глазникам.

Наука не подвела отца. Его ждало буквально вот-вот после его смерти в 1934 году наступление радиомира, мира радиоприемников — огромного количества информации, которое получил бы отец, будь он жив.

В те годы были повсеместны лишь детекторные приемники, щелкавшие в ухе, нащупывавшие камешком радиоволны.

То, что можно было втыкать в розетку в электросеть, в России еще не было известно.

До радиоприемников отец не дожил пустяков — одного или двух лет.

Обновленческое движение имело хорошие корни в Вологде и обещало победы, но Тихон, сидевший в тюрьме, оказался хитрее. Он признал советскую власть, раскаялся и покаялся публичным заявлением в газеты. С этого часа обновленчество пошло на убыль. Обновленчество было добито патриархом Сергием уже во время войны.

Александр Введенский и был тем церковным реформатором — их очень много в истории, и не только России, — чьи идеи одержали победу, отстранив и уничтожив самого новатора.

Разве Петру с его западной политикой надо было убивать Софью? Софья была гораздо западнее Петра, гораздо более европейской. Не сражение католицизма и протестантства за завоевание русской души тут надо видеть, а нечто более грубое, более свойственное человеческой природе.

Разве Петру нужно было казнить стрельцов таким диким способом, да еще лично, — ведь во времена стрелецких бунтов казнено две тысячи человек, втрое больше, чем погибло в крупнейшем сражении века — Полтавской битве...

Разве надо было Николаю I вешать Рылеева, чтобы выполнить рылеевские идеи — индустриализацию России, внешнюю политику, железные дороги, освобождение крестьян. Все это сделал Николай, казнив декабристов.

То, что в русской церковной истории называется наследством патриарха Сергия, — это и есть идеи Введенского, принятые на вооружение при отстранении их автора и главного идеолога.

Введенский умер в 1946 году, так и не помирившись с Сергием. Борьба идей весьма отличается от борьбы людей.

На эту тему следовало бы написать не роман (рассказы, наверное, есть), а хорошее историческое исследование.

Самым худшим человеческим грехом отец считал антисемитизм, вообще весь этот темный комплекс человеческих страстей, не управляемых разумом.

Обдумывая, наверное, разные варианты, желающий дать наглядные результаты, как опасное зло можно задушить в зародыше, отец решил проблему этого духовного воспитания в обычной своей догматической и эксцентрической методе.

Старший мой брат родился в Вологде же, еще до отъезда в Америку, а две сестры и брат Сергей — за океаном, на Алеутских островах. Там он воспитывался отцом и на глазах отца по собственной его методике.

Я родился в 1907 году, через два года после возвращения отца в Вологду. Вологда — город, знававший еврейские погромы.

Когда я пошел в школу, отец сделал самое простое, чтобы получить из личности своего сына самый надежный результат.

В школе мне было разрешено приглашать к себе домой только товарищей-евреев. Так вышло с самого детства, что у нас дома постоянно — Желтовский, Букштейн, Кабаков, а также Виноградов, Алексеев — те лица, родители которых вели себя так же, как отец.

Так была успешно решена одна из важнейших педагогических проблем, беспокоивших отца.

Разумеется, в наш дом мне разрешали принимать кого угодно. То же относилось и к моим братьям и сестрам. Всех, кроме антисемитов.

Отцовская методика давала вполне надежный результат. Принцип срабатывал сам собой, как кибернетический автомат, закладывавший в юный мозг доброе и вечное.

Я думаю, что с отцами моих товарищей отец говорил и сам. Отец считал сионизм естественной еврейской религией и поддерживал еврейство не в горьковском, а в сионистском смысле. С удовлетворением, наверное, отец видел, как хорошо срабатывает его педагогический прием. Но отец не ограничился таким приемом в этой проблеме. Еще до войны, еще до школы, когда мне было лет пять, отец брал меня на свои прогулки — тут мы просто гуляли, но всегда в этих маршрутах была какая-нибудь важная тайная цель.

В одну из осенних прогулок отец привел меня к зданию синагоги и коротко объяснил, что это дом, где молятся люди другой веры, что синагога — это та же церковь, что Бог — один.

Встревоженный сторож — синагога была заперта — хотел побежать за раввином. Намерение отца было войти в храм, увидеть службу. Но время было не молитвенное.

В 1917 году сионисты по выборам в Учредительное собрание шли отдельным списком, и отец это одобрил. Сам он голосовал за Питирима Сорокина, правого эсера, — своего земляка...

* * *

Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал по земле, и не было от него защиты.

Именно по духовенству и пришелся самый удар этих прорвавшихся зверских народных страстей.

У каждого дворянина находился родственник из свободомыслящих, а то и просто революционеров, и справки эти спасали семью, давали ей какие-то права.

У духовенства не было таких справок.

Особенно тяжелым был удар по узкой прослойке ученых либеральных священников от Булгакова и Флоренского. Если Булгаков, Флоренский, Бердяев, Сорокин с трудом, но еще могли найти для себя защиту или выход в Москве, в столице, то уж для провинциальных свободомыслящих не было пощады. Их била — уничтожала, оскопляла — и «черная сотня», мстя за борьбу, и власть — по принципиальному догматическому положению.

Этот тяжелый удар перенес и отец. Вдобавок у него убили любимого сына, и он сам ослеп. Но мама, повторяю, не писала пьесы о мертвом Боге, а целых четырнадцать лет в одиночестве сражалась за жизнь.

Потом умерла.

Отцу мстили все — и за всё. За грамотность, за интеллигентность. Все исторические страсти русского народа хлестали через порог нашего дома. Впрочем, из дома нас выкинули, выбросили с минимумом вещей. В нашу квартиру вселили городского прокурора.

И пусть мне не «поют» о народе. Не «поют» о крестьянстве. Я знаю, что это такое. Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата.

Интеллигенция ни перед кем не виновата. Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией.

Новые силы, новые краски вошли в мою жизнь с приходом в наш класс моего сверстника — Алешки Веселовского. Алешка был маленький литературоведческий вундеркинд, имевший научные публикации уже в десятилетнем возрасте. Этот Моцарт литературоведческий болел туберкулезом.

Алешка был сыном племянника Александра Николаевича Веселовского, крупного литературоведа Алексея Николаевича[30]. Сам Алексей Алексеевич, отец Алексея, также имел ряд напечатанных трудов и после смерти отца в 1918 году бежал всей семьей в город хлебный, в Вологду, спасаясь от голода. На Север бежали немногие, и бегство профессора Веселовского не было связано с «Чайковскими событиями» в Архангельске[31]. Алексей Алексеевич просто искал хлеба, заработка и подходящих условий для больного туберкулезом маленького сына. Такие условия Веселовский нашел в Вологде и прочно там обосновался. Он преподавал историю, литературу в Вологодском рабфаке, новом привилегированном заведении, где оплата «шкрабов» была выше, чем в какой-нибудь жалкой школе 2-й ступени, которая не давала ни хороших карточек, ни места для учеников.

Сам же рабфак был размещен в Вологодской духовной семинарии.

Алешка Веселовский был родом из знаменитой литературоведческой семьи, где поколение за поколением укрепляло литературоведческие высоты, завоевывало новые рубежи, семьи, где подобно музыкальному гену в гении Бахов можно было говорить вполне и о литературоведческом гене.

К сожалению, этот ген не был проверен — дальнейшие поколения русских литературоведов были останов-

лены смертью Алешки в Вологде от туберкулеза — в 1921 году.

Вот в его-то семье — мать и отец оба историки литературы — я и встретил впервые в жизни настоящую библиотеку — бесконечные стеллажи, ящики, связки книг, набитых под потолок, — царство книг, к которому я мог прикоснуться.

В семье у нас не следили за опозданиями детей, и я широко пользовался этим разрешением.

Впервые тогда в мою жизнь вошел эпос — французский, мы читали на голоса «Песнь о Роланде», с Алексеем же вместе мы выучили наизусть всего Ростана в переводе Щепкиной-Куперник и разыгрывали целые сцены то из «Орленка», то из «Сирано де Бержерака», то из «Принцессы Грезы», то из «Шантеклера».

Эти вечера со скромным чаепитием, изредка с сахарином, часто кончались спиритическим блюдечком, до которого и отец, и мать Алешки были большие охотники.

В преферанс у Всселовских не играли, но блюдечко вертели весьма усиленно. Иногда и Алешка, и я, и еще кто-то из товарищей Алексея принимали в этом участие. Не помню, каких именно духов вызывали взрослые, какие именно вопросы задавали, но в наших детских спиритических вечерах мы вызывали по книжкам Роланда, Наполеона. Путных ответов мы не получали — возможно, оттого, что у меня были какие-то «флюиды» в пальцах, которые не дали явиться духу.

Эти спиритические попытки общаться с загробным миром всегда кончались — именно по предложению Алешки — немедленным доказательством устойчивости: посещением ночью кладбища. Кладбище Духова монастыря было под боком, и вот мы, после душной тесноты спиритического сеанса, выбирались на морозный воздух к Северной звезде.

Тут же Алешка требовал — посетить кладбище, прикоснуться к могиле и выйти на дорогу, где ждут товарищи испытуемого.

Я эти ночные проверки переносил легко.

Именно с Алешкой я был и в театре — на «Разбойниках», на «Эрнани». Театр был нетопленый, и мы на галерке, застывая в каких-то кацавейках родительских, боялись пропустить хоть слово из дымящихся белым паром актерских уст Карла Моора.

Сережа Воропанов был третьим нашим другом в этих литературно-спиритических экскурсиях.

Учились дружно мы всего года два учебных. Но уже на последнем году было известно, что Алеша болен и в школе учиться не будет. Я пришел к нему домой. Алешка хотя двигался хорошо — не лежал, а глаза его блестели, щеки были восковыми. Я рассказал школьные новости. Помахал ему рукой с порога.

А потом я узнал, что Алешка умер. Мать долго лежала — не туберкулез, а какое-то нервное потрясение свалило ее с ног. Но у Веселовских я больше не бывал.

Через год после смерти Алешки я встретил его отца, профессора истории Алексея Алексеевича Веселовского, на улице. Отец был вроде бодрее, чем при нашей последней встрече. Оба они — и профессор, и его жена — были страстные курильщики, курильщиками и остались. Алексей Алексеевич любил махорочные трубки. Закуривая ее, закашлялся.

— Ну, как вы живете, Алексей Алексеевич?

— Да так же, все вертим блюдечки. Приходите. Мы ведь с Алексеем говорим каждый день. И вы поговорите.

Но я не пришел к Веселовским.

* * *

В каких отношениях был мой отец с Богом? Этот вопрос занимал меня и в юности. Уж если он выбрал себе такую претенциозную, такую неблагодарную профессию, то должно же быть наитие, «транс», в который впадал, например, Александр Введенский — из близко виденных мной церковных ораторов. Но Введенский был человек не духовного звания; сын директора Витебской гимназии, Введенский принял священнический сан чуть ли не во время войны — первой мировой. А отец был потомственным профессионалом.

Я часто наблюдал, как молится отец, особенно в то время, когда после очередного «уплотнения» мой сундук передвигали из проходной в комнату отца с матерью, а сестры выезжали в проходную на мое место.

Отец молился всегда очень мало, кратко — минуту, не больше, что-то шептал привычное, пальцы обеих рук не прекращали свой вечный, бешеный бег, ладони вращались, кружились в обычном своем вращении, и было видно, что светские мысли не оставляли его мозг. Это — молитва на ночь.

Никаких утренних молитв, да еще громких, дома не видел я никогда. И почти не слыхал, ни раньше, то есть во время спокойной жизни, ни позже.

Возможно, когда-нибудь он и молился. Возможно, что он считал, что его служба в церкви — достаточное свидетельство его смирения, усердия. Возможно.

Дома, во всяком случае, он сообщал Богу в двух словах собственные проблемы, а перед сном и вовсе не мог оторваться от мирских дневных мыслей.

Молитва — теоретическое занятие. Психологическое настроение, не спокойствие — вроде позы йога. Йога в отце не было...

Отец мой жил жизнью культурного русского интеллигента. Летом вся семья жила в деревне, в шести верстах от города, на реке мелководной, как все тамошние реки.

У отца была лодка, и нам разрешалось брать весла, перегонять лодку на тот берег, возвращаться. Разрешалось, кроме двух дней в неделю — субботы и воскресенья. Если у отца была священническая служба, то на субботу.

Отец приходил из города пешком вечером каждый день — сама дача подбиралась ради этих его ежедневных прогулок. И я часто выходил на холмы, откуда было видно издали, как идет отец по ржаному полю, как качается в колосьях его серая, легкая ряса из шелка, как сноп золотой ржи.

Утром отец уходил в город — мы еще спали. Иногда в какие-то дни нам не разрешалось пользоваться лодкой — у отца была рыбалка.

Эта рыбалка — отец владел неводом да еще и другими сетями — была, по его мысли, первым приучением к природе, ее законам. Вся семья очень охотно принимала участие в этих рыбалках. Вся, кроме меня.

Я как-то не мог вызвать в себе тот дикий энтузиазм рыболовства неводом. Отец отрицал удочку и никогда удочкой не ловил сам. Но неводу он отдавался весь.

А однажды мне довелось стоять близко от отца, когда вытаскивали невод, и я был просто поражен неожиданной его злостью, азартом охотника.

В неводе была очень крупная красавица щука — фунтов на десять, а то и больше. Щука упрыгнула в песок прямо около ног моих, и я загляделся на красоту рыбы. Резкий окрик отца вернул меня на землю и воду. Отец, видя, что я упустил рыбу, бросился сам, бросился ничком, удержал рыбу на песке и почти мгновенно выхватил из кармана перочинный нож и воткнул в хребет рыбы. Щука бросилась, плеснула, но сразу заснула.

Презрительный взгляд отца был наградой моей неловкости, моей чуждости этих охотничьих страстей.

Потом я мало бывал на этих тонях, а на ночных поездках с отцом — никогда...

Меня перевели на обслугу коз, которых я усердно доил, ходил за ними, принимал козьи роды — нашел свое место в отцовском хозяйстве. Козы ведь умные, но привередливые. Была у меня одна из привередливых — коза по кличке Тонька. Коза заболела и умерла от рвоты неукротимой. Я помогал ей по указанию отца — ставил клизму, промывал желудок, но Тонька умерла у меня на руках. И я расплакался, забился почти в истерическом припадке, что вызвало крайнее неудовольствие отца — я заслужил ряд бранных кличек.

Выяснилось, что резать козлят я тоже не могу — надо «нанимать» человека.

Все это было уже в гражданскую, во время голода, когда отец уже ослеп, а брат был убит; вопрос — кому колоть и резать — получил неожиданную остроту.

Я, конечно, помню этих козлят с головы до ног и сейчас могу вывести их зрительной памятью отчетливо и ясно.

А с Мардохеем был вот какой случай. Обычно на длинной веревке коз привязывали за рога, хотя у коз были ошейники. Но я поленился и привязал веревку прямо к ошейнику. Мардохея привязывали в саду за забором и сараем. Веревка была достаточно длинная, и козел вскочил на забор, спрыгнул оттуда по эту сторону — удавленный, но еще живой.

Слепой отец вышел на крыльцо, глядя на мои беспомощные попытки сделать искусственное дыхание. Стали мы делать это вдвоем — не получилось ничего, тело Мардохея чуть похолодело.

— Надо зарезать его быстро! Вот тычь сюда! — отец нащупал сонную артерию козла. — Режь, режь! Надо кровь ему спустить, тогда можно будет съесть.

Ощупью отцу удалось прирезать козла — из перерезанной артерии синеватая кровь почти не текла.

— Повесь его на забор вверх ногами и сними шкуру, пока еще теплая. — Я снял шкуру. — Голову отруби! — Я отрубил голову.

Вот это охотничье искусство, с которым действовал отец, меня поразило.

Это и есть одна из причин, почему я потерял веру в Бога.

В моем детском христианстве животные занимали место впереди людей.

Церковными обрядами я интересовался мало.

Вера в Бога никогда не была у меня страстной, твердой, и я легко потерял ее — как Ганди свой кастовый шнур, когда шнур истлел сам собой.

Драмы рыб, коз, свиней захватывали меня гораздо больше, чем церковные догматы, да и не только догматы.

— Самое главное — это успех в жизни, успех. На эту тему отец удостоил меня беседой — к сожалению, поздно; в четырнадцать лет я уже был вооружен книжной мудростью, с какой никакой здравый смысл отца справиться не мог.

Я уже поспорил с Мережковским, почитывал книжки. Отец старался внушать это не всегда прямо, но и примерами.

— Ты должен завоевать успех. Сначала профессия — твердая, врачебная, например, если ты не хочешь по духовной части, а только потом политика. Совершенно не важно, какие ты принципы исповедуешь, — все равно. Лучше всего — это научные занятия, профессура, кафедра.

Аргументы насчет божественной сущности человека отец не принимал главными.

Его главным героем был Питирим Сорокин — зырянин, земляк отца по родине, по Сыктывкару.

Стихи отец не то что презирал — некрасовский уровень считал наивысшим. Некрасов — кумир русской провинции, и в этом вкусе отец не отличался от вкусов русской интеллигенции того времени.

Я кончил школу пятнадцати лет, первым учеником. И хоть давно было известно, что в высшее учебное заведение можно попасть только по командировке, а командировку не дадут сыну священника, отец продолжал на что-то надеяться.

Наша классная руководительница Екатерина Михайловна Куклина подготовила мне аттестацию высшего качества: «Юноша с ярко выраженной индивидуальностью», и поскольку я интересовался только литературой и историей, — «имеет склонность к гуманитарным наукам».

Я показал характеристику отцу. К моему величайшему удивлению, она привела его в бешенство, да что такое бешенство! — вызвала длительный истерический взрыв.

Отец усмотрел в моем школьном свидетельстве ту же руку его каких-то тайных врагов. «Теперь дураку

дают нарочно такую характеристику, чтобы не поступал на медицинский. Разве я их не понимаю!»

Отец разорвал бумагу: «Неси назад. Пусть тут будет ясно сказано — к естественным наукам. Меня не обманешь!»

Вся радость от выпуска, от окончания школы улетучилась. Но — слепой отец бился в кресле в истерическом приступе, белая пена выступала на губах. Я вернулся в школу, к Куклиной.

— Вы будете гордостью России, Шаламов. Высшее гуманитарное образование раскроет ваши большие способности.

— Я поступаю на медицинский, — попросил я, — и характеристика поможет.

И она, и я, и заведующий школой Катранов хорошо понимали, что ничего не поможет.

Не споря со мной, переписали мою характеристику, и я принес улучшенный вариант отцу.

Тут же выяснилось, что никаких командировок в вуз детям духовенства никакое роно давать не будет.

Выяснилось той же осенью, что все мои школьные товарищи — абсолютно все: из детей дворян, купцов, торговцев — все поступили в Ленинграде — туда, куда хотели, и на каникулы приехали в студенческих фуражках. У всех оказались какие-то связи, какие-то знакомства.

Отец обвинял и меня, и мать — всех, кого он мог услышать и почувствовать в комнате, он ослеп уже года два назад вовсе, — упрекал, что я не хочу учиться, а мать меня защищает, лентяя. Отец решил добиться приема у заведующего роно — того учреждения, которое занималось выдачей таких документов.

Я записался на прием к тогдашнему заведующему роно товарищу Ежкину. В жизни я не забуду этот визит.

Комната роно была на втором этаже присутственных мест.

Ежкин принял нас стоя, сам не садясь и не сажая нас. Отец держался за мое плечо, чтоб не ошибиться — в каком направлении ему говорить, и изложил просьбу.

— Вот мой сын кончил среднюю школу. Ему не дают поступить в высшее учебное заведение, лгут в школе — из-за какой-то мести старой.

Товарищ Ежкин был возмущен до глубины души такой наглой просьбой: «Поп в кабинете!» Голос Ежкина звенел:

— Нет, ваш сын, гражданин Шаламов, не получит высшего образования. Поняли? Никто его в школе не обманывает. Поняли?

Отец молчал.

— Ну, а ты, — обратился заведующий роно ко мне. — Ты-то понял? Отцу твоему в гроб пора, а он еще обивает пороги, ходит, просит. Ты-то понял? Вот именно потому, что у тебя хорошие способности, — ты и не будешь учиться в высшем учебном заведении — в вузе советском.

И товарищ Ежкин сложил фигу и поднес ее к моим глазам.

— Это я ему фигу показываю, — разъяснил заведующий роно слепому, — чтоб вы тоже знали.

— Пойдем, папа, — сказал я и вывел отца в коридор.

Всю дорогу отец молчал и вообще больше со мной не говорил на эту тему, не давал никаких советов насчет моего высшего образования.

В 1926 году, когда я поступил в университет, отец молился на коленях всю ночь. Но, как всегда, напрасно.

С товарищем Ежкиным мне пришлось познакомиться раньше, той же зимой 1922 — 1923 года, но в обстоятельствах, которые начисто исключают пристрастие Ежкина или его классово направленную злопамятность, ибо при этой встрече я был загримирован, а товарищ Ежкин находился в состоянии, когда человек не способен отличить добро от зла. Даже классовое добро от классового зла. Я не хочу сказать — Ежкин был пьян. Отнюдь, совершенно отнюдь, как говаривал Максим Горький. Товарищ Ежкин скорее всего был трезвенником, даже фанатиком трезвости. А может быть, и нет, все это не суть важно.

Дело тут вот в чем. Наш городской театр ставил спектакль силами любителей. Руководил постановкой один из режиссеров городского театра Бордин. Шла «Каширская старина» Аверкиева. Это хорошая сценическая пьеса, имевшая большой успех у зрителей десятых годов и естественным образом шагнувшая в двадцатые. Пьеса эта в четырех актах, причем третий акт кончается бурной сценой объяснения, во время которой герой ранит героиню и плачет над ее телом. Вот этого героя играл губвоенком Мазо, при обязательном условии — не отстегивать кавалерийских шпор. Марицу же, его невесту, играла вологодская любительница Нина Николаевна Кашинова, будущая заслуженная артистка РСФСР из театра Моссовета.

Губвоенком Мазо был знаком с этой пьесой и раньше и играл на репетициях не без блеска, если бы не кавалерийские шпоры, но к началу второго акта выяснилось, что Мазо где-то сильно заложил. Спектакль в третьем акте кончился тем, что губвоенкома едва оторвали от артистки Кашиновой. Да еще после занавеса на аплодисменты механик привычным движением раскрыл занавес снова, обнажив так неудачно одну из тайн вологодских кулис.

Занавес задернули, и заведующий Главполитпросветом Вологды товарищ Ежкин отправился в качестве цензора объясняться к губвоенкому Мазо.

Мазо под руку с Кашиновой по ошибке попал в общую артистическую уборную, куда собрались и мы, статисты городского театра.

Мазо распорядился принести для всех артистов из армейских запасов пива — быстро приволокли целый ящик пива неизвестного происхождения со знаком вологодской марки. В это время явился товарищ Ежкин и, подступив к Мазо, стал внушать губвоенкому все неприличие его поведения.

Мазо речь Ежкина не понравилась, и он вытащил наган.

— Ты трех минут не проживешь, гад. Ну, руки вверх!

Ежкин поднял руки.

— Считаю до трех — и ты на том свете!

При счете «два» любительница Кашинова обняла губвоенкома за шею и повалилась с ним на пол. Выстрел Мазо пришелся в потолок.

Товарищ Ежкин юркнул в дверь и больше, мне кажется, в Вологодском театре не бывал.

Губвоенком же вдруг захрапел и уснул. В четвертом акте роль главного героя доиграл сам режиссер Бордин. У него был большой опыт работы на провинциальной сцене, а там такие случаи бывали нередко.

* * *

Я много раз думал — почему в Вологде, таком традиционно свободолюбивом городе не было ни одного восстания, ни одного мятежа против новой власти.

Ведь нет городов, где бы не поднимался мятеж. Вологда — исключение. Это имеет свое объяснение.

Объяснение это — в жестоком терроре, осадном положении, в котором город находился, в видах предварительной цензуры, что ли.

Человеком, возглавившим и организовавшим этот террор, был Кедров, командующий Северным фронтом, председатель известной «Ревизии».

Слишком дорогой ценой, а проще сказать, — головой пришлось бы заплатить любому гимназисту. Потерпев неудачу в Архангельске, Кедров со своим Особым отделом обосновался именно в Вологде, в штабе Шестой армии, возглавляемой царским генералом Самойло.

Странный человек был Кедров — Шигалев[32] нашей современности, Шигалев — в таком невероятном сочетании явившийся на вологодскую, русскую, мировую сцену.

Кедров был не только Шигалевым. Тут было нечто пострашнее. Юрист и сын юриста — московского нотариуса, отдавшего все личное состояние на революцию еще в начале века.

Врач, учившийся в Брюсселе, где учат не только лечебным знаниям, но и гуманизму. Музыкант, окончивший консерваторию по классу рояля, сам вдохновенный пианист, развлекавший Ленина глубочайшим исполнением «Аппассионаты» еще на швейцарских вечеринках.

Кость от кости, плоть от плоти московской интеллигенции.

Именно Кедров заставил меня подумать, что все это не облагораживает.

Знаменитый военный руководитель, командующий Северным фронтом, а когда его сняли, через месяц после командования, он уже успел расстрелять немало людей.

Кедров был снят через полтора месяца после назначения — за перегибы, по представлению Ветошкина[33], боявшегося, что Кедров завтра расстреляет и его, председателя Вологодского губисполкома, за провал мобилизации. Мобилизация на Северном фронте — сама по себе ничтожная — тысячу человек надо было мобилизовать, но и этой цифры не удалось добиться.

Но историки гражданской войны считают, что борьба Кедрова в гражданской войне с контрреволюцией может быть приравнена к самой большой битве в истории, и роль Кедрова не должна быть забыта.

Не знаю, так ли это?

Вряд ли масштабы подобны битве за Берлин.

Триста тысяч человек убиты — какое тут может быть сравнение с кедровскими возможностями.

Словом, командующий Северным фронтом был снят и заменен другим.

Кедров был назначен после Севера командующим разгрузкой картофеля в Московском узле — пока, разумеется, решается его дело.

На следствии по делу о перегибах, о расстреле заложников, которое велось в Москве, Кедров предъявил ленинскую телеграмму, — она широко комментировалась, — телеграмму, которая кончалась словами: «Прошу вас не проявлять слабости — *Ленин»* [34].

Ленин сказал на следствии, что он не думал, что под слабостью следует понимать расстрел заложников.

Дело это кончилось полной победой Кедрова — он вернулся на Север в роли начальника Особого отдела и все, что хотел, задумал, — выполнил.

Именно Кедрову принадлежит идея регулярных обысков, облав, проверок.

Трудно сказать, приносили ли его усилия толк или нет. Вся информация такого рода основана на слухах, на доносах, на «информации».

У Дзержинского Кедров возглавлял весьма специфический отдел: по борьбе с предательством в партийных и военных рядах. Поле деятельности было и достаточно глубоко: Кедров возглавил целый ряд следствий по этой части. Первая его нагрузка — еще до Севера — расследование мятежа левых эсеров — в своем специфическом плане — предательство в Красной Армии. След этой работы остался, и Дзержинский предложил Кедрову продолжить ту же работу.

Кедров возглавлял комиссию по проверке ряда фронтов, без конца находил и уничтожал врагов, — словом, занят был по горло.

На тех же ролях Кедров остался и при Менжинском, и при Ягоде, и при Ежове.

Работая на Кавказе, Кедров собрал досье на Берия и отправил доклад и материалы Дзержинскому, но в силу каких-то обстоятельств Дзержинский не успел познакомиться с документами Кедрова. Дзержинский умер в 1926 году, а в 1939 году к руководству НКВД пришел Берия, тот самый Берия, на которого у Кедрова собиралось когда-то досье. Кедров чувствовал достаточно крепкую поддержку Сталина и решил действовать открыто.

Сын Кедрова, Игорь, работал вместе с отцом в Чека. Договорились так, что Игорь вместе со своим товарищем подадут записку прямо по начальству.

Если что-нибудь случится, Кедров известит сам Сталина. Такие ходы у него были.

На следующий день Игорь и его товарищ были арестованы и расстреляны.

Кедров тут же вручил Сталину свою докладную, заготовленную заранее. В тот же день Кедров был арестован и посажен в одиночку, где его допрашивал сам Берия. Во время допроса Берия сломал Кедрову железной палкой позвоночник, добиваясь признания во вредительстве.

У Кедрова и здесь нашлась возможность известить Сталина, и Кедров написал Сталину письмо, рассказав о своем сломанном позвоночнике и требуя ареста Берия.

В ответ на это вторичное письмо к Сталину Берия застрелил Кедрова в тюрьме самолично.

Письма Кедрова Сталин показал Берия. Оба эти письма были найдены в сейфе Сталина, после его смерти. Именно об этих-то письмах и говорил Хрущев в докладе на XX съезде. Таков был конец Кедрова.

В 1918 году в Вологде аресты шли день и ночь.

О ночных облавах, сгубивших отца, я уже рассказывал. Но бдительность Кедрова не ограничивалась ночным временем. Город жил в облавах, в ежедневных арестах.

Рыночная площадь была переименована в площадь «Борьбы со спекуляцией». Там шла борьба со спекуляцией. Но не только она.

Я — десятилетний мальчик — торговал пирожками и заметил, что особенно много скоплялось людей вокруг самодельной рулетки — табуретки с прибитой фанерной доской, разделенной на 10 секторов, совершенно равных.

Звонкий голос безрукого хозяина табуретки: «Ставьте ваши ставки, граждане. Плачу за пять — двадцать пять, за двадцать пять — сто двадцать пять, — ответ до двух миллионов». Хозяин портативного Монтекарло был всегда настороже, чтобы подхватить табуретку и сигать через забор при тревоге. Действительно, не проходил и день, как свисток звенел, раздавался крик: «Облава!», и всех загоняли в подворотню ярмарочного дома и процеживали по человеку. Вскоре я с удивлением заметил, что рулеточника, во всяком случае, не ищут — он возвращался после каждой облавы на то же место. Возможно, что он давал взятки милиции и чоновцам, проводившим облавы, — ведь ответ был до двух миллионов. Но возможно и другое. Рулетка была постоянной приманкой, развлечением приезжих, которых-то и ловила кедровская ревизия — бывших офицеров и прочее.

С помощью табуретки Монтекарло Кедров пытался нащупать и прервать связи с дипломатическим корпусом, который жил тогда в Вологде.

Возвратить дипкорпус в Москву Кедрову не удалось. Корпус уехал в Архангельск. Так что рыжий безрукий рулеточник мог иметь и особое поручение, и особое задание.

Меня, как местного, да еще малыша, тоже отпускали с облав, и я пристально наблюдал, как охорашивался рулеточник, выжидая, пока соберутся толпы людей, чтобы снова кричать насчет пяти и двадцати пяти.

Там же была и другая игра — угадывать карту или наперсток, — где надо было заметить, под какой крышкой деньги. Но эти игры собирали меньше людей.

Наш учитель химии Соколов внезапно исчез, только потом я узнал, что Соколов расстрелян.

Этот недочет в моем среднем образовании едва не имел трагических последствий, о которых я рассказал в своем рассказе «Экзамен» — где испытание при поступлении в фельдшерскую школу в лагере — вопрос жизни и смерти для меня — выявило, что я не знаю, что такое химия, что такое H_2O.

В этом пробеле именно Кедров повинен.

Конечно, я видел знаменитый вагон Кедрова, стоявший на запасном пути у вокзала, где Кедров творил суд и расправу.

Я не видел лично расстрелов, сам в кедровских подвалах не сидел. Но весь город дышал тяжело. Его горло было сдавлено.

Кедров был чекистом без ордена. Только значки Почетного чекиста — к 5-летию Чека и к десятилетию, которые Кедров носил на своей гимнастерке. Кедров отнюдь не был врагом орденов и чинов. Напротив, выйдя из гражданской войны без единого ордена, Кедров обвинял врагов, которые мстят ему, контрразведчику, таким способом.

В 1927 году — к десятилетию советской власти — Кедров не был даже представлен к награждению. Дзержинский умер в 1926 году, и некому было вступиться за Кедрова. Кедров был возмущен. Еще бы! Столько убивал, и вдруг! Кедров решил добиваться справедливости. Обратился к Сталину, и Сталин внял его мольбам. В 1928 году он был награжден орденом Красного Знамени за работу в период гражданской войны. Этот единственный орден Кедров и носил. Кедров получил орден при Ягоде.

Когда в Архангельске высадился белый десант и было образовано правительство Чайковского, Ленин об-

винил Кедрова в том, что тот «проворонил Архангельск», — дал ему строгий выговор и подстегнул телеграммой. Кедров в Вологде превзошел сам себя. Его поезд подошел к Плесецкой, уже занятой белыми, и из Плесецкой Кедров дал телеграмму в Архангельск, чтобы оттуда прибыли инженеры для разборки завала путей. Инженеры прибыли, и Кедров тут же, у вагона, их расстрелял, обвиняя в измене. Этот поступок описан в книге одного из биографов Кедрова[35].

* * *

1918 год был крахом всей нашей семьи. Прежде всего — это был крах материальный. Все пенсии за выслугу лет, за службу в Северной Америке были отменены и никогда более не воскресли.

Немедленно выяснилось, что четыре раза в день надо есть, не только людям, но и собакам, и курам.

Отец, большой семьянин, был поражен в самое сердце и никогда не оправился от этого удара.

Семья осталась нищей внезапно. Самый обыкновенный голод — восьмушка хлеба, жмых, колоб стали едой нашей семьи.

Мама и позже плакала, что из меня, из такого крепыша в детстве, вышел астеник, но мама, стихийная ламаркистка, — ошибается. Это у меня гены только астенические. А мама ведь плакала, целовала мне руки — просила прощения, что вырастила меня таким физически некрепким. Но моему астеническому телосложению главные испытания были еще впереди — в золотых колымских забоях...

Мама пекла какие-то пирожки, что-то меняла на хлеб, я эти пирожки продавал на базаре.

Мама моя превратилась в скелет с хлопающей по животу морщинистой кожей, но не унывала — варила и пекла, пекла и варила гнилую картошку.

Одно из самых омерзительных моих воспоминаний — это посещение нашей квартиры крестьянами из ближних да и из дальних деревень. Новые хозяева мира хлюпали грязными валенками, толкались, шумели в наших комнатах, уносили наши зеркала. Вся мебель исчезла после визитов.

Вот тут и сказалась отцовская любовь к хорошим вещам — шкаф красного дерева, шкафы карельской березы, воротники, шапки, бобровые шубы.

У мамы не было никаких бобровых шуб, и своей одеждой в трудный час она помочь не могла.

Навсегда из моей жизни исчезла мебель нашей квартиры именно в 1918 году. Вот тогда я хорошо запомнил, что такое крестьянство — вся его стяжательская душа была обнажена до дна, без всякого стеснения и маскировки.

В это же время я продавал жареные пирожки какие-то. Тут дело в том (это было время бумажных миллионов), что для выкупа карточек — а по ним не давали ничего — нужна была валюта советская, вот эти самые миллионы.

До червонцев было еще далеко — года два.

От церковных властей именно в тот момент после революции отец помощи и не мог получить, ибо черносотенное начальство — сам архиерей Трапицын — позаботилось, чтобы убрали отца из собора.

Вот тогда отец поступил на фабрику «Сокол», но потом заболел воспалением легких, а когда поправился, уже не было ни фабрики «Сокол», ни баронессы Дес-Фонтейнес.

У отца не было абсолютно никакого стремления ставить какие-то палки в колеса новой власти.

Трудно сказать, считал ли он институт семьи выше института государства. В революцию эти коллизии были беспредметны.

Наоборот, уже слепым, он самым внимательным образом следил за моими выступлениями в школе — и когда мне от школы была поручена речь на выпускном вечере, заставил меня переписать черновик — и все острые места, а их у меня было немало, — заменить на пейзажные сравнения насчет пароходных колес. Отец испортил мою речь. Я должен был поклясться, что не произнесу ничего лишнего. Эта речь запала у меня в памяти как свидетельство духовной капитуляции, моего слабодушия.

Хотя это и было сочинено по законам гомилетики — речь разочаровала всех, и в том числе, и в первую очередь, меня самого.

Тут дело, наверное, было в том, что отец все еще верил, что мне при моих способностях открыты все дороги, — отец ошибался.

Я тоже лежал и спал в той же комнате, где кашлял и тяжело дышал отец с воспалением легких. Тогда ведь не было пенициллина и сульфадимезина. Отец встречал пневмонию один на один. Помощь врачей была в ком-

прессах, в прослушиваниях, выстукиваниях. Выслушивание и простукивание — это ведь не лечение.

Каждую ночь во время этой болезни отца поднимали с кровати для обыска. Кедровские обыски были каждую ночь более года, — по тогдашней квартальной профилактике.

Обыск был еженощный и очень тщательный, иногда — дважды в ночь. Не знаю, какие мотивы повторных обысков, кроме устрашения.

Отец поправился, но это не было нужно — ни ему, ни семье, ни судьбе.

Общением с революцией были не только обыски, но страшные фигуры подлинных грабителей, — выволакивавших вещи при униженной улыбке матери.

Эти самореквизиции запомнились мне самому навечно.

Семья наша не попадала в реквизицию — кроме шуб, у нас не было ничего. Но под обысками квартира была не один год. Все ценности вытаскивались цепкими руками. За месяц исчезла крупа — все исчезло.

Второй, тоже впечатляющей картиной тех же лет было вселение, уплотнение.

Тут разговаривать не приходилось — матери оставалось молить Бога, чтобы квартиранты попадались поприличнее. И действительно, у нас жил сначала какой-то Сергей Иванович, а потом семья военного инженера Красильникова. Их было трое. Мать-старушка, сам инженер и его жена, лет двадцати пяти. Но нам случайно повезло тем, что комната попала в руки приезжих.

Гораздо хуже было уплотнение. Во флигеле, где жил дьякон, в одну из квартир был вселен Рожков, кузнец ВРМ — ударник производства, как теперь говорят, — и член партии. Ордера на квартиры давались только членам партии — лучше, если до февраля 1917 года.

Во всяком случае, первые вселения, первые ордера давались только членам партии.

В одну из комнат был вселен Рожков с женой и годовалым ребенком, гигант-алкоголик.

Каждый день Рожков возвращался с работы, выпивал самогон — водка ведь была запрещена в России целых десять лет, с 1914 по 1924 год, — выгонял к утру жену простоволосую, и спектакль начинался. Оскорбления матерной руганью в лицо этой женщины. Пудовый кулак Рожкова хлестал по лицу, по ребрам, по спине. Кончалось это тем, что кузнец сбивал жену с ног и топтал. Женщина только стонала.

Никто из зрителей никогда в таких случаях не вступается. Не вступались и в Вологде. Я стоял у дома, глядя на всю эту сцену из щели дверей. Сердце мое билось.

За спиной я услышал дыхание матери.

Рожков погнал жену куда-то на улицу, догнал и поддал ей жару.

— Вот таким, — сказала мама моя, — я не хотела бы, чтобы ты вырос.

Я таким и не вырос, мама!

Второй случай такого же рода коснулся меня. Я красил лодку отца — все остальное было продано, но лодка осталась. Никто на ней не ездил, но краску берегли для кого-то, для чего-то. Потом и эта лодка исчезла.

Наверху, над нами, в порядке такого же уплотнения, поселилась семья столяра заводского Корешкова. Туберкулезный больной, лет сорока, Корешков работал в железнодорожных мастерских.

Пока я красил лодку. Корешков тоже смотрел, как спускается котенок сверху по трубе водосточной, я хотел помочь этому котенку спуститься и снял его на землю, но сверху раздался истерический гром угроз истребить все поповское семя, и через две минуты Корешков был передо мной и размахнулся, чтобы ударить; была, к счастью, мама, красила лодку со мной, не дала ему этого сделать. Но ругани, истерической брани тут было много.

Первую комнату слева, нашу гостиную, уплотнили еще с самых первых дней вселенского уплотнения. Это оказалось неожиданной удачей — казалось, не надо бояться дальнейшего уплотнения, и сразу освободилась для продажи мебель — зеркало, диван красного дерева, два кресла. Это было время, когда царские деньги хранились у крестьян мешками в почти безнадежном ожидании, и на царские деньги ни крошки хлеба купить было нельзя. В лучшем положении были керенки — ассигнации в двадцать и сорок рублей, выпущенные Временным правительством. Этим керенкам, как и Временному правительству, верили в народе гораздо дольше, чем всему царскому — как в глобальном масштабе по «Займу свободы», по деньгам. Эта удивительная перекличка глубокого низа деревенского и верхушки валютных бирж Лондона, Нью-Йорка и Парижа — имела какое-то основание. Керенки эти печатались листами — их уже не резали на отдельные купюрочки. Крестьянские обладатели этих тугоскатанных простыней, денежных рулонов все еще ждали.

Но у нашей семьи и керенок не было, и в деревню повезли зеркала и мебель красного дерева. За какие-то полпуда муки и бутылку подсолнечного масла все это было продано к общей радости всех, ибо ставить эту мебель было некуда, и сестры с того времени стали обходиться настольным складным зеркалом, которое отыскалось у мамы.

Комнату эту занимали разные люди. Первым квартирантом был Сергей Иванович, приезжий какой-то лектор. Приходил он поздно, долго звонил, пока ему не открывали, подолгу просил извинения, никогда ничего не варил и не ел. Потом он простился и уехал — он был командированный из Ленинграда пропагандист.

После Сергея Ивановича недолгое время в комнате жил Корешков, столяр, со своей женой, ожидавшей родов. Жена вернулась из родильного дома одна, ребенок был мертвый. После этого каждый день из комнаты Корешковых доносилась матерная брань, удары: «Третьего мертвого рожаешь, сука!»

Корешков, к счастью, получил другую квартиру — на нашем же дворе — и переехал туда.

После Корешковых на какое-то время комнату занял новый городской прокурор по фамилии Шалашов, приехавший на новую очередную работу с очень молодой женой. Размещаться ему у нас было неудобно, ему подыскивали квартиру. Неудобство обострилось и тем, что у нас похожие фамилии, и не особенно грамотные почтальоны не разбирали ящиков, которых, конечно, было два. То в наш ящик всунут какой-нибудь секретный донос, адресованный на его имя, то повестку в милицию на имя отца уложат в ящик прокурора. Словом, прокурор торопил переселение.

Жили прокурор и прокурорша у нас недели две или три, когда произошел один странный случай. Прокурор был на работе, молодая его жена хлопотала у печки, носила дрова с улицы, а я возвращался из школы. В наши комнаты я еще не прошел, как вдруг ветер вошел со мной в квартиру, открыл комнату прокурора, распахнул створки двери, и я невольно заглянул внутрь.

Половину комнаты прокурора перегораживала занавеска до самого пола, но отгораживала эта занавеска не семейную кровать — семейная кровать стояла в другом углу, — а нечто другое. Занавеска сейчас была отодвинута, и было видно все, что за занавеской.

Там стояло тесно, плотно, поднимаясь наверх до уровня занавеса, нечто подобное книгам в библиотеке Веселовского. Но это были не книги и не тетради, а двухфунтовые пачки чая Высоцкого в фирменной обертке. Поставленные в несколько рядов, они напоминали кирпичную стену. Только кирпичами были двухфунтовые пачки чая. Стена была пятиметровая в длину, чай был уложен в несколько рядов, чуть не на полкомнаты.

Я прошел к себе, прокурорша вернулась, закрыла плотнее дверь.

Вскоре прокурор Шалашов получил квартиру. Он долго работал в Вологде.

А к нам переехала большая семья из Ленинграда и прожила у нас около двух лет. Мать и дочь, и ее муж — командир Красной Армии Краснопольский. Краснопольский, как и все жильцы, которых поселяли у нас, был членом партии. Он был командиром каких-то технических частей. Жена его носила красноармейскую форму, как и он, — а мать сидела дома. Каждый вечер все трое зажигали лампу и садились играть в преферанс: яростно, исступленно, каждодневно. Кажется, что все, что скопилось за день в душе у каждого, очищается, освобождается в этой карточной игре. Это было вроде литургии для отца, и, отслужив эту преферансовую вечерню, успокоенные Краснопольские ложились спать. Ни рассказов о положении на фронтах, ни сплетен, ни выпивок — ничего. Только преферанс. Это радовало маму.

И когда Краснопольский уехал в длительную командировку, его теща обратилась к маме с просьбой отпускать меня к соседям, которых мать упорно называла «квартирантами», по вечерам в качестве третьего партнера для игры в преферанс. За это соседи обещали обучить меня всем тонкостям игры в преферанс, что, по мнению тещи Краснопольского, «дает молодому человеку положение в обществе». И хотя отец карт терпеть не мог, и в доме карт у нас не водилось даже для гаданья или пасьянсов — в этом вкусы Наполеона и отца расходились, — а гаданье отец считал вредным предрассудком, и дочери его никогда не бросали башмачка, не лили воска и не глядели в зеркало, — когда встал вопрос о том, что мне можно «получить положение в обществе» с помощью преферанса, мать из дипломатических соображений решила пойти навстречу «квартирантам». И я провел там немало вечеров, обучаемый самыми высшими профессорами этой непростой науки. Положения в

обществе с помощью преферанса достигнуть мне не пришлось. Но случилось вот что.

Как-то летом в комнату к соседям принес вещи еще один человек — тоже красный командир с кубиками — сын хозяйки, брат ее дочери, тоже ленинградец. Два дня он прожил, а потом соседка вызвала меня в комнату и затворила за собой дверь. Я думал, что сын ее скрывается, и готов был оказать посильное участие в выполнении его задачи. Но нет, отпускной билет у сына был в полном порядке. Нет только махорки.

— Махорки? Но ведь я не курю. Да и дома нет ничего курительного.

Соседка курила, не выпуская трубки изо рта, кроша туда смородинный корень, и даже размалывала окурки легкой папиросы и крошила в трубку для крепости. Но ни легких, ни крепких, ни самосада или махорки у старухи давно уже не было. Вся надежда на сына, но и сын явился без махорки.

— Слушайте, — сказал сын, глядя мне прямо в глаза, — а марки вы не собираете?

Марки я собирал в каком-то давно прошедшем школьном времени. Мне, спорящему с Мережковским, управляющему судьбой школы, обсуждающему вопросы жизни в их реальности! Свой первый и единственный марочный альбом я давно забросил.

— Нет, — сказал я, также не отводя глаз от глаз нового своего знакомого, — нет, марок я не собираю.

— А товарищи, которые собирают марки, у вас есть?

— И товарищей нет.

— Ах, какое несчастье, — сказал командир с кубиками. — Я бы мог предложить хорошие марки. Для знатока. За махорку. Либерийскую серию. Вы знаете, что такое либерийская серия?

Мой новый знакомый вкратце мне все это объяснил.

— Ну, что, мама?

— Да, да, да, — сказала старуха, размахивая пустой трубкой. — Да! Да!

Сын соседки расстегнул свою полевую сумку и вынул оттуда легчайший конверт из тончайшей бумаги: «Вот!»

Такими конвертами у него была полна вся полевая сумка.

Все это — за пачку махорки. Либерийская серия была африканским уникумом и входила во все каталоги марок. Но куда ее продать? Кому? Я знал только Непенина[36], марочника из любителей, но Непенин был из дру-

гой школы, да и постарше меня. Я сбегал к Непенину. Условие было: продавать от себя, не называть ни соседку, ни ее сына. Непенин тоже пользовался консультацией какого-то подпольного филателиста, и вся игра шла через несколько рук. Для начала я оставил одну марку из серии у себя, а остальные отдал Непенину, и тот почти мгновенно приволок три пачки махорки — мою цену... Помчался домой и мгновенно вернулся обратно.

— В этой серии должна быть еще марка.

— Да, — сказал я, вынимая марку, — вот она. Эта марка стоит еще две пачки махорки.

Непенин умчался, принес махорку, с чьим-то советом не упустить всего, что можно купить из этих рук. Я вручил пять пачек махорки нашим соседям, но от встречи он отказался.

Сын вскоре уехал, и штурмы нашей квартиры филателистами всего города затихли.

— Это марки сына, а не мои, — сказала старуха, покуривая крепчайшую полукрупку № 2, «ярославку».

Отец оставил ему в наследство целый марочный магазин «Пепуолади» на Фонтанке. Магазин этот знает весь филателистический мир. После удачного проведения коммерческой операции старуха меня уже не стеснялась: «Суки проклятые!» Но я так и не выяснил, к кому относилось это замечание о суках...

К моменту смерти отца мама уже выгородила себе жизненное пространство и документально подтвердила свою пригодность для житейского сражения и только тогда решилась на советы, разумеется, необязательные, крайне осторожные, и торопливо высказалась любимому сыну — мне.

О том, что никакой любви нет, что есть только любовь-жалость, что жить с отцом было очень, очень трудно в самые лучшие времена, что все ее девичьи мечты разбиты именно отцом, его самоуверенностью, капризностью, нежеланием считаться с чужой судьбой. Что если в стихах можно найти какой-то жизненный рецепт, то он уложен в майковские формулы о русском мужичке:

Рад он жить, не прочь в могилу —
Лапти сплесть, да сбыть.
Где ты черпал эту силу,
Русский мужичок?

Что нэп, вологодский нэп — это царские «черные сотни», появление «у руля» тех же самых живых лиц, с

которыми всю жизнь боролся отец и которые удивительным образом оказались нужнее новой власти, чем жертвенное принципиальное служение высоким идеалам, которые проповедовал и по которым жил отец.

Что отец гораздо меньше нужен новой власти, чем вся эта «черная сотня» — купечество, инженерство, дворянство.

Что нужно есть четыре раза в день, что нужно кормить детей и его, слепца, что он ничему не может ее научить.

Что она — единственный помощник для пятерых своих детей, единственная их кормилица, единственная их надежда.

Что никто ничем не может ей помочь, что все это она должна не только обдумать, но и сделать сама своими руками и своим умом.

Что настал час, когда ей надо продумать все, решить самой.

Так мать и приняла на свои плечи небосвод нашей семьи. Мама никого не учила, никого не упрекала, а только стремилась накормить детей и мужа.

Так мама прожила четырнадцать лет, отец умер в 1934 году, а мама — в 1935[37], от гангрены. Колола дрова и разрубила топором ногу.

В 1934 году, при паспортизации, мама, имевшая, по моим справкам, право на пятилетний паспорт, неожиданно получила одногодичный. Я попросил ее написать, в чем дело.

Оказывается, не было пятилетних бланков, и ей дали годичный, с тем чтобы потом заменить. Паспортист по-вологодски пошутил: «Тебе, старуха, не надо паспорта более чем на год»,

И мама умерла. (нрзб)

Темные силы ворвались бурей, не могли успокоиться и насытиться. Самое главное — они существовали, эти темные силы, утверждали свою вечность, прячась, маскируясь до нового взрыва, — до войны, террора.

Мы, младшие дети — Сергей, Наташа и я, — мы представители маминых генов — жертвы, а не завоеватели, представители высшей свободы по сравнению с грубой отцовской силой, сказавшейся в Гале, в Валерии — старших детях. Кстати, даже имя «Гали», встреченное где-то на острове Кадьяк, тоже было фокусом. Русское имя Галина было изменено отцом на полутатарское «Гали», а вечные вопросы, ожидавшие девушку на

ее жизненном пути при всяком представлении метрики, при любой анкете, должны были — по извращенной мысли отца — заставлять любую девушку или юношу подумать о смысле жизни или о русской истории или церковной истории, а на самом деле приносили лишь ненужное для юности молодечество, чье-то чужое, вроде участия Зевса в определении поступков повседневной жизни уже взрослого человека.

Лично у меня эти отцовские фокусы с крещением всю жизнь вызывали неодобрение, я не люблю свое имя — предостаточно бы назвать лучшим русским именем Иван, и уж дочь свою я назвал именем традиционным из традиционных — Елена.

Да, мы трое — представители маминых генов, мы жертвы, а не завоеватели, и именно поэтому мы — судьи, мы хорошо понимали, что отцовские фокусы должны опираться на какую-то многолетнюю личную жертву кого-то близкого, чья личность раздавлена и растоптана.

Мы понимали, что главная причина и задача в нашей семье — не забывать о маме, не топтать ее в кухонную грязь.

У всех нас выражено и душевное, даже духовное сопротивление. Это-то сопротивление в семье мы и представляли. Мы понимали, что стоит за этими козами, опарами, ухватами, и помогали в меру сил маме мы — никто из нас троих не мог этого одобрить.

Наша формула такая: сначала жертва, а потом право на советы. Личный успех все мы ценили в грош. Именно потому, что мы — жертвы, мы не считаем нужным подчиняться.

Восьмой ребенок в семье, я, родившийся в 1907 году, не был ребенком, для которого отец ломал бы голову. Правила чтения, поведения, учения были выработаны, наверное, давно, и я только попал под автоматически действующий механизм семейных ограничений, запретов и правил.

У отца был один педагогический принцип: принцип первотворения, первоначального толчка от Бога, толчка от отца, и на этот толчок ребенок должен был откликнуться всей своей натурой, умом. Отец должен был только сказать о том, что хорошо, что плохо, и не повторять сказанного.

Те железные рамки нарочитой духовной свободы, в которые втискивал отец юные души своих сыновей, не имели ни единого исключения.

Подход, план жизни, ежедневные советы были для всех одинаковы — делились только по признаку пола: к дочерям несколько менялись требования.

Жизнь каждого была запрограммирована от рождения, и неудачи были лишь неполадками из-за внешних причин, нарушавших внутреннюю гармонию отцовского замысла. Забегающих вперед, по его правилам, следовало осаживать, отстающих — подгонять — советом, примером собственной жизни, щипком.

Я вспоминаю одну из самых деликатных проблем юности, проблему, которой не найдено решения и сейчас — все законодательные решения были отступлением от бешеного бега утопизма, фаланги Фурье, царства Сен-Симона, в которых я принял самое горячее личное участие позднее.

Эта проблема не состояла в педагогическом кодексе отца. По его мысли, все тут надо предоставить самой природе. Природа покажет верное решение.

Если у нас в семье говорили с детьми взрослым языком о взрослых вещах, то советы на тему полового воспитания вовсе были исключены.

Ни отец, ни мать, ни братья, ни сестры никакой разъяснительной работы хотя бы в классическом плане тычинок не вели.

Может быть, ждали моих вопросов? Вопросов я не задавал.

Для того, чтобы все вести в соответствующем плане практической позитивной философии, чтобы оборвать мои книжные грезы, шепот дневной и ночной, — меня заставляли водить на случку коз...

В Вологде за случку козы с хорошим козлом-производителем надо было заплатить какую-то сумму, чуть ли не рубль. Помню, я мял в ладонях рублевку, трепеща, никак не решаясь вручить ее хозяину, который наконец сам вырвал рублевку из моих дрожащих пальцев, продолжая поучать, что если не забеременеет, то через две недели я могу привести нашу Машку бесплатно.

Впрочем, неистовые пляски, петушиный крик над распластанной курицей — все это скорей отвлекало меня от чтения, от какого-то школьного собрания. И не оставило никакого следа в моей детской душе.

Кусты вологодских лесов и садов были полны обнимающимися парами, примеров было много.

Преподаватели биологии, естествознания менялись один за другим, а когда пришло время пестиков и тычи-

нок, и краснеющая преподавательница Монетович начала, бойко постукивая по школьной доске указкой, объяснять секреты природы, оказалось, что я их давно знал. Я только удивился, как это все похоже на знакомые мифы...

Поэтому, уезжая из Вологды навсегда, я не оставил разбитых сердец.

Был в Вологде в то время и бордель один с классическим красным фонарем.

Купринская «Яма» в приложениях не то к «Ниве», не то к «Семье и школе», не то к «Природе и люди» читалась у нас в семье и даже обсуждалась, как реальный факт. Отец был поклонником горьковского «Знания». Все эти сборники занимали первое место в его книжном шкафу красного дерева. Правда, эти сборники были в казенном переплете и имели штамп библиотеки Общества трезвости. Я часто размышлял над таким странным штампом. Сборники эти никуда не исчезали и всю мою вологодскую жизнь простояли в отцовском шкафу. Я думаю, что отец просто «зачитал» эти книги в библиотеке, чтобы держать под руками полезное чтение. Вряд ли он там их покупал, эти альманахи.

В альманахах печатался и «Поединок» Куприна.

Когда хвалили «Яму» и я, мальчуган, вложив весь свой личный опыт в суждения по такому вопросу, объяснил, что «Яма» — скучное чтение, отец сказал: «Может быть. Прочти «Поединок», — и показал на шкаф. Но и «Поединок» мне не понравился, и детский Куприн (которого в Вологде почему-то называли Ку́прин) вырос со мной в ранге второстепенного писателя, каким, впрочем, он является и по большому, по русскому, и по малому, вологодскому счету.

Отец говорил о «Яме» как о чем-то отвлеченном, о хорошо известной ситуации из литературного реалистического произведения, заранее отбрасывая мысль, что его сын посетит такое заведение, — этого он не сделает прежде всего потому, что бережет честь отца.

Мать же толковала «Яму» по-другому и ничего полезного в семейном чтении купринского романа не видела.

У мамы всегда были наготове какие-то стихотворные строки, соответствующие ее настроениям, проблемам, требующим ее решения.

И не только Некрасов — кумир русской провинции — занимал тут почетное место, но и Алексей Толстой, и Пушкин, и Никитин.

В самые последние школьные годы — зимы 1921—1922 и 1922—1923 — я несколько разошелся со своей постоянной школьной компанией.

У меня появилась другая жизнь, где драматический кружок, школьные дела по Дальтон-плану отошли на второй план.

В этой школьной компании не было любителей книг, и жажда чтения раздирала меня. Я оставался секретарем драматического кружка — кружка человек из двухсот, — сам был организатором, собирал культурные силы в тогдашней Вологде, делал всяческие доклады в школе — о Глюке, о Бальмонте, находил время и учиться с той же уверенностью, что и раньше, находил время на работу дома и для дома.

Но настоящей моей привязанностью, определяющей все мое поведение, было чтение книг вместе со своим новым школьным товарищем Сергеем Воропановым, головастым крепышом, с которым нас свела беззаветная страсть к чтению. И не только к чтению. Сережа Воропанов понял истинный смысл моей игры в фантики и сам отдался этой игре с увлечением.

Мы отыгрывали роман за романом — в полном беззвучии.

Здесь же мы отработали и Мережковского — не его трилогию, а его публицистику. Здесь впервые прочел я «То, чего не было» Савинкова, прочел Куна и — всего Шекспира, Достоевского, Толстого. Читал или перечитывал все подряд — от «Божественной комедии» до капитана Марриэта — и давал всему свои оценки.

Мы вдвоем переворотили все библиотеки Вологды. Сережа читал помедленнее, но тоже неутолимо и жадно.

Сережа в 1923 году поступил в Лесной институт, кажется.

Мое знакомство с ним, дружба, душевное согласие были гораздо более бескорыстными, чем любое мое знакомство в юности.

Жизнь моя сложилась так, что я никогда не искал старых товарищей, и не потому, что боялся разочароваться, а потому, что меня всегда занимали новые мысли, новые события.

Я не верю в пользу возобновления старых знакомств.

«Да», — думал я, четырнадцатилетний мальчуган, слушая, как отец упрекает мать за ее культурную отсталость, за ее «печные горшки», мать, знавшую наизусть Пушкина и Лермонтова — поэтов не нужных, по

его мнению, для житейского успеха, в отличие от кумира русской провинции Некрасова, — слушая, как он поучает сестру в вопросах семейного счастья, ссылаясь на свой пример.

Я думал так: «Да, я буду жить, но только не так, как жил ты, а прямо противоположно твоему совету. Ты верил в Бога — я в него верить не буду, давно не верю и никогда не научусь. Ты любишь общественную деятельность, я ею заниматься не буду, а если и буду, то совсем в другой форме. Ты веришь в успех, в карьеру — я карьеру делать не буду, — безымянным умру где-нибудь в Восточной Сибири. Ты любишь хорошо одеваться, я буду ходить в тряпках, в грош не поставлю казенное жалованье.

Ты жил на подачки, я их принимать не буду. Ты хотел, чтобы я сделался общественным деятелем, я буду только опровергателем. Ты любил передвижников, я их буду ненавидеть. Ты ненавидел бескорыстную любовь к книге, я буду любить книги беззаветно. Ты хотел заводить полезные знакомства, я их заводить не буду. Ты ненавидел стихи, я их буду любить.

Все будет делаться наоборот. И если ты сейчас хвалишься своим семейным счастьем, то я буду агитировать за фалангу Фурье, где детей воспитывает государство и ребенок не попадет в руки такого самодура, как ты.

Ты хочешь известности, я предпочитаю погибнуть в любом болоте.

Ты любишь хозяйство, я его любить не буду.

Ты хочешь, чтобы я стал охотником, я в руки не возьму ружья, не зарежу ни одного животного».

* * *

Я уехал, но приезжал еще раз после лагерного срока и говорил с отцом, не скрывая своей судьбы.

— Мы ведь отцу не говорили, — сказала мама. — Просто сказали, что ты — на Севере.

— Напрасно не говорили. Разве я — убийца? Вор?

— Прежде чем заниматься политикой, — миролюбиво сказал отец, — надо получить специальность, окончить высшее учебное заведение. Получай специальность и тогда смело принимай участие, — как бы для себя и про себя сказал отец, глядя или, вернее, не глядя в сторону, — куда глядеть, ему было совершенно все равно...

— Ну, — столь же миролюбиво ответил я, — не всегда это возможно.

— Я тоже был на Севере, — продолжал отец свою мысль. — В молодости. Как и ты. Учительствовал полтора года.

— Мой Север, — жестко сказал я, — это тюрьма, каторга.

И мы расстались навсегда.

Отец умер через год после этого разговора. Не потому, что судьба сына сказалась на его нравственных силах, а случайно заболел третьей в жизни крупозной пневмонией — болезнью, приводящей в могилу, из которой по тем дофлемминговым временам не было возврата. Два раза отец возвращался на землю из-за своего жизнелюбия, жизнестойкости. В третий раз — не вернулся.

* * *

Никаких советов, никаких пожеланий на прощанье ни отец, ни мать не дали мне. Впрочем, это было в традициях семьи.

Осенью 1924 года я сел в вагон Вологда — Москва. В одном вагоне ехала сестра мамы — тетка моя, Екатерина Александровна, работавшая в Сетунской больнице под Москвой. Тетка была бестужевкой, с отцом они дружили в молодости, и отец доверил мою судьбу в эти надежные прогрессивные руки.

Был нэп, расцвет нэпа со всем его коварством, несбыточными надеждами, и разочарованиями, и неожиданностями.

Школа не привила мне любовь ни к стихам, ни к художественной литературе, не воспитала вкуса, и я делал открытия сам, продвигаясь зигзагами — от Хлебникова к Лермонтову, от Баратынского к Пушкину, от Игоря Северянина к Пастернаку и Блоку. Единственным исключением был кумир русской провинции Некрасов, но Некрасов ведь поэт-прозаик, лишенный многого, что было у Пушкина. Никак не наследник Пушкина.

Наследником Пушкина не был и Лев Толстой. Нет писателя в России более далекого от пушкинского света, от пушкинской формы. Белинский, с его страстным убеждением в том, что стихи можно читать как прозу, и далее — Чернышевский, Добролюбов — все это воспитывало в мальчике не стихи, а нечто другое.

Стихи — это очень тонкая механика, особый способ познания жизни, даже не познания, а существования, ощущения.

В школе моей не было человека, старшего товарища, который открыл бы мне стихи, поэта. Это достигается запойным чтением, подчеркиванием фонетических обстоятельств возникающей мысли, мысли, особенно еще не превратившейся в мысль, и в то же время могучей, неодолимой.

Вологда моей юности могла мне предложить только Некрасова.

Отец не понимал и не любил стихов, справедливо боясь их секретного яда, их замедленного действия, взрыва в самый неподходящий момент, порабощения беспредельного.

Так же, в сущности, относился мой отец и к художественной литературе — с недоверием, как к пустому чтению.

Для отца чрезвычайное значение имели авторитеты, разумеется, не авторитеты в школьном смысле, а принципы и вкусы какого-то определенного круга, к которому он сам принадлежал.

Так, Жюль Верн и Уэллс считались полезным чтением, хотя это плохие, скучные писатели. К Александру Дюма он относился настороженно, а о существовании Дюма-сына и не подозревал.

Джек Лондон, Киплинг — все это допускалось, но, разумеется, считалось ниже Майн Рида...

Школа не могла и не хотела дать больше того, что давала. Программы были сокращены, девятый класс отсечен, куцее наше образование в единой трудовой школе закончилось на восьмом классе. Программа гимназии была значительно урезана. К тому же Дальтон-план, бригадный метод и все модные эксперименты тех лет именно на провинциальной школе отразились очень жестоко.

Что я учил? Чему меня учили? Все было случайно, зависело от случайно попавшего в город, завязшего преподавателя — даже профессора, как Веселовский. Но Веселовский был привлечен в рабфак, вологодский рабфак, а не к нам, хотя у нас учился его сын, мой одноклассник. Веселовский для трудовой школы был слишком жирным пирогом. Все его время было занято в рабфаке.

У нас был случайный географ Ельцов — хороший географ, но что нам география, когда мы собирались перевернуть мир.

Очень много сделала преподавательница литературы Екатерина Михайловна Куклина, много она вложила беззаветного труда именно в это смутное время. Куклина пыталась привить какие-то важные основы в понимание предмета, познакомить с Бальмонтом, Блоком. Литературно-драматический кружок при ее шефстве существовал в школе ряд лет. Я пользовался расположением этой преподавательницы.

Не раз мне случалось писать письменные работы по литературе за себя и за своего друга Германа Щеглова — я успевал, и обе работы, написанные мной же, но разными почерками, получали зачеты по высшему баллу, то есть «весьма удовлетворительно».

Этот способ использовал я последний раз на приемных экзаменах в Текстильный институт, куда я поступал вместе со своим приятелем Кальварским и за зачетное время действительно написал две разные работы, и обе получили «удв».

Потом, поскольку у меня успешно шла сдача приемных испытаний в Московский университет — на факультет советского права, я взял документы из Текстильного института обратно.

Куклина запомнилась мне и еще по одному случайному поводу.

В классе заспорили — кто выше, Шеллинг или Гегель, — заспорили весьма бестолково. Спор был не о преимуществах философских систем, а пари — каких взглядов держится Екатерина Михайловна.

— Спроси ее, — настаивали ребята. А я был секретарем драмкружка.

— Так спросите сами!

— Нам она не скажет.

Я решительно подошел к Екатерине Михайловне и спросил:

— Кто вам, Екатерина Михайловна, нравится больше — Шеллинг или Гегель?

— Вы это для себя спрашиваете?

— Да, — сказал я, краснея.

— Шеллинг, — сказала Екатерина Михайловна тихо и проникновенно, и я почувствовал, что она отвечает на какой-то важный для нее самой вопрос.

Победа гегелевских традиций уже гремела во всех совпартшколах страны.

Вологда была тихим провинциальным городом, где даже река текла вспять в определенное время года, где

любимым исконным развлечением горожан была охота за белками, собиравшая густую толпу убийц всех возрастов и всех общественных рангов.

Где на пожары скакали три части — каждая по цвету коней, грохоча по булыжникам города, с трубачом, не уступающим по звукам трубам Страшного Суда в Софийском соборе, построенном Иваном Грозным.

Кедровские расстрелы разорвали вологодскую тишину.

Веру в Бога я потерял давно, лет в шесть. Потому в дальнейшем меня мало трогали истеричность Кириллова и метания Ивана Карамазова. И уж вовсе казались надоевшими, ненужными, а главное — очень плохо написанными многочисленные притчи Льва Толстого.

Бог уже был мертв для меня. Гальванизация Достоевским всех этих проблем спасти ничего не могла, а рассуждения о гибнущих невинных детях, как аргумент существования Бога, и вовсе кощунственны.

Вообще же Достоевский самый антирелигиозный русский писатель.

Потеря веры совершилась как-то мало-помалу, вдруг оказалось, что мешок Санта-Клауса пуст. Разоблачение сестрами рождественского Деда Мороза на меня не произвело никакого впечатления. Не Санта-Клаус, так мать или отец. В рождественских подарках не было для меня проблемы.

Очевидно, у человека существует какой-то запас религиозных чувств — тоже вроде шагреневой кожи, — тратится повседневно. И так как сложность жизни все возрастает, в этой возросшей сложности жизни нашей семьи для Бога у меня в моем сознании не было места. И я горжусь, что с шести лет и до шестидесяти я не прибегал к Его помощи ни в Вологде, ни в Москве, ни на Колыме.

* * *

Свой крест отец разрубил ощупью на глазах матери, язычник и шаман, и наследник шаманов, уничтожающих Бога собственными руками, как эскимос, зырянин, пермяк, чья кровь не разжижена никакой посторонней кровью от иной цивилизации с эритроцитами, несущими мир, красоту, добро. Этих эритроцитов не было в шаманской крови отца.

Действие удара топором по кресту было необычайным. С самого начала нэпа мать безуспешно пыталась

связаться с Америкой, Аляской и Сиэтлом, где двенадцать лет прослужил еще в прошлом веке отец.

С начала нэпа государство стало торговать на золото по ценам царского времени, лишь бы не керенки, лишь бы не бумажки. Государственные магазины открыли товары, которым позавидовал бы сам Пантелеев — хозяин лавки, где мама брала на книжку и где только два раза в год рассчитывалась пенсионным американским золотом — такие магазины тоже были открыты.

Они принимали и валюту — но, разумеется, не бубенчик батьки Кныша — а доллары, доллары, фунты, франки, иены.

И вот вместо писем, вместо известий о старых знакомых с острова Кадьяк из Аляски вдруг пришел чек на пять долларов, чек на имя мамы. Вскоре пришло и письмо.

На острове Кадьяк был монастырь. Иосиф Шмальц сменил отца, монах Иосиф Шмальц[38]. Он не знал отца, но работал на его месте. Вот эти пять долларов и были собраны среди обращенных алеутов на Кадьяке. Рассказать о знакомых отца монах сумел немного, но он сделал самое главное — послал деньги, спас отца. Шмальц писал, что в дальнейшем будет собирать, посылать, помогать, в этих, разумеется, — центов, долларов — пределах.

Государство самым охотным образом приняло этот чек, выслало матери квитанцию, и это решило судьбу и матери, и отца на целый ряд лет вперед.

Обнаружилась тогда интересная вещь, о которой мать сказала лишь на ухо, — доллара, если его тратить на муку, хватает очень надолго.

Родители мои воскресли. Монах Иосиф Шмальц собирал и еще несколько раз, но мало раз, увы, вскоре он умер, обеспечив моей матери и отцу бессмертие. Даже фотографии мать туда посылала и получала.

Кончилась золотоскупка, и началось царство Торгсина. Торгсин продолжался очень долго, чуть не до войны, когда отца и матери уже не было в живых и надобности в Торгсине не было.

От матери осталось даже живое золото — разрубленный кусок креста, цепочка, слоник какой-то золотой. Мать разумно пользовалась сначала квитанциями Торгсина, а золото держала в резерве. Валютных бурь она не боялась.

Вот этот разрубленный крест и эти доллары и спасли отца и мать.

Хотя у нас была большая семья, но она не выполнила главного назначения многодетных семей — пенсионного обеспечения стариков. В нашей семье дети не заплатили долга родителям. Валерий, старший сын, отказался от отца публично. Галя, старшая сестра, свой долг выполняла только символической посылкой винограда из Сухуми, винограда, неизменно гнившего в дороге. Никаких денег ни Галя, ни Валерий никогда маме не посылали.

Сергей был убит в 1920 году. Я посылал только тогда, и то в очень скромных пределах, когда не сидел в тюрьме.

Всю помощь вынесла бы Наташа, но Наташа, которую бросил алкоголик муж с двумя детьми, Наташа — медсестра с нищенским окладом — помочь не могла.

Вологжане — не такие люди, чтобы собирать бывшему попу, да еще обновленческой церкви.

Причины сохранения жизни, уверенности в своих старческих силах — в этих нищенских посылках монаха, которые, если в них разобраться, вовсе не нищенские, — а могут реально кормить реальных людей.

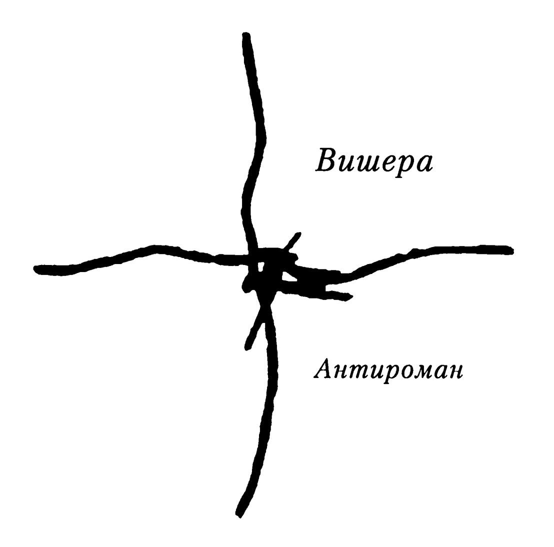
Мама, испытав всякое, поступала крайне расчетливо, крайне экономно. Существование отца и матери не зависело от детей.

Зачем я все это записываю? Я не верю ни в чудо, ни в добрые дела, ни в тот свет. Записываю просто так, чтобы поблагодарить давно умершего монаха Иосифа Шмальца и всех людей, с которых он собирал эти деньги. Там не было никаких пожертвований — просто центы из церковной кружки.

Я, не верящий в загробную жизнь, не хочу оставаться в долгу перед этим неизвестным монахом.

Я мог бы, наверно, и подробнее осветить эту историю, но в годы войны сожжен мой архив, где хранилось все, что осталось мне от отца и матери.

<1968—1971>



Вишера

Антироман

БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА (1929 год)

19 февраля 1929 года я был арестован. Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни — первым истинным испытанием в жестких условиях. После сражения с Мережковским в ранней моей юности, после увлечения историей русского освободительного движения, после кипящего Московского университета 1927 года, кипящей Москвы — мне надлежало испытать свои истинные душевные качества.

В наших кругах много говорилось о том, как следует себя держать при аресте. Элементарной нормой был отказ от показаний, вне зависимости от ситуации — как общее правило морали, вполне в традиции. Так я и поступил, отказавшись от показаний. Допрашивал меня майор Черток, впоследствии получивший орден за борьбу с оппозицией как сторонник Агранова, расстрелянный вместе с Аграновым в 1937 или 1938 году.

Потом я узнал, что так поступили не все, и мои же товарищи смеялись над моей наивностью: «Ведь следователь знает, что ты живешь в общежитии с Игреком, так как же ты в лицо следователю говоришь, что не знаешь и не знал Игрека». Но это — обстоятельства, о которых я узнал в 1932 году, после моего возвращения в Москву. В 1929 же году мне казалось все ясным, все чистым до конца, до жеста, до интонации.

Следователь Черток направил меня для вразумления в одиночку Бутырской тюрьмы. Здесь, в мужском одиночном корпусе, в № 95 я и просидел полтора месяца — очень важных в моей жизни.

Здесь была возможность обдумать, продолжить и закончить дискуссию с Мережковским, начатую в школе второй ступени. Здесь была возможность понять навсегда и почувствовать всей шкурой, всей душой, что

одиночество — это оптимальное состояние человека. Написаны горы философских трактатов на тему об отчуждении — об истинном праве духовных и душевных качеств человека. Написаны десятки книг о цифровой символике, где цифра единица представляет собой самую важную цифру нашего счета — духовного, технического, поэтического, бытового!

Если лучшая цифра коллектива — два: взаимопомощь как фактор эволюции, продолжения рода, то уже коллектив из трех человек, трех живых существ, три и больше — вовсе отличается от заветной «двойки». При двойке прощаются все ошибки, улаживаются все споры по тем же причинам, что при тройке возникают. Ребенок, семья, общество, государство. Эти бесконечные споры двоих вовсе не неизбежны, но отнюдь не идеальны.

Идеальная цифра — единица. Помощь единице оказывает Бог, идея, вера. Только здесь — во взаимной помощи, в проверке и справедливости — допустима двойка. В практической жизни эта двойка — второй человек, а может и не быть <человека>.

Достаточно ли нравственных сил у меня, чтобы пройти свою дорогу как некоей единице, — вот о чем я раздумывал в 95-й камере мужского одиночного корпуса Бутырской тюрьмы. Там были прекрасные условия для обдумывания жизни, и я благодарю Бутырскую тюрьму за то, что в поисках нужной формулы моей жизни я очутился один в тюремной камере.

Я принюхивался к лизолу — запах дезинфекции сопровождает меня всю жизнь.

Я не писал там никаких стихов. Я радовался только дню, голубому квадрату окна — с нетерпением ждал, когда уйдет дежурный, чтобы опять ходить и обдумывать свою так удачно начатую жизнь.

Никакой подавленности не было, точно все это — и цементный пол, и решетки — все это было давно видено мной, испытано в снах, в мечтах. Все оказывалось таким же прекрасным, как в моих затаенных сновидениях, и я только радовался.

Нам давали газеты. Если был выходной — «Правду». Впервые в жизни я так солидно <подначитался> прессы.

Заключенный сам убирает парашу, ходит на оправку по тому же звенящему железному коридору, который снят в фильме «Крах» при сцене побега Павловского. Была прогулка в одном из тюремных двориков с «выводным» конвоиром. Книги же давали только по бу-

маге, по заявлению. Обход коменданта — комендантом был толстый грузин Адамсон — ежедневный.

Одним из главных моих требований к людям и всегда было соответствие слова и деяния, «что говоришь — сделай» — так меня учили жить. Так я учил жить других. Нет вождей, нет авторитетов. Перед тюрьмой все равны.

Я надеялся, что и дальше судьба моя будет так благосклонна, что тюремный опыт не пропадет. При всех обстоятельствах этот опыт будет моим нравственным капиталом, неразменным рублем дальнейшей жизни.

Мне очень хотелось встреч в тюремной <камере>, в свободной обстановке с вождями движения, ибо вожди есть вожди, и было бы хорошо взять у них какое-то ценное моральное качество, которым они, несомненно, обладают. Я почувствую, если не пойму, присутствие этого тайного бога. И по ряду предметов хотел бы скрестить с ними шпагу, поспорить, прояснить кое-что, что было мне не совсем ясно во всем этом троцкистском движении.

Стремление скорее встретиться с вождями движения уравновешивалось возможностью обдумать свою жизнь в камере Бутырской тюрьмы. Именно здесь, в стенах Бутырской тюрьмы, дал я себе какие-то честные слова, какое-то слово, встал под какие-то знамена.

Какие же это были слова?

Главное было — соответствие слова и дела. Я не сомневался, даже в тайниках души не сомневался в том, что уже вышел на яркий тюремный свет, пронизывающий насквозь человека.

Способность к самопожертвованию.

Я и сейчас могу заставить себя пройти по горячему железу, и не в рахметовском плане — как раз этот герой меня никогда не увлекал. И не как факир идет — просто <чтобы> сделать физическое движение. Я был тем сапером, который разрезает колючую проволоку. Жертва должна быть достойна цели. Вот об этой-то цели мне хотелось побеседовать где-нибудь в политизоляторе с кем-нибудь постарше. Жертва была — жизнь. Как она будет принята. И как использована.

Физические неудобства классического вида давно уже были для меня предлогом и поводом для душевного подъема. Этот подъем, который я почувствовал в Бутырской тюрьме за все полтора месяца одиночки, не был приподнятостью нервной, которую так часто ощущают при первом аресте. Подъем этот был ровен: я ощущал великое душевное спокойствие. Мне удалось

найти ту форму жизни, которая очень проста и в своей простоте отточена опытом поколений русской интеллигенции. Русская интеллигенция без тюрьмы, без тюремного опыта — не вполне русская интеллигенция. И в Бутырской тюрьме, и раньше у меня не было преклонения перед идеей движения — тут много было спорного, неясного, путаного. Поведение мое мне отнюдь не казалось романтическим. Просто — достойным, хотя на протяжении многих лет мои старшие товарищи, старшие не по движению, а по судьбе и быту, упрекали (не упрекали, а квалифицировали, что ли) мое поведение как романтизм, тюремный романтизм, романтизм жертвы.

Как раз ничего романтического в моем поведении не было, просто я считал эту форму поведения достойной человека, может быть, единственно достойной в тот миг, в тот год для себя — без предъявления требований вести себя так. Я никого не учил, учил только самого себя. Никого не звал к подражанию. Вся романтика подражательная, хорошо освоенная людьми, меня особенно не привлекала.

В Бутырской тюрьме я выходил на какое-то особенное, определенное место в своей собственной жизни.

За полтора месяца меня вызывали два или три раза на допрос, но я, как и в начале следствия, не давал никаких показаний. Последнюю подпись об окончании следствия дал я в марте, а уже 13 апреля 1929 года пришел пешим этапом в концентрационный лагерь Управления Соловецких лагерей особого назначения — в 4-е отделение этого лагеря, расположенное <на Вишере>.

Я пришел с приговором — три года концентрационных лагерей особого назначения. По окончании срока дается свидание с родными и — высылка в Вологодскую область на пять лет. Я отказался расписаться в том приговоре. Приговор был громовый, оглушительный, неслыханный по тем временам. Агранов и Черток решили не стесняться с «посторонним». Опасен был троцкизм, но еще была опасней «третья сила» — беспартийные знаменщики этого знамени.

Если оппозиция — это комсомольцы, партийцы — свои люди, над их судьбой надо еще подумать: быть может, завтра они вернутся в партии к силе. Тогда чрезмерная жестокость будет обвинением. Но беспартийному надо было, конечно, показать пример истинной мощи пролетарского меча. Только концлагерь. Только каторжные работы. Только клеймо на всю жизнь, наблюдение на всю жизнь.

Майор Черток вел мое следствие по статье 58, пункт 10, и 58, пункт 11, — агитация и организация. А в приговоре, в той выписке из протокола Особого совещания, которую мне вручил комендант Бутырской тюрьмы в коридоре тюремном, было сказано: «...осужден как социально опасный элемент». Я приравнивался к ворам, которых тогда судили по этой статье.

С ворами в одном вагоне отправился в лагерь на Урал. Высшие власти просили меня запомнить, что они не намерены со мной считаться как с политическим заключенным, да еще оппозиционером.

Высшая власть рассматривала меня как уголовника. Эта чекистская поэзия коснулась не одного меня.

Следствие было начато и закончено по 58-й статье. А приговор был вынесен по уголовной, как потом у писателя Костерина, которого Берия судил в 1938 году на Колыме как СОЭ. Это — традиция <не> новая.

Для Сталина не было лучшей радости, высшего наслаждения во всей его преступной жизни, как осудить человека за политическое преступление по уголовной статье. Это и есть одна из сталинских «амальгам» — самая поначалу распространенная в 1930 году в Вишерских лагерях статья.

ВИШЕРА

На каждой станции я просовывал в щель записки: перешлите в Москву, в университет, меня везут в лагерь, везут вместе с уголовниками, протестуйте, добейтесь моего освобождения... перевода к своим. Голодовку было поздно объявлять, меня взяли прямо из 67-й камеры Бутырской тюрьмы, после полуторамесячной одиночки № 95 МОКа — мужского одиночного корпуса. В этой одиночке я сидел вместе с Попермейстером, но ушел раньше, чем он.

Приговор — три года концлагеря — был по тем временам жестким. Давали ссылку, политизолятор, но со мной было решено рассчитаться покрепче — показать, где мое место.

Со мной не было никаких вещей, никаких денег — пайка и дорожная селедка уравнивали меня в социальном отношении с обитателями вагона.

Татуированные тела, технические фуражки (половина блатных маскировалась в двадцатые годы инженерскими фуражками), золотые зубы, матерщина, густая, как махорочный дым...

Подлое мщение, удар в спину Особого совещания, великого мастера пресловутых амальгам. Но я еще мало тогда знал об амальгамах. Через четверть века, через двадцать пять лет, в 1954 году в кабинете районного уполномоченного МВД, когда я устраивался на работу агентом снабжения Решетниковского торфопредприятия, «начальник» просмотрел мои документы — «социально опасный».

— Вор?

— Да вы с ума сошли! Тогда так давали...

— Ну, не знаю, не знаю...

И я едва не был выброшен за порог.

Много раз в жизни я мог оценить пресловутую амальгаму.

В 1937 году в Москве во время второго ареста и следствия на первом же допросе следователя-стажера Романова смутила моя анкета. Пришлось вызвать какого-то полковника, который и разъяснил молодому следователю, что «тогда, в двадцатые годы, давали так, не смущайтесь», и, обращаясь ко мне:

— Вы за что именно арестованы?

— За печатание завещания Ленина.

— Вот-вот. Так и напишите в протоколе и вынесите в меморандум: «Печатал и распространял фальшивку, известную под названием «Завещание Ленина».

И полковник, любезно улыбнувшись, удалился. Было это в январе 1937 года в городе Москве, во Фрунзенской «секции революционной законности», как именовались тогда местные НКВД.

В дневнике Нины Костериной ее отцу дают в 1938-м — СОЭ. Мне этот литер давали в 1929 году. Следствие вели по 58-й (10 и 11), а приговорили как СОЭ, чтоб еще больше унизить — и меня, и товарищей. Преступления Сталина велики безмерно.

И все-таки я не один был в уголовном вагоне с пятьдесят восьмой статьей. Со второй полки глядели на меня добрые серые глаза, крестьянские глаза молодого парня. Терешкин была его фамилия. Это был красноармеец, отказавшийся от службы по религиозным соображениям.

Вагон наш то отцепляли, то прицепляли к поездам, идущим то на север, то на северо-восток. Стояли в Вологде — там в двадцати минутах ходьбы жили мой отец, моя мама. Я не решился бросить записку. Поезд снова пошел к югу, затем в Котлас, на Пермь. Опытным было ясно — мы едем в 4-е отделение УСЛОНа на Вишеру. Конец железнодорожного пути — Соликамск.

Был март, уральский март. В 1929 году в Советском Союзе был только один лагерь — СЛОН — Соловецкие лагеря особого назначения. В 4-е отделение СЛОНа на Вишеру нас и везли.

Соседи мои хвалили вагонных конвоиров. Это хороший конвой, московский. Вот примет лагерный, тот будет похуже.

В Соликамске сгрузились — арестантских вагонов оказалось несколько. Тут было много людей с юга — с Кубани, с Дона, из Грузии. Мы познакомились. «Троцкистов» не было ни одного.

Была даже женщина — зубной врач — по делу «Тихого Дона». Этап был человек сто, чуть побольше.

Всех завели в сводчатый подвал Соликамской городской милиции, в бывшей церкви. Крошечный низкий подвал. А нас 100 человек. Я вошел одним из первых и оказался у окна, застекленного окна на полу, с витой церковной решеткой.

Коротким быстрым ударом ноги мой знакомый по вагону — опытный урка — выбил стекло. Холодный воздух хлынул в подвал.

— Не бойся, — сказал он мне. — Через десять минут здесь будет нечем дышать.

Так и оказалось. В подвале было бело от дыхания, пара, а людей все вталкивали и вталкивали. Не то что сидеть, стоять было тяжело. Люди проталкивались к двери, к тяжелой двери с «глазком», чтоб подышать. За дверью стоял конвойный и время от времени тыкал в глазок наугад штыком. Удивительным образом никто задет не был.

Начались обмороки, стоны. Мы лежали лицом к разбитому стеклу, нам было немного легче. Мы даже пускали «подышать» других.

Бесконечная ночь кончилась, и дверь в коридор распахнулась.

— Выходи!

«Выгрузка» из подвала на улицу длилась не меньше часа. Мы выходили последними. Туман в подвале уже развеялся, открылся потолок, белый, сводчатый, низкий потолок. На нем крупными буквами углем было написано:

«В этой могиле мы умирали трое суток и все же не умерли. Крепитесь, товарищи!»

Построили всех без вещей, вещи сложили на телегу. Засверкали штыки. Вперед вышел гибкий рябой начальник конвоя — Щербаков. Помощником был одноглазый Кулаков — лицо его было разрублено казацкой шашкой во время гражданской войны.

Этап двинулся. Первый отрезок — километров пятнадцать.

К моему величайшему удивлению, в конвое оказался один знакомый. Я был с ним в 67-й камере Бутырской тюрьмы. Это был Федя Цвирко — начальник какой-то пограничной заставы. Он приехал в отпуск в Москву, напился в «Континентале» и открыл ночью стрельбу из маузера по квадриге Аполлона над Большим театром. Очнулся он в тюремной камере на Лубянке без ремня, со споротыми петлицами, получил три года лагерей и был отправлен в нашем же этапе. Шинель со следами от петлиц была еще на нем. Он уже успел переговорить с конвоем и перейти «на сторону победителя», — он был уже в охране, ехал как «передовой» для подготовки помещения для этапа. Я было сунулся к нему с какой-то просьбой (по Бутыркам я знал его отлично), но встретил такой отсутствующий холодный взгляд, что больше на протяжении многих лет не обращался к нему. Цвирко сделал большую лагерную карьеру — был начальником «командировки» Потьма близ Вижаихи, любимцем Берзина, с ним уехал на Колыму, был там начальником Северного горного управления в тридцатые годы, во второй половине, и вместе с Берзиным был расстрелян.

Идти нам было пять дней — сто с чем-то километров — до Вижаихи, до Управления 4-м отделением СЛОНа.

Уральский апрель — везде ручейки, проталины, горячее жгучее солнце бледную тюремную кожу наших лиц превращало за несколько часов в коричневую, а рты делало синими. «И кривятся в почернелых лицах голубые рты» — это сказал про весенний этап Есенин.

Идти было не тяжело. Было много привалов, сзади этапа плелись сани-розвальни, в них ехали зубная врачиха и начальник конвоя Щербаков.

Засветло мы подошли к деревне, где нам отвели две избы для ночевок — одна побогаче, обыкновенная северная изба, а другая — сарай с земляным полом, на который была брошена солома.

Весь этап вели мимо Щербакова, и, глядя в лицо каждому, начальник конвоя изрекал:

— В сарай!

— В избу!

— В сарай!

Способ этот — выбирать «на глаз» — очень распространен в лагерях, где только опытный может справить-

ся с отбором. Как отбирают: крестьян — без промаха, блатных — без промаха, грамотных — без промаха.

Старые начальники гордились этой своей «опытностью». В 1930 году близ станции Березники выстраивались огромные этапы, следующие в управление, и вдоль рядов проходил Стуков, начальник Березниковского отделения. Люди были построены в две шеренги. И он просто тыкал пальцем, не спрашивая ничего и почти не глядя, — вот этого, этого, этого, — и без промаха оставлял работяг-крестьян по пятьдесят восьмой.

— Все кулаки, гражданин начальник.

— Горяч еще, молод ты. Кулаки — самый работящий народ... — И усмехался.

Иногда приходилось задавать вопросы.

— А нет ли здесь, — Стуков повышал голос, — нет ли здесь, кто раньше работал в органах?

— В органах! В органах! — эхом откликался этап. Работавших в органах не находилось.

Вдруг откуда-то сзади протиснулся к Стукову человек в штатском бумажном костюме, белокурый, а может быть черноволосый, и зашептал:

— Я осведомителем работал. Два года.

— Пошел прочь! — сказал Стуков, и осведомитель исчез.

У меня не было «багажа»: солдатская шинель и шлем, молодость — все это было минусом в глазах Щербакова, — я попадал неизменно на глиняный пол сарая.

Приносили кипяток, давали хлеб на завтрак, селедку, ставили парашу. Смеркалось, и все засыпали всегда одинаково страшным арестантским сном с причитаниями, всхлипываниями, визгом, стонами...

Утром выгоняли на поверку и двигались дальше. Первым же утром под матерщину, окрики проволокли перед строем чье-то тело: огромного роста человек лет тридцати пяти, кареглазый, небритый, черноволосый, в домотканой одежде. Подняли на ноги. Его втолкнули в строй.

— Драконы! Драконы! Господи Исусе! — Сектант опустился на колени. Пинок ноги начальника конвоя опрокинул его на снег. Одноглазый и другой — в пенсне, Егоров (потом он оказался Субботиным), стали топтать сектанта ногами; тот выплевывал кровь на снег при тяжелом молчании этапа.

Я подумал, что, если я сейчас не выйду вперед, я перестану себя уважать.

Я шагнул вперед:

— Это не советская власть. Что вы делаете?

Избиение остановилось. Начальник конвоя, дыша самогонным перегаром, придвинулся ко мне:

— Фамилия?

Я сказал.

Избитый черноволосый сектант — звали его Петр Заяц — шагал в этапе, утирая кровь рукавом.

А вечером я заснул на полу в душной, хоть и нетопленой, избе. Эти избы хозяева охотно сдавали под этап — небольшой доход для бедной пермяцкой деревни. Да и весь этот тракт оживился с открытием лагеря. Шутка сказать — за беглеца платили полпуда муки. Полпуда муки!

Было жарко, тесно, все сняли верхнюю одежду, и в этой потной духоте стал я засыпать. Проснулся. По рядам спящих ходил Щербаков, и другой боец подсвечивал ему «летучей мышью». Кого-то искали.

— Меня?! Сейчас оденусь.

— Не надо одеваться. Выходи так.

Я даже испугаться не успел — они вывели меня на двор. Была холодная лунная ночь уральского апреля. Я стоял под винтовками на снегу босиком, и ничего, кроме злости, не было в моей душе.

— Раздевайся.

Я снял рубашку и бросил на снег.

— Кальсоны снимай.

Я снял и кальсоны.

Сколько простоял времени, не знаю, может быть, полчаса, а может быть, пять минут.

— Понял теперь? — донесся до меня голос Щербакова.

Я молчал.

— Одевайся.

Я надел рубашку, кальсоны.

— Марш в избу!

Я добрался до места. Никто меня ни о чем не спрашивал. Мои опытные соседи, блатари, видели и не такие вещи. Я для них был фраер, штымп.

Когда этап прибыл в лагерь, принимать вышел комендант 1-го отделения Нестеров.

— Претензий к конвою нет?

— Нет, — сказали.

— Нет, — сказал Петр Заяц.

Через год я случайно встретил Зайца на улице, на лагерной улице. Поседевший, изможденный. Вскоре я узнал, что он умер.

Никогда и никто не вспоминал этого случая. Но через два года, когда я работал уже на большой лагерной работе (в те годы заключенный мог занимать почти любую лагерную должность), в наше отделение в качестве младшего оперуполномоченного был переведен Щербаков. Он счел нужным отдать мне визит, хоть и был вольнонаемным, а я — заключенным. Он пришел ко мне вечером.

— Работать вот сюда приехал.

— Как же ты думаешь здесь работать? — сказал я.

— Да ведь, слышь, тогда с нами беглецы были. Ведь нельзя было иначе.

— Да ты что — боишься, что я начальству заявление подам?

— Да нет, просто так.

— Не мели, Щербаков. Не мели и не бойся. Заявлений я никаких подавать не буду.

— Ну, до свидания.

Вот и весь наш разговор в 1931 году, летом.

Этап — первый этап в моей жизни — подходил к концу. Командировки Выя, Ветрянка и, наконец, Вижаиха — Управление 4-го отделения СЛОНа.

Этап пришел днем, и для встречи вышел сам комендант 1-го отделения Нестеров. Грузный, с иссиня выбритыми щеками, с огромными кулаками, поросшими черной шерстью. Кулаки эти заметились сразу, и не напрасно.

К Нестерову подвели поочередно тех трех беглецов, которых привел наш конвой из Соликамска (полпуда муки!).

Нестеров узнавал каждого, называл по фамилии.

— Ну, — сказал он первому. — Бежал, значит.

— Бежал, Иван Степанович.

— Ну, выбирай: плеска или в изолятор?

— Плеска, Иван Степанович.

— Ну, держись. — Волосатым кулаком Нестеров сшиб беглеца с ног. Беглец лежал, выплевывая сломанные зубы на песок.

— Марш в барак! Следующий.

— Ну, а ты? Плеска или в изолятор?

— Плеска, Иван Степанович!

«Плесок» — значило пожертвовать зубами, костями, но не попасть в ШИЗО — штрафной изолятор, где пол железный, где после трех месяцев выходят только в больницу, где дневальный за малейший шорох в камере ставит на камерной двери мелом крест: лишить питания на неделю.

Притом срок пребывания в ШИЗО исключается из общего срока наказания. Поэтому все выбирали «плеска». Для самого Ивана Степановича эти сцены были развлечением, и себя он считал «отцом родным».

Через два года с этим Нестеровым ездил я в одной комиссии на Чердынский леспромхоз по поводу произвола с переселенцами-кулаками. Все они были с Кубани, леса не знали, их сгрузили тысячами прямо на снег, и они рубили себе избы по-черному. Умирали и работали на лесозаготовках. Голод. За буханку хлеба матери приводили начальству дочерей.

Вот в чердынской гостинице ужинал я с Иваном Степановичем Нестеровым. Котлет у него с собой был целый огромный баул. Мороженые котлеты ему супруга изготовила, опытная северянка. И вся наша комиссия жила этими котлетами. В эту поездку я рассмотрел очень близко знаменитые нестеровские кулаки. Кулаки, верно, были тяжелы, волосаты.

Все казалось, что я читаю хорошо знакомую книгу. И было очень трудно. Как я должен вести себя с начальством? С уркачами? С белогвардейцами? Кто мои товарищи? Где мне искать совета?

Разве можно допустить, чтобы про меня сказали что-либо нехорошее? Не в смысле лагерных установлений и правил, а некрасивый поступок любой. Как все продумать? У кого найти помощь?

Уже осенью 1929 года я знал, что все мои товарищи по университету, те, кто был в ссылке, в политизоляторе, вернулись в Москву. А я? Я пробовал писать — никакого ответа.

Я написал заявление, ничего не прося, просто: «Присоединяюсь к заявлению Раковского», которое мне казалось наиболее приличным из написанного «возвращенцами».

Вскоре меня вызвал заместитель начальника лагеря Теплов.

— Вы подавали заявление?

— Да.

— У вас есть жалобы? Просьбы?

— Никаких просьб и жалоб нет.

— Хорошо. Ваше заявление будет отправлено в Москву.

С этим заявлением я встретился в 1937 году на следствии. Заявление было просто приобщено к делу, а мне не было сообщено ничего. А я ведь ждал этого ответа.

К этому времени я твердо решился — на всю жизнь! — поступать только по своей совести. Никаких других мнений. Худо ли, хорошо ли проживу я свою жизнь, но слушать я никого не буду, ни «больших», ни «маленьких» людей. Мои ошибки будут моими ошибками, мои победы — моими победами.

Я возненавидел лицемеров. Я понял, что право приказывать дается тому, кто сам, своими руками умеет сделать все то, что он заставляет делать других. Я был нетерпелив, горяч.

Блатная романтика не привлекала меня. Честность, элементарная честность — великое достоинство. Самый главный порок — трусость. Я старался быть бесстрашным и несколько раз доказал это.

Ушли обрадованные беглецы — ведь и дело не будут заводить, вот счастье, вот золотой мужик Иван Степанович.

Дополнительного срока тогда за побег не давали. Чаще всего убивали в побеге. Но если приводили назад — ничего, кроме побоев или изолягора, беглецам не грозило.

Нас привели в новый барак, новую девятую роту сделали из нашего этапа, а командиром роты был назначен Раевский, бывший офицер.

Он несколько раз нас построил. Подрепетировал.

— Здравствуй, девятая рота!

— Здра! — И отпустил нас в барак. Чистенький, новенький. Нары везде сплошные. Нары вагонной системы были только в бараке лагерной обслуги в четвертой роте. Здесь была не только «вагонка» — все нары были скреплены общей проволокой, и вся система нар качалась от движения каждого, кто садился или влезал вверх. Поэтому барак четвертой роты был всегда наполнен мелодичным шумом — негромким скрипом. К этому проклятому скрипу надо было привыкать.

Огромная площадь лагеря, «зона», как ее называли в будущие годы, была окружена проволокой с караульными вышками, с тремя или четырьмя воротами, откуда выходили на работу арестанты.

Слова «зэк» не было тогда. Лагерь блестел чистотой. Чистота, порядок были главным достижением лагеря, предметом неустанных забот многочисленной его обслуги. Еще бы!

На каждую арестантскую роту в 250 человек (на это количество и был рассчитан барак типовой) назначались

(из заключенных и обязательно по бытовой статье) командир роты, нарядчик, три командира взводов, завхоз, шесть дневальных, один из которых был хлеборезом.

Вся уборка и барака и зоны велась всегда обслугой — работяг не трогали никогда.

Потом, когда стали экономить, сократили командиров взводов до двух человек (ночного и дневного дежурных), дневальных стало 3 человека (ночью не дежурили), а дневальный вставал на час раньше, чтоб вынести огромную парашу, которая на ночь ставилась у дверей барака. И упаси боже было выйти и помочиться мимо. Ночные бессонные дежурные командиры лагеря сновали по зоне беспрерывно, и человек, вышедший помочиться не в парашу, рисковал не вернуться в барак.

Бараки стояли рядами. Летом вечерняя поверка и сдача дежурства проводилась в 7 — 8 часов. Арестантов выстраивали около барака, командир роты писал «строевку», и два коменданта — сдающий дежурство и принимающий — двигались быстро вдоль выстроенных арестантов. Каждый командир роты рапортовал. Рота стояла по команде «смирно».

— Здравствуй, девятая рота!

— Здра!

— Вольно.

Этим процедура ежедневной поверки кончалась. После звонка в рельс каждый мог заниматься своим делом до 10 часов вечера, до отбоя.

В лагере не было никаких клубов, красных уголков, никаких газет. Все это появилось позднее, после «перековки». Лагерные рассказчики, певцы, частушечники развлекали особенно в тех бараках, где жили блатные покрупнее.

Тогда еще не было никакого «сучьего» движения. «Суки» были одиночки, вроде Сергея Попова — коменданта из блатарей. Блатные жили по должности — то в бараке обслуги, то в рабочем бараке. Статьи были все перемешаны.

Одежда была своя, вольная, и только по мере того, как она изнашивалась, арестанту выдавали казенное — брюки солдатского сукна, бушлаты солдатского сукна, ушанки-«соловчанки» солдатского сукна. Словом, весь наряд арестанта был точной копией арестантской одежды царского времени и по материалу, и по покрою.

Кормили тогда по-особому. Еще никто не додумался сделать из пайки средство выколачивания плана — ка-

ждый получал один и тот же казенный паек, арестантскую пайку. Каждый имел право на восемьсот граммов хлеба, на приварок — каши, винегреты, супы с мясом, с рыбой, а то и без мяса и без рыбы — по известным раскладкам на манер тюремных.

Хлеб выдавался на каждый барак, и хлеборез барака резал пайки с вечера. И каждому клал на постель его пайку. В лагере никто не голодал. Тяжелых работ не было. На работе никто не понукал.

Дневальные приносили к обеду в бачках суп и второе, и тот же хлеборез раздавал суп и кашу черпаком. Мясо было порезано на кусочки и выдавалось с весу. Вечером давали то, что положено вечером.

За работу не платили никаких денег. Но ежемесячно составляли списки на «премию» — по усмотрению начальников, и по этим спискам давали два, три, редко пять рублей в месяц. Эти два рубля выдавались лагерными бонами — деньгами вроде «керенок» по размеру, с подписью тогдашнего деятеля лагерей Глеба Бокия. Эти лагерные боны стоили гораздо выше, чем вольные деньги. В лагере был магазин, где можно было купить все что угодно.

Была в лагере и столовая — ресторанного типа, только для заключенных, где принимались деньги — боны. И где, например, порция антрекота стоила пятнадцать копеек. Так что двухрублевая премия ежемесячная кое-что значила. Кроме того, каждый имел на руках «квитанцию» на сумму, которую можно было истратить в лагерных магазинах. С этой суммы «списывал» завмаг красными чернилами, а лагерная бухгалтерия делала расчеты. Словом, по тюремному типу.

Тем, кто имел деньги из дома, начальник разрешал выдачу — или квитанцией, или бонами. Бонами стали рассчитываться с конца 1929 года, во время перековки. «Касса № 2» — так назывался по-бухгалтерски расчет этими бонами. А квитанционный, тюремный, расчет был отменен.

Было трудно и обидно, что и товарищам я нужен для какой-то их игры, что то, что мной сделано, было лишь мелкой монетой в каких-то расчетах.

Трудно было быть одному — месяцы и годы среди чужих людей, ненавидящих мои «преступления». Но с каждым днем я чувствовал себя все крепче — душевные силы нашлись, оказывается, у меня. То ли воздух уральский горный был слишком целебен. То ли я молод был очень тогда.

Впоследствии я узнал, что товарищи не бросили меня, что они тщетно пытались со мной связаться и, думая, что лагерь, каторга — это нечто вроде ссылки, писали мне туда много и неосторожно. Об этом мне пришлось узнать в следственных органах. Но все это было много позднее, а сейчас я был один — один среди тысяч.

В один из первых в моей жизни «разводов» я увидел какие-то три ящика, поставленных около «вахты».

Я спросил у соседа, что это.

— Беглецы! Трупы!

Вперед выходила какая-то фигура в шинели.

— Вот так будут поступать со всеми беглецами.

Значит, отсюда бегут.

Я работал на лесозаводе, таскал бревна, доски.

Помню, той же весной в один из первых дней всю нашу партию отвели в глубокий снег, — а под снегом вода, и ноги промокли мгновенно, — чтобы дать дорогу лошади с санями порожняком. Так понял я, что лошадь ценится больше человека.

Помню еще первую лагерную баню, где раздевались прямо на улице, а была еще весна, продувало холодным ветром, и давали ковш воды: что тут было мыть? Как мыться? Белье было мокрое, холодное...

Я работал на лесоповале, таскал бревна, доски.

Меня отыскал Матвеев, ротный нарядчик:

— Ты грамотный, кажется. Хочешь идти ко мне табельщиком?

Нарядчику помогал тогда и помощник. Это было еще до перековки, весной 1929 года.

— Надо подумать!

— А чего тут думать? Идем завтра же к Николаю Ивановичу.

Николай Иванович Глухарев был в лагере начальником отдела труда, ведающего использованием рабсилы. Так как никаких «завоевательных» планов насчет заключенных у начальства в то время не было и арестантский труд — само собой считалось — есть труд низкой производительности (главный секрет будущей перековки и был в плане, в перевыполнении нормы, в процентах). Даже будущие «дома свиданий» (они так и назывались — «дома свиданий») рассчитаны были на перевыполнение нормы, не говоря уже о подписке на заем, о шкале питания, о сборе подписей под Стокгольмским воззванием и прочих высотах злобного и изобретательного ума, всевозможных вариациях лозунга «кто не работает, тот не ест».

В лагере 1929 года было множество «продуктов», множество «обсосов», множество должностей, вовсе не нужных у хорошего хозяина. Но лагерь того времени не был хорошим хозяином. Работа вовсе не спрашивалась, спрашивался только выход, и вот за этот-то выход заключенные и получали свою пайку.

Считалось, что большего спросить с арестанта нельзя.

Зачетов рабочих дней не было никаких, но каждый год, по примеру соловецкой «разгрузки», подавались списки на освобождение самим начальством лагеря, в зависимости от политического ветра, который дул в этот год, — то убийц освобождали, то белогвардейцев, то китайцев.

Эти списки рассматривались московской комиссией. На Соловках такую комиссию из года в год возглавлял Иван Гаврилович Филиппов, член коллегии НКВД, бывший путиловский токарь. Есть такой документальный фильм «Соловки». В нем Иван Гаврилович снят в своей наиболее известной роли: председателя разгрузочной комиссии. Впоследствии Филиппов был начальником лагеря на Вишере, потом — на Колыме и умер в Магаданской тюрьме, не дождавшись конца следствия по делу Берзина. Но о Филиппове рассказ мой впереди.

Списки, рассмотренные и подготовленные приезжей комиссией, отвозились в Москву, и та утверждала или не утверждала, присылая ответ через несколько месяцев.

«Разгрузка» была единственным путем досрочного освобождения в то время.

Николай Иванович Глухарев, начальник отдела труда (в будущем этот отдел был реорганизован в УРО[1]), был черноморский матрос, участник революции, потом чекист московский, попавший по служебному преступлению не то за взятку, не то за превышение власти.

Всегда в тельняшке, в вольном каком-то темно-синем кителе, красавец Николай Иванович хотел людям только хорошего и рад был оказать помощь всякому человеку. Следствие не укрепило в нем классовых позиций. И хотя им никто не командовал и подбор штата зависел исключительно от него самого, мне кажется, что некоторые тайные подарки он получал — от блатных главным образом. У него было два заместителя: Остап Семенович Козубский — украинский какой-то деятель, осужденный на 5 лет, и Руденко — бывший жандармский полковник. Козубский управлял своим царством (разнарядки по всему лагерю) охотно и с энергией, Руденко — довольно вяло.

Срок у Руденко был тоже пять лет. В те времена больших сроков не давали, и осужденных на десять лет в лагере на две тысячи человек было всего двое — их все знали, показывали пальцем на них. Большие сроки принесла перековка, то, что шло за перековкой. Среди нарядчиков было много блатарей, причем самых видных.

Старший нарядчик, выполнявший функции помощника Козубского, был потомственный блатарь Николай Иванович Кононов — парень лет тридцати. Нарядчиком четвертой роты (обслуги), где все дело было в табеле и подаче рапортичек, работал Володенков — блатарь лет сорока. Еще были блатари, и даже мне в помощь был дан блатарь Баранов, но на его советы «оставить дома кого-то» я ответил резко, он пообещал пожаловаться Кононову, но дело кончилось ничем. У Глухарева Кононов, по-видимому, не нашел поддержки.

В отделе труда была задняя комната — «картотека», где работало несколько украинцев под началом Алешки Ожевского. Это уже была фигура, известная мне по процессу украинских националистов.

Ожевский и его помощники с шумной и чуждой им компанией нарядчиков не общались вовсе. Делопроизводителем отдела труда, сидевшим вместе с нами, был старик Маржанов Федор Иванович, кажется, десятилетник.

Это был живой старик, который вечно вмешивался со своими замечаниями, не оставляя ни одного нарядчика в покое.

Его провокационные разговоры вывели меня из терпения, и в споре с ним я сказал:

— Вы, Федор Иванович, наверняка в царской полиции служили.

Боже мой, что было. Маржанов стучал кулаком по столу, бросал бумаги на пол, кричал:

— Мальчишка! Дворянин не мог служить в полиции!

На шум вышел из своей комнаты Глухарев (он жил за картотекой в кабинке), но, узнав, в чем дело, рассмеялся.

После этого случая я был оставлен в покое Маржановым — перестал для него существовать.

Была в лагере больница, была амбулатория, но я туда не обращался, а медики жили жизнью особой. Впрочем, во главе санитарного отдела стоял вовсе не медик. Им был некто Карновский, самый обыкновенный лагерный администратор.

Начальник санчасти нашего отделения, «доктор» Жидков, тоже не был ни доктором, ни врачом, ни фельд-

шером, он был студентом медицинского факультета, как он сам говорил, а сидел за то, что был провокатором в царской охранке. Лет ему было не больше сорока.

Штат его был подобран по принципу, неоднократно декларированному Жидковым.

— Был бы честный человек. Спирт не выпьет, а медицинские знания — это дело десятое.

Это «десятое» дело привело к огромной распространенности цинги. Цингой болели сотни людей, передвигались на палочках по лагерю. И лечили цинготников не врачи, а начальники.

У моего командира роты Васьки Журавлева были черные пятна по всему телу, половина тела была в цинготных пятнах.

А у Василия Ивановича, нарядчика, не было пальцев на правой руке. Василий Иванович был саморуб.

Я понял, что лагерь открылся мне еще не весь.

Воскресенье было днем отдыха. Почему-то весь лагерь сбежался к проволоке — от вахты дорога на север уходила вверх, и сейчас на этой дороге в жаркий летний день что-то двигалось.

Двигалась только туча пыли, медленно поднимаясь откуда-то издалека вверх. Туча подползла ближе, сверкали штыки, а туча ползла и ползла. В десяти шагах от лагеря туча остановилась. Это был этап с севера — серые бушлаты, серые брюки, серые ботинки, серые шапки — все в пыли. Сверкающие глаза, зубы незнакомых и страшных чем-то людей.

«Этап с севера».

Понятно, этап с севера — с лесозаготовок, где рубят руки, где цинга губит людей, где начальство ставит «на комарей» в тайге, где «произвол», где при переходах с участка на участок арестанты требуют связывать им руки сзади, чтобы сохранить жизнь, чтоб их не убили «при попытке к бегству».

Я помню эту тучу пыли и сейчас.

С недавнего времени по лагерю ползли слухи, что меняется начальство, что в Соловках аресты начальников, что и наш лагерь накануне больших перемен. К лучшему? К худшему?

Бежал Володенков, нарядчик, на моторной лодке вместе с мотористом.

Бежал Кононов, старший нарядчик, лесами ушел.

Приехала московская комиссия, расстрельная комиссия. Начальник управления Муравьев был арестован.

Арестован был, к моему величайшему удивлению, Николай Иванович Глухарев — за взятки, за связь с блатарями. Пять лет получил он «довесок» и ушел работать монтером на строительство. И по зачетам освободился.

Приехал новый директор строительства Вишхимза — Эдуард Петрович Берзин[2], бывший командир латышской дивизии, герой дела Локкарта. С ним приехало много латышей — нового лагерного начальства: Лимберг, Теплов, Вальденберг.

ОГПУ были переданы исправдома, начиналось широкое лагерное строительство — перековка. Концлагеря были переименованы в исправительно-трудовые. Население арестантское росло. День и ночь шли поезда, этап за этапом. 4-е отделение Соловков было преобразовано в самостоятельный лагерь УВИТЛ[3]. Общее количество заключенных в нем к январю 1930 года достигло 60 тысяч. А в апреле, когда пришел наш этап, было только две тысячи.

Открыли Темники, Ухта-Печору, Караганду, Свирлаг, Бамлаг, Дмитлаг...

Наш лагерь был «опытным хозяйством» перековки.

Весной двадцать девятого года в отделе труда познакомился я с Александром Александровичем Тамариным.

К вечерней «разнарядке» — назначению на завтрашние работы — пришел огромный седой старик, грузный, большерукий.

— Вот заявка, — протянул он бумагу Козубскому.

— Хорошо, вот из третьей роты Шаламов и пошлет.

— Трех человек, только тех, что были раньше, я фамилии сейчас дам. А вы новенький?

— Новенький, — ответил за меня Козубский, — и из самой Москвы, Александр Александрович.

— Вот что. А что же вы делали в Москве? — Седой старик поворотился ко мне.

— Учился в университете.

— Вот что. Вы не могли бы завтра, после развода, ко мне зайти? В сельхоз, на тот берег.

— На вахте не пустят, — сказал Козубский.

— Пустят, я скажу. К Тамарину, скажете, в сельхоз.

Старик ушел.

— Это Тамарин Александр Александрович, агроном сельхоза, — объяснил мне Козубский. — Это человек не простой.

На следующий день я был в сельхозе. Огромные оранжереи, парники — дело было ранней весной, — подготовленные рассады, зелень, теплый парниковый

запах земли. Седой огромный старик в татарском бешмете. Две женщины около него — одна такая же огромная, как он, с таким же огромным носом и такая же седая, другая — маленькая, с желтым сморщенным лицом, маленькими ручками.

— Моя мама, — указал Тамарин на седую женщину. — И моя сестра.

Я поздоровался.

— Я писал раньше обзоры в «Комсомольской правде», — сказал старик. — «Тамарин-Мерецкий» — такая подпись. В отличие от просто Тамарина... Тамарин — это псевдоним Окулова Алексея. Знаете такого писателя?

— Да, слышал. Крестьянский писатель.

— Ну, крестьянского в нем ничего нет.

. . . .

— Мне нравится здесь, на Севере. И маме нравится. Маме восемьдесят шесть лет, и она всю жизнь прожила на юге. И сестре нравится. Она работает машинисткой в конторе. А я вот увлекался с юности цветами — пригодилось.

Александр Александрович вздохнул. Он дал мне журналы, книги, и мы распрощались. Разговоры с Тамариным, сельхоз на том берегу, тишина оранжерей...

. . . .

— Вы еще молоды. Очень молоды. Но старше — будете ценить тишину. Мне — шестьдесят пять.

Срок у Тамарина был три года, три года концлагерей.

. . . .

Александр Александрович был не Тамарин и не Мерецкий. Настоящая его фамилия была Шан-Гирей. Он был татарский князь из свиты Николая II. Когда Корнилов шел на Петроград, князь Шан-Гирей был начальником штаба пресловутой «Дикой дивизии». А потом по призыву Брусилова Шан-Гирей перешел на службу в Красную Армию, командовал корпусом в гражданскую войну. Корпус Тамарина принимал участие в операциях против Энвер-паши, против басмачей. Энвер был разбит, но ушел из окружения, перешел границу и исчез, а Тамарин был обвинен в военных ошибках, в помощи бегству Энвера. Тамарин был демобилизован из Красной Армии, жил в Москве, работал в газетах. Вскоре был арестован и заключен в концлагерь на три года. Любитель цветоводства и огородничества стал агрономом сельхоза.

— На досуге подумайте, — говорил мне Александр Александрович. — Царские офицеры, особенно высшие, вовсе не были бездельниками. Каждый знал, и хорошо знал, какую-нибудь рабочую профессию. Граф Игнатьев — кузнец, и хороший кузнец, я — агроном, цветовод, а полковник Панин, что пришел с вами одним этапом, — великолепный столяр. И сейчас заведует столярной мастерской.

. . . .

Да, позднее я знал еще замечательного мастера парикмахерского дела — забыл его фамилию... Тот был тоже, как и Тамарин, близок царскому двору.

— После революции, — рассказывал он, — я понял, что спасти меня может только ремесло. Не профессия, а именно ремесло. Вы понимаете меня? Я пошел к своему парикмахеру, который брил меня каждый день в течение десяти лет для двора. Тот за полгода научил меня всем премудростям. И вот я — парикмахер. Высококвалифицированный мастер. И в лагере не пропаду!

. . . .

— Да и здесь, на Вишере, из трех лагерных дежурных комендантов только один — бывший штабс-капитан Александров — дежурил так, что сто дневальных и тридцать взводных боялись задремать хоть на секунду.

. . . .

— Когда меня освободят — мне осталось меньше года, — я останусь здесь навечно. Маме здесь нравится, сестре тоже.

Эти беседы в сельхозе были очень хороши. Но продолжались они недолго. Внезапно Александр Александрович был вызван в Москву.

— На освобождение, — уверяли все.

— Нет, это не на освобождение, — говорил Александр Александрович, — это другое.

Мы расцеловались, и я не думал, что встречу его когда-нибудь.

Но через несколько месяцев в Березниках на пересыльный пункт «Ленва», куда я был переведен работать, прибыл из Москвы спецконвой. Конвоиры ушли обедать, а тот, кого они везли, сидел в камере на чемоданах и смотрел в окно, курил. Человек был сед, небрит. Орлиный профиль его был очень знакомым.

— Александр Александрович!

Мы расцеловались, и Тамарин рассказал свою историю.

За эти три года, что он сидел, за границей вышли многочисленные мемуары. И в каких-то воспоминаниях говорилось, что Энвер, старый знакомый Шан-Гирея — Тамарина, переписывался с ним во время гражданской войны, чуть ли не встречался. И Тамарин помог Энверу бежать.

— Но ведь это провокация, Александр Александрович. Ведь это делается для того, чтобы огорошить, вызвать подозрения. Это же...

— Конечно, провокация. Цель Энвера я очень хорошо понимаю. Скомпрометировать меня в глазах советской власти. К тому же лично я Энвера действительно знал. Был с ним знаком. Мое дело пересмотрели и дали мне десять лет. Даже старые почти три года не зачли. Будет мне семьдесят пять, когда освобожусь. А маме — девяносто пять. — Александр Александрович улыбнулся. — Я просил одного — пошлите меня на старое место, на Вишеру, в сельхоз. Там я и умру. Меня и послали обратно.

Мы расцеловались, и больше я Тамарина не видел. Но кое-что знаю о нем. Когда Александр Александрович вернулся обратно, директор Вишхимза был уже новый — Эдуард Петрович Берзин. Берзин, старый чекист, очень хорошо понимал механизм подобных провокаций и, веря в человека, а не в бумагу, принял горячее участие в судьбе старика Шан-Гирея. Тамарин представлен был им на сокращение срока, а в 1932 году Берзин, уезжая на Колыму, взял Тамарина с собой, и Александр Александрович стал заведующим КОС — Колымской опытной станцией, работавшей по изучению и внедрению на Севере сельского хозяйства. Именно Тамариным заложены основы сельского хозяйства на Крайнем Севере. В 1935 году, когда Дальстрой отмечал свое трехлетие, Александр Александрович Тамарин был награжден орденом Ленина. Судимость с него была снята. Тамарин умер на Колыме глубоким стариком, не дожив до ареста Эдуарда Берзина как японского шпиона. От всей свистопляски 37—38-х годов Тамарина избавила смерть. Все друзья последних лет жизни Александра Александровича — Берзин, Майсурадзе, Егоров, Лагин — расстреляны. До реабилитации их оставалось очень много лет. Александр Александрович, умерший раньше этих расстрелов, не нуждался в реабилитации.

Что там за люди были на Вишере летом двадцать девятого года до перековки?

Было большое количество блатарей, которые работали тогда и нарядчиками. Кононов, Володенков, Баранов — все они были «люди» преступного мира.

Был Карлов, пятидесятилетний карманник, грузный, опухший человек с огромным животом и пухлыми короткими пальцами. С огромной лысиной, остриженными длинными поповскими волосами, голубоглазый, Карлов носил кличку «подрядчик», и можно только поражаться точности этой клички. Пальцы Карлова были пухлы, коротки, и он был искуснейшим карманником, признанным мастером этого дела. Много поздней, в тридцатых годах, довелось мне читать в «Правде» об аресте Карлова — он много лет орудовал в Москве, в вокзальной уборной, одеваясь, раздеваясь, умывая руки и не теряя из виду чужие бумажники.

В конце двадцатых годов он был признанным «авторитетом» воровского мира, мира уркачей. Ни одна правилка — «суд блатарской чести» — не обходилась без его участия.

Среди блатарей есть два мнения о «товариществе», о помощи сильных слабым. Одни считают, что «большой» блатарь должен помогать малому в организации краж, например, а другие считают, что молодой «уркач» должен сам доказать свои способности, свою принадлежность к блатному миру, суметь себя «прокормить». Карлов как раз держался второй точки зрения.

«Урчите, ребята, урчите, а у меня не просите», — таков был его постоянный совет.

В лагере он работал поваром в той самой столовой для заключенных, где продавались антрекоты на лагерные боны.

Карлова вызывали и пред светлые очи начальства. Большое лагерное начальство любит поговорить с блатарями, и блатарям это известно. Я был свидетелем такого разговора, происходившего у начальника ГУЛАГа Бермана с Карловым. Показ невиданного зверя происходил в коридоре административного управления лагеря.

— Ну, как ты живешь? Жалоб нет? — спросил Берман.

— Нет, — ответил Карлов. — Да и почему бы, гражданин начальник, ко мне относиться плохо? Крови рабочих я не пил, да и нынче, — «подрядчик» посмотрел на петлицы Бермана, — ромбов не ношу...

— Уведите его, — сказал Берман.

Так и кончилось это свидание.

Блатной мир двадцатых годов еще соблюдал «старые заветы»: за оскорбление матерной бранью блатарем блатаря виноватого загоняли под нары, били, а в начале века, говорят, убивали.

Хранителями преданий выступали и два, как их звали, «каторжанчика», и несколько старых блатарей, изведавших еще царские арестантские роты и носивших кличку «староротский», или просто «ротский».

«Каторжанчик» значило, что арестант побывал на Сахалине или на Байкало-Амурской «колесухе». К лингвистическому спору Тимофеева и Ожегова о разнице в значении слова «каторжник» и «каторжанин» можно добавить еще один оттенок воровского «каторжанчика».

«Каторжанчики» и «староротские» — блюстители традиций, хранители истинной веры — были непременными участниками всех воровских «судов чести».

В воровском мире правят не наиболее сильные или наиболее удачливые «добытчики», а правит потомственная воровская аристократия. Конечно, нужен какой-то «душок», какая-то определенная смелость, близость слова и дела, но решение вопросов воровского мира зависит не от «чужаков», как бы они ни были удачливы и признаны. Эти «чужаки» всегда одиночки и стоят несколько в стороне (не по собственному желанию) от внутренней жизни блатарей. «Чужаки» помогают, работают с ними вместе, но глубина блатного мира закрыта для них.

Среди этих чужаков есть много удачливых, даже знаменитых налетчиков, прославленных «медвежатников», осужденных много раз за грабежи, убийства и ограбления.

Их уважают и побаиваются. Такой «тяжеловес» может блатарей пристукнуть запросто и их за людей не считает.

В двадцатых годах на Вишере таким прославленным тяжеловесом был медвежатник Майеровский, Першин-Майеровский. Уже позднее, в тридцатых годах, Майеровский ограбил Московский кожевенный институт, взломав там несгораемый шкаф, совершил подряд несколько ограблений. Майеровский работал в Ростокине заведующим гаражом. Его арест и прошлые подвиги описывала «Правда».

Я знал Майеровского хорошо. Он был грамотен и получил кое-какое образование. Родной брат его, как говорили, был одним из видных работников ОГПУ. Черноволосый, лет тридцати, Майеровский работал дневальным в одной из лагерных рот. Был любитель поговорить о

прочитанных книжках и художник неплохой, очень способный акварелист. Все, что рисовал — а он рисовал много, — было порнографического содержания. У меня был даже от него подарок — акварель на промокательной толстой бумаге, Майеровский подарил ее вместе с рамочкой, снабженной занавеской, но однажды, вернувшись домой, я не нашел под занавеской картины — кто-то взял на память.

В самом конце двадцать девятого года Майеровский был арестован и послан в ШИЗО за подделку собственноручных записок Ивана Гавриловича Филиппова в магазин на вино. Магазин был общий — для вольных и заключенных. Старику Филиппову был предъявлен магазинный счет на какое-то несусветное количество самого дорогого вина, которое было выдано магазином по запискам Филиппова. Филиппов, тяжелый сердечный больной, и капли вина не пил, а в магазин посылал только в одно из воскресений — за вином для гостей. Но еще до того, как началось следствие, Филиппов потребовал к себе «свои» записки из магазина.

— Все мои, — сказал он, внимательно пересмотрев бумажки. — Выпустите Майеровского.

Клуба в лагере не было (клубная деятельность началась с «перековки»), и каждый вечер, незадолго до отбоя, жаждущие «хавать культуру» собирались возле третьей роты, где жил Пименов, уже пожилой блатарь. Он долго себя упрашивать не заставлял и пел приятным тенорком «Соловецкое»:

Каждый год под весенним дождем
Мы приезда комиссии ждем. —

и многое другое, сложенное тут же, на Вишере. Он был импровизатор, частушечник, лагерный Гомер, творец эпоса.

«Классическое» пение исполнялось тоже блатарем, помоложе Пименова. Фамилия его была Рахманов.

Помню я ночку осеннюю, темную —
В легких санях мы неслися втроем. —

и прочая блатная классика.

Пел Рахманов и «фраерские» песни — «Кочегара», «Подружку». Тенор у него был отличный, толпа всегда собиралась возле завалинки, где напевал Рахманов.

В хорошую погоду пели чуть ли не каждый день и только блатные.

Перековка и все, что стоит за словом «Беломорканал», еще не нашло себе правильной оценки ни со стороны юристов, ни со стороны писателей.

Перековка — не только яркий пример догмы мертвого теоретического построения (чудодейственное воспитание трудом, благотворное влияние среды и т. д., по политграмоте Коваленко), в жертву которому приносились жизни и души людей.

Начальники-практики давно знают цену этой перековке.

Это и яркий пример лицемерия, призванного скрыть далеко идущие цели.

Перековка ворами была разгадана с первого дня.

Проценты перековывания были не большими, чем обычный процент «завязавших», «сук» и т. д.

Воровские кадры были не только сохранены, но небывалым образом укреплены перековкой. Каждый блатарь был готов перековаться и явиться «Коськой-капитаном» из погодинских «Аристократов». Блатари очень живо чувствуют «слабину», дырку в том неводе, который власть пытается на них набросить.

Какой начальник рискнет связываться с блатарем, если тот решил перековаться, требует перековаться? Какой лагерный начальник, будучи убежден, что перед ним — обманщик, лжец, рискнет не выполнить приказа свыше, «новой установки», о которой блатари осведомлены не хуже лагерного начальства?

Такому «начальничку» (блатари их так и зовут в глаза и за глаза — «начальнички») блатари не будут давать никаких взяток. Они будут требовать «свое»: они хотят перековаться, они требуют внимания, помощи. Они и сами могут оказать помощь. Ведь, по мнению правительства, они — «друзья народа».

Пресловутая 35-я статья превратилась из клейма в подобие медали.

А уж начальники-новички, необстрелянная в лагерной работе молодежь, те и впрямь видят в каждом блатаре Костю-капитана.

И выходит, что отличить «случайного преступника» от злостного рецидивиста необычайно трудно, практически невозможно.

Этим пользуется преступный мир. Нужен процент? Вот справка, что я целый год каждый день выполняю по 200% нормы. Справка с подписями и печатями. Ведь по поводу каждой справки не будешь вести особое следст-

вие. Да и следствие ни к чему не приведет — все подписавшие справку подтвердят всё и лично, ибо и они боятся блатарей больше, чем автора перековки.

Так рождается и царствует пресловутая туфта. Так рождается поговорка:

Без туфты и аммонала
Не бывало бы канала.

Начальство видит явную ложь — все лодыри, все профессиональные тунеядцы представили справки: на высокий паек, на высокий процент.

В забоях начинают играть на «кубики» с бригадирами. Но «кубики», то есть выполнение плана, поставленные на карту в буквальном смысле слова, — это еще небольшое зло.

Хуже то, что пять блатарей представили фальшивую, завышенную справку. Значит, у кого-то (у «чертей», у «мужичков») надо убавить, чтоб свести больше нормировщику, мастеру, десятнику.

Значит, кто-то должен мучиться, обрабатывая блатарей, которые ведь будут из-за своих высоких процентов представлены и на досрочное освобождение.

Ведь всю эту механику блатари понимают очень хорошо. Оказывается, можно не работать, получать благодарности, и высокий паек, и зачеты рабочих дней. И досрочно освобождаться. Трудовой подвиг блатаря.

Перековка открыла, что унизительность принудительного труда — сущие пустяки, пережитки наивного XIX века, что из заключенного можно не только и не столько «выбивать» работу, а лишь достаточно ударить по животу и угрозой голода заставить арестанта работать, перевыполнять план. Довольно сентиментальностей. Заключенные будут сами пожирать друг друга, сами будут охранять друг друга — выписывать наряды, проверять, давать и принимать работу.

Перековка на Беломорканале привела к страшному растлению душ — и заключенных и начальства — и именно из-за процентов, из-за выполнения плана.

Перековка провозглашала, что только в труде, активном труде — спасение. Маленькие сроки перестали давать — сыпались пятерки и десятки, которые надо было разменивать по «зачетам рабочих дней». Теоретически считалось, что срок — «резинка»: хорошо работаешь, выполняешь высокий процент — получаешь большие зачеты, выходишь на волю.

Плохо работаешь — тебе могут и сверх твоей десятки добавить.

Было опытным путем доказано, что принудительный труд при надлежащей его организации (без всяких поправок на обман и ложь в произволе гневных рапортичек) превосходит во всех отношениях труд добровольный.

И это касалось не только черных работ, неквалифицированного труда. Нет, даже инженеры, осужденные по так называемым вредительским процессам, работали по своей специальности (или по любой специальности интеллигентного труда) лучше, чем вольные специалисты. Я участвовал в большом количестве совещаний по этому поводу и хорошо помню примеры, доказательства.

Лагерь, перестроенный на деловую ногу, уже не терпел ненужной обслуги, а каждого человека старался использовать, чтобы он давал доход.

Эта деляческая сторона перековки была ее душой.

Перековка показала, как легко человеку забыть о том, что он — человек. Была создана, все сложнее и тоньше год от году, система поощрения. Святая тюремная пайка была заменена питанием по тонко разработанной шкале так, чтобы каждый рабочий час и день отражался на еде будущего дня; обычно питание менялось раз в десятидневку, иногда в пятидневку, а позднее на ключе Алмазном с вечера объявляли, кому не дадут хлеба завтра.

Вместо восьмисотки арестант стал получать трехсотку, пятисотку, шестисотку, семисотку, восьмисотку и килограммную пайку. Целая гамма ударов по желудку. А приварок, начав с премиальных блюд, перешел на стахановское, ударное и производственное питание — и далее до 8 различных пайков.

Лагерь — его устройство — есть величина эмпирическая. То совершенство, которое было встречено мной на Колыме, не было продуктом чьего-то гениального злого ума — все создавалось мало-помалу. Копился опыт. «Давай, давай» — это и был лозунг перековки. Первым советским лагерем были Холмогоры, родина Ломоносова. Холмогоры открыты в 1924 году. В них содержались остатки кронштадтских матросов — участников мятежа. Когда мятеж был подавлен, матросов-мятежников выстроили на молу в Кронштадте. Была команда — рассчитаться на первый-второй. Нечетные сделали шаг вперед и были расстреляны тут же, на молу, а четные получили по десять лет и сидели до 1924 года в тюрьмах,

пока не запросились на «чистый воздух», и был открыт лагерь в Холмогорах. Питание там было плохое, побои, цинга. Матросы бежали, бросились в Москву. Из Москвы в Холмогоры была послана воинская часть. Красноармейцы окружили лагерь, и комендант лагеря, латыш Опе, застрелился. Холмогоры были закрыты, уцелевшие матросы переведены в Соловки. В 1925 году был создан СЛОН — на Соловках 1-е отделение и управление, в Кеми — 2-е отделение, в Усть-Цильме — 3-е, на Северном Урале, на Вишере — 4-е.

Сейчас только что созданный самодеятельный УВЛОН преобразовывался в Управление Вишерских исправительно-трудовых лагерей с центром в местечке Вижаихе (нынешний Красновишерск) — УВИТЛ.

Начались собрания за собраниями. Хорошо помню заместителя начальника управления Теплова — яркоогненного, рыжего, бородатого человека.

Доклад. Мы создаем, все будет по-новому...

Рядом со мной стоял Петр Иванович Исшин, бывший ректор Свердловского партийного института.

— Скажите, гражданин начальник, есть ли разница между концлагерем и исправительно-трудовым?

— Нет разницы.

— Вы меня не поняли, гражданин начальник.

— Я вас понял. Хватит.

— И еще вопрос. Вот вы говорите, что надо каждого наблюдать, — может быть, осужденный по пятьдесят восьмой статье вовсе и не враг вам, а в обыкновенном бытовике сидит ярый контра, — узнавать, разоблачать. Не значит ли это, что приговорам судов нельзя доверять?

— Как ваша фамилия?

— Исшин.

— Зайдите ко мне после собрания.

Ничего Исшину не было.

Но еще раньше митингов, собраний и совещаний в лагерь приехали гости — несколько следователей. Начались допросы, аресты вольнонаемного состава. А еще раньше прилетели вести: в Соловках арестован знаменитый «Курилка» — комендант одного из островов, ставивший людей «на комарей» и моривший их голодом. Соловки закрыты! Реорганизованы в политизолятор! Лагеря ждет новая жизнь.

Неожиданно был арестован Николай Иванович Глухарев, начальник отдела труда, мой прямой начальник. Он получил пять лет за взятки, за пьянство. Все прости-

тутки лагеря, все блатные дружно утопили Николая Ивановича. После суда новая администрация предложила Глухареву прежний пост, отдел труда был реорганизован в УРЧ[4], в УРО. Но Глухарев отказался. Он пошел на общие работы, не на общие, а на строительство электромонтером, а через два года был освобожден за хорошую работу.

Новая жизнь входила в лагерные двери. Тридцать заключенных по выбору начальства были вызваны в кабинет нового начальника. Лагерь подчиняется директору Вишхимза — Вишерских химических заводов. Директор — Эдуард Петрович Берзин. Его заместитель по лагерю — Филиппов Иван Гаврилович. Заместитель Филиппова — Теплов. Конечно, подлинная «философия» перековки определилась позднее, а тогда, когда приехал Берзин, а главное, приехали берзинские люди, все казалось мне в розовом свете, и я был готов своротить горы и принять на себя любую ответственность.

Совещание это, самое первое, было проведено в разгар рабочего дня, и все тридцать заключенных пришли в кабинет начальника прямо с работы. В кабинете стояли скамейки, табуретки, и все мы расселись по стенам, и начальник начал свою удивительную речь. Начальник был вовсе не Берзин, а Лимберг.

Правительство перестраивает работу лагерей. Отныне главное — воспитание, исправление трудом. Всякий заключенный может доказать трудом свои права на свободу. Административные должности, вплоть до самых высших, разрешается занимать заключенным.

— И всех вас, — Лимберг обвел правой рукой, — администрация лагеря приглашает принять участие в этой почетной работе именно в качестве администраторов.

Через неделю я выехал в Соликамск для организации <строительства>.

Я ведь был представителем тех людей, которые выступили против Сталина, — никто и никогда не считал, что Сталин и советская власть — одно и то же. Как же мне себя вести в лагере? Как поступать, кого слушать, кого любить и кого ненавидеть? А любить и ненавидеть я готов был всей своей юношеской еще душой. Со школьной скамьи я мечтал о самопожертвовании, уверен был, что душевных сил моих хватит на большие дела. Скрытое от народа завещание Ленина казалось мне достойным приложением моих сил. Конечно, я был еще слепым щенком тогда. Но я не боялся жизни и сме-

ло вступил с ней в борьбу в той форме, в какой боролись с жизнью и за жизнь герои моих детских и юношеских лет — все русские революционеры.

Я считал себя приобщенным к их наследию, готов был доказать это. Но в глубине души я тосковал по товарищу, по человеку, по единомышленнику, которого я обязательно встречу на жизненной дороге, в самых глухих углах жизни, примеру которого буду следовать. Человек, у которого я буду учиться жить.

Увы, все оказалось гораздо страшнее. Мой лагерный приговор был первым по тем временам. Мне предстояло сойти в ад, как Орфею, — с сомнительной надеждой на возвращение, с «амальгамированным» клеймом. Пришлось поступать по догадке: что достойно? Что недостойно? Что мне можно и чего мне нельзя? Этого я не знал, а жизнь ставила передо мной один за другим вопросы, требовавшие немедленного разрешения.

За протест против избиений я простоял голым на снегу долгое время. Был ли такой протест нужным, необходимым, полезным? Для крепости моей души — бесспорно. Для опыта поведения — бесспорно. Не уважать такой поступок нельзя, наверное. Но тогда я об этом не думал. Это было импровизацией. И в дальнейшем я решал для себя, что, поскольку я в лагере один из двухтысячного тогдашнего населения, я должен себя вести по правилам элементарным, не забираясь в тонкость политики и не выступая с «анализами» и декларациями.

Я установил для себя несколько обязательных правил поведения. Прежде всего: я не должен ничего просить у начальства и работать на той работе, на какую меня поставят, если эта работа достаточно чиста морально. Я не должен искать ничьей помощи — ни материальной, ни нравственной. Я не должен быть доносчиком, стукачом.

Я должен быть правдив — в тех случаях, когда правда, а не ложь идет на пользу другому человеку.

Я должен быть одинаков со всеми — высшими и низшими. И личное знакомство с начальником не должно быть для меня дороже знакомства с последним доходягой.

Я не должен ничего и никого бояться. Страх — позорное, растлевающее качество, унижающее человека.

Я никого не прошу мне верить, и сам не верю никому.

В остальном — полагаться на собственную интуицию, на совесть.

Так я начал жить в лагере, все время думая о том, что я здесь — от имени тех людей, которые посланы сейчас в тюрьмы, ссылки, лагеря. Но это я должен только думать про себя, помнить, что каждый мой поступок и друзьями, и врагами будет оценен именно с этой, политической, стороны.

Быть революционером — значит прежде всего быть честным человеком. Просто, но как трудно.

<1961>

ЛАЗАРСОН

Осенью двадцать девятого года я в компании Ангельского, бывшего офицера, бежавшего из Перми как раз в этот самый рейс, плыл из Вижаихи в Усолье, в поселок Ленва, с пятьюдесятью заключенными, чтобы открыть, основать первую, новую командировку Вишерского лагеря, положить начало гиганту первой пятилетки — Березникам.

Я плыл, не особенно разбираясь в причинах своего назначения, не доискиваясь корней или поводов для столь неожиданного поворота в моей судьбе. Я чувствовал только, что волна судьбы выносит меня если не на стрежень, то, во всяком случае, на достаточно мощное течение, противоречить которому я не могу, да и не надо.

Я призван был возглавить рабочую силу лагеря на Березникхимстрое, ехал маленьким начальником из заключенных, призванных дать барыш лагерю.

Арестанты, которые ехали вместе со мной в трюме баржи, были плотники, землекопы, просто здоровые люди «четвертой категории», как они именовались в документах.

В Ленве на содовом заводе уже года два работала группа заключенных-грузчиков с бытовыми статьями — двенадцать или шестнадцать человек. Они жили в общежитии для рабочих содового завода. Завод этот старый, построен до войны, принадлежал он Сальвэ. Фирма эта была хорошо известна в России. После гражданской содовый завод и был опорой, кузницей и разведочных работ, и производственных кадров.

Рабочие там были вольные, специалисты и конторщики частью ссыльные — вроде Павла Осиповича Зыбалова, члена ЦК меньшевиков.

У содового комбината узким местом были погрузка и разгрузка, ибо вагоны требуется разгружать вовремя, а также грузить красивые барабаны с продукцией содового завода.

Движение грузов шло неравномерно, и задержки и в погрузке, и в разгрузке приводили к бесчисленным штрафам, пока не догадались заарканить на содовом заводе бригаду грузчиков из заключенных, которых можно было вызвать для погрузки и разгрузки в любое время. С этими грузчиками жил и конвоир, а десятником, соблюдающим интересы лагеря — расчеты и прочее, был заключенный по фамилии Питерский, по словам, из уральских троцкистов, получивший срок и отбывавший его.

Мое срочное назначение прямо с работы и было вызвано тем, что я должен был сменить Питерского, у которого кончался срок и он должен был освободиться.

Никакой сдачи-приема сделать не удалось: Питерский самовольно уехал «освобождаться» в управление — наши баржи на Каме разошлись, не узнали друг друга, и я так в жизни Питерского и не видал.

После прибытия в Ленву — размещение пятидесяти людей на пересыльном пункте — лагерь арендовал полукаменный дом, где низ занимал кабак местного «целовальника» с продажей распивочно и на вынос, кажется, модной водки «рыковки». Эта водка «рыковка» — первая сорокаградусная, которой внезапно стало торговать государство, выпуск ее наделал немало шума и в Москве. Ведь в России с 1914 года, с войны, был сухой закон, а в революцию даже самая мысль, что государство может торговать водкой, отвергалась. После гражданской Россия знала только самогонку, и немало славных страниц вписано тогдашней милицией в борьбу с самогоноварением.

Торговля водкой в «казенке», водочные откупы считались смертным грехом царского правительства.

А Рыков, ставший после смерти Ленина председателем Совнаркома, подписал...

Я сам помню, своими глазами видел разбиваемый водочный магазин на Тверской пьяной толпой. На Пушкинской площади толпа окружила милиционера, велела ему плясать, и милиционер плясал.

В кругах партийных, чтобы несколько снизить то сильное впечатление, которое произвела во всей стране продажа водки, был распространен и усиленно муссиро-

вался слух, что Рыков ввел продажу водки от горя. Плакал после смерти Ленина и пил, пил без конца.

Так народная легенда дала объяснение «рыковке» — сорокаградусной новой водке. Вот этой-то водкой и торговал хозяин нашего дома. Был нэп в разгаре. Хозяева вернулись к выполнению дореволюционных обязанностей, и весь нижний каменный этаж нашего полукаменного дома был отведен под продажу вина, и вином торговал тот же самый целовальник, что и в царское время.

А наверху в деревянной постройке жил уже не хозяин. Он снимал дом где-то поблизости, а в одной стороне жили восемь конвоиров на топчанах, а на другой — пятьдесят работяг-арестантов на нарах. Двенадцать грузчиков содового завода остались в своем прежнем помещении — близ железной дороги, в одном из общежитий для рабочих завода Сальвэ.

Рабочие были крайне недовольны моим назначением, очень хвалили Питерского, и мне не стоило труда понять ситуацию.

В двадцать девятом году вокруг был крайний голод на рабочую силу. В Усолье и Ленве было много агентств вроде Камометалла и Госпароходства. У них были грузы, товары — не было только рабочих рук.

Потребность в нормальной документации ни для кого из этих агентств не была острой. Можно было писать и давать какие угодно фальшивые счета — лишь бы работа была сделана.

Все эти агентства располагали и крупной суммой для расчетов наличными.

Двенадцать арестантов-грузчиков могли выйти сверхурочно на полчаса-час и заработать по рублю, скажем. Да пятьдесят рублей давались их десятнику, который делил этот свой заработок с конвоиром. Конвоир был один и тот же. Десятник один и тот же. Словом, Питерский и работяги были богатыми людьми, учитывая курс червонца и нэповские цены.

Вот злоупотребления такого рода и сгубили Питерского. По доносам — главное средство и дисциплинарной, и управленческой морали вообще — начальство получило «сигналы» и, когда количество доносов увеличилось, решило Питерского снять.

Следствие о злоупотреблениях Питерского было начато тогда же в управлении, но Берзин и Филиппов решили не мешать освобождению, и уже поздней осенью, с последним пароходным рейсом, а то и позже, Питер-

ский вполне благополучно проехал наш пересыльный пункт, превратившийся за это время в 10-е отделение Вишерских лагерей.

Ко мне тоже агенты обращались неоднократно, зная, что мне передана эта власть, но я гнал их от себя. Рабочим не были разрешены такие работы, а рисковать ссорой со мной никто из наших ни конвоиров, ни арестантов не хотел.

Думаю, что доносы полетели на меня в управление с того самого часа и мига, как моя нога, обутая в лагерный кожаный ботинок, ступила на Березниковский причал.

Я думаю, что доносы эти исходили отовсюду — и от уполномоченного Ушакова, и от начальника конвоя Хритка, и от начальника пересыльного пункта Солодовникова, и от всех работяг содового завода на Березникхимстрое.

Каждый рассчитывал хоть как-нибудь обогатиться, хоть трешку урвать, хоть яблочко из бесконечных садов яблоневого райского сада.

Физиогномисты, лафатеристы делали свой вывод и писали донос после первой встречи со мной. Начальник информационно-следственной части Ушаков лихорадочно листал бедные странички моего тощего личного дела, следил за моей перепиской. Представитель Госпароходства шестидесятилетний Миронов — бывший хозяин пароходства, нанятый лагерем как свой представитель и агент, считал, что я слишком молод, даже юн и не знаю «жизни».

Впрочем, это кажется мне так сейчас, а возможно, что все они думали только о том, как бы прожить сегодняшний день, не думая о завтрашнем, ибо лагерь — не такое место, где нужно и можно думать о завтрашнем дне.

Может, все совершалось в силу каких-то высших законов, удивительно совпавших в данном случае с общим желанием рассчитаться скорее с этим опасным чудаком, который вступил в такое резкое столкновение с конвоем этапа всего несколько месяцев назад — в апреле того 1929 года.

Словом, после парохода «Красный Урал» пришел еще один буксир. Из управления приехал новый десятник, спешно назначенный на мое место, старый соловчанин, уже кончающий свой срок по служебному преступлению, Борис Маркович Лазарсон. Мне было предписано «сдать дела». Подпись — Вальденберг, та же, что и в моих документах.

— А мне — возвращаться?

— Нет, нет. Остаться здесь. На словах Вальденберг передал: «Работать в контакте».

Я ничего не имел против, тем более что и Лазарсон мне очень понравился. Притом же старый соловчанин, знающий лагерь. Начальство лагеря Борис Маркович все знал — и все они звали его по фамилии.

— Эй, Лазарсон!

— Здесь Лазарсон, — изгибался Борис Маркович.

Лазарсон был старшим десятником, а я — младшим.

Борис Маркович Лазарсон был очень хороший человек лет сорока, даже сорока пяти, и какой-то мёлкий коммерсант, оказавший ряд услуг нэповским растратчикам и воротилам российского бизнеса двадцатых годов. Тех расстреляли, а Лазарсон, кому революция открыла путь к служебной карьере, занимал важную должность где-то в Челябинской области, оказал ряд «услуг» своим друзьям. Оказал отнюдь не бескорыстно.

Но, воспитанный в старинной морали еврейских коммерсантов русской провинции, не мог и представить себе, как бы он мог отказать дать какой-то фальшивый документ. Лазарсон был осужден по статье 109. Срок лагерный Лазарсон считал обычной ставкой, риском: проиграл — отбывай, и не собирался ни на минуту изменять свое отношение к государству как к дойной корове, которую нужно не только доить, но и рвать с нее шерсть, брать кожу. Сколько успеет и может. Ни о каком исправлении, разумеется, не могло быть и речи, да Лазарсон и не чувствовал за собой какой-нибудь вины, как не чувствовали и его начальство, подчиненные и друзья.

К назначению на место Питерского Лазарсон стремился сознательно, ибо «здесь можно заработать», как кратко выразился Борис Маркович.

После приезда Лазарсона мне не пришлось жить в общей казарме на тех же нарах. Борис Маркович привез разрешение на то, чтобы мы снимали комнату по вольному найму. В этой комнате мы и прожили несколько дней.

Вскоре я заметил, что те «представители и агенты», которых я гнал от себя, вертятся вокруг Лазарсона, и Лазарсон что-то кому-то обещает, кому-то отказывает.

Обученный не соваться в чужие дела, я пренебрегал такими картинками. Но чувствовал, что — в лагере мы ведь сутки на глазах друг друга — наступило какое-то облегчение, спало какое-то напряжение. Это чувство относилось к конвою и к начальнику пересыльного пункта, и в глазах всех семидесяти с лишним работяг я тоже читал облегчение.

Работяги с конвоем ходили в какие-то неположенные часы в какое-то место — на пристань, на станцию железной дороги — и возвращались в лагерь обрадованные.

Секрет долго хранить было, конечно, нельзя, и в конце одного трудового дня Лазарсон вынул из бумажника и дал мне «пятерку».

— Твоя доля.

Я не взял. Вот тут-то Лазарсон и рассказал мне о деле Питерского — «твой брат, троцкист», и почему он, Лазарсон, стремился попасть сюда, в Ленву, в Березники, где золотое дно. «Нужно только взять, нагнуться в траву», — говорил Борис Маркович, предвосхищая до буквальности известные слова Пастернака о поэзии. Но слова о траве были сказаны гораздо позже, да речь шла не о траве.

Я не взял. Борис Маркович сердился. Когда он сердился, волновался, он плевался, испуская пузыри пены.

— Ты же понимаешь, — орал Лазарсон, прыгая до потолка той комнаты, где мы с ним жили, — что мне осталось шесть месяцев срока. Должен я что-то заработать? У меня копейки на текущем счету. Должен же выйти из лагеря с чем-то, смотря реально. Но и ты будешь получать свою долю — честное слово Лазарсона.

Я ушел из этой комнаты опять на арестантские нары. И хотя я не писал никаких доносов, настороженное отношение всегда окружало меня.

Донос — столь универсальный рычаг лагерной жизни, что я не удивился, что на смену Солодовникову, отличному парню, но абсолютному бездельнику, приехал новый начальник — Михаил Васильевич Стуков, бывший начальник хозяйственной части управления.

Первым его приказом была реорганизация наших «трудовых» дел.

И Лазарсон, и я отстранялись от руководства использованием рабсилы заключенных — все это отныне вверялось инженеру из вредителей Павлу Петровичу Миллеру, выбранному и назначенному Стуковым из многочисленных вредителей, потоком двигавшихся из управления на Вишхимз, на комбинат, но оседавших и у нас, на Березникхимстрое. Гигант второй пятилетки начинал работу.

Мне было совершенно все равно, но Лазарсон, хорошо знавший Стукова и рассчитывавший на его благоволение, пришел в бешенство от назначения Миллера.

— Ты увидишь, — плюясь слюной и харкая, шептал он мне на ухо. — Миллер хочет сам заработать мои

деньги. Но мы еще поборемся. У меня тоже есть в управлении блат.

Но с Миллером дело обстояло иначе. Миллер назначал своих людей — Павловского, Кузнецова, Иноземцева — из инженеров и техников, комплектуя руководителей работ, а Лазарсон, поскольку он был бытовик и кончал большой срок, был оставлен на должности начальника участка, участка поменьше, не столь важного, как главный на самих Березниках. Именно потому участок Лазарсона был назван первым, а участок Павловского — вторым. Все это были фокусы Миллера — бывшего начальника Самарского военного строительства, осужденного на 10 лет за вредительство, — вполне в духе Миллера, хитрожопого до мозга костей, хитрившего всю жизнь, но не перехитрившего власть. Власть оставила ему строить уборные на восемь очков в лагерной зоне и отводить душу, именуя участок Павловского вторым, а Лазарсона — первым. Получали они оба премии — три рубля в месяц, одинаковые — по решению Миллера.

Простой и хороший, откровенный до дна человек, Лазарсон ненавидел Миллера, видя в нем причину, почему Лазарсону не дают в лагере заработать.

Агенты, которые вились вокруг Лазарсона, перешли к Миллеру, но здесь им не пришлось ничего добиваться, ибо Миллер их гнал, как и я. Однако весь вопрос приписок, жульничества, очковтирательства — все, что называлось секретом большого строительства, — был перенесен в высшие сферы, где Миллер только подсказывал, а решений не принимал.

Все решения, мне кажется, больше принимались в Москве, смотревшей сквозь пальцы на то, что делается, и не только на Березникхимстрое.

Я тоже работал там десятником, стал быстро не нужен и отправлен в управление внезапно со спецконвоем и обратно возвращен без конвоя совсем и работал весь тридцатый год в Ленве как начальник отдела труда — Миллер нашел удовлетворяющую его форму моей деятельности на комбинате, — и работал там, пока не был арестован по делу начальника отделения Стукова.

Лазарсон же окончил срок и, проклиная Миллера, вернулся к семье куда-то в Челябинскую область.

Все приказания Миллера Лазарсон, разумеется, выполнял добросовестно и честно, даже чересчур активно, со всей энергией и душой, что было вообще свойственно горячей натуре Бориса Марковича.

Апостол старой школы, он и плюху может преподнести работяге для вразумления, на что, конечно, Миллер не был способен.

В событиях Борис Маркович не очень разбирался.

Когда кто-то из младших десятников — а их было очень много на быстро растущем строительстве Березников — проявил недостаточное рвение в исполнении приказов Лазарсона и лазарсоновского начальника Миллера, Лазарсон в присутствии десятка работяг, меня и самого Миллера разорался на десятника из заключенных: «Я тебе покажу, сволочь, вредитель!»

Слово «вредитель» было сказано с такой яростью, что потрясло Миллера. Вечером на разнарядке в комнате Миллера, когда все ушли, он шагал долго из угла в угол.

— Вот так и относятся к нам, — грустно сказал Павел Петрович.

— Да, наверное. Но вам не нужно, Павел Петрович, требовать много от Лазарсона. Борис Маркович — хороший человек, просто он пользуется популярным словарем.

— Вот это-то и грустно, что словарь популярный.

УШАКОВ

Не успел я поработать всего несколько месяцев в новой роли, дожить до зимы 1929/30 года, как был арестован и направлен с конвоем — конвоиром был местный вольнонаемный боец пермской крови, едва говорящий по-русски и объяснявшийся со мной знаками. Впрочем, знаки эти, их смысл были достаточно отчетливы.

Пятидневный путь, тот самый, который я весной проходил с этапом и где меня били из-за сектанта, где я потерял свой первый зуб, выбитый сапогом начальника конвоя Щербакова, я проходил снова уже в одиночестве. До управления, до местечка Вижаиха, из Соликамска можно было добраться и скорее, но конвоир мой не спешил. Такие командировки оплачиваются, и терять лишний день из-за каприза арестанта конвоир не хотел. Останавливался он со мной в избах его знакомых, каждый хозяин имел заслуги перед лагерем — ловил беглецов, получая за каждую голову двадцать пять фунтов муки.

— Мучица у нас ныне есть, слава Богу, — сказал мне один из пермяков. — Но вот ходят слухи, что норму сбавят: будут платить только пятнадцать фунтов за че-

ловека. Правда ли это? Уж ты, Петя (он — к моему конвоиру), выясни это на Вижаихе в управлении.

Каждый день конвоир мой напивался самогону до бесчувствия. Сажали его в передний угол как хозяина жизни, как пермского бога. Каждую ночь приводили «играться» какую-нибудь из местных девок, а то и не одну. Я категорически отказался от того и другого угощения, чем вызвал неодобрение.

— Ну, бражка — ладно, нам больше останется, но девок за что обижать? Ведь им тоже хочется поиграть. Конвоира твоего на всех не хватит.

Конвоир скрипел на полатях, обнимая девку.

Наконец я был доставлен в управление, сдан — куда? Кроме <листка> и аттестата, никаких особых пакетов мой конвоир не привез. Но сдал он меня в третью часть, в следственный отдел. Я долго сидел на завалинке, дожидаясь начальника третьей части Петра Бладзевича. Это была первая и последняя в жизни встреча. Бладзевич был в бешенстве от моего прибытия — самовольства Ушакова, важного начальника того же отдела.

Бладзевич тут же позвонил Вальденбергу, начальнику производственного отдела управления, Вальденберг был рассержен еще больше.

— Тут же послать Шаламова назад на ту же должность, а Ушакову сказать, что если еще раз повторит такое самоуправство — полетит с работы.

В тот же день я один с каким-то обозом уехал в Соликамск, а из Соликамска добрался до Усолья, до Ленвы, где был пересыльный пункт лагеря. Возвращение мое было встречено совершенно <спокойно>. Стукову, начальнику лагеря, из которого я был отправлен, я показал документы еще в Соликамске. Стуков вскрыл пакет, прочел и сказал:

— Ну, тем лучше, возвращайся.

Тайну моего спешного отъезда мне удалось все же раскрыть, хотя и не сразу. И не от тех людей, которые, казалось бы, должны рассказать, в чем дело.

Причиной были письма, которые я получал с воли. Цензор Журавлев доложил начальнику следственной части Ушакову, а тот начальнику отделения Стукову, какие письма я получаю, и было решено перевести меня в управление для безопасности.

А писем в лагере я не получал никаких — ни в Березниках, ни в Красновишерске, ни в Усть-Улсе. Все два с половиной года я прожил без единого письма товарищей или родных. Товарищей у меня было немало, и я

иногда удивлялся, почему мне нет писем. А письма были, и даже очень много — со всех концов Союза от разосланных по окраинам ссыльных оппозиционеров. А так как тогда была мода рассылать по почте так называемые «документы» — копии всяких статей, заявлений оппозиционных вождей (я сам такой пересылкой занимался не один год), то, кроме новостей оппозиционной подпольной жизни, присылали и работы, выходящие из-под пера оппозиционных теоретиков и практиков. Мои товарищи не могли думать, что лагерь — это не ссылка, куда такие письма могут проникать без больших затруднений. Адрес мой они получили, выделили людей, которые должны были мне все посылать, писать, держать связь, присылать адреса ссыльных для переписки, но все это попало в руки начальства.

Судить меня за такие вещи было бы чересчур — до 1937 года было еще целых восемь лет, — но и оставлять у себя такую взрывоопасную личность ни Стуков, ни Ушаков не желали. Они хотели без шума перевести в Центр, обрезать мои связи — на докладную у них не хватило не то времени, не то ума, не то догадки, да и для управления тогда такого рода корреспонденция была очень и очень внове.

Каторга, концлагерь — это режим особый. Засылка туда подобных сюрпризов лишь увеличивала внимание к моей особе.

Ушаков показал самоуправство и даже обидел забеганием вперед. Ушаков был хорошо грамотный человек, бывший агент МУРа, сидевший за какое-то бытовое преступление. В лагере он сделал большую карьеру, уехал с Берзиным на Колыму и на Колыме, уже в чине полковника, был то начальником режимного отдела, то начальником розыскного отдела («сидит за Ушаковым», как говорили в лагере). Никакие колымские расстрелы Ушакова не коснулись. Возможно, он сам принимал участие в организации этих расстрелов по поговорке: «Кто не убивает, того убивают самого».

Я сам сидел в бараке с конституцией зэка (права и обязанности заключенного — конституция, которая по правилам вывешена на стене каждого барака). Конституция была подписана — «начальник режимного отдела полковник Ушаков».

Конечно, на Колыме я никогда к Ушакову не обращался, хотя и был с ним хорошо знаком в 1929—1930 годах по лагерю. Я не пытался искать помощь и поддержку: в те

времена привлечь к себе внимание какого-либо лично знакомого высокого начальника, в том числе и Ушакова, значило умереть.

Но он был человек грамотный, разбирался в троцкизме, понимал, что к чему и чего хочет Сталин. Бладзевич же и Вальденберг ждали прямого приказа. Вот эти начальники, ждущие чужого приказа, — лучшие начальники. Ушаков же перед увольнением на пенсию получил звание Героя Социалистического Труда.

МИЛЛЕР, ВРЕДИТЕЛЬ

Павел Петрович Миллер был первым вредителем, которого я наблюдал близко, повседневно.

По моей исповедуемой с детства теории узнавание человека не делается путем расспроса, анкеты. Общее впечатление не результат каких-то где-то замеченных, зафиксированных вовремя фактов. Поэтому писателю не нужно что-то записывать, запоминать, наблюдать, достаточно присутствовать рядом — видеть, слышать и понимать.

Павел Петрович Миллер был сыном крупного сибирского золотопромышленника, единственным сыном. Отец дал Павлу Петровичу техническое образование. Павел Петрович был инженер-строитель, главный инженер Самарского военного строительства в момент ареста в 1928 году.

Эти процессы возникали после Шахтинского[5] во всех отраслях промышленности, ясно показав, что техническое образование не может спасти, увести в сторону от бурных волн политики.

Ибо следовательское воображение — надежный аппарат в борьбе с иллюзиями. Иллюзии и реальность полноправны не только в литературе, но и в повседневной жизни. Единственная реальность, бесспорность миллеровского следствия была его анкета, социальное происхождение. Возможности легко превратились в реальность.

— В моем «вредительстве» единственный факт, который я подтвердил при допросе, было то, что асфальт на дворе конторы полопался — убыток был на пятнадцать рублей. Все же остальное — выдумка, чепуха.

Я никогда не спрашивал Миллера, как именно он «вредил». В лагере такие вопросы ни к чему. В лагере

нет виноватых. А потом — для Миллера его работа была первой после следствия, процесса и тюрьмы, и, естественно, изливать душу или давать запоздалый бой он не собирался. Но я думаю, что Павел Петрович чрезвычайно болезненно ощущал именно эту рану. И еще не привык к лагерному языку и возмущался, что его помощник Лазарсон кричит, распекая работягу: «Вредитель!»

Всю зиму двадцать девятого — тридцатого года заключенные «обживали» каменные коробки, воздвигнутые по вольному найму в Городе Света, на Чуртане. Размещаясь там на сырых досках-нарах, а то и просто вповалку, тысячи, десятки тысяч людей строили Город Света, работали на комбинате и строили себе лагерь поближе — на Адамовой горе. С Чуртана до «площадки» было километра четыре, и каждое утро конвой «прогонял» в направлении Камы десятки и сотни строительных бригад. Как только на Адамовой горе был построен лагерь, работяги строительства перешли жить туда, где их ждали сорок бараков двухъярусной общенарной соловецкой системы, а также обслуга лагеря.

Из всех этапов отбирались самые лучшие специалисты, и любой, кто работал похуже, вечером же включался в этап на Вижаиху, в управление, где строился бумкомбинат. Наше отделение имело право задерживать, оставлять у себя лучших работников, хотя и без «личного дела».

Все же каменные коробки Чуртана были отданы под транзитку, под ночевку этапов, которых проходило в день не одна тысяча

Этапы там ночевали, а если не было сразу поезда на Соликамск, откуда начинался пеший пятисуточный маршрут в Красновишерск, то задерживались на Чуртане и больше, и всякий раз их заставляли выполнять, чтобы не даром кормить, какую-нибудь черную общую работу, вроде разгрузки пароходов или копки котлованов. Котлованов, впрочем, на Березниках не было. Березники стоят на подсыпанном грунте по той евангельской поговорке, которую любили приводить в своих речах и Стуков, и Миллер.

К осени тридцатого года лагерь был построен на Адамовой горе на 10 тысяч человек. В Березниках было две смены, тысячи по четыре только чернорабочих грузчиков, навальщиков песка, который на поездах широкой колеи возили с Веретья. Вокруг Усолья много песчаных гор. Вот оттуда и возили песок, на котором вставал Березниковский комбинат.

У Миллера были основательные надежды после бесед со Стуковым и Берзиным, что его усердие и рвение заметят, поэтому Павел Петрович сменил весь свой аппарат десятников, работал день и ночь, успевая всюду. От лагеря у Миллера даже была верховая лошадь, но и то за день он не управлялся посмотреть все участки комбината, где работали заключенные. И я, и Лазарсон, и Кузнецов, и Павловский имели также верховых лошадей. На новой конюшне лагеря, которой заведовал вольняшка, герой гражданки вредитель Караваев, стояли триста лошадей.

Миллер, бывший главный инженер Самарского военного строительства, решил тряхнуть стариной и спроектировал весь лагерь сам. Вот это будут новинки.

— Уборные, Варлам Тихонович, — рассуждал Миллер оживленно, — строились всегда в каторжных учреждениях на десять очков — я добился, что наши уборные будут строиться на двенадцать. Чтобы не теснились — тюремная, этапная память свежа.

Наконец настало время сдать великолепную работу, показать свои труды высшему начальству. Этим высшим начальством был для нас тогда ГУЛАГ и его начальник Берман — старый чекист 1918 года, первый, получивший это самое назначение.

Миллер связывал с посещением лагеря Берманом какие-то особые надежды. По совету Стукова он решил обратиться с личной жалобой, вручить, так сказать, свою судьбу в руки самого высокого начальства. Этот совет Стукова поддержал и Берзин. Берзин даже взял на себя добиться столь важной аудиенции.

День приезда комиссии настал. Кто бы в лагерь ни приехал, всегда говорят: «Комиссия! Комиссия приехала!» С Соловков, что ли, идет эта терминология.

Летом 1930 года в лагерь пожаловало высшее начальство — сам начальник ГУЛАГа Берман. Берман приехал с большой свитой, в шинелях с петлицами, где виднелись по два и по три ромба. Берзин, начальник Вишлага, человек огромного роста, в длинной кавалерийской шинели с тремя ромбами, с темной бородкой, бросался в глаза среди всей этой комиссии, и военный фельдшер Штоф, начальник санчасти из заключенных, рапортуя комиссии, как положено, разлетелся с крыльца санчасти военным шагом и, встав перед Берзиным, излил именно на него поэзию лагерного рапорта.

Но Берзин отступил в сторону со словами «вот начальник», выдвигая на первый план невысокого крепыша

с белым тюремным лицом, одетого в заношенную черную куртку — бессменную форму ЧК первых лет революции.

Помогая растерявшемуся фельдшеру, начальник ГУЛАГа расстегнул кожаную куртку, показав свои четыре ромба в петлицах. Но Штоф онемел. Берман махнул рукой, и комиссия двинулась дальше.

Лагерная зона, новенькая, «с иголочки», блестела. Каждая проволока колючая на солнце блестела, сияла, слепила глаза. Сорок бараков — соловецкий стандарт двадцатых годов, по двести пятьдесят мест в каждом на сплошных нарах в два этажа. Баня с асфальтовым полом на 600 шаек с горячей и холодной водой. Клуб с кинобудкой и большой сценой. Превосходная новенькая дезкамера. Конюшня на 300 лошадей.

Само расположение лагеря в центре Адамовой горы, всюду господствующей здесь еще со времен походов Ермака, — именно здесь был Орел — городок, откуда Строгановы вели завоевание Сибири и где имел дом сам Ермак.

Колонны лагерного клуба чем-то напоминали Парфенон, но были страшнее Парфенона.

По совету Стукова и Берзина Миллер подготовил заявление — жалобу-просьбу по своему делу (в лагере каждый за себя), с тем чтобы вручить какому-нибудь высшему начальству. Гомеровскому богу лично. По русской традиции такие жалобы, поданные «на высочайшее», вручаются лично. И Берзин, и Стуков, и Миллер блюли традицию. Сигнальщик Берзин махнул платком, и Миллер переложил поближе свою тщательно обдуманную и подготовленную «жалобу».

Действительно, Берман, умиленный зрелищем новенького лагеря, согласился принять заключенного Миллера по его просьбе для личных переговоров.

После отъезда комиссии я вошел в нашу контору. Павел Петрович стоял у окна и смотрел на отъезд высоких гостей.

— Хотите знать, какая была у меня беседа с начальником ГУЛАГа? Полезно для истории.

— Хочу.

— Берман сидел за столом, когда я вошел и встал как положено. «Так расскажите, Миллер, как именно вы вредили?» — сказал начальник ГУЛАГа, отчеканивая каждое слово. «Я нигде не вредил, гражданин начальник», — сказал я, чувствуя, как гортань моя пересыхает. «Так зачем же вы просите свидания? Я думал, что вы хотите сделать важное признание. Берзин!» — гром-

ко позвал начальник ГУЛАГа. Берзин шагнул в кабинет. «Слушаю, товарищ начальник». — «Уведите Миллера». — «Слушаюсь».

— Когда это было?

— Час тому назад.

Павел Петрович вынул из кармана заготовленное заявление, разорвал бумагу и бросил в топящуюся печурку. Бумага ярко вспыхнула.

— А вы не пишете заявлений?

— Мне не о чем просить.

Берман был деятелем круга Ягоды, расстрелянным вместе с Ягодой Ежовым. Берман лучше понимал политику, чем Миллер.

Вскоре иллюзии Миллера рассеялись. Вместе с этим — как некое второе начало того же процесса «возрождения» или «искупления» — Павла Петровича перестала удивлять, оскорблять кличка вредителя. Так много вредителей было вокруг.

Не только Берман не хотел рисковать, оказывая покровительство справедливости, но все начальство держалось тогда этой удобной формулы, этой удивительной точки зрения.

Миллер пожал плечами.

Моя оппозиция ему была абсолютно чужда. Павел Петрович никак не хотел понять, как это молодой человек, студент двадцати лет, решается на такие сомнительные, с его точки зрения, дела. Мои рассказы об университете Миллер слушал как сказку, как светлую легенду юности своей, оценивая, впрочем, осуждающе обе стороны. Павел Петрович, потерпев неудачу с Берманом, стал ждать уже не случая, а оценки заслуг за верную Миллерову службу в лагерях.

Это свидание было ошибкой, конечно, но при утверждении досрочных освобождений Берман запомнил бы такую фамилию. У всех высоких лагерных начальников память змеиная, но нужно было рисковать, и Миллер рискнул, рассчитывая, что не испортит каши маслом.

И каша была слишком крута, такую не доводилось пробовать Миллеру, и масло в лагере надо применять очень умело и в меру. Миллер был человек очень энергичный. Обещание Стукова представить его к досрочному (освобождению) продолжало сохранять силу.

Жена Миллера приехала и по разрешению начальства жила с ним на поселке около месяца. Даже я однажды там пил чай и познакомился с его женой — рано

постаревшей женщиной с измученным, каким-то особым, прошедшим тюремные приемы лицом. Катастрофа была впереди. У Павла Петровича была неприятная привычка: всякую неприятную лагерную новость — перевод, понижение, снятие с должности — своим подчиненным объявлять, обнимая за плечи, прижимаясь.

Хорошие новости (например, включение в список пропускников в столовую для иностранцев) объявлялись Миллером, наоборот, торжественно — раздельным чтением выписок или просто сведений.

Вот это обилие миллеровских объятий, которым я подвергся по возвращении в Березники, и заставило меня позднее подумать, что в инициативе этапирования меня спецконвоем в управление доля Павла Петровича была, хотя и небольшая, быть может. Как бы то ни было, в кармане Стукова лежала бумажка: «По распоряжению начальника управления Берзина возвратить Шаламова для исполнения своих обязанностей».

Я застал реорганизацию в полном разгаре. Мне там было отведено место начальника по отделу труда (а не руководителя работ). Руководителем же работ был назначен не Лазарсон — он тоже был смещен и понижен, а Павловский — бывший московский бухгалтер и офицер, проигравший 10 тысяч на бегах.

— Вы ведь не инженер, — говорил мне Павел Петрович.

— Ведь Павловский тоже не инженер, Павел Петрович, его считают...

Я в лагере все эти объяснения всегда считал и считаю лишними, они только вносят фальшь, неправильную ноту.

УРЧ так УРЧ — учет так учет.

— Знаешь, что такое «хитрожопый»? В острой, в стрессовой ситуации он отойдет в сторону, даст работать времени, а ты тем временем погибнешь на виселице, в подвале или в Бабьем Яру.

Хитрожопость — вечная категория. Хитрожопые есть во всех слоях общества. Думают самодовольно: «А я вот уцелел — в огонь не бросался и даже рук не обжег». Омерзительный тип. Да еще думает, что никто не видит его фокусов втихомолку. Хитрожопый — вовсе не равнодушный. Уж как равнодушен Пастернак — хитрожопым он не был, не «ловчил».

Павел Петрович Миллер был сама хитрожопость. Профессиональный ловчило с угрызениями совести. Как

уж его затолкали во вредители — уму непостижимо. Не рассчитал какого-то прыжка. Все он понимал вокруг себя в своем окружении — всех людей объяснял для себя. Миллер был неплохой психолог, логик по преимуществу, вечно хитрил, что-то от кого-то скрывал, что-то кому-то шептал. Всех вокруг себя в меру своего ума объяснял. Всех — кроме меня. Я был загадкой для Миллера — он не хотел поверить, что я бросил университет для какой-то подпольной работы, для каких-то туманных идей.

Если власть нельзя подчинить, надо ей служить честно, ловчить лишь в бытовом, в мелком, в незначительном. Увы, масштабы диктовал не Миллер. Миллер получил десять лет за вредительство, работая в Самаре главным инженером военного строительства. В военном ведомстве и ставки были больше. Конечно, Миллер был грамотнее, образованнее других инженеров, что были в Березняках, — кроме Павла Павловича Кузнецова. «Капитаны» Гумилева, которых декламировал Миллер по вечерам, вспоминая неточно, неверно. Говорили, что со стихами в своей работе Миллеру не приходилось иметь дела до встречи со мной в Вишерском лагере.

На ежедневные Миллеровы чаепития я ходил без большой охоты. Развлекаться Миллер после его трудового дня не хотел. Но чай был хороший, миллеровский, горячий и крепкий. Подсыпал ли Миллер соду в свой чай для оживления краски, как делают рестораны, не знаю. Но этот крепкий чай был вовсе не чифирь — знаменитый колымский рецепт — по пачке на кружку, а обыкновенный крепкий, густой, горячий чай. Горячий. Миллер был сибиряк, любил горячий и чай, и суп. Любил определенность температур. Я тоже был родом с Севера.

Пил я этот красивый чаек и думал про себя, что, если что-нибудь со мной случится, Миллер, во всяком случае, не заступится. Отойдет в сторону и палец о палец не ударит для моего спасения.

Миллер почему-то считал личной своей обидой, если ближайшие его сотрудники попадались в каких-либо нарушениях лагерного режима. Так его ближайший помощник Иван Дмитриевич Иноземцев, состоявший в штатной должности нормировщика (58-7-10, 11, срок 10 лет), — бывший главный инженер Мотовилихи, выполнявший деликатную функцию предварительных расчетов и проверок во взаимоотношениях с Березниковским химстроем, человек, которому Миллер верил не как себе, а немногим меньше, вдруг был вызван и

подвергнут допросу. Стукач. Завербованный осведомитель.

Оказывается, Иноземцев, любивший поесть, выпить, закусить, поспать, был приглашен на ужин в какой-то барак к какому-то старшему бригадиру в лагере. На этом вечере угощали телятиной, и, так как в лагере скрыть ничего нельзя, все участники ужина через неделю были приглашены в барак следственной части.

Вдобавок оказалось, что и телятина — не телятина, а собачатина — мясо какой-то овчарки.

Иноземцеву грозили общие работы, этап, он был незаменимый. Проступок по лагерным понятиям незначителен, но Миллер даже шага в защиту Иноземцева не сделал. Только когда начальник отделения Стуков сам спросил Миллера, что делать с Иноземцевым — оставить тебе или отправить, Миллер попросил оставить.

Выпивка, «бабы» — преступления в лагере простительные.

Техник Кузнецов был алкоголик запойный и после каждого запоя, попадая в изолятор, терял место работы — Миллер не заступался никогда.

Всем пострадавшим приходилось искать защиту самостоятельно, пользуясь «блатом» не миллеровским.

При Стукове Миллер был ученым, облекающим в технические формы обширные замыслы начальника-дилетанта. Стуков был любителем разговоров о технике, о механике. Но такая тонкая механика, как стихи, была ему абсолютно чужда. Как, впрочем, и Миллеру.

Но если Стуков просто был чужд этому миру, никогда с ним не соприкасался и даже о существовании Аполлона на свете не подозревал, то Миллер, цитировавший на память гумилевских «Капитанов», старался воскресить в мозгу увлечения и открытия юности. Впрочем, и в юности Миллеру поэзия ничего не открыла.

Я ездил со Стуковым в командировки, но он предпочитал спутников повеселее.

— Вот Миллер — у него всегда есть что рассказать, скоротать дорогу. Бруклинский мост, сколько верст до луны — а ты молчишь и только отвечаешь на вопросы.

Всякую политику Миллер считал пустяком, недостойным занятием для человека. Образование признавал только техническое. Стремлений к науке у него было мало, зато большое желание практически попробовать свои знания в живой работе.

— Почему вы выбрали строительство?

— Знаете, мне лишь только специальность строителя доставляла удовлетворение. Не было ничего — и выстроен дом.

— Чисто поэтическое ощущение, — сказал я.

— Ну, как там с поэзией, я не знаю, а строить могу. Я не хотел жить в столице. В столице можно тратить щедро, мотать заработанные деньги, а работать лучше в глуши. Поэтому я и был в Самаре.

Рассказывал Миллер и о первых своих инженерских шагах: как ему предлагали взятку и он ее не взял.

— Десять тысяч. Я выгнал его.

Я слушал эти звонкие речи, как давно забытое пение соловья.

Именно Миллер возглавлял весь обман по Березникам, дал техническое оформление идее начальника лагеря Стукова. Так что совесть давно успокоилась.

Отметным обстоятельством было то, что Миллер с первых дней решил спасаться сам, думая только о себе. Всем остальным была дана та же возможность личного спасения. Никакой помощи Миллер не оказывал, и не в его натуре было оказывать кому-то значительную помощь. Например, решением подавать на освобождение. Здесь страдали именно близкие сотрудники, ибо Миллер боялся, что его обвинят в протежировании, в блате. Хотя никто бы его не обвинял. Вся лагерная жизнь держалась на этих знакомствах. Но Миллер использовал такой путь только для себя. Использовал неудачно, плохо зная лагерь, плохо понимая высшее начальство.

Это не равнодушие, а еще не описанное человеческое качество хитрожопости.

Равнодушных осуждают, осуждают трусов, но кто осудил хитрецов и ловчил?

В лагерных условиях хитрожопость может быть и смертельной, ибо собственная хитрость приводит к пренебрежению человеческой жизнью других.

Для того чтобы заткнуть дыру в перерасходах комбината, немало пролито и арестантской крови, и арестантского пота по инициативе Павла Петровича Миллера и при техническом оформлении карьеристских идей начальника Березниковского лагеря Стукова.

И еще одно, очень сильное обстоятельство, характерное для лагерей.

Я не был на войне, не знаю, как там решается подобная ситуация. Возможно, что на войне иные психологические связи. Во всяком случае, подобные ситуации воз-

никают, и побывавший на войне командир, превращаясь в лагерного начальника, не замечает или не хочет заметить, что обстановка-то в лагере другая, абсолютно не похожая на фронтовую, даже противоречащая в самой своей сути фронтовой.

Все это я заметил еще до войны и вне всякой зависимости от военных проблем.

В лагере вольнонаемный начальник — большой или малый — всегда считает, что подчиненный, которому отдано распоряжение, готов и обязан выполнить это распоряжение срочно и со всей душой. На самом деле рабы не все. Целый ряд работяг из зэка любое распоряжение начальника встречает с тем, чтобы напрячь все духовные силы и его не исполнять. Равнодействующая проходит по линии борьбы двух воль — надо согласиться, но не сделать или сделать не так. Или совсем не согласиться, что глупо и приведет к смерти так же, как отказ от работы. Плохое же выполнение приказа влечет неудовольствие, отстранение от работы, но не больше.

Вот почему во время острых, «стрессовых», выражаясь модным языком, ситуаций лагерный начальник должен ждать не выполнения, а, наоборот, уклонения от выполнения приказа. Это естественное действие раба. Но лагерное начальство, московское и ниже, почему-то думает, что каждый их приказ будет выполняться. Психологически правильнее предполагать, что приказ не будет выполняться, и готовить резервные ходы.

Каждое распоряжение высшего начальства — это оскорбление достоинства заключенного вне зависимости, полезно или вредно само распоряжение. Мозг заключенного притуплен всевозможными приказами, а воля оскорблена. Меня всегда смешило, почему я должен рассказывать все, что я знаю, любому заезжему следователю только потому, что этот следователь одет в военную форму. Почему я не должен на все его угрозы отвечать не только отрицанием, но активной борьбой. Меня допрашивали четыре месяца по делу Стукова и Миллера, которым клеили вредительство. Но именно потому, что обвинение исходило из таких авторитетных кругов, я ему не поверил, не поддержал, и дело кончилось ничем.

Миллер был не то что перепуган арестом восьми человек своих помощников летом 1930 года, а просто верил своей карьере, решил переждать бурю — может быть, и не затронет.

Расчет оказался верным. Буря пронеслась, унеся только надежды Миллера на досрочное освобождение, а Стукова — на орден.

Семь из восьми его подчиненных показали на Миллера и Стукова по всей вредительской форме. Но восьмой — я — дал полный бой следствию. Дело было прекращено в отношении Миллера и Стукова, а нас всех приговорили к четырем месяцам изолятора, чтобы покрыть срок, который мы просидели под следствием. Подробнее об этом я пишу в очерке «Дело Стукова».

И в январе 1932 года, уезжая в Москву совсем, я простился с Павлом Петровичем и выслушал от него горестный лагерный афоризм:

— Пожили на маленькой командировке — поживите на большой.

Но большая командировка меня не пугала.

Еще один штрих в портрет Павла Петровича внесла моя поездка в Москву в декабре 1931 года.

Случилось так, что я, вольный уже, имеющий на руках справку горсовета: «Дана Шаламову в том, что он есть действительно то самое лицо», вызвавшую хохот Павлика Кузнецова, не пропускавшего ничего смешного или юмористического из того потока жизни, который бурлит вокруг, уезжал в отпуск двухнедельный; по колдоговору после пяти с половиной месяцев работы мне был положен отпуск.

Тогда была борьба с текучестью, и касса на железной дороге продавала билеты только после визы управделами комбината, а текучесть была большая: за месяц увольнялось три тысячи и нанималось две с половиной тысячи человек. Постоянными были только лагерные кадры — они-то и выстроили комбинат.

У меня была виза управделами, и я легко купил билет и ехал в ежедневном почтовом Соликамск — Москва без затруднений.

Я ехал, никого не предупреждая, никого не извещая, — ехал просто в свой город без всякой боязни и тревоги. Поезд пришел поздно вечером на Ярославский вокзал, еще трамвай звенел. Было тихо, шел легкий теплый снег, и я заплакал на вокзале от встречи со своим любимым городом, где все было — мои ошибки, мои удачи, мои потери.

Но надо было ночевать, и я стал листать у телефонной будки прикованную к ней цепью книгу — телефонный справочник Москвы. Я нашел телефон моего хоро-

шего знакомого, позвонил и через час уже был на Ленинградском шоссе в той самой квартире, где я когда-то готовился в университет. Рассказы мои вызвали оживление хозяев.

Я там переночевал, а на следующий день выяснилось, что и сестра моя родная в Москве, и тетка в Кунцеве, и родители мои в Вологде живы.

Можно было спокойно приступать к выполнению поручений.

Первым моим шагом была беседа с моими прежними друзьями, и только после этой беседы я принялся за другие дела.

Первым делом было доставить письмо Миллера.

По просьбе Миллера я обещал привезти ему из Москвы его чемодан, который хранится где-то у родных, на Солянке, у тетки, зовут которую Эмилия Людвиговна Ващенко. Я нашел ее, вручил записку. Чемодан обещали найти.

— А что там в чемодане Пашином?

— Павел Петрович говорил — костюм.

— Ах, там костюм Пашин. Коверкотовый костюм. На Урале, на каторге, Паше нужен коверкотовый костюм. Паша живет в таких местах, где без коверкотового костюма обойтись нельзя. Хорошо, мы найдем чемодан. Подождем Юрочку.

Юрочка был сыном Эмилии Людвиговны.

— Ах, Павлик, Павлик, — вздыхала Ващенко. — Первое известие от него привезли вы. А какой был щеголь... Вы знаете его жену, Полину Сергеевну?

— Раз видел.

— Ну, как?

— Да никак. Было темно. Мы чай пили.

— Никак?! Павлик негодяй, а она — святая женщина. И хоть племянник он именно мой, а она мне никто, я и на Страшном Суде скажу: Павлик—негодяй, а она — святая женщина. Как он ей изменял! Где угодно, с кем угодно. Какие-то балерины, артистки погорелого театра, а то и вовсе каких-то сомнительных дам приводил. Да не куда-нибудь, а вот в эту самую комнату. А Полина Сергеевна все терпела. Они уже почти разошлись. И вдруг его арестовали. И вот — тюрьма. Свидания. Хождения эти по прокуратурам. Запросы, вопросы. Ведь этим артисткам и балеринам не дают разрешения на свидания. Да еще поездка на этот ваш Акатуй. Зачем ей Павел? Плюнуть этому Павлику в рожу и то она не способна. Крыжовник варит. Его любимое варенье! Как ваше имя-отчество?

— Варлам Тихонович.

— Вот, Варлам Тихонович. Судьба Полины Сергеевны — это судьба русской женщины. А декабристки — там все была мода, порыв, а вот такая женская судьба. Памятник Полине надо на Красной площади поставить. Еще лучше на Лубянской. А вы говорите: история рассудит. История никого не рассудит.

— Я ничего не сказал насчет истории.

— Ну, подумали.

— И не подумал.

— А чемодан вам привезет Юрочка к поезду.

Пришел наконец Юрочка — лысый инженер, лет на двадцать постарше Павла Петровича, и мы договорились, что чемодан привезет Юрочка на Ярославский вокзал к моему поезду, чтоб меня не затруднять, как сказал Юрочка.

Так и вышло. Небольшой фибровый чемодан был мне вручен перед посадкой, и я двинулся в путь на Северный Урал. Положил чемодан под голову и привязал его к пальцам руки, чтобы «скокари не отвернули угол». Я уже мог выражать ожидаемое событие на лагерном языке. Через пять ночей и пять дней я добрался до станции Усольская и слез, отвязав пальцы от чемодана.

Я вручил Миллеру привезенное. Своим ключом Павел Петрович открыл чемодан. Пыль поднялась, как грибообразное облако атомной бомбы. Взлетела моль.

— Бляди. Забыли нафталина положить, — сказал Миллер. Павел Петрович был угнетен. Разбитая, развеянная мечта. Приходилось снова облачаться в соловецкую униформу.

. . . .

Среди нового окружения Павла Петровича, которое я застал после освобождения, был инженер Новиков, железнодорожный строитель, осужденный по вредительской статье и задержанный в Березниках миллеровским фильтром. Новиков помогал Павлу Петровичу в расчетах среди многочисленных и разнообразных дел, которые, как и в мое время, кипели возле Миллера. Правда, волны стали менее бурными, менее шумными, да и сам Павел Петрович облез. Полысел, поседел както сразу, но вечерний чай был так же горяч и крепок.

Новиков занимался в кабинете Миллера и приватно. Он продвигал изобретение — переворот в строительной технике, который должен был принести Новикову свободу и славу. Новиков изобрел саморазгружающийся

вагон-платформу с опрокидывающимися бортами, повинующимися какому-то клапану в паровозе.

Были уже вычерчены все чертежи, составлено техническое описание проекта и особая докладная, где указывалось, что это изобретение ГУЛАГовских инженеров — Миллера и Новикова.

Я отнесся к этому демаршу спокойно, не тревожась за миллеровскую (подпись), — приписка чужого имени сверху была, есть и будет в науке, технике, искусстве и литературе. Она входит в правила игры, которая называется жизнью.

Поэтому я не моргнув глазом прочел доступные мне места технического описания изобретения.

Про себя я думал и думаю, что после шока, полученного при свидании с Берманом и пережитого во время стуковского дела, Миллер имел полное моральное право бороться за свое освобождение любым доступным ему путем.

Почему же мне была доверена столь строгая тайна? Ведь я не ГУЛАГ, и не в ГУЛАГ меня попросят везти эту докладную миллеровскую записку.

Оказалось, что на это были свои причины.

— Вы прочли докладную?

— Да. Поздравляю...

— Дело не в этом. При ваших знакомствах в Москве вам легко опубликовать краткое сообщение об этой работе, но обязательно в техническом журнале.

— В техническом журнале у меня нет знакомств, Павел Петрович. Но я думаю, что смогу.

— Ну, нет так нет.

Я привез эту заметку в Москву. Там был чертеж вагона, сообщение о важном изобретении инженеров Миллера и Новикова в Березниках — краткая экономная заметка строк на пятьдесят.

Я заговорил об этом с моим приятелем из литературно-художественного журнала.

— Я давно уже не работаю по литературно-художественной части.

— А где же?

— Заведую редакцией технического журнала. Мода. И хлеб.

— Так, может быть, ты сам...

— Конечно. Давай сюда.

Приятель мой просмотрел заметку.

— Это чепуха. Двести тысяч изобретений на эту тему поступает в день. Журналу нашему саморазгру-

жающиеся вагоны осточертели до предела. Трудно придумать более не новое и более неудачное. Ведь в редколлегии нашей не только я. Есть и специалисты. Но дело не в этом. Мы напечатаем эту заметку ради тебя самого. Давай все эти чертежи сюда!

И месяца через три в журнале «Борьба за технику» эта заметка была напечатана и даже гонорар выписан — послан на имя авторов изобретения в Березники, но деньги получены обратно.

— В чем дело?

— Наверно, потому, что это заключенные, — невинно сказал я.

— Ах, это заключенные! Ну, тем лучше.

Даю всегдашнюю справку: ответственный редактор журнала «Борьба за технику» Добровский расстрелян в 1937 году.

У моего приятеля, заведующего редакцией, сломали в Лефортове, во время побоев на допросе спину. Но он еще жив и пишет...

ДЕЛО СТУКОВА

Осенью 1930 года уполномоченный следственной части из заключенных Константин Васильевич Ушаков был отозван в управление на Вижаиху, а вместо него прибыл и принял должность вольнонаемный следователь Жигалев, носивший в петлицах один кирпичик, если память мне не изменяет. Вместе с Жигалевым приехали еще два следователя. Следственная часть помещалась тогда на втором этаже лагерного клуба, «на хорах». Там были понаделаны нужные перегородки, очень тесные, так что ноги следователя задевали того, кто вызывался и был посажен напротив, и подвергаемых допросу сажали боком.

Три новых следователя допросили чрезвычайно широкий круг людей из заключенных — всех бригадиров, а их было человек сто, всех нарядчиков, бухгалтеров, прорабов, десятников, вообще всех, кто занимал и в лагере, и на строительстве какие-либо должности. Наши местные следователи тоже принимали участие в этой облаве.

Я, начальник отдела труда, был вызван как раз к местному следователю экономотдела Пекерскому. Пекерский был москвич, проштрафившийся чекист, получивший срок по служебной статье, что, как мне было

ясно с первого дня пребывания в лагере, с этапа, с пути, открывает арестанту широчайшие возможности легкого пути к свободе. Осужденный по служебной статье как бы автоматически подлежит всяким скидкам, разгрузкам и с первого дня пребывания в лагере занимается той же работой, что и на воле. Так Пекерский, московский работник НКВД, стал работать по специальности как раз в нашем отделении, в Березниках.

Пекерский посадил меня с боку своего стола — иначе и посадить было нельзя, начал допрос, записал обычные анкетные вопросы, а потом предложил подумать над вопросами, на которые он должен был записать ответы. Ответы касались какого-то производства или эпизода разгрузки баржи — что-то в этом роде. Оставив дверь открытой, Пекерский вышел и не приходил целый час. Мне было скучно, ответ был несложным, вставать и выходить из кабинета я счел неудобным. Я стал разглядывать стол, гору бумаг, заявлений каких-то, которые были навалены на столе Пекерского. Похоже, почерки были мне знакомы. Мало-помалу я стал разбирать и содержание этих документов, особенно тех, которые лежали сверху.

Это были заявления, информации сексотов, как раз по моему адресу, и вообще о лагере, о производстве. Каждый сексот имел свой псевдоним. Наш руководитель работ Иван Анатольевич Павловский, чья койка стояла рядом со мной, подписывался «Звезда». Его характерный мелкий, изящный почерк я знал хорошо. И вдруг он не Павловский, а «Звезда». Мой помощник Николай Павлович Никольский, нижегородский фининспектор, подписывался «Рубин».

Я, конечно, сразу понял, в чем дело, и познакомился со списком сексотов основательно. Это был поразительный случай доносительства абсолютно всех.

Там не было только моей информации. Не было видно почерка Миллера — начальника производственного отдела — и пьянчужки Павлика Кузнецова.

В конце концов я перебрал эти листики, прочел почти каждый. Прошло не менее часа, как вернулся Пекерский, записал мои ответы на два вопроса о засыпанной осенней шугой барже и отпустил меня. Допрашивал меня и сам Жигалев, но я уже был готов к его вопросам. Жигалев допрашивал меня вместе с Осипенко, нашим завхозом. Осипенко был раньше секретарем сначала митрополита Питирима, а потом Распутина. Я первый

раз в жизни видел тогда, как падают в ноги и обнимают сапоги начальника. Осипенко на моих глазах упал в ноги Жигалеву и, обнимая сапоги, высоким тенорком молил: «Не губите, гражданин начальник!» Жигалев выдернул сапог из пальцев Осипенко и убедил секретаря Распутина, что «все будет сделано по закону».

Мой допрос длился часа два, но как-то не попадал в нужный тон. Жигалев требовал подтвердить, что наши начальники и Миллер берут взятки с вольных, начальник бьет заключенных, бригадиры развратничают, приписывают работы. Вот как приписывают? Я ответил, что это дело не мое — производство, я занят только внутренним учетом, ни о каких взятках не слыхал.

С юности, чуть не сказал — с детства, меня раздражает благодетель, который угрозами хочет добиться признания, не умея даже определить сути преступления, и собирает материалы вовсе не о том, о чем можно было собрать. Суть допроса была, в общем, ясна: дать показания на начальника — любые. И на Миллера — не может быть, чтобы тот и другой были безгрешны.

Но я с юных лет обучен в этих учреждениях отвечать только на вопрос: да — нет, да — нет. И такой стиль беседы не удовлетворял начальство.

Сотни людей допрашивались, два приезжих следователя повезли драгоценную добычу в управление за сто километров. Жигалев остался здесь продолжать допросы. Начальник отделения, старый чекист Стуков, конечно, прекрасно был осведомлен и о действиях Жигалева, и об его улове. Допросы уже увезли в управление, но следователь ждет и других курьеров по тому же делу, других меморандумов.

Один из таких курьеров действительно был направлен Жигалевым на Вижаиху. Стуков вошел в каюту парохода за час до отъезда, обыскал курьера Жигалева, вскрыл пакет, прочел все, что Жигалев писал, запечатал снова и, грозя наганом, велел курьеру везти почту по назначению. Пароход ушел. Стуков, не теряя времени, подговорил своего приятеля из чекистов напоить Жигалева, и, когда тот заснул в гостинице, тут же вошел Стуков и отобрал у пьяного Жигалева пистолет. Запечатанный пистолет Стуков отправил в управление по адресу Филиппова и написал, что знает, что на него, Стукова, заведено дело, но вот кто возглавил эту следственную часть. Жигалев был немедленно снят с должности, и удар Стукова попал в цель самым лучшим образом.

Недруги начальства не остановились. Из управления приехали новые следователи во главе с Агриколянским — вольнонаемным — и допрашивали, и перепроверяли по старым жигалевским допросам день и ночь. Я уж думал, что дело кончено, но глубоко ошибался. Все было впереди.

Обычно, когда завершается какое-нибудь важное для государства строительство тюремное, какая-нибудь особенно хитрая тюрьма, ее строитель погибает в самих же этих застенках. Тут есть мистика, легенда, цветок, ежегодно поливаемый свежей кровью, легенда, уходящая в глубокую древность. Спасение требует жертв, как в океанской катастрофе. Строители, создатели лагеря на Адамовой горе, сами обновили свою тюрьму. Позднее Васьков умер в Магадане в «доме Васькова».

Вечером какого-то осеннего дня нарядчица женской роты Шура Целовальникова, двадцати четырех лет, образование среднее, статья пятьдесят восемь — десять, срок три года, по профессии учительница, потребовала у меня личного свидания. Я отрицательно отношусь ко всяким романам на службе. Более того, любовь с выполнением долга кажется мне несовместимой, требующей однозначного выбора. И более того, вся история подполья, «Народной воли» например, полна романами, нарушавшими стройный план руководителей. Эти романы и путь для всяческих провокаций. Или роман доверенных лиц — двух подпольщиков, вроде любви Желябова и Перовской, также относится к попытке примирить непримиримое. Я тоже сквозь пальцы смотрел на лагерные романы своих подчиненных, начальников, сослуживцев, но сам для себя провел незримую, но крепкую черту, за которую никогда не заходил.

Поэтому я был весьма удивлен, когда Шура Целовальникова, нарядчица женской роты, а каждая рота была у нас в Березниках в триста человек, попросила у меня личного свидания, сказав, что должна мне что-то сообщить. Это мне не понравилось. Но пришлось ее выслушать.

Целовальникова рассказала мне, что вчера ее вызывали и велели написать заявление, что я принуждал ее к сожительству.

— Ну и что же?

— Меня заставили подписать, и вот я ночью думала, думала и решила вам сказать.

— Спасибо и за это.

Мне показалось, что после того размаха, который чувствовался в допросах сотен людей, размаха, где взрыв какого-нибудь котла или всего здания был только началом, преддверием каких-то самому следователю неясных преступлений, — после такого размаха вопрос клеветы на меня Шуры Целовальниковой не имеет значения. Впрочем, думать мне долго не пришлось. В тот же вечер я был арестован, приведен в лагерный изолятор, раздет до белья и посажен в карцер. В соседний карцер тоже кого-то сажали и прижимали к щели в дверях — карцер был деревянный, старый, обновление его еще не коснулось. На месте нашего старого изолятора Миллер предполагал выстроить новый, по последнему французскому образцу, как увлеченно толковал он начальнику лагеря Стукову. Почему уж образцы были французскими, я не знаю, но разговор о том, что у нас и изолятор будет такой, что прославится на весь ГУЛАГ, я отлично помню.

Эту мечту осуществить Миллер не успел, все его помощники уже были посажены в старый, надежный изолятор, видевший немало следствий, убийц, растлителей, фармазонов, воров, пьяниц, кокаинистов, оскорбителей лагерных богов и пытающихся потушить лагерное солнце. Сейчас в камеры сводился новый социальный отряд, чтоб было не хуже, чем в Москве, и вполне достойно последней московской моды. В изолятор сажали вредителей, собственных вредителей. Был арестован начальник отдела и заключенный одноглазый Шор, с глазом-протезом, который Шор сдал на хранение при посадке как драгоценность. Шор — заведующий подсобными предприятиями, в его распоряжении были мастерские лагеря — обувная и портняжная, где работали лучшие венские портные, белошвейки сказочных способностей, где грузинская закрытая обувь шилась клиенту на «глаз» — замерялась только длина, да и этим единственным обмером творец-закройщик делал как бы уступку реальной жизни, чтоб способность поэта, мастера не казалась простым смертным сверхъестественной. Самое важное начальство концлагерей — Грановский, Шахгильдин — заказывало обувь именно в лагере. У этого поэта-закройщика.

Был закройщик и верхней одежды. Кожаная куртка чекиста Бермана, как-то незаметно удлиненная, приобретала талию, облегчала бедра, обхватывала шею, образуя неожиданно меховой, чуть не бобровый воротник. И Шахгильдин, и Грановский, и все их работники шили

пальто именно в этих лагерных мастерских. Мастерские были вынесены за зону, но, конечно, закройщик обмерял начальника строительства или первого секретаря райкома на дому, где-нибудь в гостинице, а то и прямо в служебном кабинете.

Вслед за Шором в следующий карцер втолкнули жирное тяжелое тело Плеве, старого экспедитора, ведавшего снабжением лагеря. Был ли Плеве — фон Плеве, я не знаю. Возможно, что и был. Срок у него был десять лет по сто седьмой. По сто седьмой привлекали нэпманов из сочувствующих советской власти. Плеве был каким-то личным знакомым Стукова, особо доверенным лицом. Розовощекий, розовотелый пятидесятилетний пухлый Плеве едва втиснулся в тесный карцер, оглядывая мир подслеповатыми глазами — золотые очки пришлось сдать по квитанции коменданту. Плеве по этому делу должен был допрашивать уполномоченный Песнякевич, уполномоченный не из сущих или бывших зэка, а самый настоящий материковский чекист. Увидев, что они поздоровались друг с другом — Плеве поклонился достойно, а тот кивнул, сдвинув уголок рта, — я, пока ждал допроса, своей очереди в кабинете следователя, задал Плеве вопрос, знали ли они друг друга на воле.

— Еще бы, — ответил Плеве. — Его мать в Минске держала бардак, а я бывал в этом бардаке в молодые годы. В бардаке мадам Песнякевич.

Следующим был Сергеев, герой гражданской войны с переломом спины и пулевыми ранами, — Сергеев расстегнул и сдал коменданту железный корсет, оберегавший спину, и заполз в карцер.

Привели руководителя работ, помощника Миллера, Ивана Анатольевича Павловского, чьи доносы под псевдонимом «Звезда» мне удалось прочитать. Сюда в карцер Павловский, очевидно, был подсажен как «наседка», но со мной в паре его не запирали в карцер — Павловский охотился за кем-то другим.

Привели Осипенко — нашего заведующего хозяйством, бывшего секретаря Распутина, того самого, кто недели две назад обнимал сапоги уполномоченного в моем присутствии.

Тут же начались допросы. Меня на этот раз допрашивал не Жигалев, а более значительное лицо — уполномоченный Агриколянский. Мне был предложен список вопросов и дана возможность записать ответ своей рукой. К этому времени я уже пришел в бешенство и

только и ждал этой возможности — первого следственного сражения. Каждый ответ мой кончался примерно такой фразой: «Показать по этому вопросу ничего не могу, прошу задавать мне вопросы, которые касаются моей личной работы». Я очертил круг обязанностей своих в лагере, официальной ответственности и применительно к этому держался.

— Слышали ли вы о падении стены завода на строителей?

— Нет, ничего не слышал.

— Как же вы не слыхали, когда об этом говорит весь лагерь?

— А я вот не слыхал. Еще раз прошу спрашивать меня по моей работе, а не о чем-то постороннем.

А там была история вот какая. Во время выгрузки оборудования из баржи бригадир заключенных Сорокин зацепил тросом за столб и сдернул крышу построенного здания.

— Что вы знаете о приписках?

— Не знаю ничего. Это не входит в мои обязанности как работника отдела труда.

— Но приписки же были.

— Кому? Я этого не знаю.

В общем, «шили» вредительство Стукову и Миллеру — самая модная болезнь, обнаруженная на Вишере, и где — в нашем же отделении!

— Почему лагерным работникам из высшей администрации давали пропуска в столовую для иностранцев?

— Я не знаю. Мне давали, я и брал. И пользовался этой столовой. Было распоряжение начальника, спросите у начальника.

Криминальность этого пропуска в столовую для иностранцев была явно политического характера. Иностранцев на Березникхимстрое было очень много: немцы, французы, американцы, англичане, — все они жили в поселке для иностранных специалистов. Для них на строительстве была выстроена гостиница и оборудован ресторан — то, что на нашем аскетическом языке называлось «столовая для иностранцев». Поскольку все повара были заключенные, все продукты шли исключительно по лагерной сети снабжения, поскольку весь комбинат строил именно лагерь, Стуков, начальник лагеря, договорился с Грановским, что даст своим пять пропусков в этот гастрономический рай. Тогда уже ухудшилось снабжение вольных, и одиноким инжене-

рам-спецам Грановский давал возможность питаться в этой столовой. Вот из ста или двухсот пропусков вольнонаемным советским инженерам пять было закреплено за лагерем. Пропуска были именные на два раза в день — обед и ужин.

Мы занимали всегда отдельный столик и в своей лагерной робе представляли, наверное, красочную картину. Кроме этого поощрения для верхушки, рабочие бригады питались в столовой на строительстве, столовой только для заключенных. Эта столовая для заключенных функционировала весьма оживленно. Талоны в нее раздавали бригадиры, тут же поощряя лучших работяг. Таким образом, положенный лагерный паек оставался в лагере, и вечером арестант его получал. Днем обедал в столовой «от хозяина».

Это тоже вызывало большие нарекания, ибо вольная столовая была гораздо хуже лагерной. Лагерников и одевали лучше. Ведь на работу не выпускали раздетых и разутых. Даже случайно.

Это привело к конфликту, зависти, жалобам. Я много встречал потом ссыльных, а то и просто вербованных работяг, бежавших из Березников из-за плохих условий быта. Все они вспоминали одно и то же: «раскормленные рожи лагерных работяг».

Бывало, что тот, кто посылал жителей своего села, давал дело — судил и отправлял под конвоем на Север, — сам приезжал туда по вербовке, по вольному найму как энтузиаст и видел, что те, кого он судил, живут в гораздо лучших условиях, что и сам лагерь блестел чистотой, там не было ни вони, ни даже намека на вошь.

Но все это область чистой эмоции — кто-то кому-то завидует.

Выработка заключенных была гораздо выше, чем у вольнонаемных, хотя денег заключенные не получали за свою работу, а только премии — один или два рубля в месяц. Я и Павловский, Кузнецов и Лазарсон получали по тридцать рублей, Миллер — пятьдесят. На все эти деньги мы имели право получить бонами за подписью Глеба Бокия — расчеты и знаки, о которых не упоминает автор монументального труда о русской денежной системе. Я долго хранил у себя в архиве несколько лагерных бон, но потерял в конце концов этот эффектный документ. В лагерном магазине продовольственных и промтоваров и торговали на лагерные боны. Все стоило копейки — в соответствии с курсом червонца 1922 года.

Вот тут и искали вредительство. Но где? В приписках? Никаких приписок обнаружить не могли. Проверить документы по подсыпке — а Березники стоят в яме, на насыпном грунте — не было физической возможности. Проверка нарядов подтвердила полную правильность актов и замеров, подписанных лагерными работниками и работниками комбината. Вообще бригадиров, чьи бригады не выполняли 130%, не держали ни одного дня на строительстве. Выбор был — этапы, которые шли мимо в управление день и ночь, давали возможность выбрать и задержать лучших людей: создать угрозу перевода в худшие условия — вечный лагерный аргумент еще с Акатуйской каторги.

Так вот, четыре месяца велось следствие, допрашивали нас и ничего путного получить не могли.

Да, шили секретарю райкома Шахгильдину в лагере кожаное пальто. Он заплатил за него полную цену. Разве такие вещи не разрешаются? Разрешили такое же пальто сшить и Грановскому, начальнику строительства, шили и Чистякову, главному инженеру.

Да, покупали вольные в лагерном магазине продукты. Да, главный инженер Чистяков жил со своей курьершей, красоткой из зэка.

А дело было очень простое. Следователь никак не знал, как подступить к этой специфике лагерей. Дело было очень простое и в то же время очень большое. Надо было вернуться на строительстве к самому его началу по крайней мере год назад. И то давнее преступное решение было гениально просто и не могло быть разоблачено через год.

Год назад Грановским, начальником строительства, или комиссией из Москвы — это все равно — было обнаружено, что первой очереди Березниковского комбината, по которой уже произведены миллионные выплаты, попросту говоря, в природе нет. Не построен ни один из этих шестнадцати заводов, которые должны были представлять первую очередь. Все эти шестнадцать заводов стоят в яме на огражденной территории, которая по плану должна быть подсыпана. Песок находился в десяти километрах. И оттуда еще с зимы двадцать восьмого года возили песок на грабарках местные крестьяне. Этих нанятых грабарей было человек шестьсот. Шестьсот якутских лошадей смело начали подсыпать комбинат. Им платили наличными деньгами, для чего существовал московский десятник Миша Долгополов, принимавший ра-

боту, отмечавший наряды и гулявший в ресторане «Медведь» в Усолье на другом берегу Камы.

Выяснилось, что выплачены все деньги за всю первую очередь строительства вперед.

Петля висела и над Грановским, и над его заместителем Омельяновичем, потом Чистяковым. И инженер, и администратор бежали из Березников, боясь, но Грановский, начальник по путевке ЦК, не мог спастись бегством. Вот тут-то ему и подсказали гениальное решение — привлечь лагерь к строительству. Не потому, что это такие гиганты-геркулесы, которые будут делать пятьсот процентов, а потому, что там есть одна возможность, о которой Грановский и не подозревал. Возможность залатать все заплаты заключалась в бесплатном лагерном труде. Лагерь не потому мучителен, что там заставляют работать, а потому, что там заставляют работать бесплатно, за пайку хлеба горы воротить. В лагере никогда не учитываются работы этапа, транзита, проходных работяг. Лагерь всех проходных работяг бросал на подсыпку. Ночь переночевали и под конвоем пустились в дальний путь.

Вот эти десятки тысяч транзитников быстро поправили дела комбината, и Грановский избавился от суда. Конечно, сроки были нарушены, но жизнь и даже честь была спасена.

Месяца через три этой бесплатной транзитной работы сотен тысяч, которых кормили супом, а то и супа не давали, честь комбината была спасена, и территория была подсыпана настоящим песком, добытым в настоящем лесном карьере, и соединена настоящей железной дорогой с настоящим вагоном.

Руководитель комбината руководил и лагерем (такой переплет!), отбирая лучших работяг, покупая инженеров. Стуков бил на орден, а Миллер — на досрочное освобождение. Правда, инцидент с Берманом поубавил надежд Миллера, но Стуков обещал, что все будет в порядке, и активность Миллера не уменьшилась.

И вдруг дело Стукова!

Четыре месяца продолжалось следствие. Целых два месяца нас допрашивали, выводя прямо в белье в кабинет следователя. Все следствие возглавил Агриколянский. Жигалев, отсидев на губе, был снят с работы. Агриколянский передопросил меня по тем же вопросам, на этот раз не давая мне писать ответов, а записывая их своей рукой. Это только задержало следствие, ибо ничего нового из меня Агриколянский не выжал, хотя и доп-

рашивал целые часы. Я уже был приведен в знакомое мне состояние крайнего бешенства и мог выдержать — или так мне казалось — и сотню Агриколянских. Все мои допросы были кем-то исчерканы красным карандашом. Этот красный карандаш тоже не мог пролить света на пути следствия.

Ни начальник, ни Миллер даже не допрашивались — именно против них собирали материал. После двухмесячного сидения в белье и хождения по допросам нас увезли на этап — несколько саней с конвоем повезли меня по знакомой дороге Соликамск — Вижаиха. В третий раз за один год. Все мои однодельцы в управлении еще не бывали, и я описывал им вишерские порядки и красоты.

Через двое суток привезли нас на Вижаиху и посадили опять в изолятор, опять в карцерный, на этот раз в центральный. Карцерные порядки, режим универсальный. Допросы начались в ночь приезда.

В центральном изоляторе мы просидели месяца два, допрашивали несколько раз с теми же угрозами и с тем же результатом, все пытались раскрыть березниковскую тайну, звали, чтобы я «пошел в сознание» и не защищал врагов государства. На следствии они пытались и не могли понять, как был построен гигант пятилетки и в чем, собственно, тут дело. Нас здесь не держали взаперти, как в Ленве, в Березниках, а заставляли работать на дворе самого изолятора: копать ямы для столбов, рыть траншеи — бесплатно и безучетно. И следователь, заставляющий нас махать лопатами бесплатно, никак не хотел догадаться, что в этом бесплатном труде и была разгадка всего нашего дела, разгадка тайны, которую не разгадала и Москва.

Бесплатный, безучетный труд каждого и должен быть умножен в миллионы раз — вот и вырос Березниковский гигант, за который начальник строительства получил Красное Знамя. Стукова и Миллера этой наградой обошли.

Рабский труд, бесплатный труд арестанта — вот разгадка всех успехов комбината, весь провал первой очереди, которая называется «пусковой период», был перекрыт с помощью арестантского труда.

Только все это надо было делать умно — не вести учета, не заводить двойную бухгалтерию, а просто все валить на транзит. Голодный транзитник за пайку хлеба поработает охотно и результативно — день, на который его задержали из-за отсутствия вагонов.

А если транзитников — миллион?

Десяток таких гигантов, как Березниковский, можно было построить. Миллион транзитников — это уже масштабы Москанала, Беломорканала, Колымы.

Настал день, когда нас не вывели на работу с обеда, а повели через двор всех шестерых и ввели, вернее втолкнули, в дверь одного из трех бараков, стоящих в углу изоляторной зоны и называемых в управлении пересылкой. Выход из этой новой зоны был и внутрь и наружу — внутрь зоны лагеря, где было расположено управление Вишлага. Вслед за нами втолкнули кого-то еще. В палатке и стоять было тесно. Забиты были все нары — верхние, нижние. Я стоял под самой лампочкой, и кто-то с верхних нар подергал меня за стриженые волосы.

— Эй ты, москвич!

Это кричал Сережа Рындаков, мой первый учитель лагерного быта Вишеры двадцать девятого года. Сережа был порчак, штымп ботайский, осужденный как СОЭ на три года. Хорошо грамотный хулиган, родственник какого-то московского чекиста, Сережа был весь в шрамах, в рубцах. На обеих руках его были вскрыты вены — попытка самоубийства. На животе вздувались продольные рубцы — след бритвы — «писки». Сережа был крайний истерик, искатель правды, что в лагерных масштабах привело к болезни и к раннему туберкулезу.

— Всех выпускают! — прокричал Сережа. Он всегда все знал.

— А ты здесь за что?

— За марафет.

— Что-то по тебе не видно.

— Я уж здесь давно — все уже вышло.

Наш разговор привлек внимание кого-то, лежащего под нарами, и, раздвигая чужие ноги, на свет выбрался человек, грязный, заросший густой черной бородой, сверкающий черными глазами. Что-то знакомое было в его усмешке:

— Не узнаете? Я Пекерский.

Пекерский был как раз тот уполномоченный, который допрашивал меня в Березниках, положивший передо мной на столе стопку показаний лагерных сексотов. Я пожал руку Пекерского от всей души. Он, оказывается, тоже сидел по нашему делу.

— Жму вашу руку с удовольствием, — сказал я.

— А я вашу — с уважением, — помолчав, сказал чекист Пекерский.

И до сих пор это одна из лучших похвал, какие я слышал в жизни.

Пекерский уполз под нары. Всех бывших прокуроров, уполномоченных, работников органов всегда в изолятор загоняли. Под нары. Там было их место.

Скоро нас вызвали для прочтения приговора после четырех месяцев следствия. Оказывается, привлекли многих, до сотни людей. Из них мы были главные герои.

Я слушал наш приговор и не верил своим ушам: «...за систематические избиения заключенных, за кражу государственного имущества, за понуждение к вступлению в половую связь, за систематические кражи и обман государства таких-то и таких-то заключенных (перечислялись наши фамилии и должности) — водворить в штрафизо со сроком на четыре месяца каждого и подвергнуть тяжелым физическим работам до конца срока заключения».

Четыре месяца — это был как раз срок следствия, нам давали юридическое основание уже совершенного произвола. Вот это и была классическая сталинская амальгама — новый, чисто сталинский способ расправы с политическими врагами с помощью уголовных статей. Новый метод, новый вклад в правовую науку, который лично и всю жизнь культивировал Сталин. Клевета, возведенная в принцип.

Но Сережа Рындаков был другого мнения по поводу этих провокационных формул.

— Я смотрю на ваш приговор иначе, — сказал он, — и радуюсь за тебя.

— Что за бред?

— Вовсе не бред. Вредительства-то, модной болезни века, вам не пришили. Вот самый главный, по-моему, вывод. Во-вторых, вас немедленно освобождают — всех! А ведь в вашем деле за сотню людей. Всех в один день и час выпускают. Выпускают, конечно, не на волю, а в лагерь, в зону. И все же. Гляди, вещи уже несут.

Действительно, кладовщик тащил с собой много завязанных мешков, какую-то ведомость укреплял на столике. Стали получать вещи. Правда, все наши вещи были раскрадены еще в Ленве самими же, наверное, кладовщиками — ведь никто ни в Ленве, ни на Вишере не считал, что мы останемся в живых. Но у арестанта есть возможность при всех обстоятельствах получить комплект лагерной одежды. Не важно, второго или двадцатого срока. Да и сам момент был не таков, чтобы оспаривать, качать какие-то права.

Мы вышли в лагерную ночь. Каждому сказали, куда он выйдет завтра на работу. Насчет труда тут учет был поставлен неплохо.

КУЗНЕЦОВ

Транзитка, перевалка человеческого потока в Березниках позволяла начальнику лагеря Стукову отобрать для себя лучшую рабочую силу: технических специалистов, рабочих высокой квалификации, физически самых крепких людей из всех, отправляемых в Красновишерск, на Вижаиху, в Управление Вишерских лагерей, на строительство бумкомбината. Лишь некоторых заключенных особой квалификации начальник должен был отправлять в управление без задержки. Это были инженеры-шахтинцы вместе с Бояршиновым. Были и такие, как знаменитый в то время Самойленко-Гольдман. Самойленко-Гольдман был аферист, выдававший себя за инженера с американским дипломом. После многотысячных растрат и хищений выяснилось, что инженер Самойленко вовсе не инженер, а его диплом на английском языке — просто право на чтение книг в нью-йоркской библиотеке.

Я был хорошо знаком с Самойленко. Он осаждал начальство то всевозможными проектами технического характера по постройке канатной дороги для отправки бревен прямо с Уральских гор в затон лесопильного завода, то расчетами по проведению ледяных дорог на лесозаготовках, то проектами завода по добыче пихтового масла. О нью-йоркском дипломе уже не было речей, но фейерверк цифр и расчетов по-прежнему слепил начальству глаза. Миллеру он не понравился, и Самойленко уехал из Березников.

Моим соседом в комнате для десятников стал на многие месяцы Павел Павлович Кузнецов — московский сантехник тридцати пяти лет. Тридцать пять лет — это возраст преступлений. К этому времени человек убеждается, узнает, по Гейне, «отчего под ношей крестной весь в крови влачится правый, отчего везде бесчестный встречен почестью и славой». Честный человек логическим путем доходит до мысли сделать преступление. А так как он, этот честный человек, неловок, не успевает отскочить в сторону после того, как он нарушил какие-то законы, — его ловят, судят и пригова-

ривают к сроку наказания, после которого нет возврата в нормальное общество.

Какими бы массовыми ни были аресты в 1937 году, как бы эта коса ни косила всех подряд без всякого выбора — понятие преступления, вины было искажено безмерно, — все равно на душе каждого, прошедшего лагерь той поры, остался вечный след, вечный рубец. В двадцатые годы преступление было еще преступлением, а не сознательной политикой государства.

Вот потому-то честный человек, потомственный интеллигент московский, Павел Павлович Кузнецов пил. Кузнецов и украл: все воровали, и он украл. Но все отскочили в сторону и отделались испугом, а Кузнецов получил срок — семь лет тюрьмы по 169-й статье. 169-я статья — это мошенничество; преступление Кузнецова — кража вагона спецодежды, продажа вагона спецодежды в частные руки.

Павел Павлович, невысокого роста, «лобан» с огромной головой, с пухлым лицом, узкими глазками, был из культурной московской семьи, постоянный посетитель оперы и балета в Большом театре, поклонник Художественного театра.

В свободные часы Павел Павлович мне напевал всего «Князя Игоря», «Сказание о граде Китеже», всего «Евгения Онегина», «Русалку»; оперы в своеобразном концертном исполнении изучены мною именно тогда, в бараках Вишерских лагерей, учителем моим был Кузнецов. Такие пьесы, как «Дни нашей жизни» или «Савва» Леонида Андреева, Павел Павлович знал наизусть. Музыка была его потребностью, его жизнью даже в лагере.

К сожалению, Павел Павлович пил запоем на воле и при каждой возможности — в лагере. Кузнецов был руководителем работ на одном из участков в лагере (на Верхней Вильве — в каменных карьерах), но запил и был снят с работы.

Кузнецов был болен позорной русской болезнью — запоем. Поэтому, как бы отлично он ни работал, все кончалось изолятором и снятием с работы. Но все имеет свой конец, кончился и срок Кузнецова.

Я встретился с Павлом Павловичем в Москве. Этот пьянчужка был мне дороже троцкистских ханжей — трезвенников. Я встретился с ним на Моховой, в квартире его сослуживца и покровителя инженера Татаринцева — это известное имя в технических кругах тогдашней Москвы. Павел Павлович подрабатывал деньги,

чертил какие-то чертежи, составлял сметы. Заказ на эти работы получал сам Татаринцев, он же и подписывал сметы и получал гонорар, не забывая, конечно, и Павла Павловича. Имя Татаринцева было большим, гонорары соответствовали имени. Знакомая вечная картина и для техники, и для литературы.

Павел Павлович чертил, поднимая настроение тогдашней «рыковкой» — сорокаградусной водкой. Пил он стакан за стаканом, закусывая солеными огурцами в малом количестве. После одного из стаканов Кузнецов упал и заснул. В Москве он места не нашел. Уехал, кажется, в Алатырь.

Больше в жизни я Кузнецова не видел.

ЖИДКОВ И ШТОФ

Я не был тогда фельдшером, но со страхом поглядывал на бесконечные ряды новеньких бараков, которые занимали прибывающие сверху, с бумкомбината, с лесозаготовок Усть-Улса актированные комиссией прокурора Покровского по 458-й статье лагерные инвалиды. Почти все они с палочками, с костылями, с отмороженными культями. Саморубов там не было. Саморубов, чью кровь даже колдуны не заговаривают, по русскому поверью, не отправляли вниз, на Пермь. Саморубы оставались вверху. Инвалиды, актированные по 458-й статье, переполняли бараки. Цинготные раны, цинготные шрамы и рубцы, цинготные контрактуры. Черные шрамы, черная, темно-фиолетовая кожа. Зрелище было впечатляющим. Инвалидов отправляли вниз по Каме.

Но цинга началась и у нас. Опухшие ноги, кровавые рты, бараки инвалидов с Севера стали быстро заполняться людьми, которые никогда не бывали на Севере, которых Север только ждал... Можно было подумать, что цинга — это инфекция, заразная болезнь, что какой-то вирус оставлен в наших бараках северными гостями. Но ведь цинга не заразна.

Начальником санчасти был у нас Николай Иванович Жидков, «Жидков через «д», как он энергично подчеркивал при первом знакомстве. Николай Иванович Жидков имел срок десять лет — высшую дозу по мерам того времени, по статье 58, пункт 12 — тот самый пункт, по которому судили провокатора Окладского. Николай Иванович Жидков любезно разъяснял, тоже с первых минут зна-

комства, что произошла ошибка — была провокация, был провокатор, но фамилия его была Житков через «т», а он, Николай Иванович, — через «д». Николай Иванович был красавец, — молодой, высокий, черноглазый, давний поклонник Маяковского. Это он, Жидков, первым сообщил мне о самоубийстве поэта в апреле 1930 года.

— Твой Маяковский-то — того, — и передал мне статью из центральной газеты с портретом Маяковского в траурной рамке.

Николай Иванович Жидков был не врач и вообще не медик. Должность начальника санчасти была административной. История Вишерских лагерей знает примеры, когда во главе санитарного управления огромного лагеря на сто тысяч человек стоял обыкновенный уполномоченный НКВД, некто Карновский, в тридцать первом, кажется, году.

Жидков, как и Стуков, подбирал в свой аппарат спец-указанцев из этапов. Но, опасаясь конкуренции, Николай Иванович боялся оставить врача или фельдшера в качестве своего сотрудника. Поэтому все медики на участке нашего отделения, которым управлял Николай Иванович Жидков через «д», не имели ни медицинского образования, ни медицинских знаний. Такую политику Николай Иванович обосновывал вполне авторитетно и вполне открыто.

— Был бы честный человек — спирт не выпьет. А медицина не такое уж важное дело в лагере.

Поиски честного человека, производимые доктором Жидковым через «д», приводили к тому, что количество цинготников быстро росло. Цинготники заполняли бараки, ложились тяжким грузом на группу «В».

Цинготников вышел лечить сам начальник отделения Стуков. Он вышел на крыльцо, и перед его опытным глазом проковыляло несколько сотен арестантов. Начальник распорядился гонять больных каждый день по часу. Со следующего этапа начальник, вопреки желанию Николая Ивановича Жидкова, оставил в качестве лекпома военного фельдшера Штофа. Цинготникам стали давать картофель, репу, дело пошло на лад. Николай Иванович Жидков через «д» был направлен в распоряжение санотдела управления, а начальником нашей санчасти стал вчерашний арестант военный фельдшер Штоф.

Штоф никого в лагере не знал. Порядков, на которые надеялся Николай Иванович, и вовсе не ведал. Отделение наше стало выползать из медицинского прорыва.

«Прорыв» — это модное слово тридцатых годов, слово строек первых пятилеток. Ни одна из них не проходила без «прорыва». Со Штофом был забавный случай, относящийся к лету тридцатого года. В лагере ждали большую московскую комиссию, которая начала объезд Севера с управления, а сейчас возвращалась в Москву. Тогда еще ни маршальских, ни генеральских званий не было, но если считать на ромбы, то эта комиссия выглядела весьма солидно. Менее двух ромбов никто из двадцати членов этой комиссии не носил.

Комиссия приехала, лагерь был приведен в безмолвие, и гости пошли из барака в барак. Каждый начальник рапортовал гостям на своей территории. Доктор Штоф — его уже звали доктором! — в белом халате, в военной форме рапортовать кинулся к Берзину, человеку огромного роста, в петлицах которого было три ромба и который, по мнению военфельдшера Штофа, непременно должен быть тут старшим по чину. Но Штоф ошибся. После первой фразы рапорта Берзин отступил в сторону и сказал:

«Вот начальник», — показал Штофу рукой на маленького человека в кожаной куртке. Маленький человек поспешно распахнул кожаную куртку и показал свои петлицы — четыре ромба. Это был Берман, начальник ГУЛАГа. Штоф до того растерялся, что не мог вымолвить ни слова. Берман махнул рукой, и комиссия направилась в барак санчасти.

Не знаю дальнейшей судьбы Штофа.

ОСИПЕНКО

Заведующим хозяйством Березниковского отделения лагеря был Иван Зиновьевич Осипенко. Осипенко — историческая фигура. Фамилия его встречается в книге Щеголева «Падение царского режима». Осипенко был секретарем митрополита Питирима, того самого князя церкви, который рекомендовал государю Распутина. Осипенко принимал участие и в распутинских делах, был розовощеким энергичным молодым человеком, ворочающим большими делами.

После революции он скрылся; хитрый и ловкий, он поступил на службу не более и не менее, как в Управление ленинградской милиции. Так что в создании охраны революционного порядка первых лет революции есть не-

малая доля Ивана Зиновьевича Осипенко. Ход этот был очень удачным. Всех распутинских секретарей изловили и судили, а Осипенко работал делопроизводителем в Управлении милиции и в ус не дул — до 1924 года.

В 1924 году вышла книга Льва Никулина, старого сотрудника ЧК, допущенного и всегда допускавшегося к секретным архивам чекистов. Книга — документальный роман — называлась «Адъютанты Господа Бога». Книга имела успех — падение самодержавия! — вчерашнее прошлое России, где действуют и Распутин, и Митя Рубинштейн, и митрополит Питирим, и Осипенко. Книга Никулина написана по документам, которые ему предоставили в ЧК. Сама ЧК обратилась к своему собственному изображению и сквозь лупу Шерлока Холмса рассмотрела и сюжет «Адъютантов Господа Бога», и действующих лиц документального романа.

Осипенко был пропущен через центральный розыск и найден в ленинградской милиции. Арестован и осужден все по той же статье 58, пункт 13 (служба в царской полиции). Срок у него был восемь лет.

В тридцатом году шел последний год его заключения. Внезапно он был арестован в числе административных лиц из лагерного Березниковского отделения (так же, как и я), и его допрашивали по делу начальника Стукова. В моем присутствии уполномоченный Жигалев (тот, которого потом арестовал Стуков) допрашивал Осипенко, и Осипенко кланялся Жигалеву в ноги, обнимал его сапоги и твердил: «Не губите, гражданин начальник!»

Конечно, в своих показаниях на Стукова Осипенко был всех красноречивее, всех обстоятельней! Но дело кончилось ничем для Стукова. Как и я, Осипенко просидел четыре месяца в лагерном изоляторе, а потом был отпущен на все четыре стороны внутри лагерной зоны.

Дальнейшей судьбы его я не знаю.

ПАВЛОВСКИЙ

Иван Анатольевич Павловский — бывший царский офицер, не служивший в Красной Армии. Таких в России было немало. И все они были на одной и той же неофициальной работе. Все царские офицеры пошли по счетной части — стали бухгалтерами, плановиками, экономистами. Павловский работал главным бухгалтером в Москве в каком-то тресте и заболел модной болезнью —

проиграл казенные деньги на бегах. Растратчика судили по 116-й статье и дали семь лет. Проиграл Павловский пятнадцать тысяч рублей в червонном исчислении.

Это был плотный, низколобый, черноволосый, неунывающий господин лет сорока. Ни в какие политические суждения Павловский никогда не пускался, никогда даже не слушал разговоров на какую-либо постороннюю тему, кроме службы, всегда уходил предусмотрительно. Когда я был арестован в лагере, уполномоченный из заключенных Пекерский оставил на столе показания осведомителя по кличке Звезда, касавшиеся меня, написанные знакомым мне четким, прямым почерком Павловского. В показаниях давалась мне подробная характеристика как врагу государства, начальства и власти. Павловскому сдавал я дела при назначении Миллера на должность руководителя работ от лагеря — так это называлось на Березникхимстрое тогда.

Павловский был человек способный, веселый, неутомимый. Как дикарь, он не имел времени перехода от сна к бодрости. Стоило только тронуть его за плечо — и Иван Анатольевич мог отвечать на любой вопрос.

Павловский оставил мне на всю мою последующую жизнь один афоризм житейский. Павловский, бывший офицер, был большим поклонником генерала Гурко, известного военного публициста царского времени, автора «Полевого устава». «Не держись устава, как слепой стены» — эту цитату, эпиграф к уставу полевой службы, Павловский часто вспоминал. Но еще чаще вспоминал Павловский конец одной из многочисленных речей генерала Гурко. Звучала эта цитата так: «Солдаты! Не говорите, что вы ляжете костьми и враг перейдет только через ваши трупы. Пусть ляжет он, а перейдете — вы!»

Это — афоризм, помогающий жить, безусловный, хотя автор этих слов не Наполеон и не Клаузевиц, даже не Скобелев.

Руководитель работ поставил старших десятников по нескольку на участок, в зависимости от рода работ — грузчики, землекопы, слесаря, монтажники, плотники, каменщики и т. д. Старшие десятники распоряжались просто десятниками, и у каждого десятника было несколько бригад во главе с бригадирами — работягами или освобожденными, в зависимости от условий.

Любимцем Павловского был Александр Ипполитов — кучер призового рысака, на котором в Нижнем Новгороде после ограбления банка увезли деньги. Кра-

жа была за миллион, и нашли очень мало. Поэтому и нижегородский извозчик, вовсе не член банды, а нанятый гастролер, получил расстрел с заменой десятью годами. Редчайший случай по таким делам.

Со мной в первом арестантском этапе в 1929 году шел на Вишеру Шилов со сроком четыре года. Шилов был шофер машины Госбанка. По условиям он должен был остановить машину в заторе — ограбление было на Неглинной, за два квартала до Госбанка, — пока грабители начнут и кончат свое дело. Грабители исчезли с деньгами, и судили только Шилова за то, что он остановил машину. Дали ему всего четыре года. И вдруг расстрел за увоз!

Я с детства знаю исторический побег Кропоткина. Да и каждая лошадь знает: «Барьер!» Знаю, что эта лошадь еще послужит в побегах из тюрем.

И вдруг грабитель Шура Ипполитов!

— Как звали твоего коня?

— Это кобыла. Матильда. А тебе на что?

— Так.

РУСАЛКА

Пока строился гигант первой пятилетки, Березниковский химкомбинат, Москва его не забывала и по культурной части. Являлись туда и эстрадные коллективы, и циркачи, и фокусники, и театральные бродячие труппы, чтобы помочь, обслужить, заработать, внести вклад...

Не являлся в Березники только коллектив знаменитой «Синей блузы», чей руководитель и идеолог, вождь и создатель Борис Южанин отбывал трехлетний срок заключения за попытку бежать за границу.

Комбината еще не было. Был лишь Березникхимстрой, где начальником был Грановский, позднее расстрелянный, и первым секретарем райкома — Шахгильдин, позднее расстрелянный.

Показывалось там и кино, в автоклубе содового завода, бывшего завода Сальвэ. Помещение было маленькое. Транспортникам показывалось кино в огромном здании конторы, чем-то напоминающем коридоры Дворца труда на Солянке.

Был клуб для иностранцев, но ни спектаклей, ни кино там не показывали, и иностранцы смотрели кино в общем зале клуба.

Клуб, однобарачное здание, все же не давал возможности принимать заезжие бригады артистов для бойцов трудового фронта, для выполнявших и перевыполнявших.

Вольнонаемные, весь Березникхимстрой, пользовались для своих вечеров только что отстроенным клубом лагеря — на Адамовой горе.

Сама по себе идея лагерной зоны была такая, чтобы обжить, опробовать и передать барак вольным.

В зоне на Адамовой горе была и больничка, которой управлял военный фельдшер Штоф.

Но самым роскошным лагерным домом внутри зоны был клуб — роскошный двухэтажный клуб с будкой киномеханика, с гримировочной комнатой и даже ямой для оркестра.

Второй этаж клуба занимала всегда следственная часть с ее комнатами, камерой, тупиками. Там меня и допрашивали позднее. Время это — лето 1930 года.

Я выиграл шахматный турнир — первое место занял, получил приз — шахматы, которые хранятся у меня до сих пор, уничтожена, сожжена была только наклейка, хотя для меня эти шахматы без наклейки — и приз и не приз. Но разумением жены стерта с шахмат эта улика.

Клуб был так хорош, что лагерная труппа проводила там концерты для вольнонаемных за плату, как полагается. Вольнонаемные были довольны, а лагерное начальство — еще больше.

Я помню концерт, где выступал с конферансом блатарь Михайлов. Это был профессиональный конферансье — не хуже какого-нибудь Гаркави или самого Алексеева. Помню также большой успех «Умирающего лебедя» Сен-Санса, где артистка пыталась напомнить зрителям бессмертные заветы Анны Павловой.

Артистку эту взяли в управлении на Вижаихе, — позже я с ней встретился на Севере в 1931 году, где она работала медицинской сестрой.

Хорошо ли она танцевала «Лебедя» — по канонам хореографии, — я оценить не могу, но у лагерников именно «Лебедь» вызвал тогда бешеные овации.

На «бис» у артистки не было приготовлено ничего, и пришлось в ответ на овации повторить «Лебедя». Вот тут мне, сидевшему в первых рядах, и стали заметны и морщины, и вялая шея, и какая-то усталость во всем этом танце, поставленном когда-то Фокиным для Павловой.

Как будто усталость была больше, чем полагалось умирающему лебедю, если всю эту символику рассмат-

ривать только с позиций казенного реализма, с позиций Художественного театра хотя бы.

Для меня этот танец был новинкой — я никогда балета еще не видел, и детство, и юность, и университет — все было прожито без балета, вопреки балету.

В «Умирающем лебеде», исполненном на сцене лагерного театра 3-го отделения Вишерских лагерей осенью 1930 года, была и еще одна подробность, важная для меня.

Балериной, исполнившей «Умирающего лебедя», была заключенная — любительница из художественной самодеятельности, принятая из проходящего этапа.

Звали эту арестантку-балерину Елена Николаевна Шмидт. Елена Николаевна была родной дочерью Николая Шмидта, московского фабриканта, участника революции 1905 года в Москве, расстрелянного царским правительством, мебельщика Шмидта — самого боевого из большевистских отрядов, сражавшихся на баррикадах.

До 1969 года в газетах путали Шмидтов. Николай Шмидт — мебельщик, молодой парень, отдавший наследство на революцию и расстрелянный в 1905 году. Петр Шмидт — лейтенант, знаменитость в восстании на «Очакове», вызвавший огромную литературу, слегка истеричный эсер, — это разные. И если достаточно было назваться сыном лейтенанта Шмидта, чтобы любой советский деятель помог авантюристу, протянул руку помощи, что вызвало поток литературы, то с дочерью Шмидта дело обстояло иначе. Хотя именно отец Елены Николаевны был героем 1905 года в Москве, сама его дочка испытала все превратности лагерной судьбы и как заключенная, и как женщина-арестантка.

Но я собрался рассказать совсем о другом — только о том, что в Березниках в 1930 году хорошим был только лагерный клуб, лагерный театр и что этот театр, как это ни неудобно, давал в зоне спектакли, концерты свои агитационные — для вольнонаемных.

Обслуживать гигант первой пятилетки пробовали и вольные бригады, но в лагерь их не пускали, да и качество их концертов было ниже, чем лагерь мог показать сам, своими силами.

Был поставлен спектакль «Малиновое варенье» Афиногенова, репетировалась еще какая-то пьеса, когда лагерное начальство поразило неожиданное предложение выездного бюро профсоюзов Москвы.

Березники должна была посетить ни больше ни меньше как опера, московская опера.

Импресарио передового коллектива, сидевшего в кабинете начальства, не смутила возможность провести свои гастроли за колючей проволокой.

Заместитель начальника Балашов при моей консультации — я был членом художественного совета лагерей после того, как выиграл шахматный турнир, — провел переговоры с импресарио.

— Даем «Травиату», «Риголетто», «Русалку», «Фауста» и концерт — пять вечеров.

— А сколько всего человек?

— Восемь всего. Девятый — пианист.

— Вам как удобнее, — спросил я, — все оперы попарно или все подряд — для вольных и все подряд для заключенных? Сколько ваши гастроли стоят?

Импресарио сказал.

— Эту сумму мы вручим вам наличными.

— Но и к вам, товарищ Балашов, — источая любезность, сказал импресарио, — есть другая просьба.

— Я слушаю вас.

— Насчет ужина.

— Не беспокойтесь, ужин будет, только без спиртного, конечно...

— Без спиртного и ужин не в ужин. Даже наши дамы, поверьте...

— Я верю, — сказал Балашов. — Но не имеем, войдите в наше положение.

— Охотно вхожу, охотно, — сказал импресарио.

— За счет ужина обговорим насчет подарков.

— Какие подарки?

— Ну, то, что лагерю под силу. Что-нибудь из продуктов. По банке мясной устроим. И картошки насыплем...

— Отлично, отлично, — сказал импресарио. — Но все же хотелось бы что-нибудь, как бы поточнее выразиться, ну не портсигары там, не бриллианты, не кулоны, но все же какие-нибудь вещественные воплощения наших невещественных отношений.

— Вещественного ничего не можем.

— Ну, все же...

— Лагерные ботинки, что ли? Иль бушлаты соловецкого пошива?

— Ботинки было бы очень хорошо, — тихо сказал импресарио.

— Хорошо, восемь пар я вам дам. Но ведь там женских нет.

— А разве в лагере у вас женщин нет?

— Есть. Но они ходят в мужской обуви.

— Тогда и нам мужскую.

— Хорошо, — сказал Балашов.

— Я все подскажу вам, — зашептал импресарио, — дайте нам по паре белья.

— Да ведь у нас казенное, бязевое. С печатями.

— Мы вырежем печати.

Балашов сдался.

— Итак, мы обговорили девять пар белья, девять пар сапог...

— У нас нет в лагере никаких сапог.

Опера была не так плоха, как я ожидал после этой беседы.

Правда, у русалки не хватало одного глаза, а вставной был другого цвета, но говорят, что и у Александра Македонского были разные глаза.

Русалка была женой импресарио.

Вот тогда-то я и послушал каждую оперу. Рядом со мной сидел Павел Кузнецов, наш техник, мой земляк, театрал, завсегдатай Большого театра, и валился от смеха.

Но публика в зале, арестантская публика, захвачена была этим парадом оперного искусства, хотя все оперы пелись на одном и том же крохотном пятачке сцены.

Все трудились, ворочали декорации, прибивали задники, быстро соображали, что использовать из наших запасов для себя, — женщины и мужчины трудились под команду импресарио.

Опера была действительно московской. Московская областная опера — гастрольный коллектив без всякой подделки.

Сделав вылазку на стройки гиганта первой пятилетки, труппа заработала немало «галочек» в отчетах о луче света в царстве новостроек.

У меня никаких претензий к этой халтуре нет. Все это превосходило, без сомнения, «цыганочки», чечеточки блатарями организованных развлечений.

Это было летом 1930 года, а летом 1932 года в здании Дома союзов, где помещалась наша редакция, я столкнулся лицом к лицу с импресарио, выходившим из дверей гастрольного бюро Московской областной оперы.

Мы с минуту глядели друг другу в глаза.

— Нет, не может быть! — сказал импресарио.

ВАСЬКОВ

Отделы труда за те четыре месяца, что я сидел в изоляторе под следствием, реорганизовали и превратили в УРЧи — учетно-распределительные части, собиравшиеся в УРО — учетно-распределительный отдел при управлении лагеря.

Новым начальником УРО был Васьков — тот самый Васьков, именем которого названа магаданская тюрьма — «дом Васькова». В Магадане в середине 1930-х годов Васьков был первым начальником лагеря, замещал Филиппова, который болел тогда, и выстроил первую тюрьму, обессмертив свое имя. Не болей Филиппов — заместитель Берзина по лагерям, — называться бы тюрьме «дом Филиппова». Это было тем более справедливо, что Иван Гаврилович Филиппов умер там от инфаркта в одной из камер в декабре 1937 года. Но тюрьма называлась «домом Васькова».

Васьков был красный, плотный, подвижной человек, с высоким звенящим тенором — признаком великого оратора вроде Жореса или Зиновьева. Оратор был Васьков никакой. К заключенным он относился неплохо, большого начальника из себя не строил. Мучился он катаром желудка, кабинет был весь наполнен бутылками какой-то минеральной воды. Минеральная вода стояла в столе, на окнах, на полу его кабинета. Однажды во время выездной ревизии Москвы, которую проводил член коллегии ГПУ Призьба, Васьков опоздал убрать эти бутылки.

— Это ваш кабинет? — густым басом спрашивал крошечный Призьба с тремя ромбами в петлицах.

— Мой, — высоким тенором отвечал Васьков.

— Откройте стол.

Васьков открыл ящик письменного стола.

— Шкаф откройте.

Васьков открыл шкаф. Шкаф был набит пустыми бутылками.

— А это что такое?

— Минеральная, — пропел Васьков, — не водка же.

Призьба уже выходил из кабинета.

Васьков не читал ни книг, ни газет и все свои выходные дни проводил одинаково: набрав в сумку патронов от мелкокалиберки, садился в саду около вольного клуба и стрелял в листья целый день. Семьи у него на Вишере с собой не было, а выпивка, как я догадался по обилию бутылок из-под минеральной воды, была Вась-

кову запрещена. Раздутый живот, который Васьков с трудом затягивал поясом, прибавлял мало военного его в общем-то бравой фигуре.

Человек он был суждений самостоятельных, не глядел в рот ни Берзину, ни Филиппову, вот и был назначен новым и первым начальником УРО.

— Ну что, Шаламов, что ты хочешь теперь? Где будешь работать? Я мог бы тебя отправить назад, но там ведь все уже новые.

Еще бы, четыре месяца — это четыре века. Нет, я не хотел ни к Стукову, ни к Миллеру, и в Березники не хотел.

— Устраивайся здесь, в первом отделении. Придешь — договор оформим.

— А у вас нельзя?

— Где у меня? В УРО? Ты хочешь работать у меня в УРО? Смотри, — и Васьков позвонил. — Ну, Александр Николаевич, знакомьтесь с новым нашим работником.

Александр Николаевич Майсурадзе, начальник контрольного отдела УРО, был осужден по пятьдесят девятой статье за разжигание национальной розни, работал киномехаником на воле и стал формировать УРО.

— Это герой березниковского процесса.

— В инспектуру ко мне.

— А в статистику?

— Да вы что, зачем Егорову?

В УРО работы было очень много. Работали пять-шесть человек из заключенных. Работал я как представитель УРО с комиссией Кузнецова по набору блатарей в болшевскую трудкоммуну. Работал с прокурором Покровским по отбору и актированию по 458-й статье, т. е. инвалидов.

Посмотрел не без пользы и интереса, как все это делается практически — как подбирают людей, о чем с ними говорят, как им задают вопросы, как они отвечают — это был еще новый для меня мир. Для комиссии Кузнецова обязателен был личный опрос, беседа, впечатление. В беседе вместе с Кузнецовым принимали участие приезжие «суки», тогдашние перекованные, которые еще бегали «по огонькам» с хозяевами Вишеры. Для комиссии Покровского инвалидов не требовалось разглядывать лично. Просто собирались дела по списку представленных к освобождению инвалидов — сколько там было членовредителей, сколько саморубов. Отбирали дела, и Покровский просматривал и отбрасывал их в

две стопки: направо — на освобождение, в список, налево — сидеть в лагере.

Покровский отбирал и проверял по статьям. 58 — 6 с любым сроком под освобождение по инвалидности не подходила. Да были и другие статьи, более модные, то облегчавшие, то утяжелявшие участь арестантов.

Но дело было еще кое в чем. Покровский освобождал вовсе не всех, кто подходил по всем статьям и был инвалидом. У него было заказанное заранее число, предел, больше которого он не мог освободить. Лагерь представлял на освобождение инвалидов гораздо больше, чем их освобождали. Но Покровский обладал теоретически выведенной нормой инвалидности, и все остальные оседали в лагере до конца срока. Я хорошо это понял, когда Покровский округлил цифру до двухсот человек, указал на кипу «непопавших»:

— А этих включите на следующий год.

Так что даже инвалидность в лагере имела свои пределы формальные. Случилось мне за это время принять участие в одной важной комиссии.

Вопрос поездки был такой: может ли лагерь принять на свое снабжение и производственное наблюдение чердынские леспромхозы с рабочей силой — переселенными кулаками.

ПОЕЗДКА В ЧЕРДЫНЬ

В это время — в конце 1930 года — мне довелось участвовать в одной очень интересной комиссии по обследованию чердынских леспромхозов, не выполнявших план. Комиссия была организована приказом Москвы, и входить в нее должны были начальники лагерных учреждений. Но высокое лагерное начальство лениво, не очень любит лично участвовать в многодневных поездках с неналаженным бытом, да еще в 1930 году, когда все продукты надо было брать с собой. Гораздо проще послать своего заместителя или заместителя заместителя, а акт утвердить и подписать потом.

Вот так вместо самого Берзина и его заместителя по лагерю Ивана Гавриловича Филиппова поехал в качестве председателя Василий Николаевич Кудрявцев, начальник первого отделения лагеря. Вместо начальника санчасти Карновского ехал врач, брюзжащий, недовольный. Представителем самого лагеря выступал мой ста-

рый знакомый, комендант 1-го отделения Нестеров, тот самый, что сшибал своим волосатым кулаком любого арестанта одним ударом с ног. Вот этот Нестеров и ехал в одной кибитке со мной в качестве члена комиссии от управления лагерей. Четвертым был следователь какого-то третьего или четвертого ранга, но вольнонаемный, конечно. От УРО должен был поехать Васьков, но, узнав, что в Чердыни придется ночевать, да не одну ночь, поручил эту обязанность своему заместителю по статистике — Егорову, позже расстрелянному на Колыме. Решили послать Майсурадзе — начальника контрольного отдела, хотя тот и был заключенным. Тот отказался: прибыл большой этап.

— Ну, что же — кто? — Васьков шагал по комнате. — Уже подвода стоит у вахты!

— Да вот Шаламов пусть едет.

— Ну что, где твои вещи?

— У меня все с собой.

— Ну, — и Васьков, обрадованный, что ехать ему не надо, привел меня к саням высокой комиссии.

Три кибитки наши ехали в густых сосновых борах, по змеистым дорогам — от леспромхоза к леспромхозу.

Работы были брошены, пилы нигде не визжали. Нас сопровождал местный комендант, как он отрекомендовался, и показывал нам брошенный поселок, свежесрубленные избы с открытыми дверьми, с железными печурками, где не было огня и дыма.

Это были поселки ссыльных по коллективизации. Кубанцы, не державшие в руках пилы, завезенные сюда насильно, бежали лесами. Остался только комендант, получавший жалованье и хлебные карточки в Чердыни.

Чердынь снабжала лесом наш же лагерь — Красновишерск, и вопрос был поставлен: могут ли лагеря взять на себя и снабжение, и главную работу в этих леспромхозах, обеспечат ли охраной такие поселки? Комиссия наша высказалась против передачи лагерю поселков и работы. Я писал протокол этой комиссии, а диктовал текст Кудрявцев, наш председатель.

Все живое из колонистов стянулось в Чердынь к нашему отъезду, и два номера чердынской гостиницы, где мы жили двое суток, подвергались атаке голодных и бесправных людей.

То, что лагерь их не возьмет, произвело самое угнетающее впечатление. Мы и вооруженный начальник подверглись атаке женщин и детей.

— Может быть, начальник хочет переспать с ней? Вот моя дочка.

Я отдал полбуханки хлеба, который у меня был взят из лагеря.

Все это были вольные и ссыльные. Кудрявцеву, да и всем нам, бросались в ноги, ложились поперек саней.

Никто из нас не захватил хлеба, никакой столовой в Чердыни не оказалось. Но Нестеров захватил с собой, как более опытный, да притом местный житель, целый чемодан мороженых котлет, которые были съедены комиссией в гостинице перед отъездом домой.

Все мы ехали молча, молча и вернулись.

В это время приходилось мне знакомиться со сведениями Главного управления лагерей — ГУЛАГа. На 1 января 1931 года в СССР было шестнадцать лагерей:

УВИТЛ (вместо УВЛОНа), Соловки, Караганда и один из наибольших по численности — Темниковский лагерь (Потьма). Всего в этих шестнадцати лагерях было около двух миллионов человек. Наш был одним из крупных — тысяч на шестьдесят, а самый большой — Темники.

Забегая вперед, скажу, что самый большой списочный состав лагерей был не на Колыме, не на Воркуте и не на БАМЛАГе. Самый многочисленный был ДМИТЛАГ, Москанал с центром в городе Дмитрове, где умер Кропоткин, — один миллион двести тысяч человек. Это в 1933 году, и большей цифры заключенных не было.

Все это я рассказываю по памяти, разумеется. В том же январе 1931 года довелось мне съездить и одному, как инспектору для обследования Севера, 2-го отделения Вишерских лагерей.

Север был штрафным районом. «Загнать на Север» — было всегдашней, понятной всем формулой угрозы начальства. Всякий лагерь, по идее, в примитивном виде осуществляет поощрение и углубляет наказание. Поощрение — бесконвойное хождение в поселок, легкая работа, даже не физическая. Наказание — перевод на тяжелые работы, отправка на штрафной участок. В самом штрафном районе существуют десятки возможностей двигаться сверху вниз, от должности начальника до пилы лесоруба и штрафизолятора. Вся шкала поощрений и наказаний разработана очень подробно и логично. Но в начале 1930-х годов она была осуждена за примитивность, за негибкость, за плохую результативность, переделана с начала до конца, введено

было такое вооружение, как зачеты рабочих дней — гениальное изобретение, не менее гениальна шкала питания, стимулирующая производительность труда. Все это достигнуто опытно-эмпирическим путем и не представляет собой единой мысли какого-то злого гения. А лагерная система, без сомнения, гениальна, во всей ее глубине лежит все тот же грубый принцип поощрения и наказания детей, принцип воспитания.

Почтение к этому Северу было внушено мне всей моей жизнью, летом на Вижаихе, еще до поездки в Березники. Поселок Вижаиха — иначе Красновишерский — стоит в низине, дорога в горы, на Север, крута, и хорошо видно, что делается на этой дороге.

СТЕПАНОВ

Об антоновском мятеже на Тамбовщине в 1921 году опубликовано за последнее время очень много работ. Это было восстание, которое никак не могли подавить, пока не принял командование герой Кронштадта Тухачевский. Тухачевский пушками смел до основания все деревни, где жили заподозренные в участии в антоновском мятеже крестьяне, не отделяя мирных от немирных, не заботясь о жизни женщин и детей.

После этой артподготовки в уцелевшие поселки были введены гарнизоны Красной Армии со сроком службы там до года. После этого мятеж пошел на убыль, и Антонова стали ловить. Антонова поймали, и огонь мятежа погас.

Во всех исторических работах об этом мятеже сказано, что Антонов был убит в перестрелке летом 1921 года. На самом деле судьба его несколько иная. Антонова застрелил родной брат, когда Антонов лежал в тифу, в бреду.

Брат Антонова застрелился и сам. Вот такая смерть. Это смерть героя.

В отличие от всех армий, сражавшихся с Советами, в антоновских частях, как и в Красной Армии, были политические комиссары. Сам Антонов — бывший эсер, точнее, бывший народоволец из младших, осужденный на вечную каторгу и сидевший в Шлиссельбурге. Антонов был освобожден Февральской революцией и у себя на родине, в Борисоглебске, был начальником милиции, как Фрунзе, который тоже в эти месяцы был начальником милиции в Минске[6].

Политические комиссары Антонова выпускали газеты, листовки, где подробно объяснялось, за что выступает Антонов. Личная судьба, личная трагедия Антонова перекликается еще с одной человеческой судьбой.

Летом тридцатого, после четырех месяцев изолятора и следствия по делу Березников, я работал в УРО Вишерских лагерей старшим инспектором по контролю использования рабсилы. Начальником контрольного отдела был Майсурадзе, который позднее был начальником УРО на Колыме и расстрелян вместе с Берзиным в 1937 или 1938 году. УРО никак не могло найти старшего делопроизводителя. Это должность, через которую проходит освобождение заключенных. Много менялось людей — и вольнонаемных, и заключенных: то взятки, то халатность мешали наладить эту работу.

В лагере не могли подобрать человека на эту работу, известили ГУЛАГ, и по спецнаряду из Москвы приехал один заключенный, бывший старший делопроизводитель Соловков. Звали его Михаил Степанович Степанов.

Конвоир сдал его дело (Майсурадзе был в отъезде), я вскрыл пакет, бегло просмотрел анкету. В царское время: семь лет в Шлиссельбурге за участие в организации максималистов, последнее место работы в Москве — управделами НК РКИ.

Степанов ходил с палочкой — цинготная контрактура свела ногу после Соловков, да синих пятен на теле было немало — мы жили в одном бараке.

Дело у Степанова пошло хорошо. Он был знаком со всеми тонкостями «группы освобождения» — научен еще на Соловках. Каждый день в определенный час он делал краткий доклад об освобождении за сутки лично начальнику УРО. Сдавал памятку-поверку. Начальника УРО Васькова тогда замещал Майсурадзе. Майсурадзе уехал в длительную командировку чуть ли не в Пермь, и кабинет его занял я, по должности старший инспектор. Каждый день в девять часов Степанов являлся ко мне, сдавал памятку и — не уходил, а оставался поговорить. Я его спросил в один из первых дней:

— Михаил Степанович, а за что ты сидишь?

— Я? Да ведь я Антонова-то отпустил.

И он мне рассказал удивительную историю, повторенную мной в рассказе «Эхо в горах» из сборника «Артист лопаты».

Семнадцатилетним гимназистом Степанов был арестован в числе эсеров-максималистов, оказавших во-

оруженное сопротивление. Все были повешены, и только несовершеннолетний Степанов остался жить и получил вечную каторгу, был посажен в Шлиссельбург. В Шлиссельбурге свой кандальный срок он отбывал вместе с Антоновым, будущим вождем тамбовского мятежа. «Мы ни разу не поссорились за два года», — рассказывал мне Степанов.

Когда кандальный срок кончился, Степанов перешел на общее положение. Он встретился в Шлиссельбурге с Серго Орджоникидзе и под влиянием бесед с ним стал держаться не эсеровских, а большевистских взглядов. После освобождения, в феврале 1917 года, Орджоникидзе не забыл Степанова. Весной 1917 года Степанов вступил в большевистскую партию, участвовал в Октябре, в гражданскую войну командовал сводным отрядом бронепоездов, действовал на антоновском фронте.

Тогда был дан приказ по всем частям: при захвате и опознании Антонов подлежит немедленному расстрелу.

— И вот, — рассказывал Степанов, — мне сообщают, что четвертая группа взяла Антонова. На этом участке фронта я был старшим. В своем вагоне. Говорю: «Введите Антонова». Антонов вошел, и я сказал конвоиру: «Выйди за дверь». Конвоир вышел, я подошел к Антонову и сказал: «Сашка, это ты?» Мы в Шлиссельбурге были скованы вместе. Как я этого не знал? Я не читал ни одной листовки, которую выпустили антоновские политические комиссары. Листовка была примерно такого смысла: «Я — старый каторжанин из Шлиссельбурга, приговоренный к вечной каторге и освобожденный только революцией. А что ваши вожди, что Ленин с Троцким, которые были только в ссылке? Разве можно их судьбу сравнить с моей?» Этой листовки я не читал. Что делать? Конечно, я сказал, что Антонова расстрелять не могу, хоть и есть такой приказ правительственный. Больше того, я освобожу Антонова, если тот даст честное слово не бороться больше с советской властью, исчезнет в небытии. Антонов честное слово дал. В ту же ночь Антонов бежал из-под стражи. Был суд. Трибунал. Председателем трибунала был мой брат, также командир Красной Армии. Начальник охраны получил десять лет условно за неправильную расстановку постов. И всё. Мятеж вспыхнул с новой силой. Через несколько месяцев четвертая группа взяла Антонова: он лежал в тифозном бреду и был застрелен родным братом, караулившим у постели. Кончилась гражданская война, с

1924 года я опять работал у Орджоникидзе управделами НК РКИ. Работал года два. Потом чувствую — следят за мной. Кто-то проверяет меня. Но ведь Антонов — мертв, брат мой — тоже, сам на себя я не доносил. Наступает день — арестовывают меня. И первый вопрос после всяких анкетных экзерсисов: «Где вы были в 1921 году? Расскажите-ка нам обстоятельства побега Антонова из-под стражи».

Клубок размотался так. Антонов бежал не один, а вместе с захваченным с ним же антоновским командиром. Этот командир добрался до Китая, принимал участие в рейдах атамана Семенова, был захвачен, отвезен в Москву и там «пошел в сознание». Излагая подробно свою жизнь, командир дошел до своего ареста чекистской группой в 1921 году вместе с Антоновым. Командир этот показывал так: «Мне Антонов ничего не говорил, но по всем обстоятельствам побега я думаю, что тут имело место предательство со стороны командования Красной Армии».

— А кто был тогда командиром?

— Степанов Михаил Степанович.

— А где теперь Степанов?

— Управделами НК РКИ.

— А кого судили за побег Антонова?

— Судили начальника караула. Дали десять лет условно.

— А где этот начальник караула?

— Давно демобилизовался — на земле где-то в Полтавщине.

Арестовывают бывшего начальника караула и везут его в Москву:

— А где ты был в 1921 году? А что ты можешь рассказать о побеге Антонова из-под твоего караула?..

— Человек этот, начальник караула, был мне обязан жизнью, — говорил Степанов, — и, конечно, если бы его взяли в чекистские лапы любой твердости тогда же, на фронте, он бы пошел на смерть, но не выдал меня. А сейчас у него — семья, жена, дети, земля. И вот его волокут в Москву: «Расскажи». Он все рассказал. Тогда арестовали меня и дали десять лет.

Степанов успел кончить срок по зачетам и остался на службе в Красновишерске начальником аэропорта.

В 1933 году в Москве на площади Пушкина, тогда еще Страстной, Степанов ударил легонько меня палкой по плечу — я проходил мимо со своей женой, и он за-

держал меня, рассказал о своей жизни и судьбе. Сказал, что не думает переезжать в Москву.

Вряд ли Степанов пережил 1937 год. Я много искал в библиотеках хоть малого напоминания о его пусть прошлой, дореволюционной, шлиссельбургской судьбе. И не нашел. Иногда мне кажется, что все это мне приснилось: и Антонов, и Степанов, и клюшка, которой хромоногий человек в серой шинели зацепил меня на Страстной площади.

ЛАГЕРНАЯ СВАДЬБА

К устью Улса быстро приближался челнок. Горная река была так крута, что челнок был виден на реке весь, как нарисованный. Челнок уже входил в тихие воды озера, образованного слиянием Улса и Кутима, того самого озера, на которое совсем недавно садился гидроплан Берзина, главного начальника. Пилотом Берзина был Володя Гинце, летчик, осужденный за вредительство, но с «детским» сроком в три года. Берзин был слишком опытен и умен, чтобы заглядывать в «дело» Гинце, когда брал летчика-вредителя своим личным пилотом.

Прилет Берзина и был самым ярким событием нынешнего года. Кроме, конечно, вахминовской свадьбы.

Челнок приближался.

— Начальник едет, — виновато сказал Шурка Вениаминов, секретарь общей части.

— И не один, — сказал я, начальник отдела труда. Мы стояли на берегу и ждали, пока долбленка причалит. Челнок ткнулся в песок, Шурка и я придержали лодку, пока приехавшие выгрузились. Начальник района Степанов и его заместитель Александров — оба вернулись вместе в один и тот же миг. Раньше начальники вместе никуда не ездили и вместе не возвращались.

— Ну, как ваша свадьба? — спросил Степанов.

— Это не наша свадьба, гражданин начальник, это Вахминова свадьба.

— Сколько водки выпито?

— Сколько выписано было, столько и выпито.

— Не два же литра?

— Два, гражданин начальник.

— А не десять? Не двадцать, как мне в Кутиме говорили?

— Два, гражданин начальник.

— Пиши, Вениаминов, приказ. Всем участникам свадьбы из заключенных по пятнадцать суток изолятора... — Степанов помолчал и поглядел куда-то мимо меня и добавил: — С выводом... Всех вольнонаемных — на губу и по выговору. С занесением в личное дело.

— А вы дураки! — сказал Александров, бывший начальник артиллерии Черноморского побережья, царский офицер, отбывший срок и оставшийся на службе в лагере. — Дураки! Взрослые люди! Надо было пригласить на свадьбу этого Сапрыкина, уполномоченного и начальника отряда. Ведь не дети вы. Надо было подождать возвращения — моего или Андрея Максимовича. Спешите всё. Торопитесь.

— Я с Азаровым за один стол не сяду, — сказал Вениаминов хмуро.

— Да и Сапрыкин. Зачем нам Сапрыкин на свадьбе? Ваш заместитель, техрук района Краснов, был.

— Краснов бывает всюду, где можно выпить на дармовщинку, — сказал Степанов. — Знали ведь это?

— Знали.

— Ну, зови жениха.

Курьер побежал за Вахминовым, начальником КВЧ[7].

Гримасы перековки были не только мрачные, угрюмые. Были гримасы и веселые.

Среди огромного количества приказов, которые присылала в начале тридцатых годов во время перековки Москва, было очень много попыток нащупать какой-то новый путь давления на арестанта.

Меры поощрения, выполненный план стимулировались не только пайкой, не только «шкалой питания».

Лучшими «изотовцами» в лагере были свои «изотовцы», как после были «стахановцы» и «стахановская» пайка на Колыме.

В 1931 году перековка началась. В 1929 году заключенным, систематически перевыполнявшим норму, разрешалось жениться. Документы «личного дела» служили юридической основой для регистрации.

Приезжающим женам не надо было везти московского разрешения на свидание. Московское полагалось брать вредителям, вообще пятьдесят восьмой статье... Часы этого свидания, сутки или часы, оговоренные приказом, дробились по желанию мужа и жены чуть ли не на минуты.

На Вижаихе, где находилось управление Вишерского лагеря, был выстроен специальный дом-гостиница —

Дом свиданий. Так этот дом и был назван во всех документах того времени: Дом свиданий!

Шел уже четырнадцатый год с начала революции. Название никому не казалось странным. Память у людей коротка.

Ударница могла назвать своим мужем любого заключенного. И получить свидание в Доме свиданий. Начальство следило только, чтобы в книге Дома свиданий не числилась пятьдесят восьмая статья.

Дом свиданий и его практика вызвали новый вопрос ГУЛАГу: можно ли заключенным жениться на заключенных — в качестве поощрения за отличную работу? Разъяснение ГУЛАГа было получено и разослано по всем отделениям. Можно, если по анкете «личного дела» заключенный не состоял в браке. Северный район Вишерского лагеря получил это разъяснение.

Не откладывая в долгий ящик, Вахминов, начальник КВЧ, подал заявление о желании вступить в брак со своей делопроизводительницей, Раисой Колесниченко.

Вахминов был ленинградский чекист, пьянчужка, потерявший наган во время пьянки в «Астории».

— Очнулся, понимаешь, в канаве. Кабур через плечо повешен. Пустой кабур.

Вахминова судили, дали три года. Он обжаловал приговор в Москву, Москва пересмотрела дело. Срок был увеличен: пять лет. Вахминов решил прекратить переписку с высокими организациями и с головой ушел в воспитательную лагерную работу.

Среди сотен всевозможных КВЧ, которых я встречал в своей жизни, Вахминов еще был один из лучших. Пить он вовсе не пил. Только вот на свадьбе.

Рая Колесниченко была дочь какого-то крупного сектанта. Рае хотелось только одного: забыть отца, вообще забыться, забиться в угол куда-нибудь, не отличаться от подруг, соседей, знакомых, встречных ни одеждой, ни интересами, ни походкой, ни поведением.

С Вахминовым Рая жила уже давно и сейчас обрадовалась официальному предлогу, поводу.

В районе как раз гостил разъездной коллектив «Синей блузы» — подружки Рае нашлись.

По левую руку невесты сидела узкоглазая, узкогубая Шура Фанарина, стукачка из блатных. Рядом с ней — Сорокин, руководитель синеблузного коллектива. «Синяя блуза» в столицах уже умирала, и сам создатель жанра, Южанин, после неудачного побега за границу, жил в ла-

герях. Все начинается в Москве, но не в Москве кончается. Уральская лагерная «Синяя блуза» была последним кругом по воде от камня, брошенного когда-то в стоячую воду эстрадного искусства с великой силой. Тексты к ораториям «Синей блузы» писал и я — и как полезный автор был дружен с синеблузниками. С участка на участок передвигалась «Синяя блуза» верхом. Вьючные лошади и лошади верховые. Болота, речки, дожди.

На центральном участке, где мы жили, был клуб. При клубе — художник, осужденный на десять лет по делу розенкрейцеров в Москве, по странному делу масонов.

Этим летом к художнику приехала жена, но он был не в ладах с начальством — портрет, что ли, отказался писать, и жене дали свидание ровно столько часов, сколько разрешила Москва. Жена добиралась за сотни верст от железной дороги, вверх по реке, вверх, вверх...

Вместе с женой художника приехала жена инженера Шитова. Инженер Шитов был в заграничной командировке в Германии, учился там, женился, вернулся в Москву. Шли переговоры о юридическом оформлении приезда жены, о разрешении ей приехать. Разрешение было выдано, но Шитов был арестован. Женщина не вернулась назад, а, не зная ни слова по-русски, отправилась на Северный Урал, на каторгу — искать мужа. И нашла. Свидание их, тоже разрешенное Москвой, было свободное — вольная квартира, прогулка. Инженер и молодая немка ходили по берегу, обнявшись, ходили, ходили. Потом она уехала. Не зная языка, без провожатых.

Вениаминов и я хотели пригласить инженера и его жену на свадьбу, но бывший чекист Вахминов отклонил наше предложение.

По правую руку жениха сидел заместитель начальника района, техрук из местных, Краснов. Краснов знал, что свадьба разрешена, что водки выписано — два литра, но вместо двух заведующий складом продал десять — сведения стукачей были самые точные. Впрочем, что это за стукачи? Это начальник отряда Азаров и местный уполномоченный райотдела, вполне официальный муж.

Азаров и Сапрыкин радировали в управление: «Отсутствие начальника района идет пьянка» и так далее.

Радист Костя Покровский не был приглашен на свадьбу — потому что он не то слишком комсомолец, не то слишком трусоват.

Пришел и ответ — начальнику выговор, всем участникам пьянки — взыскание.

Но за столом мы еще ничего не знали и поднимали бокалы и кричали «горько».

Слева от Сорокина сидела Зоя Ивановна, синеблузница, спокойная и добрая сорокалетняя баба. Рядом с ней — Юрик Загорский, блатарь в годах, который мог отбивать чечетку и петь.

Рядом с Юриком сидела Сима Врублевская — незаметная, некрасивая девушка с очень красивыми глазами. На эту самую Симу я стал обращать внимание только после того, как Катя Аристахова, подружка моя тогдашняя, сказала мне как-то: «Удивляюсь вам, дуракам мужчинам. Никто из вас и не посмотрит на Симу, а я была с ней в бане — лучше бабы здесь нет».

Рядом с Красновым, такой же работник из местных, сидел комендант лагеря Михайлов. Потом Шурка Вениаминов и я. Мы были соседями Вахминова по комнате, сослуживцами, такими же арестантами.

Выпили, покричали «горько» и разошлись. Ответ пришел утром — всем взыскание за пьянку, начальнику — выговор. А приказ о свадьбах, о замужествах и женитьбах, как рычагах выполнения и перевыполнения плана, был отменен Москвой как ошибочный.

Мы сидели в изоляторе. Суток восемь. Ходили туда ночевать. Ведь «с выводом».

Только кончился мой изолятор, Костя Покровский, не приглашенный на свадьбу радист, принес радиограмму из управления. Высылается освобождение. В списке была и моя фамилия. Я собрал вещи и «сплыл» на челноке двести верст.

М. А. БЛЮМЕНФЕЛЬД

Этап был московский. Я просмотрел список и велел вызвать несколько человек в контору, и в их числе Блюменфельда.

Блюменфельд — белокурый, заросший бородой, утомленный тюрьмой человек. Что главное для арестанта? Поесть сытно, вымыться как следует в бане, чистое белье без вшей. Закурить. А самое главное — полежать, не работать. Устроиться на легкую работу, не физическую.

Все это было проще простого. Все эти распоряжения я быстро сделал нарядчику.

Блюменфельд шел из тюрьмы с тюремным сроком, замененным на лагерь. В ответ на мое обещание оста-

вить его в отделении и устроить впоследствии на легкую работу Блюменфельд сказал, что, напротив, он просит отправить в управление — там Блюменфельда ждет наряд ГУЛАГа на использование его по специальности. Действительно, скоро такую телефонограмму получили, и Блюменфельд уехал со спецконвоем.

Те несколько дней, что он провел на Чуртане, мы проговорили. Я рассказал ему о себе, о том, что его ждет на Вишере.

— У меня есть к вам просьба.

— Какая? Буду рад.

— Я обовшивел крайне.

— Ну, это не порок. Всё в дезкамеру.

— Дезкамера моих вшей не берет.

Действительно, дезкамера работала плохо. Мне это было известно.

— Тогда снимите белье, я отдам кипятить и — порядок.

— И вот брюки мои новые, шерстяные, светло-коричневого цвета, пара к пиджаку, но в пиджаке вшей нет. Единственная вещь из дома — эти брюки и пиджак. Остальное все блатари раскрали по транзиткам. Заграничная работа. Дядька мой шахматист, привез из Германии.

Я вызвал прачку-мужчину — все прачки были мужчины — и со строгой инструкцией насчет кипячения вручил прачке блюменфельдовский костюм и белье.

— К завтрашнему дню успеет?

— Надо успеть.

На следующий день побрившийся, постриженный в парикмахерской не под арестантский «ноль», а ножницами, с белокурой бородой «буланже», похорошевший, чистый Блюменфельд сидел у меня в конторе.

Прачка явился в великом смущении.

— Да что ты мнешься? Украли брюки, что ли?

— Да нет, не украли. Хуже, чем украли. Украли — блатари разыщут, возвратят из-за «боюсь», а вот так — не знаю, что и делать.

Но я уже развертывал связку белья. На глазах Блюменфельда новые брюки светло-коричневого оттенка превратились в светло-голубые. Такая мода на мужскую одежду пришла только через сорок лет. Ярко-голубой, кальсонный оттенок подавлял все остальные цвета, вызывал всеобщий интерес. Я хохотал. Очевидно, заграничная коричневая краска не выдержала кипяче-

ния, а может быть, прачка запустил жавелевой соды для отбелки. Потеря была непоправимой. Блюменфельд был очень огорчен, даже сник от такой неожиданности. Но собрался с духом и поблагодарил.

Блюменфельд работал начальником планово-экономического отдела Вишерских лагерей и 1930, и 1931 год. Когда меня в конце 1930 года арестовали по делу начальника отделения Стукова и, продержав четыре месяца в изоляторе, выпустили без последствий, я стал работать старшим инспектором УРО Управления Вишерских лагерей и встречался с Блюменфельдом не один раз.

Вот тогда-то Марк Абрамович и рассказал мне о себе: шахматный мастер и философ шахмат Блюменфельд — его дядя. Тюремная память удерживает часто уродства, трагические характеры, а запоминаются они как предмет смеха, вызывают смех. И рассказываются для того, чтобы вызвать смех. Я обратил давно внимание, что следственные работники всегда стараются исказить истину, утяжелить вовсе невыполняемый закон о сомнении в пользу подсудимого. В меморандуме Блюменфельда тоже возник этот литературный экзерсис: Блюменфельд Марк Абрамович по кличке Макс.

— Макс — так зовут меня с детства в семье.

По моему делу Блюменфельд от имени руководства тогдашнего подполья дал торжественное заверение, что, если бы «мы знали, что хоть один оппозиционер получил лагерь, а не ссылку и не политизолятор, мы бы добились вашего освобождения. Тогда каторги нашему брату не давали. Вы — первый».

— Какие же вы вожди, — сказал я, — что вы не знаете, где ваши люди.

Блюменфельд связывался, наверное, по своим каналам с москвичами — это не было трудно, чтобы установить, кто я такой.

Поздней осенью 1930 года мы подали заявление в адрес правительства — нет, не просьбу о прощении, а протест по поводу положения женщин в лагерях. Положение женщин в лагерях ужасно. Ни в какое сравнение не идет с положением мужчин. Только на Колыме карающая рука более тяжело ударила по мужчинам.

Мне никогда не забыть тело Зои Петровны, ростовского зубного врача, осужденной по пятьдесят восьмой статье за контрреволюцию по делу «православного Тихого Дона», которую в нашем этапе в апреле 1929 года напоил спиртом, раздел и изнасиловал начальник кон-

воя Щербаков. Все это делалось открыто, на глазах всего этапа и десятерых одноделъцев Зои Петровны: штабс-капитана Баталова, грузинских князей Бердченишвили, студента Белых, болгарина Васильева. Все эти одноделъцы старались просто не глядеть в открытую дверь на смятую кровать, где разложили Зою Петровну. Щербаков получил любовь не один, рядовым конвоирам тоже досталось.

Для меня, воспитанного на массовых самоубийствах политзаключенных в качестве протеста против телесных наказаний, вроде самоубийства Егора Созонова на Каре, воспитанного на примерах протеста против изнасилования Марии Спиридоновой, — сцена была дикой, неправдоподобной. Но все ее одноделъцы лечили у Зои Петровны зубы в лагерной амбулатории. Лечил и я.

Помимо наказания, определенного приговором суда, тройки или особого совещания, женщине в лагере приходилось нести унижения особого рода. Не только каждый начальник, каждый конвоир, но каждый десятник и каждый блатарь считал возможным удовлетворить свою страсть с любой из встречных заключенных.

На Колыме в тридцатые и сороковые годы были какие-то иллюзорные связи, называемые «дружбой», какая-то потребность назвать эти отношения дружбой. Сцены ревности, полярные страсти разыгрывались и на Колыме.

На Вишере в 1929 году все было проще, грубее. Даже вопрос о каком-то нравственном обязательстве не возникал ни с той, ни с другой стороны.

Утром лагерная вахта была заполнена отрядом поломоек — классическая формула лагерной любви. Поломойки с тряпками и ведрами — это считалось привилегированной работой (иначе — на строительство, на гарцовку песка, на погрузку, в трудовую бригаду). Поломоек рассылали по квартирам привилегированных заключенных, мыть они в этих квартирах ничего не мыли, но не в мытье была там сила.

Я помню лагерного цензора, седовласого Костю Журавлева — бывшего работника органов. У него был домик, где он жил один, заказывая каждый день новых поломоек. Костя Журавлев одевался щегольски, был надушен хорошим одеколоном, чем-то французским, вроде «Шанели». В заграничном отутюженном костюме, в дорогой рубашке, Костя ходил по лагерю, брезгливо щу-

рясь сквозь пенсне, и явно на «взводе». Пил он одеколон, наверное, но не только одеколон. Каждый вечер Костя Журавлев напивался до упития — дневальный укладывал его спать, а будить впускали новую, заказанную цензору с вечера поломойку.

Я подивился, откуда у Кости столько денег на пьянство. Сережа Рындаков, молодой полублатарь, с которым, как с земляком, у меня были хорошие отношения, посмеялся моей наивности.

— А марочки в письмах? Когда пишут в лагерь, всегда родные прикладывают марку на обратный ответ. Часто даже деньги вкладывают — рубль, например. Все это — законная добыча цензора.

Примеров унижения женщин было бесчисленное количество. И я, и Блюменфельд по своей работе — я в УРО, а он в планово-экономическом отделе — имели доступ к кое-какой статистике по этому поводу. Например, о числе венерических заболеваний в лагерях.

Вот мы и составили докладную записку — заявление по поводу положения женщин в лагерях. Блюменфельд перепечатал записку у себя — он хорошо печатал на машинке — в двух экземплярах, и мы подписали заявление оба и вручили каждый своему начальству для отправки его по назначению. Докладные были адресованы в ГУЛАГ, а также в ЦК ВКП(б). Я и Блюменфельд вручили документ в один и тот же час — в девять часов утра какого-то числа апреля 1931 года. Я вручил лично начальнику УРО Васькову, Блюменфельд — заместителю Филиппова, начальника Вишерских лагерей, Теплову.

В обед мы повидались, выяснили, что обе бумаги вручены.

Это был последний день моей работы в УРО.

Тем же вечером была созвана в кабинете Берзина летучка высшей администрации следственных, учетных и кадровых частей и найден был ответ на наши действия. Было единогласно решено: развести нас по отделениям. А так как Блюменфельд представлял для лагеря как начальник планово-экономического отдела ценность большую, чем я, старший инспектор УРО, то уезжать приходилось мне.

Я явился на работу и был тут же отстранен от должности.

— Уедешь.

— В чем же дело?

— Не надо докладов писать, — с сердцем сказал Майсурадзе. — Я ходил к Берзину. И слушать не хочет об отмене приказа.

— Конечно, зачем ему рисковать из-за троцкиста, из-за такого модного учения, — высоким голосом сказал Васьков.

Васьков был огорчен чрезвычайно, взволнован, а когда Васьков волновался, матерные слова прыгали с языка непрерывным потоком:

— Не везет, блядь, инспектуре, блядь, один, блядь, украл, блядь, другой, блядь, троцкист, блядь.

Украл — это Вася Шольд, которого блатари заставили выкрасть пропуска и которого я сменил несколько месяцев назад.

— А куда меня?

— На Север.

Север был штрафняк вишерский.

— Ну что ж, — сказал я, — мне сроку немного осталось, добью и на Севере.

— Да ведь тебя не баланы катать посылают, — сказал Майсурадзе. — Примешь отделение по нашей линии от Дивалина. А Дивалина сюда. На твое место я его не возьму, у меня насчет тебя совсем другие планы были. Возглавил бы инспектуру летучую по всем нашим отделениям. Эх, Шаламов, Шаламов. И надо же. Может быть, еще к Берзину сходить? — спросил Майсурадзе у Васькова.

— Это бесполезно. Я знаю ситуацию.

— Ну, значит, получай выписку из приказа. Когда можешь ехать?

— Да хоть сейчас.

— Ну, не сейчас, а завтра с утра. Лошади будут.

С Майсурадзе, моим новым начальником по УРО, чьим заместителем я был, я близко сошелся после одной ночи, проведенной на пожаре, — ни он, ни я не жалели себя в огне, спасая чье-то имущество. Ночью, при свете пожара, я узнал знакомое лицо.

Все человечество можно разделить, по Ремарку, кажется, на две части: первая, которая в случае тревоги бежит к месту происшествия, и вторая — от этого места. И я, и Майсурадзе принадлежали к первой группе. Мне нравилось в нем, что он, спокойный, энергичный человек, глубоко переживал обиду, арест, лагерь. У него было восемь лет «за разжигание национальной розни», преследование армян. Подробностями я никогда не интересовался. Майсурадзе задумал сделать лагерную

карьеру и сделал ее — был освобожден, снята судимость, и он был начальником УРО на Колыме у Берзина. Там и был расстрелян. Не давал наступать на горло, или, как говорят блатари, «глотничать» не давал никому — ни вольным, ни начальникам. Вольных начальников презирал до глубины души.

— Да, лагерь — это ад, — любил говорить Майсурадзе. — А воля — рай. Мы были на воле последними. А здесь мы будем первыми.

У него была жена, семья, дети в Грузии, приехавшие потом к отцу.

Майсурадзе был не такой человек, чтобы бросать слова на ветер. Когда мы прощались, Майсурадзе сказал:

— Даю слово, что через полгода ты будешь на Вижаихе.

И через пять месяцев радист северный, Костя Покровский, принес радиограмму: «Срочно шлите освобождение Шаламова Варлама Тихоновича».

Майсурадзе был секретарем Центральной аттестационной комиссии и уж, конечно, не забыл мою фамилию, когда попался подходящий список на освобождение. Дело в том, что управление получило приказ заместителя наркома ОГПУ: всех заключенных, занимающих административные должности в лагере от такой-то и выше и не имеющих взысканий, — немедленно освободить с восстановлением во всех правах и с правом проживания по всему СССР, предложив освобожденным занять те же должности в качестве вольнонаемных. Всего в Вишерских лагерях во всех отделениях под этот приказ попало четырнадцать человек. Тринадцать осталось, а я не остался.

Сказал, что не хочу работать по вольному найму в лагере, и уехал в Березники, где у меня были знакомства по прошлому году. Майсурадзе был крайне недоволен и резонно говорил:

— Я тебя освободил, а ты так неблагодарно поступаешь.

Я сказал, что все это понимаю, но работать в лагере не хочу. Хочу попробовать поработать на воле. И уехал в Березники. В 1930 году троцкисты были уже не новость в лагере. А в 1931-м — тем паче. В управлении работал экономист Ходе-Долецкий с Урала. Были и другие, о чем говорил мне мельком Блюменфельд.

Еще на Березниках, еще до арестов и следствия, заместитель начальника управления Теплов вызывал

меня и спрашивал, как мне живется. Начальники обычно думают, что каждый местный работник по приезде такого начальства должен сунуть ему пакет с доносом. Но пакет у меня не был приготовлен.

— Жалобы на начальника есть?

— Нет, гражданин начальник.

Теплов помолчал. Я тоже молчал. Потом спросил:

— Можно идти, гражданин начальник?

— Идите.

Этот Теплов приезжал тогда вместе с Берзиным. Берзину лагерь понравился. Однако после отъезда начальника Стуков вызвал меня:

— Получил выговор за тебя.

— За меня, гражданин начальник?

— Ну да, за тебя. Не умеешь стоять по швам, руками размахиваешь. Я просто привык, не замечаю, а припомнил — верно, размахиваешь.

Но я нашел заговорное слово. Я ему сказал:

— Шаламов — троцкист, что с него взять.

Мы посмеялись.

Говорил Иван Гаврилович Филиппов, начальник Управления Вишерских лагерей:

— Значит, хочешь уехать. Прощай, желаю удачи. Берзин хотел тебя взять на Колыму.

— Я, товарищ начальник, на Колыму — только с конвоем.

— Не шути плохую шутку, — сказал Филиппов. Через шесть лет я был привезен с конвоем на Колыму и пробыл там семнадцать лет. Но не сделался суеверен. И Берзин, и Майсурадзе были расстреляны в конце 1937 года.

Лагерь уже раскинул сети. Следственные органы усилили наблюдение за троцкистами. Я не удивился, когда дверь каюты парохода «Красный Урал», на котором в октябре 1931 года я ехал в Березники вниз по Каме, с Вижаихи, раскрылась — и за порог переступил блондин с черными петлицами лагерной администрации.

— Ваша фамилия Шаламов, да? Я Элькин из Ленинграда.

— Нет, не имел чести.

— Вы один здесь?

— Один. Попутчица моя не едет, вывихнула ногу.

— Разрешите перебраться к вам, угостить вас портвейном. Правда, дрянной портвейн.

— Я не пью.

— Скажите мне, Шаламов, — зашептал Элькин, — вы — член ЦК комсомола?

— Я даже не комсомолец.

— Ну, — поморщился мой спутник, — вы же понимаете, о чем идет речь. *Тайного* ЦК?

— Ни тайного, ни явного. Мне сходить пора на этой остановке. Желаю счастья.

— Вы разве не до Перми?

— Нет, я до Дедюхина. Точнее, до Усолья.

Мы помахали руками друг другу.

* * *

Что мне дала Вишера? Это три года разочарований в друзьях, несбывшихся детских надежд. Необычайную уверенность в своей жизненной силе. Испытанный тяжелой пробой — начиная с этапа из Соликамска на Север в апреле 1929 года, — один, без друзей и единомышленников, я выдержал пробу — физическую и моральную. Я крепко стоял на ногах и не боялся жизни. Я понимал хорошо, что жизнь — это штука серьезная, но бояться ее не надо. Я был готов жить.

Главная моя задача — получение высшего образования — отодвигалась почему-то. Я вернулся к своей литературной ипостаси — поступил в журнал, в редакцию журнала, куда меня устроил Волков-Ланнит[8], знакомый мой по кружку Брика и Третьякова. Я понял тогда, что газетная работа, журнальная работа и работа писателя — разные вещи. Это не только разные уровни — это разные миры, и ничего нет вреднее для писателя, ничего нет противоположней, чем газетная, журнальная работа. Газетная школа не только не нужна писателю, — она вредна.

Лучше писателю служить продавцом в магазине, чем работать в газете.

Писатель — судья времени. Газетчик, журналист — только подручный политиков.

В ЛАГЕРЕ НЕТ ВИНОВАТЫХ

Почему я не советовался ни с кем во всем моем колымском поведении, во всех своих колымских поступках, действиях и решениях? Из человеколюбия. Чужая тайна очень тяжела, невыносима для лагерной души, для подлеца и труса, скрытого на дне каждого человека.

Я боялся, что сообщенное мной ляжет тайной слишком тяжелой, поссорит меня с моими исповедниками, ничего не изменив в моем решении. Я не привык, не выучен слушать других и следовать их советам. Совет может быть и хорош, но обязательно плох тем, что это — чужой совет.

В лагере нельзя разделить ни радость, ни горе. Радость — потому что слишком опасно. Горе — потому что бесполезно. Канонический, классический «ближний» не облегчит твою душу, а сорок раз продаст тебя начальству: за окурок или по своей должности стукача и сексота, а то и просто ни за что — по-русски.

Темной осенней ветреной ночью 1931 года я стоял на берегу Вишеры и размышлял на важную, больную для меня тему: мне уже двадцать четыре года, а я еще ничего не сделал для бессмертия. Лодочник мой, девяностолетний чалдон, взявшийся за трешник сплавить меня вниз по течению Вишеры, за сто километров до управления, поднял кормовое весло. Старик оттолкнул челнок, вывел лодку на глубокую воду, развернул ее по течению поближе к стрежню, и мы полетели вниз с быстротой, превышающей силу тяжести, ту, что столько лет пригибала меня к земле.

Темной осенней ночью старик причалил челнок к песчаному берегу Вишеры — у лесозавода, где два года назад я работал замерщиком. Вода и ее движение, необходимость участия в повседневной, сиюминутной жизни летящего вниз челнока не давали возможности думать. Только позднее я смог подвести итоги первого моего испытания в самостоятельном плавании — на московской земле.

Я проехал весь штрафняк, весь северный район Вишлага — притчу во языщех, — канонизированную, одобренную людской психологией, угрозу для всех, и вольных, и заключенных на Вишере, я побывал на каждом участке, где работал арестант-лесоруб. Я не нашел никаких следов кровавых расправ. А между тем Усть-Улс и паутина его притоков до впадения в Вишеру были краем тогдашней арестантской земли.

А между тем следы эти были, не могли не быть. Ведь начальник конвоя Щербаков сам раздевал меня догола и ставил на выстойку под винтовку вольного чалдона — на арестантском этапе в начале апреля 1929 года по каторжному шляху Соликамск — Вижаиха.

Ведь кто-то застрелил тех трех беглецов, чьи трупы — дело было зимой, — замороженные, стояли около

вахты целых три дня, чтобы лагерники убедились в тщетности побега. Ведь кто-то дал распоряжение выставить эти замерзшие трупы для поучения? Ведь арестантов ставили — на том же самом Севере, который я объехал весь, — ставили «на комарей», на пенек голыми за отказ от работы, за невыполнение нормы выработки.

Ведь только в начале тридцатых годов был решен этот главный вопрос. Чем бить — палкой или пайкой, шкалой питания в зависимости от выработки. И сразу выяснилось, что шкала питания плюс зачеты рабочих дней и досрочные освобождения — стимул достаточный, чтобы не только хорошо работать, но и изобретать прямоточные котлы, как Рамзин. Выяснилось, что с помощью шкалы питания, обещанного сокращения срока можно заставить и «вредителей», и бытовиков не только хорошо, энергично, безвозмездно работать даже без конвоя, но и доносить, продавать всех своих соседей ради окурка, одобрительного взгляда концлагерного начальства.

Главное ощущение после двух с половиной лет лагеря, каторжных работ — это то, что я покрепче других в нравственном смысле.

Колыма, где физические и нравственные мучения были уродливейшим и теснейшим образом переплетены, — была еще впереди.

Сектант Петр Заяц, за которого я заступился, к удивлению, неудовольствию и неодобрению всего нашего этапа, всех моих товарищей, которые наполовину состояли из пятьдесят восьмой статьи — «заговор Тихого Дона», а наполовину — из блатарей-рецидивистов, в десятый раз принимавших срок и шедших знакомой каторжной дорогой, — сектант Заяц сам осуждал мое вмешательство, желая пострадать сам за себя. В лагере это главное правило — сам за себя. Стой и молчи, когда избивают и убивают соседей, — вот первый закон, первый урок, который дал мне лагерь. Но заступался я за Зайца не для Зайца, не для утверждения правды — справедливости. Просто хотел доказать самому себе, что я ничем не хуже любых моих любимых героев из прошлого русской истории. Вот что вывело меня из строя, поставило пред мутные очи начальника конвоя Щербакова. Я меньше думал о Зайце, чем о самом себе.

Одна из идей, понятых и усвоенных мной в те первые концлагерные годы, кратко выражалась так:

«Раньше сделай, а потом спроси, можно ли это сделать. Так ты разрушаешь рабство, привычку во всех

случаях жизни искать чужого решения, кого-то о чем-то спрашивать, ждать, пока тебя не позовут».

В 1964 году я встретился с Анной Ахматовой. Она только что вернулась из Италии после сорокалетнего перерыва таких вояжей. Взволнованная впечатлениями, премией Таормины, новым шерстяным платьем, Анна Андреевна готовилась к Лондону. Я как раз встретился с ней в перерыве между двумя вояжами ее заграничной славы.

— Я хотела бы в Париж. Ах, как я хотела бы в Париж, — твердила Анна Андреевна.

— Так кто вам... Из Лондона и слетаете на два дня.

— Как кто мешает? Да разве это можно? Я в Италии не отходила от посольства, как бы чего не вышло.

И видно было, что Ахматова твердит эту чепуху не потому, что думает: «в следующий раз не пустят» — следующего раза в семьдесят лет не ждут, — а просто отвыкла думать иначе. Женщина, присутствовавшая при этом разговоре, неоднократно пользовалась таким способом во время своих заграничных поездок. Но она не была Ахматовой. Вернее, Ахматова ею не была.

Что же мной понято?

Самое важное, самое главное.

В лагере нет виноватых.

И это не острота, не каламбур. Это юридическая природа лагерной жизни.

Суть в том, что тебя судят вчерашние (или будущие) заключенные, уже отбывшие срок. И ты сам, окончив срок по любой статье, самим моментом освобождения приобретаешь юридически и практически право судить других по любой статье Уголовного кодекса. Сегодня, 30 сентября энного года, ты — преступник, бывший и сущий, которого еще вчера пинали в зубы, били, сажали в изолятор, а 1 октября ты, даже не переодеваясь в другое платье, сам сажаешь в изолятор, допрашиваешь и судишь. Мародер, который грабит во время войны по приказу, вдруг узнает, что вчера отменили приказ, и его судят за мародерство, дают срок 25 и 5, а то и расстреливают — премьера в юридической практике идет тяжело.

Что же изменилось в душе мародера?

Высшим выражением крыленковской «резинки», перековки была самоохрана, когда заключенным давали в руки винтовки — приказывать, стеречь, бить своих вчерашних соседей по этапу и бараку. Самообслуга, самоохрана, следовательский аппарат из заключенных —

может быть, это экономически выгодно, но начисто стирает понятие вины.

О вине в лагере и не спрашивают ни начальство, ни соседи, ни сам арестант. В лагере спрашивают «процент» — а есть «процент», значит, нет вины.

Разве любой вредитель в чем-нибудь виноват? Лагерь и не ставит перед ним этого вопроса. «Да, — говорит начальник, — ты осужден на такой-то срок и должен себя вести так-то и так-то. А завтра кончишь срок и будешь командовать здесь же нами всеми от имени того же государства, именем и силой которого я держу тебя в тюрьме. Завтра! Только завтра! А сегодня я еще буду тебя лупить, пропускать сквозь конвейер».

Заранее данная, принципиальная невиновность заключенных и была основанием тогдашнего лагерного режима.

В лагере сидят жертвы закона, люди, на которых устремлен огонь орудий суда в данный день, час и миг. Кто попал под этот огонь, тот и сидит. Завтра орудия переводят на другую цель, а осужденные вчера остаются в лагере досиживать, хотя их преступление уже не считается опасным и не влечет за собой наказания.

Если такая жертва закона получила свободу, она сама стреляет, помогает наводить орудия суда на других.

Дело не в том, что преследуются какие-то политические группы населения — кулаки, вредители, троцкисты. Сам по себе набор статей бытовых — растраты, изнасилования, кражи, хищения имущества — тоже различен. Внимание суда привлекает то одна группа подсудимых, то другая. И необъяснимым образом внимание государства к прежним жертвам ослабевает. Носители их переждали в кустах расстрел и преследования, и вот уже они сами судят, сами отправляют в лагеря по той же самой статье, по которой их ловили еще вчера. А может быть, ловят и сегодня. Желая быть полноправным гражданином, организатор хищений, спекулянт, растратчик участвует в суде, а при «досрочном» — даже размахивает руками и голосует.

Тот, кто следит за орудиями истребления, поправляет их прицел, — сам сегодня под этот огонь не попал, поэтому сам стреляет. А если не он, то его брат, отец, родственник. Всякий осужденный за бытовое преступление знает еще из тюрьмы, из следствия, что его преступление вовсе не считается преступлением в лагере. Растратчиков, расхитителей судят сами непойманные расхитители и растратчики.

Перековка дала и юридическое основание такого рода действиям. Какая же может быть вина в лагере, если в лагере самоохрана, а в более широком смысле — никого, кроме самоохраны, в лагере и нет, ибо отбывшие срок берут винтовки — охранять, берут палку — командовать.

Круг не может быть разомкнут.

Виноватых нет потому, что при досрочном освобождении, искуплении вины честным трудом человек, поднимающий девять пудов одной рукой, искупает вину вдесятеро скорее, чем хлюпик-очкарик, не обладающий должной физической силой. Человек, поднимающий девять пудов одной рукой, вырастает в лагере как символ именно моральной силы. Он в почете у начальства, он освобождается сам и освобождает других на собраниях, приобретает право судить, (добавить срока), еще и сам не освобожденный из лагеря.

Тут нет места такому понятию, как вина. Даже если ее считать за условную формулу столкновения человека и общества. За исключением воров-рецидивистов, стоящих вне общества и заслуживающих уничтожения, никто в лагере и не трактует «вину» как преступление — ни в теории, ни в практике.

Но и блатарей государство считало возможным использовать на той же перековке и исправлении.

До перековки считалось, что в лагере есть две группы людей: жертвы правосудия и преступники, уголовные рецидивисты. Надлежало с помощью социально близких из жертв правосудия: следователей, осужденных за превышение власти, убийц — за превышение норм раздражения, растратчиков миллионных сумм, прокученных в ресторанах, — всех этих «контингентов» на изящном лагерном языке — бороться с уголовным рецидивом до самой смерти уголовников — ранней обычно из-за побегов, побоев, выстоек «на комарях» и прочего.

Блатарю ведь работать позорно. Он должен отказываться вплоть до симуляции самоубийства (резать живот «пиской», заливаясь кровью, идти в изолятор), бежать. Когда-нибудь я дам анализ рецептов русской политической каторги, поведение которой было сходно с поведением уголовщины, и многое заимствовано оттуда — побеги, голодовки, но сейчас речь о другом. Блатарь — отказчик от работы, извечный враг любого государства, вдруг превращается в друга государства, в объект перековки. В перековку вообразили, что блата-

рей можно обмануть, научить их труду. За высокий процент выработки блатарей освобождали, примеры Беломорканала, Москанала, Колымы известны, мне кажется, всем и каждому в мире, не только в нашей стране. Теоретически была установка вернуть блатарей в число строителей социализма. Использовать и эту группу населения. Врагов государства заставить служить государству. За это советское общество заплатило большой кровью. Говорили, что нужно только «доверие», и блатарь перестанет быть блатарем и станет человеком, полноценным строителем социализма, меняя природу, трудом изменяя свою собственную психологию. Все теоретические узлы развязывались легко.

Но дело вот в чем. Блатарь освобождался, выработав сто пятьдесят или двести процентов плана. Выяснилось, что друзья народа, какими оказались рецидивисты, официально выполняют норму на триста процентов и подлежат немедленному досрочному освобождению. Немало лет потребовалось, пока низовым работникам лагерей удалось убедить высшее начальство, что эти триста процентов — чужая кровь, что блатарь не ударил палец о палец, а только бил палкой своих соседей по бригаде, выбивая «процент» из нищих и голодных стариков и заставляя десятников приписывать в наряд именно ему, блатарю, этот кровавый процент. Это доверие привело к такой крови, которая была еще невиданна в много испытавшей России.

Вся эта кровь ясно проступила еще на Вишере, еще до зачетов рабочих дней, до досрочного освобождения. Но уже при «разгрузках», при приездах комиссий по соловецкой песне:

Каждый год под весенним дождем
Мы приезда комиссии ждем...

Система досрочного освобождения за честный труд — есть прямой вызов правосудию.

Если есть суд — то нет досрочного освобождения, ибо только сам суд — верховный орган власти, состоящий из узкого круга квалифицированнейших, опытнейших юристов, работая день и ночь, определяет в своих высших инстанциях меру наказания за то или иное преступление против закона, определяет детально, до самой мелочи, до дня и часа вопросы срока, режима, взвешивая все обстоятельства на самых высших юриди-

ческих весах, и никто не может нарушить, изменить, поправить его верховную волю.

А если есть досрочное освобождение, то, значит, нет суда, ибо никакому начальнику ОЛПа Чебоксарского района, безграмотному старшине, не может быть дано право изменить срок наказания. Ни увеличить — по рапорту такого начальника, ни сократить — по ходатайству такого начальника, да еще снабженного решением общего собрания самих заключенных. Никакое общее собрание самих заключенных не может никого освобождать из лагеря или уменьшить меру заключения, определенную судом.

Вышинский, защищавший теорию возмездия, — преступник, отдавший себя на службу Сталину. Но Вышинский был юрист.

В двадцатые же годы действовала знаменитая «резинка» Крыленко[9], суть которой в следующем. Всякий приговор условен, приблизителен: в зависимости от поведения, от прилежания в труде, от исправления, от честного труда на благо государства. Этот приговор может быть сокращен до эффективного минимума — год-два вместо десяти лет, либо бесконечные продления: посадили на год, а держат целую жизнь, продлевая срок официальный, не позволяя копиться «безучетным».

Я сам — студент, слушавший лекции Крыленко. К праву они имели мало отношения и не правовыми идеями вдохновлялись. «Резинка» опиралась на трудовой экономический эффект мест заключения плюс, по теории переделки души арестанта в направлении коммунистических идеалов, применение бесплатного принудительного труда, где главным рычагом была шкала питания арестанта по такой зависимости от нормы выработки: «что заработал, то и поешь» — и прочие лагерные модификации лозунга «кто не работает, тот не ест».

Желудочная шкала питания сочеталась с надеждой на досрочное освобождение по зачетам. Все это разработано чрезвычайно детально, лестница поощрений и лестница наказаний в лагере очень велика — от карцерных ста граммов хлеба через день до двух килограммов хлеба при выполнении стахановской нормы (так она и называлась официально). Стахановская карточка печаталась, заказывалась и выдавалась, и сам Берзин без тени юмора считал именно такую операцию истинным применением стахановских идей в трудовом концлагере. Зная ограниченность Берзина, можно было верить, что он самым серьезным образом относился к своим словам.

Выступления этого рода Берзин делал и на Колыме. Достаточно почитать тамошние газеты тогдашние.

Так проведен был Беломорканал, Москанал — стройки первой пятилетки. Экономический эффект был велик.

Велик был и эффект растления душ людей — и начальства, и заключенных, и прочих граждан. Крепкая душа укрепляется в тюрьме. Лагерь же с досрочным освобождением разлагает всякую, любую душу — начальника и подчиненного, вольнонаемного и заключенного, кадрового командира и нанятого слесаря.

Убийц я знал много. Рядом со мной в лагерном бараке спал милейший человек Миша Булычев, бывший бухгалтер из Горького. Горький в те годы давал тысячами растратчиков — судебная машина косила именно по этой статье направо и налево года два, и Миша Булычев стеснялся своего преступления. Ему казалось, что растратчики — это эпидемия, заболевание, переболел — и выпустили на волю здоровыми в правовом смысле людьми. Сам Миша был осужден за убийство — убил жену половинкой кирпича из ревности во время приступа запоя. Миша Булычев в лагере увидел, что не только его статья считается легче, чем 116-я за растрату — та была «модной», но и вообще он-то, Миша Булычев, со своей статьей первый человек в лагере. Что требуются даже его характеристики на товарищей-горьковчан — можно ли их освобождать досрочно, по мнению Миши Булычева. Миша давал характеристики.

Вскоре обнаружилось, что и регулярные запои обходятся в лагере еще дешевле, чем на воле. Как-никак Миша был бухгалтером по бытовой статье!

Уже позднее, в Сусумане, я спал с блатарем Соловьевым, который взял в побег фраера «на мясо», убил его, ел, пока был «во льдах», а осенью мороз «выжал» Соловьева из тайги в поселок. Соловьева судили, дали двадцать пять и пять — у него и так было лет двести лагерного срока, собранного подобным образом.

Соловьев провел в тепле, ожидая суда, зиму, а весной опять бежал, опять съел человека. Продолжил колымскую «сказку про белого бычка».

Как его сравнить с Мишей Булычевым, а в лагере и к тому, и к другому относились одинаково. К убийце в лагере не относятся как к убийце. Напротив, от первого до последнего дня заключенный-убийца чувствует поддержку государства — ведь он бытовик, а не троцкист, не враг народа. Он жертва стечения обстоятельств — не больше.

Это так и есть. Нераскрытый убийца, не сегодняшний убийца судит раскрытого за то, что тот перешел черту, зашел в опасную зону.

Где же тут понятие вины?

Искупление вины рассчитывается на «проценты», или, как в лагере говорят, «про́центы». Твоя свобода в своих руках. В лагере обсуждают не вину, это никого не интересует — ни начальство, ни самих арестантов, — все понимают нелепость искупления какой бы то ни было вины. Обсуждают способы досрочного освобождения из лагеря — цену, какую может заключенный за это досрочное освобождение заплатить.

И еще я понял другое: лагерь не противопоставление ада раю, а слепок нашей жизни, и ничем другим быть не может.

Почему лагерь — это слепок мира?

Тюрьма — это часть мира, нижний или верхний этаж — все равно, с особыми правами и правилами, особыми законами, особыми надеждами и разочарованиями.

Лагерь же — мироподобен. В нем нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве, социальном и духовном. Лагерные идеи только повторяют переданные по приказу начальства идеи воли. Ни одно общественное движение, кампания, малейший поворот на воле не остаются без немедленного отражения, следа в лагере. Лагерь отражает не только борьбу политических клик, сменяющих друг друга у власти, но культуру этих людей, их тайные стремления, вкусы, привычки, подавленные желания. Какой-нибудь Жуков, Гаранин, Павлов[10] приносят в лагерь вывернутое дно своей души.

Лагерь — слепок еще и потому, что там все, как на воле: и кровь так же кровава, и работают на полный ход сексот и стукач, заводят новые дела, собираются характеристики, ведутся допросы, аресты, кого-то выпускают, кого-то ловят. Чужими судьбами в лагере еще легче распоряжаться, чем на воле. Все каждый день работают, как на воле, трудовое отличие — единственный путь к освобождению, и, как на воле, легенды эти оказываются ложными и не приводят к освобождению.

В лагере убивает большая пайка, а не маленькая — такова философия блатарей. В лагере ежечасно повторяется надпись на воротах зоны: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Делают доклады о текущем моменте, подписываются на займы, ходят на собрания, собирают подписи под Стокгольмским воззванием.

Как и на воле, жизнь заключенного состоит из приливов и отливов удачи — только в своей лагерной форме, не менее кровавой и не менее ослепительной.

Люди там болеют теми же болезнями, что и на воле, лежат в больницах, поправляются, умирают. При всех обстоятельствах кровь, смерть отнюдь не иллюзорны. Кровь-то и делает реальностью этот слепок.

ЭККЕРМАН

Что такое историческая достоверность? Очевидно, запись по свежим следам...

Разговоры с Гете Эккермана — это достоверность? В высшей степени условно можно это считать достоверностью, хотя Гете нарочно говорил для Эккермана, чтобы тот успел записать. Разве что мысли Гете. Разговоры с Гете Эккермана похожи на павловских собак в Колтушах — вроде что-то важное, но очень далекое от существа дела, от собачьего поведения, от всякого вопроса звериной психологии.

Так и эккермановские труды. Тут просто мысли Гете, да еще его явные, а не тайные мысли. Сам процесс мышления искажается, если есть свидетель, секретарь, стенографист. Я приспосабливаюсь к секретарю, произвожу отсев чувств и мыслей.

Письма проще, точнее, но и там есть отсев, и немалый. Сам Гете неизбежно искусственен, неизбежно фальшив в записи такой беседы.

Вторая искажающая — сам Эккерман. При всей его добросовестности Эккерман не магнитофон все же. Так каким же записям отдать преимущество? Или все опять сводится к единственной правде искусства — правде таланта?

<1970—1971>

БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА

Мне приходилось встречаться с революционерами царского времени. Одно замечание особенно запомнилось.

— С арестом, — говорили многие профессионалы, — наступает некое нравственное облегчение; вместо беспо-

койства, тревоги, напряжения — тайная радость, что все как-то определилось, вошло в русло... И хотя впереди допрос, приговор и ссылка, в тюрьме можно душевно отдохнуть, укрепиться и укрепить других — тех, кто в этом нуждается.

. . . .

— А книги? — спросил тот следователь, что помоложе. Книг было много.

— По корешкам, — снисходительным тоном сказал старший.

Это мне не понравилось. Значит, от результата обыска ничего не зависело, арест мой предрешен. Я попрощался с дочерью — ей было полтора года — не будя ее. Попрощался с тестем и тещей — последний раз в жизни я видел их тогда. Попрощался с женой.

Мы поехали знакомым маршрутом. Сначала в «Секцию революционной законности», как пышно именовали себя тогдашние райотделы НКВД. Оттуда на «вороне» на Лубянку, 14, в Московскую комендатуру, в приемник, сохранивший и теперь название «собачника». А рано утром на рейсовом «вороне» через весь город в Бутырскую тюрьму.

Ничего не изменилось на Бутырском «вокзале» — только стены глухих безоконных «собачников»-приемников были выстланы зелеными стеклянными плитками — раньше, кажется, было не так. Раньше меня водили в мужской одиночный корпус, похожий своими лестницами и ярусами на огромный пароход. В МОК входили через большую железную клетку с двумя дверьми, а в углу этой клетки была клеточка поменьше, запертая на три замка, и внутри сидел часовой с винтовкой, нацеленной на входную дверь. Было весьма романтично.

Сейчас, после дезинфекции, опросов, отпечатков пальцев — всего, что относится к области процедурных вопросов, — провели меня прямо в общие камеры в девятнадцатый коридор и остановили перед камерой 67-й. Дежурный открыл дверь, и я вошел в тюремный полумрак и запах пота и лизола.

Эти камеры, как я знал, рассчитаны каждая на 25 человек. На первый взгляд людей здесь было гораздо больше. Койки застланы сплошь деревянными щитами.

Я остановился у порога, у классической параши. Навстречу мне двигался человек. Я спросил:

— Кто староста?

Человек стал передо мной и загородил окно.

— Я — Друян, Сергей Друян, торфяной инженер. Сидел раньше? — это был вопрос Друяна.

— Сидел. В двадцать девятом году.

Друян захохотал сердито, хрипло.

— Получишь пять лет! По КРТД, — кричал он.

— Все может быть.

— Ну, ложись пока к параше. Завтра разберемся. Ребятам можешь кое-что рассказать?

Дело шло о новостях с воли, газетных и прочих. К этой беседе я был готов давно.

— Зачем же завтра? Сейчас и расскажу.

— Ну, молодчик, если так.

Я сел на нары, на середину камеры, рассказал о том, что слышал, знал, видел. Рассказал газетные новости.

Сложное это дело — обязанности тюремного старосты следственной камеры. Должность выборная, власти у него не много. Он должен обеспечить порядок в уборке камеры, в раздаче обеда, покупок в тюремном магазине. Следить, чтобы шум споров, волнений не превысил какого-то условного градуса, уровня, за которым — конфликт с тюремным начальством. Знать, что можно в тюрьме и чего нельзя. Уметь показать любому, что можно и чего нельзя. Староста распределяет места в камере, ибо простая очередность не всегда считается правильной. Новичок — старик и очередной — юноша. Юноша может подождать следующей очереди. Лучшие места — у окна, а худшие — у параши, у двери. От параши и движется очередь. Староста назначает уборщиков камеры, не позволяя «платить» за дежурство своему товарищу. Может вызвать врача к заболевшему, вызвать коменданта. Все переговоры с администрацией тюрьмы ведутся через старосту. В организации чередования развлечений и ученья — все это можно сделать в тюрьме — староста участвует самым активным образом. Списки и темы ежедневных лекций староста держит в голове. Он должен уметь подобрать интересующий всех «репертуар». Наконец, староста руководит пресловутыми «комбедами» — тайной кассой взаимопомощи, распределением средств для неимущих.

Двадцать четыре часа в сутки встречаются люди друг с другом. Разные люди. Нервная система разная у всех, и староста должен уметь предупредить конфликты — это штука болезненная, заразная, развивается, как цепная реакция.

Но все это не главное в работе тюремного старосты. Главное то, что он должен поддержать растерявшихся невинных людей, оглушенных предательскими ударами сзади, должен дать совет, дать пример достойного поведения, уметь утешить или укрепить дух или разрушить иллюзии. Открыть правду и укрепить дух слабых. В примерах, в историях, в собственном поведении староста должен укрепить душевные силы арестованных, следственных, дать совет, как держаться на допросах, внушить новичку, что тюрьма — не страх, не ужас, что в ней сидят достойные люди, может быть, лучшие люди времени. Он должен понять время и уметь его объяснить.

Сережа Друян через две недели получил приговор — пять лет КРТД! — и ушел навсегда из моей жизни.

Еще Юсупов, тюремный староста юности — двадцать девятого года, — бывший придворный офицер, бывший басмач, энергично заставлял всех учить иностранные языки в тюрьме. «Тюрьма создана для изучения иностранных языков, — твердил Юсупов, — отвлекает, дисциплинирует время, дает живую практику — ведь в камере наверняка кто-нибудь знает чужой язык». Иностранные языки были страстью Юсупова. Второй его страстью было ежедневное бритье. Разломанным пополам лезвием безопасной бритвы, скрытой в спичечном коробке, он брился сам и брил всех желающих, вызывая проклятья комендантов, обыски. Таинственные бритвы вносили много оживления в камерную жизнь. Ведь следственных арестантов не бреют, бороды им стригут в банные дни под машинку, под «нуль»...

Тюремный быт не изменился с двадцать девятого года. По-прежнему к услугам арестантов была удивительная бутырская библиотека, единственная библиотека Москвы, а может быть, и страны, не испытавшая всевозможных изъятий, уничтожений и конфискаций, которые в сталинское время навеки разрушили книжные фонды сотен тысяч библиотек; от этих изъятий и уничтожения, производившихся посмертно, пахло дымом фашистских костров. Но бутырской тюремной библиотеки это не касалось. Там можно было достать и «Интернационал» Илеса, и «Записки масона», и Бакунина, и «Повесть непогашенной луны» Пильняка, и «Белую гвардию» Булгакова. Логика в этом была — уж если тюрьма, то нечего бояться влияния какой-то книги, романа, стихотворения. Даже экономического исследования или философской работы. А может быть, у фило-

софов из высшей тюремной администрации были свои наблюдения, что заниматься в следственной тюрьме арестанту невозможно, что собранность, сосредоточенность — иллюзия, что все читают с большим интересом — и всё забывают, как будто в камере живут только склеротики.

Я много читал в Бутырках, стремился запомнить; казалось, что удалось добиться успеха, но сейчас вижу, что все последующее, колымское, начисто стерло из памяти все, что я там читал. Я запомнил только три стихотворения, выученные «с голоса»: одно — Цветаевой («Роландов Рог») и два — Ходасевича. Почему я запомнил только стихи — не знаю.

Там было много книг научного содержания, много самоучителей, и наша камерная «книжная комиссия» выбирала порядочно книг для занятий. По правилам библиотеки полагалась одна книга на десять дней. В камере было шестьдесят — восемьдесят человек. Конечно, в десять дней прочесть восемьдесят книг нельзя. Практически книг было неограниченное количество. Занимались языками — кто хотел, просто читали. По дневной программе утренние часы — от завтрака до обеда — отводились таким занятиям. Обычно на эти же часы приходилась прогулка — пятнадцать минут по песочным часам. Эти песочные часы, прислоненные к кирпичному выступу около входа, я хорошо помню. Я еще не был сведущ тогда в медицине, о медицинской аппаратуре не имел никакого понятия и думал, что тюрьма заказывает специально для таких прогулок эти древнейшие часы человечества.

В двадцать девятом году один из арестантов соорудил сложную систему водяных часов — из бутылок. Нравы тогда были помягче, камеры не так переполнены. Громоздкое сооружение «водяных часов» было одобрено, разрешено тогдашним высоким начальством, вроде знаменитого начальника Бутырской тюрьмы Адамсона. В тридцать седьмом году должность Адамсона занимал рыжеусый Попов — бывший начальник тюремного отдела НКВД, впоследствии, как рассказывали, расстрелянный.

Послеобеденное время всегда отводилось на «лекции». Каждый человек может рассказать для других что-либо интересное всем. Историку, педагогу, ученому — и книги в руки. Но простой слесарь, побывавший на Днепрострое, может рассказать много любопытного, если соберется с мыслями. Вася Жаворонков, веселый

машинист из Савеловского депо, рассказывал о паровозах, о своем деле — и это было интересно всем.

С каждым новичком староста вел потихоньку переговоры на «лекционные» темы. Обычно он встречал отказ, резкий отказ — ведь нравственный удар ареста был слишком силен, но потом новичок «обживался», привыкал, слушал несколько таких «лекций» и в конце концов выражал желание выступить. Такое согласие говорило о многом — что нервы уже собраны, что самое трудное уже позади, что человек начинает понемножку становиться человеком.

Гудков, начальник политотдела какой-то МТС, арестованный за хранение пластинок с записью Ленина и Троцкого — были такие пластиночки в старые времена, — не верил, что за это могут сослать, осудить. В Бутырках всех вокруг себя Гудков считал врагами, воюющими с советской властью.

Но шел день за днем. Рядом с Гудковым были такие же невинные люди — никто из восьмидесяти человек не сказал Гудкову ничего более того, что чувствовал сам Гудков.

Гудков стал активным деятелем «комбедов», а также «книжной комиссии». Дважды он выступал с лекциями, улыбался, протирая очки, и просил прощения за недоверие в первые дни.

Бывало, что «лекторами» выступали профессионалы — и тогда это были особенно ценные вечера. Арон Коган, мой старый знакомый по университету конца двадцатых годов, бывший физматовец, теперь доцент Военно-воздушной академии имени Жуковского, делал, помню, несколько вечеров подряд доклад «Как люди измерили Землю».

Скатанные хлебные шарики, изображавшие Луну и Землю, он держал в своих тонких, нервных пальцах — отросшие ногти блестели под лампочкой.

Георгий Каспаров, сын бывшей секретарши Сталина Вари Каспаровой, которую Сталин обрек на вечную ссылку еще с половины двадцатых годов, рассказывал историю Наполеона.

Поход Кортеса в Мексику, история чемпионатов на первенство мира по шахматам, биография и творчество О'Генри, жизнь Пушкина, сопровождаемая чтением его рассказов.

Редко, раз в месяц, устраивались «концерты». Каспаров читал стихи, капитан дальнего плавания Шнайдер жонглировал тюремными кружками. В январе тридцать

девятого года я встретил капитана Шнайдера на Магаданской пересылке во время тифозного карантина. Он прислуживал блатарям, бегал «за уголёчком» прикуривать, чесал им на ночь пятки. Седой, стриженый, грязный. Я попробовал заговорить с ним, но было ясно видно, что он все забыл и боится опоздать с «уголёчком».

«Лекции» шли от обеда до ужина, а после ужина и последней второй оправки и отбоя в 10 часов отводилось время всякий раз на «ежедневные новости».

Новичок (а новички приходили почти каждый день) рассказывал о событиях на воле — по газетам, по слухам.

«Лекции», конечно, читались не всеми арестантами. Новости же рассказывали все без исключения приходившие в камеру. Если новичков не было — вечер считался свободным, и тогда кто-нибудь читал книги вслух.

В тюрьме все по-особенному. Как, например, держаться во время допроса? Поможет ли тут чем-нибудь совет? Шла первая половина тридцать седьмого года, «детское» время советской тюрьмы, с «детским» сроком (пять лет!). Еще не применялся на следствии «метод № 3».

Что советовать, чтобы укрепить бодрость духа? Одно ясно — книжное тут не поможет. Надо рассказывать о себе, о том, что я видел сам собственными глазами.

И я говорю.

В двадцать девятом году, когда я шел первым своим арестантским «этапом» на Северном Урале, на Вишере, в 4-е отделение СЛОНа, побелевшие в тюрьме лица арестантов были сожжены апрельским солнцем до пузырей. Рты казались голубыми. «И кривятся в почернелых лицах голубые рты». С нами шел Петр Заяц, осужденный как сектант и не подчинившийся «драконам». Утром и вечером, каждую поверку Зайца избивали конвоиры — сбивали с ног, топтали.

На второй ночевке я вышел вперед и сказал начальнику конвоя надзирателю Щербакову, что так не должен вести себя представитель советской власти и что я буду жаловаться в управление.

Все молчали. Колонна отправилась в путь, а вечером, когда мы легли вповалку в солому, настланную на ледяной глиняный пол сарая этапной избы, где было все же так тесно и жарко, что все раздевались до белья, меня растолкал конвоир.

— Выходи.

— Сейчас оденусь.

— Нет, выходи так.

Босой и раздетый, я стоял под двумя винтовками конвоя, сколько времени — не знаю.

— Иди назад.

Я вошел в избу. Нервный озноб бил меня до утра. Когда этап пришел в лагерь, я не жаловался. А Зайца я встретил через несколько месяцев — ввалившиеся щеки, пустые глаза, костлявые руки, неуверенные движения. Он умирал от голода и побоев.

Все это было давно, и лучше не стало.

Тогда думали, что есть две школы следователей: одна считает, что арестованного надо оглушить немедленными допросами, длительными, тягучими угрозами, обвинениями огорошить, сбить с толку.

Вторая держится другой точки зрения.

Надо поместить арестованного в тюрьму и держать по возможности дольше без всякого допроса. Тогда воля его ослабеет, сама тюрьма разложит его, ожидание измучит. За это время можно собрать справки, всякий материал, относящийся к «человековедению». Нет, говорит другая школа. В тюрьме арестованный неизбежно встретит людей, которые укрепят его волю, и подследственный будет сильнее, чем ежели готовить блюдо быстро и горячо.

С половины тридцать седьмого года выяснилось, что в распоряжении следствия есть вещи гораздо более эффективные, чем ребяческие опусы наследников Порфирия Петровича.

Ведь признание обвиняемого — краеугольный камень всей правовой системы сталинского времени.

А его добиться чрезвычайно легко. В силу вступил «метод номер три» — применение пыток. Эта штучка справлялась со всеми — 100% действия. Эффект пенициллина.

Но была еще весна тридцать седьмого года.

Глубоко трагична судьба политической партии эсеров, которая несколько поколений подряд приносила в жертву борьбе с царизмом лучших людей России. Наследники Перовской и Желябова — люди эсеровской партии — по своим человеческим качествам были неизмеримо выше всего, что могла выдумать богатая на подвиги царская действительность в ее глубине, в ее недрах.

Бесспорно, что против эсеров был направлен главный удар самодержавия, и именно их боялся царизм больше всего.

Свержение самодержавия 12 марта 1917 года было днем окончания вековой борьбы русского общества с ца-

ризмом, с царем. Эта борьба потребовала огромных сил от всех партий, от всех слоев общества, но прежде всего и больше всего — от социалистов-революционеров.

Недаром Андреев считал лучшим днем своей жизни — 12 марта 1917 года, недаром он праздновал его в 67-й камере Бутырской тюрьмы — двадцатилетие свержения самодержавия.

Кусочки колбасы, кружка тютюнного чая, сахар, масло, разложенное на носовом платке, расстеленном на нарах, — вот и все наше угощение в этот великий праздник Андреева.

Несмотря на огромнейшие жертвы, история пошла по другому пути, и это было трагедией политической партии.

За трагедией партии шла трагедия людей. Ни в чем не повинных стариков, поседевших на царской каторге, хватали снова, сажали в тюрьму, допрашивали, клеили провокационные «дела», только что не пытали.

Всех бывших эсеров собирали на Нарым, где они и умерли, конечно.

Александр Георгиевич не надеялся на правду. Он уезжал умирать, и единственной просьбой ко мне (если я не умру) было найти его дочь, Нину.

Кормили в Бутырках отлично. «Просто, но убедительно», по терминологии шахматных комментаторов. Хлеб с утра, шестьсот граммов пайки. Впервые здесь каждый узнал, что слово паек в действительности женского рода. Запомнить пришлось на всю жизнь.

Утром выдавался и сахар — двадцать граммов на человека, и папиросы по десятку третьего сорта типа «Ракеты». Папиросы, как объясняло тюремное начальство, — от Красного Креста. Это был единственный признак существования Красного Креста в наших политических тюрьмах — вопрос, который интересовал тогда многих. Где Е. П. Пешкова, где Виновер, ее юрисконсульт на Кузнецком мосту? Позднее мы узнали, что Виновер сам был посажен и умер где-то в лагере, что Красный Крест закрыли, а Пешкова — здравствует. Через много лет она еще «Избранное» Чирикова редактировала.

Приносили чай. Вернее, кипяток и какой-то «малиновый» напиток в пачках, напоминавший чай гражданской войны. Кипяток приносили в огромных ведерных чайниках красной меди, отчищенных кирпичом до блеска, — явно царского времени. Может быть, Дзержин-

скому или Бауману приходилось пить именно из этого чайника, что принесли в нашу камеру.

Утром выдавалось одно блюдо. Этим блюдом была каша — пшенная, овсяная, перловая, магар, гречневая, картофель или винегрет — с растительным маслом, по полной миске, досыта, словом.

В час был обед, и давали один суп — три дня рыбных, три мясных и один день в неделю — овощной. Мясо выдавалось в вареном виде, отдельно нарезанное, а в рыбные дни — кета, камбала. «Ложка стояла» — таким густым был суп.

Вечером в семь часов давалось всегда то же блюдо, что и утром.

Меню было составлено на неделю и не менялось — по винегрету или перловой «шрапнели» можно было узнать название дня недели не спрашивая, не подсчитывая.

Раз в десять дней камера пользовалась «лавочкой» — разрешались покупки в магазине. Можно было покупать лишь на 13 рублей в «лавочке» каждому — денежные квитанции сдавались в магазин, и через день каждый получал свою квитанцию обратно.

Предполагалось, что у арестантов нет никакой бумаги и карандашей, поэтому за день до «лавочки» коридорный надзиратель приносил грифельную доску и грифель, а вечером следующего дня брал все обратно и передавал в очередную камеру.

За продуктами в «лавочку» ходили по три-четыре человека, с особым надзирателем. У надзирателя внутри тюремных корпусов нет оружия. Винтовки даются только на караульные вышки.

В «лавочке» бывал всегда и белый хлеб, и масло, и колбаса, и сахар.

Прикупать можно было все что угодно, но осторожно — тюремная жизнь требует хорошей дисциплины желудка, требует, чтобы человек чуть-чуть недоедал и ни в коем случае не переедал. Прогулка — ежедневная тысяча шагов по камере — по совету Андреева, генерального секретаря Общества политкаторжан.

Чем главным можно определить, очертить первую половину тридцать седьмого года в московской тюрьме, в Бутырской тюрьме? Ведь то, что делалось в Москве, было лишь началом лавинообразного движения — того, что позднее стали называть «цепной реакцией». В Москве писались статьи «Уничтожить врага». В колымском приисковом забое уголовник поднимал железный лом над головой профессора. Что главное?

Растерянность, полное непонимание того, что делается, — у большинства. Одиночки понимали, в чем тут дело, видели истинную роль мастеров сих дел. Но все во что-то верили, думали, что произошла огромная ошибка, совершена какая-то чудовищная провокация. Они еще пребывали в сем блаженном состоянии, но тюрьма понемногу открывала им глаза.

Кто остался со мной на всю жизнь в памяти? Прежде всего и раньше всего — Александр Георгиевич Андреев.

Андрееву было шестьдесят четыре года, когда он — в сотый или в тысячный раз в своей жизни — отворил дверь тюремной камеры. В прошлом — эсер-террорист, крымский эсер, принимавший участие в Севастопольском порту в деле, на котором «его величества рукой начертано» — «Скверное дело», знавший Савинкова, Гершуни.

— Я не пошел в пропаганду. Слишком неопределенен, не виден результат. Другое дело террор — раз, и квас.

Андреев рассказывал о первой своей гимназической бомбе, брошенной просто для устрашения на каком-то балу. Рассказывал об обучении террористов. Как никогда не ставят тех же людей, если покушение почему-либо не состоялось. Практика показала, что нервы не могут собраться дважды.

Андреев бежал из ссылки, из тюрьмы, бывал за границей, а в 1910 году был осужден навечно — но 12 марта 1917 года был освобожден. Этот день Александр Георгиевич считал лучшим, величайшим днем своей жизни.

Андреев был правым эсером. После Октябрьской революции был дважды в ссылке в Нарыме, возвратился и был избран генеральным секретарем Общества политкаторжан. На этой должности он и встретил нынешний арест. Встретил спокойно.

— Я говорю следователю: если вы считаете, что я эсер, то должны знать, что я никого назвать не могу. А если вы считаете, что я не эсер, то должны мне верить, что я ни в каких организациях не состою.

Будущее Андреева заботило мало. Ссылку дадут лет пять. Куда-нибудь к Нарыму. И верно — эсеров всех собирали на Дудинке.

Для меня история партии эсеров всегда была полна особого интереса. В этой партии были, бесспорно, собраны — десятилетиями собирались — лучшие люди России по своим человеческим качествам: самые смелые,

самые самоотверженные — лучший человеческий материал. Но история пошла по другому пути, и все жертвы — многочисленные, тяжелые, кровавые жертвы наследников «Народной воли» оказались напрасными. Вот рухнул царизм, который эсеры подтачивали, с которым боролись героически, а места в жизни эсерам не нашлось. Эта глубочайшая трагедия нашего русского времени заслуживает уважения, внимания.

Был в камере и другой старый эсер — Жаров или Жиров, сидевший молчаливо. Только один раз он выступил вперед. За что-то камера была лишена «лавочки» — это ударило прежде всего курильщиков. Жаров, у которого скопились «краснокрестные» папиросы, молча вынес их на обеденный стол. Положил и отошел.

Андреев видел многое ясно, четко. Ошибался он в одном. Ему хотелось видеть за массовыми арестами, за террором, за репрессиями живую Россию, встающие на борьбу молодые силы, и он не верил, что враги — выдуманные, что гекатомбы невинных трупов — лишь мостик, залитый кровью, по которому начал свой путь к власти Сталин. Андреев верил в Россию и ошибался. Репрессии, самые тяжелые, были направлены против невинных людей — и в этом была сила Сталина. Любая политическая организация, если бы она существовала и обладала тысячной частью того, что ей приписано, смела бы власть в две недели. Сталин знал это лучше когонибудь другого.

А разочарование, обида, ужас были велики. По комнате ходил, переваливаясь, медведеобразный огромный человек со следами оспы на темном лице, с густой шапкой русых волос, в черном полувоенном костюме без пояса. Пальцы его были сцеплены, руки закинуты за голову. Он ходил от параши до решетчатого окна. Вытянув руки, Алексеев вцепился пальцами в оконную решетку и прижался к решетке лицом. Это был Гавриил Алексеев.

— Смотрите, — сказал Андреев, — первый чекист!

Да, Алексеев был чекистом когда-то. Да, формула Андреева была лаконична и верна. Гавриил Алексеев, вцепившийся руками в тюремную решетку, был символом времени. (Потом были символы и пострашнее — вроде кедровского письма, судьбы Постышева, но была ведь весна тридцать седьмого года.)

Алексеев был солдатом-артиллеристом, участником октябрьских боев в Москве, где командовал Николай

Муралов, расстрелянный в тридцатых годах. После переворота Алексеев поработал в ЧК у Дзержинского, работа чекиста не пришлась ему по сердцу. Участились припадки эпилепсии — о прошлом стало рассказывать опасно: на занятиях политкружка Алексеева учили, что Муралова и на свете не существовало. Алексеев поступил начальником пожарной команды в Наро-Фоминск и там был внезапно арестован и привезен в Москву.

— О чем тебя спрашивают? О Муралове?

— Нет. О брате.

Оказалось, что брат Алексеева, по фамилии Егоров, был начальником школы ЦИКа — начальником охраны Кремля.

Я высказал предположение об аресте брата. Алексеев рассердился. Увы, следующий допрос показал, что я был прав.

— Мой же товарищ, сослуживец, — говорил экспансивный Арон Коган, — на очной ставке подтвердил все, что наврал. Подлец! Я думал, что убью его.

Такие случаи часты, увы.

— Вы встретитесь спокойно, — предположил я, — и ты будешь с ним разговаривать.

Так и случилось во время одного из допросов.

— Я ехал с ним вместе в «вороне». И сердца своего не поднял против него, — говорил грустно Арон.

Тюрьма — это великая проба. Много неожиданного открывает она в характере человека хорошего, а больше — плохого.

Если об Алексееве можно было сказать, что он был первым чекистом, то что сказать об Аркадии Дзидзиевском — герое гражданской войны на Украине. В процессах Вышинский упоминал эту фамилию. Дзидзиевский вошел в камеру, большерукий, широкоплечий, большеголовый, седой. Он пришел из одиночки — несколько месяцев он просидел там. В левой его руке было три разноцветных платочка. Он все время судорожным движением пальцев то разматывал, то встряхивал, то складывал эти платочки.

— Это — мои дети, — сказал, глядя мне прямо в лицо слезящимися светло-голубыми глазами со склеротическими прожилками. — Меня ведь не переведут отсюда, — толстой старческой рукой он ухватил мою руку. — Здесь хорошо, здесь — люди.

— Нет, не переведут. В Бутырках ведь не держат смертников. Вы...

— Я не боюсь смерти. Спроси любого — у нас знают Аркадия. Но все эти бумажные кляузы... Записи... Допросы... Что же это, а?

— Вы кто, дядя? Чем занимались? — подошел скучающий Леня Туманский, паренек лет шестнадцати.

— Чем я занимался? — спросил Дзидзиевский, и толстые пальцы его раскрылись, ловя воздух. — Буржуев бил.

— А сейчас, значит, самого...

— Да вот, как видишь.

— Ничего, дядя, — сказал Леня, — все будет хорошо. Все скоро кончится.

Лене тюрьма открыла свет. Шестнадцатилетний неграмотный крестьянин Тумского района Московской области был уличен в том же роде деятельности, что и чеховский «злоумышленник»: Леня отвинчивал гайки от рельсов на грузила к неводу и, как чеховский герой, отвинчивал «с умом» — по одной.

Сейчас ему грозила статья не простая — следователь хотел быть не хуже других в розысках врагов народа. Лене «клеили» вредительство, да еще старались нащупать связи с заграницей или с троцкистами.

Счастье Лени было в том, что он сидел в первой половине года. Во второй половине тридцать седьмого года из него попросту выбили бы все, что нужно, — и английский шпионаж, и троцкистскую разведку. А может быть, и не выбили бы.

Много шло споров в тюрьме. Арон Коган, помню, развивал такую теорию, что, дескать, рабочий класс в целом, как социальная группа, бесспорно тверже интеллигенции, качающейся, непоследовательной, излишне гибкой социальной прослойки. Но отдельный представитель этой прослойки, интеллигент-одиночка, способен благодаря силе своего духа, моральным качествам на больший героизм, чем отдельный представитель рабочего класса.

Я возражал и говорил, что, увы, по моим наблюдениям, в лагере интеллигенты не держатся твердо. 1938 год показал, что пара плюх или палка — наиболее сильный аргумент в спорах с сильными духом интеллигентами. Рабочий или крестьянин, уступая интеллигенту в тонкости чувств и стоя ближе в своем ежедневном быту к лагерной жизни, способен сопротивляться больше. Но тоже не бесконечно.

Еда в тюрьме была такая, что Лене и не снилось. Он послушал «лекции», научился читать и рисовать печат-

ные буквы. Леня хотел, чтобы следствие длилось бесконечно, чтобы не надо было возвращаться в голодную тумскую деревню. Леня располнел нездоровой тюремной полнотой, кожа его побледнела, щеки обвисли, но он и слушать не хотел ничего о пищевом рационе.

Напротив меня лежал Мелик-Иолквиян, легкий восточный человек неопределенных лет. Хорошо грамотный, вежливый, Мелик числился историком Бухары, а в действительности был «другом дома» кого-то из «больших людей». Кого именно — установить было нельзя. Важно то, что когда умер Орджоникидзе (никто в камере не высказал предположения о самоубийстве), то долго, около двух недель, не назначали преемника. В 68-й камере споры выглядели тотализатором. Называлось несколько фамилий. А Мелик сказал неожиданно:

— Вы все не правы. Назначен будет Межлаук Валериан Иванович. Поработает недолго и будет снят. И Сталин скажет Молотову — это твой кандидат, последний раз тебя слушаю.

Пришел человек со свежими новостями: назначен Межлаук.

Паровозному машинисту Васе Жаворонкову был задан преподавателем на занятиях политкружка вопрос:

— Что бы вы сделали, товарищ Жаворонков, если бы советской власти не было?

— Работал бы на своем паровозе, — ответил Жаворонков простодушно.

Все это стало материалом обвинения.

Был Синяков, работник отдела кадров Московского комитета партии. В очередной день подачи заявлений он написал бумагу и показал мне. Заявление начиналось словами: «Льщу себя надеждой, что у советской власти есть еще законы».

Рядом с Синяковым лежал Валька Фальковский, молодой московский студент, которого обвиняли в контрреволюционной агитации (ст. 58, пункт 10) и в контрреволюционной организации (ст. 58, пункт 11). Материалом агитации были его письма к невесте, а поскольку она отвечала — оба были привлечены как «группа» с применением пункта 11.

Рядом с Фальковским лежал Моисей Выгон, студент Института связи в Москве. Московский комсомолец, Выгон в одной из экскурсий на Москанал обратил внимание товарищей на изможденный вид заключенных, возводивших это знаменитое сооружение социализма.

Вскоре после экскурсии он был арестован. На допросы его долго не вызывали. По-видимому, следователь Выгона принадлежал к той школе, которая предпочитает длительное утомление энергичному напору.

Выгон пригляделся к окружающим, расспросил об их делах — и написал письмо Сталину. Письмо о том, что он, комсомолец Выгон, считает себя обязанным сообщить вождю партии, что творится в следственных камерах НКВД. Что тут действует чья-то злая воля, совершается тяжкая ошибка. Выгон привел фамилии, примеры. О своем деле он не писал. Через месяц Выгона вызвали в коридор и дали расписаться, что его заявление будет рассмотрено верховным прокурором Вышинским. Еще через месяц Выгон прочел сообщение Вышинского, что заявление Выгона будет рассматривать Филиппов, тогдашний прокурор города Москвы. А еще через месяц Выгон получил выписку из протокола заседания Особого совещания с «приговором» — три года лагерей за антисоветскую агитацию. Выгон был со мной на Колыме на прииске «Партизан». Чуть не единственный из «трехлетников», он кончил срок в 1940 году и был освобожден и остался работать на Колыме — был начальником смены, прибора, участка... Мы не виделись больше с ним.

Андреев ушел раньше меня из 67-й камеры. Мы простились навсегда. И, обнимая меня, Александр Георгиевич, улыбаясь, выговорил:

— Скажу вам вот что: вы МОЖЕТЕ сидеть в тюрьме.

Это была лучшая похвала в моей жизни, особенно если помнить, что эти слова сказаны генеральным секретарем Общества политкаторжан. Я гордился этой похвалой, горжусь и сейчас.

Как всегда бывает, тюремная камера была сначала однолика, безлика, но вскоре, и чуть ли не на другой день, люди стали приобретать живые черты, стали входить в мою жизнь, в мою память один за другим. Одни вошли раньше, другие — позже. Одни вошли глубоко, навсегда, другие — промелькнули незаметно. Жизни наши сошлись на час, на день. И разошлись навсегда.

Одним из первых «оживших» для меня в камере людей был врач Валерий Андреевич Миролюбов. Было ему далеко за пятьдесят — лысеющий голубоглазый красавец, начитанный преимущественно в классической литературе, певец и скрипач, любитель, знаток музыки.

Валерий Андреевич — коренной москвич, кончил медицинский факультет Московского университета еще до революции. Гражданская война свела его на фронте с Витовтом Путной, свела на всю жизнь. После гражданской Миролюбов остался домашним врачом Путны и в этой должности дожил до ареста. Путна был расстрелян вместе с Тухачевским, а в марте тридцать седьмого года он был еще жив, еще в Англии, где был военным атташе. А его домашний врач уже сидел в тюрьме, да еще на Таганке, в уголовной камере, выслушивая дикие обвинения в краже какого-то бриллианта. Внезапно все расспросы о бриллианте кончились, Миролюбова неожиданно перевели в Бутырки, Путна был уже вызван из Англии и арестован на аэродроме. Пошли на допросах речи совсем другого рода, и Валерий Андреевич почувствовал, что седеет, — на одном из допросов ему показали «признание» Путны, которое кончалось словами «все это может подтвердить мой домашний врач доктор Миролюбов».

Валерий Андреевич умер на Колыме и не узнал никогда подробностей «дела Тухачевского».

После 68-й камеры мы встретились на пароходе, в верхнем трюме «Кулу» (пятый рейс).

— Сколько?

Валерий Андреевич растопырил пальцы одной руки.

Я горячо и искренне пожал ему руку и поздравил со столь малым сроком. Миролюбов обиделся:

— Как вам не стыдно.

— Ведь если, Валерий Андреевич, вспомнить судьбу Путны, его показания...

— Я не хочу об этом слышать.

Больше мы не виделись. Валерий Андреевич был добрым русским интеллигентом, большим кавалером и ухажером, большим лентяем, не без светских навыков. В молодости, в студенческие годы, он прославился на всю Россию и умел это вставить чуть ли не в любой свой рассказ.

У всех людей есть какое-то самое значительное событие в жизни, знаменательный день. Многих я об этом спрашивал. Для Александра Георгиевича Андреева таким событием было свержение самодержавия — 12 марта 1917 года, для Зубарева, соседа моего по одной из больниц, — покупка двадцати банок овощных консервов, когда все банки оказались со свиной тушенкой, — более потрясающего события в его жизни не было.

А Валерий Андреевич Миролюбов двадцатилетним студентом нашел бриллиантовое ожерелье княгини Гагариной. В газетах была объявлена награда — пять тысяч рублей. Дело было в 1912 году. Студент Миролюбов нашел ожерелье в канаве и принес в княжеский особняк. Князь вышел, поблагодарил и сказал, что сейчас он распорядится насчет выдачи объявленного вознаграждения. Но Миролюбов сказал, что он не хочет никаких пяти тысяч. Он — студент, нашел и принес — и все. Князь Гагарин пригласил его к обеду, познакомил со своей женой, и до самой революции Валерий Андреевич был желанным гостем в княжеской семье.

Арона Когана я немного знал по университету 1927 года, когда он оканчивал физмат. В 1937 году он был преподавателем математики в Военно-воздушной академии. Блестящий оратор, эрудит, человек острого и подвижного ума, Арон обладал и духом столь же неустрашимым. Это о себе думал он, когда мы спорили о достоинствах интеллигента. Я и его спрашивал о самом значительном дне жизни. «Такой день у меня, конечно, есть. Только тогда я был мальчик, и мы жили на Украине. Был погром, и все были убиты — мать, отец. Я лежал на полу и кричал. Вдруг все замолчали. В дом вошел генерал. И меня не успели убить. Генерал, уходя, ударил меня ногой в живот, но я опять остался жив. Это был генерал Май-Маевский».

Почему в тюрьме говорят, что Тухачевский расстрелян, в то время как он еще выступает с речью на очередной сессии Верховного Совета? В тюремных «парашах» есть нечто мистическое.

Дело Тухачевского — не единственный случай. Из Донбасса привозят инженера, который говорит: «Саркис (первый секретарь обкома Донбасса) арестован». А вечером в «сеансе новостей» нам передают сведения о вчерашней речи Саркиса в Москве.

В чем тут дело? Что за мистическая таинственность у тюремных «параш»? Презрительное, ругательное название «параша» — сравнение тюремных слухов со зловонием известного сосуда — легкомысленно. Тюремные «параши» все сбываются и очень серьезны. Никаких случайных слухов не бывает.

«Волшебство» имеет, конечно, свое объяснение. Дело в том, что всегда, раньше ареста главного лица, арестовывают и допрашивают его окружение, его помощников, лиц, связанных с ним службою, личным знакомством.

И допрашивают в весьма категорическом тоне — о предполагаемом «главе группы», герое процесса.

Из допросов, из материала, содержания любой здравомыслящий человек делает вывод (если даже следователь сам не скажет «полезную» следствию ложь, не поступит провокационно вполне сознательно), что тот, о котором спрашивают, арестован. И рождается «параша» о смерти раньше самой смерти. А после приходит и смерть.

В «собачниках» Бутырской тюрьмы стены покрыты зелеными стеклянными плитками, не оставляющими следов карандаша, гвоздя. В тюремной уборной и умывальной стены из желтых плиток — на них тоже нельзя писать. Нельзя писать и в бане — бутырская баня, где каждый стирает свое белье, — превосходная баня. И стены и скамейки покрыты метлахскими плитками. Но дверь, деревянная дверь, обита железом, и это единственный почтовый ящик на всю тюрьму. Надписи коротки: АБЗ-5. Это не название лампы для телевизора. Это — судьба человека. Александр Борисович Зарудный — 5 лет. Тюремная дверь дает ответ на важный, очень важный вопрос. Баня ведь обслуживает и этапный корпус — пересылку, бывшую тюремную церковь, где собираются все получившие приговоры, все осужденные, не успевшие еще уехать.

В тюрьме не объявляют голодовок. Дело в том, что всякая голодовка сильна связью с волей, сильна тогда, когда все, что делается в тюрьме, известно на воле. А сейчас можно запросто умереть, и тебя сактируют. «Актировать» — это второе после пайки слово, которое должен хорошо запомнить всякий следственный (а значит, и срочный — ведь НКВД не ошибается!) арестант.

Искусственные научные дискуссии, придуманные преступления и вовсе не искусственная кровавая расплата — понимание этого дано нам тюрьмой.

Дверь в бане твердила: освобожденных нет, осуждаются все, и, значит, каждого ждет дальняя дорога. Хорошо бы подальше, на золотые прииски Колымы например. Там, говорят, текут молочные реки. А самое главное — скорее бы кончалось следствие, скорее определялась судьба. Проклятая тюрьма, без воздуха, без света. Скорее в лагерь, на волю, на чистый воздух. Скорее бы начинался и шел срок. Да еще в дальних лагерях, мы слышали, есть зачеты рабочих дней. Скорее отработать, отбыть... Хуже тюрьмы ничего нет.

Я ничего не мог сделать с этим настроением, как ни пытался доказать, что лагерь в тысячу раз хуже тюрьмы. Что Фигнер просидела в Шлиссельбургской крепости двадцать лет, а Николай Морозов — двадцать три и вышли здоровыми людьми. Что колымские болота и физический труд в лагере убьют скорее тюремных стен. Что я знал? Я же мог еще тогда объяснить, что в лагере «убивает большая пайка, а не маленькая», то есть в первую очередь умирают забойщики, выполняющие высокие проценты. Что работа на холоде в 60°, что голод, побои, многочасовой рабочий день... Некому было все это рассказать.

Весной в камеру вошел Вебер — бывший чешский коммунист, силезский немец, привезенный с Колымы на допрос дополнительный какой-то. Он ни с кем не разговаривал и не отвечал ни на какие вопросы. Молчал, и все... Говорил, что не знает языка. Так и промолчал не один месяц.

Я встретился с ним в вагоне-теплушке. Мы уезжали с Краснопресненской пересылки, из новой тюрьмы, которую построил Сталин, в августе 1937 года. Ночи были по-летнему теплыми, и в первую ночь все заснули веселые, возбужденные началом большого пути, воздухом, запахом города, ночной тишиной. В теплушке не спали два человека — Вебер и я.

— Спят, — сказал Вебер на чистейшем русском языке. — Сначала смеялись, теперь спят. Весело им. Не понимают: их везут на физическое уничтожение.

Разумеется, не только дверь в бане была нашим отделением связи. Можно было выбрать время и стучать в чугунную трубу — по коду Морзе или по бестужевской азбуке.

Именно в тюрьме ощутил я неожиданно, что душевное сопротивление дается мне легче, чем многим другим, что в этой страшной жизни — круглыми сутками на глазах у других — обнаруживаются какие-то незаметные ранее способности. Хотя тюрьма была вовсе не главной пробой, самое страшное было впереди — следственное время вошло в мою жизнь как хорошие дни и месяцы жизни.

Человек живет тогда, когда может помогать другим, — это, по существу, та же старая формула самоотдачи в искусстве.

Обыск на тюремном языке назывался «сухая баня». Это определение, меткое и острое, родилось после изме-

нения тюремных порядков в обыскных делах. Всякий знает, что, несмотря на тщательные наблюдения, у арестантов как бы чудом появляются ножи, гвозди, химические карандаши, бритвы. Это чудо — результат напряженной изобретательности сотен людей, помогающих друг другу.

Кто знает, каких усилий стоит незаметно отломать и, главное, скрыть ручку от жестяной кружки, которую умелыми руками можно превратить в нож? Кто знает, сколько нужно терпения, чтобы сохранить и использовать крошечный химический грифель?

У Стендаля в «Пармской обители» сказано, что заключенный больше думает о своей решетке, чем тюремщик о своих ключах. В этом все дело.

Много лет (может быть, сотен лет) арестанты, выходя из камеры на обыск, старались спрятать наиболее ценное — вроде половины лезвия безопасной бритвы — в камере, откуда их выводили на обыск, и, возвратившись, откапывали свои сокровища. Тюремная наука развивается как всякая наука. Нашлись передовые тюремщики, тюремщики-новаторы, которые применили простой и эффективный способ борьбы с этими подземными арестантскими кладами — просто, выводя всех жителей камеры на обыск, обратно их никогда не возвращали. Все, что было скрыто, было безнадежно потеряно и могло обнаружиться лишь случайно. Поэтому люди из камеры 68, где я сидел после очередного обыска, вошли в камеру 69, и так далее.

Новое содержание обыска сделало ненужным внезапность, которая раньше считалась одним из условий удачи.

Напротив, тюрьма даже кокетничала, установив расписание обысков — раз в месяц в заранее назначенный день и час. Готовьтесь, арестанты, как умеете, а потом вас выведут в другой коридор и по одному пропустят через двух надзирателей, которые будут ломать спичечные коробки, срывать каблуки, крошить булки, отпарывать подкладку. Обыск занимает целый день для всей камеры — минут по тридцать — сорок на человека. Каждого раздевают догола, заглядывают в рот и в задний проход, заставляют снять протезы.

Все, как в бане, только без воды — «сухая баня». На Лубянке, 14, и на Лубянке, 2, надзиратели ходили по коридору в валенках. Громко разговаривать там было запрещено. «Ведущий» надзиратель щелкал

пальцами, как кастаньетами, и на этот звук другой коридорный отвечал негромкими хлопками в ладоши, что означало: «дорога свободна, веди». В Бутырках водили гораздо веселее, чуть не бегом, встречались и надзиратели-женщины, в форме, конечно. В отличие от Лубянки здесь сигнал подавали, ударяя ключом о медную пряжку собственного пояса. Так же отвечал и коридорный.

На Лубянке вызов из камеры всегда был обставлен весьма драматически. Открывалась дверь, и на пороге не сразу появлялся человек в форме. Человек доставал из рукава бумажку, вглядывался в нее и спрашивал:

— Кто здесь на букву «Б» (или на букву «А»)? — Выслушав ответ, говорил: — Выходи!

В Бутырках эта процедура была гораздо проще. Коридорный просто кричал в камеру:

— Иванов! Инициал как? Выходи!

Вызовы были трех «видов»: прочесть и расписаться в извещении — чаще всего в приговоре. Это делалось у ближайшего окна в коридоре.

Или «с инициалом», но без вещей — чаще всего на допрос или на осмотр к врачу.

И, наконец, с вещами: или перевод, или отъезд. Теоретически могло быть и освобождение, но ведь НКВД не ошибается.

Первое впечатление не обмануло меня: тюрьма была набита битком, на 25 местах нашей камеры размещалось семьдесят — восемьдесят, редко шестьдесят человек — это все люди, попавшие любым путем в знаменитые картотеки НКВД. Это были «меченые», которых ныне ссылали без суда и следствия. Ибо следствия никакого не было, а были беседы, на которых обвинение удовлетворялось самыми поверхностными зацепками, намеками, путая знакомство по службе с «преступными связями». Результат записывался при помощи равнодушного следователя и подписывался. Никто не мог и предполагать, что за беглое знакомство с бывшим троцкистом — да и троцкистом ли? — можно выслать из Москвы, вообще как-то наказать. Оказалось, что наказывать намерены жестоко. В приговоре черным по белому — «с отбыванием срока на Колыме», в «спецуказаниях», вложенных в каждое личное дело: «тяжелые физические работы».

Но все были почему-то веселы, оживленны. Никто не выглядел недовольным. Отчасти это было следстви-

ем того нервного возбуждения, которое знакомо каждому побывавшему в тюрьме. Другая причина — невероятность осуждения невинного, невероятность, с которой нельзя примириться, в которую нельзя поверить, и третья — безвыходность. Все равно ничего изменить нельзя. Четвертая причина: «на миру и смерть красна». Видя, что собственное «преступление» столь нелепо выдумано, каждый с доверием относился к судьбе товарища и рад и горд был ее разделить. Когда через двадцать лет я прочел стихи Ручьева и послушал речи Серебряковой о том, что их окружали в тюрьме только враги народа, а они, верные сыны партии, Ручьев и Серебрякова, вытерпели все, веря в правду партии, — у меня опустились руки. Хуже, подлее такого растления не бывает. Вот здесь разница между порядочным человеком и подлецом. Когда подлеца сажают в тюрьму, невольно он думает, что только его посадили по ошибке, а всех остальных — за дело. А когда в тюрьму попадает порядочный человек — он, зная, что сам арестован невинно, верит, что и соседи его могут быть в том же положении.

Может быть, и пятая причина действовала. Дело в том, отнюдь не похвальном свойстве русского характера. Русский человек всему радуется: дали десять лет «зря» — рад, хорошо, что не двадцать. Двадцать дали — снова рад, могли ведь и расстрелять. Дали пять лет — «детский срок», хорошо, что не десять. А два года получил — и вовсе счастлив.

Эта пятая причина — своеобразное понимание «наименьшего зла» — приводила вполне интеллигентных людей к суждению о начальниках: конечно, Иванов лучше — бьет не так больно. А Анисимов, бывший начальник прииска «Партизан» на Колыме, бьет — ха-ха-ха! — всегда рукавицами, а не кулаком, не палкой.

Шестая причина — скорее бы кончалась неопределенность, свойственная следствию. Пусть будет хуже, да поскорее к ясному концу. Казалось, что достаточно выйти из тюремных ворот — и все исчезнет, как дурной сон: и конвой, и камера, и следователь. Эта шестая причина сделалась убедительной и уважительной чуть позже — тогда, когда были введены пытки.

Подписал под пытками! — ничего. Важно остаться в живых. Важно пережить Сталина. В этом была логика, и сотни тысяч «подписавших», обреченных на бесчисленные страдания, душевные и физические, умирали от холода,

голода и побоев, в этой единственной надежде находили силу ждать и терпеть. И они — дотерпели до конца.

Пришло время и мне получить приговор (через пять с половиной месяцев следствия), и я был переведен в этапный корпус, в бывшую тюремную церковь. Здесь была удушающая жара, все ходили и лежали голыми, и под нарами были самые лучшие места.

Здесь я встретился с Сережей Кливанским. Сережа был любителем пошутить:

— Говорят, что перед тем, как нас вымораживать на Колыме, решили выпаривать.

С Сережей я учился десять лет назад в Московском университете. На комсомольском собрании Сережа выступил по китайскому вопросу. Этого оказалось достаточно, чтоб он был исключен из комсомола, а после окончания юридического факультета не нашел работы. С трудом Сережа устроился экономистом в Госплан, но после смерти Кирова Сережу стали выживать и из Госплана.

Кливанский был скрипач-любитель. Он поработал с преподавателем и поступил по конкурсу второй скрипкой в оперный театр Станиславского и Немировича. Но на скрипке ему дали играть лишь до 1937 года. Сережа работал со мной на прииске «Партизан», а в 1938 году весной был увезен на «Серпантинку» — нечто вроде колымского Освенцима.

В Бутырках встретился я с Германом Хохловым, литературным обозревателем «Известий» того времени. Мы читали друг другу кое-какие стихи — «Роландов Рог» Цветаевой и Ходасевича «Играю в карты, пью вино» и «К Машеньке» я запомнил с тех именно времен.

Отец Хохлова был эмигрантом, умер во Франции. Сам Хохлов, обладатель нансеновского паспорта, получил высшее образование в русском институте в Праге на стипендию чехословацкого правительства, которая давалась всем желающим учиться русским эмигрантам. Такая щедрость, по словам Хохлова, была вызвана тем, что чехи во время гражданской войны увезли два поезда с царским золотом, и только третий поезд был доведен благополучно до Москвы Михайловым, комиссаром «золотого поезда». Эту историю я слыхал и раньше. Хохлов говорил вполне уверенно.

Через советское посольство Хохлов вернулся на родину, получил советский паспорт и работу в «Известиях». Статьи его о стихах мне приходилось читать.

В конце тридцать шестого года Хохлов и все другие бывшие эмигранты — экономиста казака Улитина я тоже знал по тюрьме, по 68-й камере — были арестованы и обвинены в шпионаже.

— Мы думали, что нас арестуют, что придется пробыть какое-то время в ссылке, но концентрационный лагерь! Этого мы не ждали. — Хохлов протирал очки, надевал их, снова снимал. — Черт с ним со всем! Давайте читать стихи!

Здесь был Полторак — чемпион Европы по плаванию (он умер на «Партизане» в 1938 году), юноша Борисов — тоже известный пловец того времени.

В «этапке» сидели мы, помню, недолго. Начали «выкликать» и на автобусах перевозить на «Красную Пресню», на окружную дорогу, и грузить прямо в товарный поезд, где в вагонах-теплушках были нары, на оконцах решетки, и — по 36 человек в вагоне — мы двинулись в полуторамесячное путешествие к Владивостоку. Колыма приближалась.

В Бутырской тюрьме начались мои проверки — «поверки» на целых пятнадцать лет.

Все выстраивались вдоль нар, входили два «корпусных» — сдающий и принимающий суточное дежурство — коменданта, староста сообщал количество людей, сообщал жалобы, комендант считал ряды, упираясь ключом в грудь каждого стоящего поочередно. Жестяные кружки колонкой были выстроены на столе, комендант считал и их, осматривая, не отломана ли ручка, не высажено ли дно, чтобы превратиться в орудие убийства или самоубийства.

Пересчитав кружки, комендант подходил к решетке и сверху вниз проводил по решетке ключом — получался звук вполне музыкальный — годился бы для «конкретной музыки», если бы она тогда была нам известна.

На этом ежесуточная поверка кончалась. Какие жалобы? голодовка? перевод? новости?

Иногда коменданты вступали в легкомысленные беседы. Один из четырех дежурных «корпусных», по прозвищу Американец, на чей-то вопрос, как следственным быть с выборами по новой конституции, весьма убедительно ответил:

— Никак. Ваша конституция — это Уголовный кодекс.

Это было сказано вовсе не зло и не из желания сострить. Просто «корпусный» нашел наиболее лаконичную формулу ответа.

Бутырки поражали меня не только удивительной чистотой — пахнущая лизолом тюрьма прямо блестела, не только отсутствием вшей — всякий, кто перешел порог тюрьмы, хотя бы но ошибке или на четверть часа, обязан был пройти душ и дезкамеру с «прожаркой всех вещей».

В этой огромной, на двенадцать тысяч мест, тюрьме шло беспрерывное движение заключенных круглые сутки: рейсовые автобусы на Лубянку, автобусы в транспортные отделения при вокзалах, автобусы в пересыльную тюрьму, отправка на вокзалы, в допросный корпус и обратно, переводы по указанию следователя в карцер для усиления режима, переводы по нарушениям внутритюремным — за шум в камере, за оскорбление надзирателей — в 4 башни: Полицейскую, Пугачевскую, Северную и Южную. Эти башни были как бы штрафными камерами, кроме карцерного корпуса, где в карцере можно было только стоять.

Удивительно было и то, что в этом бесконечном движении — из камеры в камеру, из камер на прогулки, в тюремные автобусы — никогда не было случая, чтобы однодельцев посадили вместе, — так четко работала Бутырская тюрьма.

Шел июль тридцать седьмого года. Судьба наша уже решилась где-то вверху, и, как в романах Кафки, никто об этом не знал. Но во время ежемесячных обходов начальник тюрьмы Попов, рыжеусый Попов, вдруг заговорил о нашем будущем:

— Вы еще вспомните нашу тюрьму. Вы увидите настоящее горе и поймете, что здесь вам было хорошо.

Он был прав, рыжеусый начальник Бутырской тюрьмы.

Зачем обходил он камеры с таким предупреждением? Кто он был такой? Почетный значок чекиста висел у него в петлице. Говорили, что его расстреляли в 1938 году, но кто это знает?

Тюрьма проще жизни. Ритм, режим, решетка: мы и они. На это всех и ловили: «Помогите государству, напишите лживое заявление — оно нужно государству». И бедный подследственный (его еще не пытали) не мог никак уразуметь, что ложь не может быть полезна государству.

Поезд шел на восток. На Дальний Восток. Сорок пять дней двигался наш эшелон. В дороге были две или три бани. Армейский санпропускник в Омске запомнился лучше всего. Но не потому, что там было «от пуза» воды и

мыла, не потому, что там стояла мощная дезкамера. В Омске с нами впервые побеседовал «представитель НКВД», некий старший лейтенант в коверкотовой гимнастерке.

День был солнечный, светлый. Те, что вымылись, лежали на траве вдоль мощеной дороги, чистые, с бледной тюремной кожей оборванцы, измученные дорогой, усталостью. Вещи у всех обветшали в тюрьме — ведь лежанье на нарах изнашивает одежду скорее, чем носка. Да еще регулярные раз в десять дней «прожарки», разрушающие ткань. В тюрьме все что-то зашивают, ставят заплаты...

Перед сотнями нищих людей, окруженных конвоем, появился выбритый, жирный старший лейтенант. Отмахиваясь надушенным платочком от запаха пота и тела, «представитель» отвечал на вопросы.

— Куда мы едем?

— Этого я вам сказать не могу, — сказал представитель.

— Тогда нам нечего с вами и говорить.

— Сказать не могу, но догадываюсь, — забасил представитель. — Если бы была моя воля, я завез бы вас на остров Врангеля и отрезал потом сообщение с Большой землей. Вам нет назад дороги.

С этим напутствием мы прибыли во Владивосток.

1961

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛОГДА

Автобиографическая повесть о детстве и юности, о становлении личности, о формировании убеждений, которые определили судьбу В. Т. Шаламова.

Начало работы над повестью относится к 1968 году. В том году я побывала в Вологде, и впечатления об этой поездке пробудили в памяти Варлама Тихоновича воспоминания о родном доме, о городе детства.

«Я думал, город давно забыт мной... После смерти матери все было кончено.. А вот теперь, после твоей поездки, какие-то теплые течения где-то глубоко внутри... Удивительно здорово, что ты видела дом, где я жил первые пятнадцать лет своей жизни, и даже заходила в парадное крыльцо... с лестницей на второй этаж, с разбитым стеклом на лестнице...» (из письма В. Т. Шаламова, 8 июля 1968 г.).

Воспоминания хлынули потоком. Он непрерывно рассказывает об отце, матери, братьях и сестрах. Мир детства поднимался со дна памяти, как град Китеж.

Д. С. Лихачев в письме Шаламову 20 сентября 1979 года написал: «У меня тоже был период в жизни, который я считаю самым важным. Сейчас уже никого нет из моих современников и «соотечественников». Сотни людей слабо мерцают в памяти. Не будет меня, и прекратится память о них. Не себя жалко — их жалко...»

Шаламов спас от забвения годы своего детства.

В 1971 году автор завершил работу над рукописью Повесть заканчивается отъездом Шаламова в Москву, и лишь мельком упоминается встреча с родителями после первого, Вишерского срока.

Впервые опубликована в сокращении в журнале «Наше наследие» (1988, № 3—4), полностью — в журнале «Лад» (1991, № 3—10).

[1] С. Г. Нечаев содержался в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. См.: Былое, 1906, № 7. Публикация П. Е. Щеголева.

[2] Предки В. Т. Шаламова принадлежали к русскому православному священству. Происходили из г. Великий Устюг В 1867 г. дед писателя Николай Иоаннович, женившись на дочери местного пономаря, «по жребию» был направлен служить в Вотчинский приход Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Коми республика). Тихон Николаевич, отец писателя, родился и провел детство среди зырян.

[3] *Поссе* В. А. (1864—1940) — литератор, пропагандист кооперации, корреспондент Л. Н. Толстого.

[4] Уточнить состав и возраст членов семьи позволяют сохранившиеся данные из клировой ведомости Софийского собора за 1907 год: «В семействе у него (священника Тихона Николаевича Шаламова. — *И. С.):* жена Надежда Александровна — 37 лет, дети: Валерий — 13, Галя — 11, Сергей — 9, Наталия — 7, Варлаам — 6 месяцев». Гос. архив Вологодской обл, ф 496, оп. 1, д. 18474, л. 609/об.

[5] С художником Василием Николаевичем *Сигорским* (1902—1976) В Т. Шаламов был знаком еще по вологодской юности. Жена Сигорского Лидия Васильевна (ум. 1986) — та самая Лида Перова, исполнительница роли княгини Трубецкой, о которой пойдет речь далее.

[6] Заметка опубликована в «Вологодском листке» от 31 марта 1915 г.

[7] *Локоть* Василий Тимофеевич (псевдоним А. *Зорич)* был репрессирован в 1937 г. В 30-е гг. А. Зорич активно сотрудничал в газетах, выпускал книги

[8] Т. Н. Шаламов, как явствует из архивных данных, умер 3 марта 1933 г. от воспаления легких.

[9] Как свидетельствуют официальные церковные документы, Т. Н. Шаламов вернулся с Кадьяка в Вологду в 1904 г. и первое время служил священником в Вознесенской церкви.

В 1906 г. переведен на должность штатного священника в Вологодский кафедральный собор «в видах пользы службы».

[10] Родной брат Т. Н. Шаламова Прокопий Николаевич, тоже священник, безвыездно служил в Вотчинском приходе Усть-Сысольского уезда. В 1930 г. расстрелян по ложному обвинению. *(Примеч. В. Есипова.)*

[11] Убийство черносотенцами профессора Московского сельскохозяйственного института, идеолога партии кадетов по аграрному вопросу М. Я. Герценштейна (1859—1906) вызвало волну возмущения в России. Панихида по убитому была отслужена в Вологде, в Спасо-Всеградском соборе, 27 июля 1906 г Речь, произнесенная служившим панихиду о. Тихоном (Шаламовым), получила большой общественный резонанс — ее изложение было помещено в вологодской газете «Северная земля» (№ 173, 1906). «Он умер за великое дело служения меньшей братии Христа» (т. е. крестьянам), — подчеркивал о Тихон, добавляя, что «уклонение церкви от оценки политических явлений не привело к добру».

[12] Имеются в виду события, происшедшие в Вологде 1 мая 1906 г., в ходе которых были разгромлены Пушкинский народный дом и типография газеты «Северная земля». Погрому, проходившему под пьяные крики «бей жидов и студентов», явно попустительствовали власти. Суд, состоявшийся в 1908 г., закончился помилованием всех привлеченных по делу, т к. было признано, что они «действовали из чувства глубокого патриотизма». Обо всем этом В. Т. Шаламову, вероятно, рассказывал отец. Сам Варлам Шаламов мог наблюдать руины сожженного Народного дома, которые стояли в Вологде до 1918 г. (теперь на этом месте здание Театра для детей и молодежи). *(Примеч. В. Есипова.)*

[13] Воробьева — девичья фамилия матери В. Т. Шаламова.

[14] Американская система воспитания, основанная на идеях детского взаимодействия и самостоятельности. В 20-е годы практиковалась в СССР. Впоследствии отвергнута, как «буржуазная».

[15] В период между двумя лагерными сроками, в 1932—1937 гг. В. Т. Шаламов сотрудничал в редакциях профсоюзных журналов «За ударничество», «За овладение техникой», «За промышленные кадры».

[16] Американская благотворительная организация, созданная для оказания помощи странам, пострадавшим в первой мировой войне. В 1921 г., в связи с голодом в Поволжье, ее деятельность была разрешена в РСФСР.

[17] Имеется в виду инцидент с картинами М. А. Врубеля на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г. Подробнее см.: *Горький М.* Собр. соч. в 30-ти томах, т. 23. М., 1953.

[18] Осип *Комиссаров* — крестьянин, помешавший покушению Д. В. Каракозова на царя Александра II в 1866 г.

[19] Дед Шаламова — Николай Иоаннович (1829—1910), священник Вотчинской Богородицкой церкви Усть-Сысольского уезда, пережил свою жену, страдавшую нервным расстройством после гибели ребенка (его на глазах матери убило молнией). Вологодские епархиальные ведомости (1911, № 1) отозвались на кончину Н. И. Шаламова некрологом: «Венок на могилу доброго пастыря», совершившего «подвиг служения в зырянском крае».

[20] *Виноградов А. М.*— видный представитель вологодской интеллигенции. Помимо адвокатской практики он занимался краеведением, был секретарем общества изучения Северного края (членом этого общества был и Т. Н. Шаламов). В 1917 г. баллотировался в городскую думу от партии Народной свободы (кадетов). *(Примеч. В. Есипова.)*

[21] *Тетерка* М. В.— участник покушения на Александра II, осужден вместе с А. Д. Михайловым по «Делу двадцати», одному из самых важных процессов по делам народовольцев.

Ошанина М. Н. (1853—1898) — выдающаяся деятельница революционного народничества, член Исполнительного комитета «Народной воли».

Климова Н. С. — См. примеч. к т. 2 наст, изд., с. 503.

Клеточников Николай Васильевич (1847—1883) служил в III отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии по заданию «Народной воли».

[22] *Сорокин Питирим* Александрович — русско-американский социолог. Лидер правого крыла партии эсеров. После Февральской революции 1917 г. — секретарь А. Ф. Керенского, с 1922 г. — в эмиграции. В 1930—1964 гг. — профессор Гарвардского университета.

[23] Поводом для написания статьи В. И. Ленину послужила публикация в «Правде» 20 ноября 1918 г. письма П. А. Сорокина с отказом от политической деятельности. См.: *Сорокин П. А.* Дальняя дорога (автобиография). М., 1992.

[24] *Панкратов* Василий Семенович (1864—1925) — деятель «Народной воли», шлиссельбуржец, комиссар Временного правительства по охране Николая II. Воспоминания В. Панкратова «В Тобольске» опубликованы в журнале «Былое», 1924, № 26.

[25] Заметка под названием «Поп у книги» обнаружена Л. С. Пановым в газете «Красный Север» от 2 июля 1919 г.

[26] *Поспелов* П. Н. (1898—1979) — в те годы редактор «Правды».

[27] Второй «обновленческий» собор (названный обновленцами Третьим Поместным Собором, так как они считали свои соборы преемственными собору 1917—1918 гг.) состоялся в Москве 28 сентября—10 октября 1925 г. В нем участвовали 106 епископов, более 100 клириков и столько же мирян. В предыдущем обновленческом соборе в 1923 г. участвовало 476 делегатов, из них 72 епископа. Чтобы показать соотношение так называемой патриаршей и «обновленческой» церквей в период «церковной смуты», достаточно сказать, что в 1923 г. к пер-

вой принадлежало (по приблизительным данным) 13 тысяч приходов, а ко второй — 25 тысяч, в 1930 г. — соответственно — 22 тысячи и 4 тысячи

[28] *Шапиро* Лазарь Матвеевич (1903—1943), окончил 1-й МГУ, погиб на фронте.

[29] *РАНИОН* — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук в Москве (1923—1930).

[30] *Веселовские Александр Николаевич* (1838—1906) и *Алексей Николаевич* (1843—1918) были родными братьями. Отца Алеши Веселовского звали Александром Александровичем, он был сыном старшего из братьев. Деятельность А. А. Веселовского в Вологде (с 1920 г. до смерти в 1936 г.) оставила глубокий след в культурной жизни города, в частности, он издал в 1923 г. книгу «Вологжане-краеведы», сохранившую ценность доныне. Соавтором этой книги был его сын. См. скорбное предисловие к этой книге: «К моменту выхода настоящего груда один из авторов, Алексей Веселовский — юноша семнадцати лет скончался от чахотки, и судьбе угодно, чтобы оставшийся в живых отец один уже увидел напечатанным настоящий труд. Мир праху юного труженика. Посвящаю его светлой памяти эту работу». *(Примеч. В. Есипова.)*

[31] Имеются в виду события 1918 г., когда в Архангельске действовало эсеровское правительство Н. В. Чайковского.

[32] *Шигалев* — герой романа Ф. М. Достоевского «Бесы», проповедовал идеи вульгарного казарменного коммунизма, где «все рабы и в рабстве своем равны» (для достижения этой цели предлагалось «срезать радикально сто миллионов голов»).

[33] *Ветошкин* М. К. (1884—1958) — большевик, в 1918—1921 гг. председатель Вологодского губисполкома. Проводил политику, учитывающую местные условия. Принципиально выступая против «левой» линии М. С. Кедрова, добился его смещения.

[34] Текст телеграммы В. И. Ленина Кедрову:

«Т. Кедров! Вы мало сообщаете фактического. Присылайте с каждой оказией отчеты.

Сколько сделано фортификационных работ?

По какой линии?

Достаточно ли обезопасили Вологду от белогвардейской опасности?

Непростительно будет, если в этом деле проявите слабость или нерадение» (*Ленин В. И.* ПСС, т. 50, с. 172).

[35] См. книгу М. Сбойчакова и др. «Михаил Сергеевич Кедров» (Воениздат, 1969, с. 50).

[36] *Непеин* Б. С. (1904—1982) — вологодский литератор и библиограф. В 30-е гг. был репрессирован.

[37] Надежда Александровна Шаламова умерла 26 декабря 1934 г. в возрасте 65 лет. Варлам Тихонович приезжал на ее похороны, о чем есть запись в архиве ЗАГСа.

[38] Архмандрит Герасим (Михаил *Шмальц,* 1888—1969) с 1916 г. служил на Аляске и островах.

ВИШЕРА. АНТИРОМАН

В Т. Шаламов начал работу над антироманом в 1970 году, однако к теме Вишеры, первого своего лагерного срока 1929—1931 годов, он обращался и раньше, в «Колымских рассказах», в незавершенных очерках «Вишера», «Бутырская тюрьма»

Книга так и не была окончательно составлена автором Однако основной корпус рассказов и очерков был доведен до стадии беловой рукописи. На папке с рукописью рукою автора написано название «Вишера. Антироман». В дневнике (тетрадь 1970 г., II) автор упоминает название «Вишерский антироман».

Впервые· Российский летописец. М., 1989.

[1] *УРО* — учетно-распределительный отдел.

[2] *Берзин* Э. П. — См. примеч. к т. 2 наст. изд, с. 504.

[3] Управление Вишерских исправительно-трудовых лагерей.

[4] *УРЧ* — учетно-распределительная часть.

[5] Судебный процесс 1928 г.; группа инженеров и техников необоснованно обвинялась в контрреволюционной деятельности, которая якобы осуществлялась в Шахтинском и др. районах Донбасса.

[6] После Февральской революции М. В. Фрунзе был председателем Совета крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, членом исполкома Минского городского Совета.

[7] *КВЧ* — культурно-воспитательная часть.

[8] *Волков-Ланнит* Леонид Филиппович (1903—1985) — журналист, историк фотоискусства. В. Т. Шаламов познакомился с ним в кружке «Молодой ЛЕФ», которым руководил О. М. Брик.

[9] *Крыленко* Николай Васильевич (1885—1938) — с 1928 г. — Генеральный прокурор РСФСР, с 1931 г. — нарком юстиции РСФСР, с 1936 г. — нарком юстиции СССР. Репрессирован

[10] *Гаранин* Степан Николаевич — начальник Управления Северо-Восточных исправительных лагерей (УСВИТЛа) в 1937—1938 гг.

Жуков Георгий Сергеевич — начальник УСВИТЛа в 1951—1953 гг.

Павлов Карп Александрович — начальник треста «Дальстрой» в 1937—1938 гг., главный палач Колымы, рьяный исполнитель воли Сталина. В 1956 г., после XX съезда КПСС, застрелился.

БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА

Очерк тематически примыкает к циклу новелл и очерков антиромана «Вишера». Написан значительно раньше основного корпуса, в 1961 году, как и очерк «Вишера».

Впервые: Российский летописец. М., 1989.

Воспоминания



МОЯ ЖИЗНЬ — НЕСКОЛЬКО МОИХ ЖИЗНЕЙ

Мне пятьдесят семь лет. Около двадцати лет я провел в лагерях и в ссылке. По существу я еще не старый человек, время останавливается на пороге того мира, где я пробыл двадцать лет. Подземный опыт не увеличивает общий опыт жизни — там все масштабы смещены, и знания, приобретенные там, для «вольной жизни» не годятся. Человек выходит из лагеря юношей, если он юношей арестован. Подобно тому, как медицинские права, приобретенные в лагерной фельдшерской школе, действительны только в пределах Дальнего Севера, как давал когда-то «разъяснения» Магаданский Санотдел.

Мне нетрудно вернуться к ощущению детских лет. Колыму же я никогда не забуду. И все же это жизни разные. «Там» — я не всегда писал стихи. Мне приходилось выбирать — жизнь или стихи и делать выбор (всегда!) в пользу жизни.

Я пишу стихи с детства. Мне кажется, что я писал стихи всегда. И все-таки.

В одной из статей обо мне писали, что я прошел вместе с нашей страной по всем ее рубежам. Это — удачное выражение. Мне пятьдесят семь лет. И я хорошо помню Первую мировую войну — «германскую» войну, мобилизацию, телеги с новобранцами, пьяный «Последний нынешней денечек», немецких военнопленных, переловивших всех городских голубей. Примерно с 1915 года голубь перестал считаться священной птицей в Вологде.

В 1915 году немецкий военнопленный ударил на бульваре моего второго брата ножом в живот, и брат едва не умер — жизнь его несколько месяцев была в опасности, — пенициллина ведь не было тогда. Тогдашний знаменитый хирург вологодский Мокровский спас его жизнь.

Увы, эта рана была только предупреждением. Через три-четыре года брат был <убит>.

Оба моих старших брата были на войне. Второй брат был красноармейцем химической роты VI армии и погиб на Северном фронте в двадцатом году. Отец мой ослеп после смерти любимого сына и прожил тринадцать лет слепым.

Я помню хорошо «германскую войну» не из рассказов взрослых, а потому, что жизнь широким потоком переливалась за порог нашей квартиры, удары ее волн были порой тяжелы, иногда смертельны.

В 1915 году я написал стихотворение, пейзажно-военное, вроде полтавского боя, только с модернизацией военной техники, и отнес это стихотворение учителю русского языка.

Я хорошо помню классный зал, резкий боковой солнечный свет на паркетных плитах, задевающий голову учителя. Ширяев, кажется, была его фамилия.

Ширяев разобрал мое стихотворение по всей прозаической строгости. Главное внимание было уделено не подражательности, не погрешностям ритмического порядка, не образной малокровности. Речь шла о недопустимости инверсии, не <в> первом, но все равно в том беспомощном стихотворении была такая строка:

Вот кавалерия неслась, в столбах пыли взвиваясь.

Учитель говорил, что надо писать «Вот, в столбах пыли взвиваясь, кавалерия неслась» — так и складнее, и правильнее с точки зрения русской грамматики.

Я хотел сказать, что это будут два разных стихотворения, но выразить своей мысли не мог и был посрамлен и распят. Это меня не огорчило. Я слушал рассуждения о чистоте русского языка с полным равнодушием — мне казалось, что учитель просто чего-то не понял, и быстро забыл этот разговор в школьных играх, в возне на большой перемене.

Но потому, что я вспоминал этот случай много раз в течение всей моей жизни, — я думаю сейчас, что это было большой душевной травмой.

Пушкин, дескать, так бы не писал.

Несчастье наших школьных программ по русской поэзии в том, что, для начала знакомя с великим русским поэтом, детей заставляют постичь, зазубрить, заучить несуществующие достоинства такого слабого сти-

хотворения Пушкина, подражательного, растянутого, выспреннего, как «Воспоминания в Царском Селе».

Научить любить Пушкина по этому стихотворению невозможно. Оттолкнуть от поэзии, изучая такое стихотворение как образец, можно. Так и бывает.

Стихи я писать не перестал, но к взрослым перестал обращаться со своими стихами и не показывал их никому целых двадцать лет — до 1927 года, до Н. Н. Асеева.

Вот какого рода травма может быть из-за нечуткости, неосведомленности учителя. Элементарный поэтический прием инверсии был учителю русского языка неизвестен и вызвал холодный огонь критики.

Всю жизнь я вспоминаю косое желтое солнце из окна на плитах паркета, звук, свет из-за плеча учителя.

Много лет позже я вздрогнул перед одной картиной в Третьяковской галерее. Таким был желтый солнечный свет на каменном квадратике пола, так же луч солнца задевал лысый череп одного из людей. Это была картина Ге — «Что есть истина». Это была школа моего детства, мой первый разговор с взрослым о стихах.

Картина Ге — не бог весть что ни с сюжетной, ни с живописной точки зрения. Но к каким-то жизненным аналогиям, к каким-то совпадениям она, как и всякое настоящее произведение искусства, — зовет.

В живописных пейзажах такого рода ощущения более часты. Часты они в музыке и особенно часты — в поэзии. Истинной поэзии без этих «совпадений» и не бывает. Но все это было понято много позднее.

Травма же, полученная от школьного учителя, вызвала недоверие к Пушкину ранее всего. Ибо ведь я чувствовал свою правоту. Мне подсказала жизнь, и жизнь оказалась сильнее Пушкина, от имени которого осмелился со мной говорить школьный учитель.

Случилось так, что в жизни моей не было человека, который открыл бы мне поэзию — русскую поэзию. Этим человеком мог бы стать брат, отец, мать, дядя, школьный учитель, который прочел бы со мной живым языком живые стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Мне не открыл поэзии никто. Мама моя могла бы это сделать, как я догадывался позже, уже в разлуке с семьей. Мама моя была человеком крайне нервной организации, которая плакала, слушая всякую музыку — не отличая в своем отклике минора от мажора. Симфони-

ческая музыка, рояль и скрипка приводили ее в трепет, почти к истерии. Мама моя знала бесконечное количество стихов — на всякие случаи из классиков-авторов — я не мог сообщить ей ничего нового. Всевозможные стихотворные цитаты имелись у мамы на все случаи жизни, и именно поэтому я думаю, что стихи играли в ее жизни роль очень большую и вполне реальную. О значении стихов в жизни людей будет речь дальше.

— Может быть, радио тебе поставить, — говорил я маме. Детекторный приемник уже появился тогда.

— Нет-нет. Я буду целый день плакать. Я не могу слушать музыку.

Через много лет мне рассказывал Пастернак, что не может в кино смотреть крупный план — слезы текут: «Лошадь какую-нибудь крупным планом покажут в хронике, а я — реву навзрыд», — так что мамина особенность не такая уж редкость.

Да маме и некогда было со мной — слепой отец был на ее руках.

Я двигался ощупью, от книги к книге. И в моей поэтической судьбе мне был близок раньше Хлебников, чем Пушкин, раньше Северянин, чем Блок. А с Тютчевым — высочайшая вершина русской лирики, — с ним я познакомился всерьез и сблизился уже взрослым, когда мне было чуть не сорок лет.

В моей жизни были периоды, «главы», когда приходилось выбирать: жизнь или стихи. И я не писал стихов по многу лет. И возвращался к ним при первой возможности со всей торопливостью и страстностью задыхавшегося бегуна. Но все это позже, много позже.

А пока была школа. Вологодская школа, дорогая преподавательница литературы Екатерина Михайловна Куклина, классный руководитель Елизавета Николаевна, преподавательница немецкого языка (одновременно Елизавета Николаевна заведовала кафедрой Вологодского пединститута), — обе они горячо верили в мое литературное будущее.

Я и сам чувствовал в себе большие силы, по-детски не умея найти их истинный масштаб.

Уроки литературы — как бы казенны ни были программы — были праздниками для меня. Истории — тоже. Историю читала нам Вера Николаевна Попова — не знаю ее судьбы.

Математикой я не интересовался, но учился на высшие отметки. Учение давалось мне легко и просто каза-

лось немыслимым, что я не могу ответить на любой вопрос школы.

Екатерина Михайловна Куклина в 1921 году организовала у нас в школе кружок любителей современной поэзии, что свело меня с символистами — Бальмонтом, Брюсовым и Блоком. Подготовка к докладу познакомила меня со стихами этих поэтов глубже модного тогда «Каменщика». Брюсов оставил меня холодным. Бальмонт привлек своей музыкальностью, а до Блока я тогда еще не дорос. Наибольшее впечатление произвел на меня тогда Северянин не своим словарем, а великим искусством стиха, своей ритмической разнообразностью и совершенством.

Я и сейчас считаю, что поэтическая молодежь не должна пройти мимо такого мастера русской поэзии, исключительно чистого поэтического горла, — несмотря на всю пошлятину ряда его произведений. Северянин — настоящий поэт, поэт самой чистой пробы, новатор, показавший интонационные возможности русского стиха.

Северянин гораздо более истинный поэт, чем Бальмонт или Брюсов — очень далекий, в сущности, от поэзии человек, испортивший своих учеников, вроде Гумилева — поэта, в ком брюсовское начало губит то большое, для чего Гумилев был призван в жизнь.

С Северяниным связаны очень любопытные подробности, не очень значительные, быть может. Я показал книжку «Поэзоантракт» своей тогдашней школьной подружке, и она вернула мне через неделю, отметив галочкой лучшие, по ее мнению, стихотворения «Поэзоантракта», — этот сборник, эта самая книжка попала мне на глаза через много-много лет.

Я перечел стихи сборника, лучшие — восемь или десять стихотворений — были как раз те, которые отметила мне школьная подружка. А ведь ей было четырнадцать, что ли, лет. Я подивился ее безукоризненному литературному вкусу, чувству.

Для чего я это рассказал? По моему глубокому убеждению, поэзия — это опыт. Стихотворение «Поэзия — дело седых» подвергалось неоднократной критике. Что, дескать, поэзия и молодость — синонимы. Да, есть такое выражение — поэзия молодости. Но чтобы выразить в художественной <форме> эту поэзию молодости, нужна художественная зрелость, нужен огромный душевный опыт, который у поэта не расхолаживает, а разгорячает, закаливает романтический огонь на сигнальных кострах

эпохи. Для создателя произведения о поэзии молодости нужна художественная зрелость. А эта художественная зрелость достигается огромным личным опытом. Исторические исключения лишь подтверждают правила.

А вот восприятие поэзии, чужой поэзии, в юные годы острее, гораздо острее. Вот это-то восприятие поэзии и путают с поэтическим мастерством. Потребление путают с производством.

Но вернемся в Вологодскую школу времен Гражданской войны.

После смерти брата и слепоты отца жизнь в семье стала очень трудной.

Отец очень любил хозяйство — огороды, а также кур, уток, рыбную ловлю, охоту. К рыбной ловле он меня не приучил, к охоте — еще меньше. Ненавижу охоту и по сей день и горжусь, что за всю свою жизнь не убил ни одной птицы, ни одного зверя.

У отца были козы. Вот с козами я возился охотно, доил их. Коз отец держал до самой своей смерти. Последняя коза была украдена из сарая в ту самую ночь, когда отец умирал.

Для матери эта потеря была не катастрофой дополнительной, а освобождением от вечных хозяйственных забот.

Одно из страшных воспоминаний детства: улюлюкающая толпа несущихся по бульвару за удирающей красной белкой — крохотным напуганным существом — которое в конце концов убивают палками, камнями под рев, улюлюкание людей, которые в это время теряют все человеческое и сами обращаются в зверей.

Ловля таких забегавших в город белок на бульварах была традиционной городской забавой. Я видел эти страшные картины в детстве не один раз.

Вторым была смерть козы. Коза Тонька наелась какой-то дряни, заболела и умерла.

Ветеринара мы не звали, да и вряд ли были тогда какие-нибудь ветеринары.

Третья тяжелая потеря моего детства — это смерть лодки. Я очень любил лодку. Отец и второй брат ловили на ней рыбу, ездили за ягодами, а <я> любил ездить и один и с товарищами.

Весной ее торжественно красил отец, и запах краски на лодке был лучшим из весенних запахов городских — о весне, о лете, о воде. Зимой лодка стояла у стены под окнами нашей квартиры, оберегали, чтоб она не рассыха-

лась, потом пришла весна, когда лодку не красили — ни брату, ни отцу лодка уже пригодиться не могла, а я был слишком мал. Прошел еще год. Лодка стояла у стены. Еще зима... Лодку покрасили весной, и какие-то надежды вдруг родились снова: зачем ее красят? Но оказалось, что сосед просил поудить рыбу. Осенью лодку поставили на старое место. Этой осенью я уехал в Москву и попрощался с лодкой. Днище уже прогнило, краска облупилась.

Лодка молчала, лежала на привычном своем месте.

Она умерла позже своих хозяев, так и не побывав больше на реке, на воде.

Я хорошо помню февральскую революцию — как легко рухнул в сырой весенний день орел — огромный, чугунный, обвязанный канатом, сорванный, сдернутый с фронтона мужской гимназии.

Помню и Октябрьский переворот, в Вологде более будничный, чем свержение самодержавия, но в то же время и более значительный по разговорам взрослых, по тревоге общей.

В школе удивительным образом появился преподаватель политэкономии Позняков — в красных галифе. Позняков читал нам политграмоту по Коваленко, был тогда такой популярный учебник, изданный массовым тиражом на газетной бумаге, слепым шрифтом: «Учебник Политграмоты в вопросах и ответах».

Применительно к этому и обучал нас Позняков. Красные галифе мелькали в городе несколько месяцев на всех улицах — Позняков успешно ухаживал за Тамарой Грегори, дочкой доктора Грегори.

Я хорошо помню Кедрова[1] — командующего Северным фронтом, помню его вагон.

Помню латышей — в синих галифе, танцующих в городском саду без дам, друг с другом.

Урок с неловким сочинением стихов не пропал для меня даром. Опасные мои литературные занятия я проводил в глубокой тайне от взрослых. Едва кончал готовить уроки, я принимался за таинственную игру, в которую я играл, и, избегая карандашей, щепками, спичечными коробками я разыгрывал про себя Гоголя, «Дубровского» Пушкина и особенно Гюго и Александра Дюма.

Игры эти длились чуть не каждый день, целыми часами.

Родители мои, видя, что ничего опасного в этой игре нет, не мешали мне. Этот театрализованный пересказ

для себя всего прочитанного длился все детство. Отцовский книжный шкаф был в моем полном распоряжении.

Впрочем, Александр Дюма был не из отцовского шкафа. В 1918 году были конфискованы помещичьи библиотеки и создана на месте городской тюрьмы в центре города рабочая библиотека. Стены тюрьмы были разрушены — остались только комнаты на втором этаже, где хозяйничала краснощекая библиотекарша Маруся Петрова, кажется.

Год знакомства с этой библиотекой был очень ярким для меня. Дюма, Конан Дойль, Понсон дю Террайль[2], Густав Эмар[3], Майн Рид, Виктор Гюго, капитан Марриэт[4] — все в золотых переплетах ждали меня каждый день. Я читал и переигрывал все прочитанные романы подряд.

Помню, были в большой моде антирелигиозные диспуты.

Я сам был участником этих диспутов. Мой отец, слепой священник, ходил сражаться за Бога. Сам я лишен религиозного чувства. Но отец мой был верующим человеком и эти выступления считал своим долгом, нравственной обязанностью.

Я водил его под руку, как поводырь. И учился крепости душевной.

Помню, как в железнодорожном клубе он, увлекшись, повернулся во время речи в сторону и говорил, говорил в кулисы, в стену, и мне стоило большого труда повернуть его к слушателям. Он увлекся и ничего не замечал.

Семья рассыпалась. Отец сидел целые дни в кресле — спал днем. Я пытался его будить — врачи сказали, что ему не надо спать. Однажды он повернулся ко мне лицом и с презрением к моей недогадливости сказал: «Дурак. Во сне-то я вижу». И этот разговор я не смогу забыть никогда.

Семья рассыпалась. Вышла замуж сестра.

Отец водил меня по городу, стараясь по мере сил научить доброму. Так, мы долго стояли у здания городской синагоги, и отец объяснял, что люди веруют в Бога по-разному и что для человека нет хуже позора, чем быть антисемитом. Это я хорошо понял и запомнил на всю жизнь. На празднике свержения самодержавия — отец тоже меня водил, чтобы запомнил это. Ходил я на все демонстрации праздничные Октябрьской годовщины — узенькие ленты с красными знаменами — год от года все уверенней и гуще ряды демонстрантов. Митинги на футбольном поле перед театром.

Впервые виделись мной полеты Ньюпора — крошечный одноместный самолет, аэроплан, как тогда назывался, с брезентовыми крыльями. Перевернувшийся самолет и вдребезги разбитый пропеллер, кусочек которого я долго хранил, как реликвию.

«Высшей Инженерной дистанции» вологодский работник, тогда молодой конструктор Ильюшин[5]. Его уже тогда нам, ребятам, показывали издали.

Взрывы артиллеристских складов — несколько дней подряд. Аресты в городе.

Пожар в страшную засуху 1920 года, унесший треть города — все Заречье.

<Отсутствуют тетради 4, 5, 6.>

* * *

Сергей Михайлович Третьяков, высокий, узкогубый, был человеком решенных вопросов. Он и слышать не хотел о каких-то сомнениях кого-нибудь своих.

Хочешь работать — научим, поможем, не хочешь — вот тебе бог и порог.

Научиться у него работе журналистов было можно, он не гнушался инструкциями по черновой работе очеркиста. Бывший министр просвещения ДВР, бывший профессор кафедры русского языка в Пекине.

— Вот мы опишем этот дом, сделаем фотографии двухсот тридцати пяти квартир. Я проверял — нужно будет подчеркнуть вот что... А что бросается в глаза раньше всего, когда входишь в комнату?

— Зеркала, — сказал я.

— Зеркала? — раздумывая, спросил Третьяков. — Не зеркала, а кубатура.

Ходил к нему из Гендрикова Тренин[6], Харджиев[7], Волков-Ланнит[8].

Поэтов ни будущих ни настоящих Третьяков не любил. Он и сам был не поэт, хотя сочинял стихи и даже целую поэму «Рычи, Китай», переделанную потом в пьесу.

На Малую Бронную ходил я недолго из-за своей строптивости и из-за того, что мне жалко было стихов, не чьих-нибудь стихов, а стихов вообще. Стихам не было место в «литературе факта» — меня крайне интересовал тогда (интересует и сейчас) вопрос — как такие разные люди уживаются под лефовской и новолефовской кровлей.

У меня были кой-какие соображения на этот счет.

Я работал тогда в радиогазете «Рабочий полдень».

— Вот, — сказал Сергей Михайлович, — напишите для «Нового Лефа» заметку «Язык радиорепортера». Я слышал, что надо избегать шипящих и так далее. Напишете?

— Я, Сергей Михайлович, хотел бы написать по общим вопросам, — робко забормотал я.

Узкое лицо Третьякова передернулось, а голос его зазвенел:

— По общим вопросам мы сами пишем.

Больше я на Малой Бронной не бывал.

Избавленный от духовного гнета «литературных фактов», я яростно писал стихи — о дожде, о солнце, о всем, что в Лефе запрещалось.

Отнес в «Красную новь», консультантом там был Митрофанов[9] — автор повестей «Июнь — июль» и «Северянка». Писатель не настоящий, <стихи> даже взять отказался.

— Возьмите эти пастернаковские стихи. Вся Россия пишет под Пастернака. И вы тоже. И знаете, идите домой, не приносите пастернаковских стихов.

Я перечел отвергнутые стихотворения.

Игрою детской увлеченный,
Я наблюдаю много лет,
Как одноногие девчонки
За стеклышками скачут вслед
Мальчишки с ними не играют,
А лишь восторженно галдят
Когда такая вместо рая
Вдруг попадает прямо в ад.
И неудачнице вдогонку
Запустят в спину кирпичом*,
На то она ведь и девчонка,
Им все, девчонкам, нипочем

Что тут пастернаковского? Я ничего не понимал. В конце концов мне было все равно, кому я подражаю. Я ощутил с грустью, что мне печататься рано, что для всех моих настроений существовали чужие стихи, чужие ритмы, чужие слова, которые я и вспоминал. Очень редко случалось, что я ничего не вспоминал, ничего не находилось в голову из великого множества стихотвор-

* Окончательный вариант. «Грозятся бросить кирпичом»

ных строк, задержавшихся в мозгу, — чтобы помочь или погубить меня? Этого я не знал.

Жизнь требовала некого резкого поворота, и я нашел его <...>

<В февр. 1929 г. Шаламов был арестован и направлен для отбывания срока в Вишерский лагерь. Это время описано им в антиромане «Вишера».>

Вернулся в Москву в 1932 году и крепко стоял на «всех четырех лапах».

Стал работать в журналах, писать, перестал замечать время, научился отличать в собственных стихах свое и чужое. Каленым железом старался все чужое вытравить.

Думал над рассказом, над его возможностями и формой. Научился, как казалось мне, понимать, зачем нужен дождь в рассказе «Мадмуазель Фифи» Мопассана.

Написал 150 сюжетов рассказов, неиспользованных еще.

Написал 200 стихотворений. В трех тетрадях <их> берег. Увы, жена тогдашняя моя мало понимала в стихах и рассказах и сберегла напечатанное и не сберегла написанное, пока я был на Колыме.

Работал в газете, в журналах, написал много очерков, статей.

И очень хорошо понял, что для писателя, для поэта работа в газете — худшее из занятий. Это не разные уровни общего литературного дела. Это — разные миры. Журналист, газетный работник — это помощник своих хозяев. Писатели же — судьи времени. Лучше быть продавцом магазинным или газетным киоскером, чем в газете работать, лучше быть следователем, доктором, учителем, только не газетным работником.

Художественное изображение событий — это суд, который творит писатель над миром, который окружает его. Писатель всесилен — мертвецы поднимаются из могил и живут.

Я понял также, что в искусстве места хватит всем и не нужно тесниться и выталкивать кого-то из писательских рядов. Напиши сам, свое. Но что у меня свое. Бесспорно свое. Жизнь все еще не выливалась в стихи так, как это надо было сделать. Мало крови я отдавал слову. Стиху надо было отдать судьбу и собственную кровь. Надо писать о своем и по-своему. Я понимал это, но бесспорного решения все же не находил. Может быть, я — новый Грин?

Я написал несколько рассказов, и их охотно напечатали. Ни в одном рассказе мне не отказали, кроме рассказа, который шел по конкурсу «Правды» — на короткий рассказ. Конкурс — весной 1936 года был еще не кончен, когда меня вызвали письмом в редакцию, хотя все это было «под девизом» с прочими пионерами закрытого конкурса. Бронштейн[10] беседовал со мной.

— Мы решили напечатать ваш рассказ.

— Ну, что ж.

— Только вот техницизма кружевного дела поубавьте да кроме вашей старушки кружевницы введите героиню помоложе.

Я ушам своим не верил.

— Но ведь легче написать новый рассказ. Ведь в рассказе пять страниц на машинке.

— Дело ваше.

— Давайте рассказ назад.

Не заходя домой, я отослал «Паву и древо» — так назывался рассказ о вологодской кружевнице — в «Литературный современник» и через неделю получил письмо от Козакова[11], что рассказ принят, идет. Рассказ напечатан в майском* номере «Литературного современника» — уже после моего ареста.

В Москве есть человек, который является как бы дважды моей крестной матерью — Людмила Ивановна Скорино, рекомендовавшая когда-то самый первый мой рассказ «Три смерти доктора Аустино» — в «Октябрь» в 1936 в № 1 Панферову[12], Ильенкову[13] и Огневу[14] и в 1957 году в «Знамени» напечатавшая впервые мои стихи — «Стихи о Севере».

Я набирал силу. Стихи писались, но не читались никому. Я должен был добиться прежде всего необщего выражения. Готовилась книжка рассказов. План был такой. В 1938 году первая книжка прозы. Потом — вторая книжка — сборник стихов.

В ночь на 12 января 1937 года в мою дверь постучали:

— Мы к вам с обыском. Вот ордер.

Это было крушение всех надежд. Будто снова я стоял в коридоре Вологодского отдела народного образования и ждал решения.

А вот и решение: «В командировке в высшее учебное заведение отказать». А я ведь кончил школу лучшим учеником. Ничего так не хотел, как учиться, учиться.

---

* Мартовском

Донос на меня писал брат моей жены <Борис Игнатьевич Гудзь>.

С первой тюремной минуты мне было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой «социальной» группы — всех, — кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить. Камера была набита битком военными, старыми коммунистами, превращенными во «врагов народа». Каждый думал, что все — страшный сон, придет утро, все развеется и каждого пригласят на старую должность с извинениями. Но время шло — почтовым ящиком Бутырской тюрьмы служила деревянная дверь в бане. На красноватых, как будто политых человеческой кровью метлахских плитах бани Бутырской тюрьмы нельзя было нацарапать никаким инструментом ни одной черточки. Знаменитый химик позаботился о том, чтобы сделать тюремные плиты крепче стали. В допросных коридорах, на стенах «собачников» — приемных, карантинных камерах тюрьмы были зеленые стеклянные плитки такого же непробиваемого рода. Никакая краска, ни химический карандаш — ничто не ложилось на эту проклятую плитку. Можно было ведь сделать на них краткое, но важное сообщение, знак, по которому другой человек, еще остававшийся в тюрьме, мог сделать важные выводы. Но стены Бутырки были мертвыми, <стеклянными>, а вывод на прогулочном дворе не приводил обычно к цели. В тюрьме все искусно разобщены физически — так же, как в лагере люди разобщались морально, там незримые стены.

В тюрьме живет единство, дух товарищеской солидарности, но — простота отношений — два мира — разделены тюремной решеткой, а это всегда сближает и тех, надзирателей, и нас, следственных арестантов.

Люди в следственной тюрьме делятся на два рода. Подлецу, когда он попадает невиновным в тюрьму, кажется, что только один он — невиновен, — а все окружающие его — несомненные государственные преступники. Как же — их арестовало НКВД, которое никогда не ошибается. Порядочный человек, когда он попадает в тюрьму, рассуждает так: если меня могли арестовать невинно, незаслуженно, как выражались в 1969 году газеты (как будто можно в отношении репрессий применить прилагательное «незаслуженное». Репрессия есть репрессия. Это государственный акт, в котором личная вина пострадавшего имеет второстепенное значение), то и с моим соседом по камере может случиться то же самое.

Я вскоре стал старостой камеры и несколько месяцев пытался помочь людям обрести самих себя. Трудная это штука, но успокоить новичка очень важно.

Но мне следует вернуться к тюремной двери, к тяжелой двери бани Бутырской тюрьмы. Баня — день отдыха арестантов. Выход на воздух, перемена, стирка белья, движение, движение, небо, какие-то живые лица новые, а самое главное — посещение бани — это обмен новостями.

Единственный почтовый ящик Бутырской тюрьмы — это серая дверь, изрезанная тысячей ножей и тысячей гвоздей, обломком железа и жести, которые арестанты хранят, собирают, ищут в течение целой недели, берегут от обысков, от высококвалифицированных обысков, которые называют в Бутырской тюрьме «сухой баней».

Этот регулярный обыск — сухая баня — Бутырской тюрьмы заслуживает целой поэмы, но я сейчас об обыкновенной бане, точнее, о большой двери. Банная дверь не защищена метлахскими плитками. Она деревянная, с одной стороны, где раздевалка, выход и обита железом, с другой, внутренней.

Когда-то начальство, несомненно, обивало все двери железом листовым, но терпение все превозмогает, а арестанты очень терпеливы. Дверь снова покрывали надписями, как выломанные доски в заборе около железнодорожной станции, которые как ни заделывай — все равно выломают десятки, тысячи безымянных хранителей традиций и привычек.

Дверь в баню меняли, изломанное и исчерченное железо. Но это стоило слишком дорого, и администрация только закрашивала все написанное. Время от времени меняли обшивку дверей целиком. Дверь превращалась в огромную грифельную доску, на которой новые сотни людей могли выскребывать свои сообщения, свои SOS. Что же это были за сообщения? «5» — самая краткая форма, доступная каждому. Этой надписи ждет какая-нибудь 80 камера, где Федоров, чье дело и ход следствия камере хорошо известен, несколько времени назад взят из камеры — по-видимому, получил срок, переведен. Значит, Федоров, новый Федоров, мечтавший о свободе, получил пять лет, несмотря на свою полную невиновность. А что же ждет его одноdельца, который обвинен по рассказам Федорова в гораздо более серьезных преступлениях?

Вот, значит, как сейчас судят. Пять лет. И еще — Федоров еще никуда не отправлен, он здесь, еще вчера

рядом с тобой, еще вчера он нацарапал эту кровоточащую свежей кровью надпись. Может быть, он пришлет и записку. А может быть, стоит попытаться передать записку и ему. Значит, судят и судят, все параши, все слухи вонючи так же, как тюремная «параша».

Вот как много может дать такая краткая надпись. Те, кто ждет, тут и истолковывают надписи на двери. И сам царапает. Сам отвечает. Почтовый ящик работает на славу.

Двойной оборот тюремного замка, вызовы (с вещами, или с инициалом, как мрачно, острили тюремные остряки). Поговорка — лучше быть здоровым на воле, чем больным в тюрьме. Новые люди — перепуганные, растерянные. Приятно было видеть, как в человеке просыпается человек. Как он постепенно опять начинает жить — пусть тюремной жизнью. Вот он рассказывает новости, вот он смело протягивает миску за добавкой. Значит, он ожил. Тюремные профессора, доценты — целый университет, лекции. Толсторожий Ленька, злоумышленник из Тумского района Московской области, юноша — житель глухого московского села, совершивший то же преступление, что и чеховский злоумышленник, — отвинчивал гайки от рельс железной дороги на грузила. Ленькино следствие длилось долго. Его обвинили во вредительстве, по пятьдесят восьмой статье, пункт 7, Ленька молился на тюрьму. Бутырская камера показала ему свет, была лучшим временем его жизни. Здесь так сытно. И люди все такие хорошие.

И рядом с толстым, бледным Ленькой на нарах — генеральный секретарь общества политкаторжан Андреев.

<Далее тетради отсутствуют.>

<Тетрадь без номера>

Были рассказы и другого рода — на материале живой жизни. Таким был рассказ «Пава и древо», напечатанный в № 3 журнала «Литературный современник» за 1937 год в Ленинграде. Это рассказ об ослепшей вологодской кружевнице, которой сделана операция, — простенький, наивный.

В эти же годы было написано вчерне несколько десятков рассказов — все пропало во время войны и моих

скитаний на Дальнем Севере. Пропали и три тетрадки со стихами. Восстановить их невозможно, да, наверное, и не нужно. Рассказов я не жалею, потому что нашел недавно рукопись одного из этих старых рассказов. Он плох, безличен.

Я никогда не пытался написать роман, даже подумать боялся над столь сложной архитектурной формой. Но над рассказами я думал много — и раньше и теперь.

С 1937 года по 1951 год я был в заключении. Условия Севера исключают вовсе возможность писать и хранить рассказы и стихи — даже если бы «написалось». Я четыре года не держал в руках книги, газеты. Но потом оказалось, что стихи иногда можно писать и хранить. Многое из написанного — до ста стихотворений — пропало безвозвратно. Но кое-что и сохранилось.

В 1949 году я, работая фельдшером в лагере, попал на «лесную командировку» — и все свободное время писал — на обороте старых рецептурных книг, на клочках оберточной бумаги, на каких-то кульках.

В 1951 году я освободился из заключения, но выехать с Колымы не смог. Я работал фельдшером близ Оймякона, в верховьях Индигирки, на тогдашнем полюсе холода и писал день и ночь — на самодельных тетрадях.

В 1953 году уехал с Колымы, поселился в Калининской области, на небольшом торфопредприятии, работал там два с половиной года агентом по техническому снабжению. Торфяные разработки с сезонницами-«торфушками» были местом, где крестьянин становился рабочим, впервые приобщался к рабочей психологии. Там было немало интересного, но у меня не было времени — мне было больше 45 лет, я старался обогнать время и писал день и ночь — стихи и рассказы. Каждый день я боялся, что силы кончатся, что я уже не напишу ни строчки, не сумею написать всего, что хотел.

В 1953 году в Москве встретился с Пастернаком, который незаслуженно высоко оценил мои стихи, присланные ему в 1952 году

Осенью 1956 года я был реабилитирован, вернулся в Москву, работал в журнале «Москва», писал статьи и заметки по вопросам истории культуры, науки, искусства.

Многие журналы Союза брали у меня стихи в 1956 году, но в 1957 вернули все назад. Только журнал

«Знамя» напечатал шесть стихотворений — «Стихи о Севере». Этот цикл встретил положительную оценку у рецензентов «Литературной газеты».

В 1958 году в журнале «Москва», в № 3 опубликовано пять моих стихотворений.

В «Дне поэзии» 1961 года напечатали стихотворение «Гарибальди в Лондоне».

Переводил для «Антологии грузинской литературы», для сборников чувашских, адыгейских поэтов стихи Радована Зоговича[15] для издательства «Иностранная литература».

В издательстве «Советский писатель» в 1961 году вышел небольшой сборник «Огниво», получивший ряд положительных рецензий («Литературная газета», «Литература и жизнь», «Новый мир»).

В сборнике этом пятьдесят три стихотворения, а написал я около тысячи.

Сдал сборники «Шелест листов» — в «Советский писатель» и «Вода и земля» — в «Молодую гвардию»[16].

Написал несколько десятков рассказов на северном материале, десятка два очерков.

Проза будущего кажется мне прозой простой, где нет никакой витиеватости, с точным языком, где лишь время от времени возникает новое, впервые увиденное — деталь или подробность, описанная ярко. Этим деталям читатель должен удивиться и поверить всему рассказу. В коротком рассказе достаточно одной или двух таких подробностей. В последних рассказах Бунина, только, конечно, не таких, как «Чистый Понедельник», а гораздо лучших, есть кое-что похожее на настоящую прозу будущего. Есть кое-что и у Сент-Экзюпери <зачеркнуто>.

Думается, что короткая фраза, входящая снова в моду, после двадцатых годов не отвечает традициям русского языка, духу и природе русской прозы Гоголя — Достоевского — Толстого — Герцена — Чехова — Бунина...

Бабель принес короткую фразу из французской литературы.

Что касается стихов, то космос поэзии — это ее точность, подробность. Ямб и хорей, на славу послужившие лучшим русским поэтам, не использовали и в тысячной доле своих удивительных возможностей. Плодотворные поиски интонации, метафоры, образа — безграничны.

Возврат к ассонансу от рифмы для русского языка бесплоден... Корневые окончания — обыкновенный ассонанс. «Свободный» стих и белые стихи могут быть поэзией, но это поэзия — второго сорта.

Вот почти все, что мне хотелось Вам сказать.

Это — не автобиография. Жизнь я видел слишком близко, и говорить о ней надо не таким голосом. Это и не рецензия на собственные вещи. Это — литературная нить моей судьбы.

С уважением *В. Шаламов*. <Черновик письма к Л. Скорино>

<1964>

В 1923 <окончил> школу II ст. в г. Вологде.

1924 Кунцево, кожевенный завод, дубильщик.

1925 —:-

1926 <поступил> I Московский Университет, факультет советского права.

1927 — :-

1928 — :-

1929 арест, г. Красновишерск, лагерь.

1930 Березники Уральской области.

1931 Березники — ТЭЦ — зав. бюро экономики труда.

1932 Москва <работа в журнале> «За ударничество».

1933 <работа в журнале> «За овладение техникой».

1934 <работа в журнале> «За промышленные кадры».

1935 — -

1936 — :-

1937 арест и Моя Колыма.

1938 — :-

1939 — :-

1940 — :-

1941 — -

1942 — :-

1943 — -

1944

1945

1946 Окончил фельдшерские курсы.

1947

1948

1949

1950

1951 Освободился и работал фельдшером вольнонаемным.

1952

1953 Отъезд на материк. Работа агентом по техн. снабж.

1954 Озерки и Решетников0, торфопредприятие.

1955 агент по техн. снабжению.

1956 Реабилитация, приезд в Москву — работа в журнале «Москва», много очерков.

1958 Москва. Заболевание

1959 и переход на пенсию.

1960 Пенсионер II гр.

1961 Пенсионер. Выход стихов «Огниво» <сборника стихов>.

1962

Соц. происхождение — сын священника.

<1961>

ПРИМЕЧАНИЯ

Автобиография В. Т. Шаламова «Несколько моих жизней» — «Моя жизнь» имеет два основных варианта и много разночтений. Один из вариантов неоднократно публиковался («Стихотворения». М., 1988), «Воспоминания» (М., 2001).

В настоящем издании публикуется вариант, названный автором «Моя жизнь». К сожалению, не все тетради сохранились вследствие несанкционированных обысков и хищений архива.

Однако и в сохранившемся тексте имеются значительные разночтения с опубликованным, потому представляется необходимым сделать его известным исследователям и читателям Шаламова.

Подлинники рукописей хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства, ф. 2596, оп. 2, ед хр. 78.

[1] *Кедров* Михаил Сергеевич (1878—1941) — сов. партийный и государственный деятель, возглавлял Особый отдел ВЧК в 1919 г.

[2] *Понсон дю Террайль* (1829—1871) — фр. писатель, автор романа «Похождения Рокамболя» (1858—1859).

[3] Эмар *Густав* (наст. имя Оливье Глу) (1818—1883) — фр. писатель, автор романов «Следопыт», «Пираты прерий» и др.

[4] Марриэт *Фредерик* (1792—1848) — англ. писатель, автор «морских романов», «Питер Симпл», «Мичман Изи» и др.

[5] *Ильюшин* Сергей Владимирович (1894—1977) — авиаконструктор.

[6] *Тренин* Владимир Владимирович (1904—1941) — литературовед.

[7] *Харджиев* Николай Иванович (1903—1996) — литературовед, коллекционер.

[8] *Волков-Ланнит* Леонид Филиппович (1903—1985) — журналист, историк фотоискусства.

[9] *Митрофанов* Александр Георгиевич (1899—1951) — автор повести «Июнь — июль» (1931) и романа «Северянка» (1935).

[10] *Бронштейн* Лев Семенович (ум. 1937) — журналист, работал в «Правде» (упом. «Михаил Кольцов Каким он был». М., 1989, с. 61).

[11] *Козаков* Михаил Эммануилович (1897—1954). В 1933—1941 гг. гл. редактор журнала «Литературный современник».

[12] *Панферов* Федор Иванович (1896—1960). С 1931 г. гл. редактор журн. «Октябрь».

[13] *Ильенков* Василий Павлович (1897—1967) — писатель. Печатался в журн. «Октябрь».

[14] *Огнев* Николай (наст. имя Михаил Григорьевич Розанов) (1888—1938) — прозаик, драматург.

[15] *Зогович* Радован (1907—1986) — сербско-хорватский поэт.

[16] «Вода и земля», сборник в «Молодой гвардии» не вышел. «Шелест листьев» вышел в изд-ве «Советский писатель» в 1964 г.

<1961>

НАЧАЛО

Мне шестьдесят лет. Я горжусь, что за всю свою жизнь я не убил своей рукой ни одного живого существа, особенно из животного мира. Я не разорил ни одного птичьего гнезда, не умел стрелять из рогатки, не держал в руках охотничьего ружья и иного оружия.

Это привело меня к глубокому конфликту с моей семьей, отдалило от отца и сделало, как ни странно, безрелигиозным.

Я в юности думал, как сказать в графе о социальном происхождении, что написать вместо «сына священника». Неведомая сила учила меня на сына охотника, сына охотника-промысловика. Это тоже было неладно — нужна была справка из колхоза. Тот же кустарь, еще свободная профессия. Но все это было неважно.

Я не вегетарианец, не толстовец, хуже, чем толстовская фальшь, нет на свете.

Я умею мстить.

Как я ненавидел потом этот стальной нож — стальной белый нож перочинный с двумя лезвиями и отверткой. Я не взял нож на память об отце, когда отец умер — в 1933 году.

Почему?

— Ты всегда был не такой, как все. Все смеялись над тобой, и отец твой тоже. Что ты не зорил гнезд, не стрелял из рогатки. Мне было за тебя стыдно.

Стыдно!

Да! Такой знаменитый охотник — отец.

Вещи любили отца.

Ножик моего детства сохранился до смерти.

Неуклюжая больная моя мама, которую заставили насильно вести хозяйство, где пятеро детей, — вместо того чтобы слушать музыку, читать стихи. Ей ничего не оставил отец, кроме молитв в церкви, к которой сам он был в высшей степени равнодушен.

Я счастлив тем, что я успел сказать — после смерти отца, что я о ней думаю.

После этого прощального разговора мы оба знали, что <раньше>... Я вымыл ей ноги — ей было очень трудно сгибаться на уродливых руках, вымыл их теплой <водой> и поцеловал.

И мама заплакала. Два старших сына знали в совершенстве оружие, а Сергей стрелял — до самой своей смерти был лучшим, чуть не легендарным охотником города.

Мои вкусы были иные, и я их сумел защитить, несмотря на насмешки.

Отец сам меня учил, как снимать шкуру с зайцев, кроликов.

Как <рассказать> — я сам умел — память может сохранить все давнее.

Но я никого не зарезал, ни одного кролика, ни одной козы, ни одной курицы.

Нанимать для этого кого-то, для такой работы было нельзя.

Кто убивал кроликов, я не знаю. Думаю, что отец — ощупью в сарае.

Охота с ружьем не разрешается православному духовенству, но рыбная ловля даже рекомендовалась. Охотничья страсть отца нашла разрядку в рыбной ловле.

В Америке же, на Алеутских островах, где отец был православным миссионером, более десяти лет охотился, его страсть находила выход.

Я видел много американских фотографий отца с ружьем, <стреляет> — на байдарке.

Я пытаюсь все это сказать в стихах, в рассказах — или в том, что называется рассказами.

И не случайно свою автобиографию я начал с памяти <о> животных.

Я привык отвечать ударом на удар.

У отца были козы. Я был их пастухом.

Поймали большую рыбу, щуку, и я думал, что ее отпустят сейчас назад в реку, где она... Но щука выскочила на песок и билась, каждым прыжком приближаясь к воде!

Но это были тоня отца, сети отца, лодка отца, и, наконец, ему принадлежала честь убийства.

Прыгнув, отец ухватил бьющуюся щуку за голову, пальцы, суставы в <жабры>, колени прижали светлое тело рыбы к песку, из кармана отец выхватил перочинный нож... <1967>

ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

Литературная критика двадцатых годов еще не вышла из приготовительного класса и писала с орфографическими ошибками. Так, молодой Ермилов[1] называл Киплинга американским писателем, а Войтоловский[2] в учебнике по истории русской литературы, перечисляя героев «Евгения Онегина», назвал Гремина — персонажа оперы, а не поэмы. Совсем недавно литературовед Машинский[3] на обсуждении первого тома «Истории советской литературы» уверял, что «Рычи, Китай» Третьякова[4] — пьеса, а не поэма.

Конечно, были критики и пограмотнее — Фриче[5], Коган[6], но они не пользовались уважением ни у рапповских вождей[7], ни у лихих лефовцев[8].

Чтобы разнеслась
бездарнейшая погань,
Раздувая
темь
пиджачных парусов,
Чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
Встреченных
увеча
пиками усов...

<В. Маяковский *«Сергею Есенину»*>

Или:

Следите,
как у Лежнева[9],
на что уж
робок,
Тусклеет
злее прежнего
Зажатый обух..
<Н. Асеев. *«Литературный фельетон»*>

У лефовцев это считалось полемикой лучшего тона. Рапповцы же не «обыгрывали» внешности противника (любимый лефовский «прием»), не каламбурили, называя Ольшевца[10] «пошлевцем», а «сопролетарских» конструктивистов[11] — «сопля татарская». Рапповцы привешивали литературным противникам политические ярлыки по типу «чем вы занимались до семнадцатого года».

Леф опирался на «формалистов». Шкловский[12] — крупная фигура Лефа, был тем человеком, который выдумывал порох, и для формалистов был признанным вождем этого течения. Ленинградцы Тынянов[13], Томашевский[14], Эйхенбаум[15], Якобсон[16] — все это были эрудиты, величины солидные, недавние участники тоненьких сборничков ОПОЯЗа. Пока в Ленинграде формалисты корпели над собиранием литературных фактов, Москва создавала эти литературные факты.

Двадцатые годы — это время литературных сражений, поэтических битв на семи московских холмах: в Политехническом музее, в Коммунистической аудитории 1-го МГУ, в Клубе Университета, в Колонном зале Дома Союзов. Интерес к выступлению поэтов, писателей был неизменно велик. Даже такие клубы, как Госбанковский на Неглинном, собирали на литературные вечера полные залы.

Имажинисты[17], комфуты[18], ничевоки, крестьянские поэты;

«Кузница»[19], ЛЕФ, «Перевал»[20], РАПП, конструктивисты, оригиналисты-фразари и прочие, им же имя легион.

Литературные битвы развивались по канонам шекспировских хроник:

Сцена 5. Входят, сражаясь, Маяковский и Полонский[21]. Шум боя. Уходят.

Сцена 6. Входят Воронский[22] и Авербах[23]. Воронский (поднимая меч): — Извините, я. — Уходят, сражаясь.

Сцена 7. Темный лес. Входит, озираясь, Асеев[24]. Навстречу ему Лежнев и т. д.

Битвы-диспуты устраивались зимою, по крайней мере раз в месяц, а то и чаще.

В Колонном зале, где часто устраивались литературные вечера, никогда не бывало диспутов.

Выступления поэтов, писателей, критиков были двух родов: либо литературные диспуты-поединки, где две группы сражались между собой большим числом ораторов, либо нечто вроде концертов, где читали стихи и прозу представители многих литературных направлений.

Вечера первого рода кончались обычно чтением стихов. Но не всегда. Помнится на диспуте «ЛЕФ или блеф»[25] для чтения стихов не хватило времени — так много было выступавших.

Для участия в диспутах приглашались иногда и «посторонние» видные журналисты — Левидов[26], Сосновский[27], Рыклин[28].

Иногда устраивались диспуты на какую-нибудь острую общественную тему:

«Богема».

«Есенинщина».

«Есть ли Бог».

«Нужен ли институт защитников».

Писатели, поэты и журналисты выступали и здесь, но уже стихов, конечно, не читали.

Москва двадцатых годов напоминала огромный университет культуры, да она и была таким университетом.

Диспут «Богема» шел в Политехническом музее. Доклад, большой и добротный, делал Михаил Александрович Рейснер[29], профессор истории права 1-го МГУ, отец Ларисы Михайловны[30]. Сама Лариса Михайловна в то время уже умерла.

Докладчик рассказывал о французской богеме, о художниках Монмартра, о Рембо[31] и Верлене[32], о протесте против капиталистического строя. У нас нет социальной почвы для богемы — таков был вывод Рейснера. «Есенинщина» — последняя вспышка затухающего костра.

Несколько ораторов развивали и поддерживали докладчика. Зал скучал. Сразу стало видно, что народу очень много, что в зале душно, потно, жарко, хочется на улицу.

Но вот на кафедру вышел некий Шипулин — молодой человек студенческого вида. Побледнев от злости и волнения, он жаловался залу на редакции журналов, на преследования, на бюрократизм. Он, Шипулин, написал

гениальную поэму и назвал ее «Физиократ». Поэму нигде не печатают. Поэма гениальна. В Свердловске отвечают так же, как в Москве. Он, Шипулин, купил на последние деньги билет на диспут. Пришел на это высокое собрание, чтобы заставить себя выслушать. Лучше всего, если он прочитает поэму «Физиократ» здесь же вслух.

Толстый сверток был извлечен из кармана. Чтение «Физиократа» длилось около получаса. Это был бред, графоманство самой чистой воды.

Но главное было сделано: Шипулин со своим «Физиократом» зажег огонь диспута. Было что громить. Энергия диспутантов нашла выход и приложение.

— Уважаемый докладчик говорит, что у нас нет богемы, — выкрикивал Рыклин. — Вот она! Гражданин Шипулин сочиняет поэму «Физиократ». Ходит по Москве, всем говорит, что — гений.

— Ну, жене можно сказать, — откликается Михаил Левидов из президиума.

Рыклин сгибается в сторону Левидова:

— Товарищ Левидов, вы оскорбляете достоинство советской женщины.

Одобрительный гул, аплодисменты. Рыклин был тогда молодым, задорным. Левидов — известный журналист двадцатых годов, считавшийся полезным участником всяких литературных и общественных споров того времени, «испытанный остряк», сам себя называвший «комфутом», то есть коммунистическим футуристом (!).

Двадцатые годы были временем ораторов. Едва ли не самым любимым оратором был Анатолий Васильевич Луначарский[33]. Раз тридцать я слышал его выступления — по самым разнообразным поводам и вопросам, — всегда блистательные, законченные, всегда ораторское совершенство. Часто Луначарский уходил от темы в сторону, рассказывая попутно массу интересного, полезного, важного. Казалось, что накопленных знаний так много, что они стремятся вырваться против воли оратора. Да так оно и было.

Выступления его, доклады о поездках — в Женеву, например, я и сейчас помню — рассказ о речи Бриана[34], когда Германию принимали в Лигу Наций. Бриан заговорил: «Молчите, пушки, молчите, пулеметы. Вы не имеете здесь слова. Здесь говорит мир». И все заплакали, прожженные дипломаты заплакали, и я сам почувствовал, как слеза пробежала по моей щеке.

Его доклады к Октябрьским годовщинам были каждый раз оживлены новыми подробностями.

Часто это были импровизации. В 1928 году он приехал в Плехановский институт, чтобы прочесть доклад о международном положении. Его попросили, пока он снимал шубу, сказать кое-что о десятилетии рабфаков. Луначарский сказал на эту тему двухчасовую речь. Да какую речь!

После каждой его речи мы чувствовали себя обогащенными.

Радость отдачи знания была в нем. Если Ломоносов был «первым русским университетом», то Луначарский был первым советским университетом.

Мне приходилось говорить с ним и по деловым вопросам и по каким-то пустякам — в те времена попасть к наркомам было просто. Любая ткачиха Трехгорки могла выйти на трибуну и сказать секретарю ячейки: «Что-то ты плохо объясняешь про червонец. Звони-ка в правительство, пусть нарком приезжает». И нарком приезжал и рассказывал: вот так-то и так-то. И ткачиха говорила:

— То-то. Теперь я все поняла.

А когда дверь кабинета Луначарского была закрыта, в Наркомпросе шутили: «Нарком стихи пишет».

Нам нравилось в десятый раз расспрашивать его о Каприйской школе[35], о Богданове[36], который был еще жив, преподавал в Университете. Богданов умер в 1928 году. Он был универсально одаренным человеком. Философ махистского толка, он написал два утопических романа: «Инженер Мэнни», «Красная звезда». «Пролеткульт»[37] связан с его именем. В Университете он читал лекции. Написал книжку, учебник «Краткий курс экономической науки».

Жизнь не пошла по тому пути, на который ее звал и вел Богданов. Он постарался занять себя наукой, создал первый Институт переливания крови, много в нем работал, выступал с теорией, что два литра крови человек может дать вполне безопасно. Всего крови в организме человека пять литров. Три находятся в беспрерывной циркуляции, а два — в так называемом «депо». Вот на этом основании и построил Богданов свою теорию. Ему говорили, что человек умрет, если у него отнять два литра крови, Богданов доказывал свое. Он был директором Института переливания крови. Он провел опыт на самом себе — и умер.

Никто не знает — было ли это самоубийством.

Богданов с Луначарским были в дружбе и в родстве. Сестра Богданова — первая жена Луначарского. Второй женой была актриса Малого театра Н. А. Розенель[38].

Маяковский был любимцем Луначарского. В выступлениях, в письменных и устных, Луначарский всячески подчеркивал эту свою симпатию. И не только в выступлениях, а решался «для пользы дела» и на более серьезные вещи. Если бы была известна в свое время записка Ленина к Луначарскому[39] о Маяковском, обнародованная только в 1960 году, — литературная судьба наследства Маяковского сложилась бы, бесспорно, иначе. Но Луначарский утаил ленинский документ. На это нужна смелость.

Приятель мой так сказал про Луначарского:

— Немножко краснобай, но как много знает!

Почти не уступал Луначарскому, а кое в чем и превосходил его митрополит Александр Введенский[40], красочная фигура двадцатых годов. Высокий, черноволосый, коротко подстриженный, с черной маленькой бородкой и огромным носом, резким профилем, в черной рясе с золотым крестом, Введенский производил сильное впечатление. Шрам на голове дополнял картину. Введенский был вождем т. н. «новой церкви», и какая-то старуха при выходе Введенского из Храма Христа ударила его камнем, и Введенский несколько месяцев лежал в больнице. На память Введенский цитировал на разных языках целые страницы. Блестящие качества обоих диспутантов привлекали на сражение Луначарский — Введенский большое количество людей.

На диспуте «Бог ли Христос» в бывшей опере Зимина (филиал Большого театра) на Б. Дмитровке Введенский в своем заключительном слове (порядок диспута был таков: доклад Луначарского, содоклад Введенского, прения и заключительные слова: сначала Введенского, потом Луначарского) сказал:

— Не принимайте так горячо к сердцу наши споры. Мы с Анатолием Васильевичем большие друзья. Мы — враги только на трибуне. Просто мы не сходимся в решении некоторых вопросов. Например, Анатолий Васильевич считает, что человек произошел от обезьяны. Я думаю иначе. Ну что ж — каждому его родственники лучше известны.

Аплодисментам, казалось, не будет конца. Все ждали заключительного слова Луначарского, как он ответит на столь удачную остроту. Но Луначарский оказался на высоте — он с блеском и одушевлением говорил: да, чело-

век произошел от обезьяны, но, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, он далеко опередил животный мир и стал тем, что он есть. И в этом наша гордость, наша слава!

Словом, Анатолий Васильевич не отмолчался, а развернул аргументы еще ярче, еще убедительней.

Наше всегдашнее уважение вызывала его манера произносить «по-западному» целый ряд слов: «революционный», а не «революцыонный», как произносим мы, «социализм», а не «соцыализм», «интернационал», а не «интернацыонал» и так далее.

Нам нравилось, что носовой платок наркома всегда белоснежен, надушен, что костюм его безупречен. В двадцатые годы все носили шинели, кожаные куртки, кители. Моя соседка по аудитории ходила в мужской гимнастерке и на ремне носила браунинг. В Луначарском, в его внешнем виде была какая-то правда будущего нашей страны. Это был не протест против курток, а указание, что время курток проходит, что существует и заграница, целый мир, где куртка — костюм не вполне подходящий.

Луначарский редактировал первый тонкий советский журнал «Красная нива»[41]. Там печаталась сначала уэллсовская «Пища богов»[42], а потом — в стиле тех лет — коллективный роман тридцати писателей. Каждый из тридцати писал особую главу. Новшество было встречено с большим интересом, и писатели в этой игре принимали живое участие, но толку, разумеется, не вышло никакого. Роман этот был даже не закончен, оставлен.

В этом журнале была напечатана фотография «Красин в Париже». Красин[43] был тогда послом. Он выходил из какого-то дворца с колоннами. На голове его был цилиндр, в руках — белые перчатки. Мы были потрясены, едва успокоились.

Луначарский, правда, цилиндра в Москве не носил, но костюм его был всегда отглажен, рубашка свежа, ботинки старого покроя — с «резиночками».

Он любил говорить, а мы любили его слушать.

На партийной чистке зал был переполнен в день, когда проходил чистку Луначарский. Каприйская школа, группа «Вперед», богостроительство — все это проходило перед нами в живых образных картинах, нарисованных умно и живо.

Часа три рассказывал Луначарский о себе, и все слушали затаив дыхание — так все это было интересно, поучительно.

Председатель уже готовился вымолвить «считать проверенным», как вдруг откуда-то из задних рядов, от печки, раздался голос:

— А скажите, Анатолий Васильевич, как это вы поезд остановили?

Луначарский махнул рукой:

— Ах, этот поезд, поезд... Никакого поезда я не останавливал. Ведь тысячу раз я об этом рассказывал. Вот как было дело. Я с женой уезжал в Ленинград. Я поехал на вокзал раньше и приехал вовремя. А жена задержалась. Знаете — женские сборы. Я хожу вдоль вагона, жду, посматриваю в стороны. Подходит начальник вокзала:

— Почему вы не садитесь в вагон, товарищ Луначарский? Опаздывает кто-нибудь?

— Да, видите, жена задержалась.

— Да вы не беспокойтесь. Не волнуйтесь, все будет в порядке.

Действительно, прошло две-три минуты, пришла моя жена, мы сели в вагон, и поезд двинулся.

Вот как было дело. А вы — «Нарком поезд остановил».

Емельян Ярославский[44], в кожаной куртке, в кепке, стоял перед занавесом театра Революции. Он выступал с воспоминаниями об Октябре: «Были и в наших рядах товарищи, которые ахали и охали, когда большевики стреляли по Кремлю. Пусть нынешний нарком просвещения вспомнит это время».

Луначарский мог ходатайствовать о людях искусства, о памятниках искусства, мог писать пьесы и говорить «мой театр». «Освобожденный Дон Кихот», «Бархат и лохмотья», «Канцлер и Слесарь» — все это род лирико-философских драм... Мог ездить во главе дипломатической миссии на международные конференции, но политики он не делал и не был ни вождем, ни крупным теоретиком. Его эмоциональная натура, огромный культурный багаж, разносторонняя образованность, великий талант популяризатора, просветителя, история всей его богатой жизни — все это привлекало к нему симпатии молодежи.

У молодежи к нему было чуть-чуть ироническое отношение, совмещенное с глубокой нежностью и уважением. Анатолий Васильевич встречался с молодежью с восторгом. С его литературными вкусами считались. Но, конечно, не Луначарский делал большую политику.

Двадцатые годы нельзя представить себе без «Синей блузы»[45]. Искусства советского, нового искусства без «Синей блузы» представить нельзя. «Синяя блуза» была гораздо большим, чем эстрадная форма, малая форма. Она была своеобразной философией эпохи. Именно поэтому она привлекла к себе самых лучших писателей, поэтов, самых интересных молодых режиссеров того времени.

Маяковский, Асеев, Третьяков, Арго[46], позднее Кирсанов[47] охотно писали для «Синей блузы».

Сергей Юткевич[48] ставил в коллективе «СБ» оратории, скетчи. Борис Тенин[49], нынешний известный киноактер, начинал в «Синей блузе», Клавдия Коренева[50], премьерша Детского театра, также впервые сплясала «Частушки метрополитена» в «Синей блузе».

Константин Листов[51] начинал как композитор «Синей блузы». Ему принадлежат и знаменитые марши — «Антрэ»:

Мы синеблузники,
Мы профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи,
Мы только гайки
Великой спайки
Одной трудящейся семьи.

«Синяя блуза» — живая газета. Да, «Синяя блуза» была живой газетой. До наших дней дожили агитбригады, культбригады — род художественной самодеятельности, начало которой было положено «Синей блузой».

Пятнадцать-двадцать человек, одетых в синие блузы, разыгрывают перед зрителями сценки, скетчи, оратории.

Выходили они под марш, превращая любую площадку в сцену. «Синяя блуза» служила современности: по-газетному — била растратчиков, хапуг и в ораториях — по международной политике, вступая в диспут с Чемберленом.

За серьезным материалом шел развлекательный — фельетон, короткий скетч.

Грима у синеблузников не было, занавеса — не было.

Впоследствии введены были «аппликации», накладки, помогающие зрителю разобраться в героях очередной сценки.

Все в темпе, под музыку.

Пока академические театры раскачивались и приглядывались к революции, «Синяя блуза» казалась революцией на сцене, казалась каким-то новым явлением быта нашего, новой дорогой искусства.

«Эстрадные группы» или, как их называли, «коллективы» «Синей блузы», росли повсеместно. К пятилетней годовщине «Синей блузы» было в СССР 400 коллективов. В «Синей блузе» не было актеров-профессионалов — по первоначальному замыслу. Новый товарищ надевал синюю блузу, прикалывал эмалированный значок и выходил на сцену клуба, на любые подмостки.

В качестве хранителей истинной веры, синеблузной закваски, образца и примера сохранялись, допускались в центре коллективы профессионалов — в большинстве из учеников театральных училищ, из бывших актеров.

В Москве были коллективы:

Образцовый,

Ударный,

Основной —

восемь, кажется, групп.

«Синяя блуза» имела свой стационар — бывшее кино «Ша-Нуар» — теперь кинотеатр «Центральный» на Пушкинской площади[52].

В юбилейные даты помещение «Ша-Нуара» для «Синей блузы» было тесно.

Пятилетие, например, было отпраздновано в Колонном зале Дома Союза при невиданном стечении народа.

Плакатность, апелляция к разуму зрителя больше, чем к чувству, острый отклик на «злобу дня» составили ту особенность «Синей блузы», которая оказалась вечным ее вкладом в искусство, в мировое искусство. Ибо театр Бертольда Брехта[53], знакомый москвичам, — рожден от «Синей блузы» и вдохновлен «Синей блузой». Сам Брехт это подчеркивал неоднократно.

Успех нового искусства был велик. «Синяя блуза» была первым советским театром, выехавшим за границу. Триумфальная поездка по Германии, по Скандинавии. Приглашение в Америку, аншлаги всюду.

Каждый день рождал новые находки. Первые синеблузники относились к делу бережно, благоговейно. Казалось, что, надев «синюю блузу», человек изменился и способен только на хорошее.

«Синяя блуза» издавала репертуарные сборники, альманахи, которые быстро превратились в журнал «Синяя блуза». Он существовал четыре года. В первых синеблузных выпусках скетчи, оратории, фельетоны не подписы-

вались вовсе — работа сине-блузная считалась коллективной, и Маяковский соседствовал с Ивановым или Сидоровым, и льва можно было узнать только по когтям.

Но вскоре этот порядок, несколько напоминавший пуританские нравы основателей Художественного театра, был изменен. Материал стал печататься с подписью автора, и только завзятые энтузиасты-синеблузники подписывали свои вещи инициалами.

Новизна синеблузной философии была разносторонняя. Один из ее вождей говорил:

— «Синяя блуза» отрицает плагиат. Мы можем взять для пользы все лучшее, что создала литература, поэзия, скомпоновать, монтажировать — и дать новый текст для исполнителя. Актеров в «Синей блузе» не было — были исполнители.

Редактором всех синеблузных журналов, основателем, идеологом и вождем «Синей блузы» был Борис Семенович Южанин — молодой журналист, только что пришедший из армии, с Гражданской войны.

Его все знали, все любили — за доверчивость, за приветливость, скромность, за наивность и — за принципиальность, за фанатизм.

Выдержать пришлось много боев. Искусство ли «Синяя блуза»? Не занимает ли она больше места в жизни, чем ей положено? И что «Синяя блуза» по сравнению с академическими театрами, которые уже возвращались к активной жизни? Художественный уже поставил «Бронепоезд»[54], а Малый — «Любовь Яровую»[55]. Зритель отхлынул от «Синей блузы», а закрепить движение и его находки на большой высоте Южанин не сумел. Это удалось только Бертольду Брехту.

В ответственный момент, когда решалась судьба «Синей блузы» и на горизонте вырисовывались дальнейшие ее рубежи, произошла катастрофа.

Южанин был арестован за попытку перейти границу, приговорен к трехлетнему заключению в лагерь и отравлен на Северный Урал, на Вишеру.

Разбитые очки, чуть зажившие мозоли на ладонях, грязное загорелое тело, рваные штаны и «сменка», которые дали Борису Южанину блатные, раздев его дочиста на «этапе», — и широко раскрытые, близорукие, крупные южанинские глаза.

— Вы знаете, я ничего не помню, что со мной было. Психоз какой-то. Почему я очутился в Армении — я не знаю.

В тогдашнем лагере манией начальства — знаменитого Берзина[56] — было использовать каждого заключенного по специальности. Это было романтическое начало известной «перековки». В соответствии с традициями Берзина Южанин был назначен организатором лагерной «Синей блузы» и редактором местного журнала «Новая Вишера». Писал оратории, скетчи.

Через год Южанин вернулся в Москву, жил в Мытищах, в тридцатые годы работал на радио.

Синеблузное движение медленно сошло на нет: живые газеты, агитбригады, культбригады, художественная самодеятельность...

«Синяя блуза» была искусством нашего поколения. Ее марши напевали по всей стране.

Сейчас в музее, в Доме художественной самодеятельности, под стеклом хранится синяя блуза с эмалированным значком «Синеблузника».

В музей приходит и Южанин. Он постарел, поседел. Он был раздавлен лагерем. Никогда не оправился после этой катастрофы. Еще бы — ведь потом был тридцать седьмой год, была война...

Спрос на художественную литературу рос. Создано было новое акционерное общество, огромное издательство «Земля и фабрика»[57]. С маркой «ЗИФ» выходили книги русские и переводные. Альманахи «Недра». Журнал «30 дней», переданный «ЗИФу» «Гудком»[58], вскоре занял свое особое место среди других журналов, энергично привлекая талантливую молодежь. Именно в «30 днях» начали печататься Ильф и Петров. После большого перерыва начал выступать там с очерками Михаил Булгаков. Лет пять после «Роковых яиц» он жил рассказиками для «Медицинского работника» — профсоюзного «тонкого» журнала. Булгаков, врач по образованию, почти для каждого номера ежемесячника давал очерк или рассказ вроде «Случаев из практики».

Во главе издательства «Земля и фабрика» был поставлен человек очень большого организационного опыта, крупный русский поэт-акмеист Владимир Нарбут[59]. Нарбут был редактором «30 дней», «Всемирного следопыта». Заведующим редакцией «30 дней» был работник «Синего журнала» Регинин[60]. Заведующим редакцией тогда назывались нынешние ответственные секретари.

Нарбут имел свое место в литературе. Сборник «Аллилуйя» — не исключишь из русской поэзии XX века.

Кроме «Аллилуйи» Нарбут выпустил после революции несколько сборников стихов — в Харькове, в Одессе.

После Октябрьской революции оказалось, что Нарбут — член партии большевиков. Он воевал всю Гражданскую, потерял на войне левую руку.

Чтобы кровь текла, а не стихи
С Нарбута отрубленной руки.

Это Асеев двадцатых годов («Мы — мещане, стоит ли стараться»...)

Кончилась Гражданская война, и Нарбут возглавил второе по величине издательство в СССР. Размах у него был большой, прибыли издательства — огромны, замыслы — велики.

Внезапно он был исключен из партии и снят с работы.

Постановление ЦКК по его делу было опубликовано в газетах. Оказывается, будучи захвачен белыми в Ростове и находясь в контрразведке, Нарбут позволил себе дать показания, «порочащие его как члена партии». Более того: когда факты стали известны — продолжал все отрицать. Упорство усугубляет вину.

Нарбут был сослан в Нарым, кажется, и года через два вернулся.

В начале тридцатых годов он занимался вместе с Зенкевичем[61] пропагандой «научной поэзии». Тогда я и познакомился с Нарбутом на каком-то собрании.

Писатель Дмитрий Сверчков[62], который весьма активно Нарбуту помогал, был тогда членом Верхсуда. В 1937 году погибли оба: и Нарбут, и Сверчков. Нарбут был на Колыме, там, кажется, и умер.

Но имени его не исключить ни из истории русской поэзии, ни из организационных великанских дел двадцатых годов. После ухода Нарбута издательство «ЗИФ» быстро захирело, сошло на нет.

Имя Пильняка[63] было самым крупным писательским именем двадцатых годов. «Серапионовы братья»[64] в Ленинграде — Федин, Каверин, Никитин, Зощенко, Всеволод Иванов, Тихонов — приглядывались к революции. Группа распалась после смерти Льва Лунца, и бывшие «серапионы» еще не определили своего отношения к революции. В Москве же Пильняк уже выступил с «Голым годом», с фейерверком рассказов и повестей. Писал

Пильняк много. Книги путевых очерков, романы выходили один за другим. Чуть не в каждом номере «Нового мира», например, еще в 1928 году был новый рассказ Пильняка.

Своим учеником Пильняк называл Петра Павленко[65], подписывал вместе с ним несколько первых (для Павленко) рассказов: «Трего тримунтан», «Srepanza». Рассказы были очень хороши, по-пильняковски увлекающи, смутны. Но когда Павленко изготовил свой первый самостоятельный роман «Баррикады», с первых страниц были видно, что это — совсем не Пильняк. Роман хвалили, но очень сдержанно. Следующий роман «На востоке» был откровенно плох. Учеба у Пильняка не помогла Павленко.

Пильняк был плохой оратор, редко выступал, много писал, ездил.

Когда Андрей Белый умер, некролог в «Известиях» был подписан Пильняком, Пастернаком и... Санниковым[66].

«Мы считаем себя его учениками». Фраза была понятной в устах Пильняка, Пастернака, но Санников?

Пильняк много ездил. В комнате у него на всю стену был натянут шелковый ковер с изображением дракона. Пильняк привез из Японии. Была написана книга «Камни и корни». Еще раньше — толстый том «О'кэй» о путешествии в Америку.

Недавно где-то я усмотрел статью об Ильфе и Петрове, в которой заявлялось, что путешествие Ильфа и Петрова в Америку было «первым путешествием советских писателей за рубеж».

Но Пильняк и в Европу, и в Америку уже ездил и не один раз.

Маяковский ездил в Америку и Мексику. Эренбург жил за границей постоянно, романы о загранице писал.

Но в путешествии Ильфа и Петрова был особый смысл.

Дело в том, что тогдашняя Америка ошеломляла всех, кто ее видел. Пильняковский «О'кэй» — лучший тому пример. У нас была переведена книга знаменитого немецкого журналиста: «Эгон Эрвин Киш[67] имеет честь представить вам американский рай». Это было вроде «О'кэй», но менее рекламно.

Послали сатириков, чтобы развенчать Америку, но «Одноэтажная Америка» ошеломила и их.

Пильняк, идя от знаменитых ритмов «Петербурга» Белого, искал новых путей для новой прозы. Он успел

найти мало — он умер в 1937 году, почти за десять лет до этого как бы выключенный из литературы. Но в двадцатые годы это был самый крупный наш писатель.

«Попутчик», как говорили тогда.

По молодости лет мы часто не знали — кто попутчик, а кто нет. Например, Всеволод Иванов[68] ходил в брюках «гольф», в каких-то узорных шерстяных носках — явный попутчик. Да еще в круглых роговых очках. Читая разносные статьи по поводу «Тайное тайных» и вспоминая брюки «гольф», мы понимали, как опасно быть «серапионом».

О чем он говорил в тот давний вечер в Политехническом?

О трудности писательского пути, о том, что он, Иванов, в юности переписал от руки «Войну и мир» — хотелось понять, ощутить, как пишутся такие строки. Я понимал это. А на другой день я увидел его около Смоленского рынка. По всему Смоленскому бульвару тогда тянулся Смоленский рынок — «толкучка», уступавшая первое место только Сухаревке.

Иванов стоял, внимательно глазея на проезжающего извозчика. Лошадь задрала хвост, и дымящийся навоз падал на дорогу. Взгляд Иванова был так пристален и сосредоточен на этом зрелище, что приятель мой сказал:

— Вставит теперь этот навоз в роман, обязательно вставит.

. . . .

Никогда, ни на одном литературном диспуте не выступал Андрей Соболь[69]. Попутчик?

Соболь был политкаторжанин, прошедший знаменитую Байкальскую «Колесуху» — концлагерь царского времени.

Талантливый человек, русский интеллигент, по своим знакомствам и связям Соболь много печатался, но искал не славу, а что-то другое. Совесть русской интеллигенции, принимающей ответственность за все, что делается вокруг, — вот кем был Соболь.

НЭП Соболь принимал очень болезненно. Поездка за границу мало помогла, не успокоила. Соболь много работал на Капри. «Рассказ о голубом покое» был одной из вещей, написанных тогда. Был написан, наконец, давно задуманный роман, который Соболь считал главным своим трудом. Соболь, как и Маяковский, не любил черновиков. И вот, когда все было готово, отпечатано, проверено, когда все черновики сожжены, а перепечатанный бело-

вик уложен в аккуратную стопку на письменном столе, — Соболь открыл окно комнаты, где жил и работал. Порыв сирокко, итальянского ветра, выдул рукопись в окно, и роман исчез бесследно во мгновение ока.

Соболь сошел с ума. После месяца, проведенного в психиатрической лечебнице, Соболь уехал на родину, подавленный, угнетенный. В Москве его встретили весьма сердечно.

«ЗИФ» готовил полное собрание сочинений Соболя. Камерный театр поставил его «Рассказ о голубом покое». Пьесу назвали «Сирокко», она не один сезон шла в Камерном театре.

Но жизнь Соболя уже кончилась. Осенью 1926 года на Тверском бульваре, близ Никитских ворот, Соболь выстрелил себе в живот из револьвера и умер через несколько часов, не приходя в сознание. Пушкинская рана. Было не поздно сделать операцию, извлечь пулю, зашить кишки, но в 1926 году еще не было пенициллина и сульфамидов. Соболь умер.

Если Есенин и Соболь покидали жизнь из-за конфликта со временем, он был у Есенина мельче, у Соболя глубже, то смерть Рейснер была вовсе бессмысленна.

Молодая женщина, надежда литературы, красавица, героиня Гражданской войны, двадцати девяти лет от роду умерла от брюшного тифа. Бред какой-то. Никто не верил. Но Рейснер умерла. Я видел ее несколько раз в редакциях журнала, на улице. На литературных диспутах она не бывала.

Я был на ее похоронах. Гроб стоял в Доме Печати на Никитском бульваре. Двор был весь забит народом — военными, дипломатами, писателями. Вынесли гроб, и последний раз мелькнули каштановые волосы, кольцами уложенные вокруг головы.

За гробом вели под руки Карла Радека[70]. Лицо его было почти зеленое, грязное, и неостанавливающиеся слезы проложили дорожку на щеках с рыжими бакенбардами.

Радек был ее вторым мужем. Первым мужем был Федор Раскольников[71], мичман Раскольников Октябрьских дней, топивший по приказанию Ленина Черноморский флот, командовавший миноносцами на Волге. Рейснер была с ним и на Волге, и в Афганистане, где Раскольников был послом.

Через много лет я заговорил о Рейснер с Пастернаком.

— Да, да, да, — загудел Пастернак, — стою раз на вечере каком-то, слышу чей-то женский голос говорит, да так, что заслушаться можно. Все дело, все в точку. Повернулся — Лариса Рейснер. И тут же был ей представлен. Ее обаяния, я думаю, никто не избег.

Когда умерла Лариса Михайловна, Радек попросил меня написать о ней стихотворение. И я его написал.

Иди же в глубь преданья, героиня...

— Оно не так начинается.

— Я уже не помню, как оно начинается. Но суть в этом четверостишии. Теперь, когда я написал «Доктора Живаго», имя главной героине я дал в память Ларисы Михайловны.

Разговор этот был в пятьдесят третьем году, в Москве.

Каждая новая книжка Ларисы Рейснер встречалась с жадным интересом. Еще бы. Это были записи не просто очевидца, а бойца.

Чуть-чуть цветистый слог Рейснер казался нам тогда большим бесспорным достоинством. Мы были молоды и еще не научились ценить простоту. Некоторые строки из «Азиатских повестей» я помню наизусть и сейчас, хотя никогда их не перечитывал, не учил. Последняя вещь Ларисы Михайловны — «Декабристы» — блестящие очерки о людях Сенатской площади. Конечно, очерки эти — поэтическая по преимуществу картина. Вряд ли исторически справедливо изображен Трубецкой[72], ведь он был на каторге в Нерчинске со всеми своими товарищами, и никто никогда ни на каторге, ни в ссылке не сделал ему никакого упрека. Упрек сделали потомки, а товарищи знали, очевидно, то, чего мы не знаем. Екатерина Трубецкая, его жена, — великий символ русской женщины.

Каховский[73] у Рейснер тоже изображен не очень надежно; «сотня душ», которыми он владел, — не такое маленькое состояние, чтобы причислить Каховского чуть не к пролетариям. Отношения Каховского и Рылеева[74] и весь этот «индивидуально-классовый анализ» десятка декабристов выглядит весьма наивно. «Декабристы» — поэма, а не историческая работа.

Смотрите, как из плоского
статьи кастета

к громам душа Полонского
И к молниям воздета
<Н Асеев. *«Литературный фельетон»*>

Вячеслав Полонский вовсе не был каким-то мальчиком для битья, мишенью для острот Маяковского. Скорее наоборот. Остроумный человек, талантливый оратор, Полонский расправлялся с Маяковским легко. Это ему принадлежит уничтожающий вопрос «Леф или блеф», приводивший Маяковского в состояние крайнего раздражения. Это он широко использовал крокодильскую карикатуру на Маяковского из его обращения к Пушкину:

После смерти
нам
стоять почти что рядом —
Вы на «П», а я на «М»
<*«Юбилейное»*>

Крокодильская карикатура показывала, что между «М» и «П» есть две буквы, составляющие многозначительное «ПО».

Полонский был автором большой монографии о Бакунине, ряда работ по современной литературе, по искусству вообще.

Диспуты его с Маяковским носили характер игры в «кошки-мышки», где «мышкой» был Маяковский, а «кошкой» Полонский.

Маяковский оборонялся как умел. И злился здорово. Зажигал папиросу от папиросы.

Иногда оборона приводила к успеху. На диспут «Леф или блеф» в клуб 1 МГУ Маяковский вместе со Шкловским и кем-то еще пришел пораньше, прошелся по сцене, поднял для чего-то табуретку в воздух, опустил. Вышел на авансцену к залу, еще не полному. Еще шли по проходам, усаживались, двигали стульями.

Маяковский крикнул что-то. Зал затих.

— Ну, что же, давайте начинать!

— Давайте, давайте.

— Да как начинать. От Лефа-то явились, а вот от Блефа-то нет...

Хохот, аплодисменты.

Двадцатые годы были временем ораторов. И Маяковский был оратором не из последних. Оратором особого склада, непохожим на других. Это был «разговор с

публикой» — так это называлось. Фейерверк острот, далеко не всегда удачных. Говорили, что остроты потоньше заготовлены заранее, а те, что погрубее, похамоватее — сочинены на месте.

Я не вижу в этом большого греха, зная, как много значения придавал Маяковский «звуковой» стороне своих выступлений. Отсюда и пресловутые «лесенки», исправляющие недочеты слога. По собственным словам Маяковского, такую строку, как «шкурой ревности медведь лежит когтист», — только лесенка и спасает.

В том, что заготовку острот Маяковский делал частью своей литературной и общественной деятельности, — тоже нет ничего плохого. Заготовка острот была вполне в духе того эпатажа, которым всю жизнь занимался Маяковский. Но записки не были фальшивыми, то есть заготовленными или подобранными заранее. Обывательский интерес столь ограничен, а глупость столь разнообразна, что возможности острить на каждом вечере у Маяковского были почти не ограничены.

Большое количество стихов Маяковского печаталось в профсоюзных журналах — их была бездна и размещены были они во Дворце труда на Солянке, в бывшем институте благородных девиц, воспетом Ильфом и Петровым в «12 стульях».

В герое «Гаврилиады» легко узнавался Маяковский, автор профсоюзной халтуры и поэмы, «посвященной некой Хине Члек», то есть Лиле Брик.

Читал Маяковский великолепно. Читал обычно только что написанное, только что напечатанное. Но свою «профсоюзную» халтуру не читал никогда.

По улицам Москвы ездят в 1962 году автомобили, на бортах их «цитаты» из Маяковского:

Чтоб наполнить желудок, ум
Все идите в Гум, —

или что-то в этом роде. Не надо бы таких «цитат».

Впервые я услышал Маяковского в Колонном зале Дома Союзов на большом литературном вечере. Читал он американские стихи: «Кемп Нит Гедайге» и «Теодора Нетте».

Звонким тенором читал «Феликса» Безыменский[75], отлично читал, хоть стихи и не были первосортными, Кирсанов читал «Плач быка», Сельвинский[76] — «Цыган-

ский вальс на гитаре», «Мы», «Мотькэ Малхамовеса». Место Маяковского в сердце сегодняшней молодежи занимает Евтушенко. Только успех Евтушенко гораздо больше. Успех менее скандален, привлекает больше сердец. Тема-то у Евтушенки, с которой он пришел в литературу, очень хороша: «Люди лучше, чем о них думают». И всем кажется, что они действительно лучше — вот и Евтушенко это говорит.

К сожалению, «корневые рифмы» портят многие его стихи.

Стихи Евтушенко не все удачны, но живая душа поэта есть в них безусловно. Стремление откликнуться на вопросы времени, дать на них ответ, и добрый ответ! — всегда есть в стихах Евтушенко.

Я включил недавно телевизор во время его вечера в клубе I МГУ. Это был тот самый зал, где проходил диспут «Леф или блеф», где Маяковский много раз читал стихи, где Пастернак читал «Второе рождение», Евтушенко был на месте в этом зале. Только жаль, что его чтение испорчено режиссерской «постановкой» — поэт не должен этого делать. Пастернак читает стихи — как Пастернак, Маяковский — как Маяковский, а Евтушенко — как актер Моргунов[77]. Раньше он читал лучше.

Телевизионная камера двигалась по залу — все молодежь, только молодежь.

Аудиторией Пастернака были писатели, актеры, художники, ученые — о каждом, сидящем в зале, можно было говорить с эстрады.

Аудитория Маяковского делилась на две группы: студенческая молодежь — друзья и немолодая интеллигенция первых рядов — враги.

У Евтушенко же были все друзья и все молодые.

Евтушенко родился в рубашке. В нем видят первого поэта, который говорит смело, — после эпохи двадцатилетия мрачного молчания, подхалимажа и лжи.

Евтушенко — поэт, рожденный идеями XX и XXII съездов партии. Родись бы такой Евтушенко лет на десять раньше — он бы или не пикнул слова, или писал бы «культовые» стихи, или... разделил судьбу Павла Васильева.

Каждый год рождается достаточно талантов, не меньше, чем родилось вчера и чем родится завтра. Вопрос в том, чтобы их вырастить, выходить, не заглушить. Чтобы сапожник из твеновского «Визита капитана Стормфилда в рай» мог всегда стать полководцем.

Толстый журнал «ЛЕФ» перестал выходить в 1925 году. Перегруппировав силы, лефовцы добились выхода своего ежемесячника — на этот раз в виде «тонкого» журнала. «Новый ЛЕФ» начал выходить с января 1927 года. В первом его номере было помещено известное «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому». Текст этого стихотворения хорошо известен. Публикация же его чуть не привела к крупному недоразумению.

А. М. Горький написал из Сорренто письмо — в адрес Воронского, редактора «Красной нови», требуя оградить свое имя от оскорблений подобного рода.

В это время шли переговоры о переезде Горького на постоянное жительство на родину. Горький просил Воронского информировать о своем письме правительство. В ответном письме Воронский заверял Горького, что Маяковский будет поставлен на место, что повторений подобного «ёрничества», как выразился Воронский, больше не будет.

. . . .

На первой читке поэмы «Хорошо» в Политехническом музее народу было, как всегда, много. Чтение шло, аплодировали дружно и много. Маяковский подходил к краю эстрады, сгибался, брал протянутые ему записки, читал, разглаживал в ладонях, складывал пополам. Ответив, комкал, прятал в карман.

Внезапно с краю шестого ряда встал человек — невысокий, темноволосый, в пенсне.

— Товарищ Маяковский, вы не ответили на мою записку.

— И отвечать не буду

Зал загудел. Желанный скандал назревал. Казалось, какой может быть скандал после читки большой серьезной поэмы? Что за притча?

— Напрасно. Вам бы следовало ответить на мою записку.

— Вы — шантажист!

— А вы, Маяковский, — но голос человека в пенсне потонул в шуме выкриков:

— Объясните, в чем дело.

Маяковский протянул руку, усилил бас.

— Извольте, я объясню. Вот этот человек, — Маяковский протянул указательный палец в сторону человека в пенсне. Тот заложил руки за спину. — Этот чело-

век — его фамилия Альвэк[78]. Он обвиняет меня в том, что я украл рукописи Хлебникова[79], держу их у себя и помаленьку печатаю. А у меня действительно были рукописи Хлебникова, «Ладомир» и кое-что другое. Я все эти рукописи передал в Праге Роману Якобсону[80], в Институт русской литературы. У меня есть расписка Якобсона. Этот человек преследует меня. Он написал книжку, где пытается опорочить меня.

Бледный Альвэк поднимает обе руки кверху, пытаясь что-то сказать. Из рядов возникает неизвестный человек с пышными русыми волосами. Он подбирается к Альвэку, что-то кричит. Его оттесняют от Альвэка. Тогда он вынимает из кармана небольшую брошюрку, рвет ее на мелкие куски и, изловчившись, бросает в лицо Альвэку, крича:

— Вот ваша книжка! Вот ваша книжка!

Начинается драка. В дело вмешивается милиция, та самая, про которую было только что читано:

Розовые лица,
Револьвер желт,
Моя милиция
Меня бережет.

<*«Хорошо»*>

и вытесняет Альвэка из зала.

На следующий день в Ленинской библиотеке я беру эту брошюру. Имя автора Альвэк. Название «Нахлебники Хлебникова». В книге помещено «Открытое письмо В. В. Маяковскому», подписанное художником П. В. Митуричем[81], сестрой Хлебникова[82], Альвэком и еще кем-то из «оригиналистов-фразарей» — членов литературной группы, которую возглавляет Альвэк.

Авторы письма требуют, чтоб Маяковский вернул или обнародовал стихи Хлебникова — те многочисленные рукописи, которые он, Маяковский, захватил после смерти Хлебникова и держит у себя.

Кроме «Открытого» письма есть нечто вроде анализа текстов, дающих автору право обвинять Маяковского и Асеева в плагиате.

У Хлебникова: «Поднявший бивень белых вод» («Уструг Разина»).

У Асеева:

Белые бивни
Бьют
в ют

<*«Черный принц»*>

У Маяковского — «Разговор с солнцем».

У Хлебникова: «Хватай за ус созвездье Водолея, бей по плечу созвездье Псов» («Уструг Разина»).

«Плагиат» Маяковского явно сомнителен. Да и Асеева. Не такое уж великое дело эти «белые бивни», чтобы заводить целый судебный процесс.

Конечно, Маяковский был нахрапист, откровенно грубоват, со слабыми противниками расправлялся внешне блистательно. Во встречах же с такими диспутантами, как Полонский, терялся, огрызался не всегда удачно и всегда с большим волнением.

Не думаю, что Маяковский заботился о «паблисити», о рекламе. Искреннее волнение было на его лице, в его жестах. «Публика» первых рядов не была его судьей. В первых рядах рассаживались обычно или литературные враги, или «чающие скандала». Маяковский протягивал руки к галерке, к последним рядам.

Взаимная амнистия «друзей», захваливание друг друга было тогда бытом не только лефовцев, но и любой другой литературной группы.

Я искал стихи Маяковского, Асеева, Хлебникова в ранних изданиях, в первых изданиях. С волнением брал в руки зеленый альманах «Взял», рогожную обложку «Пощечины общественному вкусу». Мне хотелось понять, как выглядели эти стихи в тот день, когда журнал, книга вышли из печати.

В Ленинской библиотеке в то время можно было держать за собой выписанные книги сколько угодно. Гора футуристических альманахов все росла — до дня, когда в библиотеке со мной заговорили две девушки. Узнав, что я интересуюсь футуризмом и ЛЕФом, — девушки эти пригласили меня в литературный кружок, которым руководил Осип Максимович Брик[83]. В ближайший четверг я пришел в Гендриков переулок и остановился у двери, на которой были прикреплены одна над другой две одинаковые медные дощечки, верхняя: «Брик», нижняя: «Маяковский».

«Занятия» кружка меня поразили. Все вымученно острили, больше всего насчет конструктивистов. Брик поддакивал каждому. Наконец, шум несколько утих, и Брик, развалясь на диване, неторопливо начал:

— Сегодня мы собирались поговорить о станковой картине. — Он задумался, поблескивая очками. — Впрочем... моя жена недавно приехала из Парижа и привезла замечательную пластинку «Прилет Линдберга

на аэродром Бурже после перелета через Атлантический океан». Чудесная пластинка. — Завели патефон. — Слышите? Как море! Это шум толпы. А то мотор зарокотал. Слышите выкрики? А это голос Линдберга.

Пластинка, безусловно, заслуживала внимания. В таком роде были и другие занятия «Молодого ЛЕФа». В тридцать пятом году написал я воспоминания о Маяковском, предложил в «Прожектор»[84]. Потребовалась виза. Визировали тогда материал такого рода или Л. Ю. Брик, или О. М. Брик. В Гендриковом был музей Маяковского. Я нашел новый адрес Брика в Спасопесковском. Записал новый его телефон, позвонил... О. М. меня узнал, поблагодарил за написанное, обещал посмотреть и завизировать. В тот же час я отправился на Арбат, в Спасопесковский. Жил Брик в новом каменном доме. На дверях его новой квартиры снова были две одинаковые медные дощечки. Сердце мое застучало. Я подошел ближе. Да, дощечка Брика была той же самой, а другая была новая, по формату дощечки Маяковского из Гендрикова. Но на ней была вырезана тем же шрифтом другая фамилия — «Примаков»[85].

Лиля Юрьевна и Осип Максимович жили на квартире Примакова. Мне это не понравилось. Почему-то было больно, неприятно. Я больше в этой квартире не бывал.

Но это все было позже, а пока я искал, где живет поэзия. Где настоящее?

Мне кажется, Маяковский был жертвой своих собственных литературных теорий, честно, но узко понятой задачи служения современности, неправильно понятой задачи искусства. Необычайная сердечность поэмы «Про это» подсказывала ему более правильные творческие пути, чем стихотворение «Лучший стих» и сомнительные остроты по поводу «Резинотреста».

Бессмысленная, бесцельная «борьба» с Пушкиным, с Блоком, наивное и упрямое упование на так называемое «мастерство», при ясном понимании роли поэта, его места в обществе, его значения — вот подтекст трагедии 14 апреля. Большая жизнь, разменянная на пустяки.

Мариенгоф[86] в «Романе без вранья» пишет, что Есенин догнал славу на другой день после смерти. Маяковский догнал славу через пять лет после смерти, после известных усилий Сталина. При жизни же слава Маяковского была не столько поэтической, сколько славой шума, скандала: «обругал», «обозвал», «обхамил». На литературных площадках его теснили конструктивисты.

Большая часть литературных споров, в которых участвовали «лефы», уходили на выяснение, кто у кого украл метафору, интонацию, образ. Чей, например, приоритет в слове «земшар». Кто первый придумал это изящное слово? Безыменский или Маяковский? Кто у кого украл?

Маяковский кончил поэму на смерть Есенина строками:

«В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней». Это написано в 1926 году.

А в 1924 Безыменский написал стихотворение на смерть поэта Николая Кузнецова[87], где были такие строки: «Умереть? Да это, брат, пустое. Жить смоги! А это тяжелей».

Таких предметов спора в двадцатые годы было великое множество.

Крайне неприятной была какая-то звериная ненависть к Блоку, пренебрежительный, издевательский тон по отношению к нему, усвоенный всеми лефовцами.

Изобретательство вымученных острот, пустые разговоры, которыми занимались в лефовском окружении Маяковского, Брика, пугали меня. Поэзия, по моему глубокому внутреннему чутью, там жить не могла.

«Возможно, — думал я много после, вспоминая это время, — что Маяковский и Брик на эти занятия и вечера выносили лишь позу, наигрыш, что наедине с самим собой Маяковский был другим — с болью, с тяжестью на сердце, с душевной тревогой. А балаганил только на людях? Возможно, что это и так. Но такое поведение неправильно — ведь они занимались с молодежью, которой нужно было открыть не секреты рифм, а секреты души.

Именно личное общение с Бриком и его тогдашними учениками, общение с Маяковским на вечерах, докладах — я посещал все его выступления в тогдашней Москве — привели меня к мысли о ненужности искусства вообще, ненужности стихов.

В большом волнении написал я письмо Сергею Михайловичу Третьякову. Третьяков мне ответил, и мы несколько раз встречались на Малой Бронной, где он жил тогда.

Третьякова я знал по статьям, по выступлениям, по пьесам, по журналистике. Роль его в лефовских делах двадцатых годов была велика. Он возглавлял группу, враждебную Маяковскому, и вытеснил, в конце концов, Маяковского из «Нового ЛЕФа», заменив его на посту редактора журнала.

Высокого роста, широкоплечий, с наголо выбритой маленькой головой, с птичьим профилем, тонкогубый, очень организованный, Сергей Михайлович Третьяков был пуристом и фанатиком. Принципиальный очеркист, «фактовик», разносторонне и широко образованный, Третьяков был рыцарем-пропагандистом документа, факта, газетной информации. Его влияние в «ЛЕФе» было очень велико. Все то, за что Маяковский агитировал стихами — современность, газетность, — шло от Третьякова. Именно Третьяков, а не Маяковский, был душою «ЛЕФа». Во всяком случае «Нового ЛЕФа».

Поэма «Про это» была напечатана в «ЛЕФе». В «ЛЕФе» была напечатана и поэма Третьякова «Рычи, Китай», переделанная позднее в пьесу и поставленная Мейерхольдом, имевшая очень большой успех. Известность этой пьесы такова, что литературовед С. Машинский упрекнул редакцию первого тома «Истории советской литературы», что там «пьеса Третьякова называется поэмой». Хотя С. Машинскому журнал «ЛЕФ» полагалось бы читать.

«Рычи, Китай» написана Третьяковым на китайском материале. Третьяков был профессором русской литературы в Китае в самом начале двадцатых годов. А еще немного раньше Третьяков был министром народного просвещения в правительстве Дальневосточной Республики.

У теоретика и вождя литературы факта был большой круг единомышленников, все расширявшийся: Дзига Вертов[88] — в кинематографе, Родченко[89] — в фотографии.

«Математика, — говаривал А. Н. Крылов[90], — это мельница. Она мелет все, что под нее подкладывают». А фотография? Снять можно ручей так, что на снимке он будет выглядеть, как Миссисипи. По фотографии угла дома нельзя понять — что это, пирамида Хеопса или дачный сарай.

Человеческое лицо имеет тысячу выражений. Фотография ловит одно из них. Знаменитый фотограф Бруссар[91], снимавший лет шесть назад Москву, в Третьяковской галерее хотел снять военного с ребенком на руках, остановившегося близ картины. Но военный отошел, и Бруссар вслух пожалел о том, что пропал такой важный сюжет.

— Мы вернем военного. Попросим его еще раз встать.

— Да разве это можно? — сказал Бруссар. — Этого нельзя.

Документальное кино — хороший памятник времени, но разве оно может передать «душу времени».

Живопись точнее фотографии. Разве портреты Серова[92] не ответили на этот вопрос самым исчерпывающим образом?

Родченко был художник, оставивший живопись ради фотоаппарата, ради литературы факта. Тот же путь проделал Л. Ф. Волков-Ланнит[93], также оставивший живопись ради журналистики «лефовского образца».

Журналистика «лефовского образца» предполагала крайнюю профессионализацию литератора, мастера, «умеющего написать» все, что закажут.

Слов нет, мастерство — дело хорошее. Но нет специалистов слова, мастеров слова.

В Америке, говорят, в одном из газетных конкурсов первую и вторую премию получил один и тот же журналист, написавший каждую из статей с противоположных идейных позиций.

Такому ли мастерству надо учиться?

Третьяков учил журналистике, очерковой работе неустанно, живо и интересно. Всякая беседа была занятием, полезным профессионалам.

— Надо сделать вот что, — говорил Третьяков, сидя за письменным столом, аккуратно покрытым толстым стеклом, — надо взять дом. Старый московский дом. Тот, что стоит на углу Мясницкой. И описать все его квартиры: людей, которые там живут, стены, мебель. Снять «фотографию» дома. Мы обязательно сделаем эту работу.

Все было интересно, полезно, но... главного не было и здесь. Здесь был догматизм, узость, еще большая, чем в «ЛЕФе», который разрывался от противоречий. Маяковский хотел писать стихи и был изгнан из «Нового ЛЕФа». Писание стихов казалось Третьякову пустяками.

Сергей Михайлович с восторгом бы включился в дискуссию о «физиках» и «лириках». Сбывались самые его затаенные мечты. Победы науки, популяризация их — особенно большое поле деятельности открылось бы сейчас для Третьякова.

Третьяков одобрял Арсеньева[94], писал о нем много. Горького считал выдающимся мемуаристом. Но опыт «биоинтервью» его книги «Дэн Шихуа» не был удачен. Это была квалифицированная «литзапись» — не больше.

Я учился у Третьякова газетному делу, журналистике. Но решение вопросов «общего» порядка не казалось мне убедительным. Меня беспокоило — как собрались вместе столь разные люди, как Третьяков, Асеев, Шкловский. Мне казалось, я легко подскажу выход.

Третьяков слушал меня чрезвычайно неодобрительно.

— Да-да... Нет, нет... Да, конечно. Вы просто всего не знаете... — И перевел разговор на другое. — Вы ведь работаете в «Радиогазете»?

— Да. В «Рабочем полдне» МГСПС.

— Вот и напишите для «Нового ЛЕФа» статью: «Язык радиорепортера». Я слышал, что на радио надо меньше употреблять шипящих, особым образом строить фразу — глагол выносить вперед. Фразы должны быть короткими. Словом, исследуйте этот вопрос.

— Я хотел бы написать кое-что по общим вопросам...

Третьяков посмотрел на меня недружелюбно. Тонкие губы его скривила усмешка:

— По общим вопросам мы сами пишем.

Больше я не был у Третьякова. Много лет спустя попалась мне в руки передовая «Литературной газеты»: «Расстрелянный японский шпион Сергей Третьяков...»

В 1956 году он был реабилитирован.

Асеев был непременным участником всех лефовских и нелефовских литературных вечеров, участником всех диспутов, споров. Асееву принадлежит знаменитый термин того времени «социальный заказ». Над этим термином много иронизировали, но суть его была: слушать, понимать, выполнять требования времени («Слушать музыку революции», — говорил Блок).

В ритмике «Черного принца» Асеева были скрыты все будущие «находки» «тактовика» Сельвинского.

«Черный принц» читался всюду. Это было ритменное открытие, новость.

НЭП внес немало смущения в души людей.

Асеев написал «Автобиографию Москвы»:

Под оскорбленьями,
под револьверами,
По переулкам
мы
пройдем впотьмах...

«Электриаду» и лучшую свою вещь — поэму «Лирическое отступление»:

Как я стану твоим поэтом,
коммунизма племя,
Если крашено —
рыжим цветом,
А не красным — время?!

Эти строчки твердили на каждом углу Москвы.

Маяковский написал в это время «Про это».

«Синие гусары» написаны в 1926 году — к столетию декабристов. К этому же времени относится великолепное стихотворение «Чернышевский» (1929).

И мы говорили: вот, если запретить писать стихи? Не то, что запретить официально и можно будет как-нибудь писать для себя, втайне от всех, а нельзя никак — просто стихи будут исключены из жизни общества. Что будут делать поэты? Безыменский, например, бесспорно, будет на партийной работе, Жаров[95] и Уткин[96] — на комсомольской, Сельвинский будет работать бухгалтером в «Пушторге». А Асеев? Асеев перестанет жить. Мы думали, что и Асеев считает, что поэзия — судьба, а не ремесло. Маяковский показал это 14 апреля 1930 года — после того, как десять лет страстно уверял в обратном.

Так думали мы про Асеева в начале двадцатых годов. Но это продолжалось недолго.

Нас смущала искусственность его поэзии, холодок «мастерства», который, уничтожая поэта, делал его «специалистом», выполняющим «социальный заказ». Этот асеевский термин в большом ходу был в те годы. Сам Асеев толковал его уже более лично, чем тогдашние критики. Но термин был подхвачен, распространен. Позднее я увидел, что мастерство — далеко не главное в поэзии. Больше того. Мастерство может только оттолкнуть. Я понял, что поэт должен сказать свое, не обращая внимания на форму, пытаясь донести до читателя новое и важное, что поэт в жизни увидел. И это новое и важное не может быть словесной побрякушкой. Чеховские слова насчет однозначности новизны и талантливости — верны. Их потом повторил Пастернак:

Талант — единственная новость,
Которая всегда нова.

<«А. П. Зуевой»>

Уже в «Лирическом отступлении» было много мертвых строк. Самое лучшее — начало:

Читатель — стой!
Здесь часового будка.
Здесь штык, и крик
И лозунг, и пароль.
А прежде —
здесь синела незабудка,
веселою мальчишеской порой...

и т. д. <*«Новая Буденная»*. 1930>

Поэма «Буденный» <1923> была очень хороша, но она никого не волновала.

Поэма «Семен Проскаков» — о судьбе расстрелянного Колчаком дальневосточного партизана — была явной неудачей. Принимали ее вежливо-холодно.

Деятельность Асеева в качестве судейского репортера — на процессе атамана Анненкова[97] — вызывала недоумение:

Вот он сидит — «потомок» декабриста...

и т. д.

Напряженная работа над «газетным» стихом, во славу лефовских теорий и вопреки неожиданно вырвавшемуся признанию:

Я лирик
по складу своей души,
По самой
строчечной сути —
<*«Свердловская буря»*. 1925>

удивляла.

Внезапно Асеев получил письмо. Герой поэмы Семен Проскаков оказался живым и присылал «приветы товарищам по редакции». Поэма была уже мертва, а герой — жив. Было тут какое-то противоречие искусства и жизни, неестественность такого рода поэзии.

В конце двадцатых годов и позднее в течение ряда лет Асеев поставлял в газеты т. н. «праздничные стихи» — «К 1 мая», «К 7 ноября». Кирсанов делал то же самое.

Стихотворный «отклик на злобу дня» стал главным жанром Асеева. Поэма «Маяковский начинается» мало что изменила.

Но в начале двадцатых годов это был популярный, любимый Москвой поэт, от которого ждали стихов больше даже, чем от Маяковского. От Маяковского ждали шума, скандала, хорошей остроты, веселого спора-зрелища. Асеев казался нам больше поэтом, чем Маяковский, и, уж конечно, мы не считали поэтом Третьякова. Впрочем, вскоре он и сам себя перестал считать поэтом.

В одном из номеров журнала «Новый ЛЕФ» просил своих друзей присылать в редакцию «новые рифмы», «необыкновенные рифмы».

Маяковский и его друзья ставили дело «заготовки рифм» на широкие рельсы.

Сейчас я вспоминаю эту просьбу с улыбкой, но тогда я откликнулся на нее серьезно, наскоро заготовил несколько десятков рифм, вроде «ангела — Англией», добавил несколько своих стихотворений и отправил, вовсе не ожидая ответа.

Через некоторое время я получил письмо Николая Асеева. Это было первое полученное мною в жизни письмо от известного литератора, да и стихов своих, хоть я писал их с детства, я никому не показывал.

Асеев благодарил за рифмы, написал, что у меня «чуткое на рифмы ухо», что касается стихотворений, то «если это первые мои стихи», то они заслуживают внимания, но главное — это «лица необщее выраженье» и т. д.

Много позже я понял, что никаких «первых стихов» не бывает, что поэт пишет всю жизнь и не писать не может, что так называемые «заготовки» — суета сует и только мешают пробиться истинному поэтическому потоку, что стихи — это не рифмы, а судьба, что цитата из Баратынского о «лица необщем выраженье» — банальность. Что «заготовки» не более нужны поэту, чем абрамовский словарь русских синонимов.

Кстати об Абрамове[98]. Абрамов был автором многих популярных брошюр: «Как сделаться оратором», «Как написать доклад», «Как научиться писать стихи». Это были весьма толковые книжки — на уровне знаний начала века. Эти брошюры давали полезные сведения общекультурного характера — вроде нынешних брошюр Общества популяризации научных знаний. Поэтов всегда было много. В аннотации на книжку Абрамова «Искусство писать стихи», напечатанной в 1912 году, сказано:

«Полное и всестороннее ознакомление с трудностями поэтического творчества, несомненно, отобьет у не-

призванных охоту заниматься несоответствующим их таланту делом».

«Научиться писать стихи нельзя» — вот формула Абрамова. Книжка его — очень грамотно составленная небольшая антология современной тогдашней русской поэзии. Его толковая книжка и написана для того, чтобы защититься от потока стихотворений, заливающих издательства. Но поток не перестал быть мощным.

Вернемся к Асееву.

Больше, чем содержанием письма, я был поражен его внешним видом. Письмо было написано мельчайшим четким прямым женским почерком на светло-сиреневой бумаге с темно-лиловыми каемочками и уложено в крошечный конвертик, тоже сиреневый и тоже с каемочками. Писем на такой бумаге и в таких конвертах я в жизни не получал.

Конечно, каждое стихотворение большого поэта ставит и какую-либо чисто техническую задачу. Но эта задача не должна отвлекать от главного.

Кроме того, поэт ничего не ищет. Творческий процесс — это, скорее, процесс отбрасывания, отбора тех молниеносных, проходящих в мозгу сравнений, мыслей, образов и слов, вызванных рифмой, аллитерацией.

Лефовцы говорили: мы обладаем «мастерством». Мы — «специалисты» слова. Это мастерство мы ставим на пользу советской власти, готовы рифмовать ее лозунги и газетные статьи, писать фельетоны в стихах и вообще сочинять полезное.

Оказалось, что для настоящих стихов мастерства мало. Нужна собственная кровь, и пока эта кровь не выступила на строчках — поэта, в настоящем смысле слова, нет, а есть только версификатор. Поэзия — судьба, а не ремесло.

Евтушенко написал стихотворение «Карьера» — многословное, не очень верное с фактической стороны. На эту же самую тему исчерпывающим образом высказался Блок, прозой. Он сказал: «У поэта нет карьеры. У поэта есть судьба». Вот уровни суждений двух поэтов по одному и тому же вопросу.

. . . .

Я стал ходить во Дворец труда, в кружок при журнале «Красное студенчество», которым руководил Илья Сельвинский.

Здесь была уже сущая абракадабра. Мне хотелось больших разговоров об искусстве — меня угощали самодеятельными ямбами Митрейкина[99]. Эти ямбы обсуждались подробно. Каждый слушатель должен был выступать. Заключительное слово произносил сам «мэтр» — Сельвинский, откинувшись на стуле, он изрекал после чтения первого ученика:

— Во второй строфе слышатся ритмы Гете, в третьей — дыхание Байрона.

Первый ученик Митрейкин, давно потерявший способность краснеть, самодовольно улыбался. Это было еще хуже ЛЕФа. Дважды послушав «тактовые» откровения Сельвинского и приватные беседы поэтов друг с другом во время «перекусов», я перестал ходить в «Красное студенчество».

Конструктивисты выпустили три сборника с претенциозными названиями: «Мена всех», «Госплан литературы», «Бизнес».

Услуги теоретика при конструктивистах выполнял Корнелий Зелинский[100].

Борис Агапов, в будущем неплохой очеркист, журналист, участвовал в «Госплане литературы» как поэт.

Попытка записать стихотворение так, как оно говорится, приводила к следующим «достижениям»:

Нночь-чи? Сон... ы! Прох?ладыда!
Здесь в аллейеях загалохше?го сад... ы
И доносится толико стон... ы гит-таоры
Таратинна' Таратинна! эп'

(Сельвинский. *«Цыганский вальс на гитаре»)*

Девушки снегур(ы)ки галаз(ы)ками колются
Заайчики моолютца, плаачиит снег.

(Б Агапов[101]. *«Лыжный пробег»)*

Все это знал еще Тургенев.

Понимая, что наблюдение такого рода можно «обыграть» только иронически, Тургенев вложил стихотворную тираду в уста комического персонажа. Тургенев чувствовал русский язык много лучше, чем его потомки.

В «Конторе» («Записки охотника») есть такие «конструктивистские» находки:

«Сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал известный романс:

Э-я фа пасатыню удаляюсь
Ата прекарасаных седешенеха мест»

и проч.

По образцу лефовцев конструктивисты готовили «смену». Молодые ученики Сельвинского назывались «констромольцами». Сколько-нибудь значительных поэтов из них не вышло.

Зато объявили себя конструктивистами Антокольский[102], Багрицкий[103] и Луговский[104].

Прозаик Николай Панов[105] здесь назывался поэт Дир Туманный, сочинивший поэму «Человек в зеленом шарфе». Поэма была издана «Кругом».

Чувство языка подвело Сельвинского и тогда, когда конструктивисты сделали публичное заявление, что они не «попутчики». Они оскорблены этим бытующим термином. Они «сопролетарские писатели». Трудно найти столь неудачный, в его звуковом качестве, термин.

. . . .

Мы хотели знать, как пишутся стихи, кто их имеет право писать и кто не имеет. Мы хотели знать, стоят ли поэты своих собственных стихов, хотели понять тот удивительный феномен, когда плохой человек пишет стихи, пронизанные высоким благородством. И чтобы нам объяснили — для чего нужны стихи в жизни. И будут ли в завтрашнем дне?

А вместо этого нас угощали ритмами Митрейкина, восходящими к интонациям Гете. Или литературными сплетнями, где все единомышленники были гениями, а все литературные враги — бездарностями, ничтожеством и завистниками.

Всю жизнь я мечтал, что встречу человека, которому буду подражать во всем, на которого буду молиться, как на Бога. Такого человека я не встретил.

Я поздно понял, что в глазах современников оценка поэта, писателя неизбежно другая, чем у «потомков». Помимо таланта, литературных достоинств, живой поэт должен быть большой нравственной величиной. С его моральным обликом современники не могут не считать-

ся. Наиболее известные примеры — Гейне и Некрасов. Нравственный авторитет собирается по капле всю жизнь. Стоит только оступиться, сделать неверный шаг, как хрупкий стеклянный сосуд с живой кровью разбивается вдребезги. На этом пути не прощают ошибок.

Тогда я еще не понимал, что поэзия — это личный опыт, личная боль и в то же время боль и опыт поколения.

Я не понимал еще тогда, что писатель, поэт не открывают никаких путей.

По тем дорогам, по которым прошел большой поэт — уже нельзя ходить. Что стихи рождаются от жизни, а не от стихов. Я понял, что дело в видении мира. Если бы я видел так, как Пушкин, — я и писал бы как Пушкин. Я понял также, что нет стихов квалифицированных и неквалифицированных. Что есть стихи и не стихи. Что поэзия — это душевный опыт, и что лицейский Пушкин еще не поэт. Что Пушкин — это поэт для взрослых и более того: когда человек поймет, что Пушкин — великий из великих, он, этот человек, и становится взрослым. В юности мы этого не понимаем, часто отдаем предпочтение Лермонтову. Но годы идут, и оценки наши меняются.

И еще: Пушкин не тот поэт, с которого надо начинать приобщение к русской поэзии. Он слишком сложен, не всегда понятен, он адресуется к людям, которые уже кое-что смыслят в стихах и многое смыслят в жизни. Начинать надо с Некрасова, Алексея Константиновича Толстого. А Пушкин — это вторая ступень. А дальше — Лермонтов, Тютчев, Баратынский — все это поэты, требующие не то что подготовки, а уже воспитанной любви к поэзии. Я делал сотни опытов в своей жизни: какое стихотворение человек запоминает первым в жизни. В дореволюционном школьном репертуаре было много различных «птичек Божих», но девяносто девять процентов опрошенных запомнили некрасовское: «Как звать тебя? Власом».

. . . .

Вот характеристика двадцатых годов, сделанная Пастернаком в 1952 году [из письма к Шаламову 9 июля]:

«Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период, для Маяковского еще более губительный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, например, Андрею Белому могло казаться, что

он остается художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами».

И далее в том же письме:

«Из своего я признаю только лучшее из раннего («Февраль, достать чернил и плакать», «Был утренник, сводило челюсти») и самое позднее, начиная со стихотворения «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского... я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше».

Вряд ли можно с такой оценкой двадцатых годов согласиться. Но несомненно одно: литературная манера лефовского круга, ее внутренняя фальшь — ощущалась Пастернаком с великой болью всю его творческую жизнь. Он считал, что поздно вышел на правильную дорогу. И все же, самое лучшее, самое главное — в осужденных им сборниках стихов. Ибо емкости строки, свежести наблюдения, чистоты голоса «Сестры моей жизни» и некоторых стихов более позднего времени Пастернак не достиг более. В стихотворениях из романа в прозе много замечательного, но это все же не откровения «Сестры моей жизни». Пастернак говорил: «Я хочу сказать многое для немногих». Ему удалось сказать многое для многих.

Главные литературные группы — «Перевал» и РАПП — непрерывно росли на «местах». В городах рождались эти группы «парно».

Лефовцы и конструктивисты, конечно, о провинциальных отделениях своих и не мечтали, не говоря уже о

разных «прочих шведах», вроде оригиналистов-фразарей и ничевоков. Впрочем, героические действия Кирсанова в Одессе в этом направлении были, кажется, успешны. Во всяком случае, были сочинены стихи:

Одесса — город мам и пап
Лежит, в волне замлев,
Туда вступить не смеет РАПП,
Там правит ЮГОЛЕФ[106]

От «Перевала» в дискуссиях принимали обычно участие Александр Лежнев, Дмитрий Горбов[107], позднее Давид Тальников[108]. В ответственных случаях выступал сам Воронский.

Воронский был не только редактором «Красной нови» и журнала «Прожектор». Он был капитальным по тому времени теоретиком искусства и литературы — автором книги «Искусство видеть мир». Он написал десятки критических статей, писательских портретов, полемических статей по вопросам литературы.

Написал роман «Глаз Урагана», биографию Желябова, автобиографическую повесть «Бурса» и воспоминания «За живой и мертвой водой».

Был организатором и вождем большого литературного объединения «Перевал».

Профессиональный революционер, Воронский был личным другом Ленина, посещавшим его в Горках в дни болезни, до самой смерти. Был консультантом Ленина по вопросам эмигрантской литературы в начале двадцатых годов.

В диспутах с Маяковским Воронский, помнится, вовсе не выступал.

Знаменитый четырехтомник Есенина (с березкой) выпущен с его очень теплой вступительной статьей.

Есенинская поэма «Анна Снегина» посвящена Воронскому.

Воронский стоял во главе большого издательства «Круг»[109].

Словом, роль его в двадцатые годы была весьма приметной. Он был одним из главных строителей молодой советской литературы, воспитал и оказывал помощь многим писателям.

Года два назад критик Машбиц-Веров[110], живущий ныне в Саратове, в статье в «Литературную газету» звал Леонова и Федина рассказать о роли Воронского в становлении их как писателей.

Издательство «Круг» и редакция «Красная новь» были в Кривоколенном переулке.

Я пришел на одно из редакционных собраний.

Была зима, но не топили, и все сидели в шубах, в шапках. Электричество почему-то не горело. Стол, за которым сидел Воронский, стоял у окна, и было видно, как падают черные снежинки. На плечи Воронского была накинута шуба, меховая шапка надвинута на самые брови. На столе горела керосиновая лампа «десятилинейка», освещая сбоку силуэт лица Воронского, блеск его пенсне — огромная тень головы передвигались по потолку, пока Воронский говорил. О чем шла речь? О достоинствах чьей-то повести, предназначенной для очередного альманаха. На диване напротив тесно сидели люди, кто-то курил, и холодный голубой дым медленно поднимался к потолку.

Рядом с диваном на стульях, а то и прямо на полу сидели люди. Перед тем, как начать говорить, вставали, двигались чуть вперед, и луч керосиновой лампы ловил их лица, и тогда я узнавал: Дмитрий Горбов, Борис Пильняк, Артем Веселый[111].

В начале революции Воронский работал в Иванове редактором областной газеты «Рабочий край». Потом перебрался в Москву, изложил Ленину план создания первого «толстого» литературно-художественного журнала. Организационное собрание журнала «Красная новь» состоялось на квартире Ленина, в Кремле. Присутствовали: Н. К. Крупская, В. И. Ленин, А. М. Горький, А. К. Воронский. Доклад о журнале был сделан Воронским, и было решено, что художественной частью будет заведовать Горький, а редактором журнала станет Воронский. Для первого номера Ленин дал статью о продналоге, а писатель Всеволод Иванов — свою первую повесть «Партизаны».

Горький связал Воронского с ленинградскими писателями — с бывшими «Серапионами».

Ленин угадал в Воронском талант литературного критика, так же как в Вацлаве Воровском[112] угадал дипломата, а в Цюрупе[113] — крупного государственного деятеля. Встречаясь когда-то в ссылке со многими людьми, Ленин оценивал их будущие возможности в качестве строителей государства, искусства. И. К. Гудзь[114], работник Наркомпроса, один из авторов известного закона о ликвидации неграмотности, вспоминал, как Ленин ходил по коридору Наркомпроса (он каждый день заезжал за

Н. К. Крупской) и говорил: «У нас никто не знает, как строить государство. Знаю я, Свердлов, Цюрупа. Остальные — не знают».

В тридцатых годах я был на чистке Воронского. Его спросили: «Почему вы, видный литературный критик, не написали в последние годы ни одной критической статьи, а пишете романы, биографии?»

Воронский помолчал, вытер носовым платком стекла пенсне: «По возвращении из ссылки я сломал свое перо журналиста».

Вслед за «Красной новью» стали выходить и другие толстые журналы: «Молодая гвардия», «Печать и революция» — редактором был Н. Л. Мещеряков[115], «Новый мир» с редактором Луначарским, «ЛЕФ» редактировал Маяковский, «Октябрь» — Панферов.

У тонкого журнала «Красная нива» редактором был А. В. Луначарский.

НЭП вызвал к жизни «Смену вех»[116]. И. Лежнев[117] редактировал журнал сменовеховцев «Россия». И потом, когда «Россия» из-за Устряловской[118] статьи была закрыта, выходила — под редакцией того же Лежнева — «Новая Россия», где печатался роман Михаила Булгакова «Белая гвардия».

Роман этот вызвал большой интерес. Было сразу видно, что в русскую литературу пришел новый большой талант.

Булгаков, альбинос со светло-голубыми глазами, с маловыразительным лицом, был живым опровержением всяких «френологических» теорий. В детстве моем бытовало мнение, что объем головы, высота лба — верные внешние признаки мудрости. Мозг Тургенева весил необыкновенно много. Но время подрезало эти теории: мозг Анатоля Франса весил ничтожно мало. Что же касается моих многих наблюдений, то самым умным и самым достойным человеком, встреченным мной в жизни, был некто Демидов[119], харьковский физик. Узкие в щелочку глаза, невысокий лоб с множеством складок, скошенный подбородок...

Михаил Булгаков — киевлянин. Валентин Катаев — одессит. Они впервые приехали в Москву с юга страны, первыми завоевали писательское место.

Одесса и вообще юг сыграли заметную роль в «географии» молодой советской литературы. Бабель, Пет-

ров, Олеша, Багрицкий, Паустовский, Ильф, Кирсанов — все они с юга.

Виктор Шкловский когда-то писал о «юго-западной школе» нашей литературы, а первый сборник стихов Багрицкого так и называется «Юго-Запад».

Потом, в конце тридцатых годов, многих литераторов переместили на северо-восток нашей страны. Это обстоятельство иронически обыграно в названии сборника стихов В. Португалова[120], вышедшего в 1960 году. Португалов, чья биография, вынесенная в аннотацию, сама звучит как стихи, посвятил свой сборник Багрицкому и назвал книжку — «Северо-Восток».

. . . .

Булгаков не знал неизвестности, непризнания. Талант его был сразу оценен, замечен.

«Белую гвардию» напечатали за границей.

Но к русскому читателю Булгаков не добрался. Журнал «Россия», где печатался его первый роман, был закрыт.

Булгаков выступает с фантастической повестью «Роковые яйца», со сборником рассказов «Дьяволиада».

Рассказы и особенно повесть встречают резкую критику газет.

Булгаков работает в «Гудке», пишет очерки для «30 дней», рассказы для «Медицинского работника». Он переделал в пьесу свой роман «Белая гвардия».

«Дни Турбиных» — это не просто инсценировка романа. Некоторые действующие лица отброшены, одни характеры усилены, другие — смягчены.

По роману Алексей Турбин — военный врач. В пьесе он — полковник. В романе есть полковник Малышев — в пьесе его нет вовсе. В пьесе есть сцены, которых нет в романе.

Постановка «Дней Турбиных» была разрешена только лишь Художественному театру. С Хмелевым и Добронравовым в роли Алексея Турбина и Тарасовой и Еланской в роли Лены — пьеса имела огромный, ни с чем не сравнимый успех.

Первая редакция (ближе стоящая к тональности романа) особенно вызывала много шума, крика, вплоть до скандалов и свиста в театре. Пьесу сняли как прославляющую белогвардейцев.

Вскоре «Дни Турбиных» были восстановлены в новой редакции. Эта новая редакция была чисто театраль-

ной. Текст был тот же самый, но знаменитое «Боже, царя храни», которое пели офицеры на елке — торжественно, во второй редакции пели пьяным нестройным хором.

Словом, в игре актеров было усилено критическое «отношение к образу». Помните Вахтангова: «Актер должен играть не образ, а свое отношение к образу».

Конечно, навечно запомнится нам и Хмелев — Алексей Турбин и Яншин — Лариосик. Именно этой ролью Яншин и начал свой славный театральный путь.

На премьере первой редакции «Дней Турбиных» был скандал. Какой-то военный и комсомолец громко свистели, и их вывели из зала.

Луначарский в большой статье, помещенной в «Известиях», опубликованной ко времени возобновления пьесы, разъяснял мотивы Реперткома, вновь разрешающего «Дни Турбиных» к постановке. Пьеса талантлива. Главная мысль ее в том, что, если белые идеи и были гнилыми идеями, обреченными на гибель, то люди, которые их защищали, были — сплошь и рядом — вовсе не плохими людьми.

Что же касается шиканья в зале, то Луначарский разъяснял, что шиканье, наряду с аплодисментами, — вполне правомерный способ публичного выражения своих симпатий и антипатий в театре, своего отношения к спектаклю, и поэтому администрации Художественного театра на сей предмет сделано строгое внушение.

«Дни Турбиных» в Художественном театре, несомненно, самая яркая пьеса двадцатых годов.

Выдающийся драматург, Булгаков ставил одну пьесу за другой: «Зойкина квартира» у Вахтангова, «Багровый остров» в Камерном театре, «Мольер» — в Художественном. Готовился во МХАТе «Бег». Для Художественного театра, чьим автором Булгаков работает ряд лет при горячей поддержке Станиславского, он пишет пьесу «Мертвые души» по Гоголю, «Жизнь господина де Мольера».

Проза Булгакова — его первый роман и повести — испытывала сильное влияние гоголевской прозы. Если Пильняк получил гоголевское наследство из рук Андрея Белого, то Булгаков на всю жизнь был представителем непосредственно гоголевских традиций. Это сказывалось не только в его словаре, но и в совершенном знании сцены, театра и в пристрастии к фантастическим сюжетам, в любви к драматургической форме.

Пьеса «Мертвые души» написана очень тонко. Там есть «досочиненный» вполне в гоголевском плане пролог, есть действующие лица, «о которых и не слышно было никогда».

Конечно, лучше Булгакова никто бы не инсценировал Гоголя.

Вслед за Булгаковым на страницы журнала «Россия» вступил и Валентин Катаев[121].

Катаев начинал стихами, реминисценциями Кузмина, Волошина.

Стихи на страницах «России» были вполне в духе журнала:

И гром погромов, перьев тень
В дуэли бронепоездов,
Полжизни за Московский Кремль,
Полцарства за Ростов,
И только вьюги белый дым,
И только смерть в глазах любой,
Полцарства за стакан воды,
Полжизни — за любовь.

(В. П. Катаев. *«Современник»)*

Катаев работал над «Растратчиками», повестью, которая сразу принесла ему известность. Напечатаны «Растратчики» были в «Красной нови».

За границей была поднята большая шумиха по поводу первой книги «Тихого Дона»[122]. Жена какого-то белогвардейского офицера, убитого во время Гражданской войны, выступила с письмом, обвиняя Шолохова в плагиате. Рукопись романа будто бы принадлежит ее мужу. Была проверка этих обвинений.

Зерно правды было ничтожным. Шолохов сообщил, что действительно в архивах Донецкого совпрофа он нашел дневник убитого офицера, рукопись, которую он использовал в своем романе. Использование такого рода материалов — право всякого писателя. Притом дневник этого офицера был использован лишь в части этой первой книги. Словом, обвинения вдовы офицера были отвергнуты, отметены.

Выход последующих книг «Тихого Дона» показал всю беспочвенность этой клеветы.

В «Поднятой целине», вскоре вышедшей, не использованы никакие чужие рукописи.

В эти же годы литературным организациям пришлось рассматривать еще одно дело о плагиате.

Плотников, учитель русской литературы в Якутии, проработавший среди якутов двадцать пять лет, всю жизнь собирал якутский эпос. Все сказы и легенды якутского народа были Плотниковым собраны, переведены на русский язык классическим размером «Гайаваты» Лонгфелло в переводе Бунина. Толстый сборник якутского фольклора под названием «Янгал-Маа», что значит «тундра», был Плотниковым упакован и направлен посылкой в журнал «Новый мир». Редакции журнала рукописи Плотникова показались «самотеком», литературным сырьем, которое должно было получить обработку прежде, чем попасть в печать. Материал же был очень интересен, своеобразен, уникален. Ничего не сообщая Плотникову, редакция журнала передала рукопись поэту Сергею Клычкову[123], автору «Чертухинского балакиря», и Сергей Клычков, отложив все дела, в довольно короткое время привел рукопись в христианский вид. Исключив всякие повторения эпизодов, выправив сюжетное начало, переделав «Янгал-Маа» от строки до строки, Клычков сдал в «Новый мир» перевод с якутского, названный им «Мадур Ваза победитель» по имени главного героя якутского эпоса. Поэма — так назвал свое произведение Клычков — включала ни много ни мало как тридцать шесть тысяч стихотворных строк.

Журнал с поэмой Клычкова вышел в свет и дошел до Якутска. Потрясенный Плотников бросился в Москву, требуя расследования, обвиняя Клычкова в плагиате, требуя выплаты денег ему, Плотникову, за двадцатипятилетний его труд. Оказалось, что деньги Клычков получил уже давно. Оказалось, что издательство «Академия» заключило с Клычковым договор на издание «Мадур Вазы» и тоже заплатило ему деньги сполна.

Было расследование. Работа Клычкова над рукописью Плотникова была признана имеющей самостоятельное художественное значение, и все претензии к Клычкову разом отпали. Редакции журнала был объявлен выговор. А издательству «Академии» было предложено заключить договор с Плотниковым и издать его рукопись вместе с произведением Клычкова.

Так вышла в свет удивительная книга, где напечатаны два одинаковых, по существу, текста — без всяких объяснений. Книгу Плотникова и Клычкова и сейчас можно видеть в Ленинской библиотеке.

Плагиатные дела не были новостью для двадцатых годов.

Начало было положено печально знаменитым С. Бройде[124]. Нэповский делец, Бройде отсидел некоторое время в домзаке, вышел и решил описать советский исправдом. Получилась интересная книга, названная «Фабрика человеков», изданная Московским товариществом писателей. Книга имела читательский успех. Бройде стал членом ревизионной комиссии Товарищества писателей, выступал по различным писательским вопросам — больше бытового характера — активно. Вскоре был напечатан еще один роман Бройде — «Кусты и зайцы».

Внезапно против Бройде было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что Бройде разыскал бедствовавшего старичка, безвестного писателя царского времени Лугина[125], поселил его на даче, кормил, выдавая «по полтиннику в день», как говорилось на суде.

Лугин написал для Бройде «Фабрику человеков», Бройде разбогател, но участь Лугина не улучшилась. Бройде усадил Лугина за второй роман, запретил ему появляться в Москве, сократил его «ежедневный гонорар».

Обозленный Лугин подал в суд. Фельетон Евгения Вермонта[126] из «Вечерней Москвы» по делу Бройде так и назывался «Назад, на скамью подсудимых».

В 1924 году в Москве собрался конгресс натуралистов. Циолковский делал на нем два доклада о космических ракетах.

Говорили об этом много: «Аэлита», «Гиперболоид» были отражением этих разговоров.

Тогда же в редакциях научных журналов, в коридорах научных институтов появлялась маленькая фигурка старичка в сером пиджаке с небольшой бородкой, с неизменной палкой в руках. За его спиной обычно возникал шепот удивления. Старичок был автором многих работ по электротехнике, редактором технической энциклопедии по вопросам электротехники, создателем еще нового у нас тогда дела — первых «пластмасс».

Говорили, что темы многих диссертаций родились из случайных бесед со старичком — бесед, в которых он никому не отказывал.

Гонорара за свои статьи старичок не брал. Жил одиноко. Его звали Павел Флоренский[127]. В дореволюционное время он был священником-профессором Духовной академии, виднейшим теоретиком православия, автором фундаментального на сей счет труда.

В науке это была фигура мирового значения. Впоследствии в Лондоне вышел его двадцатитомный труд «Человек и природа».

Не знаю о его судьбе в тридцатые годы, но редакция журнала «Сорена» еще печатала его статьи.

Флоренский был не единственным духовным лицом в тогдашнем научном мире. Автор капитального учебника по гнойной хирургии Войно-Ясенецкий[128] был епископом. «Епископ Лука» — такая подпись стояла на его популярнейших тогда книгах.

. . . .

Эренбург[129] приезжал из-за границы редко. Я слушал его лекцию «С высот Монмартрского холма», собравшую множество народу. Ничего сейчас не вспоминаю, кроме того, что туфли Эренбурга были завязаны какой-то сложной системой шнурков. Шнурки эти все время развязывались, и Эренбург, не прекращая говорить, ставил ногу на стул, завязывал шнурки. Немного погодя шнурки снова развязывались, и все начиналось сначала.

Читательская популярность автора «Хулио Хуренито» была очень большая. Романы «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Любовь Жанны Ней» можно было увидеть в руках встречных людей каждый день.

«Трест ДЕ», «Рвач», «В Проточном переулке» — все эти книги читались нарасхват. Но самой популярной был сборник «Тринадцать трубок». Строчки из «Первой трубки» (о Париже) мы твердили наизусть.

В Кунцево образовалось нечто вроде предмостного укрепления одесситов перед Москвой. Там жили Кирсанов, Багрицкий, Бродский[130], Олендер[131], Колычев[132].

Кирсанов — крошечный, крикливый — выступал на каждом литературном вечере, даже если его и не приглашали. Публике нравилась его неисчерпаемая энергия, а главное — великолепное чтение. Читать Кирсанов готов был без конца. Читал он настолько здорово, что чуть не всякое прочтенное им стихотворение казалось замечательным — до тех пор, пока не удавалось прочесть его, взять в руки. Тогда впечатление менялось. Кирсанов недаром был крайним сторонником «звучащей поэзии» — большим, чем его старшие товарищи Маяковский и Асеев. С широковещательными речами Кирсанов по молодости лет еще не выступал. Чтение стихов — и ничего больше. Но на всех сценах и авансценах

протискивалась его энергичная фигурка, слышался звонкий голос, что его обижают, что ему Уткин и Жаров не дают читать стихи, что у него стихи — хорошие, пусть только разрешат ему прочесть, и он себя покажет. Обычно прочесть ему разрешали — для слушателей это было неожиданным и приятным сюрпризом. Читал он «Плач Быка», «Германию», все те стихи, которые вошли в его сборник «Опыты». Было там одно стихотворение, начинавшееся:

> Грифельные доски,
> парты вряд..
>
> <*«Моя автобиография»*>

Кирсанов говорил: «Сейчас я прочту вам стихотворение, которое называется «Моя автобиография». В журнале, где эти стихи напечатаны, сохранилась та же ошибка, и лишь в «Опытах», в книжке, стихотворение названо грамотно: <«Краткая автобиография»>

Эстрадную популярность в Москве Кирсанов завоевал себе быстро.

Когда Полонский на одном из диспутов сказал: «Какой-то Кирсанов», Виктор Шкловский заметил, что «если Полонский не знает Кирсанова, то это факт биографии Полонского, а не Кирсанова».

Остроты, полемику — пусть даже самую грубую — в двадцатые годы очень любили.

Самым остроумным оратором литературных диспутов того времени я считал Виктора Шкловского.

Несравненный полемист, эрудит, Шкловский привлекал к себе всеобщее внимание. Книги его читались нарасхват. Каждая строчка там была умна, остроумна, нова. Его лысый череп приветствовали все.

Свой своеобразный литературный стиль Шкловский заимствовал у Василия Розанова, автора «Опавших листьев» и других интересных книг. Но кто в двадцатые годы знал и помнил, и почитал Розанова?

Слог Шкловского казался всем открытием.

Пародист Александр Архангельский[133] написал очень удачную пародию на Шкловского и назвал ее «Сухой монтаж». В первом издании (в той же Библиотечке «Огонька») название это было сохранено. Но в дальнейшем Архангельский изменил его на «Сентиментальный монтаж».

Библиотечка «Огонька», которой занимался Ефим Зозуля[134], занимала много места в литературной жизни

тогдашней. Дело это было построено совсем на других началах, чем теперь.

Сейчас это кормушка для писателей разного возраста, железнодорожное чтиво для читателей разного возраста, а тогда это был по-газетному оперативный издательский отклик на злобу дня, на новинки художественной литературы. Библиотека «Огонек» знакомила с новыми именами в прозе и поэзии вслед за журналами и много раньше отдельных изданий. Библиотечка была на переднем краю литературы. Успех писателя, поэта — новое или старое имя, это все равно — сейчас же находил отражение в Библиотечке «Огонька». Для многих Библиотечка была подтверждением успеха в дороге к большому читателю. Михаил Кольцов[135] с Зозулей обдумывали это издание.

Александр Архангельский участвовал в известном сборнике «Парнас дыбом» — очень веселом, очень популярном в свое время. Это были пародии на тексты «Веверлея», песни «У попа была собака», а объектами сатиры, пародии были Северянин[136], Бальмонт[137], Сологуб[138]. «Парнас дыбом» был веселым началом блестящей карьеры сатирика и пародиста Архангельского. Вскоре он превратил пародию в критическую статью большого плана. Архангельский вывел этот жанр на видное место в литературе. Были его собственные вечера, вечера пародий.

Его пародия на Маяковского настолько точно передает всю особенность манеры, стиля и души поэта, что почти сливается с ним, и в то же время зла и критична.

Александр Сергеич, арап московский,
Сколько зим, сколько лет!
Не узнаете? Ведь это я — Маяковский.
Индивидуальный поэт...

. . . .

Вы чудак Насочиняли ямбы,
Только вот печатали не впрок.
Были б живы, показал я вам бы,
Как из строчки сделать десять строк.
Например:
мой
дядя
самых
честных
правил,
он,

когда
не в шутку
занемог,
Уважать,
подлец,
себя заставил,
Словно
лучше
выдумать
не мог...
Ну, пора:
рассвет
лучища выкатил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.

Последняя строфа — не пародия. Я вставил подлинный текст Маяковского, чтобы сразу было видно, насколько полно слита пародия с текстом автора, в то же время это — тонкая, резкая и злая критика, где Маяковский кажется пародией на самого себя. Это — пародия, ставшая классической.

Кукрыниксы[139] удачно иллюстрировали Архангельского.

У Архангельского был туберкулез. Стрептомицина тогда еще не было, и он, с год побыв в подмосковных санаториях, умер тридцати с чем-то лет.

Сегодняшняя молодежь вовсе не знает имени Якова Рыкачева[140]. А ведь он еще жив. Рыкачев был умным и тонким писателем, автором романа «Возвышение и падение Андрея Полозова» и очень интересного очерка «Похороны».

Был Гарри, Алексей Николаевич Гарри[141], известный очеркист, бывший адъютант Котовского во время Гражданской войны. Гарри знал чуть ли не полмира, говорил на десяти языках. В двадцатые годы писал очерки в газетах, написал вместе с журналистом Павловым[142] брошюру «Как писать в газету».

Виктор Шкловский тоже выпустил брошюру подобного рода, очень толковую: «Техника писательского ремесла».

В тридцатых годах Гарри вел литературный кружок на Электрозаводе, был в тридцать восьмом арестован, отбыл десять лет на севере, вернулся в Москву, печатался, выпустил книжку о Котовском, повесть «Последний караван». Года два назад Гарри умер.

В середине двадцатых годов выдвинулся молодой писатель Н. Смирнов[143]. Он выпустил увлекательную книгу, роман «Дневник шпиона» (1929). Знание дела, обнаруженное Смирновым, привело его неожиданно на Лубянку, где он в течение двух месяцев показывал — каким материалами он пользовался для своего «Дневника шпиона»; Смирнов владел английским языком, достал несколько мемуарных английских книг (в том числе воспоминания Сиднея Рейли, известного в Москве по заговору Локкарта), читал английские газеты. Когда все разъяснилось, Смирнова освободили.

«Дневник шпиона» пользовался шумным успехом, но больших художественных достоинств не имел. Впрочем, Смирнов был безусловно талантливее писателя Николая Шпанова[144].

Поэт северянинского толка Лев Никулин[145] выпустил толстую книжку «Адъютанты господа бога». Это был роман на ту же «модную» тему о «последних днях самодержавия». Я не остановил бы внимания на этой книжке, если бы не особые обстоятельства. Через много лет мне пришлось познакомиться с неким Осипенко[146] — бывшим секретарем митрополита Питирима, покровителя Распутина. Петербургский митрополит Питирим и ввел Распутина в царское окружение. Молодой Осипенко играл там не последнюю роль, во всяком случае, видел очень много. На все мои просьбы хоть что-нибудь рассказать о Распутине, Осипенко отвечал категорическим нервным отказом. В разговоре я случайно упомянул о книге Никулина:

— Вот с этой проклятой книги все и началось, — с чувством произнес Осипенко.

Выяснилось, что Осипенко самым хладнокровным образом работал в Ленинградской милиции делопроизводителем, твердо надеясь на «перемены». Так прошло несколько лет. Вышли «Адъютанты господа бога», где Осипенко был одним из главных героев. Его разоблачили, судили и сослали на пять лет. Это был самый первый случай активного вторжения писателя в жизнь, какой я

наблюдал. Никулин и до сих пор не знает об этой истории. Он работал по архивам, по чужим воспоминаниям.

Вышла «Неделя» Либединского[147] — первая советская повесть — и заняла прочное место в читательском сердце. К сожалению, дальнейшие повести Либединского: «Комиссары», «Рождение героя», «Завтра» были слабее «Недели».

Жаров выступал с Безыменским и Уткиным, со Светловым[148], Голодным[149] и Ясным[150]. Эта была, так сказать, рапповская прослойка в поэзии.

Лучшим из них был Безыменский. Его «О Шапке» знали все. В поэмах «Шапка» была тем же, чем «Неделя» Либединского в прозе.

Высокий голос Безыменского гремел со всех трибун.

Пользовался популярностью и Уткин, несмотря на промахи с «Перекопом», о котором писал Маяковский, и ряд погрешностей идейного плана в стихах о солдате:

Пришел и сказал: — Как видишь, я цел.

«Поэму о рыжем Мотэле» читал Уткин везде. Это была популярнейшая тогда поэма.

Сатирик Арго написал эпиграмму:

Он был простой ешиботник,
Но вот загремел ураган,
И он уже ответственный работник
С портфель и с наган.
И Мотэле живет в Грандотеле
С окнами на закат,
И если за что-нибудь борется Мотэле,
Так это за русского языка.

Язык-то Уткин знал отлично.

Горький двадцатых годов — это Горький Сорренто, ведущий большую переписку с советскими писателями и вообще с советскими людьми. В Нижнем Новгороде, в Сормове был инженер Алексеев, с которым велась особенно оживленная переписка. Время от времени в газетах того периода публиковались письма работниц и рабочих — Горькому и ответы Горького на них, где он объяснял, почему он живет за границей: лечится, пишет...

Начинающие писатели паковали рукописи и посылали их в Сорренто Горькому. Горький все читал и на все отвечал самым сочувственным образом, только в случаях крайнего графоманства отвечал осудительно.

Его толкование таланта как труда — недостаточно четкое и неверное — родило множество претенциозных

бездарностей. Бездарные люди ссылались на горьковский авторитет и заваливали редакции журналов рукописями и угрожающими оскорбительными письмами.

«Горький — отец самотека», — говорили в одной из редакций.

Мне кажется, что Горький действовал из самых лучших побуждений — желая разбудить «дремлющие силы», открыть дорогу всем, кто может писать.

Что касается таланта и труда, то мне больше нравится известная формула Шолом-Алейхема[151]: «Талант — это такая штука, что если уж он есть, то есть, а если уж его нет — то нет».

Суть дела, мне кажется, в том, что труд есть потребность таланта.

Всякий талант — не только качество, а (и обязательно!) количество. Талант работает очень много.

Горькому очень верили. Его советы задержали на много лет развитие такого крупнейшего самобытного таланта, как Андрей Платонов[152].

Платонов почти все написанное посылал Горькому. Горький отсоветовал ему печатать два романа, десятки рассказов...

Горький двадцатых годов — это автор книг «Детство», «Мои университеты», «В людях», романа «Дело Артамоновых», воспоминаний о Ленине, о Толстом. Все это издавалось, читалось, но никто не знал, вернется ли Горький в Советский Союз.

Оценка его творчества в целом была иной, чем в тридцатые годы, иной, чем сейчас.

Вацлав Воровский, крупный литературовед-марксист, в своих дореволюционных статьях о Горьком не считал его писателем рабочего класса (он считал его живописцем люмпен-пролетариата и купечества, в некоторой степени бытописателем интеллигенции, а «Мать» считал художественно слабым произведением).

С такими же, примерно, оценками выступал и Луначарский в первой половине двадцатых годов. Каясь в своих собственных «богостроительских» грехах, Луначарский не упускал возможности заметить, что в этих грехах повинен и Горький.

Зимой 1926/27 года в Коммунистической аудитории Университета при баснословном стечении народа — студенчества и пришедших «с улицы» — Воронский сражался с Авербахом. После доклада Авербаха, довольно мучительного (у него был какой-то дефект речи,

хотя голос был звонкий, отличный), выступил Воронский.

Снял зимнее пальто, положил его на кафедру. Стал излагать свою позицию.

— Вы подумайте, что они пишут, эти молодые товарищи. — Читает: «Пролетарская литература уже сейчас насчитывает многие имена — Гладкова, Березовского, Горького» — извините, извините, Горького вы сюда не причисляйте...

В журнале «Большевик» была напечатана статья Теодоровича[153] «Классовые корни творчества Горького», где говорилось то же самое, что и у Луначарского, Воровского и Воронского.

Статья Теодоровича была напечатана в 1928 году. Вскоре точка зрения была изменена. В двадцатых годах за Горького как представителя пролетарской литературы без всяких оговорок выступали только рапповцы.

Горький приехал. Толпа у Белорусского вокзала. Плачущий высокий человек с черной шляпой в руках — вот все, что я видел тогда.

В лефовских кругах приезд Горького был встречен недовольным ворчаньем — как-никак «Письмо» после приезда Горького перестало быть козырем.

Шкловский написал фельетон (напечатанный в «Новом ЛЕФе»), где, признавая достоинства Горького как талантливого мемуариста — «Детство», «В людях», «Мои университеты», видел в художественных произведениях многочисленные недостатки. Так, Шкловский, обвиняя Горького в бедности изобразительных средств, подсчитал — сколько раз на протяжении романа «Дело Артамоновых» Петр Артамонов берется за ухо.

В те времена в «Известиях» подвалами печатались главы из нового романа Горького «Жизнь Клима Самгина». Шкловский писал: вот в газетах целую неделю из подвала в подвал ловят сома и никак поймать не могут. А за это время произошли важные события, жизнь идет, а в «Известиях» ловят сома из номера в номер.

Это было время сближения Шкловского с Третьяковым, апологетом «литературы факта».

Приезд Горького оживил литературную жизнь. Сам он поехал по Союзу знакомиться с новой жизнью.

Тогда все ждали прихода Пушкина. Считалось, что освобожденная духовная энергия народа немедленно ро-

дит Пушкина или Рафаэля. Сжигать Рафаэля и сбрасывать Пушкина с парохода современности в двадцатых годах уже не собирались, а жадно и всерьез ждали прихода гения, с надеждой вглядываясь в каждую новую фигуру на литературном горизонте. Пушкин не появлялся. Этому находили объяснения: дескать, «время трудновато для пера», и современные Пушкины работают в экономике, в политике, что Белинский нашего времени не писал бы критических статей о литературе, а, подобно Воровскому, был бы дипломатом.

Наш Гоголь
наш Гейне,
наш Гете,
наш Пушкин, —
сидят,
изучая
политику
цен...
<Н. Асеев. *«Москвичи»*>

Считалось, что Пушкин сидит еще на школьной скамье, осваивая Дальтон-план[154].

Но время шло, а Пушкина все не было.

Стали понимать, что у искусства особые законы, что вопрос о Пушкине вовсе не так прост. Стали понимать, что нравственный облик человека меняется крайне медленно, медленнее, чем климат земли. В этом обстоятельстве — главный ответ на вопрос, почему Шекспир до сих пор волнует людей. Время показало, что так называемая цивилизация — очень хрупкая штука, что человек в своем нравственном развитии вряд ли прогрессирует в наше время. Культ личности внес такое растление в души людей, породил такое количество подлецов, предателей и трусов, что говорить об улучшении человеческой породы — легкомысленно. А ведь улучшение человеческой породы — главная задача искусства, философии, политических учений.

Но в двадцатые годы на вопрос: где же Пушкин? — все отвечали: «Наш Пушкин — на школьной скамье!»

Лишь несколько лет назад вспыхнули «Двенадцать» Блока. Поэму везде читали. С рисунками Анненкова[155] она расходилась по стране вслед за «Коммунистической Марсельезой» Демьяна Бедного[156].

Но в 1921 году Блок умер. Дневники его последнего года жизни: нетвердые, тонкие буквы, нарисованные слабой, дрожащей рукой.

Блок много писал в последний год жизни — новые главы «Возмездия» и другие стихи — и не понимал, что он уже перестал быть поэтом. Стихи были беспомощны.

Еще выступали поэты «Кузницы», и Гладков[157] не казался еще стариком.

Михаил Герасимов[158], высокий, черный, угловатый, в красноармейской шинели с яркими петлицами фасона Гражданской войны, в зеленой поношенной гимнастерке, в старых военных штанах, листал громадными пальцами новенькую, пахнущую типографской краской, только что вышедшую книжечку собственных стихов, с волнением или трудом отыскивая желаемое, отставив черную ладонь, в которой еле умещалась книжечка, — читал. Невыразительно.

Его приятель, облысевший Владимир Кириллов[159], читал нараспев своих «Матросов». Букву «с» Кириллов выговаривал, как «ф».

Герои, фкитальцы, морей альбатрофы...

Дефекты речи нас не смущали. Лишь бы поэты были живыми существами. Хотя Герасимов и Кириллов и тогда не казались нам поэтами.

Вышла книжка Крученых[160] «500 новых острот и каламбуров Пушкина» — продолжение его знаменитой «Сдвигологии».

Вышла книжка-мистификация «Персидские мотивы» Сергея Есенина. Есенин никогда в Персии не был и написал ее в Баку, что по тем временам выглядело почти заграницей.

Встречено это было одобрительно, читалось хорошо. Вспоминали Мериме[161] с «Песнями Западных славян».

Но слава «Москвы кабацкой» перекрывала все.

Ранний московский вечер, зимний, теплый. Крупные редкие хлопья снега падают отвесно, медленно. Газетчики голосят на Триумфальной: «Газета «Вечерняя Москва»! Новая квартирная плата! Самоубийца поэт Есенин!»

Так и не пришлось мне услышать, увидеть Есенина — красочную фигуру первой половины двадцатых годов.

Но все, что было после, помню: коричневый гроб, приехавший из Ленинграда. Толпа людей на Страстной

площади. Коричневый гроб трижды обносят вокруг памятника Пушкину, и похоронная процессия плывет на Ваганьково.

Самоубийство поэта наполнило новым смыслом, живой кровью многие, многие строки его стихов. То, что казалось позой, на поверку оказалось трагедией. Плохая «отделка» многих стихов отступала в сторону перед живой правдой, живой кровью.

Есенин был имажинистом. Вождем этой группы был Вадим Шершеневич[162], сын знаменитого профессора права Г. Шершеневича.

Вадим Шершеневич, хорошо понимая и зная значение всякого рода «манифестов», высосал, можно сказать, из пальца свой «имажинизм». Есенин был в его группе. Есенин — любимый ученик и воспитанник Николая Клюева[163], который, казалось бы, меньше всего склонен к декларациям такого рода. Застольная дружба привела его в объятия Шершеневича. Впрочем, Шершеневич войдет в историю литературы не только благодаря Есенину

Его сборник стихов «Лошадь как лошадь» попал в ветеринарный отдел книжного магазина. Ленин смеялся над этим случаем.

Случаи такие — не редкость. Подобную судьбу испытывали и «Гидроцентраль» — Шагинян[164], и «Как закалялась сталь» — Островского[165]. Некоторые стихи Шершеневича из этого сборника твердила тогда вся литературная и не литературная Москва.

А мне бы только любви немножечко
И десятка два папирос...

Любители т. н. «корневой» рифмы могли бы у Шершеневича почерпнуть многое для себя. Он опробовал и более смелое:

Полночь молчать. Хрипеть минуты.
Вдрызг пьяная тоска визжать...

— во всем стихотворении были только неопределенные формы глаголов.

Вскоре Шершеневич выпустил книжку с давно ожидаемым названием «Итак, итог» и укрепился как автор текстов к опереттам.

А. Мариенгоф написал неплохую книгу о Есенине «Роман без вранья». Во всяком случае, она принималась лучше, надежнее, с большим доверием, чем фейерверк бро-

шюр, напечатанных в издательстве автора на грязной оберточной бумаге, сочинений явно халтурного характера, принадлежащих перу Алексея Крученых: «Гибель Есенина», «Лики Есенина: от херувима до хулигана».

Была еще и третья, название которой я забыл. Продавалась она с рук на улицах, как сейчас кустари продают вязаные «авоськи» или деревянные «плечики» для пиджаков. При приближении милиции продавец прятал в карманы брошюрки («Черная тайна Есенина»).

Недавно мне в руки попали стихотворения молодого «новатора» Г. Сапгира[166]. Это были странички, заполненные точками, и среди точек попадали два-три слова, составляющие, по мнению автора, сокровенный смысл стихов:

...Взрыв... жив

и т. п.

Увы, эти использования точек довел до совершенства в двадцатых годах Алексей Николаевич Чичерин[167], грамотный и хитрый ничевок, выступавший на концертах, безмолвно скрещивая руки и делая трагическое лицо. «Опус» назывался «Поэма конца». Все эти ничевоки, фразари выступали на эстрадах и даже не без успеха у публики.

Известным писателем в двадцатые годы был Пантелеймон Романов[168]. Его рассказ «Без черемухи» вызвал шумную дискуссию. «Без черемухи» стало нарицательным словом. Романов обличал уродство быта молодежи — «афинские ночи», любовь «без черемухи».

В это же время Сергей Малашкин[169] написал рассказ «Луна с правой стороны» на ту же тему.

«Собачий переулок» Льва Гумилевского[170], «В Проточном переулке» Ильи Эренбурга, «Отступник» Владимира Лидина[171], «Коммуна Мар-Мила» Сергея Григорьева[172] — все трактовали ту же, примерно, тему.

Позднее «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева[173] дал более правильное решение тех же самых вопросов. «Дневник» имел шумный читательский успех, успех у критики.

В дискуссиях Романов не выступал, а Сергей Малашкин был очень плохим оратором, терялся на эстраде. Поэтому, разгромленный в пух и прах тем же самым Вячеславом Полонским, Малашкин, я помню, кричал что-то бессвязное, махал руками.

Романов пытался зарисовать, «отразить» действительность, но не пытался понять жизнь. Он дал много беглых картинок быта времени Гражданской войны и НЭПа, всякий раз лаконично, и нельзя сказать, чтобы неверно и неталантливо. Он не претендовал на обобщение, на типизацию. А понимал далеко не все. Его роман «Русь» — плохой, скучный роман.

При НЭПе росли как грибы и частные издательства: «Время»[174], «Прометей»[175]. В большинстве это были коммерческие предприятия. Издавали они переводные романы — Пьера Бенуа, Поля Морана, У. Локка, Честертона, Марселя Арлена, Виктора Маргерита[176]. Сначала без предисловий, а потом стали давать коротенькие статейки, разъясняющие творческие позиции автора.

К этому времени с большим шумом вышел рекомендованный из-за границы Горьким трехтомный роман Каллиникова[177] «Мощи». Обилие сугубо натуралистических сцен сделало роману успех. Это тот самый роман, о котором писал Маяковский в «Письме к Горькому»:

> Кстати — это вы открыли «Мощи»
> Этого... Каллиникова...

Выступал на диспутах и доктор Орлов-Скоморовский[178], выпускавший одну за другой автобиографические повести. «Голгофа ребенка» — называлась повесть о детстве. В последующих книгах в весьма натуралистическом плане сообщалось, как автор заразился сифилисом и как это не только не сломило его дух, но подвинуло на литературные занятия.

С уважением произносилось имя Николая Клюева — одаренного поэта, волевого человека, оставившего след в истории русской поэзии двадцатого века. Пропитанная религиозными молитвами, церковным словарем, поэзия Клюева была очень эмоциональная. Есенин начинал как эпигон Клюева. Да и не один Есенин. Даже сейчас клюевские интонации встречаются в стихах, например, Виктора Бокова[179]. Революцию Клюев встретил оригинальным сборником «Медный кит», выпустил двухтомник своих стихов «Песнослов» в начале двадцатых годов.

Клюев играл заметную роль в литературных кругах. Человек умный, цепкий, он ввел в литературу немало больших поэтических имен: Есенина, Клычкова, Прокофьева[180], Павла Васильева[181]. Талант Клюева был крупный, своеобразный. Во второй половине двадцатых

годов он уже был где-то в ссылке, ходил в крестьянском армяке, с иконой на груди.

Своеобразной фигурой тех лет был Борис Зубакин[182], поэт-импровизатор. Это — настоящий живой импровизатор, выступавший изредка в тогдашнем Доме Печати. Хотя его стихи нельзя было назвать настоящими стихами — все же способности импровизатора у него были. Впоследствии, в те же двадцатые годы Зубакин куда-то исчез. Оказалось, что он пробовал воскресить ни много ни мало как масонский орден розенкрейцеров (случись дело через десять лет — в 37 году, — я бы объяснил эти рассказы по-другому). Члены ордена были какие-то художники, радиотехники и сестра Марины Ивановны Цветаевой Анастасия — та самая, которой посвятил Пастернак свою «Высокую болезнь».

Зубакин занимался гипнотизмом, передачей мыслей на расстоянии и, находясь в тюрьме, привел, говорят, в трепет всех «блатных» своими опытами.

Больше я о нем не слыхал ничего.

Тарас Костров[183], редактор «Комсомольской правды», был живым героем, как бы сошедшим со страниц революционного романа. Он не только вырос в революционной семье — он даже родился в тюрьме. Изобретательный газетчик, талантливый публицист, хорошо образованный человек — он внес в «Комсомольскую правду» задор, горячность, любовь к делу. Сотрудникам «КП» в то время клали на стол пять газет ежедневно — из них две «провинциальные» из наиболее крупных, три — московские и ленинградские. На чтение этих газет отводился час. Каждый работник, действуя красным и синим карандашом, должен был оценить материал текущего номера простым подчеркиванием, всякими «нотабене». Внимание должно было касаться и оформления газеты. Потом Костров собирал эти газеты и просматривал. Так он учил газетному вниманию, а для себя — видел рост сотрудника. Бывали дни, когда Костров садился за стол секретаря, заведующего любым отделом, литправщика и работал целый день на этой «должности» — показывая, как надо работать. Семен Нариньяни[184] да и Юрий Жуков[185] могут и подробней об этом рассказать.

Имя свое Костров выбрал еще в юности: Тарасом Костровым зовут одного из героев «Андрея Кожухова» — известного романа знаменитого народовольца Степняка-Кравчинского[186].

Костров умер от скарлатины тридцати лет.

Костров охотно печатал Маяковского. В «Правде» Маяковский печатался редко, считал такую удачу «нечаянной радостью» для себя. И вовсе был туда не вхож. Что и немудрено, ибо Мария Ильинична, конечно, знала об отношении Ленина к Маяковскому

Но в «Комсомольской правде» Маяковский был свой человек. Костров печатал там Асеева, Кирсанова, Уткина, Жарова. Напечатал впервые поэта, чьи стихи прозвучали тогда очень свежо и молодо, — Николая Ушакова[187].

Николай Николаевич Ушаков и сам, наверное, не знает, как многочисленны его поклонники. Ушаков обещал очень много в первых своих стихах. И удивительна его судьба. Лефовцы числили его своим, усиленно печатали в «Новом ЛЕФе», пока там хозяйничал Маяковский, и знаменитые «Зеленые» напечатаны именно там.

Сельвинский произвел Ушакова в основатели тактового стиха. И Бухарин в докладе на I Съезде писателей поставил Ушакова вместе с Пастернаком.

Человек скромный, Ушаков был несколько растерян, был больше смущен, чем рад. Себя он знал. Второй его сборник «30 стихотворений» остался лучшей его книгой.

В 1926 году неожиданно умер Дмитрий Фурманов[188] — писатель, на которого возлагались очень большие надежды. Начало его литературной деятельности — «Чапаев» и «Мятеж».

Фурманов был бывший анархист, видная фигура первых дней революции. Анархические идеи он оставил, вступил в партию большевиков, был комиссаром у Чапаева. Анархистов в те годы в Москве было не так много. На Тверской, напротив кино «Аре» (теперь Театр им. Станиславского), был клуб анархистов, дом, над которым еще в 1921 году развевалось черное знамя. Сам Кропоткин жил и умер в Дмитрове (в 1921 году). Музей имени Кропоткина — в том доме, где он родился и вырос, — существовал до 30-х годов.

В середине двадцатых годов клуб анархистов был закрыт, и многие его деятели перекочевали в столовую с необыкновенным названием-вывеской, выполненной на кубистский манер: «Всеизобретальня всечеловечества».

Членами этого кооператива (их кормили в столовой со скидкой) могли быть только изобретатели. Писатели, политические вожди приравнивались к изобретателям. Заводским «Бризом» здесь и не пахло. Члены кооператива были заняты высокими материями: «Как осчастли-

вить человечество», «Проект тоннеля через Ла-Манш» и в этом роде.

Случилось так, что один наш знакомый, некто Ривин, был членом этого клуба. Он изобрел метод «сочетательный диалог» — экономный и универсальный способ изучения наук. Способ этот заключался в том, что чуть грамотного человека заставляли зазубрить бином Ньютона и рассказать товарищу. А тот рассказывал в ответ квадратные уравнения. Так в своеобразной «кадрили» пары кружились до тех пор, пока не проходили всей программы. Потом бегло все приводилось в порядок, и курс был закончен. Таким же способом Ривин поступал и с литературой, и с историей, и с физикой. Никаких преподавателей не было, были только карточки, заполненные Ривиным собственной рукой.

В газетах того времени часто встречались объявления Ривина: «Высшее образование — за год! Каждый сам себе университет».

Летом 1926 года я готовился в университет, бросил работу и в занятиях Ривина видел способ все хорошо повторить. Но там дело шло вовсе не о повторении, и видя, что я знаком со школьной программой, Ривин во мне разочаровался, но мы сохранили хорошие отношения.

Вот он-то и водил меня в столовую «Всеизобретальня всечеловечества». Особой дешевизны в блюдах не было, впрочем. На стенах «всеизобретальни» висели кубистские картины (сегодня бы их назвали абстрактивистскими). Вдоль потолка были растянуты плакаты необыкновенного содержания, вроде — «Человек — онанирующее животное» и т. п.

Ривин, член партии, вел свой «сочетательный диалог» в кружке при ЦК партии.

Чудак он был большой, низкорослый, лобастый, с большой лысиной, черноволосый, в вельветовой потертой куртке, с блестящими черными глазами.

В читальне МК на Большой Дмитровке, где вход был свободный, а в библиотеке давали все эмигрантские газеты — и «Социалистический вестник», и «Руль», — приятель, вместе со мной готовившийся в вуз, встретил Ривина. Ривин оказался его соседом. Приятель мой спросил Ривина без всякого подвоха, желая воспользоваться им как словарем:

— Скажите, что такое «валовая продукция»?

— Вот приходите на сочетательный диалог в Козицкий, я там вам и скажу.

Анархистом был и Иуда Гроссман-Рощин[189]. Огромного роста, страстный спорщик, вечный дискутант всех литературных собраний того времени, Иуда был литературный критик. Чуть не в каждом номере «На литпосту» появлялись его статьи на литературные темы.

Иуда Гроссман-Рощин был видным рапповским оратором. В годы Гражданской войны Иуда вместе с другими вождями русского анархизма — Бароном[190], Аршиновым[191] — был в штабе Махно[192], давая батьке советы по строительству анархистского общества.

Иуде было далеко за пятьдесят. Седой, рыжеволосый, в железных очках, которые он иногда снимал и протирал, и большие близорукие голубые глаза Иуды мог видеть каждый.

Литературоведению Иуда Гроссман-Рощин оставил термин «организованная путаница». Смысл в этом термине был.

Вышла «Конармия» Бабеля[193]. Встречена она была восторженно. Буденный резко выступил в печати о тени, которую, якобы, набросил Бабель на конармейцев, но буденновский демарш не имел успеха. Было ясно, что художественное произведение есть прежде всего художественное произведение.

Еще ранее «Одесские рассказы» были напечатаны в журнале «Летопись», как и некоторые рассказы из «Конармии», «Библиотечка «Огонек», та самая, что существует и сейчас и работавшая тогда куда более оперативно, выпустила «Одесские рассказы».

Слова: «Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить с кем-нибудь стопку водки, об своих конях и ничего больше», — были у всех на устах. МХАТ II-й поставил чудесную пьесу Бабеля «Закат» — о семье одесского биндюжника Менделя Крика, о современном короле Лире — пьесу трагедийного звучания. Вахтанговский театр готовил еще одну пьесу Бабеля «Мария». Героини этой пьесы Марии не было среди действующих лиц, но вся пьеса рассказывала о ней, создавала ее образ. Похожий опыт проделал когда-то Гауптман[194] в пьесе «Флориан Гейер», но там Гейер показывался хоть на одну минуту. В «Марии» этот принцип был выдержан полностью.

Для кино Бабель написал сценарий «Еврейское счастье» о Биробиджане. Был поставлен одноименный фильм, где главную роль играл Михоэлс[195] — актер

Еврейского театра, одна из самых привлекательных фигур мира искусства двадцатых годов. Грановский[196] был художественным руководителем этого театра, игравшего на Малой Бронной. «Гадибук» смотрели, наверное, все москвичи, знающие и не знающие еврейский язык.

Сам Бабель выступал на литературных вечерах с чтением своих рассказов редко.

В двадцатые годы еще читали свои произведения с эстрады. Эти выступления отжили свой век. Сейчас невозможно представить себе какую-нибудь «Среду» Телешова[197], где автор читал вслух длиннейший роман или пьесу, а все слушали бы его внимательно. А ведь было такое время.

Радио, патефонные пластинки, телевизор заменили личное общение прозаиков с читательским миром. Но в двадцатые годы рассказы еще читались. Разумеется, не повести, а рассказы. Зощенко[198], Пантелеймон Романов — словом, все, у кого рассказы были покороче.

Художественную прозу большого плана: Мопассана, Чехова — читал в те годы замечательный чтец Александр Закушняк[199]. Соревнуясь с ним, выступал Эммануил Каминка[200].

Вместе с Бабелем в московских писательских компаниях появлялся часто военный — командир кавалерийского корпуса Дмитрий Шмидт[201]. Он тоже был фигурой яркой, и жаль, если память о нем исчезнет. Дмитрий Шмидт был необыкновенно одаренный рассказчик. Рассказ Бабеля «Жизнеописание Павлюченки» посвящен Д. А. Шмидту. Говорили, что «Письмо» и «Соль» из «Конармии» рассказаны именно Шмидтом. Позднее Шмидт был хорошо знаком с Алексеем Каплером[202], нынешним кинодраматургом, и даже подписал вместе с Каплером напечатанный в журнале сценарий «Станция Хролин». Впрочем, в следующем номере журнала было опубликовано письмо Шмидта, письмо-заявление, что он, Шмидт, никогда не писал никаких сценариев, никаких рассказов и вся авторская ответственность и авторское право на «Станцию Хролин» принадлежат Алексею Каплеру.

Дмитрий Шмидт был расстрелян в 1937 году, а в 1956 — реабилитирован.

Каплер мог бы рассказать о Шмидте многое.

Короткие фразы Бабеля, его неожиданные сравнения — «пожар, как воскресенье», «девушки, похожие на

ботфорты» — имели большой читательский успех, вызвали много подражаний.

<О Дмитрии Шмидте рассказал Бармину[203] Виктор Серж>.

Дос-Пассос[204] запомнился мне тем, что он отказался от посещения Большого театра, Эрмитажа и ездил только в рабочие клубы (в Клуб им. Кухмистерова и другие), и в Ленинграде — по памятным ленинским местам.

Смело ездил в московских трамваях, а езда в московских трамваях того времени требовала крепкого здоровья, хладнокровия и вестибулярного аппарата повышенного сопротивления. Запомнилось мне, что у Дос-Пассоса были рваные носки, но это ему даже шло. В Камерном театре поставили его пьесу «Вершины счастья».

Конечно, короткая фраза была своего рода реакцией на засилье интонаций, заполнивших тогдашнюю прозу, интонаций, которые и сейчас живут в моей памяти как «модная» проза двадцатых годов.

Об этой прозе оставили нам запись Ильф и Петров в «Двенадцати стульях»:

«Понюхал старик Ромуальдыч свои портянки» и т. д.

Отведением глагола в начало фразы пользовался и Гладков[205]. Гладков был писателем дореволюционным. Вместе с Березовским[206], с Бахметьевым[207] был он в «Кузнице», организации, которая вошла в РАПП с самого начала.

Вышел «Цемент». Успех книги был очень велик.

Протестующие голоса Маяковского с приятелями:

Продают «Цемент»
со всех лотков,
Вы такую книгу, что ли, цените?
Нет нигде цемента,
а Гладков
Написал благодарственный молебен о цементе...

— потонули в гуле одобрений.

РАПП набирал силу. Вышел «Разгром» Фадеева[208] — также встреченный очень хорошо. Все журналы, кроме «Нового ЛЕФа», где О. Брик написал легковесную, но остроумную статью «Разгром Фадеева», поддержали новое произведение.

Вышли «Бруски» Панферова[209], и Панферов стал редактором «Октября».

«Бруски» успешно соперничали с «Поднятой целиной» Шолохова.

Еще раньше «Поднятой целины» Шолохов написал «Тихий Дон». Вышла первая книга. Это была чудесная проза. Я очень хотел бы еще раз испытать те же чувства, которые я испытывал при чтении «Тихого Дона». Прочесть «Тихий Дон» впервые — большая радость.

Всем было ясно, что пришел писатель очень большой.

. . . .

Прошло вовсе не замеченным первое выступление Пастернака в прозе — повесть «Детство Люверс» и несколько рассказов. Рассказы были не очень интересными, а повесть замечательна: по емкости каждой фразы, по наполненности, по великой точности наблюдения, по эмоциональности.

Вера Михайловна Инбер[210] появилась на московских литературных эстрадах не в качестве адепта конструктивизма. Отнюдь. Маленькая, рыженькая, кокетливая, она всем нравилась. Все знали, что она из Франции, где Блок хвалил ее первую книгу «Печальное вино», вышедшую в Париже в 1914 году.

Стихи ее всем нравились, но это были странные стихи.

Кто виновен, те ли, та ли, или было суждено,
Но мальчишку доконали карты, женщины, вино
Над Парижем косо пляшет сеть осеннего дождя.
В Черной кошке пять апашей пьют здоровье вождя

В том же роде, но гораздо лучше блестящий «Рассказ в рубашке». Место под солнцем Вера Михайловна искала в сюжетных стихах.

Помнится, она сочинила слова известного тогда в Москве фокстрота:

У маленького Джонни
В улыбке, жесте, тоне
Есть много тайных чар,
И чтоб ни говорили
О баре Пикадилли,
Но то был славный бар.

Легкость, изящество — с какими В. М. излагала поэтические сюжеты — сделали ее известной по тому времени либреттисткой.

Тогда была мода осовременивать классику на оперной сцене. Старая музыка, новые слова. Вера Михайловна сочинила песенки к «Травиате», где роман Виолетты был подвергнут анализу с новых общественных позиций. «Травиата» как-то не прижилась с новым текстом, но вот «Корневильские колокола», где песенки тоже переписала Инбер — шли не один сезон.

Работала Вера Михайловна много и энергично. «Сороконожки», написанные ею вместе с Виктором Типотом[211], сделали ее имя широко известным, «Сеттер Джек» и особенно поэма «Васька Свист в переплете» закрепили успех. Этой поэмой Вера Михайловна ответила на всеобщее тогдашнее увлечение уголовной романтикой.

Писала она и великолепную прозу. «Тосик, Мура и ответственный коммунист» помнят все. Рассказы эти читались с эстрады. Выступала Вера Михайловна часто, охотно и быстро заняла «место под московским солнцем».

Несколько неожиданно оказалось, что Вера Инбер — член литературной группы конструктивистов. В ней не было ничего фанатичного, ограниченного. Для того чтобы поверить в откровения «паузника», Вера Михайловна была слишком нормальным человеком, слишком любила настоящую поэзию и понимала, что стихи не рождаются от стихов. В. М. была — велик ли ее поэтический талант или мал — все равно — носительницей культуры, культуры общей, а не только культуры стиха.

Позже еще более удивительным было участие Багрицкого в этой группе.

Впрочем, Вера Михайловна неустанно подчеркивала свою приверженность к «ямбу»: «Я — за ямб».

Бывали литературные вечера, где Вера Михайловна читала одна, Инберовские вечера. Я был на одном таком ее вечере в клубе I МГУ. Кажется, «Америка в Париже» — такова была тема этого вечера — отчета о заграничных впечатлениях.

В этой лекции Вера Михайловна много говорила о Диккенсе. Видно было ее горячее желание спасти для молодежи настоящее, подлинное искусство Запада.

«Когда я волнуюсь, я беру «Домби и сын», сажусь на диван, и дома у меня говорят:

«Тише, тише... Мама читает Диккенса».

Кто из конструктивистов был поэтом по большому счету? Кто знал это тонкое что-то, составляющее душу поэзии? Один Багрицкий, и то в двух-трех своих стихотворениях. Может быть, Вера Инбер — в более раннем

и в более позднем — в «Пулковском меридиане»? Может быть.

Остальные же: Сельвинский, Агапов, Адуев, Луговской, Панов — казались нам не поэтами, а виршеписцами. Живой крови не было в их строчках. Не было судьбы.

Багрицкий в болотных сапогах, в синей толстовке читал «Думу про Опанаса» весьма горячо. Багрицкого все любили. Я стоял как-то недалеко от него во время его беседы с поклонниками.

— Что мы? Пушкин — вот кто был поэт. Все мы его покорные, робкие ученики.

Чтец Багрицкий был превосходный. «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» нравился всем. Читал его Багрицкий всюду. Коля Дементьев[212], в ту пору студент литературного отделения Этнологического отделения I МГУ, краснея, бледнея, волновался всячески, приглаживая белокурые, густые волосы. Дементьев напечатал «Ответ Эдуарду».

Романтику мы не ссылали в Нарым,
Ее не пускали в расход...

Еще раньше Дементьев напечатал у Воронского в «Красной нови» «Оркестр» и стихотворение «Инженер». Знаменитая «Мать» была написана позже.

Дементьев был одаренным поэтом, чрезвычайно располагающим к себе человеком, излишне нервным, импульсивным. У него оказалась душевная болезнь, и он покончил с собой в психиатрической лечебнице — выбросился в пролет лестницы.

Переехал в Москву Юрий Карлович Олеша[213]. Первая его книга «Зависть» имела шумный читательский успех. Театр Вахтангова поставил «Заговор чувств». Мейерхольд видел в Олеше «своего» автора. Для Мейерхольда Олеша написал «Список благодеяний» — пьесу вполне добротную. Была напечатана сказка «Три толстяка». Но потом что-то застопорилось в писательском механизме Олеши. Олеша считал себя неудачником. Многие считают его нераскрывшимся крупным писателем. Другие называют его автором оригинальных книг, написанных рукой писателя-экспериментатора. Мне лично все творчество Олеши кажется простым переводом из Жана Жироду[214]. Романов Жана Жироду у нас в те годы переводилось очень много. Жироду оставил лозунг «Сравнивай любое с любым». Вот это «рас-

крепощенное» сравнение и есть суть литературной манеры Олеши.

Повесился и подававший большие надежды поэт Кузнецов. Его смерти посвящено стихотворение Светлова:

У меня печаль,
У меня товарищ в петле.

Светлов, вместе с Ясным и Михаилом Голодным, окончивший ЛИТО[215], писал стихи день ото дня удачнее. Рапповская критика объявила его «русским Гейне».

Была написана знаменитая позже «Гренада». «Гренада» была стихотворением, чрезвычайно отвечавшим тогдашним настроениям молодежи. Идеи интернационализма были в эти годы очень сильны, небывало сильны, и «Гренада» отражала их в полной мере. Успех «Гренады» того же порядка, что и успех стихотворения Симонова «Жди меня».

...Алексей Гастев[216] (Дозоров) был ярким, заметным поэтом. Подражал Верхарну.

Мы растем из железа... —

читали на всех литературных вечерах.

Я хочу тебя услышать, Гастев,
Больше, чем кого из остальных, —

писал Асеев.

Но поэт Гастев занят был в эти годы вовсе другим делом. Он создал и возглавил «Центральный институт труда», где разрабатывал вопросы подготовки массовых профессий. Имя его, как некоего советского Тэйлора, было весьма значительным. Ни в литературе, ни в поэзии Гастев до конца жизни не участвовал.

Каждую весну приезжал из Крыма Грин[217], привозил новую книгу, заключал договор, получал аванс и уезжал, стараясь не встречаться с писателями.

На дачу Грина в Феодосии приехал поэт Александр Миних[218]. Грин велел сказать, что встретится с Минихом при одном условии — если тот не будет разговаривать о литературе.

Когда-то был такой случай в шахматном мире. Морфи[219], победив всех своих современников и сделав вызов всем шахматистам с предложением форы — пешки и хода вперед, — внезапно бросил шахматы, отка-

зался от шахмат. Шахматная жизнь шла, чемпионом мира стал молодой Вильгельм Стейниц[220]. Однажды Стейниц был в Париже и узнал, что в Париж приехал из Америки Морфи. Стейниц отправился в гостиницу, где остановился Морфи, написал и послал тому записку с просьбой принять. Морфи прислал ответ на словах: если господин Стейниц согласен не говорить о шахматах, он, Морфи, готов его принять. Стейниц ушел.

Миних тоже не добился желанной встречи с Грином.

Нина Николаевна[221], жена Грина, была еще молодой девушкой. Ей было восемнадцать лет, когда она вышла за сорокалетнего Грина. Говорили, что Грин держал ее взаперти — даже на рынок Нину Николаевну провожала какая-то тетка, вроде дуэньи. Но после смерти Грина Нина Николаевна сказала, что каждый день жизни с Грином был счастьем, радостью.

Грин и в Феодосии, и позже в Старом Крыму (где было поглуше, поменьше людей) вел образ жизни, размеренный по временам года. Весной приезжал из Москвы с деньгами, расплачивался, нанимал дачу, бродил около моря (в Феодосии) и в лесу; осенью переезжал в город, играл на бильярде в приморских ресторанчиках, играл в карты. Зимой садился писать. Деньги уже были истрачены, Грин жил в долг и к весне кончал новую книгу. Весной ехал в Москву, продавал рукопись, возвращался с деньгами, расплачивался, нанимал дачу и так далее с равномерностью времен года.

Все это рассказывал мне Александр Миних, поэт. Он считал Грина гением.

Приехал из-за границы Алексей Толстой[222], писатель западного склада, хороший рассказчик. Повести, рассказы и пьесы сыпались одна за другой — на сцены театров, на страницы журналов, на экран кинематографа. «Аэлита» с Церетели — Лосем[223], Солнцевой — Аэлитой[224], Баталовым — Гусевым[225] была встречена шумно.

Рекламировалась «Аэлита» тем же самым способом, каким позднее в 1938 году Орсон Уэллс[226] вызвал панику по всей Америке своей реалистической постановкой «Борьбы миров» Уэллса.

В газете «Известия» на первой странице публиковались сигналы, якобы пойманные в мировом эфире радиостанциями Земли.

Анта... одэли... ута...

Ученые на третий день расшифровали непонятные сигналы: составилось слово «Аэлита».

Если бы такую рекламу дать этому фильму сейчас, в век космических кораблей — то-то порадовался бы Казанцев[227], сторонник «марсианской» теории происхождения Тунгусского метеорита.

На поиски этого метеорита, упавшего в Восточной Сибири в 1907 году, была отправлена экспедиция академика Кулика[228]. Это тоже знаменательное событие двадцатых годов.

«Терменвокс» — новая музыка — игра на инструменте без прикосновения пальцев — изобретение ленинградского инженера Термена[229] — с великим успехом показывалось в Политехническом музее.

Алексей Толстой жадно искал встречи с новой жизнью, ездил по стране с корреспондентским билетом «Известий», выступал мало. Обязанности газетчика выполнял хорошо — он ведь был военным корреспондентом многих журналов и газет всю войну 1914 — 1918 годов, дело свое знал, да и общительный характер помогал ему.

Был написан и поставлен «Заговор императрицы» — пьеса, сочиненная Толстым вместе с П. Щеголевым[230]. Пьеса имела успех большой, хотя особыми достоинствами и не отличалась. Новизна темы, материала, изображение живых «венценосцев» — вот что привлекало зрителей.

Пьесу возили даже за границу, в Париж, где ее смотрел «Митька» Рубинштейн[231], знаменитый петроградский банкир военных лет России, человек, близкий к Распутину, к царю. Говорят, Митьке пьеса понравилась.

Вскорости Толстым была изготовлена по тому ж рецепту пьеса «Азеф» об известном предателе эсеровской партии[232]. «Азеф» был поставлен актерами Малого театра, где Н. М. Радин[233] играл Азефа, а эпизодическую роль шпика Девяткина — сам автор, граф Алексей Толстой.

Достать билеты на представление, где актерствовал Толстой, не было, конечно, возможности.

В журналах печатались: «Союз пяти», «Гиперболоид инженера Гарина», «Ибикус» — все в высшей степени читабельные вещи, написанные талантливым пером.

Но все, напечатанное до «Гадюки», встречалось как писания эмигранта, как квалифицированные рассказы в сущности ни о чем.

«Гадюка» сделала Толстого уже советским писателем, вступающим на путь проблемной литературы на материале современности.

Алексей Толстой не вступал ни в РАПП, ни в «Перевал».

Особое место в литературной жизни тех лет занимало издательство «Каторга и ссылка»[234] — при Обществе политкартожан и ссыльно-поселенцев. Герои легендарной «Народной воли» были еще живы. Вера Николаевна Фигнер[235] напечатала свой многотомный «Запечатленный труд», Николай Морозов[236] — также, как и Фигнер, просидевший в Шлиссельбурге всю жизнь, выступал с докладами, воспоминаниями, с книгами.

Мы видели людей, чья жизнь давно стала легендой. Эта живая связь с революционным прошлым России и ныне не утрачена. В прошлом году я был на вечере в здании Университета на Ленинских горах — на юбилее знаменитых Бестужевских курсов[237]. Мария Ильинична Ульянова, Н. Крупская были бестужевками.

Еще живы были деятели высшего женского образования в России — синие скромные платья, белые кружева, седые волосы, простые пластмассовые гребни. Необычайное волнение ощущал я на этом вечере — то же самое чувство, что и на «мемуарных» вечерах когда-то в клубе бывших политкаторжан.

Двадцатые годы были временем выхода всевозможных книг о революционной деятельности. Исторические журналы открывались один за другим.

Это народовольцы,
Перовская,
1-е марта
Нигилисты в поддевках,
Застенки,
студенты в пенсне.
Повесть наших отцов, —
точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится точно во сне.

(Пастернак. *«Девятьсот пятый год»*)

Очень важно видеть этих людей живыми, наяву. Я помню приезд в Москву Гюстава Инара[238] — участника Парижской коммуны, седого крепкого старика.

Связь времен, преемственность поколений ощущалась как-то необычайно ярко.

Писательская жизнь шла в литературных объединениях. Никакого организованного общения с деятелями науки или других искусств писатели не имели.

Уже позднее, с начала тридцатых годов, получил я приглашение из Дома писателей на встречу работников науки и искусства. Я пошел. Председательствовал Семашко[239]. Вересаев оживленно наводил на выступавших свой слуховой рожок. Из ученых были братья Завадовские[240], Лискун[241], еще молодой тогда математик Гельфонд[242]. Все деятели науки были выше писателей на целую голову в общекультурном смысле. Они все читали, все знали из тех предметов, которые полагается знать писателю. Писатели же выглядели убого. Вересаев[243] пробормотал несколько слов о пользе переводов Гесиода и Вергилия и сел.

Мой сосед, писатель Даниил Крептюков[244] (был такой), отметив важность союза науки и художественного слова, стал почему-то рассказывать о своей дореволюционной, даже довоенной службе в лейб-гвардии, о том, как он стоял на карауле в саду, а великие князья развратничали, утешаясь с балеринами.

Это — самая первая, как мне кажется, организованная встреча с учеными на «писательской», так сказать, почве, «физиков» и «лириков» тогдашних времен.

Из одного объединения в другое переходили крайне редко. Наиболее эффективно перешел Луговской[245] от конструктивистов в ВАПП. И Луговской, и его новые друзья решили обставить этот переход как можно более торжественно и поучительно. Луговским была сочинена огромная речь, произнесенная на заседании правления ВАПП. Под названием «Мой путь в пролетарскую литературу», где подробнейшим образом перечислялись качества новой организации, которой только теперь оказался достоин он, Луговской. Речь была напечатана в «Известиях», заняла полторы полосы газеты. А на следующий день все газеты напечатали постановление ЦК партии о роспуске ВАППа.

Единственный случай подобного рода. Вряд ли Луговской в течение всей его жизни оправился от этого удара.

Я хорошо помню процесс Савинкова[246]. Закрытое заседание Военной Коллегии Верховного Суда. Есть прокурор, есть судьи, есть обвиняемый. Нет ни свидетелей, ни защитников. Идет исповедь, трехдневный рассказ о своей жизни ведет человек, литературный портрет которого Черчилль включил в свою книгу «Великие современники». Террорист Борис Савинков. Организатор контрреволюционных восстаний. Философ, член Русского религиозно-философского общества. Генерал-губернатор Петрограда в 1917 году. Эмигрант. Русский писатель Борис Савинков. Его романы «Конь бледный», «То, чего не было» были хорошо известны.

Вскоре после процесса вышла его книга «Конь вороной». Ропшин — его литературное имя.

Каждая из семи статей, ему предъявленных, угрожала расстрелом. Его и приговорили к расстрелу, но, «учитывая чистосердечное его раскаяние», расстрел был заменен десятью годами тюрьмы.

Савинков в заключении писал мемуары, рассказы, ездил даже иногда по Москве в автомобиле с провожатым — смотрел новую жизнь.

Он был оскорблен приговором. Он ждал освобождения. Писал заявления неоднократно. Ему отвечали отказом, и он покончил с собой, выпрыгнув из окна пятого этажа тюрьмы.

Луначарский в предисловии к сборнику рассказов Савинкова, вышедшему уже после его смерти в «Библиотеке «Огонька», пишет, что правительство не могло принять иного решения. Его раскаяние могло быть вовсе не долговечным, а оставлять на свободе столь высокого мастера динамитных дел было опасно.

Москва, да и не одна Москва, была взволнована его процессом, его смертью.

А выстрел Штерна[247]? На углу Леонтьевского и Большой Никитской молодой студент по фамилии Штерн выстрелил в машину немецкого посла, шедшую из посольства. Штерн стрелял почти в упор, разрядил всю обойму браунинга. Три пули попали в человека, который сидел в машине. Его увезли в больницу, оперировали. Это был советник посольства, фон Твардовский, а не посол. Посол остался в посольстве. Выстрелом Штерн хотел вызвать войну между Германией и Россией, повторив выстрел Блюмкина. У Штер-

на был друг, подлинный организатор покушения, московский бухгалтер Васильев. Обоих судили, дали по десять лет.

. . . .

Много говорили в Москве о раскрытом тайном публичном доме балерин и артистов оперетты, где нэпачи заказывали «дам» по фотографиям. Лев Шейнин[248] рассказал о нем в своем очерке «Генеральша Апостолова». Шейнин не назвал ни одной фамилии. Не буду называть и я.

А общество «Долой стыд»? Ведь это не какой-нибудь рок-н-ролл или твист — члены этого общества гуляли по Москве нагишом, иногда только с лентой «долой стыд» через плечо...

Мальчишки, зеваки шли толпами за адептами этого голого ордена. Потом московская милиция получила указания — и нагие фигуры женщин и мужчин исчезли с московских улиц. Года три тому назад я держал в руках выгоревший листок газеты «Известия» со статьей самого Семашко по этому поводу. Народный комиссар здравоохранения осуждал от имени правительства попытки бродить голыми «по московским изогнутым улицам». Никаких громов и молний Семашко не метал. Главный аргумент против поведения членов общества «Долой стыд», по мнению Семашко, был «неподходящий климат, слишком низкая температура Москвы, грозящая здоровью населения — если оно увлечется идеями общества «Долой стыд». О хулиганстве тут и речи не было.

А «дело трех поэтов»? Процесс этот шел в Московском городском суде — толпы людей во всех переулках, дворах... В Колонном зале Дома Союзов в это время шел шахтинский процесс. Крыленко[249] читал обвинительную речь при полупустом зале, хотя важность, значимость того и другого процессов для судеб страны несоизмеримы. Обывательский интерес победил — в тысячный раз.

Но все же «дело трех поэтов» — небольшой, но яркий штрих времени. Он отражает время — это был двадцать восьмой год. В процессе этом есть черты очень характерные. Покончила самоубийством студентка Высших литературных курсов, что существовали вместо Брюсовского института, Исламова, красивая молодая жена одного из секретарей Компартии Закавказья. Покончила она после ночи, проведенной в гостинице «Гренада» на Тверской улице. Это та самая гостиница «Гренада», которая вдохновила Михаила Светлова на известные стихи.

В номере «Гренады» была вечеринка, куда Исламова пришла вместе с подругой в гости к трем студентам тех же Литературных курсов, где училась Исламова. По случайности фамилии всех начинались на букву «А» — Анохин, Аврущенко и Альтшуллер. Собственно говоря, Альтшуллер — главный герой процесса — не был поэтом. Он был прозаик, но процесс был окрещен «делом трех поэтов».

Из гостиницы подруга Исламовой вскоре ушла, а Исламова осталась, ее напоили и изнасиловали — сначала Альтшуллер, потом Аврущенко, потом Анохин. Такова была версия обвинения.

Наутро Аврущенко позвонил Исламовой на квартиру и спросил — как она себя чувствует? Она повесила трубку, взяла револьвер мужа и застрелилась.

Защищал Алтшуллера Рубинштейн, известный московский защитник. Он строил защиту на том, что тут не было никакого изнасилования, что если тут кто и изнасилован — то это Альтшуллер.

Аврущенко и Анохин отрицали и во время предварительного следствия, и на суде свою вину. «Я только пить подавал», — говорил Анохин.

Альтшуллер же предъявил суду более десятка записок Исламовой, адресованных ему, Альтшуллеру, любовных записок, в подлинности которых сомнений не было. Альтшуллер был приговорен к восьми годам, Аврущенко — к четырем и Анохин — к двум. Защитник Рубинштейн перенес дело выше и проиграл его.

Рубинштейн выступал в печати — писал, что произошла судебная ошибка.

Один из этих трех «поэтов», Владимир Аврущенко был в одном со мной литературном кружке — при журнале «Красное студенчество»[250]. Кружок, где старостой был Василий Цвелев, а руководителем Илья Сельвинский.

На очередное собрание кружка Цвелев явился хмурый. «Придется клеймить». И мы «заклеймили» Аврущенко.

Аврущенко печатался. В войну он был убит — фамилия его есть на мраморной доске в Доме литераторов.

Какую-то «литзапись» или очерк Альтшуллера я встречал в печати.

Об Анохине не слыхал больше ни слова.

Цензура в те времена действовала не очень строго — о том, чтобы приглушить, спугнуть молодой талант, никто не мог и подумать.

Я знаю всего два случая конфискации журналов, уже вышедших, с перепечаткой изданного.

Оба раза журнал был разослан подписчикам, продавался в киосках.

В Ленинграде один очеркист заключил пари на ведро пива, что напечатает матерщину — вещь, немыслимая в России. Именно поэтому мы никогда не читали полного Рабле. Вышедший в 1961 году новый перевод Н. Любимова также подвергся «целомудренным» купюрам.

Матерщину, всю, как есть, можно было найти только в словаре Даля да в докладах-отчетах Пушкинского Дома Российской академии наук.

Однако речь шла не о классиках, не о научном тексте, а об обыкновенном хулиганстве. И само пари — ящик пива! — характерно.

Журнал «Смена», где был напечатан сей криминальный очерк, вышел в свет.

Через несколько дней номер журнала продавался до 20 рублей золотой валюты — червонца с рук. Журналист выиграл пари. Как он это сделал?

Был напечатан большой очерк о фабрично-заводском быте. В текст очерка была вставлена восьмистрочная частушка-акростих, заглавные буквы составили матерное слово.

Журналиста судили и дали ему год тюрьмы за хулиганство в печати. Редакция получила выговор. К суду привлекался и корректор издательства, но тот виновником себя не признал, заявив, что он, корректор, «обязан читать строки слева направо, а не сверху вниз. Он — не китаец, не японец». Объяснения были признаны заслуживающими внимания, и корректор был оправдан.

Второй случай касается «Повести непогашенной луны» Бориса Пильняка. У моих знакомых долго хранились присланные издательством два пятых номера «Нового мира» за 1926 год. В одном есть повесть Пильняка, в другом — нет. Я сам читал эту повесть в библиотеке, в читальном зале, но, когда захотел перечесть — не нашел.

Этот небольшой рассказ — 5—6 страниц журнального текста — назван «Повесть непогашенной луны». Посвящение «А. К. Воронскому, дружески. Б. Пильняк». Небольшая «подсечка» петитом: «Если читатели предполагают, что в рассказе речь идет об обстоятельствах смерти тов. Фрунзе, то автор заявляет, что это — не так».

Говорили, что Пильняк отнес рукопись в «Красную новь», редактором которой был Воронский. Воронский

отказался печатать такой рассказ. Тогда Пильняк передал рукопись в «Новый мир», Вячеславу Полонскому и посвятил «Воронскому, дружески». Полонский напечатал «Повесть непогашенной луны».

Нашим любимым театром был Театр Революции. Нашей любимой артисткой — Мария Ивановна Бабанова[251].

Я слышу и сейчас ее удивительный голос — будто серебряные колокольчики звенят. Нам все нравилось в ней: и то, что она плакала в Театре Мейерхольда, отказываясь от роли проститутки, и то, как играла мальчика-боя в пьесе Третьякова «Рычи, Китай», Стеллу в «Рогоносце», Полину в «Доходном месте».

Мы любили ее за то, что она ушла от Мейерхольда, и с восторгом твердили сочиненные кем-то плохонькие вирши:

Вы знаете, от Вас ушла Бабанова,
И «Рогоносец» переделан заново,
Но «Рогоносец» был великодушен,
А режиссер как будто не совсем.

Мальчик Гога в «Человеке с портфелем» — одна из любимых ее ролей, Жоржетта Бьенэмэ — в «Озере Люль», наконец, Джульетта, Джульетта, Джульетта.

Я помню, как Дикий рассказывал о первой работе Бабановой в Театре Революции, где был главным режиссером.

Бабанова читала с тетрадкой. Сказала фразу и спросила:

— Здесь переход. Куда мне идти — налево или направо?

— А куда хотите, туда и идите, — безжалостно сказал Дикий.

С Бабановой сделался истерический припадок, слезы. Репетиция была прервана.

Ведь у Мейерхольда, где Бабанова играла раньше, было все размерено по ниточке, все мизансцены рассчитаны точно и переходы актера намечены мелом.

Дикий рассказывал, что он сделал это нарочно, чтобы сразу выбить все «мейерхольдовское».

Двадцатые годы — расцвет русского театра. Большие артистки заявляли о себе одна за другой: Алиса

Коонен[252], Тарасова[253], Еланская[254], Гоголева[255], Пашенная[256], Бакланова[257], Попова[258], Глизер[259] — им нет счета.

На Большой Дмитровке в том здании, где сейчас Оперно-музыкальный театр им. Немировича-Данченко и Станиславского, размещался один из интереснейших экспериментальных театров Москвы того времени, времени больших исканий.

Это был «Семперантэ» — театр импровизации под руководством актера А. Быкова[260].

Спектакли здесь игрались без текста, был лишь сценарий, сюжетный каркас, а диалоги актеры должны были импровизировать. Внутренняя работа актера над ролью обнажалась, актер работал, что называется, на глазах зрителя.

Быков и его жена артистка Левшина[261] сумели увлечь своими идеями многих актеров. Этот театр существовал несколько лет, да и тогда, когда его закрыли, Быков и Левшина продолжали выступать с «Гримасами» — лучшим своим спектаклем еще несколько лет на случайных сценах. В «Семперантэ» были поставлены «Приключения мистера Веста в стране большевиков» Н. Асеева.

Но все же умение и талант Быкова не нашли дороги в большое искусство.

Театр этот оказался как-то без будущего.

Любовь зрителей, интерес и внимание возвратились к Художественному, Малому, Вахтанговскому театрам, студиям МХАТа, Театру имени Мейерхольда.

Московский зритель двадцатых годов помнит, конечно, успех Михаила Чехова[262]. Михаил Чехов, племянник Антона Павловича, был актером мирового значения. Каждый новый спектакль, в котором он участвовал, был театральным событием — от Хлестакова до Эрика XIV в пьесе Стриндберга. Чехов был директором II МХАТа, который помещался в театре бывш. Незлобина около Большого театра. Здесь Чехов и ряд актеров театра вместе с ним увлекались антропософией. С учением Штейнера[263] их познакомил автор «Петербурга» — в этой инсценировке Чехов играл главную роль сенатора Аблеухова — Андрей Белый. Чехов и его друзья перестроили репертуар театра, введя туда эсхиловскую «Орестею», наметив еще ряд пьес.

Против намерений Чехова протестовала группа актеров (Образцов[264], будущий кукольник, Ключарев[265], режиссер А. Дикий[266]).

Актеры ушли из театра, а Чехов уехал в Германию, играл там у Рейнхардта[267], потом переехал в Америку.

В двадцатые годы у нас был поставлен кинофильм с его участием «Человек из ресторана» по повести Ивана Шмелева[268]. Фильм хорошо известен.

В Художественном театре дороги Станиславского и Немировича-Данченко все более расходились. Они и друг с другом не разговаривали. Немирович считал себя несколько оттертым в сторону «системой». Никто в мире не говорил «Система Немировича». Как-то так выходило, что Немирович — обыкновенный режиссер около гения Станиславского. Приветствия из-за рубежа, телеграммы-вызовы — все это шло как-то само собой в адрес Станиславского, а не Немировича.

Станиславский, в свою очередь, как-то охладел к Художественному театру, возился со своей новой студией. Выпускаемые спектакли показывали Станиславскому на дому.

Была сделана попытка примирения двух состарившихся врагов-друзей. В конце концов, удалось уломать обоих. Встретиться они должны были в Художественном театре, в уборной Станиславского, где тот уже много лет не был. А Немирович должен был отворить дверь и войти, как бы случайно, без стука.

Все мизансцены были согласованы и намечены.

Станиславский приехал в театр, сел в свое кресло, Немирович с толпой друзей отворил дверь уборной Станиславского... И тут случился пустяк: Немирович, входя слишком торопливо, запнулся за порог и упал ничком. Станиславский мгновенно вскочил, поднял с полу Немировича и не мог удержаться от остроты. Он сказал, улыбаясь:

— Владимир Иванович, ну зачем же в ноги...

Больше в жизни они не встречались.

Славин[269] написал великолепную пьесу «Интервенция» и поставил ее в Театре Вахтангова. Спектакль был замечательный, солнечный. Я был на одном из первых спектаклей и помнил несколько лет «Интервенцию» наизусть. Мы повторяли в общежитии сцены из этой пьесы. Журавлев[270] — Жув, Топчанов[271] — Филипп, Горюнов[272] — Сестен, Мансурова[273] — Жанна Барбье — запомнились мне на всю жизнь. И пусть я знал, что настоящей Жанне Барбье было 45 лет, когда Ленин послал ее в Одессу, а Мансурова играла знаменитую французскую подпольщицу-большевичку юной девушкой — че-

пуха. Почему у нас не напишут книгу о Жанне Барбье? О Джоне Риде[274] написано очень много, а Жанна — не менее красочная фигура. Расскажут о жизни, сгоревшей в огне революции, о героической смерти французской революционерки.

На примере спектакля «Интервенция» я узнал, что такое «заигранная» пьеса и хорошо понял и почувствовал Мейерхольда, который каждый вечер, буквально каждый вечер сидел в зрительном зале своего театра, следя, чтобы пьесу не «заиграли».

Через несколько лет я смотрел «Интервенцию» с тем же почти составом актеров. Но, боже мой, что это была за пьеса?! Все актеры бормотали свои реплики едва разборчиво, пропускали слова, целые фразы. Я-то ведь знал пьесу наизусть.

Глубоко огорченный, ушел я из Вахтанговского театра.

Славин был тоже из «Юго-Западной школы». Первая его повесть «Наследник» написана была блестяще, задумана и решена очень интересно. Его герой — наследник чеховского «Иванова». Как сын Иванова поступил бы во время революции? На чьей стороне были бы его симпатии? Кому служили его дела? Фамилии героев «Наследника» — чеховские: князь Шабельский, купчиха Бабакина.

Некоторая книжность, литературность «Наследника» не мешала видеть в Славине большого писателя, вступающего в литературу. Но после «Наследника» Славин ушел в кино, работал долго как кинодраматург, стал квалифицированным кинодраматургом.

Был напечатан неплохой его рассказ «Женщина» — построенный на тех же принципах, что и «Наследник», — там действуют Чарли Чаплин, Эгон Эрвин Киш[275].

Театры один за другим брали новые рубежи. Первым был театр МГСПС, руководимый Любимовым-Ланским[276]. Он поставил «Шторм» Билль-Белоцерковского[277]. Это был первый спектакль о современности на сцене «настоящего» театра. Спектакль был принят горячо и бурно — жизнь заговорила со сценических подмостков громким, полнозвучным голосом. Спектакль много лет оставался в репертуаре театра. Пьеса обошла провинцию с триумфом. Реализм Председателя Укома, братишки, профессора был бесспорен. Такими эти герои и были в жизни.

Прошло много лет. В 1960 году Билль-Белоцерковского пригласили написать сценарий для фильма. Драматург написал, повторив характеры пьесы без изменений. Фильм провалился. Рецензенты твердили в один голос, что такого безграмотного председателя Укома быть не могло, что братишка не реален, профессор надуман. Вкусы и точка зрения изменились. А Билль-Белоцерковский старался честно повторить старый спектакль, для своего времени в высшей степени правдивый в каждой фразе, в каждой ситуации.

Рубежом Художественного театра был «Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова. Потом был «Хлеб» Киршона[278], афиногеновский «Страх»[279]. Это были пьесы посредственные.

Первой пьесой, поставленной Малым театром, была «Любовь Яровая» Тренева. Драматург очень много работал с театром. Успех постановки был большой.

Остужев[280] ставил «Уриэля Акосту». Удивительна судьба Остужева. Глухой, он не только заставил себя заняться любимой профессией, но стал в ней величиной нешуточной. В двадцатые годы он еще не был народным артистом Советского Союза, но имя его было уже хорошо известно.

Другой пример того, что страсть все преодолевает, — актерская судьба Абдулова[281]. Абдулов — без ноги. Вместо одной ноги — протез. Актер без ноги. Нонсенс. Абдулов не только стал видным актером Театра Завадского[282], он снимался в кино во многих фильмах, с успехом сыграл самые разнообразные роли. Мы хорошо помним генерала Бургойла из «Ученика дьявола» Б. Шоу. Впрочем, тогдашний чемпион мира по авиационным перелетам американский летчик Вилли Пост был одноглазым, потерял глаз еще до того, как сел за руль самолета.

Помню похороны Ермоловой, толпу у памятника Островскому близ Малого театра, старика Южина без шапки, в расстегнутой шубе — вспышки белого пара около его рта, — я стоял далеко, слов нельзя было разобрать.

Смирнов-Сокольский[283], молодой, с белым бантом на вельветовой толстовке, читал в саду Эрмитаж свои фельетоны. Останется ли в искусстве Смирнов-Сокольский? Как книжник-любитель? Не знаю. Наверняка останется как человек, купивший дневник Бунина.

. . . .

В студенческом общежитии, в нашей комнате освободилась койка, которую занимал студент консерватории по классу виолончели. Виолончель в комнате звучала как автомобильная сирена низких тонов. Нам виолончелист мешал заниматься, и мы были рады, когда он получил место в консерваторском общежитии.

Новый сосед был татарин, маленький, стройный, гибкий, плохо владевший русским языком. По вечерам, когда все пять жителей комнаты брались за книги и конспекты и громко говорить было запрещено, новый жилец раскладывал на койке тетрадки и, размахивая руками, что-то шептал. Это был Муса Залилов, будущий Джалиль[284]. К нему скоро все привыкли, часто просили читать стихи, русские, конечно. Залилов охотно читал Пушкина, только ошибался в ударениях, в произношении:

Сижу за решэткой, в темнице сирой...

— Пушкин! Хорошо! А вот, слушайте! — Залилов прочел стихотворение, глаза его заблестели.

— Это твое, Муса?

— Да.

Какие кому суждены испытания, в двадцатые годы сказать было нельзя.

Вместе со своим другом прошагал я не одну ночь «по московским изогнутым улицам», пытаясь понять время и найти свое место в нем. Нам хотелось не только читать стихи. Нам хотелось действовать, жить.

Москва, ноябрь 1962.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые в сокращении — «Юность», 1987, № 11, 12.

Публиковались за границей по неправленому маш. экземпляру (А-Я. Париж, 1985).

Полностью публикуется впервые.

Подлинник рукописи хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства, ф. 2596, оп. 1, ед. хр. 6—9.

1 *Ермилов* Владимир Владимирович (1904—1965) — критик, литературовед, поборник «социалистического реализма».

2 *Войтоловский* Лев Наумович (1876—1941) — прозаик, критик, автор «Очерков по истории русской литературы XIX и XX вв.», ч. 1—2. М. — Л., 1927—1928.

3 Машинский Семен Иосифович (1914—1978) — литературовед С 1960 — профессор Литературного института им. М. Горького. Основные труды посвящены русской литературе XIX в

4 Третьяков Сергей Михайлович (1892—1939) — писатель, один из теоретиков Левого фронта искусств (ЛЕФа), «Рычи, Китай», 1926 г, поэма, позже переделанная в пьесу Необоснованно репрессирован.

5 Фриче Владимир Максимович (1870—1929) — литературовед и искусствовед, в 1904—1910 преподавал в МГУ, с 1929 — академик АН СССР Фриче обосновывал в своих работах новую методологию, опираясь на взгляды Г. В. Плеханова; стремился установить «социальную доминанту» историко-литературного процесса.

6 Коган Петр Семенович (1872—1932) — историк литературы, критик, профессор I и II МГУ, с 1921 — президент Государственной Академии художественных наук (ГАХН) Популярный лектор по истории современной литературы.

7 РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей (1925—1932), ей предшествовала Всероссийская ассоциация пролетарских писателей (с 1920), возглавляемая группой «Кузница». В 1923 руководство перешло к группе «Октябрь», связанной с журналом «На посту». Тогда же организовалась Московская организация пролетарских писателей (МАПП), в которую вошли группы «Октябрь», «Молодая гвардия», «Рабочая весна». В 1925 оформился РАПП как ведущий отряд ВАПП. ВКП(б) поддержала создание РАПП, осудив, однако, крайности напостовцев и указав на необходимость «бережного отношения к попутчикам» (Резолюция ЦК ВПК(б) от 18 июля 1925 г).

8 ЛЕФ (Левый фронт искусств), 1922—1928 — литературная группа, выдвигавшая теорию «социального заказа», «непосредственной пользы, утилитарности искусства». Членами ЛЕФа были В. В. Маяковский, С. М. Третьяков, О. М. Брик, Н. Н. Асеев, А. М. Родченко, Дзига Вертов и др Издавались журналы «ЛЕФ» (1923—1925), «Новый ЛЕФ» (1927—1928)

9 *Лежнев* Александр (наст. имя Абрам Зеликович) (1893—1938) — критик, литературовед, теоретик группы «Перевал». Выступал за «органическое искусство», против теории «социального заказа», пропагандируемого «ЛЕФом». Необоснованно репрессирован.

10 *Ольшевец* Максим Осипович — журналист, зав. редакцией «Известий ЦИК СССР и ВЦИК».

11 В поисках поэтических путей Шаламов отдал дань увлечения «ЛЕФу», а потом, правда, очень мимолетно — конструктивизму, явно привлеченный сборниками «Мена всех» (1924), «Госплан литературы» (1925), «Бизнес» (1929).

В сборнике «Мена всех» была опубликована «Знаем (Клятвенная конструкция конструктивистов-поэтов)», где провозглашались эстетические требования группы: «конструктивизм

есть центростремительное иерархическое распределение материала, акцентированного (сведенного в фокус) в предустановленном месте конструкции», т. е. провозглашался не интуитивный поиск художественных средств, а конструирование поэтического материала.

ЛЦК (литературный центр конструктивистов) самораспустился в 1930 г.

[12] *Шкловский* Виктор Борисович (1893—1984) — прозаик, литературовед, член ОПОЯЗа (Общества изучения поэтического языка), предлагавшего «формальные методы» в литературоведении, членами ОПОЯЗа были также Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, Р. О. Якобсон и др.

[13] *Тынянов* Юрий Николаевич (1894—1943) — прозаик, литературовед, исследователь поэтики литературы и кино, автор романов «Кюхля» (1925), «Смерть Вазир-Мухтара» (1927—1928), «Пушкин» (не окончен, 1935—1943).

[14] *Томашевский* Борис Викторович (1890—1957) — литературовед, текстолог, стиховед, исследователь жизни и творчества А. С. Пушкина.

[15] *Эйхенбаум* Борис Михайлович (1886—1959) — литературовед, исследователь поэтики М. Ю Лермонтова, Н. В. Гоголя и др.

[16] *Якобсон* Роман Осипович (1896—1982) — русский и американский литературовед. С 1921 за границей, один из основателей структурализма в языкознании и литературоведении.

Основные труды посвящены русской поэтике.

Член ОПОЯЗа.

[17] Имажинизм — литературная группировка, утверждавшая примат самоцельного образа и формотворчества над идеей. В нее входили С. А. Есенин, А. Б. Мариенгоф, В. Т. Шершеневич, Н. Р. Эрдман и др.

[18] Футуристические группы не имели единого центра, имя им, действительно, было легион; эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы, комфуты, «Гилея» (В. Хлебников, В. Маяковский, В. Каменский, А. Крученых), «Центрифуга» (Н. Асеев, С. Бобров, Б. Пастернак), «заумники», «ничевоки» и др «Русский футуризм был пророком и предтечей тех страшных карикатур и неясностей, которые явила нам эпоха войны и революции» (*А. Блок.* Собр. соч., т. 6. М., 1962, с. 181.)

[19] «Кузница» — литературная группа, основана в 1920, в 1931 влилась в РАПП. Для ее членов характерна пролетарская романтическая лирика в поэзии, а в прозе — романы о рабочем классе и о революции. Журнал «Кузница» издавался в 1920—1922 гг.

[20] «Перевал» — литературная группа (1923—1932), возникла при журнале «Красная новь», возглавшемся А. К. Воронским (1921—1927). В группу входили многие «попутчики»

(Д. Горбов, А. Лежнев и др.). Группа декларировала реализм, интуицию и самовыражение художника. В «Красной нови» печатались Вс. Иванов, М. Горький, Л. Леонов, И Бабель, М. Зощенко и др.

«...Некоторые марксисты-литераторы усвоили себе архизаезжательские приемы в отношении к футуристам, серапионам, имажинистам и вообще попутчикам. Особенно входит почему-то в моду травля Пильняка... Выкиньте мысленно из нашего обихода Пильняка и Всеволода Иванова — и мы окажемся на некоторую дробь беднее... Организаторы похода против попутчиков — похода без достаточной заботы о перспективах и пропорциях — избрали одной из мишеней и... тов Воронского, редактора “Красной нови”, и руководителя издательства “Круг” в качестве попутчика и почти соучастника...

Но если мы выкинем Пильняка с его “Голым годом”, серапионов с Всеволодом Ивановым, Тихоновым и Полонским, Маяковского, Есенина, так что же собственно останется, кроме неоплаченных векселей под будущую пролетарскую литературу?»

(*Л. Троцкий.* «Литература и революция». М., 1991, с. 168—170).

21 Полонский (наст. фам. Гусев) Вячеслав Павлович (1886—1932) — критик, историк, гл. редактор журнала «Новый мир» (1926—1931), активно выступал против «ЛЕФа».

22 Воронский Александр Константинович (1884—1937) — критик, писатель. Автор «Литературных портретов» тт. I, II (1928—1929), автобиографической повести «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Необоснованно репрессирован.

23 Авербах Леопольд Леопольдович (1903—1939) — критик, публицист, общественный деятель, в 1926—1932 редактор журнала «На литературном посту» и генеральный секретарь РАПП. Шурин Г. Г. Ягоды. Необоснованно репрессирован.

24 Асеев Николай Николаевич (1889—1963) — поэт, автор поэм «Лирическое отступление», «Электриада» (1924), «Синие гусары» (1926), «Буденный», «Двадцать шесть», «Семен Проскаков» (1928), «Чернышевский» (1929).

25 Диспут «ЛЕФ или блеф» состоялся в марте 1927 г. после появления в «Известиях» статей В. П. Полонского, направленных против «Нового ЛЕФа».

Тезисы диспута (по афише) были таковы: «Что такое ЛЕФ? Что необходимо, чтобы называть лефистом? Где теория ЛЕФа? Где практика ЛЕФа? С кем вы? “Блеф” — его пригорки и ручейки, можно ли разводить людей для плача? Лев Толстой и ЛЕФ. Лев Толстой и блеф. Александр Пушкин как редактор. Будущее по Эдгару По. Куда идет нелефовская литература и что в нее заворачивают? ЛЕФ и кино. Формальный метод и марксизм. Значение тематики сейчас».

«Лефистом мы называем каждого человека, который с ненавистью относится к старому искусству. Что значит “с ненавистью?” Сжечь, долой все старое? Нет. Лучше использовать

старую культуру как учебное пособие для сегодняшнего дня, постольку поскольку она не давит современную живую культуру. Это одно И второе, что для передачи всего грандиозного содержания, которое дает революция, необходимо формальное революционизирование литературы».

[26] *Левидов* Михаил Юльевич (1891—1942) сотрудничал в журн. «Летопись» и газ. «Новая жизнь», издаваемых М. Горьким. После революции работал в области драматургии и журналистики. Был незаконно репрессирован.

[27] *Сосновский* Лев Семенович (1888—1937) — публицист, в 1918—1924 редактор газеты «Беднота», в 1921 зав. агитпропом ЦК РКП(б), затем на государственной и журналистской работе Необоснованно репрессирован.

[28] *Рыклин* Григорий Ефимович (1894—1975) — журналист, сатирик, автор мемуаров о М. Горьком, В. Качалове, М. Кольцове и др.

[29] *Рейснер* Михаил Александрович (1869—1928) — чл.-корр. ГАХН, профессор права, общественный деятель.

[30] *Рейснер* Лариса Михайловна (1895—1926) — участница Гражданской войны, писательница, жена Ф. Ф. Раскольникова, государственного и военного деятеля, дипломата, автора письма И. В. Сталину, обличающего последнего в необоснованных репрессиях (1938).

[31] *Рембо* Артюр (1854—1891) — французский поэт, написавший полные революционного пафоса стихи, посвященные Парижской Коммуне (1871).

[32] *Верлен* Поль (1844—1896) — французский поэт, символист.

[33] *Луначарский* Анатолий Васильевич (1875—1937) — советский государственный деятель, писатель, критик. С 1917 — нарком просвещения РСФСР и СССР, с 1929 — председатель Комитет по ученым и учебным заведениям при ЦИК СССР.

[34] *Бриан* Аристид (1862—1932) — неоднократно премьер-министр и министр иностранных дел Франции (1909—1931). Лауреат Нобелевской премии мира (1926).

[35] Каприйская школа — партийная школа на о. Капри в авг.—дек. 1909, созданная отколовшимися от большевиков фракционными группами — отзовистами и ультиматистами, требовавшими отзыва социал-демократической фракции из Госдумы. В 1909 объединились в группу «Вперед» (А. Богданов, А. Луначарский, М. Покровский, Л. Красин и др).

[36] *Богданов* (наст. фам. Малиновский) Александр Александрович (1873—1928) — чл. РСДРП, в 1896—1909 руководитель группы «Вперед», автор утопических романов «Красная звезда», «Инженер Мэнни». Идеолог Пролеткульта.

[37] Пролеткульт — культурно-просветительная и литературно-художественная организация (1917—1932), пропаганди-

ровала пролетарскую самодеятельность и нигилистическое отношение к культурному наследию.

[38] *Розенель-Луначарская* Наталья Александровна (1902—1962) — актриса Малого театра, жена А. В. Луначарского.

[39] Записка В. И. Ленина к А. Луначарскому, а также его записка к М Покровскому о В. Маяковском опубликована в журн. «Коммунист», 1957, № 18, а также в 65-м томе «Литературного наследства». М., 1958, с. 205—216.

Записки касались издания поэмы В. Маяковского «150.000 000» тиражом 5000 экз. В. И. Ленин считал возможным издание футуристических произведений тиражом не более 1500 экз. Вряд ли имело место утаивание этой записки Весьма скептическое отношение Ленина к футуризму было известно по воспоминаниям Клары Цеткин, А. Луначарского, М Горького и др.

[40] *Введенский* Александр Иванович (1888—1945) — митрополит русской обновленческой церкви.

[41] «Красная нива» — журнал, издавался 1923—1931

[42] *Уэллс* Герберт Джордж (1866—1946) — английский писатель. Классик научно-фантастической литературы.

[43] *Красин* Леонид Борисович (1870—1926) — советский партийный и государственный деятель, с 1920 — нарком внешней торговли, одновременно полпред и торгпред в Великобритании, с 1924 — во Франции.

[44] *Ярославский* Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич) (1878—1943) — советский партийный и государственный деятель, академик АН СССР (1939).

[45] «Синяя блуза» — возникла в 1923 как жанр агитационных театрально-эстрадных представлений, «живая газета» Теоретиком и руководителем ее был Борис Семенович Южанин. С 1924 «С. Б» перешла в ведение МГСПС, вскоре группы синеблузников давали представления по всему СССР, в Германии, Польше, Скандинавии «С. Б.» оказала большое влияние на эстраду. В ее коллективе работали В. Маяковский, О. Брик, А. Арго, В Ардов, В. Лебедев-Кумач, С. Юткевич и др.

В нач 1930-х гг. «С Б.» распалась. В антиромане В. Шаламова «Вишера» описана встреча его с Б. Южаниным в лагере

[46] *Арго* (Абрам Маркович Гольденберг) (1897—1968) — поэт, сатирик.

[47] *Кирсанов* Семен Исакович (1906—1972) — поэт, входил в объединение ЛЕФ, автор публицистических, социально-философских и лирических стихотворений и поэм «Моя именинная» (1928), «Товарищ Маркс» (1933) и др.

[48] *Юткевич* Сергей Иосифович (1904—1985) — режиссер, теоретик кино, фильмы «Встречный», «Человек с ружьем» и др

[49] *Тенин* Борис Михайлович (1905—1990) — актер, в 1924 работал в «Синей блузе», в 1925 — в Театре им. Вс. Мейер-

хольда, затем вернулся в «Синюю блузу», работал в других ленинградских и московских театрах.

[50] *Коренева* Клавдия Петровна (1902—1972) — актриса, в 1924—1926 работала в «Синей блузе», с 1926 — актриса Московского театра для детей, затем — в ЦТСА и Московском театре драмы.

[51] *Листов* Константин Яковлевич (1900—1983) — композитор, автор музыки к операм и опереттам, песням («Песня о тачанке», «В землянке» и др.).

[52] Кинотеатр «Центральный» снесен. На его месте построено здание издательства «Известия».

[53] *Брехт* Бертольд (1898—1956) — немецкий писатель, режиссер, основатель театра «Берлинер ансамбль», разработал теорию «эпического театра», дал новаторскую трактовку жанра антибуржуазной сатиры.

[54] «Бронепоезд 14-69», пьеса Иванова Всеволода Вячеславовича, поставлена МХАТ в 1927.

[55] «Любовь Яровая» — пьеса (1926) Тренева Константина Андреевича (1876 — 1945), поставлена Малым театром в 1926, в МХАТ — в 1936 г.

[56] *Берзин* Эдуард Петрович (1894—1938) — участвовал в раскрытии заговора главы английской миссии при советском правительстве Р. Локкарта (1918) по заданию Ф. Дзержинского, в 1930—1931 возглавлял строительство Березниковского химкомбината. В ноябре 1931 направлен на Колыму, с 3 декабря 1931 — директор Дальстроя. 19 дек. 1937 арестован в Александрове, направляясь по вызову в Москву, 1 авг. 1938 г. расстрелян.

[57] «Земля и фабрика» (ЗИФ) — советское государственное акционерное издательство (1922—1930), Москва — Ленинград. Специализировалось на массовых изданиях произведений классики и советских писателей. Издавало журналы «30 дней», «Всемирный следопыт». Влилось в государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ), книгоиздательство «Недра» (1924—1932).

[58] «Гудок» — центральная газета железнодорожников. Выходила в свет с декабря 1917 г.

[59] *Нарбут* Владимир Иванович (1887—1938) — поэт, в 1912 примкнул к группе «Цех поэтов». Сборник «Аллилуйя» (1912). Занимался издательской деятельностью в Воронеже, Киеве, Полтаве и др. в 1919—1922 вышли в свет 8 его поэтических книг.

В 1919 попал в плен к деникинцам и под страхом смерти написал отказ от большевистской деятельности. Был освобожден из тюрьмы конницей Б. М. Думенко. С 1922 г. был директором ЗИФ. В 1936 г. арестован и этапирован в Магадан. 7 апр. 1938 г. осужден к расстрелу тройкой УНКВД по Дальстрою.

[60] *Регинин* Василий Александрович (1883—1952) — журналист. Участвовал в создании журналов «30 дней», «Смехач»,

«Чудак», работал в «Литературной газете», «Огоньке», «Молодой гвардии», писал либретто оперетт.

61 *Зенкевич* Михаил Александрович (1891—1973) — поэт, переводчик, участник группы «Цех поэтов».

62 *Сверчков* Дмитрий Федорович (1882—1938?) — поэт, печатался с 1903 г.

63 *Пильняк* (наст. фам. Вогау) Борис Андреевич (1894—1938) — прозаик: романы «Голый год» (1921), «Повесть непогашенной луны» (1926), «Красное дерево» (1929). Необоснованно репрессирован.

64 «Серапионовы братья» (1921—1929) — название группы было дано по названию кружка друзей в одноименном романе Э. Т. А. Гофмана. Группа собиралась в «Доме искусств» на Невском, в Петрограде. Писатели ставили своей задачей совершенствование профессионального мастерства. Душой группы был рано умерший талантливый писатель Л. Н. Лунц (1901—1924). В группу входили Вс. Иванов, М. Зощенко, В. Каверин, К Федин, Н Тихонов, М Слонимский и др.

65 *Павленко* Петр Андреевич (1899—1951) — прозаик.

66 *Санников* Григорий Александрович (1899—1969) — поэт.

67 *Киш* Эгон Эрвин (1885—1948) — чешско-австрийский писатель, журналист.

68 *Иванов* Всеволод Вячеславович (см. пр. 54) (1893—1963) — автор повести «Партизаны» (1921), «Цветные ветра» (1922), сб. рассказов «Тайное тайных» (1927) и др.

69 *Соболь* Андрей (наст. имя Юлий Михайлович) (1880—1926) — прозаик, в юности вел социалистическую пропаганду, в 20-е годы воспринимал действительность как трагический поток событий.

70 *Радек* (наст. фам. Собельсон) Карл Бернгардович (1885—1939) — деятель международного социал-демократического движения, публицист. Сотрудник газ. «Правда» и «Известия». Необоснованно репрессирован.

71 *Раскольников* (наст. фам. Ильин) Федор Федорович (см. пр. 30) (1892—1939) — советский государственный и военный деятель, дипломат, литератор.

1920—1921 — командовал Балтийским флотом, 1921—1923, 1930—1938 — на дипломатической работе Остался за рубежом, обвинив И. В. Сталина в необоснованных репрессиях.

72 *Трубецкой* Сергей Петрович (1790—1860) — князь, декабрист, полковник. Приговорен к вечной каторге. 1839—1856 — на поселении в Иркутской губернии.

73 *Каховский* Петр Григорьевич (1799—1826) — декабрист, поручик в отставке. Казнен.

74 *Рылеев* Кондратий Федорович (1795—1826) — поэт, декабрист, создатель альманаха «Полярная звезда». Казнен.

75 *Безыменский* Александр Ильич (1898—1973) — поэт, его поэмы: «Комсомолия» (1924), «Трагедийная ночь» (1930), пьеса в стихах «Выстрел» (1929) и др.

[76] *Сельвинский* Илья (Карл) Львович (1899—1968) — поэт, возглавлял группу конструктивистов; поэмы: «Улялаевщина» (1927), «Командарм-2» (1928), «Пушторг» (1928).

[77] *Моргунов* Борис Григорьевич (1920—1997) — артист эстрады

[78] *Альвэк* Иосиф Соломонович, автор книги «Нахлебники Хлебникова». М., 1927.

[79] *Хлебников* Велимир (Виктор Владимирович) (1885—1922) — поэт-футурист, в зрелых произведениях — стремление к созданию «новой мифологии» и языка будущего свободного человечества.

[80] *Якобсон* Роман Осипович (см. пр. 16). Рукописи Хлебникова были переданы Р. Якобсону в Берлине.

[81] *Митурич* Петр Васильевич (1887—1956) — художник-график, член объединения «Мир искусств».

[82] *Хлебникова* Вера Владимировна (1891—1941) — художник-живописец, поэт, сестра В. Хлебникова.

[83] *Брик* Осип Максимович (1888—1945) — драматург, теоретик ЛЕФа, один из организаторов ОПОЯЗа, значительное исследование «Звуковые повторы» (1917), автор киносценариев «Потомок Чингисхана» (1928) и др.

[84] Воспоминания В. Т. Шаламова о Маяковском опубл в журн. «Огонек», 1936, № 10.

[85] *Примаков* Виталий Маркович (1897—1937) — советский военачальник, комкор (1935). В 1925—1926 — военный советник в Китае, военный атташе в Афганистане и Японии. С 1935 — зам. командующего войсками Ленинградского военного округа. Необоснованно репрессирован.

[86] *Мариенгоф* Анатолий Борисович (1897—1962) — поэт, драматург, входил в группу имажинистов. Автор книги воспоминаний «Роман без вранья» (1927).

[87] *Кузнецов* Николай Андрианович (1904—1924) — прозаик, поэт, член группы «Молодая гвардия». В 1924 г. перешел в группу «Перевал». Покончил с собой

[88] *Вертов* Дзига (наст. имя Кауфман Денис Аркадьевич) (1895/96—1954) — один из зачинателей и теоретиков советского и мирового документального кино.

[89] *Родченко* Александр Михайлович (1891—1956) — дизайнер, график, мастер фотоискусства, художник театра и кино, оформитель книг, один из зачинателей фотомонтажа, рекламы.

[90] *Крылов* Алексей Николаевич (1863—1945) — кораблестроитель, механик и математик, академик Петербургской АН с 1916, академик АН СССР.

[91] *Бруссар* Анри — исследователь фотоискусства, фотохудожник. Не исключено, что имеется в виду Картье — Брессон Анри, выставка фотографий которого проходила в Москве в 1966 г.

[92] *Серов* Валентин Александрович (1865—1911) — живописец и график. Его портретам М. Н. Ермоловой, М. О. Гиршман и др. присуща выразительность и лаконизм, острота характеристик

[93] *Волков-Ланнит* Леонид Филиппович (1903—1985) — историк фотоискусства Шаламов познакомился с ним в кружке «Молодой ЛЕФ», руководимом О. М. Бриком.

[94] *Арсеньев* Владимир Клавдиевич (1872—1930) — исследователь Дальнего Востока, географ и писатель, один из создателей краеведческого направления в научно-художественной литературе

[95] *Жаров* Александр Алексеевич (1904—1984) — поэт, автор стихов комсомольской тематики, текстов популярных песен.

[96] *Уткин* Иосиф Павлович (1903—1944) — поэт, автор поэмы «Повесть о рыжем Мотэле» (1925) и др. сборников стихов, в которых революционный пафос сочетался с бытовыми чертами провинциального еврейства.

[97] *Анненков* Борис Владимирович (1889—1927) — белогвардейский атаман, бывш. казачий офицер, в 1918—1919 жестоко расправлялся со сторонниками советской власти в Казахстане, в 1920 бежал в Китай, в 1926 вернулся в СССР, был расстрелян по приговору суда.

[98] *Абрамов* Наум Абрамович — автор книги «Дар слова» в четырех выпусках: 1 — «Искусство излагать свои мысли». СПб., 1901; 2 — «Искусство разговаривать и спорить». СПб., 1902; 3 — «Искусство писать сочинения». СПб., 1901; 4 — «Искусство произносить речи». СПб., 1902. Второе издание книги — СПб., 1912. «Словарь синонимов». СПб., 1908.

[99] *Митрейкин* Константин Николаевич (1905—1934) — поэт, автор сборников «Бронза» (1928), «Я разбиваю себя» (1931), «Штурм неба» (1934) и др.

[100] *Зелинский* Корнелий Люционович (1896—1970) — литературовед, критик, один из организаторов группы конструктивистов.

[101] *Агапов* Борис Николаевич (1899—1973) — поэт, был членом группы конструктивистов. В сборнике «Госплан литературы» были опубликованы «Основные положения конструктивизма», стихи И. Сельвинского, В. Инбер и Дира Туманного (Н. Панова), при этом особые знаки указывали на определенное произнесение текста.

[102] *Антокольский* Павел Григорьевич (1896—1978) — поэт, автор поэмы «Коммуна 71 года» и др. стихотворений, отличающихся стремлением к историко-культурным обобщениям.

[103] *Багрицкий* (наст. фам. Дзюбин) Эдуард Георгиевич (1895—1934) — поэт, автор стихотворений, проникнутых героикой Гражданской войны.

[104] *Луговской* Владимир Александрович (1901—1957) — поэт, автор стихотворений, воспевавших романтику Гражданской войны и социалистического строительства.

[105] *Панов* Николай Николаевич (пс. Дир Туманный) (1903—1973) — поэт, прозаик, в 1920—1922 был организатором группы презантистов, затем входил в ЛЦК, в сб. «Госплан литературы» (1924) опубликована его поэма «Человек в зеленом шарфе».

[106] Маяковский В. В. в 1924 приехал в Одессу и встретился там с С. Кирсановым. В 1925 в Одессе был создан Юго-ЛЕФ, в комитет которого вошел Кирсанов, издавался журнал «Юго-ЛЕФ».

[107] *Горбов* Дмитрий Александрович (1894—1967) — литературовед, переводчик, теоретик группы «Перевал».

[108] *Тальников* (наст. фам. Шпитальный) Давид Лазаревич (1882—1961) — театральный и литературный критик.

[109] «Круг» — издательство, руководимое А. К. Воронским (1922—1929), вошло в изд. «Федерация».

[110] *Машбиц-Веров* Иосиф Маркович (1900— ?) — критик, литературовед, с 1929 преподает в вузах Саратова, Москвы, Самары. В 1931 опубликовал сб. статей «Писатели и современность». Необоснованно репрессирован.

[111] *Веселый* Артем (наст. имя Кочкуров Николай Иванович) (1899—1938) — писатель, в романе «Россия, кровью умытая» (1929, полностью опубл. 1932), главном его произведении, изображена кровавая стихия революции. Необоснованно репрессирован.

[112] *Воровский* Вацлав Вацлавович (1871—1923) — советский партийный и государственный деятель, сотрудник газет «Искра», «Вперед», «Правда».

На дипломатической работе с 1917 г. — в странах Скандинавии, с 1921 — в Италии. Убит белогвардейцем в Лозанне.

[113] *Цюрупа* Александр Дмитриевич (1870—1928) — советский партийный и государственный деятель, с 1918 — нарком продовольствия РСФСР, с 1921 — зам. пред. СНК и СТО РСФСР (с 1922 г. — СССР), в 1923—1925 — предс. Госплана СССР, в 1925—1926 нарком внутренней и внешней торговли.

[114] *Гудзь* Игнатий Корнильевич — отец первой жены В. Т. Шаламова, сотрудник Наркомпроса РСФСР и СССР.

[115] *Мещеряков* Николай Леонидович (1865—1942) — литератор, профессиональный революционер, был членом редколлегии газ. «Правда», председателем и гл. ред. Госиздата СССР. В 1927—1938 был гл. ред. 1-го и 2-го изданий МСЭ.

[115] «Смена вех» — общественно-политическое движение в среде русской интеллигенции, в основном эмигрантской, возглавляемое Н. В. Устряловым, рассматривающее НЭП как эволюцию развития, сменяющую революционные преобразования общества.

[116] *Лежнев* И. (наст. имя Исай Григорьевич) (1891—1955) — литературовед и публицист. В 1922—1926 под его редакцией выходил журнал «Новая Россия». После закрытия

журнала был выслан за границу. В 1930 пересмотрел свои взгляды, в 1933 — восстановлен в ВКП(б).

[118] *Устрялов* Николай Васильевич (1890—1938) — политический деятель, кадет (с 1917), публицист, один из идеологов сменовеховства. В 1935 вернулся в СССР.

[119] *Демидов* Георгий Георгиевич (1908—1987) — физик, находился в заключении с 1938, познакомился с Шаламовым в Центральной больнице для заключенных (пос. Дебин), описан в рассказе «Житие инженера Кипреева».

[120] *Португалов* Валентин Валентинович (1913—1989) — поэт, переводчик, находился в заключении на Колыме, познакомился с Шаламовым в Центральной больнице (пос. Дебин).

[121] *Катаев* Валентин Петрович (1887—1986) — прозаик, автор повести «Растратчики» (1926), романа-хроники «Время, вперед!» (1931 — 1932)

[122] В 20-е годы высказывались предположения о плагиате. Якобы М. Шолохов воспользовался рукописью Ф. Крюкова. Над писателем был организован суд чести. В газ. «Правда» появилось заявление руководителей РАПП в поддержку авторства М. Шолохова.

[123] *Клычков* (наст. фамилия Лешенков?) Сергей Антонович (1889—1937) — поэт, автор гротеско-сказочной прозы «Чертухинский балакирь» (1926). Книга «Мадур Ваза победитель», вольная обработка поэмы М. Плотникова вышла в 1936 г. Необоснованно репрессирован.

[124] *Бройде* Соломон Оскарович (1892—?) — автор книг «Фабрика человеков» (1933), «В плену у белополяков» (1933) и др.

[125] *Лугин* Александр Эммануилович (1891—1967) — поэт.

[126] *Вермонт* Евгений Григорьевич (1907—1948) — журналист.

[127] *Флоренский* Павел Александрович (1882—1937) — русский ученый, философ, богослов, его фундаментальный труд «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи». Необоснованно репрессирован.

[128] *Войно-Ясенецкий* Валентин Феликсович, епископ Лука (1877—1961) — лауреат Государственной премии за книгу «Очерки гнойной хирургии», архиепископ Симферопольский и Крымский, местночтимый святой с 1995 г.

[129] *Эренбург* Илья Григорьевич (1891—1967) — поэт, прозаик, автор романа «Необычайные приключения Хулио Хуренито и его учеников» (1921), сатиры-утопии «Трест ДЕ» (1923), романа «Рвач» (1925), повести «Проточный переулок» (1927) — о разгуле нэпмановской стихии, о близкой гибели Европы.

[130] *Бродский* Давид Григорьевич (1899—1966) — поэт, переводчик.

[131] *Олендер* Семен Юльевич (1907—1968) — поэт, переводчик, первая книга стихов «Часовщик».

[132] *Колычев* Осип Яковлевич (1904—1973) — поэт. В 1930 вышла первая книга стихов, в 1935 — книга «У Черного моря».

[133] *Архангельский* Александр Григорьевич (1889—1938) — поэт, пародист. Книга «Пародии» вышла в 1927 г.

[134] *Зозуля* Ефим Давидович (1891—1941) — прозаик, сатирик, погиб на фронте.

[135] *Кольцов* (наст. фам. Фридлянд) Михаил Ефимович (1898—1940) — писатель, журналист, участник Гражданской войны, с 1922 — постоянный сотрудник газ. «Правда», в 1932 основал журнал «Огонек», был его редактором, руководил Журнально-газетным объединением («Жургаз»), участвовал в гражданской войне в Испании, наиболее известная его книга «Испанский дневник» (1938). Необоснованно репрессирован.

[136] *Северянин* Игорь (наст. фам. Лотарев Игорь Васильевич) (1887—1941) — поэт, его стихам свойственна эстетизация салонно-городских мотивов, романтический индивидуализм.

[137] *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт-символист. В 1920 г. эмигрировал.

[138] *Сологуб* (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927) — поэт и прозаик. В романе «Мелкий бес» (1905) в форме гротеска изображена русская провинциальная жизнь

[139] Кукрыниксы — творческий коллектив графиков и живописцев: Куприянов Михаил Васильевич (1903—1991), Крылов Порфирий Никитич (1902—1990), Соколов Николай Александрович (1903—2000).

[140] *Рыкачев* Яков Семенович (1893—1976) — прозаик.

[141] *Гарри* Алексей Николаевич (1902—1960) — прозаик, наиболее значителен цикл рассказов «Огонь. Эпопея Котовского» (1934). В 1938 репрессирован, реабилитирован через 16 лет.

[142] *Павлов* Николай Николаевич — журналист.

[143] *Смирнов* Николай Григорьевич (1890—1933) — прозаик, наиболее известен его «Дневник шпиона» (1929).

[144] *Шпанов* Николай Николаевич (1896—1961) — автор очерков, рассказов, повестей приключенческого и детективного жанра.

[145] *Никулин* Лев Вениаминович (1891—1967) — прозаик, автор романов «Никаких случайностей» (1924), «Тайна сейфа» (1925), «Адъютанты господа бога» (1927).

[146] Знакомство В. Т. Шаламова с Осипенко описано в антиромане «Вишера» (глава «Осипенко»).

[147] *Либединский* Юрий Николаевич (1898—1959) — прозаик, его повесть «Неделя» (1922) пронизана романтикой революции.

[148] *Светлов* Михаил Аркадьевич (1903—1964) — поэт, драматург. Его стихи воспевали романтику Гражданской войны, комсомольской юности («Гренада», «Рабфаковка», «Песня о Каховке» и др.).

[149] *Голодный* (наст. фам. Энштейн Михаил Семенович) (1903—1949?) — поэт, автор баллад, песен о героике Гражданской войны («Песня о Щорсе», «Партизан Железняк» и др).

[150] *Ясный* А. (наст. фам. Яновский Александр Маркович) (1903—1945) — поэт, учился на литературном отделении МГУ 1928—1931. Сборники стихов «Каменья» (1923), «Шаг», «Ухабы» (1925), «Ветер в лицо» (1931) и др.

[151] *Шолом-Алейхем* (наст. фам. Рабинович Шолом Нахумович) (1859—1916) — еврейский писатель, писал на иврите, идише и русском языке. С 1914 г. жил в США. Выступал за реалистическую народную литературу, художественный анализ социальных проблем современности.

[152] *Платонов* Андрей Платонович (1899—1951) — писатель. В его своеобразной по стилю прозе мир предстает как трагическая целостность человеческого и природного бытия· повесть «Елифанские шлюзы» (1927), «Город Градов» и др.

[153] *Теодорович* Иван Адольфович (1875—1937) — критик, публицист, общественный деятель, в 1905 г. принимал участие в издании газ. «Пролетарий» в Женеве, имеет труды по истории революционного движения Необоснованно репрессирован.

[154] Дальтон-план — бригадная система обучения, разработанная Е. Паркгерот в г. Дальтоне (США).

[155] *Анненков* Юрий Павлович (1889—1974) — график и живописец, автор острохарактерных портретов писателей, художников, политических деятелей. Иллюстрировал «Двенадцать» А. Блока, с 1924 г. — за границей.

[156] *Бедный* Демьян (наст. фам. Придворов Ефим Алексеевич) (1883—1945) — поэт, автор популярных стихотворений, песен, поэм

[157] *Гладков* Федор Васильевич (1883—1958) — прозаик, автор романа «Цемент» (1925) и др.

[158] *Герасимов* Михаил Прокофьевич (1889—1939) — поэт, автор сб. стихов «Завод весенний», «Железные цветы» (1919), «К соревнованию» (1930) и др. Необоснованно репрессирован.

[159] *Кириллов* Владимир Тимофеевич (1890—1943) — поэт, деятель Пролеткульта и «Кузницы», автор сб. стихов «Железный Мессия» (1921), «Огни Октября» (1930) и др. Необоснованно репрессирован.

[160] *Крученых* Александр (наст. имя Алексей Елисеевич) (1886—1968) — поэт, теоретик футуризма. Автор книг «Сдвигология русского стиха» (1922), «Гибель Есенина», «Черная тайна Есенина», «Лики Есенина: от херувима до хулигана» (1926) и др.

[161] *Мериме* Проспер (1803—1870) — французский писатель, автор литературной мистификации на сюжеты балканского фольклора «Гузла» (1827).

[162] *Шершеневич* Вадим Габриэлевич (1893—1942) — поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, написал книгу, подводящую итог деятельности имажинистов «Итак, итог» (1926).

[163] *Клюев* Николай Алексеевич (1887—1937) — поэт крестьянской патриархальности, «избяной Руси», автор сб. стихов «Песен перезвон» (1912), «Медный кит», «Песнослов» (1919), «Изба и поле» (1928) и др Необоснованно репрессирован.

[164] *Шагинян* Мариэтта Сергеевна (1888—1982) — прозаик, автор повести «Месс-Мэнд» (1923—1925), «Гидроцентраль» (1930—1931).

[165] *Островский* Николай Алексеевич (1904—1936) — прозаик, автор книги «Как закалялась сталь» (1932—1934).

[166] *Сапгир* Генрих Вениаминович (1928—1999) — поэт, сценарист, представитель экспериментального направления в русской поэзии, оформившегося в постмодернизм.

[167] *Чичерин* Алексей Николаевич (1889—1960) — поэт, участник конструктивистского сборника «Мена всех» (1924), член группы «ничевоков».

[168] *Романов* Пантелеймон Сергеевич (1884—1938) — прозаик. Его произведения 20-х годов «Без черемухи», «Яблоневый цвет», «Черные лепешки», «Актриса» исследуют нравы общества, в т. ч. проблемы пола.

[169] *Малашкин* Сергей Иванович (1888—1988) — прозаик, поэт. Повесть «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь» посвящена проблеме нравственного растления личности.

[170] *Гумилевский* Лев Иванович (1890—1976) — прозаик Его повесть «Собачий переулок» послужила поводом к дискуссии о проблемах морали.

[171] *Лидин* (наст. фам. Гомберг) Владимир Германович (1894—1979) — прозаик. Его роман «Отступник» — история студента, убившего и ограбившего профессора (в традиции Ф. М. Достоевского).

[172] *Григорьев* (наст. фам. Григорьев-Патрашкин) Сергей Тимофеевич (1875—1953) — автор исторических романов и повестей, рассказов для детей, в т. ч. «Коммуна Мар-Мила» (1926).

[173] *Огнев* Н. (наст. фам Розанов Михаил Григорьевич) (1888—1938). Большой успех имела его повесть «Дневник Кости Рябцева» (1926—1927).

[174] «Время» — издательство З. И. Гржебина, существовало в 1919—1923, общее руководство осуществлялось М Горьким, издавались избранные сочинения русских классиков и современная литература.

[175] «Прометей» — русское издательство демократического направления, существовало в 1907—1916, издавались книги по философии, русской истории, истории литературы.

[176] *Бенуа* Пьер (1886—1962), *Моран* Поль (1888—1976), *Арлен* Марсель (1899—1986), братья Виктор (1866—1942) и Поль *Маргерит* (1860—1918) — французские писатели; *Локк* Уильям Джон (1863—1930), *Честертон* Гилберт Кит (1874—1936) — английские писатели.

[177] *Каллиников* Иосиф Федорович (1890—1934) — поэт, прозаик, автор романа «Мощи» (1925—1927).

[178] *Орлов-Скоморовский* Федор Мартынович (1889—?), в 1914 окончил медицинский факультет Дерптского университета, участвовал в первой мировой войне, затем занимался частной медицинской практикой. Изданы его книжки «Голгофа ребенка», «Аборт» (1921), «Ложь отцов», «Любовь платоническая» (1922) и др.

[179] *Боков* Виктор Федорович (1914—2009) — поэт, прозаик, широко использовал в своих произведениях поэтические возможности русского фольклора.

[180] *Прокофьев* Александр Алексеевич (1900—1971) — поэт природы и людей русского Севера: «Песня о Ладоге» (1927).

[181] *Васильев* Павел Николаевич (1910—1937) — поэт, очеркист. Автор «Песни о гибели казачьего войска» (1928—1932), поэмы «Соляной бунт», пронизанных скорбью о трагической участи казачества. Необоснованно репрессирован.

[182] *Зубакин* Борис Михайлович (1894—1938) — археолог, поэт-импровизатор.

[183] *Костров* Тарас (наст. фам. Мартыновский Александр Сергеевич) (1901—1930) — журналист, организатор «Комсомольской правды», гл редактор журн. «Молодая гвардия» (1928—1929).

[184] *Нариньяни* Семен Давидович (1908—1974) — журналист, сатирик, работал в «Комсомольской правде» с 1925, с 1952 — чл. редколлегии газ. «Правда».

[185] *Жуков* Юрий Александрович (1908—1991) — журналист, общественный деятель. Работал в газ. «Комсомольская правда», был соб. кор. «Правды» в Париже. С 1957 — председатель комитета по культурным связям с зарубежными странами, с 1967 — политобозреватель «Правды» в США, затем работал в Советском комитете защиты мира (см. *Жуков Ю.* «Избранные произведения». М.: Мысль, 1988. т. 1 — 11).

[186] *Степняк-Кравчинский* (наст. фам. Кравчинский) Сергей Михайлович (1851—1895) — народник, писатель, автор романа «Андрей Кожухов», очерков «Подпольная Россия», «Россия под властью царей».

[187] *Ушаков* Николай Николаевич (1899—1973) — поэт, первый сб. стихов «Весна Республики» (1927), второй — «30 стихотворений» (1931).

[188] *Фурманов* Дмитрий Андреевич (1891—1926) — прозаик, публицист, партийный деятель. Автор романов «Чапаев» (1923), «Мятеж» (1925).

[189] *Гроссман-Рощин* Иуда Соломонович (1883—1934) — критик, член РАПП, анархист, в 1919 находился при штабе Махно.

[190] *Барон* (наст. фам. Боровой Алексей Алексеевич) (1875—1935) — один из лидеров анархистов-индивидуалистов в 1905—1907, впоследствии примкнул к Московской федерации анархистских групп.

[191] *Аршинов* Петр Андреевич (1887—1937?) — член РСДРП(б), в 1906 сблизился с анархистами, участвовал в террористических актах, после 1917 — один из основателей Мос-

ковской федерации анархистских групп, в 1919—1921 — ближайший сподвижник Нестора Махно. Эмигрировал Возвратился в СССР в 1935 г. Необоснованно репрессирован.

[192] *Махно* (Михно, Михненко) Нестор Иванович (1888—1934) — с 1906 член кружка молодежи Украинской группы анархистов-коммунистов, участвовал в актах экспроприации и террора, приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой. В 1917 стал диктатором Гуляй-Польского района. В 1918 участвовал в Московской конференции анархистов, потребовавшей борьбы с гетманщиной и австро-немецкими войсками. В 1919 заключил военное соглашение с командованием Красной Армии, в 1920 нарушил его и в 1921 его части были разбиты Красной Армией.

[193] *Бабель* Исаак Эммануилович (1894—1940) — прозаик, драматург, публицист. Большой успех имела книга его рассказов «Конармия» (1923 — 1925) Необоснованно репрессирован.

[194] *Гауптман* Герхарт (1862—1946) — немецкий писатель Автор пьес символического и социально-критического плана. Пьеса «Флориан Гейер»(1896).

[195] *Михоэлс* (наст. фам. Вовси) Соломон Михайлович (1890—1948) — актер, режиссер, педагог. С 1929 — художественный руководитель Московского государственного еврейского театра. Погиб при невыясненных обстоятельствах.

[196] В 1918 состоялось открытие театра-студии «Габима», которой некоторое время руководил Евг. Вахтангов, поставивший спектакль «Гадибук»(1922).

В 1919 в Петрограде была организована Грановским Алексеем Михайловичем (1890 — 1937) еврейская театральная студия, которая впоследствии стала основой Московского еврейского театра (1921).

А. Грановский в 1928 остался за границей во время гастролей.

[197] *Телешов* Николай Дмитриевич (1837—1957) — писатель, в 1899 организовал литературный кружок «Среда», написал мемуары «Записки писателя»(1953).

[198] *Зощенко* Михаил Михайлович (1894—1958) — прозаик, драматург, переводчик.

[199] *Закушняк* Александр Яковлевич (1879—1930) — артист эстрады, чтец и драматический актер. Создатель жанра «вечеров рассказа». Репертуар его был обширен: от Мопассана до Бабеля.

[200] *Каминка* Эммануил Исакович (1902—1972) — артист эстрады, выступал с чтением рассказов, фельетонов, юморесок

[201] *Шмидт* Дмитрий упоминается в числе «троцкистов-конников» Червонного казачества (В. Шенталинский. «Рабы свободы». М.: Парус, 1995, с. 52) Связь с ними инкриминировали И. Бабелю: «Они дали мне много сюжетов».

Упом. также: Лев Троцкий «Сталин»: «В 1927 г. во время исключения оппозиции красный генерал Шмидт, прибывший в Москву с Украины, при встрече со Сталиным в Кремле наскочил на него с издевательствами и даже сделал вид, что хочет вынуть из ножен свою кривую саблю, чтобы отрезать генеральному секретарю уши — Сталин, который выслушал все, храня хладнокровие, но бледный и со стиснутыми губами, выслушав, как его называют негодяем, вспомнил, несомненно, десять лет спустя об этой «террористической угрозе». Дмитрий Шмидт исчез, обвиненный в терроризме. Бармину рассказал этот факт Виктор Серж». М., 1990, т. 2, с. 275.

202 *Каплер* Алексей Яковлевич (1904—1979) — киносценарист и драмтург.

203 *Бармин* Александр Григорьевич — полпред СССР в Греции, отказался вернуться в СССР.

Серж Виктор — писатель — сотрудник «Литературного современника» (Мюнхен).

204 *Дос-Пассос* Джон (1896—1970) — американский писатель, в 20—30-е годы экспериментировал в области прозы, включая в ткань романа новеллы, газетную хронику, лирический дневник. Роман «Манхеттен» (1925, рус. перевод 1927).

205 *Гладков* Федор Васильевич (1883—1958) — писатель, автор произведения «Цемент» (1925).

206 *Березовский* Феоктист Алексеевич (1877—1952) — прозаик, член группы «Кузница», его роман «Бабьи тропы» (1928), повесть «Перепутья» (1928) посвящены теме Гражданской войны в Сибири.

207 *Бахметьев* Владимир Матвеевич (1877—1952) — прозаик, член группы «Кузница», наиболее известен роман «Преступление Мартына» (1928), вызвавший дискуссию о пролетарской морали.

208 *Фадеев* Александр Александрович (1901—1956) — прозаик, автор романа «Разгром» (1927), участвовал в руководстве РАПП, с 1932 — в руководящих органах Союза писателей СССР, в 1946—1953 был генеральным секретарем и председателем Правления СП СССР.

209 *Панферов* Федор Иванович (1896—1960) — прозаик, главный его труд — роман «Бруски» (1928—1937). В 1931—1960 гл. редактор рапповского журн. «Октябрь».

210 *Инбер* Вера Михайловна (1890—1972) — поэтесса, прозаик, журналист. «Америка в Париже» — ее путевые заметки (1928).

211 *Типот* Виктор Яковлевич (1893—1960) — драматург, театральный деятель. Один из создателей Театра сатиры.

212 *Дементьев* Николай Иванович (1907—1935) — поэт, до 1928 состоял в группе «Перевал». Первый сб. стихов «Шоссе Энтузиастов» (1930) получил положительные отзывы. По словам М. Светлова, Дементьев «сумел сделать любовь к человеку своим постоянным состоянием».

[213] *Олеша* Юрий Карлович (1899—1960) — прозаик, драматург, сценарист, поэт. Наибольшую известность получил его роман «Зависть» (1927).

[214] *Жироду* Жан (1882—1944) — французский писатель, в его произведениях сатирически изображается буржуазная псевдокультура с позиции одиночки-интеллигента.

[215] Высший литературно-художественный институт им. В. Я. Брюсова.

[216] *Гастев* Алексей Капитонович (1882—1939/40) — прозаик, публицист, общественный деятель. Создал Центральный институт труда (1920) и руководил им до 1938. Необоснованно репрессирован.

[217] *Грин* Александр Степанович (1880—1932) — прозаик С 1924 постоянно жил в Крыму, не участвовал в литературных группировках.

[218] *Миних-Маслов* Александр Викторович (1903— 1941?) — погиб на фронте.

[219] *Морфи* Пол Чарлз (1837—1884) — американский шахматист. В 1857—1859 победил всех сильнейших шахматистов мира, затем отошел от шахмат.

[220] *Стейниц* Вильгельм (1836—1900) — первый чемпион мира по шахматам (1886-1894).

[221] *Грин* Нина Николаевна (1894—1970) — вторая жена А. С. Грина (с 1921).

[222] *Толстой* Алексей Николаевич (1883—1945) — прозаик, драматург.

[223] *Церетелли* Николай Михайлович (1890—1940) — актер, в 1926—1928 работал в Камерном театре, снимался в кино, затем, в основном, занимался режиссурой.

[224] *Солнцева* Юлия Ипполитовна (1901—1989) — актриса, режиссер кино, жена А. П. Довженко. Снималась в фильмах «Аэлита», «Папиросница из Моссельпрома» и др.

[225] *Баталов* Николай Петрович (1899—1937) — актер, с 1916 — в МХТ, снимался в фильмах «Аэлита», «Мать» и др.

[226] *Уэллс* Орсон (1915—1985) — американский актер, сценарист и продюсер. Его радиопостановка «Война миров» по Г. Уэллсу (1938) вызвала массовую панику.

[227] *Казанцев* Александр Петрович (1906—2002) — писатель-фантаст.

[228] *Кулик* Леонид Алексеевич (1883—1942) — минералог, специалист по изучению метеоритов. В 1921—1922 был руководителем экспедиции на место падения Тунгусского метеорита 30.06.1908. Погиб в плену.

[229] *Термен* Лев Сергеевич (1896—1993) — физик, в 1920 изобрел терменвокс — электромузыкальный инструмент. В 1928—1937 жил в США, в 1931—1936 был директором акционерного общества в США по производству электромузыкальных инструментов. В 1937 году вернулся в СССР, был арестован, в «шарашке» изобрел бесконтактное подслушивающее устройство. В 1947 получил за это Сталинскую премию.

Работал в акустических лабораториях МГУ, Московской консерватории. См. «ЛГ» 30 мая — 5 июня 2001 г.

[230] *Щеголев* Павел Елисеевич (1877—1931) — литературовед, историк революционного движения, автор работ о декабристах, А. С. Пушкине.

[231] *Рубинштейн* Дмитрий Львович (1876—1936) — адвокат, директор-распорядитель Русско-французского банка в Петербурге, в 1916 арестован за финансовые спекуляции. Эмигрант.

[232] *Азеф* Евно Фишелевич (1869—1918) — один из лидеров партии эсеров, руководитель ее боевой организации, провокатор, с 1893 — секретный сотрудник департамента полиции. В 1908 разоблачен В. Л. Бурцевым (1862—1942), издателем журнала «Былое».

[233] *Радин* Николай Мариусович (1872—1935) — актер, на сцене с 1902, с 1932 — в Малом театре.

[234] «Каторга и ссылка» — научно-исторический журнал Общества бывших политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Вышло 116 номеров журнала за 1921—1935. Общество было ликвидировано по постановлению ЦИК СССР, многие члены Общества незаконно репрессированы.

[235] *Фигнер* Вера Николаевна (1852—1942) — деятель российского революционного движения, член Исполкома «Народной воли», писательница, 20 лет провела в заключении в Шлиссельбургской крепости. Написала воспоминания «Запечатленный труд» (тт. 1—2, 1964).

[216] *Морозов* Николай Александрович (1854—1946) — революционный народник, ученый, член Исполкома «Народной воли». В 1882 приговорен к вечной каторге, до 1905 — находился в заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Автор воспоминаний «Повести моей жизни» (тт. 1—2, 1965).

[237] *Бестужев-Рюмин* Константин Николаевич (1829—1897) — организатор и руководитель Высших женских курсов в Петербурге, которые существовали в 1878—1882.

Герье Владимир Иванович (1867—1919). Им были созданы Высшие женские курсы в Москве в 1872, преобразованные в 1918 во П МГУ, затем в 1930 — в Педагогический институт им. В. И. Ленина.

Шаламов, видимо, присутствовал на юбилее курсов Герье.

[238] *Инар* Гюстав (1847—1935) — капитан Национальной гвардии во время Парижской коммуны, с 1925 жил в СССР.

[239] *Семашко* Николай Александрович (1874—1949) — государственный и партийный деятель, врач, с 1918 — нарком здравоохранения, с 1930 — на преподавательской и научной работе. Один из организаторов Академии медицинских наук.

[240] *Завадовские*: Михаил Михайлович (1891—1957) — биолог, академик ВАСХНИЛ (1935) и Борис Михайлович (1895—1951) — биолог, организатор Биологического музея им. К. А. Тимирязева.

[241] *Лискун* Ефим Федорович (1873—1958) — зоотехник, академик ВАСХНИЛ (1934).

[242] *Гельфонд* Александр Осипович (1906—1968) — математик, профессор (1931), чл.-кор. АН СССР (1939), чл.-кор. Международной Академии истории науки (1968), работал в МГУ (1930—1968) и Математическом институте АН СССР (1933—1968)

[243] *Вересаев* (наст. фам Смидович) Виктор Викторович (1867—1945) — писатель. Автор критико-документальных произведений о А. С. Пушкине, Л. Н. Толстом, Ф. М. Достоевском.

[244] *Крептюков* Даниил Александрович (1888—1957) — прозаик, поэт.

[245] *Луговский* Владимир Александрович (1901—1957) — поэт, в стихах — романтизация Гражданской войны и социалистического строительства. В 1926 г. вступил в группу конструктивистов, в 1930 г. примкнул к ВАПП.

[246] *Савинков* Борис Викторович (1879—1925) — политический деятель, один из руководителей боевой организации эсеров (1903—1917), писатель под псевдонимом В. Ропшин.

[247] *Штерн* Иуда Миронович (1904—?) — в 1932 г. стрелял в машину советника немецкого посольства фон Твардовского.

[248] *Шейнин* Лев Романович (1906 — 1967) — прозаик, драматург. В 1923—1950 работал в Прокуратуре СССР. Автор детективно-приключенческих произведений.

[249] *Крыленко* Николай Васильевич (1885—1938) — советский государственный и партийный деятель. С 1918 — в Верховном революционном трибунале при ВЦИК, с 1928 — прокурор РСФСР, с 1931 — нарком юстиции РСФСР, с 1936 — нарком юстиции СССР. Вел Шахтинский процесс по обвинению группы инженеров и техников во вредительстве (1928). Репрессирован.

[250] «Красное студенчество» — журнал при ЦК ВЛКСМ (1925—1935), в кружке при этом журнале И. Сельвинский воспитывал «констромольцев».

[251] *Бабанова* Мария Ивановна (1900—1983) — актриса. С 1920 — в Театре им. Вс. Мейерхольда, с 1927 — в Театре Революции (ныне Театр им. В. Маяковского).

[252] *Коонен* Алиса Георгиевна (1889—1974) — актриса, жена А. Я. Таирова, с 1905 — в МХТ, в 1914—1949 — в Камерном театре.

[253] *Тарасова* Алла Константиновна (1898—1973) — актриса, с 1916 во 2-й студии МХТ, с 1924 — в труппе МХАТ.

[254] *Еланская* Клавдия Николаевна (1898—1972) — актриса, с 1924 — в МХАТ.

[255] *Гоголева* Елена Николаевна (1900—1993) — актриса, с 1918 — в Малом театре.

[256] *Пашенная* Вера Николаевна (1887—1962) — актриса, с 1907 — в Малом театре.

257 *Бакланова* Ольга Владимировна (1893—1974) — актриса, 1912—1925 в МХАТ, с 1926 жила за границей, снималась в фильмах «Человек, который смеется», «В доках Нью-Йорка» и др.

258 *Попова* Вера Николаевна (1889—1982) — актриса, 1923—1933 — в театре б. Корша, с 1933 — в МХАТ. Роли: Глафира («Волки и овцы»), Гильда («Строитель Сольнес»), Катерина («Гроза») и др.

259 *Глизер* Юдифь Самойловна (1904—1968) — актриса, начала играть в Рабочем театре Пролеткульта, с 1928 — актриса Театра Революции (ныне Театра им. В. Маяковского).

260 *Быков* Анатолий Васильевич (1892—1943) — драматург, организатор студии и театра импровизаций «Сэмперанте» (1921).

261 *Левшина* Анастасия Александровна (1870/72?—1958) — актриса, режиссер, вместе с А. В Быковым основала студию и театр «Сэмперанте».

262 *Чехов* Михаил Александрович (1891—1955) — актер, племянник А. П. Чехова. С 1913 — в МХТ, 1-й студии МХТ, позже — МХАТ 2-го (1924—1927 — художественный руководитель). С 1928 жил за границей, снимался в фильмах.

263 *Штейнер* Рудольф (1861—1925) — немецкий философ-мистик, основатель антропософии.

264 *Образцов* Сергей Владимирович (1901—1992) — актер, режиссер, с 1931 — руководитель Центрального театра кукол.

265 *Ключарев* Виктор Павлович (1898—1957) — актер 1-й студии МХТ, 1921 — 1927 — Театра Революции.

266 *Дикий* Алексей Денисович (1889—1955) — режиссер, актер. С 1910 — в МХТ, МХАТ 2-м, в 1944—1952 — в Малом театре.

267 *Рейнхардт* Макс (1873—1943) — немецкий режиссер, актер и театральный деятель. В 1894—1904 актер немецкого театра в Берлине. В 1902 основал Малый театр, в 1903—1906 — «Новый театр». В 1906 возглавил Немецкий театр. Ставил А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, М. Горького. В 1933 переселился в Австрию.

268 *Шмелев* Иван Сергеевич (1873—1950) — прозаик, с 1922 — за границей. Творческий путь начал в традиционной для русского реализма теме маленького человека («Человек из ресторана», 1911), уже в эмиграции обретено им своеобразное, тонкое и лирическое письмо книг: «Богомолье» (1935) и «Лето Господне» (1933—1948).

269 *Славин* Лев Исаевич (1927—1984) — прозаик, драматург. Его пьеса «Интервенция» (1933) поставлена многими театрами СССР. Она очень нравилась В. Шаламову.

270 *Журавлев* Дмитрий Никитович (1900—1991) — актер, в 1927—1939 — в Театре им. Евг. Вахтангова, с 1931 г. — на эстраде.

271 *Толчанов* Иосиф Моисеевич (1891—1981) — актер, с 1918 г. — в Театре им. Евг. Вахтангова.

[272] *Горюнов* (наст. фам. Бендель) Анатолий Иосифович (1902—1951) — актер. С 1920 — в студии Вахтангова, с 1926 в Театре им. Евг. Вахтангова.

[273] *Мансурова* Цецилия Львовна (1896—1976) — актриса, с 1919 — в студии Вахтангова, затем в Театре им. Евг. Вахтангова.

[274] *Рид* Джон (1887—1920) — американский писатель, журналист, участник Октябрьской революции, события которой отражены в его книге «10 дней, которые потрясли мир» (1919).

[275] *Киш* Эгон Эрвин в 1937—1938 сражался в составе Интернациональной бригады в Испании, в 1940—1946 в антифашистской эмиграции. Автор острых политических репортажей. См. пр. 67.

[276] *Любимов-Ланской* Евсей Осипович (1883—1943) — режиссер и актер, с 1923 — в театре МГСПС (впоследствии Театр им. Моссовета). В 1925—1940 художественный руководитель театра.

[277] *Билль-Белоцерковский* (наст. фам. Билль) Владимир Наумович (1884/1885—1970) — драматург. Пьеса «Шторм» (1925) была поставлена в театре МГСПС.

[278] *Киршон* Владимир Михайлович (1902—1938, сконч. в заключении) — драматург, один из руководителей РАПП. Пьеса «Хлеб» (1930) была поставлена во МХАТ.

[279] *Афиногенов* Александр Николаевич (1904—1941) — драматург, один из руководителей РАПП. Пьеса «Страх» (1931) подверглась идеологической критике.

[280] *Остужев* (наст. фам. Пожаров) Александр Алексеевич (1874—1953) — актер, с 1898 — в Малом театре. В 1910 оглох, но остался на сцене.

[281] *Абдулов* Осип Наумович (1900—1953) — актер, режиссер. На сцене с 1918 г., с 1943 — в Театре им. Моссовета.

[282] *Завадский* Юрий Александрович (1894—1977) — режиссер, актер. С 1915 — актер студии Евг. Вахтангова, затем МХАТ, с 1940 — режиссер и художественный руководитель Театра им. Моссовета.

[283] *Смирнов-Сокольский* (наст. фам. Смирнов) Николай Павлович (1898—1962) — актер, библиофил, автор эстрадно-сатирических фельетонов.

[284] *Джалиль* Муса Мустафиевич (1906—1944) — татарский поэт, в 1942 был ранен и взят в плен. В тюрьме написал цикл стихов «Моабитская тетрадь», свидетельство его таланта и верности Родине.

МОСКВА 20—30-х ГОДОВ

Седьмого ноября 1924 года я увидел впервые Троцкого на военном параде к 7-летию Октября. Низкорослый, широколобый Троцкий стоял в красноармейской

форме в самом углу, невысоко, блестел только что отлакированный деревянный мавзолей. Я прошел в одной из колонн, пристроившись прямо на тротуаре где-то на Тверской, близ Иверской. Иверская действовала вовсю, восковые свечи горели, старухи в черном, мужчины в монашеских одеждах отбивали бесконечные поклоны.

Рядом дышала обжорка Охотного ряда. Тысячи тонн живого мяса, птицы были вывалены прямо на булыжный проспект Охотного. Над магазином «Пух-перо» вздымались белые тучи.

Всего года через два я буду жить тут в Большом Черкасском, рядом с этой самой обжоркой, которая, впрочем, скоро закроется навеки, и выстроят гостиницу «Москва».

Рядом с Троцким стояли какие-то военные, дальше кожаная куртка Бухарина, Преображенский[1], Ярославский, Каменев[2], еще чьи-то знакомые мне по портретам лица. Парад длился недолго.

Вскоре Троцкий был снят, стал работать в концесскоме, а должность наркомвоенмора принял Фрунзе.

Тот же час родилась частушка, частушка фольклорного типа, та самая, которая извечно сопутствует историческим событиям и переменам, велики или малы они — все равно.

Разве можно горелкою Бунзена
Заменить стосвечовый Вольфрам.
Вместо Троцкого ставят Фрунзе,
Это просто срам.

Это <вероятно> первая частушка литературного творчества оппозиции — весьма, как известно, обильного.

Фрунзе проработал недолго. В 1925 году он умер на операционном столе от наркоза. Не хотел операции, противился ей, согласился после больших уговоров. Все обстоятельства операции Фрунзе рассказаны Пильняком в «Повести непогашенной луны». За хранение повести в 30-е годы расстреливали.

Неправда, что эмиграция, контрреволюция ждала перемен со смертью Ленина. Ленин ведь не работал давно — весь 23-й и половину 22-го года. Целый год он не владел языком, в Горки последний год ездили только его ближайшие друзья. Кто ездил к Ленину в Горки в этот последний год его жизни — об этом рассказала Крупская в одном из интервью. Это Воронский, Крес-

тинский[3] и Преображенский. Преображенского Ленин встретил случайно, сочла нужным подчеркнуть Крупская. Но и Воронский, и Крестинский ездили в Горки именно как личные друзья.

Конец 24-го года буквально кипел, дышал воздухом каких-то великих предчувствий, и все поняли, что НЭП никого не смутит и не остановит.

Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год. Каждый считал своим долгом выступить еще раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось столетиями в ссылках и на каторге.

Курукин

В теоретическом вихре тех лет клубилась пыль самых различных теорий, каждая испытывалась на прочность, вековечные догмы подвергались живой проверке.

Все фурьеристы, все ламаркисты учили о благодетельном, не только оздоровляющем, но переделывающем душу человека влиянии среды. Это принципиальное положение из догм приводило к высшей степени парадокса — «рабочему станку».

Тогдашняя теория относилась к таким переделкам души и сердца самым серьезным образом, и к документу о рабочем стаже нигде не относились с недоверием. Кандидат, сочувствующий — это все вполне реальные, а главное, вполне официальные, признаваемые властью категории.

Вернуть к станку! Послать в цех! — такие решения принимались даже в Коминтерне, ибо дышать воздухом завода считалось немалым делом. На нашем сплоченном кандидатском заводе работал ряд сыновей домовладельцев, нэпманов именно ради документа, ради спасительной справки. Я же работал там не только из-за справки, а именно желая ощутить то драгоценное, новое, в которое так верили и звали. Я пришел туда не как сейсмограф, не для мимикрии, а искренне желая почувствовать этот ветер, обвевающий тело и меняющий душу. К 26-му году я понял, что вязну в мелочах, в пустяках, что у меня другая, в сущности, дорога.

Для того чтобы получить этот стаж, вдохнуть этот рабочий воздух, я и поступил в 1924 году на кожевен-

ный завод в Кунцеве — дубильщиком. Но это был не тот «Москож № 6», как назывался тогда троекуровский, стоящий поныне, а маленький завод Озерского комитета крестьянской взаимопомощи. Это было предприятие нэпмана Кочеткова, который сам был оставлен в роли техрука на своем же заводе на ставке.

Народу было человек 30 всего — рабочих и служащих, даже при той малой механизации все шло вручную, завод был карлик. Но документ он давал, как любая кузница пролетарских кадров. Оглядываясь сейчас назад и вспоминая работяг этого завода, я вижу, что все это были или бывшие нэпманы, или кустари, или дети кустарей. Только несколько человек, по два-три в каждом цехе, составляли рабочий костяк и ничего от будущего хорошего не ждали. Само управление заводом помещалось в Кимрах, завод делал подошвы, а больше ничего. Подошвы и приводные ремни. Если кимрский хозяин-крестьянин сам переделывал себя, организовывал общество, производственную артель, то переделывал с помощью таких бывших частников, какие были на нашем заводе. На заводе было много грубости, споров. Эти споры обострялись от хронического безделья — не было сырья, бойня не давала продукции такому крошечному, да еще подозрительному социально заводу. Бойню нужно было пробивать взятками, что и делали весьма энергично.

По колдоговору, утвержденному в Москве, рабочему было запрещено заниматься какой-либо другой работой, сиди и кури, даже двор подмести нельзя.

Заработки у меня там были небольшие, но весьма твердые по тем золоточервонным временам.

До завода я работал в том же Кунцеве ликвидатором неграмотности, учил взрослых, санитарок в больнице два раза в неделю за восемь рублей в месяц.

Декрет о ликвидации неграмотности к 10-летию Октября, к 1927 году, — самый самодеятельный декрет советской власти. Еще в 1971 году в сберкассе существует целая полка карточек — сберегательных книжек неграмотных. Перепись просто обходит этот вопрос. С неграмотностью действительно боролись, самодеятельно и добровольно, и платные учителя, как я, но результатов это не могло дать за десять лет и не только потому, что Новогородская губерния или Чердынский уезд — не Москва, а из-за гораздо более коварного обстоятельства — так называемых рецидивов неграмотности.

Случилось так, что автором проекта Декрета о ликвидации неграмотности был мой будущий тесть по первой жене Игнатий Корнильевич Гудзь — сотрудник Крупской по Наркомпросу. В 30-е годы мы более хладнокровно оценивали успех этого декрета, не то что декрет имел лозунговый характер, и в этом случае фантастический срок был вполне оправдан, а просто и этот декрет — след той же романтической догматики, которая владела всеми умами.

«Завтра — мировая революция» — в этом были убеждены все. На фоне этого срок десятилетнего плана борьбы с неграмотностью вовсе не казался преувеличением. Во всяком случае, я работал по ликвидации неграмотности со всем энтузиазмом и верой.

Я проработал на этом заводе до зимы 1926 года. Даже во время безработицы нам не разрешали уезжать в Москву — мы должны были высидеть часы на месте. Оплата таких простоев была полностью. Восьмирублевая ставка ликвидатора неграмотности сменилась ставкой чернорабочего на заводе — 21 рубль в месяц. Когда я перешел в цех, то как дубильщик получал 45 рублей, а попозже как отделочник и 63 — по девятому разряду тарифной сетки. Никакой сдельщины не было тогда. Работали строго восемь часов. 45 рублей зарплаты дубильщика дали мне возможность посылать домой, и покупать одежду, и платить за стол. Я питался в артели, старой рабочей артели. Наш один дубильщик [Мартынов] держал эту харчевню.

Стоило это питание три рубля в месяц — обед и ужин, оба блюда мясные, или завтрак и обед. Печенка, требуха или самая дешевая говядина, картошка и черный хлеб, нарезанный горкой. Ели классической русской артелью — по четыре человека на выдолбленный окоренок — деревянный тазик с подсеченным, подпиленным дном. Ложки у всех свои. Окоренок наливали полный, дымящийся паром-наваром, все это наливала хозяйка, стоя тут же, из бака черпаком. Каждый черпал ложкой и хлебал жидкое — мясо было на дне, а картошка горячая ждала, укрытая в стороне, чтоб [нрзб] превратиться во второе блюдо.

Ритм хлебова регулировался старостой, старшим из этих четырех человек. В нашей четверке таким был Емельянов — старый кожевник, седой отделочник. В нужный момент он восстанавливал ритмичность, то есть справедливость. Емельянов кидал команду: не час-

ти! — отталкивал молодые рты, не привыкшие к дисциплине желудка. Потом стучал деревянной ложкой о деревянный таз, окоренок, и командовал: «Со всем!» Это значило: таскай с мясом — выгребай всю требуху, печенку и сердце с деревянного дна. Темп еды чуть-чуть убыстрялся. Затем окоренок убирали, и на стол вываливалась горячая картошка с растительным маслом. Вот и все меню нашего артельного стола. Но и то при такой простоте жалоб были миллионы — то не ту купили требуху, то картошка сыровата. После был чай, но чай-кипяток уже прямо от предприятия, казенный, входящий в колдоговор. Сторож Курукин втаскивал бак с кипятком.

Сторож Иван Петрович Курукин был тоже искатель социального равенства, как и весь этот завод. Курукин был москвич природный, у него была большая семья, пять человек детей, мал мала меньше. Завод давал сторожу квартиру, и это держало Курукина на грошовой ставке на нашем заводе.

Человек он был энергичный, живой, поворотливый, очень толковый, и я удивлялся, зачем Ивану Петровичу эта работа, — он сам мог быть директором завода. Разумеется, я ни о чем не спрашивал Курукина.

Посуду у нас мыли по очереди, и, когда настал мой день, я с полотенцем в руках принялся перетирать стаканы. Курукин смотрел с порога на мои движения с полным презрением к моей неумелости.

— Дай-ка сюда.

Курукин вырвал у меня из рук и стакан, и полотенце.

— Смотри.

Курукин повернул раза два полотенцем внутри стакана, и стакан засиял, как хрусталь. Я без особого, впрочем, смущения похвалил Ивана Петровича за хватку.

— Всякое дело требует знания, приспособления, — сказал Курукин. — Бревно распилить, не умея, нельзя, замучаешь себя и партнера. А насчет стакана скажу тебе — я 20 лет стаканы в шантане мыл, отсюда и хватка.

Вскоре он переехал от нас, нашел какую-то квартиру в Москве. Я узнал, что Курукин профессиональный официант, человек из ресторана, скопивший деньги на свое дело и погибший в волнах НЭПа, пытаясь это собственное дело открыть. Было это в 1924 году, а в 1934 я со своей молодой женой залетел в ночной «поплавок» у Москворецкого моста. Пока мы с женой оглядывались, выбирая столик поближе к воде, к нам подошел какой-то человек в белом — вот садитесь ко мне, за те столики, и мы сели, а человек в белом подошел принимать заказ.

— Иван Петрович!

— Шаламов!

Это был наш сторож с Кунцевского завода Иван Петрович Курукин. Мы обнялись, поцеловались.

— Я угощаю!

— Я.

Мне пришлось заплатить за этот заказ, а Курукин рассказал свою жизнь, что заработки все меньше и меньше, что за одну должность официанта он заплатил, кому надо, целую тысячу рублей, что не было удачи, большого заработка ни в один, пожалуй, год с тех времен. Скопить тоже много не пришлось — семья большая. Мы пожелали друг другу удачи, и уже в сером московском рассвете я расстался с Иваном Петровичем навсегда.

Курсы подготовки в вуз

Тетка, у которой я жил в Кунцеве, не вошла в мою жизнь ни единым словом совета, желания, требования. Мне просто было дано место в ее двухкомнатной казенной квартире при больнице, где тетка работала много лет. Тетка — вологжанка, уехавшая на бестужевские курсы. Но курсы эти не устроились, и она получила сестринское медицинское образование. У нее были и какие-то прогрессивные знакомства. Но к 24-му году всех ее друзей войны и революция разметали по всему свету, и тетка одиноко держалась если не за прогрессивные принципы и взгляды, то за опытность, квалификацию медицинской сестры, которой, впрочем, все осточертело — и медицина, и жизнь.

Молодежь у нее собиралась, но обычного гитарного рода, не более. На какой-либо совет тетка не отваживалась. Все мои решения, мой план жизни был выработан мною самим без единого советчика во время движения поезда Кунцево — Москва. Я понимал, что опаздываю, что завод не дает мне ничего, кроме физической усталости, что пропуск, разрыв между образованием становится все больше, все меньше надежд на исправление.

Надо было еще помнить, что само по себе среднее образование, полученное в Вологде, да еще во время Гражданской войны, дальтон-плана и посылок АРА[4] — не настоящее образование.

Я с трепетом как-то заглянул в алгебру Киселева. Бином Ньютона, теория множеств вызвали у меня холодный

пот на спине. Тем не менее идти назад было поздно, решение принято. Мне надо было бросить завод, изменить жизнь резко, добраться до книг — старых моих друзей.

В январе 1926 года я бросил завод, получил на руки около 200 рублей и перешел в Москву к старшей сестре, где и прописался на Садовой-Кудринской. Нужна была только крыша, но именно московская крыша. Тогда не было паспортов, и профсоюзный билет был документом, заменяющим все другие удостоверения личности. По профсоюзному билету меня и прописывали. Но у сестры можно было спать, но ведь не сидеть до утра, тем более что она жила с мужем неладно.

В библиотеку я записался в Ленинскую — Румянцевскую, кроме того гораздо удобнее оказалась читальня МОСПС в Доме Союзов. Вот в этой библиотеке, в ее читальном зале, я и провел весь 26-й год. День в день. Модестов — известный русский статистик — заведовал тогда этой читальней. Там был и домашний абонемент. Видя такое мое прилежание, он дал разрешение давать мне книги домой из спецфонда. Это был не то что спецфонд, а просто полки, где ставили книги, снятые с выдачи по циркулярам Наркомпроса: по черным спискам (как в Ватикане)...

Там, с этих полок, я и прочел «Новый мир» с «Повестью непогашенной луны» Пильняка, «Белую гвардию» Булгакова в журнале «Россия», «Ленин» Маяковского — поэма «Ленин» стояла на этих ссыльных полках года три.

В этой же библиотеке, уже после моего первого срока, в 30-е годы я был консультантом по художественной литературе — по прозе и могу вас заверить, что самотечный поток никогда и нигде не ослабевал.

При первой самопроверке выяснилась страшная, даже катастрофическая вещь. Выяснилось, что я вовсе не знаю школьных программ. И если по гуманитарным наукам кое-что хоть складывалось в какие-то очертания, то в математике и физике даже и очертаний не было, были просто провалы, черные пустоты, называемые также белыми пятнами. Прыжок, который я собирался сделать, не имел твердого основания для разбега. Это меня напугало. Трехлетний перерыв в образовании грозил уничтожить все надежды, все планы.

Притом я убедился, что никакого рабочего духа в мою психологию не попало после этих лет, абсолютно не нужных, на кожевенном заводе. То ли именно мне не нужна была такая школа, то ли сам полукустарный за-

водик не обеспечивал духовных кондиций, необходимых для переделки человека, — не знаю. Я чувствовал только потерянное время, угрожающее изломать навек мою жизнь, уже вошедшую в чтении, в лекциях в духовную жизнь страны и столетия. Интересы, понимание, хоть и детское, явились у меня в те дни в читальном зале МОСПС. Это-то было вовсе не достаточно, чтобы поступить в вуз, это было вовсе не среднее образование. Средняя школа в ее гуманитарной части научила меня задавать жизни вопросы. Но математическая часть, физическая содержит не вопросы, а ответы, точные ответы, которые надо знать наизусть, ни с чем не сравнивая, ничем не заменяя. Зубрежка могла спасти только в медицине. Я вырос без зубрежки, вопреки зубрежке, в борьбе с зубрежкой и впервые ощутил, как слаб, шаток, ничтожен тот фундамент, на котором я стою.

Тогда, в читальне МОСПС, оказалось, что у меня нет этого фундамента. План действий был быстро составлен. Необходимо было как-то не повторить, а выучить школьную программу в рекордно короткий срок. Выходом явились курсы подготовки в вуз, открытые тогда повсеместно. Для меня эти курсы явились спасением, я нашел ту форму обучения, которая давала надежды на успех.

Наши курсы помещались на Никитском бульваре, в том доме, где умер Гоголь. Это были курсы платные, трехмесячные, и плата была большая, что-то рублей семь в месяц. Платить нужно было вперед. Курсы были халтурным предприятием, но вели их московские учителя, применяясь к самым новейшим требованиям. Каждому по окончании выдавалась бумажка с печатью об окончании курсов, и эта бумажка играла свою роль тогда — бумага эта говорила, что ее владелец хочет учиться, а не просто командирован, и не бросит учебы.

Если пересчитывать на темп времени, то эти курсы подготовки в вуз как раз и были чем-то вроде благородного пансиона при Московском университете, где когда-то учились Лермонтов и Грибоедов. Понятно, что все слушатели курсов были москвичами, и это еще более укрепляло доверие к этим странным документам.

По физике, по математике я подогнал НАСТОЛЬКО основательно, что осенью того же года на экзамене в МГУ получил вуд[5] по математике вместе с лестным вопросом, почему я не иду на физмат при столь ярко выраженных математических способностях. Я хотел объяснить экзаменатору психологию моего эффекта —

эмоциональное напряжение после трехлетнего ожидания, эмоциональный подъем, разрядка в нужный момент, хотел объяснить, что за этим эффектом ничего нет к физическим наукам — ни любви, ни уважения. Но счел нужным промолчать.

Зато по русскому языку я получил достойное удовлетворение — при вуде за письменную был освобожден от наиболее нудной части словесности — устного экзамена.

Курсы подготовки в вуз свели меня с моим лучшим другом Лазарем Шапиро[6], тоже из запоздавших к штурму неба. На этих курсах я настойчиво искал партнера, который мог бы гнать программу еще и дома. Таких желающих было немало, но мне это все не подходило. Мне приходилось бы их тащить, я бы сам отставал — темпа нужного, ритма я не находил. Моим требованием была только квартира для занятий. Партнеры мои менялись, занятия на курсах шли. На одном из первых занятий по русскому языку — а слушателей было человек сорок — преподаватель русского языка Ольга Моисеевна Коган заставила всех написать работу, предложив несколько тем. Темы были выписаны Коган на доске, и за полтора часа все слушатели справились с заданием. Я выбрал какую-то тему из Тургенева — об «Отцах и детях», кажется.

— Отметки я вам расставляю по пятибалльной дореволюционной системе, — сообщила Коган. — Это и для меня, да и для вас важно. Приспособить четверку к тройке можно всегда без труда.

Этой фразой начались занятия по русскому языку. Полтора часа, два академических занятия длилась эта работа. И дней через пять Коган продолжила занятия, выложив на стол пачку исписанных нами листков.

— Ну, — сказала Коган, закуривая «дукат», — она курила беспрерывно. — Как я и ожидала, уровень грамотности ваших работ невелик. Есть только одна работа, заслуживающая пятерки. Это работа Шаламова. Кто Шаламов?

Я встал. С детства мне было не привыкать получать высокие оценки по литературе, и я не обратил на это внимания, приняв это как должное. Но не так думал класс. Какой-то лобастый школьник протянул руку.

— Позвольте задать вопрос?

— Пожалуйста.

— Моя фамилия Шапиро. Вот вы поставили Шаламову пять, а мне четверку. Чем вы руководствовались в

таком различии? Я проверил, у меня так же, как и у Шаламова, все запятые на месте. Не можете ли вы обосновать свое решение?

Коган встала и объяснила, охотно углубляясь в предмет, что представляет собой искусство, литература, — о постижении этого неуловимого [нрзб].

— Вы хотите сказать, что у Шаламова есть литературный талант?

— Да, — сказала Коган.

После этого мы стали с Шапиро друзьями. Именно с ним я поступал на факультет советского права, а после первого курса пути наши разошлись, он пошел на хозяйственно-правовое, я — на судебное. Мы встретились снова в оппозиции. Никакого влияния тут не было, на нас обоих влияло одно и то же: век, время, Москва.

Луначарский

Я был принят в университет, но без общежития, как москвич, и жилье, крыша сразу стало трудной, неотложной проблемой. Шапиро лучше меня знал всю бюрократическую иерархию, куда надо было обращаться за отказом, — он тоже был москвичом и ускорил наше хождение до необходимого предела. Получив положенные отказы, мы побежали в Наркомат просвещения на личный прием наркома. На Сретенском бульваре мы быстро разыскали кабинет Луначарского, обратились к секретарше.

— Заявление готово у тебя?

— Да. Вот есть.

— Так и держи в руке, а как получишь разрешение, суй ему прямо на подпись. Ну, иди!

Секретарша раскрыла кабинет наркома, где за большим письменным столом, откинувшись в мягком кресле и заложив ногу за ногу, сидел Луначарский. Солнечный луч из окна, как лазер, вычертил линию от коленки до лысины. Луначарский выслушал мою просьбу, и геометрия луча внезапно нарушилась.

— Это не ко мне, — завизжал нарком, — не ко мне, обратитесь к моему заместителю Ходоровскому. Валя!

— У него на лбу не написано, — резонно сказала Валя, — о чем он собирается с вами говорить, товарищ нарком.

Но я уже умчался к Ходоровскому, на том же этаже, где и получил заветную визу — «дать место».

Возможно, что я со своей жизненной прозой вторгся именно в тот момент, когда солнечный луч с лысины Луначарского уже готов был перескочить на бумагу, двинуть ритмы «Освобожденного Дон Кихота». Мне не было дела тогда до таких проблем. А вот проблемы мировой революции меня занимали.

Тут же мои товарищи и старшие братья моих товарищей — герои Гражданской войны, выслушав рассказ об этом инциденте, объяснили, что подобные ситуации были нередки, что обычно студенческие депутации долго ждали за дверью, ибо, как объясняла секретарша, «нарком стихи пишет» и принять пока не может. Не знаю, сколько тут злословия, сколько истины, на лбу у наркома, верно, не было написано, пишет ли он стихи или ждет очередного посетителя.

Штурм неба

Таких, как я, опоздавших к штурму неба, в Москве было немало. Самым естественным образом это движение сливалось в течение, кружилось близ скал новой государственности и плыло по незнакомой дороге дальше, то разливаясь по поверхности, то углубляясь, штурмуя осыпающиеся берега. Тут не было ничего от быта и очень много от догмы, да еще от того острейшего чувства, что ты присутствуешь и сам участник какого-то важного поворота истории, да не русской, а мировой. Самым естественным образом это движение-течение вольно клокотало в университете, в высших учебных заведениях, в вузах тогдашних. В вузы поступали тогда не потому, что искали образование, специальность, профессию, но потому, что именно в вузах штурмующие небо могли найти самую ближнюю, самую подходящую площадку для прыжка в космос. Штурмовали небо именно в вузах, [там] была сосредоточена лучшая часть общества. От рабочих и крестьян их лучшие представители, от дворян и буржуазии те конрады валленроды[7], которые взяли знамя чужого класса, чтоб под ним штурмовать небо. И Ленин, и Маркс, да и все их товарищи по партии были интеллигентами, конечно, плоть от плоти буржуазии, дворянства, разночинства, выходцами из чужого класса. Ничего в этом особенного нет, но

уже в первые годы революции была поставлена догматическая задача — найти кадры из самих рабочих. Это только осложнило штурм неба.

Переступить порог университета — значило попасть в самый кипящий котел тогдашних сражений. Именно здесь, да еще в двух шагах от университета, в РАНИОНе[8] велись споры о будущем, намечались какие-то еще не уверенные, но явно реальные планы мировой революции.

Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни. Такие вопросы, как семья, жизнь, решались просто на ходу, ибо было много и еще более важных задач. Конечно, государство никто не умел строить. Не только государство подвергалось штурму, яростному беззаветному штурму, а все, буквально все человеческие решения были испытаны великой пробой.

Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией. Каждому открывались такие дали, такие просторы, доступные обыкновенному человеку! Казалось, тронь историю, и рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоею рукою. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. Именно молодежь впервые призвана была судить и делать историю. Личный опыт нам заменяли книги — всемирный опыт человечества. И мы обладали не меньшим знанием, чем любой десяток освободительных движений. Мы глядели еще дальше, за самую гору, за самый горизонт реальностей. Вчерашний миф делался действительностью. Почему бы эту действительность не продвинуть еще на один шаг дальше, выше, глубже. Старые пророки — Фурье, Сен-Симон, Мор[9] выложили на стол все свои тайные мечты, и мы взяли.

Все это [потом] было сломано, конечно, оттеснено в сторону, растоптано. Но в жизни не было момента, когда она так реально была приближена к международным идеалам. То, что Ленин говорил о строительстве государства, общества нового типа, все это было верно, но для Ленина все было более вопросом власти, создания практической опоры, для нас же это было воздухом, которым мы дышали, веря в новое и отвергая старое.

Консерватория

Наш институт, наш факультет был впритык с консерваторией, и при желании проникнуть в здание, проскочить сквозь барьер консерватории было [можно]. Но что нам там слушать? Иностранных скрипачей, советских пианистов? Не скрипачей, не пианистов слушали, а, всем телом, всем мозгом, всеми нервами своими напрягаясь, слушали ораторов. Для того чтобы слышать ораторов, в консерваторию ходить было не надо — все словесные, и бессловесные, и не словесные турниры шли у нас же, хотя Коммунистическая, бывшая Богословская, аудитория поменьше была Большого зала консерватории — наиболее крупного тогда кино в Москве. Консерватория так и называлась — кино «Колосс», причем, по упрямой московской обмолвке, тому упрямству, которое заставляет произносить «на Москва-реке», а не «на Москве-реке», Большой зал консерватории назывался «Киноколосс».

В консерватории было то, чего не было в университете, — буфет. Мы все имели талоны в столовую латинского квартала Москвы, но буфет консерватории был подарком. И хоть там, кроме бутербродов со свеклой, тоже ничего не было, а иногда с кетовой икрой, все же деятели искусства как-то подкармливались. Вот этот буфет и был предметом наших постоянных атак. Пускали туда по консерваторским пропускам с фотографиями, и такой свой пропуск нам отдал студент консерватории, бывший житель нашей Черкасски, крошечного, всего на сто коек, университетского общежития.

[Университет]

Москва тогдашних лет просто кипела жизнью. Вели бесконечный спор о будущем земного шара — руководимые и направляемые центром тогдашней футурологии РАНИОНом и Комакадемией[10], где тогдашние пророки Преображенский, Бухарин, Радек бросали лучи в будущее. Эти лучи ни тем, которые наводили, ни тем [кто] обслуживал экран, — красным профессорам, немногочисленным, одетым в шинели и куртки того же покроя и фасона, что был у Преображенского, не казались еще ни лучами смерти из «Гиперболоида», ни обжигающими лазерами. Это были лучи мысли во всей ее фанта-

стической реальности. В Московском университете, кипевшем тогда, как РАНИОН, сотрясаемом теми же волнами, дискуссии были особенно остры. Всякое решение правительства обсуждалось тут же, как в Конвенте.

То же было и в клубах. В клубе Трехгорки пожилая ткачиха на митинге отвергла объяснение финансовой реформы, которую дал местный секретарь ячейки.

— Наркома давайте. А ты что-то непонятное говоришь.

И нарком приехал — заместитель наркома финансов Пятаков[11], и долго объяснял разъяренной старой ткачихе, в чем суть реформы. Ткачиха выступила на митинге еще раз.

— Ну, вот, теперь я поняла все, а ты — дурак — ничего объяснить не можешь.

И секретарь ячейки слушал и молчал.

Эти споры велись буквально обо всем и о том, будут ли духи при коммунизме — фабрика Брокара стояла с революции, и работники не были уверены, что ее пустят. И о том, существует ли общность жен в фаланге Фурье, и о воспитании детей. Обсуждали не формы брака, обсуждался сам брак, сама семья — нужна ли она. Или детей должно воспитывать государство и только государство. Нужны ли адвокаты при новом праве. Нужна ли литература, поэзия, живопись, скульптура... И если нужны, то в какой форме, не в форме же старой.

И Штеренберг[12], и Шагал[13], и Малевич[14], и Кандинский[15] создавали новые формы, предъявляли новые свои искания на суд нового времени.

Спорили в университете. Но еще больше спорили в общежитиях — иногда до утра. В общежитиях медиков спорили меньше, много спорили математики. И особенно оба гуманитарных факультета — советского права и этнологический, — куда входили литературное и историческое отделения.

Тут просто разрывали на части. Популярных ораторов еще не было среди молодежи. Но, конечно, кое-какие фамилии уже начали выделяться на этом остром фоне: Мильман, Володя Смирнов, Арон Коган[16]. Все они кончили ссылкой.

На первом курсе мне удалось написать работу о советском гражданстве, обратившую на себя внимание не только руководителя семинара, но о научной работе я в этой бурлящей, закипающей каше и думать не хотел. Жизнь моя поделилась на те же две классические части: стихи и действительность. Я писал стихи, ходил в

литературные кружки, занимался [нрзб], вошел в это время в «Молодой ЛЕФ», несколько раз был в «Красном студенчестве» у Сельвинского.

Я бывал на занятиях у Брика, диспутах Маяковского, встречался с Сергеем Михайловичем Третьяковым — фактографистом. И в то же время жил жизнью и общественной в тех формах, которые казались мне тогда приемлемыми. Как и всегда, я служил двум началам.

О том, какое начало выбрать, меня не спросили. 19 февраля 1929 года я был арестован и вернулся в Москву лишь в 1932 году.

Новый 1929 год я встретил на Собачьей площадке, в чужой чьей-то квартире, в узкой компании обреченных. Ни один из участников вечеринки не пережил 29-го года в Москве, никто никогда больше не встретился друг с другом.

Это были мои университетские товарищи, мои сверстники. На этой вечеринке я сделал удивительное открытие. Моя соседка, знаменитый оратор дискуссий 27-го года, выступавшая в красной шелковой рубахе с мужским ремнем, на котором была укреплена кобура браунинга, оратор весьма популярный на университетских трибунах, вдруг оказалась самой женственной дамой, которую только можно вообразить. Шелковая кофточка, модная юбка, букетик цветов, с которыми она явилась на вечеринку, произвели весьма сильное впечатление. Соседка моя оказалась не красавицей, но весьма хорошенькой блондинкой, волосы выбивались из-под косынки шелковой. Капля духов ей бы отнюдь не повредила.

Вечеринка кончилась, я вернулся к себе в общежитие.

19 февраля я был арестован в засаде в одной из подпольных типографий Москвы[17].

Все мы были рады, что глупая петиционная кампания[18] кончилась, и смело смотрели вперед, не ожидая ни масштабов, ни мстительности ответного удара.

Москва 30-х годов

Москва 30-х годов была городом страшным. Изобилие НЭПа — было ли это? Пузыри или вода целебного течения — все равно — исчезло.

Подполье 20-х годов, столь яркое, забилось в какие-то норы, ибо было сметено с лица земли железной метлой государства.

Бесконечные очереди в магазинах, талоны и карточки, ОРСы[19] при заводах, мрачные улицы, магазин на Тверской, где не было очереди. Я зашел: пустые полки, но в углу какая-то грязная стоведерная бочка. Из бочки что-то черпали, о чем-то спорили: «мыло для всех».

На Ивантеевской фабрике матери протягивали мне грязных детей, покрытых коростой, пиодермией и диатезом. Закрытые распределители для привилегированных и надежных. Партмаксимум — но закрытые распределители.

Заградительные отряды вокруг Москвы, которые не пропускали, отбрасывали назад поток голодающих с Украины. 21-й год — это был голод в Поволжье, 33-й был голодом Украины. Но одиночные голодающие проникали в Москву в своих коричневых домотканых рубахах и брюках — протягивали руки, просили. Ну что могла дать Москва? Талоны на хлеб, на керосин.

Директор шахты подмосковного угольного бассейна распорядился кормить в горняцких столовых, только если руки и одежда запачканы углем, угольной пылью. За углом два беженца спешно превращались в негров, в шахтеров, чтобы проскочить контроль — человека с пистолетом.

Шесть условий товарища Сталина[20], «Догнать и перегнать», «Время, вперед» — одни из самых бессовестных [лозунгов] тех лет. Беломорканал, канал Москва — Волга, коллективизация, аресты в деревне. Все это описано трижды и четырежды, как все это отражалось в семье русского интеллигента.

Все оказалось не так хорошо и не так просто. После свиданий с некоторыми из моих друзей и очевидной размолвки я стал искать пути в одиночку. Я вновь вернулся, как в университетское время, к постоянному чтению в библиотеках. Квартиру быстро снял вместе с журналистом Шуйским в Коробейниковом переулке на Остоженке. Хозяин квартиры слесарь Анисимов сдавал одну из комнат. Семья была большая, три дочери, хозяева пили — [картина] знакомая, — и пили частенько, пили и пели. Все это тоже, в общем, было терпимо, переносимо. Не каждый день они пили. Но явилось очень интересное обстоятельство.

Хозяин любил рассказывать о своем участии в революционной деятельности, в революционном движении. Последняя его работа — должность в Музее революции.

— Выхожу я, беру с собой пистолет. Валька уже отворачивает ломом щеколду. И — экс! А они теперь в музее не хотят утвердить мой стаж политкаторжанина, хотя я был на каторге, на Колесухе. Экс, говорят, не революция. Сейчас собираю свидетелей. Угощаю тут старичков полезных. Ты не думай, меня все знают, меня и Ленин знает. Я был у него, докладывал о всех годах. Правильно, Ленин говорит, правильно действуешь, товарищ Анисимов. Подходит и целует меня в макушку. Не веришь? А то меня еще Троцкий целовал. Тот — в руку. Рассказать?

Вот такого рода был наш хозяин. Уголовник, освобожденный революцией, который все никак не мог пробраться в политкаторжане.

К этому времени я прописался на Садово-Кудринской, где жил и раньше, до путешествия на Вишеру. Прописывали тогда по профсоюзному билету, по любому удостоверению личности. И в комнате этой жили когда-то моя сестра и я, и бывший муж сестры, с которым она развелась и уехала в Сухум. Узнав, что я живу в этой комнате, бывший муж сестры, на чье имя была эта комната, сам он жил где-то за городом и в Москве не бывал месяцами, сейчас же выписал меня, не сообщая ни мне, ни сестре.

Тех нескольких дней прописки оказалось достаточно, чтобы я получил вызов в центральный уголовный розыск. Я взял все документы — профбилет, удостоверение с места работы, прописку, справку из лагеря об освобождении, военный билет — и явился на Петровку.

Проверка была недолгой, возвратив документы, товарищ Ерофеев подписал мне пропуск на выход.

— А в чем дело?

...Да ни в чем, просто проверяем всех, кто раньше сидел.

После смерти отца в 1933 году я женился, в 1935 году у меня родилась дочь, а 12 января 1937 года я был арестован, осужден особым совещанием при наркоме НКВД товарище Ежове на пять лет трудовых лагерей с отбыванием срока на Колыме. И отправился на Колыму.

В непрерывной работе над рассказами мне казалось, что у меня что-то стало получаться. Несколько рассказов Бабеля — писателя наиболее модного в те времена — я переписывал и вычеркивал все «пожары, как воскресенья» и «девушек, похожих на ботфорты...» и прочие красоты. Из рассказов немного оставалось. Все дело было в этом украшении, не больше. Говорят, что Бабель — это испуг интеллигенции перед грубой силой — бандитизмом, армией. Бабель был любимцем снобов. Истинное открытие того времени, истинный массовый успех имел Зощенко и вовсе не потому, что это фельетонист-сатирик. Зощенко[21] имел успех потому, что это не свидетель, а судья, судья времени. Свидетелей и без Зощенко было немало. Пантелеймон Романов, например. Зощенко был создателем новой формы, совершенно нового мышления в литературе (тот же подвиг, что и Пикассо, снявшего трехмерную перспективу), показавшим новые возможности слова. Зощенко трудно переводить. Его рассказы не переводимы, как стихи. В русской литературе того времени это фигура особого значения.

Я работал в московских журналах[22]. За годы с 32-го по 37-й в Москве и Московской области нет ни одной фабрики, ни одного рабочего общежития, ни одной рабочей столовой, где бы я ни был и не один раз. И хотя свою литературную биографию я числю с лефовских кружков 1928 года, первый рассказ[23] мой напечатал Панферов в «Октябре» 1936 года.

В какой-то из автобиографических вещей Бунина есть признание о первом рассказе. «Я почувствовал, — пишет Бунин, — что теперь я должен вести себя как-то по-другому, по-особому...»

У меня такого чувства не было никогда. Ничего на душе не изменилось после напечатания. Более того: всякую свою вещь напечатанную не люблю и не читаю. Иногда читаю, как чужую, и вижу большие недостатки. Тут дело не в правке, ничего править не надо. Рассказы мои совершенны. Потеря в другом — самая мысль недостаточно многосторонняя, недостаточно символична, что ли. Может быть, получен в прозе тот чистый тон, о котором говорит Гоген в «Ноа-Ноа»? Может.

О КОЛЫМЕ

Предисловие автора

Много, слишком много сомнений испытываю я. Это не только знакомый всем мемуаристам, всем писателям, большим и малым, вопрос. Нужна ли будет кому-либо эта скорбная повесть? Повесть не о духе победившем, но о духе растоптанном. Не утверждение жизни и веры в самом несчастье, подобно «Запискам из Мертвого дома», но безнадежность и распад. Кому она нужна будет как пример, кого она может воспитать, удержать от плохого и кого научить хорошему? Будет ли она утверждением добра, все же добра — ибо в этической ценности вижу я единственный подлинный критерий искусства..

И почему я? Я не Амундсен[24], не Пири[25]. Мой опыт разделен миллионами людей. Не подлежит сомнению, что среди этих миллионов есть те, чей глаз зорче, и страсть сильнее, и память лучше, и талант богаче. Они пишут о том же самом и, бесспорно, расскажут ярче, чем я.

КТО ЗНАЕТ МАЛО — ЗНАЕТ МНОГО.

Есть и другие, более «тонкие» сомнения. В литературе считается бесспорным, что писатель может хорошо написать лишь о том, что он знает хорошо и глубоко; чем лучше он знает «материал», чем глубже его личный опыт в этом плане, тем серьезней и значительней то, что выходит из-под его пера.

С этим нельзя согласиться. В действительности дело обстоит иначе. Писателю нужен опыт небольшой и неглубокий, достаточный для правдоподобия, опыт такой, который не мог бы оказать решающего действия в его оценках, и эмоциональных, и логических, в его отборе, в самом строе его художественного мышления. Писатель не должен хорошо знать материал, ибо материал раздавит его. Писатель есть соглядатай читательского мира, он должен быть плоть от плоти тех читателей, для которых он пишет или будет писать.

Зная чужой мир слишком хорошо и коротко, писатель проникается его оценками, и его пером начинают водить, утверждая важность, безразличие или пустяковость, — оценки чужого мира. Читатель потеряет писателя (и наоборот). Они не поймут друг друга.

В каком-то смысле писатель должен быть иностранцем в том мире, о котором пишет он. Только в этом случае он может отнестись к материалу критически, [бу-

дет] свободен в своих оценках. Когда опыт неглубок, писатель, предавая увиденное и услышанное на суд читателя, может справедливо распределить масштабы. Но как рассказать о том, о чем рассказывать нельзя? Нельзя подобрать слова. Может быть, проще было умереть.

Нельзя рассказать хорошо о том, что знаешь близко.

Тютчевское соображение о том, что мысль изреченная есть ложь, так же смущает меня. Человек говорящий (мысль изреченная) не может не лгать, не приукрашивать. Способность вывертывать душу наизнанку редчайша, а Достоевскому подражать нельзя. Все, что на бумаге, — все выдумано в какой-то мере.

Удержать крохи искренности, как бы они ни были неприглядны. Бороться с художественной правдой во имя правды жизни — эта задача еще не так трудна. Трудно другое, что сама правда жизни преходяще изменчива. Она — однодневка, она не та, что была вчера, и не та, что будет завтра. Чувство — единственное, в чем не лжет художник. Если ему удается донести это чувство до читателя любым способом, — он прав, он выиграл свое сражение. Но как! Можно ли донести чувство это, пользуясь языком не тем, который сопровождал художника в его скитаниях, а языком другим — пускай несравненно более богатым, но — другим?

Память

Несовершенство инструмента, называемого памятью, также тревожит меня. Много мелочей характернейших неизбежно забыто — писать приходится через 20 лет. Утрачено почти бесследно слишком многое — и в пейзаже, и в интерьере, и, самое главное, в последовательности ощущений. Самый тон изложения не может быть таким, каким должен быть. Человек лучше запоминает хорошее, доброе и легче забывает злое. Воспоминания злые — гнетут, и искусство жить, если таковое имеется, — по существу есть искусство забывать.

Я не вел никаких записок, не мог их вести. Задача была только одна — выжить. Плохое питание вело к плохому снабжению клеток мозга — и память неизбежно слабела по чисто физическим причинам. Она, конечно, не вспомнит всего. Притом ведь воспоминание есть

попытка переживания прежнего, и всякий лишний месяц, лишний год неизбежно ослабляют впечатление, ощущение и меняют его оценку.

Много раз со всей убедительностью приходило мне в голову, что интеллектуальное расстояние от так называемого «простого человека» до Канта, что ли, во много раз больше такого же расстояния от «простого человека» до его рабочей лошади.

Гамсун в «Соках земли»[26] оставил нам гениальную попытку показать психологию простого крестьянина, живущего далеко от культуры, — его интересы; его поступки и мотивы их. Других подобных книг в мировой литературе я не знаю. Во всем остальном писатели с удручающей настойчивостью начиняют своих героев психологией, далекой от действительности, гораздо более усложненной. В человеке гораздо больше животного, чем кажется нам. Он много примитивнее, чем нам кажется. И даже в тех случаях, когда он образован, он использует это оружие для защиты своих примитивных чувств. В обстановке же, когда тысячелетняя цивилизация слетает, как шелуха, и звериное биологическое начало выступает в полном обнажении, остатки культуры используются для реальной и грубой борьбы за жизнь в ее непосредственной, примитивной форме.

Как рассказать об этом? Как заставить понять, что мышление, чувства, действия человека просты и грубы, что его психология чрезвычайно проста, что его словарь сужен, а чувства его притуплены? Рассказывать об этой жизни нельзя от первого лица. Ибо это будет рассказ, который никого не заинтересует, — настолько беден и ограничен будет душевный мир героя.

Как показать, что духовная смерть наступает раньше физической смерти? И как показать процесс распада физического наряду с распадом духовным? Как показать, что духовная сила не может быть поддержкой, не может задержать распад физический?

Когда-то в камере Бутырской тюрьмы я спорил с Ароном Коганом, талантливым доцентом Воздушной академии. Мысль Когана была та, что интеллигенция как общественная группа значительно слабей, чем любой класс. Но в лице своих представителей она в гораздо большей степени способна на героизм, чем любой рабочий или любой капиталист. Это была светлая, но неверная мысль. Это было быстро доказано применением пресловутого «метода № 3» на допросах. Разговор с

Коганом был в начале 1937 г., бить на следствии начали во второй половине 1937 г., когда побои следователя быстро вышибали интеллигентский героизм. Это было доказано и моими наблюдениями в течение многих лет над несчастными людьми. Духовное преимущество обратилось в свою противоположность, сила обратилась в слабость и стала источником дополнительных нравственных страданий — для тех немногих, впрочем, интеллигентов, которые не оказались способными расстаться с цивилизацией, как с неловкой, стесняющей их движения одеждой. Крестьянский быт гораздо меньше отличался от быта лагеря, чем быт интеллигента, и физические страдания переносились поэтому легче и не были добавочным нравственным угнетением.

Интеллигент не мог обдумать лагерь заранее, не мог его осмыслить теоретически. Весь личный опыт интеллигента — это сугубый эмпиризм в каждом отдельном случае. Как рассказать об этих судьбах? Их тысячи, десятки тысяч...

Как вывести закон распада? Закон сопротивления распаду? Как рассказать о том, что только религиозники были сравнительно стойкой группой? Что партийцы и люди интеллигентных профессий разлагались раньше других? В чем был закон? В физической ли крепости? В присутствии ли какой-либо идеи? Кто гибнет раньше? Виноватые или невиноватые? Почему в глазах простого народа интеллигенты лагерей не были мучениками идеи? О том, что человек человеку — волк и когда это бывает. У какой последней черты теряется человеческое? Как о всем этом рассказать?

Язык

На каком языке говорить с читателем? Если стремиться к подлинности, к правде — язык будет беден, скуден. Метафоричность, усложненность речи возникает на какой-то ступени развития и исчезает, когда эту ступень перешагнут в обратной дороге. Начальство, уголовников, соседей — буквально всех — раздражает витиеватость интеллигентской речи. И незаметно для самого себя интеллигент теряет все «ненужное» в своем языке... Весь мой дальнейший рассказ и с этой стороны неизбежно обречен на лживость, на неправду. Никогда я не задумался ни одной длительной мыслью. Попытки это сде-

лать причиняли прямо физическую боль. Ни разу я в эти годы не восхитился пейзажем — если что-либо запомнилось, то запомнилось позднее. Ни разу я не нашел в себе силы для энергичного возмущения. Я думал обо всем покорно, тупо. Эта нравственная и духовная тупость имела одну хорошую сторону — я не боялся смерти и спокойно думал о ней. Больше, чем мысль о смерти, меня занимала мысль об обеде, о холоде, о тяжести работы — словом, мысль о жизни. Да и мысль ли это была? Это было какое-то инстинктивное, примитивное мышление. Как вернуть себя в это состояние и каким языком об этом рассказать? Обогащение языка — это обеднение рассказа в смысле фактичности, правдивости.

Я вынужден писать тем языком, которым я пишу сейчас, и, конечно же, у него очень мало общего с языком, достаточным для передачи тех примитивных чувств и мыслей, которыми я жил в те годы. Я буду стараться дать последовательность ощущений — и только в этом вижу возможность сохранить правдивость изложения. Все же остальное — мысли, слова, пейзажные описания, выписки из книг, рассуждения, бытовые картинки — не будет правдивым в достаточной степени. Но мне все же хотелось бы, чтобы правда эта была правдой того самого дня, правдой двадцатилетней давности, а не правдой моего сегодняшнего мироощущения.

[Арест]

12 января 1937 года я [был] арестован[27] и поначалу допрашивался каким-то стажером по фамилии не то Романов, не то Лиманов, молодым краснощеким стажером, красневшим от каждого своего вопроса, — вазомоторная штука — игра сосудов, вроде как у Гродзенского[28], красневшего до корней волос, а то и до пяток.

— Значит, вы можете написать, что в 29-м году разделяли эти взгляды, а теперь не разделяете?

— Да, так.

— И можете подписать?

— Конечно.

Вазомоторный следователь выходил куда-то, показывал кому-то что-то, а к вечеру меня переводят на Лубянку, 14, в Московскую комендатуру, где я уже бывал восемь лет назад и знал все порядки и перспективы Лубянки, 14 — это «собачник», сборный приемник, оттуда

ход или на волю, и так бывало, или на Лубянку, 2 — это значит, что ты государственный преступник, опытный враг высшего ранга, близко стоящий к высшей мере, либо в Бутырскую следственную тюрьму, где ты, признанный врагом народа, подлежишь все-таки изоляции в минусе или плюсе[29].

Поэтому Бутырки — это жизнь, но не свобода. На волю из Бутырок не выходят. И не из-за престижа государства («ГПУ не арестовывает зря»), а просто из-за бюрократического вращения этого смертного колеса, которому не хотят, не умеют, не могут, не имеют права придать другой темп вращения, изменить его ход. Бутырки — государственное колесо.

Следователь Ботвин, который вел мое дело и довел до благополучного конца — не до трибунала, конечно, но трибуналом он мне грозил не однажды, а до самого мелкого шрифта многомиллионной литерки — КРТД[30]. Впрочем, трибунал был в самой букве Т. В самом слове «трибунал» была эта смертная буква, но вряд ли следователь Ботвин мог определить истинный удельный вес, который занимала в советском алфавите эта тайная темная буква, достойная всяких магических кругов, достойная теургического толкования. Следователь Ботвин был ленивым человеком моих лет и дело мое готовил не спеша. В моем присутствии прерывал допрос и к моему же делу подшивал какие-то бумажки. Жилищный кризис, недостаток кабинетов для работы обострял все действия ЧК. Ботвин получал кабинет для работы со мной на какой-то определенный срок, а потом его выгоняли оттуда, как «последнюю падлу».

— Вылетишь отсюда, как последняя падла, если хоть час пробудешь, — услышал я в коридоре голос какой-то высшей персоны.

Ботвин был чином невелик, и поэтому, неизбежно циник и лентяй, он экономил время тем, что работал в моем присутствии. Все справки, поступавшие по моему делу, были навалены около его же стола. Ноги наши соприкасались во время допроса, так тесны были тогдашние кабинеты еще времен Дзержинского. Прочесть [можно] своими глазами любую строку из того, что перед тобой раскладывают не спеша и не желая спешить. Я тогда с удовольствием просмотрел, перечел через стол свое собственное дело 1929 года. Арест, допросы, папку с показаниями свидетелей в начале и конце следствия и, наконец, последний листок в моем тогдашнем

деле — отказ расписаться в получении приговора: трех лет лагерей и пяти лет ссылки. [Метка, сделанная] равнодушной рукой дежурного коменданта. А кто был тогда дежурным комендантом по МОКу, по мужскому одиночному корпусу? Комендантом тюрьмы был Адамсон, но дежурил кто? Нет, это было не в МОКе, а в этапном корпусе, где я объявил голодовку. Какая причина? — не желаю сидеть с контрреволюцией, требую отправки к оппозиционерам.

— Вы у нас не как следственный, вы у нас как приговоренный, — равнодушно сказал мне дежурный комендант, — и действительно [показал] выписку-основание, на этой бумажке и была драгоценная метка чьим-то почерком, моя метка: «Расписаться отказался».

Ботвин тоже перечитывал и даже не спеша перечитывал дело, перечел и другую грозную метку: «Дело сдать в архив». Эта формула значила вечное хранение.

Я все это и так знал. А Ботвина интересовало что-то другое. Просто его интересовало, как бы половчей оформить это дело, в котором открываются безграничные по тому времени возможности. Ботвин приходил всегда с какого-то доклада, держа в руках целую стопу документов. Наряду с цинизмом и ленью у него обнаружилось и надлежащее служебное рвение, желание не проворонить чего-то, не оступиться на славном пути. Выжать из техники максимум того, что она может дать.

— Он руки к партии протягивает, — воскликнул Ботвин...

— Кто?

— Вы.

Кто-то из высших ставил на документе точки, тире...

Вдруг он изменил и план, и ход допроса. После получения моего старого дела были передопрошены все свидетели по моему делу — уже с замахом не на ссылку, а на трибунал. Свидетелей по делу у меня было очень мало, тот минимум, который сегодня лучше максимума. Все сослуживцы — Гусятинский, Шумский — полностью передопрошены.

Гусятинский приволок массу новых фактов — ездил в Киев, где похвалил Ефимова — директора Киевского индустриального института, а обругал честных ленинцев. Это все ему казалось подозрительным, и он сообщает официально, кто меня в редакцию рекомендовал.

Ничем не изменились показания Шумского — против первого его допроса. Шумский оказался вовсе не трусом.

Наиболее серьезно были изменены показания моей жены, но суть их я знаю лишь в пересказе Ботвина: «Вот и жена на вас показывает, что вы были активным оппозиционером, только скрывались, замаскировались, как же, вот». Но показаний таких не нашлось.

Я угодил под литерку.

Через 14 лет, еще до реабилитации, я спросил [жену][31]:

— Что тебе [писали] в твоих собственных показаниях? Что ты могла сказать лишнего в таком году, как 37-й год?

— Мои показания вот какие: я, конечно, не могу сказать, чем ты занимался в мое отсутствие, но в моем присутствии ты никакой троцкистской деятельностью не занимался.

— Вот и отлично.

— Будешь раз в месяц встречаться с Пастернаком, сюда будешь приезжать, ну, скажем, раз в неделю.

— Пастернаку, — сказал я, — больше нужен я, чем он мне. Пастернак дал мне, что мог, в своих ранних стихах, стихах «Сестры моей жизни». У Пастернака тоже нет никакого долга передо мной.

— Дай мне слово, что оставишь Леночку в покое, не будешь разрушать ее идеалы. Она воспитана мною лично, подчеркиваю это слово, в казенных традициях, и никакого другого пути я для нее не хочу Мое ожидание тебя в течение 14 лет дает мне право на эту просьбу.

— Еще бы — такое обязательство я дам и выполню его. Что еще?

— Но не это главное, самое главное — тебе надо забыть все.

— Что все?

...Ну, вернуться к нормальной жизни....

Дорога в ад

Пароход «Кулу» закончил свой пятый рейс в бухте Нагаево 14 августа 1937 года. «Врагов народа» — целый эшелон москвичей — везли сорок пять суток. Теплая тишина летних ночей, глупая радость тех, кого везли в теплушках по тридцать шесть человек. Обжигая тюремную бледную кожу горячим ветром из всех вагонных щелей, люди были счастливы по-детски. Кончилось

следствие. Теперь их положение определилось, теперь они едут на золотую Колыму, в дальние лагеря, где, по слухам, сказочное житье. Два человека в вагоне не улыбались — я (я знал, что такое дальний лагерь) и силезский коммунист, немец Вебер — колымский заключенный, которого привозили для каких-то показаний в Москву. Когда затих очередной взрыв смеха, нервного арестантского смеха, Вебер кивнул мне своей черной бородой и сказал: «Это дети. Они не знают, что их везут на физическое уничтожение».

Помню еще Омск с замечательной баней — военным санпропускником, где мы, вымытые, в мокрой после дезинфекции одежде, пахнущей лизолом, лежали на каком-то дворе и смотрели на теплое осеннее солнце, окруженное маленькими серыми облачками. Листья деревьев были багровыми. К нам подошел старший лейтенант НКВД, жирный, бритый, прицепил большие пальцы своих рук за кожаный ремень, который едва стягивал огромный живот. Это был «представитель» НКВД, сопровождавший эшелон. Жалобы? Нет, мы не жаловались, да не для того, чтобы услышать жалобы, лейтенант подходил к этапу. Морда его, заплывшая жиром, и бледные костлявые фигуры, провалившиеся глаза заключенных запомнились мне хорошо.

— Ну вот вы, например, — толкнул он лакированным сапогом моего соседа, — что делали на воле?

— Я доцент математики в высшем учебном заведении.

— Ну вот, господа доценты, вряд ли придется вам вернуться к вашей профессии. Другим трудом придется заняться, более полезным...

Все молчали. Лейтенант продолжал развивать свою мысль:

— Конечно, я не могу советовать правительству, партии, но если бы меня спросили — что с вами делать, я дал бы совет: надо всех завезти на какой-нибудь северный остров — ну, скажем, остров Врангеля — и оставить там, прекратить сообщение с островом. Вся задача была бы вмиг решена. А вас везут на золото, хотят, чтобы вы поработали в забоях. Поработаете вы, доценты...

— А ты почему здесь? — Лейтенант обратил взор к Володьке Иванову, рыжему, покрытому уголовной татуировкой с ног до головы. Сочувствие было явно слышно в голосе старшего лейтенанта.

— Я воспитатель Болшевской колонии. По пятьдесят восьмой. По литеру.

— А-а-а...

И лейтенант проследовал дальше.

Помню трюм парохода, где к нашей компании присоединился некто Хренов — одутловатый, медленный. Вещей Хренов не вез на Колыму. Зато вез томик стихов Маяковского с дарственной надписью автора. И всем желающим находил страницу и показывал «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое», и читал:

Я знаю — город будет
Я знаю — саду цвесть.
Когда такие люди
В стране советской есть!

Хренов был тяжелейший сердечник. Но на Колыму загоняли и безногих, и семидесятилетних, и больных в последней стадии туберкулеза. «Врагам народа» не было пощады. Тяжелая болезнь спасла Хренова. Он прожил как инвалид до конца срока, освободился и умер на Колыме уже вольнонаемным — один из немногих «счастливцев».

Ибо не знаю, что такое счастье — уцелеть после великих мук или умереть раньше страданий.

Хорошо помню, как кончился пятый рейс «Кулу».

В бухту Нагаево пароход прибыл ночью, и выгрузку отложили до утра. А утром я вышел на палубу, взглянул, и сердце занялось от великой тревоги.

Шел мелкий холодный дождь. На берегу лысые порыжелые сопки, опоясанные темно-серыми тучами. Бараки, огороженные колючей проволокой. Уходящая вдаль и вверх узкая дорога, и неисчислимые сопки...

Три дня на пересылке, в брезентовых палатках, мокрые от беспрерывного дождя. Работа — прокладка дороги в бухту Веселая. Погрузка на машины, шоссе вертится среди гор, поднимаясь все вверх, с каждым поворотом становится все холоднее, воздух становится все суше, и вот числа двадцатого августа нас привозят и сгружают на прииске «Партизан» Северного горного управления.

Почему же я помню, что рейс парохода «Кулу» в навигацию 1937 года был именно пятый?

А потому, что в течение пятнадцати лет мне приходилось вспоминать это на бесконечных переписях, которые назывались там «генеральными поверками». Пото-

му что при переводе с места на место, с одного лагерного пункта на другой, всякий раз приходилось подвергаться одинаковому опросу.

Заключенного в лагере каждый божий день заставляют ответить на несколько вопросов.

Фамилия?

Имя, отчество?

Статья?

Срок?

Когда прибыл на Колыму?

Каким пароходом?

Каким рейсом?

Последние три вопроса задаются на поверках. А первые — каждый день по нескольку раз.

Человек не любит вспоминать плохое. Вспоминается чаще хорошее. Это — один из мудрых законов жизни, элемент приспособления, что ли, сглаживания острых углов. «Если бы каждого встречали по заслугам — кто бы избавился от пощечины». Эти слова Гамлета — не шутка, не острота. Если бы человек не был в силах забывать — кто бы мог жить. Искусство жить — это искусство забывать.

Вот почему никакая дружба не заводится в очень тяжелых условиях. И очень тяжелые условия вспоминать никто не хочет. Дружба заводится в положениях «средней тяжести», когда мяса на костях человека еще достаточно. А последнее мясо кормит только два чувства: злобу или равнодушие.

Все, о чем я буду рассказывать, неизбежно будет сглажено, смягчено.

Время только искажает истинные масштабы события.

В Москве уже убивали: Тухачевского, Якира, Дзидзиевского[32], Шмидта. Ежов выступал уже на сессии ЦИКа с угрожающим докладом о том, что в трудовых лагерях «ослабла дисциплина», в газетных статьях все чаще попадались фразы о «физическом уничтожении врага», «о необходимости ликвидации троцкистов», а золотой прииск, куда мы приехали, еще жил прежней «счастливой» жизнью.

Прибывшим было выдано новое зимнее обмундирование. В сапожной мастерской стояла бочка рыбьего жира — откуда и черпали смазку. Прибывшим дали трехдневный отдых, знакомили с «производством» — забой, лопата, кайло, откаточный трап и тачка.

«Машина ОСО —
Две ручки, одно колесо».

Медпункт пустовал. Новички даже не интересовались сим учреждением.

Работа — открыть разрез, взрывы, ручная откатка в бункер, откуда увозят конные грабарки на бутару — промывочный прибор.

Тяжелая работа, зато можно заработать много — до десяти тысяч рублей в летний, сезонный месяц. Зимой поменьше. В большие холода — свыше 50 — не работают. Летом работают десять часов с пересменкой раз в десять дней. Отдых «копится» и «выдается» авансом — 1-го мая и «под расчет» — 7-го ноября. В декабре работают шесть, в январе четыре, в феврале шесть, в марте семь, в апреле восемь, в мае и все лето — десять [часов].

— Будете хорошо работать, сможете посылать домой, — говорили новичкам «смотрители» во время экскурсии.

Пайков было три вида — стахановский, ударный и производственный. На стахановский давали кило хлеба, хороший приварок. При выполнении 110% нормы давался ударный паек, за 100% и ниже — производственный — восемьсот граммов хлеба, меньшее количество блюд.

Медицинский осмотр разделил всех на четыре категории.

Четвертая — здоровые.

Третья — не вполне здоровые, но те, которые могут работать на любой физической работе.

Вторая — лфт <легкий физический труд>.

Первая — инвалиды.

Заключенный, имеющий вторую группу, имел право на скидку в 30%. Поэтому появились «стахановцы болезни», которые работали на подсобных работах и получали скидку при определении пайка.

Самой невыгодной была третья группа — обычно группа людей интеллигентного труда.

Таковы были Берзинские порядки, которые еще существовали, когда наш этап прибыл на «Партизан»[33].

Уже в Москве судьба Берзина была решена. Уже готовились и размножались приказы о новом вине, вливавшемся в старые мехи.

Уже готовилась инструкция, чем заменить старые мехи.

Все это везли на Колыму фельдъегеря вслед за нами.

Дисциплина была такая, что волос у заключенного не упадет, если не прикажет Москва. Москва все знает и решает судьбу каждого из миллионов заключенных.

Решение в центре принято и идет «по инстанции» вниз, на периферию.

Что здесь действует — цепная реакция или закон трения? Ни то, ни другое. Все боятся, все выполняют приказы сверху. Все стараются их исполнить. И об исполнении донести.

Конечно, жизнь и смерть тут более реальные. Щупленький журналист пишет в Москве громовую статью о ликвидации врагов, а на Колыме блатарь берет лом и убивает старика-«троцкиста». И считается «другом народа».

Посреди прииска стояла палатка, которую всякому новичку показывали с особенным уважением. Здесь жили 75 заключенных «троцкистов», отказавшихся от работы. В августе они получали производственный паек. В ноябре они были расстреляны.

Бесстрашие

В январе тридцать восьмого года бригаду нашу на «Партизане» перевели-таки из палатки в барак. Разница была невелика. Рядом с палаткой плотниками был собран каркас из лиственницы с просветом бревна метра по три или четыре, вставленные в паз столбов, столбы сверху и внизу входили в большую раму, собранную из бревен потолще и подлинней, чем бревна стенок. Но тоже обе рамы были соединены, связаны — ибо на Колыме, да еще в лесотундре длинных деревьев нет. Самые длинные лиственные бревна метров до пятнадцати — берегут для столбов высоковольтных линий — редки, как и барсы, и на стены барака не идут. Каждое бревно каждого ряда такой барачной стены сажалось на мох, обильно растущий в бесконечных колымских болотах. Мох пурпурного или ярко-зеленого цвета метров до трех толщиной есть на Колыме повсеместно. Слой мха уменьшается и теряет свой цвет, превращается в бурый, черный, серый, <коренившийся> лишь на гольцах, на плоскогорьях, на открытых площадях сопок.

Вот этот мох, который, разумеется, каждая бригада приносила для себя, а никакой общей заготовки мха на

Колыме не ведется — все это бухгалтерские фокусы лагерного социализма. Заготовки мха проведут по другому наряду, по другому счету, а то и оплатят дневального начальника.

На паклю сажали бревна только в Магадане, в жилище начальника УСВИТЛ или директора Дальстроя. Там паклю привозили с большой земли.

Пушистый мох быстро сох, крошился, превращался в пыль. Между бревнами образовывались щели, но щели эти были для русских людей. Каждый свою щель по мысли московского, не магаданского, начальства должен был законопатить или хоть заткнуть собственными пальцами. Всякий барак внутри был весь в пятнах.

Этот каркас ставился прямо на землю, на камень, не мудрствуя лукаво ни в смысле горизонтальности, ни вертикальности — отвесов и ватерпасов тут применяли мало. Врывать же нижние рамы в землю никогда не врывали из-за сюрпризов вечной мерзлоты. В бараке настилали пол из плавника, тоже волнообразный, мало похожий на пол. Потолка же и вовсе не было. Потолком была крыша той же брезентовой палатки. Брезентовую палатку, ту самую, в которой мы жили летом, натягивали на этот каркас, поднятый рядом с палаткой, — и зимний барак был готов.

Посреди барака стояла печка — единственная печка барака. Печка — бочка. На Колыме все печи — такие печки жрут много дров, но зато и разжигать ее нетрудно, и барак <она> разогревала бы скоро, не будь щелей.

Дверью барака служили просто доски, сбитые покрепче и косо прибитые к резиновым шарнирам — кускам автомобильной шины. И <скобка> и внутри на двери была ручкой, похожей на ручку двери в московском ресторане, длиной, чтоб можно было ухватить обеими руками и отодрать замерзшую дверь. Такой барак не согревался, если бы в нем сжигали хоть сто кубометров дров. Но на дрова тоже была самая строгая норма. А самое главное — каждая бригада должна была носить дрова «на себе» — т. е. идти за два-три километра в горы, в распадки и выбрать там палку — по силам и тащить в лагерь. Все это проделывали после работы в забое. С каждым днем штабели дров были все дальше, все выше в горах, все тяжелей было добираться и туда, и оттуда. Бригадиры и конвой следили, чтобы, упаси боже, ты не взял слишком легкую «палку» — заставляли заменять на более тяжелую.

В бараке, в дверях зоны бригаду принимал надзиратель и лагстароста — оба следили, чтобы «палки» были у всех, чтобы не были маленькими, легкими и мелкими.

Всякий раз в этот же вечерний, уже ночной час выяснялось, что часть дров нужно отнести в отряд охраны. Часть отбирали на вахте для дежурных, и только самое малое — тощее, короткое, <дровша> — попадало в печку бригады. В любых конфликтах всю бригаду задерживал конвой перед вахтой на шестидесятиградусном морозе. Вот эта дровяная повинность (там носили дрова в баню, в прачечную, на вольный поселок — всюду) — одна из самых тяжелых моих воспоминаний. Дрова носила зимой вся бригада, и стахановцы, и доходяги. До сих <пор> я чувствую тяжесть какой-нибудь палки, взятой с «комельком» — длинное бревно заставляли тащить по двое.

Я большого роста, а это все время моего заключения было для меня источником всяческих арестантских мук. Мне не хватало пайки, я слабел раньше всех, и раньше других увидел, что физический труд — это проклятие человека. А арестантский, принудительный есть еще и бесконечное, ежедневное унижение. Это я знал, впрочем, и по первому своему Вишерскому сроку. Бесконечность унижения тяжелой работой, побоями. Когда блатари вместе с начальством выбивают у бригады план в золотом забое — все это наблюдалось мной с первых же месяцев 1938 года.

Во мне с чрезвычайной силой жил бесконечный дух сопротивления, беспокойного протеста против всех наших бед, наших унижений. Этот протест, эту борьбу на Колыме не ведут коллективно. Я никого не призывал последовать моему примеру.

Но еще с «Партизана» с первого <обмера>, с первого <задела> всего этого — не работал до «выполнения нормы» — решил: я работать для такого государства не буду. Государство, которое продержало меня невиновного в тюрьме, завезло за Полярный круг и убивает голодом, холодом, битьем, раба из меня не сделает. Клейменый, да не раб. Норма была непосильна, это было ясно не только мне, но моим товарищам, но всем моим начальникам — бригадирам, десятникам, конвоирам, начальнику прииска, наркому внутренних дел, моему следователю в Москве, наконец. Все знали, на что обрекают меня.

Пусть меня убивают, работы от меня они не дождутся.

Я — не первый и не последний. Открытие мое каторжное вроде не так уже велико. Но на Колыме оно дало мне духовную силу, дало силу жить.

Худшим преступлением на Колыме я считаю бригадирскую начальническую работу. Заставлять других работать, заставлять работать обреченных на смерть.

Этого мнения я держался в августе 1937 года и в мае 1959 года и никогда этого мнения не менял.

Отказывать от работы прямо и публично — к чему призывают, тоже прямо, публично все начальство всей Колымы: «не хочешь работать, откажись». Этот визг до сих <пор> стоит у меня в ушах.

За любой отказ от работы в 1938 году, да и не только тогда, расстреливали. На работу надо выйти. Худшее преступление арестанта по кодексу Сталина — отказ от работы. Государственное преступление, поэтому отказываться от работы еще в бараке — нельзя. На работу надо выходить.

В 1938 году на «Партизане» ни один начальник не хотел рисковать со «слабосилкой». Все, у кого был врачебный и санакт, были стахановцами — так говорит <арифметика>, родившая теорию «стахановцы болезни». Также на нашем прииске был, например, Хренов — бывший начальник Кузнецкстроя — о нем образный стишок Маяковского насчет сада, который будет цвесть, или города-сада.

Стахановец болезни использовался на легких работах, и его не выгоняли под палки, под приклады конвоя в забой. Но начальство не хотело рисковать — не выполнил норму — плохо работал — РУР: его в роту усиленного режима, или в БУР — как стали называть РУР с некоторого времени — показывается московскому начальству, что рота звучит антисоветски, напоминает об арестантской роте, поэтому РУРы были переименованы на всех приисках в БУРы — в бараки усиленного режима.

В РУР на «Партизане» начальник оформлял очень быстро — прямо с работы конвоир уводил и запирал в огромный барак-изолятор под конвой, под часовыми. И там побывало много людей. Их пребывание в РУРе как-то оформлялось, записывалось в книге коменданта РУРа, да и в личных делах арестантов должен был оставлен след. Но следы в личном деле — это не побои на шестидесятиградусном морозе, не <сосущий> голод.

В РУРе тоже кормили — обычным лагерным обедом, что для человека, живущего только на лагерной пайке, было еще выгоднее, чем есть в лагерной столовой, обкрадываемой ворами, бригадирами, надзирателями и конвоирами.

Паек в РУРе для нашего брата был получше, чем в лагере.

Работал РУР на заготовке дров, на копке траншей — но без плана, без золотой нормы — стало быть, и режим трудовой был помягче.

Я много раз сидел в РУРе. Как только кончу срок и доберусь до забоя — сейчас быстро <реестры> по работам — Арма или Брежникова, Анисимова — опять в РУР.

И вот в этом, партизанском РУРе — в январе или феврале 1938 года открыл я в себе одно качество...

Человек не знает себя. Возможности человека к добру и злу имеют бесконечное количество ступеней. Преступления <нацистов> <могут> превзойти — всегда находится что-то новое, еще более страшное.

Дно человеческой души не имеет дна, всегда случается что-то еще страшнее, еще подлее, чем ты знал, видел и понял.

Наверно, и способность человека к добру тоже имеет бесконечное количество ступеней — суть только в том, что человек не бывает поставлен в условия наивысшего добра. Наивысшего испытания на добро. В человеческой душе нет абсолютного холода — разве только у блатных — и нет температуры солнца. На земле эта температура сожгла бы человеческую душу нещадно, как и абсолютный холод. Но не только добро и зло. Любое человеческое свойство имеет бесконечное число решений — и что положительно, а что отрицательно, сказать заранее нельзя. Путь человека — это открытие самого себя — с первого до последнего дня жизни.

Вот на «Партизане» в РУРе в январе 1938 года и открылась мне одна объективная истина.

Рабочий день РУРа был всегда одинаков — две ездки за дровами до обеда и одна ездка после обеда. Ездим, конечно, не на лошадях, а на людях, по восемь человек на конные сани — лямки такие проделывают — зимой, вроде оленьих.

Ездило четверо саней — во главе каждых саней блатарь с палкой, чтобы подгонять троцкистов, а конвоиров было два — на всю конную группу.

Нужно было отвезти сани километра два до распадка; а потом поднять вверх, по довольно крутой дороге затащить сани по снегу, и там штабели — либо пней, либо дров, либо стланиковых корней — все это было покрыто снегом, но на горе снега было немного — все выдувалось <ветром>.

Нужно было загрузить все сани — каждая <команда> грузила свои сани отдельно — и ехать в обратный путь, уже вниз. На спуске — крутом — удержать сани было невозможно и спускали осторожно на руках за веревки, лямки.

Потом все выезжали на дорогу и ехали в зону, в РУР.

Каждый день двое саней до обеда завозили в отряд охраны, без заезда в зону, а после обеда ездили только в лагерь, в РУР.

Мы никогда не знали, как кончится наш рабочий день, и все поведение и наше и начальников — это разновидность обычного права, не более.

Случилось так, что в лагерь прибыл для работы дополнительный отряд конвоиров, охрана прииска и заключенных стремительно росла по всей Колыме. В нашем прииске барак для охраны уже был выстроен и вот заполняется жильцами.

Вместо того чтобы самим съездить за дровами, начальство отряда и лагеря рассудило, что тот же РУР будет возить дрова, не бойцы же будут возить на себе. Вся Колыма будет смеяться.

В этот день после третьей ездки нашу конную бригаду задержали и пытались послать четвертый раз за дровами. Сделали еще хуже — велели отвезти эти третьи сани в отряд охраны. Лагерь остался без дров. Все отказались ехать.

Никакие угрозы не помогли. Явился начальник отряда, начальник лагеря, начальник прииска, уполномоченный НКВД.

Сорок мертвецов твердо стояли за свои призрачные арестантские права — вчера ездили три раза и в четвертый не поедем.

<Столпилась> толпа начальников, конвоиров, бойцов, десятников, собрались глядеть, чем закончится эта история.

Всю нашу бригаду окружили бойцы с винтовками, собаками.

— Ложись!

Бригада легла в снег.

— Вставай!

Бригада встала.

— Ложись!

— Вставай!

— Ложись!

— Вставай!

При команде «ложись» раздавались выстрелы.

После этой подготовки начальник прииска Анисимов вышел вперед и сказал, что если не пойдут за дровами — пришьют срок.

Все лежали и не поднялся ни один.

Тогда вперед вышел уполномоченный — выстроил в шеренгу.

— Ты пойдешь работать?

— Да.

— Отходи в сторону.

Наконец набрали желающих на двое саней.

— Ложись!

— Вставай!

Набрали еще на одни сани. Осталось нас трое: я, Ушаков, молодой [нрзб] вор и кто-то третий из пятьдесят восьмой, с бородой — фамилии его я не помню. Но и этот третий с бородой был от нас оторван и бежал, догоняя уходившие в горы сани.

Началось то же развлечение.

— Вставай!

И стрельба над головой.

— Собаку сюда!

На нас натравили собаку. На мне собака разорвала одежду, порвала шапку, но Ушаков был цел. Мы стояли рядом, Ушаков держал в руке разломанное лезвие безопасной бритвы и показывал лезвие собаке — собака кидалась назад, опыт — великое дело.

Было ясно, что если нас не застрелят на месте, то отведут в барак. Собаку отозвали, мы вернулись в барак холодный, выстуженный, без единой щепки, но это всетаки была победа, проба.

На следующий день дрова возили ровно три раза — два раза до обеда и один раз после обеда.

Во время всей этой кутерьмы <с собаками> кроме прочего я ощутил то, что я вовсе не чувствую страха. Вот это и была объективная истина, найденная на «Партизане». Много меня потом травили собаками, били, грозили меня сажать, держать в изоляторах, в спецзонах, в карцерах.

Я никогда не чувствовал страха. Недавно я выяснил в одном медицинском труде, что отсутствие страха — просто замедленный рефлекс в человеческой природе. Возможно.

<*1969*>

Тридцать восьмой

Я могу вспомнить лицо каждого человека, которого я видел за прошедший день, много раз пытался проверить, до каких же глубин натягивается в мозгу эта лента, и прекращал усилия, боясь успеха. Успех — бесплоден. Но можно припомнить, вытащить не всю мою жизнь, скажем, 38-й год на Колыме.

Где он лежит, в каком углу, что из него забыто, что осталось? Сразу скажу, что осталось не главное, осталось не самое яркое и не самое большое, а как бы не нужное тогдашней жизни. В 38-м году не было внезапного погружения в нищету, в ад, я уходил, увязал туда каждодневно и повсечасно, ежедневно и еженощно.

Самым, пожалуй, страшным, беспощадным был холод. Ведь актировали только мороз свыше 55 градусов. Ловился вот этот 56-й градус Цельсия, который определяли по плевку, стынущему на лету, по шуму мороза, ибо мороз имеет язык, который называется по-якутски «шепот звезд». Этот шепот звезд нами был усвоен быстро и жестоко. Первые же отморожения: пальцы, руки, нос, уши, лицо, все, что прихватит малейшим движением воздуха. В горах Колымы нет места, где не дули бы ветры. Пожалуй, холод — это самое страшное. Я как-то отморозил живот — ветром распахнуло бушлат, пока я бежал в столовую. Но я и не бежал, на Колыме никто не бежит — все лишь передвигаются. Я забыл об этом, когда у меня в столовой вырвали кисет с махоркой. Наивный человек, я держал кисет в руках. Мальчик-блатарь вырвал у меня из рук и побежал. Я побежал за ним тоже, не мог сделать прыжка, чтобы схватить свою добычу. Мальчик вскочил в барак, я за ним и тут же был оглушен ударом полена по голове — и выброшен на улицу из барака. Вот этот удар вспомнился потому, что во мне были еще какие-то человеческие чувства — месть, ярость. Потом все это было выбито, утрачено.

Помню я также, как ползу за грузовиком-цистерной, в которой подсолнечное масло, и не могу пробить ломом цистерну — сил не хватает, и я бросаю лом. Но опытная рука блатаря подхватывает лом, бьет цистерну, и на снег течет масло, которое мы ловим в снегу, глотая прямо со снегом. Конечно, главное разбирают блатари в котелки, в банки, пока грузовик <не уехал>. Я с каким-то товарищем ползу по этим масляным следам, собираю чужую добычу. Я чувствую, что я худею, худею, прямо

сохну день ото дня — пищи не хватает, все время хочется есть.

Голод — вторая сила, разрушающая меня в короткий срок, вроде двух недель, не больше.

Третья сила — отсутствие силы. Нам не дают спать, рабочий день 14 часов в 1938 году по приказу. Я ползаю вокруг забоя, забиваю какие-то колья, кайлю отмороженными руками без всякой надежды что-нибудь сделать. 14 часов плюс два часа на завтрак, два часа на обед и два часа на ужин. Сколько же осталось для сна — четыре часа? Я сплю, притыкаюсь, где придется, где остановлюсь, тут и засыпаю.

Побои — четвертая сила. Доходягу бьют все: конвой, нарядчик, бригадир, блатари, командир роты, и даже парикмахер считает должным отвесить плюху доходяге. Доходягой ты становишься тогда, когда ты ослабел из-за непосильного труда, без сна, на тяжелой работе, на пятидесятиградусном морозе.

Что тут выбросит память?

То, что я не могу быстро двигаться, что каждая горка, неровность кажутся непреодолимыми. Порога нет сил перешагнуть. И это не притворство, а естественное состояние доходяги.

Более помню другое — не светлые, озаренные светом поступки, горе или нужду, а какие-то вовсе обыкновенные состояния, в которых я живу в полусне. Рост много мне мешал. Паек ведь не выдают по росту.

Но и это все — тоже общее, понятое уже после, во время перерывов[34], а то и тогда, когда я уехал с Колымы. Там я ни о чем таком не думал, и память моя должна [была] быть памятью мускулов, как ловчее упасть после неизбежного удара. Не помню я никаких своих желаний тогдашних, кроме есть, спать, отдохнуть. Бурю какую-то помню, мглу, гудит сирена, чтобы указать путь во мгле, метель собирается мгновенно, и помню, я ползу по какой-то ледяной ложбине, давно уже сбился с дороги, но не выпускаю из рук пропуска в барак — «палку» дров. Падаю, ползу и вдруг натыкаюсь на какое-то здание, землянку на краю нашего поселка. И — вхожу в чужой барак, меня, конечно, не пускают, но я уже ориентируюсь, я иду домой под свист метели. Барак этот тот самый, где сидели 75 отказчиков-троцкистов, которые ко времени метели были уже увезены и расстреляны.

Каждый день нас выводят на развод, читают при свете факелов списки расстрелянных. Списки длинные.

Читают каждый день. Многие мои товарищи по бараку попали в эти смертельные рукопожатия полковника Гаранина[35].

И Гаранина я помню. Много раз видел его на «Партизане».

Но не о том, что я его видел, хочу рассказать, а о мускульной боли, о нытье отмороженных ног, о ранах, которые не хотят заживать, о вшах, которые тут как тут и бросаются кусать доходягу. Шарф, полный вшами, качается в свете лампы. Но это было уже гораздо позже, в 1938 году вшей тоже было много, но не так, как в спецзоне во время войны.

Выстрелы, конные сани, которые мы возим вместо лошадей, впрягаясь по шесть человек в упряжку. Отказ от работы — стрельба поверх голов и команда: «Ложись! Встань!» И травля собакой, оборвавшей мне весь бушлат и брюки в клочья. Но работать и собакой меня не заставили. Не потому, что я герой, а потому что хватило <сил> на упрямство, на борьбу за справедливость. Это было в 1938 году весной. Всю бригаду нашу заставили <еще> раз ехать за дровами — два часа лишних. Обещано было, что отпустят, а теперь обманули, посылают еще раз. Саней было шестеро. Отказался только я и блатной Ушаков. Так и не пошли, увели нас в барак, тем дело и кончилось.

Но и это — не то, что я ищу в своей памяти, я ищу объяснения, как я стал доходягой. Чего я боялся? Какие пределы ставил себе?

Надежд, во всяком случае, у меня не было никаких, я не строил планов далее сегодняшнего дня.

Что еще? Одиночество — понятно, что ты прокаженный, ощущаешь, что все тебя боятся, так как каждый чувствует — из КРТД, из литерников. Мы не распоряжаемся своей судьбой, но каждый день меня куда-то выкликают на работу, и я иду. На работе чувствую — захвачу ручку кайла, по ней согнуты мои пальцы, и я их разгибаю только в бане, а то и в бане не разгибаю — вот это ощущение помню. Как машу кайлом, машу [нрзб] лопатой без конца, и это мне только кажется, что я хорошо работаю. Я давно уже превратился в доходягу, на которого нечего рассчитывать. У меня есть и ухватка, и терпение. Нет только самого главного, самого ценного в колымских «кадрах» — физической силы. Это я обнаруживаю не сразу, но навсегда, на всю свою колымскую 17-летнюю жизнь. Сила моя пропала и никогда не вер-

нулась. Осталось умение. Наросла новая кожа, только силы не стало.

Я хотел бы заметить час и день, когда сила пошла на убыль. Подготовка началась с этапа, с бутырского этапа. Мы выехали без денег, на одном пайке. Ехали сорок пять суток, да пять суток морем, да двое суток машиной после трехсуточного отдыха на транзитке в Магадане, трех суток непрерывного труда под дождем — рытье канав по дороге в бухту Веселая. Что я думал, что я ждал в 1938 году? Смерти. Думал, обессилю, упаду и умру. И все же ползал, ходил, работал, махал бессильным кайлом, шуршал почти пустой лопатой, катил тачку на бесконечном конвейере золотого забоя. Тачке я обучен до смерти. Мне как-то тачка давалась легче, чем кайло или лопата. Тачка, если ее умело возить, большое искусство — все мускулы твои должны участвовать в работе тачечника. Вот тачку я помню, [нрзб] с широким колесом или узким большого диаметра. Шуршание этих тачек на центральном трапе, ручная откатка за двести метров. И я примерял какие-то тачки, с кем-то спорил, у кого-то вырывал из рук инструмент.

Баня как наказание, ибо ведь баня выкрадена из тех же четырех часов официального ежесуточного отдыха. Такая баня — не шутка.

[Помню] ту безграничность унижений, всякий раз оказывается, что можно оскорбить еще глубже, ударить еще сильнее.

Родственники твердили — намеренно не отяжелить их судьбы. Но как это сделать? Покончить с собой — бесполезно. Родственников это не спасет от кары. Попросить не слать посылок и держаться своим счастьем, своей удачей до конца? Так и было.

А где была палатка, новый барак, где я просил моего напарника Гусева перебить мне руку ломом, и, когда тот отказался, я бил ломом многократно, набил ШИШКУ и все. Все умирают, а я все хожу и хожу.

Арест в декабре 1938[36] года резко изменил мое положение, я попал в тюрьму на следствие, был выпущен из тюрьмы после ареста начальника СПО капитана Стеблова и вышел на транзитку и новым глазом посмотрел на лагерный мир.

Что помнит тело?

Ноги слабеют, на верхние нары, где потеплее, влезть уже не можешь, и у тебя не хватает силы или хватает ума не ссориться с блатарями, которые занимают луч-

шие теплые места. Мозг слабеет. Мир Большой земли становится таким далеким, таким не нужным со всеми его проблемами. Шатаются зубы, опухают десны, и цинга надолго поселяется в твоем теле. Следы пиодермии и цинги до сих пор целы на моих голенях, бедрах. В Магадане в 1939 году от меня шарахались в сторону в бане — кровь и гной текли из моих незаживающих ран. Расчесы на животе, на груди, расчесы от вшей.

Клочок газеты, подхваченный в парикмахерской вольной, не вызывает никаких эмоций, кроме оценки — сколько цигарок махорочных выйдет из этого газетного клочка. Никакого желания знать о Большой земле, хотя мы с самой Москвы, около года уже, не читали газет. Много и еще пройдет лет, пока ты с испугом, с опаской попробуешь прочесть что-то газетное. И опять не поймешь. И газета покажется тебе не нужной, как и в 38-м году. Ногти я обкусывал всегда, обламывал, отщеплял — ножниц не было у нас много лет. Цинготные раны, язвы пиодермии появились как-то сразу на теле. Мы избегали врачей, фельдшер Легкодух — зав. амбулаторией «Партизана» славился ненавистью к троцкистам. Вскоре Легкодух был арестован и погиб на Серпантинке[37]. Но и к другим я не ходил. Не то что я не был болен, товарищи мои ходили, получали вызовы на какие-то комиссии. Толк был один и тот же — смерть. А я лежал в бараке, стараясь двигаться поменьше или уже был не в силах двигаться, спал или лежал, стараясь вылежать эти четыре часа отдыха.

Я был плохим работягой и поэтому везде на Колыме работал в ночной смене. Хуже забойного лета была зима. Мороз. Работа хоть и десять часов — надо катать короба с грунтом, снимать торфа с золотого слоя — работа легче летней, но бурение, взрыв и погрузка лопатой в короб и отвозка на террикон ручная, по четыре человека на короб. Очень мучит мороз. Язвы все ноют. В хорошие бригады меня не берут.

Все бригады за золотой сезон, за четыре месяца, дважды и трижды сменили свой состав. Жив только бригадир и его помощник, дневальный — остальные члены бригады в могиле, или в больнице, или в этапе. Каждый бригадир — это убийца, тот самый убийца, который лично, своими руками отправляет на тот свет работяг. Даже бригадир 58-й, прокурор Челябинской области Парфентьев, увидев, как я в его присутствии просто шагаю вдоль забоя, стремясь согреться, сострил, что Шаламов на бульваре себя чувствует.

— Нет, — ответил я, — на галерах.

Все это, разумеется, где-то докладывалось, куда-то сносилось, чтобы внезапно вспыхнуть «заговором юристов». И это относится к 38-му году, к самому декабрю.

Льет дождь. Все бригады сняты с работы из-за дождя, все, кроме нашей. Я бросаю работу, бросаю кайло, то же делает мой напарник. Не помню его фамилии. Нас ведут через лагерь к дежурному коменданту. Это только воспоминания — вроде, весна 38-го года... Весна на Колыме не отличается от осени. Что-нибудь в мае 38-го не было еще изолятора зоны, был только дежурный комендант. Нас ввели в барак и поставили около стенки.

— Не хотят.

Я объяснил, что все бригады сняты из-за дождя и только...

— Замолчи, сволочь...

Комендант подошел ко мне поближе и протянул... Он не ударил, не выстрелил, только ткнул — и через промокший бушлат, гимнастерку, белье надломил мне ребро.

— Вон отсюда.

Я шел, хромая, пополз в направлении барака. Я с самого начала понимал, что законы — это сказки, и берегся, как мог, но ничего не мог сохранить. Еще я ходил все это лето каждый день пилить дрова или в пекарню, или куда-нибудь в барак бытовиков. Дело в том, что в лагере каждый слуга хочет иметь другого слугу. Вот эти пайки, баланды сверх пайка, хоть у нас сил не было, имели значение для поддержания жизни. В забое я работал плохо и никого работать хорошо не звал, ни одному человеку на Колыме я не сказал: давай, давай.

...Именно здесь, в провалах памяти, и теряется человек. Человек теряется не сразу. Человек теряет силу, вместе с нею и мораль. Ибо лагерь — это торжество физической силы как моральной категории. Здесь интеллигент окружен двойной, тройной, четверной опасностью. Иван Иванович[38] никогда не поддержит товарища, товарищ становится блатным, врагом, спасая свою судьбу. Это — крестьянин, конечно. Крестьянин умрет, умрет тоже, но позже интеллигента. Умри ты сегодня, а я завтра. Блатари — вне закона морали. Их сила — растление, но и до них доберется Гаранин. Блатной — берзинский любимчик — отказчик для Гаранина. Но дело не в этом, надо поймать какой-то шаг, лично свой шаг, когда сделана уступка какая-то важная: перебирая в памяти, этих кинолентах мозга, видишь, что и уступки-

то нет. Процесс этот очень короткий по времени — ты не успел даже стать стукачом, тебя даже об этом не просят, а просто выгоняют на работу в холод и на бесконечный рабочий день, колымский мороз, не знающий пощады.

Чьи-то глаза проходят по тебе, отбирая, оценивая, определяя твою пригодность скотины, коротки или длинны последние твои шаги в рай. Ты не думаешь о рае, не думаешь об аде — ты просто ежедневно чувствуешь голод, сосущий голод, [нрзб]. А тот твой товарищ, кто посильнее тебя, тот бьет, толкает тебя, отказывается с тобой работать. Я тогда и не соображал, что крестьянин, жалуясь на Ивана Ивановича бригадиру, начальству, просто спасал свою шкуру. Все это мне было глубоко безразлично, все эти хлопоты над моей судьбой еще живого человека.

Я припоминаю, стараюсь припомнить все, что случилось в первую зиму, — значит, с ноября 1937 года по май 1938 года. Ибо остальные зимы, их было много, както встречались одинаково — с равнодушием, злобой, с ограничением запаса средств спасения: при ударе — падать, при пинке — сжиматься в комок, беречь живот больше лица.

Доносят все, доносят друг на друга с самых первых дней. Крестьянин же стучал на всех тех, кто стоял с ним рядом в забоях и на несколько дней раньше него самого умирал.

— Это вы, Иван Ивановичи, нас загубили, это вы — причина всех наших арестов.

Всё — чтобы толкнуть в могилу соседа — словом, палкой, плечом, доносом.

В этой борьбе интеллигенты умирали молча, да и кто бы слушал их крики среди злобных осатаневших лиц — не морд, конечно, а таких же доходяг. Но если у крестьянина-доходяги держался хоть кусочек мяса, обрывок нерва — он тратил его на то, чтоб донести или чтоб оскорбить соседа Ивана Ивановича, толкнуть, ударить, сорвать злость. Он сам умрет, но, пока еще не умер, — пусть интеллигент идет раньше в могилу.

Один из самых первых удержался в [памяти]. Дерфель — французский коммунист, кайеннец, бывший работник ТАСС, шустрый, маленький, что было очень выгодно, — на Колыме выгодно быть маленьким. Дерфель кайлил, а я насыпал в тачку.

Дерфель:

— В Кайенне, где я был до Колымы, тоже каменоломни такие, тоже кайлил, кайло и тачка, только там нет такого холода.

А была еще осень золотая, поэтому я и запомнил день, серый камень, маленькую фигурку Дерфеля, который вдруг взмахнул кайлом и упал, и умер.

В это время всех согнали в один барак, в палатку брезентовую, где держали нас стоя, человек четыреста. Проверяли что-то — стреляли в воздух. И я увидел, что мой сосед, голландский коминтерновец в вельветовой жилетке, спит на моем плече, теряет сознание от слабости. Я его толкнул, но Фриц не очнулся, а медленно ослабел, сполз на пол. Но тут стали выводить, выталкивать из палатки, и он очнулся и вышел рядом со мной, и, выходя же, упал у барака, и больше его я никогда не видел.

Все это — Дерфель, голландец Фриц — все это поймала моя память, а то безымянное, что умирало, било, толкало, заполнило большую часть моего существа, те дни и месяцы, — я просто не припомню.

Что же там было?

Никакой «вины» перед народом я не чувствовал как «интеллигент». Но зато карьеристов, дельцов чувствую всей силой чутья — и не ошибусь.

Все это — и Дерфель, и задержка на работе бригады Клюева в декабре 1937 года — все это как бы верхние этажи моего тела. Трудно восстановить то, что не запомнилось, — боль тела и только тела.

У нас не было газет, а переписки я был лишен еще по московской бумажке. Не было желания что-либо знать о событиях вне нашего барака. Все это было так бесконечно не важно, вытеснено надолго — на десяток, а то и более лет за круг моих интересов.

Как же это случилось на моем личном примере, примере моего тела?

Уже двухмесячный этап на голодном пайке был подготовкой к более серьезным вещам — побоям, холоду, бесконечной работе, которую я встретил на «Партизане» в декабре 1937 года.

Ноги отяжелели, кожа гноилась, завелись вши, обморозились руки в пузыри. Но все это было не главное. Главным был голод постоянный. Я быстро научился есть хлеб отдельно от супа, потом кипятить, вздувать его в какой-то банке консервной и из этой банки высасывать. Никакого интереса к любым разговорам в бараке. Белье

я хотел свое поменять на хлеб, но опоздал — был обыск, и все лишнее поступило в доход государству. Но и это мне было все равно. Обрывками мозга я ощущал, пожалуй, две <вещи>. Полную бессмысленность человеческой жизни. Что смерть была бы счастьем. Но на смерть нельзя было решиться по каким-то странным причинам — боль в пальцах после отморожения, в амбулаторию я не ходил, больничный фельдшер Легкодух, как все фельдшера того времени, прямо сдаст тебя в «солдаты» как интеллигента и троцкиста. Так делали все фельдшера и врачи на приисках, так делал и Лунин, и Мохнач. Через восемь лет после 37-го года так делал и Винокуров, и доктор Дактор, и Ямпольский — с больницей было опасно связываться. Но не логикой, а инстинктом животного я понимал, что мне не следует ходить туда, где толпятся «стахановцы болезни». И действительно, их всех расстреляли в гаранинские дни как балласт. А кто давал списки расстрельные? По «Партизану» это работяга Рябов, Анисимов — начальник прииска, Коваленко — начальник ОЛПа[39], Романов — уполномоченный.

Койки рядом со мной пустели. Нашу бригаду то переводили в другой барак, сливали с другой, то расформировывали, и я переходил из барака в барак. Работяга я был неважный, приходу моему в барак бригадир не радовался. Но мне, а, может быть, и им было все равно. У меня не удержалось даже в памяти, когда меня стали бить, когда я стал доходягой, которого каждый стремится ткнуть, ударить: крестьянин — чтобы обратить внимание начальства на свою политическую преданность советской власти, блатарь...

Тут возникает такое состояние, когда ты сам слабеешь, сдачи дать не в состоянии. И тут-то тебя и начинают толкать и бить. Я прошел эту дорогу к 1938 году. Но и в декабре 1937 года меня уже толкали и били...

Полз по какой-то дороге снежной, собирая обломки капустных листьев, чтобы вскипятить их в банке, сварить. Полз целую вечность, но ничего не собрал — кто-то уже прополз раньше меня, а из того, что я собрал, нельзя было сварить никакого супа. Я проглотил эти куски мерзлыми.

В это время нашу бригаду, работавшую на втором участке, перевели на первый и на этом первом участке — в бригаду Зуева. Здесь Зуев — крестьянский паренек лет 30 — интересовался грамотными людьми, ко-

торые могут ему написать жалобу, да так, что все прокурорские сердца размякнут. Зуев искал такого автора в бригаде. Зуеву дали только что срок за взятки — но он уверял, что невиновен. Важно было жалобу составить хорошо. Видя, что работяга я новый, Зуев отвел меня в сторонку и сказал:

— Вот будешь сидеть в тепле и жалобу мне писать.

— Хорошо, — сказал я. — Давай бумагу, завтра и начнем.

Даже хлеба куска этот Зуев мне не дал за жалобу, но, как ни трудно было ворочаться мозгу, я сочинил эту жалобу.

На следующий день Зуев прочел ее десятникам, те нашли, что жалоба написана плохо, прокурорские сердца не пронзит. Зуеву стало жалко своей пайки, да к тому же кто-то сказал, что он обратился за литературной помощью к врагу народа, к троцкисту.

На следующий день вместо продолжения работы над жалобой <было> избиение адвоката. Зуев сшиб меня с ног одним ударом и топтал, топтал на снегу. Вот эту плюху я помню хорошо. Уж слишком легко я упал — все, что я подумал. И хоть в кровь были разбиты зубы, мне почему-то не было больно.

Кампания физического истребления врагов народа началась на Колыме, и Зуев поспешно известил уполномоченного, что он, десятник, сделал такое страшное преступление перед государством, попросил троцкиста написать ему жалобу. Именно об этом шла речь в декабре 1938 года, когда меня арестовали на прииске и привезли в Ягодное к начальнику местного НКВД товарищу Смертину.

— Юрист?

— Юрист, гражданин начальник.

— Писал жалобы?

— Писал.

— За хлеб?

— И за хлеб, и так.

— В тюрьму его.

Но все это было через год, и только сейчас я думаю, что Зуев поспешил признать свою ошибку, написав на меня донос, признание в декабре 1937 года.

Помню, все это время я стремился где-нибудь поработать еще: уборка, пилка дров за юшку или корку хлеба. На такую работу после 14 часов забоя было нацелено все мое тело, вся моя личность, в мобилизации

всех физических и духовных сил. Иногда это удавалось — то на пекарне, то на уборке, хотя было безмерно тяжело. И после этого, добираясь до койки, я падал в мертвый сон на один-два часа до нового рабочего дня. Но и Зуев — это все уже на «верхних» этажах человеческой воли.

Работал я плохо с самого первого дня. И тогда, и сейчас считаю физическую работу проклятием человека, а принудительный физический труд и высшим оскорблением человека.

Конечно, для троцкиста были отменены всякие зачеты рабочих дней и прочие лагерные <премии>.

Сражение вчистую — кто устоит на ногах, кто умрет — знать каждому было дано, именно дано.

Насилие над чужой волей считал и сейчас считаю тягчайшим людским преступлением. Поэтому и не был я никогда бригадиром, ибо лагерный бригадир — это убийца, тот человек, та физическая личность, с помощью которой государство убивает своих врагов.

Вот этот скопленный за 38-й год опыт был опытом органическим, вроде безусловного рефлекса. Арестант на предложение «давай» отвечает всеми мускулами — нет. Это есть и физическое, и духовное сопротивление. Государство и человек встречаются лицом к лицу на дорожке золотого забоя в наиболее яркой, открытой форме, без художников, литераторов, философов и экономистов, без историков.

Иногда всколыхнется какое-то чувство: как быстро я ослабел. Но ведь так же ослабели и мои товарищи вокруг, у меня не было с кем сравнивать. Я помню, что меня куда-то ведут, выводят, толкают, бьют прикладом, сапогом, я ползу куда-то, бреду, толкаясь в такой же толпе обмороженных, голодных оборванцев. Это зима и весна 1938 года. С весны 1938 года по всей Колыме, особенно на севере, в «Партизане», шли расстрелы.

Какая-то паническая боязнь оказать нам какую-то помощь, бросить корку хлеба.

Даже и сейчас пишут тома воспоминаний — я расстреливал и уничтожал тех, кто соприкасался с дыханием смертного ветра, уничтожавшего по приказу Сталина троцкистов, которые не были троцкистами, а были только антисталинистами, да и антисталинистами не были — Тухачевский, Крыленко. У самих-то троцкистов ведь не было никакой вины.

Если бы я был троцкистом, я был бы давно расстрелян, уничтожен, но и временное прикосновение дало мне вечное клеймо. Вот до какой степени Сталин боялся. Чего он боялся? Утраты власти — только.

Дом Васькова

Говорят, солдату нужна ложка. Заключенному в лагере и ложки не надо. И суп и лапшу можно выпить «через борт» и вытереть дно корочкой хлеба.

До лагеря носил 44 размер обуви и 59 размер кепки. После лагеря кепка 58 размера, а обувь — 45-го.

Почему не стригутся, носят «вольную» прическу? Из чувства протеста, иногда принимающего характер психоза: старый Заводник — бывший комиссар Гражданской войны — с кочергой набросился на вахтеров, помогавших лагерному парикмахеру. И отстоял бороду.

Первые побои бригадиров, конвоя в 1938 году, в январе, феврале. Разговор с Вавиловым ночью.

— Что ты будешь делать, если ударят?

— Не знаю. Стерплю, наверно. — Это — Вавилов.

А когда стали бить — Зуев, бригадир ударил первый — было ясно, что сил нет. Бьют слабых, ослабевших. Меня били бесконечное количество раз.

Полянский в конце 1938 года:

— Когда я видел, как ты ходишь, шаркаешь подошвами по земле, я думал: притворяется. А сейчас и сам понял, что нет сил поднять ногу, перешагнуть порог, бугорок.

Первая встреча с блатным. У меня из рук вырвали кисет с махоркой. Я побежал за вором, вбежал за ним в какой-то барак, и дневальный ударом полена свалил меня на пол. Я встал и вышел. Больше до больницы, до того, как стал фельдшером, целых восемь лет не заводил кисетов. Махорку высыпал прямо в карман. В этом была особая арестантская прелесть:

— Потрясем?
— Потрясем.

Трясти можно было почти бесконечно, ибо хоть три табачинки находилось обязательно. Правда, курение этих трех табачинок — дело условное, но все же.

— Дай, Вронский, табачку.

Вронский, горный инженер:

— Нет у меня.

— Ну, три табачинки.

— Три табачинки изволь.

Просить друг у друга хлеба — неприлично, недопустимо. Но попросить селедку — принято. «Подсолиться разрешите». Впрочем, с такими просьбами тоже не везде было принято обращаться.

Селедку всегда ели с кожей, с головой, с костями...

Самый совершенный подлец, какого я видел в жизни, это доктор Дактор, бывший начальник Центральной больницы УСВИТЛ на левом берегу (и ранее на 23 км); это был мстительный прощелыга, жестокий и бессовестный, желающий всего самого худшего людям. Взяточник, самоснабженец, подхалим, он выступал с бесконечными докладами о бдительности. Его выгнал, сжил Щербаков, подлец чуть поменьше.

Доктор Утробин, который часто оперировал пьяный, по результатам своих операций заслужил у больных и у врачей кличку «Угробин».

Доктор Лунин, Сергей Михайлович, правнук декабриста, с неудержимой страстью сблизиться с начальством. Освободился на Аркагале благодаря своей связи с медсестрой — членом партии «со связями». Она добилась освобождения Лунина, добилась еще в сталинское время разрешения окончить институт медицинский в Москве, получить диплом врача. Она вышла замуж за Лунина, пожертвовала (по тем временам обычный риск за связь с «неарийцами») партбилетом, а когда Лунин получил диплом, он бросил ее, этот правнук декабриста. Я знал и его и ее. Когда спросил:

— Почему вы разошлись? — С. М. захохотал и сказал:

— Слишком много родственников и все, знаешь, известной нации.

Я перестал с ним разговаривать. В хирургическом отделении началось пьянство, словом, правнук декабриста был...

Лейтенант танковых войск, обвиненный не в людоедстве, а в трупоедстве. Краснощек, с голубыми глазами.

— Да, брат, резал в морге по кусочку. Варил и ел. Как телятина. Я есть хочу.

Людоед Соловьев, обвиненный в классическом каторжном людоедстве. Взяли в побег третьего — фраера.

— Ну, на десятый день я его топором ночью. Всего не съели. В холодном ручье под камнем оставили.

Оба друга были пойманы «оперативкой» и сознались.

Людоеды, два людоеда жили на дорожной командировке около Барагона (где был в ссылке Короленко). Давно освободились, собирали деньги «на материк». Убивали проезжих одиночек, кто оставался ночевать, — как у Островского «На бойком месте», грабили, а мясо съедали. После ареста показали черепа убитых, кости. Этих людоедов знаю только по рассказам.

Русский Рокфеллер первого поколения, собиратель богатств — Алексей Шаталин, туляк. Осужден к расстрелу с заменой десятью годами. Поставка лошадей в армию, всевозможная подпольная торговля «от иголки до фабрики», как выражается Шаталин.

— В детстве, когда я входил в лавку, я думал — я вырасту и у меня будет такая же — и я ее — увеличу. В юности я задумался: что дает человеку твердое общественное положение. И ответил: капитал и образование.

Образование — это 10—15 лет напряженного труда. Я выбрал капитал. И стал торговать. И тут же — революция и конца ей нет. Мой отец, он в Туле извозчиком был, лошадей графу Бобринскому для последнего отъезда подал. Знал графа Бобринского? Того, что женился на крестьянке, отец которой — крепостной графский? Четыре языка знала, за границей всю жизнь прожила. Сейчас умерла, наверное. А Бобринского самого нигде не принимали из-за этого брака в знатных-то домах.

Образование меня все-таки подвело. Камни я продавал на валюту и на курсе доллара опростоволосился. Глубоких экономических знаний нет.

Оборот у меня следователь поставил: два миллиона в год. Это в тридцать втором году. При обыске, видишь, двести пятьдесят тысяч наличными отобрано. Я не жалею. Была бы жизнь, деньги будут.

Быстров (десятник):

— Ты, Шаталин, плохо работаешь. Смотри, дам тебе штрафное блюдо.

Быстров розовеет от удовольствия. Мне он говорил при первой нашей встрече:

— А вам — черную работу дать или белую?

— Все равно.

— Черную придется.

Сейчас я — не на строительстве, а на горных работах и мой хозяин — геолог Касаев, гитарист. Быстро перенес свои остроты на Шаталина.

— Ты, Быстров, — не спеша говорит Шаталин, — дай мне хоть полблюда, да чтобы блюдо было с конское ведро.

Касаев ежедневно обходит шурфы. В забое у Генки-парикмахера шурф неглубок, с полметра. Касаев спрыгивает в шурф — хлопают резиновые сапоги. Генка, сидевший на краю ямы, встает. Касаев поднимает и осматривает кайло Генки.

— Одно можно сказать — бережное отношение к инструменту.

Генка молчит и почтительно улыбается. Касаев внезапно начинает кайлить подошву, расширять шурф. Десять минут работы, и шурф завален породой. Касаев ставит кайло в угол шурфа.

— Вот, как надо работать. Я мог быть хорошим забойщиком, только, — говорит инженер, — на черта мне это нужно.

— Вот и я, Валентин Иванович, — почтительно говорит Генка, — думаю: на черта мне это нужно.

Идти на работу — километров семь. На половине дороги — горка голубоватая от ягеля и огромная рухнувшая гнилая лиственница. Здесь всегда отдыхают. Нас трое — Касаев, Шаталин и я.

Касаев:

— А за что ты сидишь, Шаталин?

Меня никогда никто не спрашивает из начальства. Шаталин поднимает голову и что-то вроде усмешки пробегает по его лицу.

— Я, Валентин Иванович, спорок продал...
— Что?
— Спорок.
— Что же это такое — спорок?
— А это из-под зимнего пальто мех.
— Хм-м. А за сколь же ты его продал?
— За сто рублей.
Видно, что Касаев силится что-то сообразить.
— А... купил за сколько?
— За сорок, — скромно говорит Шаталин.
— За сорок? Так ведь это спекуляция, — кричит Касаев.
— Вот они на суде так, Валентин Иванович, и сказали: спекуляция.
— М-м... И сколько же тебе дали?
— Расстрел с заменой десятью годами.
— Расстрел? За спорок?
— Да, Валентин Иванович.
— Ну, пора идти, — сердито встает геолог.
Корнеев:
— А еще я работал в Сибири в лесхозе. Большой лесхоз, а кони государственные. У коней все морды позавязаны. Там лошади больные. Пища хорошая, а для людей тоже хорошая — ложка стоит, такой борщ варят. И платят хорошо. Одним словом — «малиновое хозяйство».
— Малеиновое? Сапные лошади.
— Не малеиновое, а малиновое, я тебе русским языком говорю.

Около Томтора Оймяконского, где нашли в 1958 году гигантскую озерную рыбу, якутские коровы, как козы, прыгают по скалам, а лошадей, что чуть крупней оленя, зимой не кормят — табун в снежной метели скитается в лесах, «копытит» снег, как олени. Для нашего трактора мы проложили зимние дороги с трехметровым снеговым бортом. Я ходил пешком за десять километров, раза два меня обгонял табун. А третий раз от табуна что-то осталось. Я подошел ближе — мертвый новорожденный жеребенок, еще теплый, начинающий индеветь.

Крепильщик вольнонаемный Гнездилов уволился весной с шахты, занялся производством брусничного мороженого и нажил за лето десятки тысяч. А в посел-

ке Аркагала угольная — триста человек, да в лагере — тысяча.

В хирургическом отделении свежий случай: дорожная авария. Переломы обеих бедер, голеней, ребра. Травма головы. Дневальный из соседнего поселка ехал ночью на Дебин, вышел на «трассу» и, увидев приближающуюся машину, поднял руку. Больше ничего не помнит. Машину разыскали. На горе дневального, в кабине сидел кассир, вез деньги в банк. Суд оправдал шофера, сбившего ночью на полном ходу человека.

Кадыкчан. Увидел на тропе корки репы, еще не замерзлые, только покрытые ледяным целлофаном. Только вольнонаемный может бросать такое сокровище. Все подобрал и съел.

На «Витаминном комбинате» варят экстракт стланика из игол кедрача. Иглы заготовляют на так называемых «витаминных командировках», где голодный паек, где «доходяги» иглы «щиплют», набивают в мешки, и кто половчее, сует в мешки камни для тяжести. Сотни голодных сборщиков, выполняющих или не выполняющих план. Уродливей всего то, что стланик — горчайшую противную жидкость заставляют насильно повсеместно пить, а витаминов С в экстракте нет никаких. Десятилетиями мучили людей — в столовых было запрещено давать обед, пока не выпил «целебную» дозу, чтобы потом сказать — это не было лекарством. Само лечение обращалось в пытку. Врачи поумней, почестней это понимали.

В детстве он играл на корнет-а-пистоне, и это обусловило его карьеру военного.

Лил дождь летом 1938 года. Проливной дождь третьи сутки. Все бригады сидели дома и только «троцкистов» выводили под дождь. Конвоир заползал под гриб, а мы — бурили. Мой сосед по шурфу (Полянский) закричал:

— Слушай! Слушай! Я понял, что смысла жизни — нет. Нет.

Я молчал.

На следующий день Полянский лег под вагонетку, сбегавшую с терриконника с крутого уклона, вагонетка перескочила через ноги Полянского, чуть их оцарапав. Он встал и погрозил вагонетке кулаком.

Орлов, один из референтов Кирова, мой напарник по «легкому труду» — пилка дров для бойлера.

— А ты умеешь точить пилу? — это я Орлову.

— Я думаю, каждый человек, имеющий высшее образование, может точить поперечную пилу.

Кливанский — мне:

— Наша бригада выполнила норму на 40% — штрафной паек! Есть еще производственный, ударный, стахановский. А двое из нашей бригады получили высшую оценку. Это — стахановцы болезни, — кричал Кливанский, — у них — скидка.

Всю войну (четыре года) был американский хлеб из белой канадской пшеницы с кукурузной мукой. Заключенные любили этот пышный хлеб, огромные «пайки», но скептики говорили:

— Что это за хлеб — никакого говна нет, десятый день не оправляюсь.

Раздатчики этот хлеб ненавидели. Хлеб из пекарни они получали с вечера по весу, а за ночь он усыхал. Если ночью резали на пайки — по 300, по 400 граммов, к утру, ко времени раздачи терялось по 20—30 граммов в каждой такой «пайке». Целая трагедия со слезами, а подчас и с кровью. С руганью и жалобами и побоями во всяком случае. Через четыре года раздатчики вздохнули облегченно.

Трюм парохода «Кулу» во Владивостоке. Сережа Кливанский, Вавилов, я — поближе к свету, поближе к лестнице. С нами же устраивается немолодой, по-тюремному бледный человек — с лицом зеленовато-желтым. В руке держит книгу — единственную в трю-

ме. Да притом еще вроде «краснокожей паспортины» — краснокартонный однотомник Маяковского.

— Мы — такие-то.

— А я — Хренов. Помните у Маяковского, — листает краснокожий однотомник, — «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое».

— «Здесь будет город-сад?» — хохочет Вавилов.

— Вот-вот.

— Краснокожая паспортина вас здесь не спасет, — разъясняет Кливанский.

Хренов боится — он тяжелый сердечник. Но вот парадокс — болезнь спасла Хренова. Он успел кончить срок, поработать вольнонаемным в качестве начальника шахты, но вернуться на «материк» не успел. Он был прикреплен «пожизненно» и умер, кажется, вскоре после войны.

Раздача хлеба на пересылке в Сусумане. Огромная очередь. Будочка хлебореза на дворе. Около нее четыре солдата с винтовками наперевес. Каждый арестант подходит, получает «шестисотку» из окна и тут же, давясь, торопливо глотает — если не успевает съесть, отнимут, вырвут блатные, толпящиеся неподалеку. Четыре конвоира охраняют именно эту закуску а-ля фуршет. Пробовали давать хлеб в бараке — блатные отнимают. Выдавать без конвоя — отнимают. Сейчас каждый успевает проглотить свой суточный паек.

Воспитательная работа среди блатных. Прииск, «Партизан», 1938 год, зима — январь-февраль, воспитатель КВЧ (культурно-воспитательной части) Шаров:

— Государство считает вас своими друзьями, своими помощниками. Помогите нам в нашей борьбе с фашистами, с троцкистами. Эти враги народа не хотят работать. Это люди, которые над вами издевались на воле.

— Разрешите оправиться?

— Иди!

Через полчаса:

— Разрешите оправиться?

— Иди.

Конвоир поднимается с места и идет за отвал:

— Покажи твое говно, сволочь! Отсиживаетесь тут.

Лежу в больнице с невропатологом в 1958 году. Рассказываю:

— На моих глазах во время войны конвоир принял этап в двадцать пять человек, посадил в машину, поднялся на борт и очередями из автомата расстрелял всех до последнего человека.

— Типичный приступ эпилепсии.

Шилов на Аркагале в 1942 году (?). Шилов — парень лет двадцати пяти из бывших заключенных.

— Налог на холостых? Не понимаю, несправедливо. Сам подумай: здесь ни одной бабы. Я мучаюсь, страдаю и должен еще и налог платить за свои мучения. На «материке» другое дело. Там кто-то живет с бабой, заводит детей, семью и — не платит налога на холостяков. А я не могу завести бабы — и плачу налог. Несправедливо.

Самый страшный колымский год — 1938-й. В 1939 году Иван Босых (вольнонаемный из бывших зэков), топограф, говорил мне на Черном озере, в угольной разведке:

— Мы с тобой выжили потому, что мы репортеры, журналисты. Понял? Я буду жить, хотя я видел такое, что жить бы не надо после этого, но я буду жить, я встречусь со своим младшим братом — он в меня верит, как в Бога, и я ему скажу всю правду о Сталине.

Адрес Ивана Николаевича Босых — гор. Ишим, ул. Ворошилова, 16.

Единственная возможность выжить для «троцкиста» — стать бригадиром. Но как можно командовать, исполнять чьи-то приказы, распоряжаться чьей-то волей и не просто волей, и жизнью и смертью людей — значит, кто-то умрет, а ты останешься жив. Нет, еще в 1937 году дал я себе слово никогда не становиться бригадиром, никогда не обращаться с просьбой к начальству, с жалобами на свою судьбу, не просить, отказаться от посылок с материка — рассчитывать только на себя, на свое «счастье». Единственная возможная для меня должность была — деятельность фельдшера, но это девять лет казалось фантазией, а на десятом вдруг осуществилось.

Три великих лагерных заповеди:

Не верь — никому не верь.

Не бойся — ничего и никого не бойся.

Не проси — никого ни о чем не проси. Ни на что не рассчитывай.

Страшная лагерная поговорка «Умри ты сегодня, а я завтра».

В тридцать восьмом и седьмом мы работали в забоях с откаткой до 200 метров, и сил поднимать тачку на эстакаду не было. А подсобные крючки я встретил уже в конце 38-го года. По центральному трапу катают бегом.

Научился я опрокидывать тачку, «вываливать» и ездить обратно по «холостому» трапу — тачки колесом вперед, ручками вверх, чтоб руки отдыхали. Научился работать лопатой, стал понимать, зачем черенок должен упираться в подбородок, научился кайлить, разбирать скалу, бурить, а забойщика из меня не получилось — я уже голодал в это время.

Зимы я не любил. Ненавидел. Каждый день вставал, как на казнь. На холоде ведь и думать-то нельзя. Ни о чем не думаешь — только б согреться. Хорошо понял, что чувствует лошадь. Стал, как лошадь, угадывать время обеда без часов — ведь лошади в забое начинают ржать за пять минут до гудка.

Первые вши появились еще в конце 1937 года. Фуфайку шерстяную всю вшивую сняли с мая в бане, а банщик выпарил и хотел взять себе, а я заспорил, «отглотничал», и снова стали вши собираться. Никакой дезкамеры не было и до самого января 1939 года вши были беспрерывно. Когда на несколько дней — у меня был красивый почерк, и меня взяли в МХЧ (на прииске «Партизан» было тысячи три заключенных) писать продовольственные карточки в марте 1938 года, то товарищи поймали на мне вшей и пожаловались начальнику, и тот, кто указал на мое преступление, занял мое место в МХЧ. Место-то было временное.

Страшная вещь вши. Особенно много было у меня на Джелгале в 1943 году. Шарф вязаный бумажный шевелился, столько их там было.

Колесников Гавриил Семенович, товарищ Косарева, один из немногих, которые сохранили «человечество»,

на Джалгале был санитаром, дневальным. Он говорил мне:

— Что главное в нашей жизни? Смещение масштабов. «Транзитки», «пересылки» всегда нравились мне, ибо здесь неуловимым образом жил дух свободы, которого никогда не бывает в лагере.

Каждый отвечает за себя. Не учить товарища, напарника, что ему делать. Все, что чужая воля — дело не твое, — несложные, но трудные заповеди лагеря, требующие опыта, самообладания, бесстрашия. Лагерное начальство не принимало никаких коллективных жалоб, протестов. Всякое заявление должно быть личным. Но когда встал вопрос о борьбе с побегами, то вся бригада давала коллективные расписки, что каждый будет следить за другим, будет отвечать за побеги. И отвечали допросами, а то и «сроком».

Эффектное лагерное выражение — одно из самых отточенных: «Выдать срок весом» — т. е. семью граммами пули, расстрелять.

Или: выдать срок «сухим пайком».

На «витаминной командировке». Швецов, мой напарник:

— Дай-ка топор.

Он взял у меня из рук топор, подошел к пеньку, на котором пилили дрова. Положил на пенек руку, взмахнул топором — побледнел, посинел, кровь брызнула на снег и сейчас же застыла не всасываясь — было очень холодно — три отрубленные пальца сморщились, лежали на снегу, едва заметные, похожие на грязные щепочки. Шевцов, согнувшись, затыкал рукавом телогрейки кровь.

Я подобрал отброшенный топор.

Шевцова повели в больницу. Он, конечно, знал, что в больницу его не положат — саморубов в больницу было запрещено класть, — но хоть перевязку сделают, кровь остановят.

Работа возобновилась.

«Хорошие» анкетные данные — русский, не бывал за границей, не знает языков. Многие скрывали знание языков.

В лагере не говорят: «водили на работу» или «ходили на работу», а говорят: «выгнали, выгоняли, гоняли на работу». Так и только так говорят все — и начальство, и сами «з/к, з/к».

Черное озеро

Каждый дневальный имеет своих работяг, которые все делают за супчик, за кусок хлеба, — так и на прииске.

— Но дело было не <в> его симпатии или сочувствии к доходягам. Он мог бы эту крохотную комнату мыть и сам — но чтобы дневальный МХЧ — да не имел особого раба — это невообразимая вещь в российских лагерях.

Я думаю, вольнонаемный начальник моего дневального, узнав, что тот моет крошечный кабинетик сам, — вышиб бы его на общие работы за то, что тот не может пользоваться положенной властью, пятнает позором его, начальника. По всему Магадану хохотали бы: это тот начальник, у которого дневальный сам полы моет. Получал я хлеб, дневальный насыпал закрутку махорки, [давал] талон в столовую, [я] либо съедал, либо отдавал своим соседям. Транзитка мне стала нравиться даже. Но начальство не было так просто. Огромный пакгауз с четырехэтажными нарами на транзитке пустел. На одной из перекличек нас оставалось человек сто, а то и меньше. После очередного выкликания нарядчик не отпустил нас в барак. А куда?

— Пойдем в УРЧ[40] печатать пальцы.

Пришли в УРЧ.

— Как твоя фамилия?

— Шаламов.

— Что же ты не откликаешься два месяца?

— Никогда не слыхал, каждый день выхожу на поверку, не вызывали.

— Ну, иди отсюда, сука.

Нужно было собираться в этап, и нас отправили, но не в сельхоз или рыбалку, а в угольную разведку на Черное озеро[41]. К счастью, в качестве инвалидов для обслуживания вольнонаемных, вольняшек — только что освободившихся зэка — тоже с пересылки, только вольнонаемных, подписавших договоры на год с Дальстроем, чтобы подработать. Начальник нового угольного района Парамонов, которому людей не дали из заключенных —

тех гнали на золото, — выпросил хоть шесть человек для обслуги своих вольных работяг. Я должен был поехать кипятильщиком, Гордеев — сторожем, Филипповский — банщиком, Нагибин — печником, Фризоргер — столяром.

У вольняшек не было ни копейки, все, до белья, было продано или проиграно на вольной транзитке, на карпункте, как он называется, карантинном пункте, таком же, как транзитка для зэка, только поменьше — та же зона, те же бараки. Карпункт был размещен вплотную к транзитке. Такие же нары пустые. Карпункт опустел тоже. Пароходы ушли.

Вот этих-то голодранцев и нанял Парамонов на Черное озеро в угольную разведку, где искал уголь. Уголь, а не золото. Когда мы ночевали впервые на Атке, в клубе дорожников, на нары расстелили палатку, которой мы закрывались в дороге на машине, и спали, спали. У вольняшек не было денег ни копейки. Надо было купить табаку. И махорка в вольном лагере была, и они имели право ее купить, они уже были не зэка. Но денег не было ни у кого. Старик Нагибин дал им рубль, и на этот рубль была куплена махорка, поделенная на всех поровну — и зэка, и вольняшкам, — и выкурена. На следующий день приехал начальник и выдал какие-то деньги.

Начальник района Парамонов был старым колымчанином. Лагерный район НКВД он открывал не первый. Так, именно Парамонов открывал Мальдяк, знаменитый колымский прииск-гигант — там было до двадцати тысяч человек списочного состава. И смертность в 1938 году была выше даже обычной колымской смертности. Генерал Горбатов[42], поступив на Мальдяк, превратился там в инвалида в две недели. Это видно из подсчетов времени; прибыл — убыл. Прибыл работягой, убыл инвалидом. Столь кратковременное пребывание на Мальдяке не дало возможности генералу Горбатову разобраться в нем — он пишет: в Мальдяке было человек 800, и спас его фельдшер, отправил его в Магадан как инвалида. Никакой лагерный фельдшер таким правом и возможностью не обладал. Горбатов «доплывал» на одном из участков Мальдяка, прииска-гиганта. На Штурмовом в это время было четырнадцать тысяч человек, на Верхнем Ат-Уряхе — двенадцать тысяч. Доплыть за три недели — это нормальный срок для всякого человека — при побоях, голоде, холоде и четырнадцатичасовой работе. Именно три недели тот срок, который делает инвалида из силача.

У Парамонова в разговоре с вольняшками была постоянная присказка: «в цилиндрах домой поедете»...

Парамонов был неплохой начальник, без него жизнью Черноозерского государства управляли сообща вольнонаемный прораб Касаев и строитель десятник Быстров. Быстров — бывший зэка, а Касаев — инженер-техник геолог — или техник-геолог — договорник, вольнонаемный.

Когда в отсутствие Парамонова Касаев и Быстров не разрешали нам как заключенным выдачу вина — а всяческого коньяка, настойки всякой на складе была бездна — полярный паек — и мы пожаловались Парамонову, тот велел выдать даже за прежние дни.

«Тайга для всех одна», — мрачно сказал он.

Мы ели из общего котла с вольнонаемными (шесть заключенных и двадцать пять вольных). Получали всякие выписки — галеты, масло, сахар.

Бесплатно — те, кто не хотел, деньги зачисляли на текущий счет. Так делал только один из нас — столяр Пикулев, прибывший позднее. Потом, когда все эти выписки отменили, Пикулев <был> очень огорчен, что все пропало.

Я же действовал по извечно лагерному закону: «Начинай еду с самого лучшего».

Парамонов редко бывал на Черном озере. Он более действовал в Магадане — добивался, хлопотал для района все, что положено. Его <требованиями> прибыло на Черное озеро несколько десятков людей на смену уволенным вольняшкам, которые, <все> хая, без цилиндров жить долго на Колыме не хотели.

Внезапно Парамонов был снят за растрату — хищение, кражи и прямую продажу по спекулятивным ценам концентратов, всяких лапшевников, мясных и молочных консервов. Его хотели отдать под суд, но не отдали — уволили из Дальстроя.

На смену ему Черное озеро принял Богданов, бывший уполномоченный МВД, герой процесса 1938 года.

Богданов ежедневно издавал приказы о дисциплине, бдительности, построил карцер. Это был тот самый начальник, который получал письма, адресованные мне от моей жены — с которой связь была разорвана около трех лет, изорвал эти письма в моем присутствии, вызвав к себе на квартиру. И бросил клочки в помойное ведро. Все это описано мной в рассказе «Богданов» со всей документальной ответственностью.

Богданов пил день и ночь. И даже спирт перенес со склада себе на квартиру. Секретарь его Федя Карташов говорил, что начальник пьет с утра, как встанет, и до вечера — последний раз на ночь. Все три месяца, что Карташов работал у него секретарем.

В одну из ночей зимних, лунных на Черное озеро пришел человек в пальто с меховым воротником явно не колымского типа.

Он пришел в контору — ночному сторожу показал <приказ>, разбудил секретаря начальника. Карташов хотел разбудить начальника района, но приезжий делать это не велел и лег на столе спать.

Карташов решил разбудить все же Богданова — понимая, что Богданов не простит ему этой оплошности.

Богданов оделся в военную майорскую форму, вошел в контору. Пришедший предъявил документ: «Сдать район в 24 часа т. Плуталову».

— Прошу в комнату, — сказал Богданов. Плуталов отказался. Попросил немедленно принести ему спирт, опечатал бочку своей печатью. И просидел тут же в конторе те 24 часа, в течение которых он принял район.

Семья Богданова, а у него была красавица жена и двое детей, уехали на каких-то случайных нартах оленьих, погрузив имущество.

Уехал Богданов, ничуть не теряя своего великолепного вида и своей уверенности. Потом Карташов объяснил мне, что эта вечная уверенность Богданова объяснялась тем, что он всегда был под хмельком, всегда был на взводе.

Жену свою Богданов бил необычайно, не стесняясь ничьего присутствия.

Ранней зимой под уверенной и веселой рукой Виктора Ивановича Плуталова — горного инженера, который приехал без запаса, чтобы начать чисто горную, производственную часть, и который не спрашивал, конечно, Касаева и дисциплину.

Началась энергичная работа. Стали бить шурфы и рыть законтурные траншеи.

Массивный след угля приводил к развертыванию самых серьезных работ.

Дело в том, что этот район открывал разведчик техник Попов, теперешний главный инженер Дальстройугля. Уголь промывали зимой — прогноз Попова должен быть подтвержден. На район отпустили средства.

Уголь исчезал в пережимах, уходил в сопки. Ничего промышленного тут не было.

Так тут ничего и не нашли. Настал, наконец, час, когда высшая комиссия инженерная осмотрела весь район. Последний раз в комиссии участвовал и Попов, и закрыла его.

Тут стали передавать остатки людей на прииски — Хейт был рядом и туда ушли быстро. По сообщениям, по разговорам, по слухам, на Хейте дневальным был Анатолий Гидаш — ему удалось вернуться в Москву еще до войны.

У меня такого знакомства не было, всех моих знакомых расстреляли в 1937 году.

Я пошел к Плуталову и попросил его открыто — не отправлять меня на прииск, если будут отправлять.

— Мы не будем больше отправлять на золото.

— Может быть все-таки случайность.

— Ладно. Я тебе обещаю — на болото отсюда не поедешь.

Плуталов — тот начальник, который расхаживал по командировке, по своему хозяйству, скучал. Любимой его поговоркой была: «Я ведь не работник НКВД». Очевидно, характеры Парамонова с Богдановым стали притчей во языцех в «высших сферах». По крайней мере, угольных, в «Дальстройугле».

Плуталов очень любил меняться с проезжими якутами и эвенками. Даст шапку со своей головы и берет у якутов расшитый малахай. С якутами и эвенками он торговал не без выгоды для себя. У проезжего каюра выменял огромный старинный серебряный портсигар — щелкал им ежеминутно.

— Закуривай, Шаламов, папироску.

Плуталов сидел на ступенях крыльца, а я — на земле, в почтительном отдалении.

Я взял папироску. Поблагодарил:

— Спасибо, гражданин начальник.

— Хорош портсигар?

— Хорош.

— Это я у каюра выменял.

— Вы, Виктор Иванович, прямо как помещик на Черном озере, — сказал я.

— А что ты думаешь, — сказал Плуталов. — Я и есть помещик.

Всем бы начальник был хорошим, да закрыли работы: угля на Черном озере не оказалось.

— Второй район закрываем, — меланхолично сказал Плуталов, когда получил это важное известие.

— Я всегда [нрзб] закрываю.

Закрывать район тоже нужен опыт, смекалка. Что бросить, что сохранить, что списать. Парамонов был специалистом открывать — что получить в первую очередь, отправить, что вырвать — что украсть. Как подбирать людей.

Саша Коновалов

В угольной разведке на Черном озере работы было мало — если вспомнить золотые забои — и в свободные вечера, я, воскресший, рассказывал соседям по бараку разные истории «из жизни»: о народовольцах, о декабристах, об эсерах, Нечаеве, расшатавших царский трон.

В бараке жило человек шестьдесят. Здесь-то я и проводил свои устные анкеты о Пушкине, Некрасове, читал вслух «Ревизора» и «Евгения Онегина». Это было время, когда начальник района — района, в котором еще нет населения, а есть только штаты высшей администрации — был Виктор Николаевич Плуталов — первый и единственный инженер на этом начальниковом посту. Плуталов относился к чтениям либерально, главное внимание обращал на производство, на фронт работ — Плуталов сменил бывшего уполномоченного МВД Богданова, рвавшего письма заключенных и практиковавшего всяческие «выстойки» — каждый день сочинялись и читались приказы об укреплении дисциплины, о бдительности — до того дня, как выяснилось, что...

<не окончена запись>

Кадыкчан, Аркагала

Начали игру в чехарду, чтобы размяться, заводилой был [Корнеев], знакомый мой сибиряк из тех, что идут первыми в работе. На Аркагале он еще держался, но потом был переведен куда-то на прииск и умер. Но все это было потом, а пока Корнеев играл в чехарду. Я не играл, мне не хотелось уезжать из мест, где хорошо жилось. Везли нас на Аркагалу[43], на уголь, стало быть. Уголь — это не

камень в золотом забое, это гораздо легче. Провожали нашу машину и увезли на Аркагалу, но на Аркагалу, на уголь, мы не попали. Этап был «повышенной упитанности», как пишут в лагерных актах приема людей, и нас выпросил у Аркагалы начальник, инженер Киселев на свой участок Кадыкчан, где шли работы по зарезке шахты. Здесь был единственный ворот для людей — кровавые мозоли, голод и побои. Вот чем встретил нас Кадыкчан. Худшие времена 38-го года, приисковые времена. О Киселеве я написал очерк «Киселев», стопроцентной документальности. До сих пор не понимаю, как из беспартийного инженера он мог превратиться в палача, в истязателя. Киселев бил ногами заключенных, вышибал им зубы сапогами. Заключенного Зельфугарова он на моих глазах повалил в снег и топтал, пока не вышиб половину челюсти. Причина? Слишком много говорил. И работа-то еще не начиналась в этот день.

Барак был палаткой, знакомой армейской палаткой, где политические дрожали у печек, которые здесь, в отличие от прииска, топили углем и — без ограничений. Правда, ограничения были вскоре Киселевым введены — у шахтеров, идущих с работы, конвой стал отбирать уголь, но справиться с таким крайне не просто.

Все черноозерцы потрясены, угнетены знакомством с новым начальником, который поставил проблему слишком серьезную, требующую быстрого решения. В 38-м году всех постреляли, поубивали бы прямо в забое. Но здесь, вроде, не слышно было о массовых расстрелах, расстрельных приговорах.

— Выход один, — сказал я в бараке вечером, — в присутствии высокого начальства дать Киселеву по морде просто рукой. Дадут срок, но за беспартийную суку больше года-двух не дадут. А что такое год-два в нашем <положении>? Зато пощечина прогремит по всей Колыме, и Киселева уберут, переведут от нас.

Разговор этот был поздно ночью. На следующий день после развода меня вызвал Киселев.

— Слушаюсь, гражданин начальник.

— Так ты говоришь, прогремит на всю Колыму?

— Гражданин начальник, вам уже доложили?

— Мне все докладывают. Иди и помни, теперь я с тебя глаз не спущу, но пеняй на себя.

Доложил ему это все горный инженер Вронский, с которым у меня случались ссоры, Вронский был в нашем аркагалинском этапе.

Киселев был не трус, надо было выбираться из Кадыкчана.

Выбраться мне помог доктор Лунин, Сергей Михайлович Лунин[44], о котором я рассказал уже в очерке «Потомок декабриста», да и в других <очерках> встречалась эта фамилия. Сергей Михайлович Лунин был неплохой малый, несчастье его было в том, что он совершенно умирал от преклонения перед всяким большим и малым начальником лагерным, медицинским, горным.

Я ходил не в шахту — на «поверхность». В шахту меня не допустили бы без техминимума. Шахта была газовая — надо было уметь замерить газ лампочкой Вольфа, научиться не бояться работать в лаве после осыпания, привыкнуть к темноте, смириться с тем, что в легкие твои набирается угольная пыль и песок, понимать, что при опасности, когда рухнет кровля, надо бежать не из забоя, а в забой, к груди забоя. И, только прижимаясь к углю, можно спасти жизнь. Понимать, что крепежные стойки ставят не затем, чтобы что-то держать, каменную гору в миллиарды пудов весом никакими стойками не удержать. Стойку ставят затем, чтобы видеть по ее треску, изгибу, поскрипыванию, что пора уходить. Вовремя заметить — не раньше, не позже. Чтобы ты не боялся шахты. Чтобы умел заправить лампочку, если погаснет, а заменить ее в ламповой — нельзя. Аккумуляторов на шахте было очень мало. Простые лампочки Вольфа служили там.

Я работал на поверхности, и работа мне не нравилась, и конвоя крики. В шахту же конвоиры не ходят. Десятник в шахте тоже никогда не бывает, в отличие от приисковых бригадиров и смотрителей. Боятся, как бы не выпал кусок угля на голову бригадира. Словом, у шахты было много преимуществ, а самое главное — тепло, там не было ниже двадцати — двадцати двух градусов — холода, конечно, но все же не пятьдесят градусов мороза открытого разреза золотого забоя с ветром, сметающим шею, уши, руки, живот, все, что откроет человек.

У меня многократно отмороженное лицо, руки, ноги. Все это на всю жизнь. При любом самом незначительном холоде ноет, болит.

Несколько ночей я проработал на терриконе шахтном — туда время от времени из шахты шла порода, и надо было ее разгружать — открыть борта, снять борт вагонетки, и она сама вывалится, рабочий только сгребает камни со дна вагонетки. Породы шло мало, и я до

такой степени замерзал на этом терриконе, что даже заплакал от мороза, от боли. Уйти же никуда было нельзя. Мест для обогрева там тоже не было. Я решительно попросился в шахту. Начальник низового участка Никонов посмотрел на меня с симпатией, но неуверенно, и все же записал на курсы техминимума. Эти курсы проводились в рабочее время, вернее в часы, когда меняется смена, учащиеся не участвуют в передаче смены.

В шахте две смены — ночная и дневная. Научиться не ходить без воды под землю я привык скоро, да и вообще вся наука не оказалась сложной — шахтеров учили и все товарищи, учили на ходу, что надо делать, в отличие от взаимной ненависти в золотых бригадах. Я стал привыкать к шахте. Неудача была еще в том, что у меня очень сухая и тонкая кожа — клопы и вши едят меня ужасно. При сухой коже я очень редко потел при работе. Товарищи считали это просто ленью, а начальство, особенно приисковое, — филонством, вредительством.

Впоследствии из занятий на фельдшерских курсах я понял, что только пот разогревает мускулы для наилучшей отдачи. Я, сколько ни работал, никогда не запотевал, мой напарник по шахте Карелин, краснорожий парень молодой, обливался потом при каждом движении — и очень нравился десятнику и начальнику участка. Я проработал на физической <работе> много лет: и в лагере, и до лагеря, но всегда эту работу ненавидел, хотя техникой владел, простой техникой землекопа, горнорабочего. Я — артист лопаты, я — тачечник Колымы. И еще я знаменитый магаданский поломой.

Конечно, шахта убивает. Я видел много «орлов» — аварий с человеческими жертвами, когда человека расплющивало в пластину. Видел живые куски мяса, стонущие. Шахта есть шахта. Первая авария, которая произошла со мной, была на откатке вагонеток во время счистки лавы: кусок угля перелетел загородку (она не была глухой, как положено) и ударил меня в голову. Я помню только яркую вспышку синего цвета и голос:

— Ты встать можешь?

— Да, конечно.

Я встал, потер ушибленное место, замазал ранку по шахтерским правилам угольной пылью — заслюнил угольную пыль и намазал. Угольная пыль — это гуминовая кислота. Она не только не вредна, но даже полезна для легких. И туберкулезом на шахте заболевают мало. Истинное заболевание шахтеров не туберкулез, а

силикоз — от пыли породы, которую вдыхают легкие шахтеров.

С откатки я перешел в лаву, на выборку угля после взрыва. Крепежники ставят крепы на местах, где бухтит кровля, и навальщики выбирают уголь, сталкивают его вниз по желобам, которые трясет мотор. Здесь у меня тоже была одна авария. Во время смены не успели выбрать весь уголь с отвала, а остатки были как раз под кровлей, которая тут трещала. Постучали сильно — не отваливается. Попробовали отвалить ломом — не отпадает. Значит, будет стоять. Я выбрал весь этот уголь, когда обвалилась кровля. Пласт тут небольшой, метра полтора. Нагнувшись, стоять — как раз по моему росту. Поэтому кровля не ударила меня, а сбила с ног и опрокинула. При падении кровля разбилась, и я вылез. Конечно, такое падение кровли, да еще туча белой пыли при этом — всегда тревожно сначала. Мгновенно сбежалось все начальство: и те, кто принимал смену, и те, кто ее сдавал. У меня было ушиблена голова.

— Будем заполнять карту? — спросил начальник.

Он имел в виду карту несчастных случаев, которая сильно отражается и на прогрессивке, и на добром имени инженера. Мне это было известно очень хорошо.

— Нет, гражданин начальник.

— Вот видите, товарищ главный инженер.

— Да, да.

— Это ты оставил, — спорил наш мастер, наш бригадир, — в следующий раз под суд пойдешь...

Но это кричали мелкие начальники. Инженер уже удалился. Впрочем, вскоре вернулся.

— Хочешь идти домой?

Под домом тут подразумевался барак.

— А можно?

— Можно, я тебя с конвоем пошлю.

Третья моя авария была в одном из штреков на нижней площадке в конце смены, где я цеплял последнюю вагонетку. Напарник мой уехал на вагонетке, а я как более опытный остался цеплять и прицепил за трос вагонетку временно с тем, чтобы, когда [подъедет], нацепить вторую, — перецеплю и пущу вторую первой. Никакого сигнала о подъеме не подавал, подают сигнал электрическим звонком. Как вдруг лебедка пошла, вагонетка развернулась на плите, прихватила меня за ноги к тросу и потащила наверх. Я закричал. Но наверху крика не бывает слышно. Рядом никого нет, чтобы вы-

ключить трос. Так меня тащило довольно долго, пока я почувствовал, что валенок мой прорезается тросом. В этот момент лебедка выключилась. Я поднялся наверх, оставив вагонетку. Оказалось, молодой блатарь-лебедчик, который не хотел оставить эту смену, по собственной инициативе включил лебедку, чтобы напомнить мне, что надо торопиться. Я даже не рассердился. Обошлось, и ладно.

— А почему же ты выключил?

— Показалось, что-то тяжело идет.

Четвертая авария была во время войны, я рассказываю о ней в очерке «Июнь».

Чем больше привыкал я к шахте, а шахта ко мне — тем спокойнее было на душе. Шахтерский труд подземного рабочего ценят, хотя [ты] и не крепильщик, не бурильщик, не газомерщик. В шахте надо что-то знать, чтобы не убить других и не убить себя. Чем больше я привыкал к шахте, тем лучше я узнавал людей в бараке. Сначала я так уставал и на работе, а главное, на амбулаторных приемах, по развлечению Сергея Михайловича, что человека в бараке, кроме Родионова, не видел.

Выяснилось, что напротив лежит крепильщик Бартенев, партийный работник из крестьян, вернувшийся к топору. Дальше М[нрзб], тоже крепильщик, этот потомственный шахтер, посадчик лавы, профессионал. Наверху на нарах помощник генерального прокурора СССР А. Я. Вышинского, бывший одесский прокурор Лупилов. Это был очень культурный человек, единственный человек в бараке, читавший книги постоянно. У него я взял и прочел тоже «Любовь шестидесятых годов», мемуары Шелгунова и Михайлова, перечел хорошо известную мне книгу как заново. Лупилов был тем человеком, который в разговоре о желаниях сказал, что хочет умереть в больнице, только в больнице, не в бараке, не на прииске под сапогами конвоиров, не под сапогами следователя, не под прикладами. Дух у него был боевой, у Лупилова. В шахту его не брали. Он замерзал на поверхности — а сапоги и приклады вынес с какого-то прииска 38-го года. Зимой, военной зимой, голодной зимой 41-го года Лупилов получил посылку, в которой был табак — его раскрали по дороге — и хороший, даже щегольской костюм вольного образца. Лупилов [нрзб] вручил костюм хлеборезу Феде Столбникову. Дар подействовал. Лупилов был освобож-

ден от работы. Ел хлеб с утра до вечера. Потом он умер от алиментарной дистрофии.

Железную койку напротив занимал Миша Оксман — крепильщик, напарник Бартенева. Оксман был политработник, начальник политотдела дивизии Красной Армии. Маршал Тимошенко, первым требованием которого при вступлении в любую должность было удалить всех евреев, вышиб Оксмана и обеспечил ему место на Колыме. Щаденко, который к этому делу руку приложил, тоже мог бы кое-что рассказать об аресте Оксмана. Сроку у него было пять лет. Малоразговорчивый, замкнутый Оксман оживился с началом войны. Начал строить планы, проекты. Речь идет не о заявлениях на фронт, я не знаю, кто из нашего барака подавал такое заявление. Во всяком случае, обнаружилось, как много у нас военных. С Оксманом же мы простояли немало ночей, чтобы выпросить у хлебореза хоть корку хлеба.

Напротив Оксмана и тоже на нижних нарах спал Александр Дмитриевич Ступицкий, бывший профессор артиллерийской академии, делегат 2-го съезда Советов. Срок у него был поболее, чем у Оксмана. Ступицкий на Аркагале работал десятником на поверхности, выгружал уголь, следил за выгрузкой угля и породы. Поворотливый, быстрый, хотя и заросший сединой, Ступицкий был энергичным работником. Его хлопотливое дело кипело даже в большой мороз. Именно Ступицкий сказал мне 23 июня, что началась война, что немцы бомбят Севастополь.

— Я не хотел быть военным, я хотел быть дипломатом, не послом каким-нибудь, а консулом где-нибудь в Бейруте — делать своими руками дипломатическую черновую работу. На военную службу я попал случайно. Что такое призвание — дым. Я — профессор военной академии.

Ступицкий сильно картавил. Была у него дворянская картавость ленинского типа. Ни в какие барачные дела Ступицкий не мешался. Пайка в руке — обед в столовой — сон — и снова бешеная работа на шахтном дворе.

— А в шахту, почему вы не пойдете в шахту? — спросил я его как-то. — Десятником бы там, не 60 ведь градусов.

— Боюсь, — ответил Ступицкий. — Боюсь шахт до смерти. Не могу понять, умираю от страха.

Ступицкий был убит на моих глазах в декабре 1941 года. Шофер пятитонки, груженой, с прицепом, попятил ма-

шину и попал ребром кузова в лоб Ступицкому, который выписывал на крыле другой машины квитанцию. Ступицкий упал и был раздавлен. Не скоро принесли носилки и прямо на руках понесли в лагерную амбулаторию километра за полтора. Но спасти Ступицкого было нельзя.

Начало войны было страшным для Аркагалы. Немедленно были отменены все проценты и заключенные переведены на трехсотку <производственную> и шестисотку — стахановскую карточку, уменьшены нормы питания. Барак, где жила 58-я, [был] окружен колючей проволокой, и посажен особый вахтер, увеличен конвой, все ларьки, «выписки» отменены. Начались поверки, выстойки чисто приискового типа. Начались допросы в следовательском домике. Хлеб мгновенно приобрел значение чрезвычайное. Именно в это время всякая выдача хлеба у Лунина прекратилась. Я попробовал попросить хлеба, но Сергей Михайлович заявил раздраженно:

— Сергей Михайлович всех не обогреет.

А санитар его Коля Соловьев, бывший блатарь, пояснил:

— Сергею Михайловичу осталось сидеть с гулькин нос, он рисковать не будет.

Я сразу превратился в политического рецидивиста, кадрового врага народа. Поддерживать знакомство со мной было опасно, в амбулаторию на посиделки Сергей Михайлович попросил не ходить.

Вот в это время на Аркагале я стал «доплывать» очень сильно. Запасов материальных у меня не было давно, и я как-то быстро стал просить у повара добавки. Повар Петров, который тоже жил в нашем бараке, щедрой рукой наливал мне баланду, беловатую воду, юшку. Сразу обнаружилось, что на кухне все мясо идет блатарям, и аркагалинская столовая превращается в самую обыкновенную приисковую, где блатари, угрожая ножом, грабят столовую, требуя налить погуще [нрзб]. Вот в это время мы вдвоем с Оксманом каждую ночь дежурили у хлебореза, пока не замерзали, — не будучи в силах отвести ноздрей от запаха хлеба. Но хлеборез Столбников не собирался обращать на нас внимания.

— Слушай, — сказал Оксман, — из этого ничего не выйдет. Надо стоять по одному. Вот я пойду в барак, а ты стой, требуй, проси. Федька заперся в хлеборезке.

Я этому совету внял, Оксман ушел в барак, а я попросил у Столбникова. Кроме густого мата, я не услыхал ничего. Прошел Сергей Михайлович туда же, в хле-

борезку, акт что ли подписывать, но тоже ничего не вынес. Я постучал еще раз — мат был того же тона. Я уже замерз до костей, вернулся в барак — уступая свою очередь, на счастье, Оксману. Прошел чуть ли не час, и через барак, совершенно оледеневший, пробежал Оксман. В руках у него было грамм триста хлеба, который он, конечно, даже и не прятал по правилам полной конспирации. Мне не повезло. Рядом со мной вскочил Бартенев — знаменитый крепильщик, видевший с нар всю эту сцену, всю эту пантомиму, и кинулся на улицу. Через полчаса он примчался в бешенстве обратно.

— Не дал?

— Нет. Но завтра я — иначе, я встану у ларька и, если Федька хоть кому-нибудь попробует дать кусок, я подойду и потребую дать и мне. Не даст — к начальнику, и кончилась жизнь хлебореза Столбникова.

Бартенев был знаменитый крепильщик, неоднократно премированный, всегда получал все сплошь выписки, выдачи, пайки, но у него была 58-я, как у нас, и он через сутки был обречен на голод.

Вся эта сцена разыгралась ночью, поздно вечером, когда нашу зону запирали на замок, дежурный там стоял только днем. Но замок только закладывался, и снять его было легко. На следующий день Бартенев отправился в свою принципиальную экспедицию. Через полчаса вернулся с куском хлеба грамм в 500. Вот в это время и получил свою посылку Лупилов.

И вдруг все изменилось. Оказалось, что все эти распоряжения об ущемлении на случай войны были сделаны по мобплану, составленному вредителями, какими-нибудь Тухачевскими. Что Москва не утверждает всех этих мер. Наоборот, всех заключенных не считают врагами народа, а надеются, что в трудный час они поддержат родину. Паек будет увеличен до килограмма двухсот стахановский, шестисот — производственный и пятисот — штрафной, для отказчиков. Все переводятся на усиленное питание, вводится реестр питания, до каких-то отдельных блюд для выполнивших трехсотпроцентный план. Любое блюдо по желанию за красным столом рядом с начальником шахты, с начальником работ. Продукты будут только американские. Подписан договор с Америкой, и первые корабли уже разгружаются в Магадане. Первые американские даймонды, студебеккеры уже побежали по трассе, развозя на все участки Колымы пшеничную муку с кукурузой и костью.

Миллионы банок свиной тушенки, бульдозеры, солидол, американские лопаты и топоры. Приказом было запрещено называть троцкистов фашистами и врагами народа. Начались митинги:

— Вы друзья народа.

Начальники говорили речи.

Многие подали заявления на фронт, но в этом было отказано. Правительство просит честно трудиться на благо родины и забыть все, что было, все, что было хоть бы в первые месяцы войны, все, что было на приисках.

Зона к чертям, никакой там зоны для 58-й. Меня вызвал к себе начальник ОЛПа Кучерской.

— Завтра не ходи на шахту, Шаламов.

— Что так?

— Есть работа для тебя. Я, смотри, решил дать тебе поручение, ты знаешь, что за работу? Колючую проволоку снимать с зоны 58-й, где вы живете. [Нрзб.]

— Я с удовольствием.

— Я так и думал, что в тебе не ошибся.

— А помочь?

— Выбирай сам.

С кем-то, я уж не помню, сматывали мы на палки десять рядов колючей проволоки. Началась война, заключенных кормили во время войны на Колыме очень хорошо, стали кормить хуже после Сталинграда и вовсе вернулись к черному хлебу на другой день после окончания войны.

— Черняшка вот, пожуй, а то ведь воздух[45] сожрешь целый килограмм — и никакого говна. Все всасывается. Какая ж тут польза.

Лагерный паек — пайка, как говорят арестанты, — это главный вопрос арестантской жизни. С двадцатых годов начальство хочет получить давлением на желудок управление человеческой душой в самом таком грубом смысле. Именно конец двадцатых годов, перековка доказали, что увеличение тюремного пайка, умелое управление всей этой довольно сложной пищевой гаммой приносит невиданные результаты. Вместе с зачетами рабочих дней пайка служит самым эффективным инструментом общества в борьбе за план. Градации в питании родились перековкой на Беломорканале. Конечно, блатари обманули, как всегда, начальство. Пайки и освобождение приносила справка, которую можно было добыть простой угрозой, пригрозить десятнику, и ты уже ударник, стахановец, и ты уже на воле.

Беломорканал был разоблачением воров, но от самих принципов питания в зависимости от труда, «оплаты по труду», от шкалы не отказались, а наоборот, расширили. Всего было пять категорий: 1200 граммов, особая — план выполнен более 130%; производственная — 120%, — штрафная и этапная — 500 граммов. Заключенные порадовали создателей системы лагерного питания. Карточки стали менять раз в пятидневку. Увеличилась забота о подсчете, а следовательно, о сокрытии, смазывании цифр, о приблизительности. Условность была официально признана. На бригаду в 38-м году давали несколько карточек по высшей, несколько по средней, несколько по производственной выработке. Бригадир распределял карточки сам, то отнимая, то отдавая. Ничего, кроме безобразий и произвола, из этого не получилось. В 1939 году перешли на стимуляцию по номерам. Первая категория — самая высокая, далее — вторая, третья, четвертая, пятая и шестая.

Джелгала. Драбкин

На Джелгале[46] я встретил много людей, которые, как я, были задержаны до конца войны в лагерях, которые «пересиживали». По свойствам моей юридической натуры, моего личного опыта, бесчисленных постоянных примеров, что Колыма — страна чудес, по известной поговорке лагерников-блатарей, я как-то не волновался этой юридической формальностью, нарушением ее.

Я знал, знал еще с Вишеры, что лагерь — это такое место, где лишнего дня держать не будут по собственной инициативе, что остаться лишний день в зоне после освобождения — абсолютно исключено. И начальство карается такой мерой, что никогда на это нарушение не пойдет. Не так было с моими новыми знакомыми по спецзоне, с моими попутчиками по этапу из Нексикана. Они вызывали начальников, заявляли протесты надзирателям, подавали заявления, телеграммы на имя Сталина — словом, старались использовать лагерную демократию всесторонне. И действительно, как бы отвечая на этот зов и протест, в спецзону приехал вновь назначенный начальник УСВИТЛа Драбкин[47].

Кровавые события 37-го года коснулись, конечно, и аппарата НКВД. Кто-то подсчитал, что наибольший

урон НКВД нанес Берия, он расстрелял пятьдесят тысяч ежовских работников из расстрельного аппарата.

На Колыме был арестован и умер в магаданской тюрьме Иван Гаврилович Филиппов — член коллегии НКВД, бывший путиловский токарь, бывший председатель разгрузочной комиссии в Соловках, снятый в известном фильме «Соловки», направленный в чекисты еще в первые дни революции. Это было время чекистов-поэтов, когда Агранов был заметной фигурой в литературных салонах Москвы, Ягода покровительствовал Горькому и всем его затеям с трудкоммунами, когда следователь читал на память стихи Гумилева. Второй женой Ивана Гавриловича была библиотекарша Дома Герцена[48], ездившая с мужем и на Вишеру, и на Колыму. Открывая Колыму, Берзин взял Филиппова с собой. Еще в 1935 году, к 3-летию Колымы, Филиппов получил орден Ленина, а в 38-м умер в магаданской тюрьме от сердечной слабости. Филиппова на посту сменил Гаранин, развивший бурную кровавую деятельность. Гаранина я видел раз сорок во время его приездов на прииск «Партизан». «Партизан» был вроде центра борьбы с контрреволюцией. Расстрельные списки читались на всех поверках. Об этом я написал в очерках «Надгробное слово» и «Как это началось», входящих в мою книгу «Артист лопаты». Было ясно, что Гаранина вот-вот арестуют и расстреляют. Эта особенность системы была известна очень хорошо. Так и случилось. В декабре Гаранин был объявлен «японским шпионом» («родная сестра разоблачила» — по тут же спущенной вниз легенде) и расстрелян. Заместителем Павлова по лагерю стал Вишневецкий, но этого повидать я не успел.

В бухте Пестрая Дресва погибло более трех тысяч заключенных. Бухта Пестрая Дресва на побережье. Там заключенные должны были строить порт. Нужное количество продуктов туда было завезено и помещено на складах возле моря. Начались зимние шквалы, и во время одной из бурь все продукты смыло в море. Три тысячи человек умерли от голода, пока в Пеструю Дресву удалось забросить продукты. Вывести людей пешком не было, очевидно, возможности.

Павлов[49] с помощью Гаранина расстрелял на Колыме гораздо больше людей, но маятник судьбы качался, шел в это время в сторону сбережения людского состава после гаранинских акций. Павлов отдал под суд Вишневецкого, и начальник УСВИТЛа исчез. Его не расстре-

ляли, разумеется, а просто перевели куда-то вниз, на Большую землю.

После Вишневецкого был, мне кажется, Дятлов, но судьба его мне не известна. Сейчас был Драбкин — он пробыл на должности несколько лет. Драбкина сменил Жуков из Ленинградского управления безопасности. После исчезновения Ежова силу стал набирать Берия, и на Колыму прибыл Жуков. Жуков был человек демократичный, подавал заключенным руку. Например, при объезде центральной больницы в 1952 году

— Почему вы рапортуете «зэка»? Надо говорить не зэка, а заключенный. Не надо портить русский язык, — говорил Жуков старшему повару нашей больницы Юре.

После ареста Берии Жуков застрелился, не уезжая из Магадана. Какая сила управляет этими страстями, этими судьбами?

Возвращаюсь к Джелгале. В один из дней заключенных в бараках разбудили командой:

— Внимание, встать!

В барак вошла толпа людей в военных мундирах. Один из них вышел вперед.

— Вот я, позвольте представиться, Драбкин. Слышали?

Барак молчал.

— Я — самый главный на Колыме. Я — начальник УСВИТЛа, начальник вашего лагеря. Прошу задавать вопросы.

— Почему мы пересиживаем срок?

— То есть как пересиживаете срок — юридическая вольность какая, — весело говорил Драбкин своим спутникам-телохранителям. — Объясните.

— У нас кончился срок еще много месяцев назад, мы не были освобождены, и тут начальство не может объяснить, в чем дело.

— Где здесь начальник?

Местный работник предстал перед взором Драбкина.

— Что вы им, — жест в сторону заключенных, — не объяснили советских законов, что у нас никто не пересиживает срок? А вы, — Драбкин повернулся к задавшему вопрос, — разве вам не объяснили, что вы здесь находитесь до конца войны полностью на лагерном положении?

— Нам говорили в УРЧ — задержаны до конца войны, но никаких документов не присылали.

— Ах, вам не показывали документов. Ну, эту ошибку я легко исправлю. Еще вопросы есть?

Вопросов не было.

— Вот видите, а то говорите — пересиживаем, — улыбался Драбкин. — У нас нет людей, которые бы что-то пересиживали.

И Драбкин удалился. Недели через две из Магадана действительно прислали каждому по выписке. На основании распоряжения правительства от такого-то и такого-то числа и года...

Джелгала. Суд в Ягодном

В карцере на Джелгале я сидел полтора месяца[50]. Это была крошечная камера полтора на два метра, деревянный ящик глухой, куда воздух, свет и тепло попадали только через открытую дверь. До потолка я доставал рукой без труда. Это была часть штрафного изолятора, карцер штрафного изолятора, ибо в каждом карцере должен быть карцер еще меньше. Как изолятор был карцером для джелгалинской спецзоны, а сама Джелгала была карцером всей Колымы, а сама Колыма была карцером России. С этим чувством я и провел эти полтора месяца. Кормили меня — триста граммов, кружка воды и суп через день. Изолятор был построен по каким-то типовым чертежам, в нем была и большая камера с нарами, где было всегда много людей и откуда ходили на работу. Такие бригады были во всех РУРах. РУРы — это роты усиленного режима. О РУРе на прииске «Партизан» в 1938 году написан мой документальный очерк «РУР».

Такой же изолятор рабочий был и на Джелгале. Люди выполняли план, давали металл. Каждый день за работягами приходил конвой. Работали они где-то неподалеку, потому что на обед их приводили и кормили обедом, уже принесенным, дневальный за обедом, конечно, не ходил, но к обеду все было готово.

Бригада уходила на работу, а дневальный приносил грязную посуду и заставлял меня ее мыть: за это я доедал остатки, да и от своего обеда хлеб и кашу отдавал мне дневальный за труды. Сначала он боялся, приносил в карцер воду для мытья, но началась весна, горячее ко-

лымское солнце сияло, лиственницы пахли. Дневальный осмелел, стал пускать меня мыть под струю воды: мимо шел желоб с текущей водой для промприбора, для бутары. Это был отведенный в желоб ручей.

— Вот вы не хотите свидания с Заславским[51] и с Кривицким[52].

— Я уже говорил вам.

— Вы превратились в банду уголовных убийц, — орал [следователь] Федоров.

Я не понимал, в чем дело. Догадался только уже на воле, проглядывая газеты за эти годы. Именно в это время Сталин объявил, что троцкисты превратились в банду уголовников, сомкнулись с уголовниками.

— Так не хотите признать, что Кривицкий требовал от вас выполнения государственного долга?

— Кривицкий — подлец.

— А Заславский? Он говорит слово в слово...

— Заславский тоже подлец.

— А Шайлевич?

— Я не знаю, кто такой Шайлевич.

— Ну, с вашей бригады, бывший директор спортобщества «Динамо». Его из Ягодного...

— Никогда в жизни я Шайлевича не видел.

— Увидите еще.

— А если я попрошу вызвать моих свидетелей, ну, из той же бригады. Вот Федоров, Пономарев.

— Охотно, хоть десять. Как вы не понимаете, что я каждого пропущу сквозь свой кабинет и все они покажут против вас, все.

— Что верно, то верно. Как же быть?

— Ждать решения судьбы. Почему вы плохо работали?

— Я болел, а больной ослабел от голода.

— Напишите заявление, что вы больны и болели.

Я написал.

В ту же ночь дверь моего карцера раскрылась, и дневальный велел мне выйти. У стола стоял человек в старом полушубке. Это был врач из амбулатории. Я обрадовался.

— Как фамилия? — ясным голосом спросил врач.

— Шаламов.

— Инициалы?

— Варлам Тихонович.

Врач сел к столу, вынул медицинский бланк и ясным и твердым почерком написал: «Справка. Заключенный Шаламов В. Т. в амбулаторию № 1 спецзоны за медицинской помощью никогда не обращался. Заведующий амбулаторией № 1 врач В. Мохнач».

Врач сложил справку вдвое и вручил дневальному. Вот это был удар, федоровский удар.

С доктором Мохначом судьба меня свела через несколько лет в центральной больнице. Мы вместе ждали этапа в Берлаг в январе 1951 года. В присутствии киносценариста Аркадия Захаровича Добровольского я спросил Мохнача:

— Вы не работали когда-нибудь на Джелгале?

— Ну как же, — ответил Мохнач. — Я весь сорок третий заведовал амбулаторией. Там две амбулатории, так я вот заведовал амбулаторией № 1.

— А не помните ли вы, Владимир Онуфриевич, — сказал я, — как вас вызывали ночью в изолятор к следственному арестанту.

— Нет, не помню.

— Вы написали ему справку, что он никогда в амбулаторию не обращался.

— Мало ли справок мне приходится давать.

Тогда же в больнице я выяснил, что он зря щупал мой пульс в джелгалинской амбулатории. Доктор Мохнач не был врачом. Не был даже и фельдшером. Он был химик и в больнице работал в лаборатории. В «Литературной газете» года два назад возникло какое-то целебное лекарство, над которым его автор работал уже тридцать лет. Идея эта автору, по сообщению в печати, пришла в голову где-то на Колыме. Этот изобретатель и есть Владимир Онуфриевич Мохнач, доктор колымского Освенцима, сыгравший такую, мягко выражаясь, незавидную роль в моем процессе.

Мохнач ушел, а я лег на пол около двери — я дышал через щель снизу — и постарался заснуть.

На следующий день дневальный принес хлеба побольше.

— Скоро, наверное, кончится следствие.

— Это Федоров знает.

— Да. Федоров сказал, что вы крупный партийный работник и что ваш процесс будет иметь мировую прессу.

— Наверное, — сказал я, никак не понимая, к чему затеян этот странный разговор.

— Не понимаете? Это он мне давно сказал, вначале еще. И я подумал — если я вас немножко подкормлю, мне зачтется.

— Зачтется, непременно зачтется.

Именно эта подкормка и дала мне возможность добраться до суда. К худу ли, к добру ли — не знаю.

Следствие кончилось, и меня должны были доставить на суд в трибунал Северного горнопромышленного управления. В июне Федоров нашел двух оперативников, которые должны были доставить в Ягодный без возврата, ибо осужденный на Колыме не возвращается в то место, откуда он прибыл на суд. Оперативники эти повели меня по тропам, но я идти не мог, ослабел в карцере, да и до карцера. Оперативники принялись меня кормить, дали целый килограмм беляшки, которую я запил ключевой водой. Запил — ослабел еще больше и двигаться не мог. Тогда они принялись меня бить, били часа два. Было ясно, что в Ягодный они уже опоздали. У меня много зубов выбито на Колыме прикладами и зуботычинами бригадиров, десятников и конвоиров. Кто именно выбил, я не помню, но два верхних зуба выбиты сапогами этих оперативников, именно это я помню, как будто это случилось вчера.

К ночи мы выбрались к трассе — 18 километров. Десять по тропам. Тут они закинули меня в машину, сели сами и приехали в Ягодный, сдали в изолятор, набитый так туго, что дверь [откидывалась] от давления людей, их вещей обратно, боец приставил к двери меня, и силой несколько человек вжали в тюремную камеру.

Тут же меня обыскали блатарские руки — до нитки, нет ли где-нибудь благословенного рубля или десятки. Когда все было перещупано, меня оставили в покое. Горела кожа, я обжег все лицо, руки, но еще больше мне хотелось спать. Я и спал до обеда, а в обед вызвали на суд.

Суд, единственный гласный суд в моей жизни, открытое заседание трибунала проходило в Ягодном 22 июня 1943 года. Были свидетели: Кривицкий, Заславский и третьим оказался Шайлевич, которого до суда я ни разу не видел. Тем не менее он очень бойко показывал, что я — враг народа, восхвалял гитлеровское вооружение, считаю Бунина — классиком. Я повторил свои суждения о Заславском и Кривицком, потребовал отвода, но суд не удовлетворил ходатайства. Был тут и бригадир Нестеренко, который говорил, что

за мной он давно следит как за контрреволюционером, борется с лодырем и врагом народа.

Мне было дано последнее слово. И в последнем слове я сказал, что я отрицаю всю эту клевету, я не могу понять, почему на прииске Джелгала третий процесс по контрреволюционной агитации среди заключенных, а свидетели едут все одни. Председатель сказал, что это к делу не относится. Трибунал удалился на совещание. Я ждал расстрела — день был нехорош, годовщина начала войны, но получил десять лет.

Заседание трибунала шло в темной, странной комнате, едва освещенной какими-то лампочками, то загорающимися, то тухнувшими. Все свидетели сидели плотным рядом на скамейках, тесно сдвинутых. Моя скамья была притиснута прямо к барьеру, и при желании я рукой мог достать до сапог председателя трибунала. Конвой, втиснутый тут же, дышал мне в спину. Конвоир, охранявший свидетелей, дышал в спину свидетелю.

После приговора меня увели обратно в ягоднинский изолятор. Начиналась одна из самых трудных полос в моей колымской жизни.

Кажется, прошел и десятый круг ада, оказывается, есть круги еще глубже.

Итак, 22 июня 1943 года я вышел на ягоднинскую пересылку, как бы заново рожденный — с новым сроком в десять лет. Лагерный промежуток с 12 января 1942 года по 22 июня 1943 года так и выпал из моей служебной биографии. Целых полтора года жизни после окончания одного приговора до начала второго так и не были юридически оформлены никогда. Неизвестно, жил ли я на земле в это время, был ли на небесах. В раю? В аду?

Я запрашивал лагерные учреждения, что мне было нужно для стажа, и получал только справки об этих двух сроках. А эти — самые трудные полтора года в жизни моей — так и не отразились ни в каком официальном документе. Находился я на Дальнем Севере с августа 1937 года по октябрь 1951 года, вплоть до моего освобождения по зачету после десятилетнего приговора. «Документов не сохранилось» — такая у меня есть справка.

В общем-то мне это совершенно не важно, так что товарищ Драбкин может быть спокоен, юридических претензий к моему статусу «пересиживающего срок» нет у меня.

Витаминная командировка

Какая у меня была первая работа после непродолжительного знакомства с уполномоченным Федоровым и осведомителями Заславским и Кривицким, закончившегося десятилетним сроком?

Я едва стоял на ногах и был равнодушен к своей судьбе. С Ягоднинского ОЛПа, так называемого комендантского ОЛПа, транзитки северной лагерной, меня перевели на швейную фабрику, где, кроме швейного цеха, был еще пошивочный цех. Мастер цеха обучал меня в числе двадцати или тридцати человек держать иглу, шить. Работа была превосходная, но и эта работа была мне не по силам. Я что-то делал, едва двигался, запинался за каждую щепку и внезапно понял, что я теперь доходяга, как на «Партизане» в 1938 году, но и это мне было все равно. Табельщиком в этой швейной мастерской работал Слуцкий — старый еврей, один из авторов учебника по истории Западной Европы. Фридлянд и Слуцкий — так назывались эти авторы. Мне кто-то его показал и назвал. Но все это было не нужно и не важно мне. Я мог думать только о еде, о сне.

Начальство решило, что куда-то меня пристраивать нужно. Начинаются скитания по витаминным командировкам. Я попал в штаты пищевого комбината. Первая же работа кончилась для меня чуть ли не арестом. На витаминных командировках битье поручают бригадирам и конвоирам. Меня били тут очень много. Документальный очерк «Ягоды», документальный очерк «Кант» написаны именно об этом времени. Не случайно первые мои рассказы вызвали в памяти дни особенного голода. Если на прииске хоть чем-нибудь кормили, хоть бурдой, ибо много крали конвоиры, надзиратели, блатари — везде, кроме больницы, то на витаминной командировке именно на жизнь-то, на «виту» и не оставалось ничего. Старые заключенные как-то приспосабливались, носили дровишки вольным десятникам, ягоды собирали конвою, ходили пилить дрова начальнику. Я тоже все это делал — напарник всегда нужен. Но все это поправить, возвратить к здоровой жизни не могло. С каждой командировки меня гнали на другую, предварительно избив и обсчитав, ибо ведь что-то я делал, как ни ничтожно было количество палок — дров, которые я приносил в лагерь, как ни малы кубометры грунта, которые я добыл своей лопатой из канавы, — ведь что-то я делал. Ре-

зультат моего труда всегда, во всех случаях, приписывали другим. Но это тоже мне было все равно.

Я чувствовал, что тяжело болен. Но амбулатории на витаминных командировках не было, а разъездные фельдшера никаких болезней у меня не находили. Я давно утратил ощущение разницы между вареным и сырым, горячим и холодным. Я глотал все, что попадалось на глаза. И, помню, бесконечно был счастлив, когда, выскочив утром на улицу, нашел несколько корок, совершенно свежих, еще теплых корок хлеба, брошенных проходившим десятником. После я несколько утр выскакивал на мороз, но корок больше не встречал.

На витаминных командировках норма питания много меньше приисковой. Да еще украдет конвой, бригадир. Передовиков там нет. Обычно даже на больших командировках кормили два раза в день, и на второй раз, кроме супа, ничего не бывало. Все, что положено вареного, — с утра, и хлеб подается с утра, чтобы заправляться и работать. Хлеб — это шестисотка, конечно, мяса там не бывает никогда, ибо по таблице замены белковую часть обеспечивает селедка. Именно селедкой живет Колыма заключенных. Это ее белковый фонд. Надежда. Ибо для доходяги нет надежд добраться до мяса, масла, молока или какой-нибудь кеты или горбуши.

43-й год остался в моей памяти какой-то полосой беспрерывных отморожений, битья, холода, доплываний на этом целебном витаминном комбинате.

На командировках «щиплют» стланик, рвут иглы из стланика, их пихают в мешок и увозят автомашины на Таскан, там пищевой комбинат, где варят стланик — омерзительный экстракт, который заставляют всех зэка пить в столовой перед обедом. Ставится конвоир, чтобы пили. Омерзительный вкус держится во рту не менее часа. Стало быть, как ни ничтожен обед, он испорчен, вкусовые качества потеряны.

В 37-м, 38-м, 39-м, 40-м, 41-м, 42-м цинга хлестала приисковых людей, валила с ног, ноги, десны пухли от цинги и пеллагры. От пеллагры у меня сходили с рук перчатки, с ног — концы ступней, кожа всегда там шелушилась.

Это записано в истории болезни, которая когда-то хранилась в больнице. Кожная моя перчатка была на выставке на врачебной конференции в Магадане. Но все это было позже. А в 1943 году я щипал стланик и опухал от цинги. На «Партизане» в 1938 году я опухал от цинги,

зубы шатались, и кровь с гноем натекала в ботинки, или, вернее, в «чуню» — резиновую галошу, ботинок заключенным на приисках не давали в гаранинские времена.

На этих витаминных командировках на моих глазах умер Роман Романович Романов — бывший комендант на прииске «Партизан». Я часто наблюдал — заключенные ведь не могут оторвать глаз от продуктов на вахте, когда раздают посылки. Романов управлялся с этим делом, посылки разбивал, ломал, куски сахара летели на пол, табак просыпался, сухари смахивались торопливо, якобы неумелой рукой, на пол. После раздачи все эти куски и крохи оставались, очевидно, на долю Романова и его товарищей с вахты. Роман Романович был царем на «Партизане», когда пришел наш этап. Я и не сомневался, что это вольнонаемный, партийный даже человек. И вдруг оказалось, что его арестовали, судили по берзинскому делу, отправили на «золотишко». Сейчас он прибыл на витаминку полумертвецом. Он умирал в углу. Начались холода. Топора в палатку, обложенную мхом, не давали, и печку топили с пола тремя стволами, втолкнутыми в печь и горящими по закону трех головней. Вот тут-то и умер Романов, прижался к печке холодной. Я заталкивал эти деревья в печь, поддерживая огонь. Было как-то безразлично — буду я спать или не буду. Едва Романов захрипел, а товарищи уже отматывали его портянки. У Романова были хорошие портянки из одеяла, типичные портянки колымских доходяг, когда одеяло отрезано, но еще греет, если им окутать лицо, а главное, числится по арматуре, а портянки — обменная личная собственность арестанта. Я завел себе котелок жестяной из трехлитровой банки, точно такой же, как у меня был на «Партизане» в 38-м году, который начальник ОЛПа лейтенант Коваленко пробил кайлом собственной своей рукой и растоптал. Уничтожение личной посуды заключенных описано мной в очерке «Посылка».

Наконец, пришел и мой час. У меня началась дизентерия. Неудержимый понос сотрясал все тело. Пока я добрел до фельдшера, понос ослаб, температурного термометра у фельдшера не было, но обошлись и без термометра. И я был записан на прием к врачу. Врач вышел со мной на двор.

— Ничего нет?

— Нет.

— Ну, поедешь обратно.

С большим трудом моему кишечнику удалось извергнуть каплю зеленоватой слизи. Врач выписал путевку в больницу Беличью. Вот эта больница Беличья, фельдшер Борис Николаевич Лесняк и Нина Владимировна Савоева[53], главный врач этой больницы, и спасли меня для жизни.

Если жизнь — благо.

Больница Беличья была всего в шести километрах от витаминки и комендантского ОЛПа. Но пройти эти шесть километров законным путем мне удалось за шесть лет.

Беличья

Автомашина — я был в ней единственным грузом — мягко съехала с трассы и сразу сбавила ход, подпрыгивая на выбоинах, петляя по единственно возможным проездам, кое-как выбираясь к ночному, ничем не освещенному дому, бараку. На крыльце зажегся свет, кто-то с «летучей мышью» пошел вдоль барака, потом вернулся.

— Где больной?

Впервые за шесть лет меня назвали больным, а не падлой или доходягой.

— Вот.

Вслед за провожатым я пошел, волоча ноги, спотыкаясь о каждую выбоину пути, обходя какие-то лужи, выбираясь на тропки.

— Вот на это крыльцо.

Мы вошли в огромную брезентовую палатку, старую военную палатку, заставленную кроватями с сетками и деревянными топчанами. Везде дышали, кряхтели, стонали люди. Провожатый снял бушлат, надел на плечи, выпустил заткнутый за полы белый халат и оказался доктором Лебедевым.

— Сначала сюда, — он указал на крошечный кабинет.

— Мне в уборную.

— Ну, тогда не сюда. Александр Иванович!

Из мрака возникла огромная фигура, закутанная во множество халатов, в шапке зимней, с какой-то дощечкой в руках.

— Вот запиши его и — каждый час. Утром скажешь.

— Есть, иди сюда, — сказал кто-то с сильным грузинским акцентом.

Александр Иванович оказался бывшим секретарем Закавказского крайкома, которому было доверено дело величайшей важности — разоблачение симулянтов дизентерийников-пеллагрозников.

Александр Иванович должен был проверять стул больных:

кто сколько раз сходил, какого цвета стул. Консистенция, цвет и частота стула имели решающее значение для лечения дизентерии. И скобленная многократно фанерная доска была основным [нрзб], обличающим симулянтов документом.

Время от времени больной вскакивал и судорожно мчался, кидался в уборную с закрытым «очком». На «очке» лежала доска. Вот на этой-то доске и должны были оправляться больные и ждать, пока Александр Иванович не посмотрит стул. Фанерная доска Александра Ивановича была разграфлена на несколько вертикалей — цвет, количество, консистенция, запах — и бесконечное количество линеек, на которые вносились фамилии больных.

Александр Иванович записал меня на последнюю линейку, отметил какой-то кружок или параллелепипед внизу доски и осмотрел мой кал. Александр Иванович был удовлетворен осмотром.

— Вот так и будешь, меня толкнешь и покажешь свой стул.

Опрос во врачебном кабинете был недолгим, все ныло у меня, все болело — раны незаживающих отморожений 38-го года. Человек в белом халате отвел меня на место, койку где-то посреди палатки, короткую по моему росту, покрытую одеялом, выношенным до чрезвычайной тонизны, но чистым одеялом, с подушкой, в которую было набито сено, колымское непахнущее сено. Тонкая подушка чуть прикрыла подголовник деревянный, вытянутые ноги свисали с топчана. Но я тотчас же погрузился в сон, в забытье, арестантский сон, которым я много лет спал на Колыме, с трудом отличая его от яви.

Ночью я очнулся мгновенно — не от голосов, от присутствия каких-то людей. Доктор Лебедев показывал на меня кому-то незнакомому, и кто-то незнакомый говорил:

— Да, да. Да. Да. Да. — И потом сказал непонятно: — Из счетоводов?

— Из счетоводов, Петр Семенович.

На следующий день заведующий первым терапевтическим отделением доктор Петр Семенович Калембет[54], бывший преподаватель Военно-медицинской академии, осмотрел меня, осмотрел без всякого интереса.

— Только положите его не здесь. Поставьте его койку рядом вон с той, с голубой. Поняли? А лечение, как обычно, стол — первый.

Меня сейчас же перевели рядом с голубой койкой. На голубой койке лежал опухший белой [нрзб] опухолью больной. Следы пальцев оставались на его ногах. Но больной не замечал этого — все что-то говорил, говорил, радовался, смеялся.

— Ну, знакомьтесь, — сказал Калембет, — вот вам товарищ и земляк.

Белый, опухший, похожий на утопленника больной был Роман Кривицкий, бывший ответственный секретарь «Известий», автор ряда статей на темы воспитания, да и брошюры у него какие-то были.

— Да вот, — Роман Кривицкий рассказывал о себе, об аресте, о Гражданской войне, в которой участвовал комсомольцем, о Бухарине, о газете [нрзб] тех лет.

— Ну, как здоровье?

— Я уже поправляюсь, — со смущенной торопливой улыбкой сказал Роман Кривицкий. — Скоро уже выпишусь. Вот ослаб только — на отметки к Александру Ивановичу не успеваю. Замерзаю только тут. Спасибо Петру Семеновичу, велел выдать одеяло добавочное. Скоро и на выписку.

К вечеру Роман Кривицкий умер.

— Это Петр Семенович хотел отвлечь его, поставив вашу койку рядом с ним. Не вышло.

— А что значит — из счетоводов?

— Из интеллигентов. Это у Петра Семеновича такая поговорка. И вы — счетовод, и я — счетовод, и он сам — счетовод. Для краткости.

Так сказал мне фельдшер Лебедев, которого я поначалу принял за врача. Лебедев же был колымский фельдшер-практик без медицинского образования, преподаватель физики, что ли. Калембет же был преподаватель Военно-медицинской академии по курсу внутренних болезней. Он был осужден в 1937 году на десять лет по 58-й статье.

Я стал немного приходить в себя. В отделение часто приходил молодой фельдшер из хирургического отделе-

ния Борис Николаевич Лесняк. Лесняк был арестован студентом последнего курса медицинского института в Москве. Отец его умер, а мать была в ссылке. У Лесняка был срок восемь лет по 58-й. Прекрасный художник, ученик скульптора Жукова. Он лепил, учил стихи, писал стихи и рассказы. Колымская колесница не раздробила, напротив — закалила и выдрессировала его для активного добра. Неисчислимо количество людей, которым помог Лесняк. На общих работах он не был, сразу попал по специальности, но это как бы дополнительный нравственный долг создало — поставило новые задачи. Он был в хороших отношениях с главным врачом Ниной Владимировной Савоевой, полной хозяйкой Беличьей, членом партии. Из партии Нину Владимировну исключили <за связь с зэка>. Предложили выбор: или партбилет, или муж. Савоева отказалась от партбилета.

Когда Лесняк кончил срок, она вышла за Лесняка замуж, но в партии не восстановилась, специализировалась на хирурга и много лет живет в Магадане. У них есть дочка — уже невеста.

Так вот. Беличья и была местом, где шла борьба за сохранение жизни именно интеллигентов, которых Калембет звал счетоводами.

Борис приходил ко мне каждый вечер, приносил кусок хлеба, табак в газете — сделал меня важным человеком в палате. День ото дня мне становилось ясно, из долгих разговоров выяснилось, что я ничего делать не умею, не обучен ничему, кроме копки канав, что у меня нет ну буквально никакой специальности, ремесла или любимого занятия, кроме чтения книг и стихов.

— Тебе надо остаться санитаром при больнице. На истории болезни. Так во всех отделениях. Будешь носить обед, мыть пол, утки подавать, температуру мерить, подумай.

— Что же думать, это было бы счастье, но я ведь ничего не умею.

— Я поговорю с Петром Семеновичем, а ты тоже его попроси.

Я попросил Калембета. Он одобрил.

— Это правильная линия. Вот скоро Макеев уйдет, ты его и заменишь.

Поскольку я уже включался в санитары, Петр Семенович перешел со мной на «ты». Я ему говорил «вы». Так заведено на Колыме. Это правильно — автоматизм врачебного мышления мешает ему санитара называть на

«вы». Да это прежде всего неудобно было бы самому санитару.

Настал час, когда за Макеевым пришли звать в этап. И фельдшер из бытовиков Михно, чьей кандидатурой был Макеев, уверенно потребовал оставить Макеева.

— Я уже говорил, — сказал Калембет, — Макеев уедет.

Я надел еще теплый санитарский халат Макеева и принялся за уборку, сопровождаемый осуждением фельдшера Михно и недоброжелательными взглядами всей палаты. Кого-то ставили из своих, да еще на живое место. Но после прииска и витаминки моральный барьер у меня был несколько понижен, наверное. Я ночевал в комнате, где было два топчана: мой и Михно. Михно пришел поздно ночью совсем пьяный.

— Ты, блядь, иди, сними сапоги. Не будешь? Ух, блядь!

Сапог полетел в мою сторону.

— Всех вас разоблачу!

Я не сказал, конечно, об этой первой ночи никогда и никому. Сейчас рассказываю впервые.

Вечером, как всегда, пришел Лесняк.

— Теперь ты имеешь две недели, по-колымски это срок огромный. За это время ты должен сделать то-то и то-то. Даже если месяц здесь пролежишь — весь срок ведь лежать не будешь, — то помни вот что: место выбивай сам. Добивайся направления в больницу. И если добьешься — больница поддержит, положат тебя. Месяц пролежишь — потом опять.

Калембет не очень ладил с главврачом и вскоре перешел на Эльген, где был начальником санчасти. Он был освобожден в срок в 1947 году. И сразу выяснилось, что переход в новый статус не прост. Выяснилось, что и за человека не хотят считать, — клеймо бывшего заключенного снять было нельзя. Тогдашний начальник санотдела подполковник Щербаков носился по трассе, угрожая бывшим зэка сделать их сущими зэка, вмешиваясь в их жизнь. Так он поступил с Траутом[55] на Дебине, когда тот хотел уехать на материк, — его не отпустили. Неизвестно, какие разговоры были у Петра Семеновича Калембета, только он в 1947 году в своем же кабинете на Эльгене покончил самоубийством. Как врач он точно дозировал морфий, ввел шприцем раствор. Калембет оставил записку: «Дураки жить не дают».

— Если уж ты хочешь с кем-нибудь советоваться, давай поговорим с Асей. Она плохого совета не даст.

Ася с удивлением прочла бумагу[56].

— Это только в нашей семье может случиться такая подлость. Таких случаев тысячи, десятки тысяч. Вы ему скажите, пусть он сам донесет. Вам будет проще отражать такие удары. Лезть самому в петлю...

— Я их не боюсь, — сказал я.

— Ну, это достоинство в глазах женщины, а не государства. Ты пойми, — заговорила Ася, обращаясь к сестре, — что он пройдет премьерой, будет премьером самой тайной премьеры, которая готовилась в секрете столько лет. Он получит самую высшую меру! Ничего другого он получить не может.

— Мы уже решили писать, — поджав губы, сказала жена. — Надо поставить все точки над «и», в конце концов.

— Впереди еще много точек над «и», — сказала Ася, — и много многоточий.

— Собственно, мы не за этим к тебе и пришли.

— А зачем же?

— Кому именно послать, на чье имя?

— Там приличных людей сейчас нет, — резко сказала <Ася>. — Я ведь знала людей круга Дзержинского, ну, Менжинского. Впрочем, там есть один человек очень приличный. Он много лет работает и показал себя очень хорошо. Это начальник СПО Молчанов[57]. Вообще-то он латыш, Молчанов его псевдоним. Вот в его ящик. У него и ящик там свой есть. Вообще-то лучше бы такую глупость не делать.

Мы поцеловались, и больше в своей жизни Аси я не видел. Письмо мое лежало в ящике Молчанова до того часа, пока не был арестован и расстрелян сам Молчанов. Письму моему был тогда же дан законный ход.

Ася была арестована в 1936 году, за две недели до Нового года. За две недели до ареста у нее умер муж Володя, с которым она дружно прожила на Арбатской площади. На его поминках, которые тоже отмечались в семье, Ася сказала задумчиво:

— В сущности, Володя был счастливый человек.

— Почему вы так думаете?

— Ну, никогда в тюрьме не сидел.

Ася была приговорена к восьми годам строгого тюремного заключения, а в 1939 году отправлена на Колыму, на Эльген, ибо природа не терпит безделья заключенных. Но мы не встретились, не списались, ибо Колыма устроена еще и так, что за сорок километров рядом можно проехать через Москву, к тому же я доплыл еще в 1938 году навеки и продолжал доплывать многократно, то подплывая к спасению, то отталкиваясь от него.

Потом началась война. Меня судили в 1943 году, добавили десять и вот в этом безнадежном положении судьба и привела меня в места...

— Повторите, как вас зовут?

Я повторил.

— Где вы родились, где арестованы, надо сообщить... Но такая кость, грязь, цинга...

— Отмоем.

— У вас нет [на Колыме] родственницы?

— У меня нет никаких родственников.

Но санитар был поопытнее.

— У вас нет родственницы по фамилии Гудзь, родственницы Гудзь?

— Нет.

— Я говорил, что это не он, одних вшей там пуд.

Я заснул и проспал еще сутки.

— У вас нет родственницы по фамилии Гудзь? Нет? Сейчас с вами будут говорить...

Москва? Дальняя зимовка? Генеральный секретарь ВКП(б)? Санитар продолжал трясти меня за плечо, и как будто это имя было выше только что перечисленного — Москва, Антарктида, Генеральный секретарь: главный хирург центральной районной больницы для зэка — зэка Валентин Николаевич Траут.

— У вас есть, отвечайте на вопросы прямо и честно, глядите мне в глаза, у вас есть родственница, сестра вашей жены Александра Игнатьевна Гудзь? Слушайте меня внимательно! Родственница эта ищет вас, она находится в сорока километрах от вас. Я могу отвезти ей записку от вас!

Записку? Разве этими пальцами я напишу, могу написать какую-нибудь записку? Я могу писать только

кайлом, топором, лопатой. Да и притом все это чушь, чушь.

— У меня нет никаких родственников на Колыме.

Траут в бешенстве перешел на блатной жаргон, на феню.

— Тебя, тварь, в натуре ищет родственница, разыскала, объявилась.

— Табачку дайте скорее.

— После получишь, как сознаешься. К тому же сам не курю, не занимаюсь этим. На вот, соси, тварь.

Кто-то сунул мне в рот окурок газетной цигарки. Я отдышался, затянулся, и в мозг как бы скользнуло новое, не нужное даже для моего иссохшего мозга известие. Известию надо было пробиться через многие препятствия. Речь идет об Асе, Асе — Александре Игнатьевне Гудзь, оказывается, она и есть Ася. Меня заставляли написать записку. Записку! Асе! Смех да и только! А что писать?

— Да что хочешь, то и пиши.

Я написал: «Ася, мне очень плохо. Перешли мне хлеба и табаку».

— Вот, видите, — комментировал Лесняк, — глубокая стадия дементивного процесса. После того, как собирал миски в столовой, собирал окурки. Я живу рядом и не собираю ни окурков, ни корок. Это распущенность просто, знаете, слабая воля.

— Ну, что же ответить Александре Игнатьевне? — сказала Савоева, в квартире которой и шел этот разговор.

— Пусть забудет своего неприличного родственника, — сказала княгиня Чиковани. — Я напишу Асе, что это безнадежный случай.

— Я это все скажу ей сам завтра, — сказал Траут, подводя итоги этого консилиума.

Но Ася не поверила записке.

— Я требую личного свидания. Увижу его сама, поговорю и решу.

Стали готовить медицинские документы на отправку этапом в больницу Беличью заключенной А. И. Гудзь.

— Завтра, завтра приедет Ася, и вы сможете с ней поговорить у меня в кабинете. Она кладется на обследование, пробудет здесь неделю, — кричал мне Траут.

— Завтра приедет ваша родственница, — сообщил мне фельдшер Борис Лесняк, никогда не бывший на общих работах.

Но это завтра не наступило, Ася умерла. Ася умерла от крупозной пневмонии, хватив воспаление легких, пока она обливалась ледяной водой — ее всегдашний режим. Но лед Москвы, ветры Москвы это вовсе не то, что лед Колымы, ветры Колымы. Там правят другие законы, чисто физические и тем не менее не только физические.

Асю похоронили на Эльгене. Было ей всего сорок семь лет. А меня выписали на общие работы в самом обычном порядке. Я уже успел что-то понять в Колыме, открыть одну из ее тайн — явился в следующий раз на госпитализацию форменным доходягой.

Двигаясь от больницы до забоя, я провел несколько лет до того самого момента, как сам кончил фельдшерские курсы и уже не зависел от врачей и фельдшеров — ни от Траута, ни от Савоевой, ни от Лесняка, ни от памяти Аси.

Но [суть] именно в памяти, в смерти Аси, в этой драме эльгенской, ибо сульфидин и пенициллин уже были в природе, но на Эльгене их не было. Ася умерла в несколько дней и почти в сознании.

Наравне со мной тогда подставлял свою глотку и Варпаховский[58], и такой субъект, как Шпринк, который говорил, что он поэт Всеволод Рождественский. Каждый спасается, как может. Разумеется, выдавать себя за Рождественского лучше, чем писать донос.

Группа Савоевой, стая Савоевой, как и полагается, боролась с другими столь же уголовными группами за влияние, место под солнцем, территорию.

Чем это хуже, чем начальник управления, который торговал табаком или чаем?

Спасли меня от смерти, падения фельдшерские курсы. Это уже было кое-что!

Вот на этих-то курсах студентка, моя соученица Елена Александровна Меладзе и передала мне последнее Асино — копию заявления в Центральный Комитет партии. Ася не была членом партии, но действовала как «истинный член партии в трудных обстоятельствах», как сказано в партийной реабилитации Раскольникова. Ася умерла, и нарушить ее последнюю <волю> было вполне допустимо — я подарил завещание Аси, написанное той же самой разборчивой черной гуашью, Меладзе.

Беличья была самой обыкновенной «кормушкой», от которой отгоняли врагов, не считая нужным замечать, что друзей на полярном воздухе не существует и тот, кого отгонят, — умрет. И приближали к «кормушке» своих, которые тоже черпали мало. <...>

После смерти Аси меня отогнали, как вшивую падлу, быстро выписали, койко-день есть койко-день. Но я уже понял, что даже несколько дней перерыва могут продлить пусть не нужную мне самому жизнь.

Я просто приспособился к свите Савоевой и прихватывал, что давали, не жалуясь и не благодаря.

Жратва — это с обычной большой кухни, и мне выносили остатки или давали рыться в отбросах наравне с целым рядом других, явно уголовного рода.

На Траута действовала и физическая крепость Аси, ее резкая южная смуглая красота, ее громкое имя, ее привлекательность, всегда отличная спортивная форма, фигура, за которой Ася следила, не снимая средства медицинской и народной косметики. Асе было сорок семь лет, и все внимание было обращено на борьбу с этим рубежом: массаж, поразительного действия массаж, косметика, ежедневные обязательные обливания, ежеутренние растирания снегом на холодном воздухе: водой в Москве, ледяным песком — в Магадане.

— И уж если Ася-матушка, Ася-голубушка захотела лично наложить исцеляющие персты на цинготные раны этого проходимца, [он] просто не может быть тем человеком, которого ждет Ася-лапушка, — ведь он дважды побывал в спецзоне, в этой Джелгале, это что-нибудь значит — туда и один-то раз не посылают, да еще возвращенец... Неопрятный вечно и притом из магаданской тюрьмы 39-го года. [нрзб] Надо отвести нашу лапушку от этого авантюриста!..

Зимой мой мозг не работает так, как летом, поэтому-то надо спешить, использовать каждый день, — но не холодный.

Вот почему я враг лучшего и признаю только хорошее. Хорошее — это жизнь, а лучшее — это может

быть и смерть. В нашем примере хорошим была жизнь Аси.

Отложен был отъезд Аси на один день. По заверению специалистов, лично не голодавших, в числе их были Лесняк, Траут, Савоева, Калембет и Пантюхов[59], я мог ждать Асю, как какой-нибудь фараон Эхнатон. Разница тут была невелика.

Ася могла бы спешно приехать с Траутом. [нрзб] Но все медики ей говорили, что это не я, что это какая-то Асина ошибка, бзик.

— Мы все пережили заключенными известный канонизированный геноцид 1938 года. Но сейчас ведь не 38-й год, а 43-й. В войну пайки не убавлены, а прибавлены. Этот живой мертвец с витаминного ОЛПа, разве на витаминном ОЛПе нет жизни? Когда получил известие о вас, попросил табаку. Ну, скажите, Ася-голубушка, ваш муж, отец, брат, сын попросил бы у вас табаку в такой ситуации? Он напомнил бы вам об истории русского костюма, которую вы с ним писали, или какое-нибудь светлое мгновение жизни вашей семьи, какую-нибудь тайну семейную приоткрыл... А тут — табак.

Сказала жена Траута, вольнонаемная акушерка Эльгена:

— Я думаю, что Александре Игнатьевне будет даже неприятно встретиться с таким подозрительным доходягой, да еще хвастается сроком. Он не может ее знать ни по воле, ни по тюрьмам и пусть не тянет свою грязную руку в такое общество.

— Да ведь не он ее ждет, а она его. Все совпадает, срок, рождение, все личное дело сходится, нужна только его личная записка.

— Ну, будите!

— Это не он, не он, — каркали санитары, и под это карканье я заснул.

В тот же день вечером поздно, еще не погас отбойный свет, лампочка мерцала трижды и запылала, и я еще не заснул, мне подали ответ, который мне привез с Эльгена Траут.

— Почему так скоро?

— Тут же сорок километров. Эльген — его участок, он бывает там очень часто, чуть не каждый день.

Письмо в белом самодельном конверте, не заклеено. Черной гуашью, разборчивым редакторским почерком

Ася писала: «Я искала тебя с самого первого дня, как вступила на колымскую землю. В сороковом году я искала тебя вместе с Анатолием Василенко, который был твоим начальником на Черном озере. У нас он работал в ларьке. Из поисков тогда ничего не вышло. И вдруг такая неожиданность, узнаю, что ты просто рядом, ничего больше не пишу, жди меня завтра, и мы обо всем поговорим».

Черная мама

Со мной поочередно ложились на этот трон любви звезды венских борделей, могущие сдвинуть ход мировой истории, особы вроде Маты Хари. Ложились звезды подпольного экрана, которым давалась возможность явиться из небытия на мировую сцену в какие-нибудь пятнадцать минут без ущерба для их анкеты и несмотря на их анкеты.

Какие-то незнакомые мне санитарки скидывали в передней халаты, чтобы во всеоружии, во всетелии явиться на этот эксперимент.

И даже медицинские сестры, не имевшие квалификации в этом несложном деле, пытались возместить рвением недостаток опыта.

Тогда хозяйка сделала знак — всем убраться и заперла за всеми дверь на ключ.

При полном свете, подключив даже боковое освещение ее многочисленных торшеров, она подошла ко мне и принялась за продолжение эксгумации.

Мое разраставшееся, возвращенное в новую кожу вялое мужское тело, которое изнутри расправляло и увеличивало каждую свою складку, каждую свою клетку.

Кожа моя была вся новая, и это было ей известно. Сосцы ее как ножи, как плуги, пропарывали нежную кожу <тела> вторично, десятерично, родившуюся на свет в свои тридцать пять лет.

Сосцы — жесткая кожа ее смуглого, почти зеленого тела наносила раны моей новой земной оболочке, оболочка была слишком нежна. И кровь потекла на ее кожу и жесткий козий язык слизывал мою кровь.

Поставив меня против себя и прижимаясь ко мне своим горячим телом дикой горной кобылицы, она пыталась вызвать божью искру, двигая самою себя вдоль моего нового тела, но ничего не вышло. Искра не зажигалась. Тогда мы легли на ее двуспальную кровать, я

внизу, она сверху, и ее сосцы пропахали мое тело с головы до ног, и она вылила на меня свое обжигающее козлиное семя, стараясь окропить именно ту часть, которая нуждалась в окроплении.

И, раскачиваясь ритмично и прижимаясь к моему уху — тоже обновление розовому, как человеческое счастье, она прохрипела своим гортанным голосом, так знакомым по всем его резким командам, перекрывавшим даже метель колымскую. И это были первые слова, которые я услышал от своего создателя, вернее, создательницы, тело к телу, глаз к глазу, ухо в ухо.

— Ты жил с Асей Гудзь?

— Нет.

— Ну зачем говоришь неправду? Может, ты не понимаешь. Ты, — она искала слов в своем нерусском, — ты обладал Асей как женщиной?

— Нет.

— Зачем же она тебя так ищет?

— Я женат на ее сестре.

— Ну, сестра — это пустяк. Все живут с сестрами жены. Это — быт. Или, как это у вас, закон природы.

Она засмеялась гортанным смехом.

— Ну, я, пожалуй, попробую все сначала.

И я опять закачался, помогая ее движениям, охвативши ее мелкой косматой, торчащей шерстью <заросшие> жесткие безмолочные груди, пытаясь выдавить, извлечь не из ее грудей, а из себя что-нибудь важное для человечества.

Но ничего не получилось.

На следующий раз вся процедура началась сначала, в конце этого леченья мои половые <органы> выплюнули какую-то слизь, прямо в косматые ляжки моей новой знакомой.

Она поймала их губами, поцеловала и тут же велела вести на выписку: койко-день есть койко-день.

На следующий <день> перед осмотром в присутствии облавной комиссии самого высшего ранга, разыскивавшей всех уклоняющихся от полезного <труда>, знакомые пальцы раздели меня, знакомые мне ее прикосновения в тех же самых местах и в присутствии высокой комиссии, подталкиваемые пальцами главврача, мои мускулы проделали те же движения, что и ночью.

— Этот больной, — сказал председатель комиссии, — напоминает более здорового, чем больного. По своей реакции, разумеется.

— Он хорошо поправился. Мы восстанавливаем его. [нрзб], — твердым своим хриплым козьим голосом сказала главврач, — поставим в вашем списке птичку.

Комиссия уехала, а меня тут же увели на квартиру главврача, дневальный и посетители были удалены. Щелкнул замок выходной, и знакомые жесткие руки раздели меня снова на том же самом ложе, и мы проделали наш путь любви, путь эксгумации в третий и последний раз. На этот раз фонтан изливался, а жесткие козьи губы ловили эти капли орошения.

Потом женщина проколола мою тонкую кожу на груди своим жестким соском, прорезала кожу на память, поставила метку, слизала мою соленую кровь жадным маленьким язычком и вытолкнула меня на улицу.

Пошатываясь, я добрался до барака для подсобников. Документы облавы были уже готовы, машина дернула два-три <раза>, шатнулась, как человек, выбираясь из трясины, и двинулась в неизвестность.

Начальник ОЛПа вызвал по вертушке конвоира и меня отвели в больницу на мою лагерную койку.

Едва накинув халат, Анна Иванова вышла меня проводить — она жила в отдельной квартире, похлопала по щеке своей косматой рукой.

Конечно, я не мог забыть это тело, воскресившее меня к жизни. Какой бы эта жизнь ни была.

Еще раз мы встретились с ней в конце 1946 года, когда я окончил фельдшерские курсы, приехал работать в Центральную больницу на Левый берег, пос. Дебин.

Всего недели две прошло после моего приезда, как меня вызвал курьер начальника, прямо выкрикивавший мою фамилию. Он привел меня не к уполномоченному — куда еще могли меня вызывать, а дал за меня расписку на вахте, вывел из больницы и повел через ручей в вольный поселок — метрах в трехстах от больницы, где я никогда не был. Ни о чем меня не спрашивая, он довел меня до какой-то вольной двери, какой-то вольной квартиры на одном из трех этажей и позвонил.

Кто-то сейчас же открыл...

Сам начальник нашего ОЛПа:

— Здравствуйте, проходите... Вас ждет одна дама.

Дама была Анна Ивановна, посетившая Левый берег проездом, ночевавшая у своей подруги, выпускницы МГУ, нашего главного врача, Рейзер — жены начальника ОЛПа.

Анна Ивановна не привыкла терять время даром, и мы легли с ней в соседней комнате при полном свете и

проделали те же процедуры, что и три года назад на Беличьей.

Анна Ивановна поздравила с <избавлением> от общих <работ>. Хриплый голос шептал в мое ухо, что она очень рада, что я — фельдшер, что жизнь моя теперь спасена. У нее самой тоже все благополучно. Она вышла замуж за Лесняка. Все ее враги посрамлены. Бухгалтер-доносчик схватил сифилис. Начальник Управления переведен с понижением на какой-то захудалый прииск.

Опять ее сосцы пропахали мое тело, на этот раз кровь уже не выступила. Кожа окрепла, и ей нечего было вылизать соленого, кроме пота.

Спокойный

В моем характере нет услужливости. Поэтому я не мог стать хорошим санитаром, хотя возможность к этому была. И, понимая, что ненависть моя сильнее меня, я и не пытался сделать карьеру санитара. Работа фельдшера, да еще фельдшера с курсов — государственных, с дипломом, хотя бы и лагерным, — это другое дело, это было по мне. Но тут я был вовлечен в водоворот интриг, склок, провокаций, личных счетов до последнего часа моего пребывания на Колыме.

Как я попал на Спокойный, на открытие прииска, где мне было всего хуже? И когда?

Из комендантского ОЛПа, с Ягодного, когда лейтенант Соловьев меня вызвал и сказал:

— Вот, Шаламов в этом списке, отправляют плотников на новый прииск.

Я вышел из толпы.

— Я не плотник, гражданин начальник.

— А, ты здесь. Ты и не едешь как плотник, ты едешь как штрафник.

— Штрафник? Какой же я штрафник, гражданин начальник?

— Ну, брось трепаться. Я не забыл, как ты от меня бежал в Беличьей.

А такой случай действительно был. Он описан мною в рассказе «Облава» — о том, как я выскользнул из цепи конвоиров и ушел в тайгу, дождался, чтобы этап ушел, вернулся, рассчитывая, что если я нужен, то меня дошлют. Но было не нужно, и я прожил еще несколько месяцев в больнице.

Так и случилось. А потом я наткнулся на улице на машину Соловьева и в тот же вечер был отправлен с конвоем в Ягодный на комендантский пункт.

Приехали на берег, началась переправа. По тропе шли через Колыму по льду. Но начался ветер, пришлось вернуться и заночевать в сарае, где не было ни одной палки дров, где все деревянное было сожжено, в том числе и стены сарая. [Нрзб]. Вот без дров все плотники и начальство сели вместе пережидать метель. Вечером дошли до Спокойного и разошлись каждый на свою работу. Я познакомился тут с начальником ОЛПа Емельяновым и начальником прииска Сараховым.

Здесь валили лес и собирали дом тут же из сырых лиственниц, ибо Сарахов как опытный колымчанин уверял, что деревянный дом на Колыме можно согреть только людьми — поэтому все бригады из заключенных сразу же и селили в мерзлые бараки, ставили железную печь, топили. Страшная это была ночевка. Мокрые бушлаты, белый пар, белый пар от холода.

Начальником санчасти был там доктор Ямпольский, вольнонаемный, бывший зэка, только что кончивший срок. Доктор Ямпольский сделал мне много зла, поэтому я напишу о нем поподробнее. Начальником санчасти может быть и не врач — это административная должность. Бывший работник органов, Ямпольский целых пять лет, весь свой срок, сумел продержаться, исполняя обязанности фельдшера, на участке приисковом, работал с врачами, которые, впрочем, ничему его не учили. А может быть, и учили. Может быть, и менее пяти лет проработал он фельдшером. По ухваткам его было видно, что он ничего не знает. Когда освободился, он начал работать начальником санчасти. Хороший оклад, положение.

О медицинской отчетности он представление имел. Я его застал на Спокойном в этой роли. Он принимал больницу, в аптеке была только марганцовка — для наружного и внутреннего лечения. Я смотрел эту аптечку, с которой он работал: йод, марганцовка.

У него была мысль вот какая. От каждого врача он что-то получил и с каждой сменой должности все увеличивал свои знания.

Вот у него в больнице я встретился с Рябоконем — махновцем, описанным мною в рассказе о страшной смерти какого-то эстонца Яниса, которого купали в ванне, опухшее тело погружали в огромную бочку с теплой водой. Янис умер, и Рябоконь, кажется, умер.

Я убирал палаты, но не был симпатичен Ямпольскому. Скоро случилось так, что для больницы отвели новый участок, завезли туда бревна, и доктор Ямпольский по колымской традиции вкладывал туда и свою личную силу, и силу своих санитаров в порядке субботников. Ямпольский объявил, что с завтрашнего дня мы будем оба трудиться на постройке своей больницы. Он, Ямпольский, выйдет с топором и пилой. Но подходящего напарника во мне он не нашел — просто из-за крайней моей слабости и ненависти к лагерному труду. Ямпольский был поражен в самое сердце.

На следующий же день я был отчислен из санчасти, потерял свое счастье, безумный, и уже весело бежал в рядах какой-то бригады. Но это еще не была бригада доходяг.

Мы были переведены на участок, где строительным техником — такое бывает здесь — был мой старый знакомый по 69-й камере Бутырской тюрьмы техник Леша Чеканов. Леша Чеканов ехал сорок пять дней от Москвы до Владивостока в одном вагоне со мной, только на пароходе и на Колыме наши пути разошлись. Будучи уже кое-чему наученным по временам 38-го года и приисковым встречам старых знакомых в тяжелых условиях, я ничего и не ожидал от этой встречи. Но Леша Чеканов был явно напуган моим появлением на его участке. Чуть ли не с третьего дня он начал высоким голосом орать, что вот этих, которые всех сгубили и... Эти крики скоро обернулись битьем.

Я попросил нарядчика перевести меня на другую работу и был переведен в бригаду Королева. Бригадир Королев — вольняшка, красавец, бригадир из блатарей, из бывших блатарей, бил меня ежедневно, не требуя никакой работы, не ставя на работу, просто бил и бил. Потом уставал и бросал, и переходил к другому делу. Так было много дней, и часть зубов выбита тогда лично именно Королевым.

На вечер меня записали по рапорту того же Королева в ледяной карцер прииска Спокойный. Этот ледяной карцер остался в наследство от командировки дорожников, что-то получивших от прииска и обещавших принимать на ночлег его штрафников. Изолятор Спокойного был еще не построен. Мы же его и строили. Ледяной карцер был карцером, вырубленным в скале, в вечной мерзлоте, стены его были деревянные, самые обыкновенные лиственничные бревна. Посередине стояла

обыкновенная печь, на которую давали два килограмма дров на сутки по карцерной норме, а также кружку воды и суп через день. Но больше нескольких часов никто этого карцера не выдерживал ни зимой, ни летом. Я простоял в этом карцере несколько часов с вечерней поверки до утреннего развода, не имея возможности и повернуться: кругом был лед и на полу тоже лед. Говорили, что все, кто прошел через этот карцер, получили воспаление легких. Я — не получил. После карцера следовали избиения все тем же Королевым. Однажды на работе я попросил своего напарника Гусева ударить меня ломом по руке, чтобы сломать руку. Но Гусев отказался категорически. Я пытался сделать это сам, но не мог. Набил синяк и все.

Уже чуть ли не через год, когда я сидел в Ягоднинском изоляторе после побега и ходил на работу на бурение ямок, шурфов каких-то, кто-то из проходившей партии арестантов закричал диким и веселым голосом:

— Шаламов, Шаламов, слушай, тебе интересно. Я Королева-то зарубил! Зарубил! Топором! В столовой насмерть!

Я и сейчас не знаю, кто это кричал, но Королев действительно был зарублен в столовой той же зимой.

Внезапно Ямпольский получил письмо от Савоевой, где она просила отправить меня в Беличью как больного. Письмо совершенно личное, передано врачу в руки. Ямпольский не нашел ничего сделать лучшего, как познакомить с содержанием этого письма Емельянова — начальника ОЛПа. Емельянов вызвал меня, не забыл...

— Тут Ямпольский письмо получил какое-то насчет тебя.

— Не знаю, гражданин начальник.

— Ну, ладно, иди, отправим.

Емельянов не разобрался в деле, и я не попал в ловушку, расставленную Ямпольским.

Прошло еще несколько дней, было лето, обжигающее лето. Вдруг меня вызвали и привезли, но не в Беличью, а на инвалидный ОЛП при Северном управлении. Там восполнялись силы людей, своеобразная транзитка Колымы. Шли сутками и кто поскольку. Всех отправляли на витаминные командировки, а то и в места посерьезнее. Прибывали машины с людьми, но больше увозили. Комиссовали круглые сутки. Я лег в первую же ночь по незнанию на верхние нары в инвалидной транзитке. Там было такое количество клопов, что, как я ни устал,

я должен был смахивать со щек несколько раз клопов, уже въевшихся в щеки и в несколько слоев, потом вышел на улицу, счистил с себя клопов и попытался заснуть прямо на улице, на холоде. Ночью на Колыме, как бы ни жарок был день, — холодно. Положив доску, можно было спать. На земле — опасно, простудишь легкие. Наутро комиссии не было, и я умолил доктора Эфу, фельдшера из заключенных, передать в Беличью, что я, Шаламов, на инвалидной транзитке.

Эфа:

— Да, я буду в Беличьей через час, вот и передам, пожалуйста.

Через несколько часов пришла машина, приехал Эфа и Лесняк за мной, но взять меня было не так просто, нужно было решение комиссии, акт. Пришлось ждать еще сутки этого акта, и с этим я был выписан и передан Лесняку. Я приехал на Беличью. Нина Владимировна Савоева встретила меня очень хорошо и сказала, что она договорилась с начальством, Соловьева давно в Ягодном нет, что я буду работать официально культоргом — читать газеты, объяснять.

Это был уже 45-й год. Конец войны я встретил на Спокойном. Туда сведения дошли лишь дней через пять — курьер с депешей опоздал из-за разлива Колымы. Атомную бомбу и конец войны с Японией я встретил в должности культорга больницы Беличья.

Конец Беличьей

Это, пожалуй, было самое счастливое мое колымское время, самое безмятежное. Увы, смертная игра опять должна была начаться. У Нины Владимировны и Лесняка были свои друзья, свои враги — новые и старые, свои сражения, свои поражения и победы, своя война. Я был одним из очень многих, кому Савоева и Лесняк помогли из заключенных в те годы. Нину Владимировну всегда окружала толпа людей, которых она ставила на какие-то работы. Давно уехал на материк ее земляк и покровитель, начальник СГПУ[60] полковник Гагкаев. К колымскому начальству Савоева как-то не пристала, брак с Лесняком, из-за которого она была исключена из партии, исключил ее из узкого круга людей власти. Когда Лесняк кончил срок, она вышла за него замуж, но это не вернуло ее в круг колымского начальства, в круг старо-

го колымского начальства, получавшего взятки, оклады, да еще торговавшего махоркой и чаем через своих дневальных. Нина Владимировна попробовала наладить жизнь по схеме высших начал и потерпела полное поражение. Вошла в круг лиц неудобных, которых обходят по службе, следят за каждым их шагом. Внезапно Савоева получила назначение начальником санчасти прииска и была вынуждена уехать, оставить больницу. Этими же днями кончился срок у Лесняка, и он уехал вслед за ней. Новая начальница, фамилии ее я не помню, звали ее кличкой «Камбала», из-за того, что один глаз у нее был искусственный, в первый же день работы выгнала меня из культоргов и приказала сесть рубить капусту, что я делал до вечера. А вечером был отправлен, вернее, отведен нарядчиком в Ягодный на комендантский ОЛП. Больше в Беличью я никогда в жизни не возвращался. К вечеру этого дня я был отправлен на ключ Алмазный, на командировку по заготовке для Ягодного высоковольтных столбов. Ягодный и ключ Алмазный находятся на разных берегах Колымы.

Ключ Алмазный

На ключе Алмазном не было конвоя. Давно сделано мною наблюдение, что больше всего произвола в лагере там, где нет конвоя, нет и режима. Конвой в лагере — это прежде всего защита арестантских прав. Даже если начальник хороший, все равно в бесконвойном состоянии хуже, чем в конвойном. Больше произвола там, где нет конвоя. На ключе Алмазном в бараке жило человек 20 лесорубов, ходили они на работу по выборке и рубке сосновых стволов, пригодных для высоковольтных столбов. Нормы тут выполнимые, но почему-то никто с ними не справлялся.

Кормили два раза в день. Лесорубы жаловались на повара, и десятник поставил поваром меня. Нельзя более придумать издевательства. Притом десятник сказал, что и взял меня на работу, имея в виду, что я работал в Беличьей. Я согласился. Я никогда не стряпал и не мог ничего придумать путного. Работа моя поварская началась с того, что десятник взял себе банку мясных консервов. Всего примерно на 30 человек в день выдавали две банки. И сказал, что пусть я справляюсь. Я понял и тут же отказался от этой блатной работы. Увидев по

моей готовке, что я в самом деле первый раз берусь за поварское дело, десятник снял меня на общие работы — дело мне хорошо знакомое, но ни я, ни он и не рассчитывали, что я могу выполнить норму лесоруба. Вот какого уж он поставил повара, я не знаю, наверное, старого взяли обратно, и я стал работать в лесу. На этой командировке «Ключ Алмазный» заключенных не били. Тогда было увлечение немедленным учетом. На «Ключе Алмазном» дело было поставлено так, что каждый вечер объявляли, кто из заключенных не выполнил нормы, — не выполнившим вовсе не выдавали хлеба на следующий день по цифрам прошлого дня. Я таких чудес не видел ни разу и твердо решил не жить на этой командировке ни одного слишком голодного дня.

Скоро этот день пришел. Тем самым утром, когда мне не дали хлеба, я взял блатные ботинки, которые у меня были в вещах, и отдал сапожнику участка — сапожник, между прочим, был вольнонаемный, бывший зэка. Ботинки эти я отдал сапожнику за пайку хлеба семисотку и щепотку махорки на несколько папирос. Взял я с собой спички, газетную бумагу и вышел на дорогу в лес. Через километр я отвернул прямо в тайгу, обошел поселок сбоку, в километре примерно, и пошел пешком в Ягодный. План у меня был такой: дойти не подстреленным до ОЛПа, а там — что будет. Я не пошел по дороге, а прямо тайгой пошел до речки Колымы. Колыма уже встала, я выбрал узкое место, перекат, где можно перейти, но не было места ниже метра. Стало быть, перейти — шагать в воду. Я просто подвязал веревками бурки под коленями. Все это обдумано было мною и раньше. Свойство колымских рек — в большой мороз не промокает обувь и одежда — мне было хорошо известно. Я прямо шагнул в воду, прошел глубоких несколько метров до суши и, выйдя на берег, отряхнул сосульки рукавицей — намерзшие сосульки на бурках. Переход через Колыму был закончен, я не пошел на переезд, где была будка сторожа, где была зимняя и летняя переправа. От реки Колымы я прошел еще несколько километров по тайге, когда рассудил, что двигаться надо открыто. В большой мороз я дошел до барака, где жили больничные лесорубы во главе с одним санитаром, Степаном Ждановым, которого я хорошо знал по Беличьей, и он меня знал. Степан, не спрашивая меня ни слова, дал мне поесть супу, дал хлеба немного, табаку, а главное, я выспался на теплой печи.

Утром я ушел еще раньше работяг, а за ночь, попросив у Степана бумаги, написал большое заявление на имя начальника ОЛПа Козычева, какие порядки на «Ключе Алмазном». Положил в карман, застегнулся и зашагал в Ягодный. По дороге я зашел в Беличью, там повар в больнице был Федя, успел налить мне целый котелок еды, но посоветовал не есть в больнице, и я понял, что меня уже ищут. Я съел весь котелок, съел весь хлеб, какой был, сидя в кювете, на трассе, и вошел в Ягодный. Уже сильно стемнело, пока я добрался до ОЛПа. Начальник ОЛПа Козычев сам сидел на вахте. Он принял мое заявление и велел отвести меня в изолятор. Изолятор, так хорошо мне знакомый, сейчас пустовал. Сидел какой-то блатарь, ждал машину для отправки в спецзону — он сидел за убийство и ограбление на трассе, как я узнал позже. Не в арестантских правилах спрашивать: «Ты за что сидишь?» и прочее.

Утром меня вызвал следователь, допросил, но чисто анкетно, без вопросов и ответов, и сказал, что он вызовет меня и начнет новое дело за побег. Я не отбыл еще и двух лет от своего нового срока и не очень волновался по поводу прибавок и добавок и прочих арестантских дел.

Но новое дело не было начато. Следователь рассудил, что начинать новое дело — громоздко, волынка большая. Резолюция была административной: направить для отбывания срока в спецзону Джелгала. Так я удивительным образом вернулся на тот же самый прииск, где меня судили, на Джелгалу.

Снова Джелгала

На Джелгале зимой 45-го года ни Заславского, ни Кривицкого уже не было. Стало быть, Федоров рассчитался со своими помощниками честно. Но за это время явилось на Джелгале лицо, приезд которого был прямо катастрофой для меня. Новым начальником санчасти был доктор Ямпольский — старый мой знакомый по Спокойному. Никаких надежд на получение освобождения от работы у меня не было, я в санчасть не ходил.

Я попал тогда в бригаду 58-й статьи, где бригадиром был Ласточкин — сын крупного работника на КВЖД. Отца расстреляли в это время, а сын, он описан мною в очерке «Артист лопаты», был хуже, чем всякий блатарь. Никаких денег там не платили, хотя и выписывали. Все

пропивал бригадир с нормировщиками и блатарями, и на первую попытку заикнуться о деньгах я получил удар по зубам и свалился с ног и подвергся публичному избиению.

Ласточкин был боксер. Его руку знали немало людей на Джелгале. Дневальным у него работал какой-то старый партийный работник, каждый день напивался и плясал перед Ласточкиным для его удовольствия какую-то одесскую пляску под сопровождение: «Я купила два корыта...»

В бригаде Ласточкина работал я недолго и попал в последнюю из моих колымских бригад, в бригаду Шпаковского. Шпаковский держался со всеми в высшей степени сдержанно. Не волновался по поводу невыработки, плохой работы, меньше слушал начальство, чем свое собственное сердце. Я уже совсем начал превращаться в колымского работягу, как вдруг на прииск пришла машина с репатриантами и было объявлено, что Джелгалу отдают репатриантам, а спецзону увозят в западное управление. Настала и моя очередь. Близ Сусумана, в сарае, у меня поднялась температура, я был доставлен в Малую зону Сусумана — транзитку Большой зоны — это барак работяг Сусумана. Малая зона — это огромный барак с четырехэтажными нарами, описанный мною в рассказе «Тайга золотая».

Сусуман

Малая зона Сусумана 1945 года — одно из моих больших сражений за жизнь.

Меня везли в спецзону, которая еще не была открыта. И задачей было задержаться на транзитке, пока не положат в больницу. Температура прошла, несколько ночей я отбивался от нарядчика, включавшего меня в разные списки к вербовщикам. Я выходил, отвечал, «обзывался».

— На дорожные!

— Не хочу на дорожные. Не могу работать с тачкой. Болен.

— Будешь метлы вязать?

— Сегодня — метлы вязать, а завтра тачку катать.

Всегда при этапах приезжает представитель той организации, которая принимает людей. Представитель обычно вычеркивал меня сам, но иногда приходилось напомнить ему об этом.

— А в сельхоз?
— И в сельхоз не хочу.
— А куда ты хочешь?
— В больницу.

В амбулаторию меня тоже водили, но врач не собирался мною заниматься. Я же в больнице узнал, что в километре от Малой зоны работает мой знакомый врач с Беличьей Андрей Максимович Пантюхов. Вся моя энергия сосредоточилась на том, чтобы известить Пантюхова о том, что я в Малой зоне. Если есть возможность, он, безусловно, поможет. Я дал фельдшеру, не помню его фамилии, записку для Пантюхова. Он сказал, что передал и что Пантюхов ничего не сказал. Я не поверил и попробовал дать записку регистратору больницы. Регистратор:

— Да, я сегодня туда иду, записку отнесу.

В тот же день, поздним вечером в бараке раздался страшный истошный крик:

— Шаламов! Шаламов! Где Шаламов?

Понимая, что это не нарядчик, я скатился с нар.

— Тебя вызывают к зубному.

— Я не записывался к зубному.

— Иди, тебе говорят.

Это был санитар зубного врача. Мы выбрались на улицу, через дорогу, в пяти шагах, была зубная амбулатория. Кто-то в белом полушубке ждал меня в коридоре. Это был Андрей Максимович Пантюхов. Мы обнялись... Я вкратце рассказал о своем положении. Фельдшер, конечно, не передал моей записки.

— Завтра я поговорю с Соколовым, начальником больницы, и вас положат к нам. Я — ординатор хирургического отделения.

Мы расстались, а на следующий день вечером меня вызвали вместе с другими тремя больными и повели пешком в больницу.

Андрея Максимовича я в больнице не застал. Принимал больных сам начальник больницы, доктор Николай Иванович Соколов. Мы не успели сговориться, какой же диагноз будет. Я решил ссылаться на аппендицит. Хирург внимательно осмотрел трех больных, одного за другим, — два были с грыжами, третий с трофической язвой обширной на голени. Настала моя очередь, и, не осматривая меня, доктор Соколов встал и вышел на улицу.

Нас принимал местный санитар. У меня не оказалось белья, и это в высшей степени затруднило прием.

Но все-таки какую-то рваную пару завхоз мне выдал, и меня отвели в палату, такую же точно, как все палаты, в которых я лежал на Колыме. Тут же я заснул глубоким сном. К вечеру проснулся — у койки стоял обед и ужин, я все съел и опять заснул. Поздно вечером меня разбудил санитар.

— Тебя вызывает врач.

Я пошел. Андрей Максимович жил при отделении. Стояла каша, чай, сладкий чай, махорка лежала.

— Вы ешьте и рассказывайте.

Так я ходил каждый вечер к Андрею Максимовичу. В это как раз время он и рассказал мне свою жизнь. У него недавно умер фельдшер итальянец. Я стал работать санитаром, ставить градусники, ухаживать за больными.

Но Андрей Максимович договорился с Соколовым, что будет учить меня на фельдшера, держать на истории болезни. Дал мне учебники, их было очень немного, [нрзб]. Кое-что рассказывал, но эти занятия почему-то были утомительными для Андрея Максимовича. Андрей Максимович рассказал про историю своего конфликта с Щербаковым[61], а раз сказал так:

— Все люди, с которыми вы встречались на Колыме, одетые в белые халаты, — не фельдшеры и не врачи по специальности. Вам нужно обязательно научиться этому, в сущности, простому делу.

Я стал заниматься. Поэтому каждый раз, когда в больницу поступал какой-нибудь интересный больной, Андрей Максимович будил меня и заставлял смотреть и запоминать. Так однажды Андрей Максимович показал мне больного с газовой гангреной. Больной умирал.

На прииске рубили руки в это время, но саморубов не освобождали от работы — посылали топтать дорогу, а летом заставляли мыть золото одной рукой. Саморубы — это больше самострелы, капсюль в руку — и взрыв сносит ладонь. Очерк «Бизнесмен» рассказан мне доктором Лоскутовым[62], но я и сам знаю много подобных случаев. Когда же стали посылать на работу с культями руки — стали взрывать ноги. Это было еще проще, капсюль в валенок — и взрыв. Больной с газовой гангреной залежался на прииске. Не было машины довезти. В чертах лица больного я с трудом узнал одного из своих колымских врагов, помощника Королева, который избивал меня за плохую работу. Фамилия его была Шохин. Шохин умер на моих глазах.

Вскоре настал день, когда Андрей Максимович Пантюхов вызвал меня и сказал:

— Вот что, хорошо, пока мы вместе. Колымская судьба разлучает быстро. Ну, отдохнете вы месяца два, ну, поработаете, ну, нравимся друг другу. Но все это слишком непрочно. По-колымски непрочно. Есть возможность самым решительным образом изменить вашу судьбу. Есть запрос из Магадана на фельдшерские курсы годовые с программой, очень уплотненной. Если вы кончите такие курсы, это даст вам права на место под солнцем на все время вашей жизни на Колыме. Нам дают разрешение послать двух человек. Соколов согласен послать от больницы, или, вернее, от санчасти Сусумана — Соколов одновременно начальник санчасти, — согласен послать вас и еще одного человека. Решайте. Я вам советую не обращать внимания на меня, я справлюсь со своими делами сам, и не упустить этой возможности. На курсы принимают бытовиков и 58-й пункт 10, до десяти лет срока. У вас, кажется, именно 58-й пункт 10 со сроком 10 лет.

— Именно так.

— Тогда и думать нечего — ваше решение.

Через два-три дня на рассвете машина повезла в Магадан меня и Кундуша[63] на фельдшерские курсы. Это было ранней весной 46-го года — февраль или март. Оттепель была.

Я приехал в Магадан, держал экзамен на <фельдшерские> курсы, окончил их. Держал экзамен, получил права и начал фельдшерскую работу в центральной больнице УСВИТЛа, на 23-м километре магаданской трассы. Рассказ об этом, документальный до предела, есть в моей записи «Курсы», а также «Вейсманист».

Пантюхов

Первое отделение, где заведующим был доктор Калембет, традиционно для Колымы пеллогрозно-дизентерийное, считалось инфекционным, состояло из нескольких палаток, то росло, то уменьшалось. Заведующим вторым терапевтическим отделением был молодой врач Андрей Максимович Пантюхов, колымчанин с 1936 года. В 1936 году сибиряк, томич Пантюхов был привезен на Колыму с тремя годами как член семьи видного военного троцкиста. Тут же совершил побег. Беглецы были захвачены оперативкой, и Пантюхов попал на знаменитую

и тогда «Серпантинку», провел так свое следствие с рукоприкладством и был приговорен в тогдашнем центре Севера — Н. Хатыннахе к восьми годам дополнительного срока.

Пантюхов был допущен к врачебной работе и работал врачом в 1936 и 1937, и 1938 годах на приисках на Севере — В Ат-Уряхе, Штурмовом.

С начала войны организовывается Беличья, и Пантюхов стал работать там заведующим отделением.

В это время Андрей Максимович встретился на Колыме с Ольгой Николаевной Поповой, своей соученицей по медицинскому институту. О. Н. Попова была начальницей Санотдела Севера, когда Пантюхов работал на Беличьей (Беличья всего в шести километрах от Ягодного), О. Н. Попова оказывает всяческую поддержку и помощь своему товарищу по учебе.

Эта связь не могла храниться долго в целости. Руки высшего начальства обеспечивали себе стукачей и осведомителей, быстро смогли вмешаться в судьбы Поповой и Пантюхова.

Главным действующим лицом, главным хранителем высшей нравственности был тот самый подполковник Щербаков, который на именинах у начальника больницы Виноградова оторвал голову живому петуху публично.

Щербаков, у которого <в> каждом лагере были свои б... из врачих, в чьих квартирах он пьянствовал и кутил — всякий раз выступая самым строгим хранителем нравственности.

Щербаковские осведомители работали на славу, и Щербаков перевел Попову (члена партии) в Магадан главным врачом больницы, Центральной больницы (на 23 км).

Пантюхов же был оставлен в Беличьей.

В это время Пантюхов заболел. Заболел ни много ни мало как туберкулезом в открытой форме с полостью в легком и прочее.

Все это происходило на моих глазах. Врачи Беличьей (Савоева) хотели отправить Пантюхова на материк — каждый год с Колымы увозили туберкулезных в лагеря Большой земли. Лечение туберкулеза на Колыме тяжело — там болото, топи, а не целебные горы — как расписывали в тридцатые годы, оказались враждебными для легочных больных — разрушительны.

Туберкулезный заключенный отправлялся на материк.

Это, конечно, право имел и Андрей Максимович Пантюхов больше, чем кто другой. Но начальник Санотдела Щербаков объявил все медицинские документы Пантюхова — анализы крови, мокроты, вдуваний — подделкой и по личному категорическому приказу начальника Санотдела Щербакова сняли врача Андрея Максимовича Пантюхова с парохода в Магадане и под конвоем увезли на Усть-Неру — на северный конец Колымской трассы.

На Усть-Нере состояние Пантюхова ухудшилось.

В этом поселке не было врача, который мог бы делать искусственный пневмоторакс, попросту говоря, вдувание. Для этой работы врачи проходят особые курсы.

Щербаков и речи не хотел вести, чтобы возвратить угробленного им человека хотя бы в Беличью, если не в Магадан.

Удалось добиться только того, что Пантюхова переведут в такую точку на Севере, где есть врач, делающий пневмоторакс — такой точкой был Сусуман, доктором — бывший зэка <Калинкин> работал.

Вот так-то Андрей Максимович очутился в Сусумане и работал там врачом-ординатором — в хирургическом отделении. Главным же врачом работал там договорник доктор Соколов.

Вот так я и встретился с Андреем Максимовичем в Сусумане во время моего этапирования из спецзоны Джелгала — где я был после моего побега.

Об этом времени написан мой рассказ «Малая зона», и «Тайга Золотая», и «Домино». С Андреем Максимовичем мы и играли в домино.

Я был в полной уверенности, что Андрей Максимович умер. Как вдруг в 1960 году Лесняк объявил, что Андрей Максимович жив и работает врачом в Павлодаре.

Андрей Максимович был у меня много раз. Живет он сейчас в Павлодаре. Женат. Туберкулез он победил, но, очевидно, средств таких, чтобы начисто вылечиться от туберкулеза, еще нет. А. М. был в Москве летом на курсах повышения квалификации. Сохранил интерес к жизни, событиям, к людям, к своей профессии.

Андрей Максимович Пантюхов и есть тот, благодаря которому я получил в 1946 году эту путевку в Магадан на фельдшерские курсы, успешно их окончил.

На Беличьей я познакомился с ним... хорошо во второй мой приезд, когда я лежал непосредственно у него в отделении.

Туберкулез одолевал его уже тогда, конечно. Каждый вечер Андрей Максимович гулял, гулял, гулял.

А потом известие о его заболевании, об отправке на материк, о смерти от туберкулеза. А потом все оказалось гораздо хуже, чем смерть или болезнь.

Или жизнь есть благо?

У меня есть личные письма Пантюхова, несколько печатных его работ.

Рассказы мои не понравились ему, читать он отказался на половине первого сборника: «Слишком страшно».

Я просил его рассказать поподробнее о «Серпантинке» — ведь как-никак он один из немногих людей, которые вышли оттуда живыми, — но рассказ был бледен, сух.

[На 23-м километре]

В кладовке, несмотря на страшенный мороз и мохнатые наросты инея на окнах, бутылях, пахло лизолом, карболкой — пахло вагоном, вокзалом. Мы легли в темноте на какие-то холодные банки, бутылки, ящики, обжигающие руки. Я зажег спичку бережно, пряча пламя ее в ладонях, чтоб не было видно огня снаружи, сквозь дверные щели. Я зажег спичку на секунду, чтобы рассмотреть любимое лицо. Глаза Стефы с огромными черными расширенными зрачками приблизились к моему лицу, и я потушил спичку. Я положил ее...

Белый пар шел от наших ртов, и сквозь дверные щели мы видели звездное небо. Стефа на минуту завернула рукав, и тыльной стороной ладони я погладил ее кожу царевны — пальцы мои были отморожены и давно потеряли чувствительность. Я гладил, целовал руки Стефы, и казалось, что на них надеты перчатки, кожаные перчатки с обрезанными пальчиками, губы у меня не были отмороженными, я целовал жесткую, царапающую кожу рук и тонкую горячую кожу кончика каждого пальца.

Я хотел еще раз зажечь спичку, но Стефа не велела испытывать лишний раз судьбу.

Я вышел первым...

Амосов и Белова

Осенью пятидесятого года меня вызвали к главврачу. Главврачом — заместителем начальника больницы

Винокурова — был Амосов, новый для больницы человек, но старый колымчанин, бывший зэка.

— Пора тебе возвращаться в больницу, Шаламов.

— Ну что ж, гражданин начальник. Я буду рад снова принять хирургическое отделение.

— Нет, не в хирургическое отделение, нам нужен фельдшер в приемный покой, пойдешь фельдшером к Беловой. Она уезжает.

Белова была женой зам. начальника больницы по хозяйственной части старшего лейтенанта Марьямова. В больнице она училась на зубного врача, ничего не понимая ни в зубном деле, ни в медицине. Образование у Беловой было неполная средняя школа, но ставку зубного врача плюс ставку заведующей приемным покоем она получала исправно — при поддержке ее мужа старшего лейтенанта Марьямова — члена партии, разумеется. В больнице много было разговоров о ее шумных романах, но <мне>, что так, а что как — знать было вовсе неинтересно, да и ненужно. К Беловой так к Беловой.

Фельдшер приемного покоя, заключенный Морозов, был переведен на мое место — в лес, а я переехал в приемный покой.

Для Беловой мое назначение было сюрпризом.

Я знал, что это интрига врага Беловой — но не боялся, сейчас так верным образом я добьюсь правды.

Центральная больница для заключенных — огромная больница на тысячу коек. Приемное отделение, где мне предстояло работать, было <в> одиннадцать помещений: громадное трехэтажное Т-образное здание, из лучшего материкового кирпича, скреплено лучшим цементом — на Колыме ведь все завозное — было выстроено в 445 километрах от Магадана по самом берегу реки Колыма, у знаменитого моста, который соединял еще в берзинское время правый и левый берега реки. Поселок вырос тут и назван был Левым Берегом. Огромное здание расположено в самом центре Колымы, было выстроено для Колымполка, для воинской части, которая и должна была получить лучшее на Дальнем Севере здание. Но за Колымполком скрывалась дивизия, а позднее и армия, и было ясно, что таких помещений для воинских частей не хватит: левобережный дом был задуман как большая казарма — с хирургическим отделением, с дезкамерой, с гимнастическим залом, с клубом на пятьсот мест. Со сценой красноармейской самодеятельности. Электрический свет поступал от собственной

электростанции на угле. А близ электростанции были дома комсостава — двухэтажные особняки, восемь зданий, тоже каменные, как солдатские казармы. Здание было построено на века. Коридоры были залиты цементом; цвет цемента менялся в разных крыльях здания. Батареи центрального отопления, канализационные трубы — это была здесь Колыма будущего. А мебель в клубе была вся резная — отдельные откидные кресла — как у взрослых, где-нибудь в Москве.

Увы, подходила война, и военные специалисты осмотрели это здание. Расположенное на открытом месте, в безлесных сопках, здание было легкой, далеко видимой целью бомбардировщика, прямо-таки привлекало внимание любого пилота, который поднялся бы в колымское небо. Не знаю, судили за вредительство кого-то из начальства — вполне возможно, что и судили. А возможно, что все возможные вредители были расстреляны к этому времени. Словом, наркомат обороны отказался от этого здания, нового здания и спешно вывел воинские части в землянки, в распадки, в расселины, в низины...

Помещение осталось свободным, и Магадан передал его больнице, Санотделу. Правительство утвердило эту передачу, Колыма заполнялась заключенными, нужна была Центральная больница для зэка.

Колымполк ушел. Но он ушел по-русски, как уходит квартирант в Москве из квартиры — вывинчивая все лампочки, вывертывая трубы, снимая отопительные батареи, разбивая стекла.

Даже резные лебеди в клубе были сожжены — начальство топило электростанцию, может, день или, может, час.

Но было решено, что арестанты все превозмогут, и Санотдел принял эти мертвые корпуса. Около года длились восстановительные работы. Я приехал в эту больницу в январе 1947 года, сразу после окончания фельдшерских курсов. Курсы и были при этой больнице — теперь же переезжали. Больные были размещены на полу на третьем этаже, в углу, и врачи с блеском вели осмотры, лечение.

Арестантский труд — бесплатный труд, вдвойне бесплатный — всех больных заставили работать или держали выздоравливающих на «истории болезни». На Колыме очень трудно разобрать, кто здоров, а кто болен.

Уже в 1948 году было там два хирургических отделения — чистое и гнойное, два терапевтических, нерв-

но-психиатрическое, женское отделение, два больших туберкулезных отделения, кожно-венерологическое, а одно крыло было отдано вольнонаемным больным.

Центральную больницу для заключенных всегда мучил вопрос: кого она обслуживает и как увязать режим, за которым особое наблюдение, с болезнью человека, был контингент и тюремный.

Я сам видел в личном деле одного из таких приговоренных в Москве, официально оформленном — к десятилетнему тюремному заключению в тюрьме Хинковой — это был прииск Колымы, где была устроена, говорят, подземная тюрьма.

Были троцкисты КРТД — за которыми при всех их перемещениях нужен был глаз, внимание и бдительность.

Эту лестницу заимствовал Гитлер у Сталина во времена Беломорканала.

Вольнонаемный состав Колымы, который попадал в вольное отделение, тоже в то время имел много ступеней.

Были договорники. Договорник партийный — элита, вольняшки. По идее, бывшие зэка — люди явно второго сорта, у которых всегда можно отнять права. Ссыльные, которые отмечаются ежемесячно.

Были целые прииски, куда были завезены люди с материка по вольному найму с семьями, работавшие в местах, где автоматчики не разрешают подъезжать ближе, чем за 30 километров. Это называлось «Контингент Д», и к колымским проблемам отношения он не имел.

Были заключенные, завезенные из Москвы на постоянную жизнь, в судьбу которых колымское начальство не имело права вмешиваться, так, в больнице нашей жили инженеры из Китая, геологи в ведомстве генерала Баранникова.

Здание Центральной больницы торчало в сопках как рыцарский замок и было опасно <стратегически> в век атомных бомб и реактивных самолетов.

В приемном покое этой больницы мне и надлежало поработать.

Больницу захлестывал поток воров, прибывающих со всей Колымы по врачебным путевкам на отдых.

«Суки» — второй воровской орден — делали несколько вылазок, попыток захватить вооруженной рукой помещение больницы, укрепить сучью власть, водрузить сучье знамя в центре Колымы — эти попытки кончились кровью. Убивали в больнице чуть не каждый день. Бегали блатные с ножами друг за другом, клали

топоры под подушки. Никакие приказы, мольбы помочь тут не могли.

Я знал, конечно, о всех этих делах — как не знать, — убивали в больнице каждый день.

— Ну, что ж, — сказал я Амосову. — Ладно. Только мне надо одно: чтоб меня поддержали твердой рукой. А то второе мое колымское дело — я дал по морде Заславскому, а он написал, что я восхвалял Гитлера — меня судили, и я получил 10 лет. Не будет так?

— Не бойся. Иди к Беловой прямо с одной инструкцией — не исполнять ни одного ее распоряжения.

Амосов был неплохой мужик, старый колымчанин, сам отработал в забое положенный годовой срок. Специалист — ни врач, ни ученый, не был избавлен от этой трудовой карьеры, которой Ежов придавал величайшее политическое значение. Все катали тачки, хирурги и экономисты, бухгалтеры и психиатры, физики и метафизики, подпольщики с дореволюционным стажем и комсомольцы, все и счетоводы — как Калембет называл интеллигентов. Первыми из этой карьеры вышли бухгалтеры — было разрешение считать раньше, чем лечить и строить.

Амосов тоже год катал тачку и хорошо запомнил роль блатарей в избиении пятьдесят восьмой статьи, когда блатари палками выбивали план из троцкистов и фашистов.

Амосов кончил срок, работал на административной работе. Главврач большой больницы. Но он был отравлен Колымой. Он пил и пил каждый день, пока не падал с ног. Человек железного здоровья. Утром он умывался и, чуть покачиваясь и отдуваясь, двигался в кабинет. Ровно в 9 часов он начинал прием.

Амосов женился даже на какой-то молодой договорнице, которую звал и сам и все работники больницы Аней. Однажды мне случилось быть на вольном поселке ночью. В квартире Амосова — он жил на втором этаже — горел свет, и Амосов стоял на балконе. Рядом стояла в одеяле и ночной рубашке его жена, его Аня.

— Прыгай, блядь! — кричал Амосов на жену, указывая с балкона. — Прыгай!

Но Аня вернулась в комнату, и главврач задернул занавеску. Потом Амосов работал и жил в Магадане — в пятьдесят первом году я встретил его на улице, когда пытался уехать из Магадана на материк.

А потом — я еще был на Колыме, в Адыгалахе, в дорожном управлении — Амосов умер, от инфаркта.

Я познакомился с Беловой.

— Ты здесь работать не будешь!

— Ну не буду так не буду. А так от меня требует главный врач, поэтому мы тут кое-что переставим.

Белова исчезла и не ходила в приемный покой дня два. На третий день меня вызвал Амосов.

— Вот я тебе прочту рапорт Беловой.

Начальнику Центральной больницы М. А. Винокурову заведующей приемным покоем В. С. Беловой.

Рапорт

В приемный покой на должность фельдшера назначен заключенный Шаламов, неоднократно осужденный за контрреволюционные преступления, как мне удалось выяснить в спецчасти, з/к Шаламов был осужден в 1929, 1937, в 1943 году, является кадровым троцкистом и врагом народа. Я не могу работать в окружении таких махровых контрреволюционеров и преступников, как Шаламов.

С работой в приемном покое справляюсь. В этом назначении я вижу руку немецкой разведки, которая внедряет троцкистских агентов в нашу больницу.

К тому же Шаламов груб и вчера дважды довел меня до истерики. Моих распоряжений он не выполняет.

Прошу немедленно решить этот важный государственный вопрос.

В. С. Белова.

А какое мнение начальника больницы?

— Вот, — и Амосов протянул мне рапорт Беловой, где Винокуров написал поперек листа своим уверенным почерком опытного колымского администратора, которому встречались и не такие проблемы:

«Тов. Амосову. Приучите своих подчиненных по таким вопросам обращаться лично к вам. М. Винокуров».

— А почему ты груб? Почему она пишет: груб так, что у нее было два истерических припадка. Матом ты ее, что ли?

— Ну, что вы? Каким матом? Пальто просто не подал.

— Так подай! Подай пальто! — Амосов выскочил из-за стола. — Подай даме пальто. Ведь тут двойная субординация: она начальник — ты подчиненный. Она женщина — ты мужчина. Двойная субординация.

— Даже тройная, — сказал я. — Она — вольная. Я — заключенный.

— Совершенно верно. Тройная субординация. Чего тут думать! Подай пальто. Так подай, подай ей пальто. Клянусь тебе, больше недели Белова здесь не проработает. А за неделю она успеет поднять все колымские архивы — и левобережный и магаданский, да еще московский подымет, до Москвы доберется. Подай, подай этой даме пальто.

— Не обещаю, гражданин начальник, — сказал я.

— А почему она пишет, что ты не выполняешь ее распоряжений?

— Так ведь вы сами сказали: единственная инструкция — не выполнять ее распоряжений.

— Да ведь я фигурально.

— Да и я — фигурально.

— Так в чем дело?

А дело было в том, что все восьмь санитаров приемного покоя, чувствуя новый курс, не выполняли распоряжений Валентины Семеновны. Санитары, правда, не говорят, что я приказал им так делать, а подходили ко мне и спрашивали:

— Валентина Семеновна сказала, что надо сделать — то-то. Делать?

В этом вопросе была и утонченная месть арестанта-раба, и самый обыкновенный расчет — не ошибиться бы, вдруг завтра меня выкинут из приемного покоя, на штрафной прииск загонят, если я выполню приказания бывшего, но юридически еще существующего начальника. Я всегда отвечал: «Да, делать так, как сказала Валентина Семеновна, и не спрашивать меня больше об этом». Но вопросы — и ее любимец Гриша Рогоз спрашивал, и ненавидимый ею Гриневич спрашивал, и работяга Ильиных, и лодырь Савиных — все спрашивали после приказаний Валентины Семеновны у меня — слушать, выполнять ли им распоряжения.

В конце концов неделя — дело небольшое, и настал час, пришла суббота — банный день. В приемном покое мылась семья Беловой — ее дети и муж, много часов подряд, хотя у нас не было парилки. Перед субботой Валентина Семеновна подчеркнуто любезно обратилась ко мне: разрешу ли я ей мыться в приемном покое.

Я тотчас же принял это обращение всерьез, собрал всех санитаров.

— Эй — Гриша, Петя! Ваня! Миша! Валентина Семеновна будет мыться здесь. Так чтобы все было так, как раньше. Отвечаете мне головой.

А в следующую субботу Валентина Семеновна уже мылась со всей своей семьей в поселке, в бане для вольнонаемных.

Через неделю Белова уехала на прииск, где работала начальницей санчасти, и даже больные с этого прииска на Левый берег поступали. В одном из эпикризов был диагноз: «Холецистит левой почки и подпись: Начальник санчасти врач В. Белова».

Рогоз

Сидели мы летним вечером, а на Колыме летние вечера холодные-прехолодные. Целый день прошел без этапов, без приездов высшего начальства. Управлялись в приемном покое мы двое — я, фельдшер, и Рогоз, санитар. Рационализация была доведена до предела. И когда привезли инженеров из Китая на постоянное жительство в больницу — как ни желало начальство сохранить информацию, менее двух человек в приемном покое держать было нельзя. Затарахтела машина, оба мы поняли, что и нынешний день не пройдет без этапа. И верно, распахнулась дверь из коридора, и в комнату вскочил военный с погонами старшего лейтенанта.

И с порога крикнул: «Я — начальник прииска». И исчез. На вахту вызвали надзирателя, как требовалось, чтобы приезжий шофер отогнал свою машину, не ставил близко к входу. Шофер вызвал начальника больницы.

Возникла пауза, которая вот-вот должна была прерваться, и я спросил:

— Вот — Гриша, ты работаешь со мной почти три года, что, по-твоему, должен я сказать на такие слова: «Я начальник прииска Бурхаев».

— Я думаю, — сказал Рогоз неторопливо, — как я вас знаю — вы обязательно должны сказать следующее: «Ну и хрен с тобой, что ты начальник прииска Бурхаев. Дело-то в чем?»

Я засмеялся, потому что Рогоз правильно отметил одну из традиций нашей жизни в приемном покое. Мы на горло никому наступать не давали и требовали, чтобы жаловались на нас, а сами никуда и ни на кого жаловаться не ходили.

Потянуть, как это называется на Колыме, — меня было невозможно.

Гриша Рогоз, санитар приемного покоя, из бытовиков, был стукач, приставленный ко мне подполковником Фрагиным, начальником спецчасти, истинным блюстителем бдительности в Центральной больнице в те времена. Уполномоченный МВД при больнице Бакланов был фронтовиком, на Дальнем Севере сражался за пенсию и мало обращал внимание на тайную войну — и свои обязанности в этой войне. Зато начальник спецчасти подполковник Фрагин, бывший милицейский генерал из Москвы, разжалованный во время каких-то антиеврейских кампаний, был готов принять на себя не свои обязанности. Именно подполковник Фрагин и ввел в штат приемного покоя больницы Гришу Рогоза.

Хороший стукач — благо для осторожного человека, скорее благо, чем зло. Ибо если не делать ничего противозаконного — твой стукач становится твоим щитом.

К сожалению, все стукачи, чтобы удержаться на месте, начинают выдумывать, сочинять небылицы. В лагере такая небылица может стоить жизни клиенту стукача. Так было и в моем сроке, и в тысячах подобных «дел».

Стукач, выполняющий задания уполномоченного, не ждет, пока он заметит, услышит, увидит что-то подозрительное. Он сам сочиняет, творит. И так как по законам лагерного мира стукачу — вера, хотя он и обязательно должен быть персонажем очной ставки, то самый хороший, прогрессивный стукач представляет собой вечную смертельную опасность.

Стукачи тоже люди. Они выпивают, что не положено в лагере. Так и Гриша Рогоз напился в какой-то праздник до потери сознания, был отправлен в карцер, а затем снят с работы. И по настоянию спецчасти возвращен на старое место. Работал Гриша хорошо. С того момента, как мне удалось добиться понимания, что протирать все стекла приемного покоя надо каждое утро при начале работы самым тщательным образом, есть ли там пыль или нет, дело пошло на лад.

Кроме того, что Гриша был стукач, он еще играл на кларнете в оркестре больницы. Дефицитная специальность оркестранта в отличие от стукаческой имеет явное поощрение начальства, вся культбригада — от тенора до престидижитатора на манер Кио — в лагере носит длин-

ные волосы — их не стригут под нуль в бане. Это — поощрения очень веские. Тут есть какой-то надлом психический, в этих арестантских прическах. Не только футбольные матчи в Бразилии вызывают самоубийства. Полярные страсти не менее горячие. Я знал пример, когда Яков Заводник — бывший комиссар фронта у Блюхера в Гражданскую войну, бывший заместитель наркома Зеленского, как <известный> человек, которому сломали ребра на допросах в Лефортове в 1937 году, работал начальником лесозаготовительногго участка Центральной больницы в 1949 году — а я у него был фельдшером целый год, — вот этот самый Заводник — он и сейчас в Москве на пенсии, если не умер. Этот Заводник, работая бригадиром на приисках, носил волосы. И когда волосы стригли во время бани, отказался снять волосы. Его вернули на вахту и попытались связать. Но Заводник бросился с кочергой на надзирателей, защищая свою прическу. Заводник получил изолятор и попал в больницу, остался в больничной обслуге на лесозаготовках.

Волосы были выражением личного протеста, открытого протеста, пойти на смерть, если нужно, но сохранить волосы. Это чисто блатная философия.

Физический поединок на основе блатной нравственности. Либо Заводник вспомнил Лефортово, когда он «не подписал» и также кидался на следователей. Смещение масштабов было тут явное.

В Москве году в 1957 я был у Заводника в наркомате пищевой промышленности — он заведовал каким-то отделом, выслуживал стаж до пенсии. Удивил меня немало своим замечанием:

«Нас с вами освободили, потому что мы ни в чем не виноваты. А тех, кого не освободили, — значит, у них что-нибудь есть». Больше у Заводника я не бывал ни на службе, ни дома. Яроцкий, о котором шла речь в нашем разговоре, вернулся в Москву на несколько месяцев позже Заводника.

Лесозаготовки, вернее, дровозаготовки, которые вела больница на ключе Дусканья — близ устья реки Дебин, вела бригада человек в пятьдесят. Это обычное лагерное предприятие с историями болезней и допуском учета — и рабсилы и продукции. Для того чтобы вести такой учет, нужен надежный и хорошо грамотный человек. Таким человеком и был Заводник. Фальшивые рабочие

дни, фальшивые заготовки не должны были затрагивать истины трудовой и производственной.

Начальник больницы Винокуров держал Заводника на этой работе потому, что получал дрова для собственной квартиры. Бесплатные же дрова получали и все лица из администрации. Даже не бесплатные, оплаченные в кассе, можно вывезти нечаянно сухие пеньки или полусырые, как всем. Сухие дрова или нынешние заготовки. А дрова на Колыме — дело серьезное. Вот главная задача, которую выполнял Заводник и чувствовал себя полным хозяином в своем лесном хозяйстве.

Как только сменили начальника, уволен был и Заводник, заменен опять-таки своим человеком.

Этот фронтовой комиссар служил Винокурову преданно. Винокуров был властью, официальной властью. Заводнику времен Лефортова шел шестой десяток. А через 10 лет? После Лефортова, в 1948 году?

Заводник был маленького роста, горластый невероятно. Во рту у него всегда что-то булькало, хрипело.

Я пришел к Заводнику работать после того, как он последовательно выгнал трех фельдшеров, чем-нибудь не угодили начальнику лесозаготовок. В лагерях все начальники: начальник водяной будки, начальник моста.

Я приехал в лес на машине, зашел познакомиться. Меня снимали из хирургического отделения. Показал Заводнику приказ о назначении.

— Надеюсь, ссориться не будем, — сказал Заводник.

— Хочу сказать вам заранее. Яков, как вас по отчеству?

— Мовсеевич.

— Яков Мовсеевич. В ваши дела я соваться не буду, но и моих попрошу не касаться.

— Почему спросить меня нельзя? Вам характеристику дать, — сказал Заводник полунасмешливо.

— Это меня мало заботит. Время покажет — что ваше, что мое.

Ко мне в амбулаторию Заводник не являлся никогда, все полтора года, что мы поработали вместе, и я к нему тоже не ходил.

Участок был разбросан в разных местах, километров пятьдесят вверх от больницы по порогам Бохайпчи был самый дальний. Я ездил от участка до участка. Вот тут-то я и начал писать стихи.

Течение на Колыме такое сильное, что катер пробивается вверх много часов. Ранним утром посадка — ве-

чером прибытие назад, на Бохайпчу, на участок. Вниз долбленка сплывает за час.

В одной из таких поездок моторист катера — вольняшка и партийный — не взял меня на катер — перегружен. Катером, как и всем лесным хозяйством, распоряжался Заводник. Он жил тут же, в палатке на берегу. Я разбудил Заводника, полусонный, он выскочил на берег.

Катер еще не ушел. Моторист в резиновых сапогах стоял на мелкой воде.

Моторист был сильно пьян.

— Не возьмешь фельдшера?

— Не возьму.

Заводник размахнулся и ударил моториста. Моторист упал в воду, вынырнул и еще выполз на берег.

— Заводи мотор!

Холодное купанье освежило моториста, и мы двинулись в трудный путь.

Была у Заводника одна особенность, непонятная мне. Ему часто приходилось читать разные бумаги по своим лесозаготовительным делам. Писать и наряды, и квитанции. Заводник был мастером самого процесса писания, аккуратно графил бумаги. Каждую свою бумагу Заводник украшал собственноручной подписью. Это была сложная, задуманная, очевидно, еще в молодости подпись, отнимавшая многие секунды для своего выражения, каждый росчерк, петелька, крючок, овалы соединялись в подпись самым хитроумным образом. Каждую свою бумажку Заводник подписывал этим сложным рисунком, не торопясь, пока не закончатся все выверты, все узоры.

К стихам Заводник был абсолютно равнодушен.

До меня фельдшером лесной командировки работал Гриша Баркан, одессит, профессиональный тайный осведомитель, направленный в лес подполковником Фрагиным. Баркан был военный фельдшер, прошедший войну, и получил срок в 1945 году.

Заводник вышиб Баркана как раз потому, что понимал истинную причину появления этого фельдшера в лесу. Баркан был прислан информатором, а лесное хозяйство не должно было быть предметом наблюдения стукача, по мысли начальника больницы и Заводника.

Баркан не был на Левом берегу вне больницы. Он — военный фельдшер и на эту должность и был направлен Санотделом лагерей. В больнице Баркан проработал несколько месяцев и выяснилось, что он пишет доносы на

фельдшеров. Мне случайно удалось присутствовать при разговоре уполномоченного Бакланова с Барканом. Я помню его, работавшего в конторе, выдумал стенгазету. Фельдшера Симакова — из заключенных, из 58 статьи — с войны, вызвал Бакланов.

— Ты говоришь то-то и то-то.

— Я не говорил.

— А как же Баркан пишет — вот...

Фрагин перебазировал Баркана в лес.

Баркан вернулся на работу в больницу, был откомандирован в Северное горное управление — по соседству, работал фельдшером — он был дипломированный фельдшер — на участке какого-то прииска. Часто приезжал в больницу на попутках. Баркан был такой чистоплотный, всегда выбритый, щеголеватый человек.

Как-то он заторопился домой. Подходящей попутки — в кабине с шофером, не было, и Баркан поехал в кузове. Машина везла горючее — бочки стояли тесно в кузове торцами вверх. Чтоб не пачкать суконных брюк и хромовых сапог не порвать, не запачкать, Баркан рискнул проехать стоя на бочках и на повороте не удержался, вылетел и был убит. Случайная машина привезла Баркана в нашу больницу Но Баркан годился только для морга.

Такие трагедии вспыхивают, как спички, на Севере. Много ли можно осветить светом спички? Все забыли осведомителя Гришу Баркана.

А я думал тогда, в больнице, в морге, что бог наказывает и стукачей. Если миром правит князь тьмы, то он расправляется с праведником не более жестоко, чем со стукачами. Словом, бог не злонамерен. Но эту фразу Эйнштейна я узнал много позже, да сказана была эта фраза в 1947 году.

Я помню Баркана не потому, что радуюсь смерти стукача, не потому, что устройство моей натуры такое, что я помню хорошее сто лет, а плохое — двести.

Баркан — еще живой — стоит в преддверии важных событий моей жизни — возможности писать стихи в тайге, в лагере.

Ведь стихи писались на тетрадках из бумаги, которую мне подарил Баркан, при сдаче-приеме фельдшерского пункта.

Эти тетради и сейчас у меня, драгоценный документ, который никто не хотел хранить на Левом берегу — ни вольный, ни заключенный. Португалов, с кем

обсуждали мы этот вопрос, посоветовал обратиться к Воронской — та жила в качестве вольнонаемной на Левом, а муж ее был завсельхозом. Но Воронская отказала в этой моей просьбе — «нет не могу, и муж не может». Хотя там ничего не было, кроме стихов. Пока эти тетради не вывезла в Москву договорница Мамучашвили в 1950 году вместе с письмом к Пастернаку. Так мои стихи оказались в Москве, так завязалось знакомство с Пастернаком. Вот эти тетради, посланные Пастернаку, и были написаны на бумаге фельдшера Баркана.

Сколько раз в меня стреляли?

Угрожали оружием? Много. Больше, наверное, чем в любого солдата Второй мировой войны. В этих же поездках.

1953—1956 гг.

В 1953 году я приехал с билетом до Чарджоу от Иркутска, рассчитывая на пересадку в Москве. На вокзале встретила меня жена, она жила в Москве после 1947 года[64]. Я знал из ее писем: «все формальности для того, чтобы жить в Москве вместе со школьницей-дочерью, я проделала». Из чего я сделал вывод, что она со мной развелась, что, разумеется, я одобрял всей душой, и надлежащее письмо написал еще из Бутырской тюрьмы 16 лет назад. Когда я получил второй срок, десятилетний в 1943 году, данный мне трибуналом в Ягодном, я написал еще раз о том, чтобы она не связывала свою судьбу с моей из-за полной бесперспективности, вечной, как тогда я понимал.

В ответ я получил фотографию мою и ее с соответствующей надписью. Фотографию эту забрали у меня блатные из-за толстой пачки писем в бумажнике. Ничего, кроме писем, там не было, даже медной копейки, но было много фото. Я ожидал, что письма подбросят к стенке уборной на улице, как полагается по блатным законам. Но никаких писем никто не подбрасывал. Было это в Нексикане, когда нас собирали на пресловутый смертный этап в спецзону прииска Джелгала. Я сделал вывод, что письма уничтожены, очевидно, со злости, что не было денег. Это вполне в правилах блатной морали. Я просил у кого-то из блатарей, чтоб вернули хоть фото.

— Фото? Фото им самим нужно... Для сеансу...

Я понял и перестал надеяться. Я остался вовсе без фотографий. Такие фото имеют в лагере некоторое значение, небольшое, но некоторое все же имеют. И вот я кончил этот второй срок в 1951 году, работал фельдшером в Центральной больнице, и когда из Центральной больницы в 51-м и 52-м году уехать не удалось, — уволился и поступил в дорожное управление в Адыгалахе, на поселке Барагон, где и встретил смерть Сталина, кровавую амнистию Берии, когда были освобождены только блатари...

Героическими усилиями мне удалось уволиться, почти чудом я перелетел эту пропасть Оймякон — Якутск, семь часов на «Дугласе», а 16 лет [назад] этапом из Москвы с 12 января 1937 года.

На Ярославском вокзале в ноябре 1953 года я встретился с женой и установил: мой паспорт колымский с 35-й статьей, то есть проживание в поселках не свыше 10 тысяч человек, вовсе не обязывает проживать в Средней Азии. Можно и в Клину или в Калининской области, скажем в Конакове.

Ночевать мы приехали на квартиру к какой-то реабилитированной партийке с дореволюционным стажем, которая уже возвратилась, и ей дали квартиру на Песчаной. Номер дома и фамилию партийки не помню. За столом было много народу, и хозяйка провозгласила тост за мое здоровье, сказав, что рада моему возвращению в Москву, что она надеется, что я докажу государству свою революционную преданность, что она вспоминает, как она, когда была лагерницей, не щадя себя, работала в портняжной мастерской на помощь фронту.

Я сказал, что у меня другие мысли об обязанностях гражданских и что ночевать в доме таких лагерных работяг не буду.

Пришлось экстренно менять квартиру. Куда? Наталья Александровна Кастальская[65], дочь бывшего директора консерватории композитора Кастальского, предложила свою комнату в консерватории. Там мы и ночевали. Там только невероятный сор, пыль, которая не убиралась несколько месяцев, если не годы. И узкий ход к дивану среди стопок книг. На следующий день я выехал в Калинин, а оттуда в Конаково — устраиваться фельдшером по своей лагерной специальности, на которую у меня был официальный документ. В горздравотдел мне пришлось подать заявление.

Конаково. Туркмен

Поскольку в фельдшерском деле я чувствовал себя весьма уверенно — образование, стаж лагерный, лагерный диплом, — я пытался найти работу именно по этой медицинской своей специальности. Поэтому я затратил много времени на поездку в Конаково, в райздравотдел, — переписка у меня цела, хотя с самого начала меня не оставляло ощущение, что я попал в железные колеса обыкновенной бюрократической вертушки.

Так как денег у меня было мало — поэту, фельдшеру, агенту снабжения равно надо питаться четыре раза в день, — то тощий кошелек подстегивал мою судьбу, заставляя то не доводить до конца дело, то не полагаться на обещания. Однако я еще держался, спал в вагонах, ждал решения. Надо мной висел дамоклов меч излишнего перерыва в стаже — тощую мою трудовую книжку, выданную на Колыме, разведочный, анкетный, охранительный метод угрожал подвергнуть ненужному вниманию «органов». Дело в том, что по тем временам разрешен был только двухнедельный перерыв в стаже — и для Дальнего Севера с прибавлением еще двух недель. И все. Между тем, или, вернее, именно поэтому администрация тянула ответ, ставя меня в безвыходное положение. Это тоже один из принципов, не столько бюрократический, сколько охранительно-разведочный. Но я еще верил — волю я знал мало. В конаковском райздраве, где я хотел устроиться фельдшером, от меня потребовали характеристику с места работы, то есть из Магадана, из Сануправления. За свой счет я отправил телеграмму туда и через неделю получил ответ, разумеется, самого секретного характера — у нас все было секретно, — где разрешалось прочесть ответ автору телеграммы, то есть мне. Смысл ответа был тот, что лагерный фельдшерский документ действителен только на Дальнем Севере, только в управлении Дальстроя и что права лечить больных людей я не имею. Заведующий конаковским райздравотделом не то что относился ко мне чересчур подозрительно и как-нибудь партийно плохо — скорее безразлично. Он предложил мне поехать в Калинин и там объясниться по поводу своего рабочего стажа и так далее. Звонил ли он в Калинин, не знаю. Калининский горздрав нашел выход другой, юридически вполне обоснованный, поскольку у меня нет документа, а фельдшерские курсы лагерные могут быть

приравнены лишь к неоконченному сестринскому техникуму. Мне и давали разрешение на работу с оплатой как медсестре в сельской местности с незаконченным образованием. По закону это выходило чуть более 200 рублей в месяц. Я даже не думал, что у нас в стране на 37-м году революции существуют такие официальные государственные ставки. Конечно, на двести рублей в месяц в 1954 году я жить не мог, фельдшерскую специальность приходилось бросить. В вагоне возвращался я из Калинина в Конаково, под постукивание колес я еще обдумывал варианты и возможности даже в таких условиях, перерыв в стаже ведь кончался. Я пришел в конаковский райздравотдел и выразил согласие на эту двухсотрублевую работу. Но вертушка только началась. Чтобы получить работу, нужна прописка. А чтобы прописаться — нужна работа. Это адский круг, хорошо знакомый всем, побывавшим в заключении, всем, хлебнувшим тюремной похлебки.

Я отправился на прием в местное НКВД — не помню уж фамилии начальника, как и во всех этих учреждениях, чрезвычайно любезного. Начальник отказал.

— Нет, нет, только не бывших заключенных. К тому же в Конакове уже больше десяти тысяч жителей. Без работы я не пропишу, найдете работу, придете ко мне, все будет решено.

Я вернулся в райздрав.

— Как пропишетесь, так и получите работу.

Железные стенки клетки, вертушки я ощутил очень хорошо. На медицинской специальности приходилось ставить крест. Конечно, во время этих скитаний я не тратил денег на дома колхозника или гостиницы. Вокзал, только вокзал, вагонная койка — вечное мое прибежище, транзитная арестантская кровать. В это время я об этом и не думал. Я и не знал, что существуют какие-то иные способы спать, кроме вокзала и вагона.

<В Туркмене> встретил я, к своему величайшему удивлению, замечательную богатейшую библиотеку. Библиотекарша была сторожем книжных сокровищ. Библиотека была загадкой. Культурный облик библиотекарши — а она работала тут более десяти лет, не давая права думать, что книги собраны ее трудами. Это была библиотека, составленная умелой и уверенной ру-

кой из книг, купленных в букинистических магазинах. Здесь были классики, русские и иностранные, богатейшая мемуарная литература. Кони[66], Горбунов[67], Михайлов[68], Фигнер, Кропоткин.

Письма Чехова, изданные Марией Павловной, Ибсен, Андреев, Блок, прижизненное издание Державина.

В основном ее каталоге не было ничего лишнего, ничего случайного.

Я разгадал эту загадку.

Главным инженером этого торфопредприятия был в течение шести лет ссыльный Караев. По его настоянию все средства на книги тратились в Москве, в книжных магазинах. Никаких «перечислений», никакого принудительного ассортимента, где Бубеннов[69] и Бабаевский[70] — вроде классиков. Дорогу настоящей книге! Караев сам ездил с библиотекаршей в московские книжные магазины — езды до столицы от торфопредприятия пять часов, — сам паковал и отправлял драгоценные свои находки в тверскую глушь.

И только после его отъезда библиотека стала настоящим печатным хламом — он высылался через областной книготорг.

Караев сумел внушить библиотекарше понимание ценности тех книг, которые были им приобретены. Не всякому можно было пользоваться ими свободно. Но мне было можно — по тем же самым причинам, по которым в Адыгалахе было нельзя участвовать в читательской конференции.

Калининская область, Большая земля — не Колыма. С тридцать восьмого по пятьдесят третий год в России не было ни одной семьи, не затронутой арестами. У всех жителей торфяного поселка в лагерях и тюрьмах умерли родственники — их «преступность» была прекрасно известна жителям.

Я нашел в поселке самый сердечный, самый теплый, самый дружеский прием — такой, какого никогда не встречал на Колыме или в Москве.

Великолепная Караевская библиотека воскресила меня духовно, вооружила меня сколько могла, бывая в любимой этой библиотеке чуть не каждый день, допущенный для выбора книг на место — к книжным полкам, я был привилегированным читателем. Большая часть читателей толпилась у барьера, у стола, где работала библиотекарша. По правую и левую руку от нее были сложены стопки книг — по преимуществу изданий последних лет. Это были малоценные в денежном смысле книги, а только в них разрешено было рыться и читателям. Библиотекарша наугад отобрала сотни две книг и пустила их в оборот ускоренный.

Рекомендации ее касались именно этой «ходовой» груды книг — ничтожной духовной, да и материальной ценности по сравнению с остальным книжным фондом.

Приходилось мне позднее и раньше видеть подобную организацию библиотечного дела. Так работают почти все работники маленьких библиотечных «точек».

Говорить о каких-нибудь выводах из такой библиотечной статистики, конечно, не приходится. Тут и Симонов, и Бубеннов будут самыми популярными писателями, любой автор из «двухсот семейств», отобранных заботливо хранящей книги библиотекаршей — «лицом материально ответственным».

Цвейг называет книги «пестрым и опасным миром». В меткости определения Цвейгу нельзя отказать.

Но книги — это тот мир, который не изменяет нам. Возраст диктует нам наши вкусы и ограничивает, локализует восприятие — разное ждем и разное находим в одном и том же романе — я отчетливо знаю, чего я искал в «Монт-Ориоле»[71] в десять, в четырнадцать, в двадцать, в сорок, в пятьдесят лет. Мы становимся взрослыми, признавая несравненное величие Пушкина, подлинное место Золя и Бальзака определяется нами только в зрелые годы.

Но книги — люди. Они могут нас разочаровать, увлечь.

Книги — это мое лучшее в жизни, это духовная опора, верный товарищ во всякой беде.

Мне жаль, что я никогда не имел своей библиотеки.

Большие пожары

[История архива]

В 49-м году на ключе Дусканья[72] вытолкнулось на перо нечто неукротимое, как смертельная рвота... Я устоял, оклемался, очнулся от этого потока бормотания смеси из разных поэтов и продолжал жить, к своему удивлению. Все первые стихи написаны мною на оберточной бумаге, предназначенной для рецептов. Я был фельдшер и по казенной разверстке получал бумагу по норме, экономил ее. Вскоре я выяснил, что можно и не носить с собой эти оберточные блокноты. Жил я в фельдшерской избушке один, стало быть, скрыт — постыдные тайны стихотворения не откроются никогда.

Один — в этом вся надежда, если [пойдет] удача.

Двое — это сто процентов риска.

Родилась же в 37-м году горькая острота: «Человек разглядывает себя в зеркало при утреннем бритье — один из нас предатель».

У меня были свои подсчеты: все, что не вышло за изгородь зубов, — твое, все, что вышло, — может, твое, а может быть, и нет.

Сталин ненавидел стихи и не простил Мандельштаму. Выжал из Пастернака «Художника», живущего в соседстве с «поступком, ростом в шар земной».

На Колыме стихи не уничтожали, не жгли как некие жертвы, а хранили бережно, чтобы исказить, дать ложное толкование и овеществить самым зловещим образом. В тех миллионах обысков, «сухих бань», по выражению Бутырской тюрьмы, стихов не находили никогда. Да я их и не писал. А если и писал, то уничтожал в каком-то ближайшем просвете разума.

В 49-м году я вернулся к записи. Лагерные начальники вряд ли отличили бы стихи, даже рифмованные, не верлибр, от письма заключенного. [Нрзб].

Лагерь и стихи?

Разобраться на первый взгляд было невозможно. Но тетрадка взрослела, толстела...

В 1951 году я был освобожден по сроку и впервые задумался весной 1951 года, как сохранить свои стихи.

Не вывезти к семье, а просто сохранить до какого-то часа, месяца, года — в чужих руках. В самих стихах, разумеется, не было ничего криминального. Самое либеральное — это «Камея», которую написал я на пленэре близ Оймякона в 1950 году.

Португалов, мой постоянный чтец, не посоветовал рвать.

— Выучить наизусть свои собственные стихи нельзя. Память — не такой инструмент, чтобы что-то надежно хранить. Ну, двадцать, тридцать стихотворений можешь выучить, поверь моему актерскому опыту. Но не тысячу же! Как у тебя! Подготовь к отъезду, вручи Воронской[73]. Имя отца, традиция — дело верное. Тем более, кто возьмет, прочтет: «Камея».

Разговор с Воронской я отложил до реальности отъезда — и стал записывать все стихи в две тетради с надеждой один экземпляр вручить Мамучашвили[74] — даме последней Траута, а второй — Воронской.

И вот в двух пачках было по триста стихов. Каждое было просмотрено на свет, но еще и на звук, чтобы при всех обстоятельствах не возникло никакого [оттенка] тематического.

— Об этом не может быть и речи! У меня дочь, дочь! Знакомый голос моей жены зазвучал в этом истерическом крике [Воронской].

— Да вы посмотрите, это стихи.

— Не хочу и смотреть. Нет, нет, у меня — дочь!

Я оцепенел, пораженный. Португалов был поражен не меньше моего. Но билеты в автобус уже были заказаны, расчет уже получен, доплаты доплачены после трех лет работы в больнице. Я был тверд и ждал этих доплат. На то, чтобы сжечь стихи, оставалась у меня ночь и, конечно, не на природе, не на улице — где кто-нибудь выйдет и продаст. Но у меня была дезкамера, собственная дезкамера с хорошей тягой. Я приступил к сожжению. Оказывается, жечь на обыкновенном огне обыкновенную бумагу необыкновенно трудно.

Я провозился целую ночь. Вспоминаю два известных мне примера из классики, писателей-реалистов. Один — это Достоевский. Брошенные в печь на огонь деньги, миллион. Миллион ассигнациями или кредитными билетами, напечатанными на бумаге высших достоинств, на гербовой знаковой. Там пачка тлела в камине «Идиота», дезкамеры Достоевского, не менее часу, а то и больше, если их не помешивали кочергой. Кредитные

билеты — бессмертны, и Настасья Филипповна ничем не рисковала, доводя до припадка бедного Ганечку. Кредитный билет в таком камине можно жечь час, да еще помешивать кочергой. Я подумал об этой сцене, поворачивая, измельчая в кусочки, мелкие крошки все, что было на дне дезкамеры.

Вспомнил я и другую сцену — Некрасова из «Русских женщин»: камин затопили и одни читали и бросали, другие бросали не читая.

В дезкамеру было опасно бросить что-либо не читая. И ясно, что огонь просто не берет моих стихов, пока сам я по кусочку не верну в огонь листки.

Пришлось поехать с тетрадкой, где было записано открыто два-три стиха. Это, хоть и просмотрят, не вызовет подозрения.

Главная же опасность была не в том, что я провезу или не провезу стихи, а в том, что мои попытки что-то спрятать, сохранить угадают профессиональные блатные и, получив разочарование от собственной попытки, передадут начальству с очередным доносом. Начальник передаст еще выше, никогда не рискнет пресечь эту караульную цепь, и моя тетрадка доплывет до Москвы, до центра. Все рассмотрят со следователем, криптографом, лупой и кое-что, если захотят, то найдут. Вот в чем был главный риск.

Отец мой[75] был человек тщеславный — церковный службист прогрессивного направления. В огромном дорожном чемодане заграничной марки хранился его архив. Там не было никаких тайных рукописей, был только ход наверх, отраженный чисто должностными копиями. Фотопортреты портативные, непохожие, но на это отец плевал — для показа гостям многочисленные фото, фото — портативный, удобный документ, [приятный] гостям.

— Вот я на пароходе на Аляске, вот я в богадельне Алеутских островов. Вот я с ружьем, целюсь в какую-то чайку...

По тайным правилам своим отец разрешал себе рыбную ловлю и запрещал охоту.

Никогда на эти фото я не мог смотреть [потом] без истерики, только в группе, только в куче родственников.

Заглядывал я в этот архив случайно и по просьбе матери. И не потому, что я не интересовался архивом.

Каждый раз на протяжении многих лет и до самой смерти моих родителей[76], я не успевал даже подумать [о них], как слезы подступали к гортани, и я плакал.

Вторая причина. Мать не один раз говорила, уже после смерти отца: «Оставь все, что, может быть, будет нужно».

Как решить, что оставить и что сжечь? Если сжечь, это значит — уничтожить. Эта причина — общая для каждого архива, для каждого прикосновения к чужой бумаге. Как решить, что сжечь и что оставить? Смелость архивиста или юриста... Сам уклонился от такого решения. В чужой-то жизни как решать, а в смерти и тем более. Словом, с отцовским архивом я сознательно тянул, как делают все, когда хотят уклониться от решения.

Наконец, был и еще один юридический вопрос. Я все откладывал да откладывал разборку этих семейных бумаг. Мне хотелось взглянуть на эту драму со стороны и на некотором расстоянии по времени. Но выяснилось, что я все для смерти оставляю.

Я трусил, оставляя и эту попытку. Чего я хотел (кроме хладнокровия)? Чтобы кто-то другой решил за меня? Нет, не потому я не разобрал архива. Вся моя писательская привычка требует, чтобы я держал в руках, видел предмет, когда я пишу. Пусть это будет какое-нибудь пальто, лоскут. Я знаю, что перо мое будет пущено в ход. А в архиве, там, правда, была косынка матери, рабочее пальто отца для кормления коз.

Много раз подходил я к чемодану-архиву и возвращался из-за подступавших слез, но думал, что настанет день и час, когда я смогу открыть крышку, [нрзб.] и я напишу о страшной трагедии матери своей.

— Твой отцовский архив Маша[77] сожгла, посмотрела, что там есть, — не нашла ничего важного и сожгла...

Этот разговор был в Москве в 1953 году во время одного из моих приездов в столицу из Туркмена (есть такой в Калининской области).

Ну, что тут сказать? Была война. Эвакуация. Я сам на Колыме не написал ни одной строки. Это сейчас кажется, что архив мог быть сохранен, а в 1941 году вряд ли и сам я принял бы другое решение. Мне в архиве нужна была мать. Семья уничтожила и мой архив, вместе с архивом моего отца сожгла — перед отъездом из Москвы во время эвакуации. Я не нашел в себе силы для обиды.

В конце концов, родные есть истинный источник всякого сожжения. Жгут же ради детей или руками сестер, матерей. В 1927 году, когда я жил в университете,

родная моя сестра[78] сожгла все до последней бумаги, письма — Асеева, Третьякова... Все просто потому, что я некоторое время был там, у нее, прописан.

Отношение моей семьи не отличалось ничем от этой шумной паники.

Жена сохранила напечатанное и уничтожила все написанное. Кто уж так рассудил... Сто рассказов исчезли. Дерьмо, которое было сосредоточено в архиве «Октября», сохранилось, а сто неопубликованных рассказов (вроде «Доктора Аустино») исчезли.

Даже в 1956 году не было поздно повторить карьеру генерала де Голля.

Но для этого нужна была опора пошире и покрепче, чем моя семья тогдашняя, которая в трудный момент предала меня с потрохами, хотя отлично знала, что, осуждая, толкая меня в яму, она гибнет и сама. И действительно, уже в июле 1937 года мою жену выслали на десять лет в Чарджоу, и только после войны, энергично освобождаясь от формальных оков прошлого, она вернулась в Москву, ради, разумеется, будущего дочери. Большей фальши, чем забота о будущем, в человеческом поведении нет. Каждый знает, что тут сто процентов ошибок.

[Реабилитация 1956 г.][79]

— Значит, если бы я представил справку о том, что я сидел, а не утверждал этого голословно, у капитана не было бы повода упрекнуть следствие в недобросовестности.

— Да, что-то в этом роде.

Председатель сделал знак докладчику продолжать чтение.

— Он фиксирует малейшие нарушения юридической формы вашего процесса, — разъяснил мне кто-то из сидящих за столом, — доказывает юридическую неточность таких <актов>.

Чтение продолжалось около трех часов, ибо формула моей реабилитации — «по вновь открывшимся обстоятельствам» — требует, конечно, такой именно работы.

Мне пожали руку каждый из пяти и секретарь шестой, вручили в руки справку — действительно, роковой документ.

— Вы где живете?

Я сказал.

— Мы устроим вас в Калинине на хорошую работу. В Москву только ездить не надо.

— Я могу дать подписку о невыезде.

— Нет, подписки не надо, — внезапно вмешался председатель, — а просто не надо ехать в Москву. Жена ваша ни в чем не виновата.

— В материалах дела не было ни строчки о моей жене.

Потом я сообразил, что это чисто общие суждения. Реабилитация внесла в столицу такой жестокий мордобой и за то, что было, и за то, чего не было. Мордобой — родственный — стал своего рода общественным явлением.

Доктор Лоскутов писал мне:

«Вот бы Вы узнали поточнее (только это точно — вроде амбулаторной справки!). Как это Петя Якир встретил в Ленинской библиотеке Кагановича! Как даст Кагановичу в нос!..

Берегите справку. Сразу же снимите с нее десять, сто копий и только тогда выходите на улицу».

<1970-е гг.>

Герман Хохлов

В юности у меня была ярко выраженная моторная, двигательная память. Мне достаточно было написать своей рукой стихотворный текст чуть не любой длины один раз — и я запоминал навеки. До них бесконечное количество стихотворной дряни двадцатых годов попало в мой мозг именно таким способом.

Сейчас, после Колымы, где этот способ запоминания был противопоказан, опасен, — память развилась, укрепилась — как зрительная. Я каждый вечер мучаюсь кошмаром лиц, витрин, улочек, перекрестков, — я помню морщины на лицах любой кассирши в магазине и бороться со своей памятью не могу, не могу отбрасывать, ибо знаю, что вдруг виденное вчера, позавчера — явится ко мне снова — живу со слабой надеждой не видеть этих мелочей. Я не управляю памятью — всякая мелочь столько же властна и сильна, как и важное, большое, значительное.

Слуховая память у меня всегда была на втором, на дальнем месте, а с глухотой и совсем утрачена надежность, важность.

Но в моей жизни есть случай, минута, когда требовалась исключительная мобилизация именно слуховой памяти, и память выдержала испытание, запомнила на слух — без всякой надежды на какую-то другую форму передачи, но с достаточной волей восприятия все осталось в памяти навеки.

Эти особые обстоятельства я сам для себя называю «Роландовым рогом».

В июне тридцать седьмого года мои полугодовые следственные мытарства в Бутырской тюрьме кончались. Я был приговорен к пяти годам лагерей с отбыванием срока на Колыме и был переведен в этапный корпус, в большую церковь. Конструкция одноэтажного храма легко разместила пять этажей, пять коридоров с камерами, волчьей музыкой тюремных замков. Все было так же, как и в следственной, — оправки, поверки, скользящая смена караула. Но чем-то было и по-другому — большим шумом, и надзиратели не унимали шума.

Из шестьдесят девятой камеры встретил я в этапе Сережу Кливанского, которого знавал и по университету, в 1927 году он был исключен из комсомола во время прений «по китайскому вопросу», а в 1937 году ввергнут в тюрьму артистом Камерного театра Фениным, Сережиным приятелем, домашним другом, Сереже Кливанскому удалось окончить университет, он не сидел в тюрьме в двадцатые годы, но работать экономистом в Наркомате тяжелой промышленности Сереже не дали. Кливанский — любитель-скрипач — сделал смелый ход — бросил службу в Наркомате, брал уроки у скрипачей и по конкурсу поступил в оркестр театра Станиславского, кажется, на должность второй скрипки. Так Сережа водил смычком несколько лет, но в тридцать седьмом его разыскали и в театральном оркестре. Со стандартной «пятеркой» по КРТД[80] Сережа уехал на Колыму, перенес на прииске «Партизан» зиму 1937—1938 года, — мы жили в одном бараке, а в 1938 году был увезен на Серпантинку — следственную тюрьму Колымы — и расстрелян.

Именно Сереже принадлежит острота в этапном корпусе Бутырской тюрьмы — в жаркие, потные, душные дни тюремного июля. Приговор у всех в нашей камере один — человек на сто с круглообразными нарами, размещенными в церкви: пять лет лагерей с отбытием срока на Колыме.

Сережа, увидев это настойчивое повторение Дальнего Севера в приговорах, сказал, вытирая рубахой пот, льющийся с тела: «После пытки выпариванием нас подвергнут пытке вымораживанием».

Меня мучила жара, но сердце у меня было хорошее, и я перемогался. Нары были оголены, пусты — все набивались под нары, где все-таки было холоднее, лучи солнца не доставали. Но это был один из видов тюремного самообмана — камера наша была на третьем этаже, и температура под нарами и на нарах была почти одинаковой. Но арестант шкурой своей этот градус, конечно, различает. И нужна немалая воля, чтобы заставить себя в жару лечь на нары — пустые, но на градус выше температурой.

Одно из таких голых тел, тех, которых не обдувал никакой ветер, как бы ни ловчило это тело пристроиться на сквозняке — слышалось бормотанье, бормотанье...

Я подошел поближе.

— Это стихи, — сказал человек, снимая толстые очки без оправы и открывая робкие голубые глаза.

— Кто вы?

— Меня зовут Герман Хохлов.

Фамилия эта была мне знакомой. «Известия» печатали статьи, Герман Хохлов был пражанин, нансеновский стипендиат, белоэмигрант, — как мы тогда называли. Отец его ушел с Врангелем. Работал во Франции. Герман окончил в Праге русский институт, специализировался по русской литературе, русской поэзии.

Добивался возвращения на родину.

Одноделец Хохлова, пражанин с душой попроще, был со мной в 69-й следственной камере Бутырской тюрьмы. Фамилия его была Уметин, бывший казак, тоже нансеновский стипендиат. Работал в Москве экономистом, женился.

— Мы были уверены, что сидеть в тюрьме придется. Так что арест нынешний — не сюрприз для меня, — говорил Хохлов. — Мы приехали, нас не арестовали, и года два я писал обзоры, делал доклады о советской поэзии, печатал статьи в газетах. И все же — арестовали. Я даже какое-то облегчение почувствовал. Думаю, теперь-то все сбывается, что мы и ждали. Это и будет проверка, официальная проверка.

— Проверка?

— А как же? Только вот почему-то в лагерь, да еще на Колыму. Наверно, это к лучшему. Дальний Север, Джек Лондон.

— Наверное.

— А вы не знаете примеров?

— Первый раз вижу живого эмигранта.

— Ну, почитаем стихи.

— А целое что-либо помните? Все равно что. Целиком, от строки до строки!

— Что это за тайна? Почему я не могу припомнить Пушкина в тюрьме? Ну, «Евгения Онегина» я просто не хотел, но вступление к «Медному всаднику»? «Полтаву»? Ведь цитаты из «Полтавы», допрос Кочубея и Бутырская тюрьма. Память должна была поднять с самого дна? Еще Пастернак. Где «Заместительница»? «Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет, у которой суставы в запястьях хрустят»... Или «скамьи, шашки, выпушка охраны...» Нет, только обрывки, только куски, только обломки... Полностью я припоминаю только Блока. «Никогда я не забуду...», «Разуверение» Баратынского...

Хохлов прислушивался к моим попыткам с явным интересом.

— Нечего не помню, — сказал я устало.

— Это — тюремное. Я всю русскую поэзию знаю наизусть, а теперь не припоминаю целиком ни одной вещи. Я уже пробовал. Исчезло. Но некоторые стихи я запомнил. Вот так, как вы Блока и Баратынского.

— Кусками — многое.

— Прочтите куски.

— Нет. Стихотворение должно запоминаться и слушаться целиком. Только так... Мель поэзии не будет достигнута, если запоминать только обломки.

— Но некоторые стихи я помню. Я помню «Роландов рог»[81] Цветаевой, помню два стихотворения Ходасевича — «Играю в карты»[82], «Ан Марихен!». Могу вам прочесть.

Мне, чтобы запомнить, надо записать, но ни бумаги, ни карандашей. Я сел на нарах около Хохлова, и Хохлов прочел Цветаевой «Роландов рог». Я повторил, с маленькой ошибкой, и Хохлов поправил эту ошибку, и я повторил без ошибки. Точно так же были прочтены «Играю в карты, пью вино» и «Ан Марихен!».

Я не успел повторить стихи перед Хохловым. Загремела дверь, Хохлова вызвали, и больше я с ним не встречался.

Я все повторил утром без труда.

Все три стихотворения я запомнил на всю жизнь — хотя впереди было семнадцать лет Колымы.

1970-е годы

Берзин

Схема очерка-романа

«Как теперь убивают? Приводят в исполнение?» — равнодушно думал Берзин[83].

Берзина привели с допроса, и он лежал теперь в тюремной камере вниз лицом.

Берзин был длинен — огромные ступни свисали с койки. Он поглядел на свои ноги, на решетку в окне и вспомнил Феликса Эдмундовича. На утверждение к Дзержинскому принесли какой-то хозяйственный заказ, разговор шел о размере нар, и Берзин вошел в кабинет предчека как раз во время этого разговора.

— Нет, нет, — говорил Дзержинский. — Не скупитесь. Не один восемьдесят пять, а один девяносто и даже...

Дзержинский смерил глазами заведующего своим секретариатом — Эдуарда Петровича Берзина и чуть улыбнулся:

— Один девяносто пять. Вот так. Один девяносто пять. Все.

Это была шутка.

Или пророчество?

Давно это было. И нары теперь не те — короче. Берзин перевернулся на спину и согнул ноги в коленях.

Так как же теперь «приводят в исполнение»? При Дзержинском это было обязанностью, правом и долгом того самого следователя, который вел дело. В этом была логика. Романтическая логика и мудрость. Если ты, следователь, доказал суду, трибуналу, что подследственный — враг и достоин смерти, если ты убежден, что он виноват, если ты добиваешься для него смертного приговора, — имей мужество убить сам, своей рукой. И знай, что всех, кого по твоему докладу осудят на смерть, убивать придется тебе самому. А ведь убить своей рукой совсем другое дело, чем ставить «птички» на докладе или буквы «вин» на протоколе заседания, или написать «К расстрелу». Но все это было в романтические времена Феликса Дзержинского. Давно уже следователи были из-

бавлены от необходимости убивать. Были профессиональные «исполнители». Берзину никогда не приходилось встречаться с такими. Но он знал — «исполнители» есть в том самом учреждении, где он работал. Только думать об этом сейчас не надо. Надо ждать. Может быть, все исчезнет, как кошмарный сон. Или как-нибудь известить Молчанова? Но Молчанова нет. Артузова? Но Артузов расстрелян. Берзин поморщился. Надо просто ждать. Ждать смерти. Это он знал со вчерашнего дня.

Здесь, в этой бывшей гостинице, давно превращенной в тюрьму, мало что изменилось — Берзин помнил эти коридоры и комнаты, когда приходил сюда на «обходы» вместе с Дзержинским — сейчас дождаться высокого начальства нельзя. На широкие окна были надеты свинцового цвета козырьки — «намордники». Надзиратели, обутые в валенки, ходили в коридорах по толстым коврам. Когда водили на допросы, надзиратель шел сзади арестованного, негромко приговаривая: направо, налево. На поворотах надзиратели прищелкивали пальцами, спрашивая этим сигналом у других надзирателей — свободная ли дорога, не открыта ли чья-нибудь камера. Ответом был не щелчок, а хлопки в ладоши, тоже негромкие. А если не хлопали, то надзиратель останавливал арестанта.

Закрыв глаза, Берзин думал о своей жизни. Для чего он жил? И отвечал: для революции, для партии... Всю жизнь он старался выполнить свой долг, послужить как можно лучше. Успехи были, что там говорить. После дела Локкарта он говорил с Лениным, и деньги эти локкартовские именно по совету Ленина были переданы латышам. Успех или удача? Удача выполнить долг — так тоже можно сказать. А главное — он считал — и придумал это для себя еще в юности, что каждое новое дело, за которое он брался, должно быть еще важнее, еще значительнее. И все кончается тюремной камерой на Лубянке.

Он командовал дивизией латышских стрелков — и латыши дрались, победоносно сокрушая белогвардейщину на всех фронтах гражданской войны — много ли латышей осталось живыми? Латыши здорово послужили революции, а он, Берзин, был их прославленным командиром. Тогда же он и встретился с Локкартом, с английским послом, и с Сиднеем Рейли — знаменитым английским разведчиком и заманил шпионов в ловушку. Осторожный Рейли бежал, а Локкарт был арестован и обменян позднее на Литвинова, который сидел в англий-

ской тюрьме. Вот так подвиг Берзина вошел в историю советского государства. Гражданская война кончилась, Берзин был молод, полон сил. Он заведовал секретариатом у Феликса Эдмундовича, а когда Дзержинский умер — ушел на новую работу.

Это Дзержинский с его постоянным интересом к переделке людей, к разным коммунам беспризорников внушил ему, Берзину, свою страсть, свою любовь. В это время из Соловков, из УСЛОНа приходили дурные вести о «Курилке», о «выстойке на комарах», о побоях, о произволе, о пьянстве лагерного начальства, и соловецкими делами занималось правительство. Было решено строить эти дела по-новому, найдя людей, которые понимали бы, как трудна наука помогать человеку, которые понимали бы, как опасна и тяжела власть над бесправными людьми.

Ему, Берзину, был доверен первый эксперимент такого рода. Он был назначен большим начальником на Северный Урал — на строительство Вишерского бумажного комбината.

Своим заместителем по лагерной части Берзин взял Ивана Гавриловича Филиппова, члена коллегии ОГПУ, бывшего путиловского токаря. Старый чекист, Филиппов был бессменным председателем знаменитых Соловецких разгрузочных комиссий. Филиппова снимали в документальном фильме «Соловки», а блатные поэты сочиняли о нем стихи:

Каждый год под весенним дождем
Мы приезда комиссии ждем.

Мотивчик немудреный, но запомнился до сих пор.

Филиппов сразу согласился, и Берзин считал это своей большой удачей. Берзин знал свой главный недостаток: то, что он суховат с людьми, не всегда умеет выслушать до конца, что меньше думает о людях, чем о деле. Подчиненному еще неясно то, что ясно самому Берзину, а Берзин готов рассердиться и, случается, сердится. Часто кажется, что русский язык он знает недостаточно, и хотя он все великолепно понимает — переспрашивает. Хотя внешне и не горячится — проклинает и себя и собеседника. И память на людей, на лица, на фамилии была у него всегда плохая. И людям он не верил. Верил только одному-двум близким к нему людям — Филиппову, например, — и понимал, что этого — мало.

Филиппов был великолепным дополнением к нему, Берзину. Полный, добродушный, веселый Филиппов любил людей, любил и умел делать добро людям. Ведь людям делать добро трудно — надо не задеть самолюбия, надо угадать или понять чужое сердце, если не чужую душу.

Филиппов знал все и всех. Авторитет у него среди лагерных работников, среди заключенных был огромным, и когда Филиппов согласился принять должность заместителя начальника Управления по лагерю — Берзин понял, что его мечта осуществится.

Вдвоем с Филипповым он выехал тогда на Северный Урал от Соликамска, где кончалась железная дорога — короткими переездами к северу, до Вижаихи километров сто, немного больше.

— Этап пройдет в пять суток, — говорил Филиппов.

Когда это было? В 1929 году. Началось то, что называлось после «перековкой», «Беломорканалом», «Медвежьей горой».

Начало всей «перековки» было положено Берзиным в том месте, где сейчас стоит город Красновишерск.

Да, у него тогда была мечта, идея.

Ноги затекли, и, как только Берзин лег на правый бок, Вишерские горы — красные в июле от земляники — такая была там пропасть ягод в урожайные годы — отошли куда-то в сторону.

Берзин встал, подошел к двери. Живой человеческий глаз — глаз надзирателя виднелся в «волчке». Берзин отошел и сел на койку.

Как же теперь убивают? Берзин рассердился. Разве нельзя заставить себя не думать о смерти? Тотчас же Вишера зажурчала под его окнами, захрапел рысак Санька, на котором зимой тридцатого года катал он своих дочерей. Дочери всюду были с ним. Жена Берзина умерла, перед смертью взяв с него честное слово, что он никогда *не* женится. И он дал слово и держал его.

Какая же у него была мечта на Вишере? На «Вишхимзе» — «Строительстве Вишерских химических заводов» — так называлось его, берзинское, дело, его эксперимент. Все заключенные должны были работать каждый по своей специальности, а если специальности нет — лагерь дает ее — и не только краткосрочными курсами, а основательной учебой. Было открыто множество мастерских, больших и малых, и каждый заключенный мог требовать и рассчитывать, что будет рабо-

тать свою работу. Для художников были созданы мастерские, где занимались не копированием «Ивана Грозного» или «Мишек в лесу», а работали пейзажи и портреты по всем правилам. Картины увозили в Москву и там продавали. Тогдашний УВЛОН, превращавшийся в УВИТЛ, названный «исправительно-трудовым» вместо лагеря «особого назначения», быстро рос, впитывая в себя домзаки и исправдома. За 60 тысяч человек было в этом лагере. Среди них отыскались 4 бахромщика, и бахромщики были свезены и работали по специальности. Заработок заключенных на Берзинковско-Химстрое — стройке первой пятилетки — был выше заработков вольнонаемных рабочих. Лагеря росли. К январю 1931 года вместо УСЛОНа было 16 больших лагерей с почти миллионным населением.

И Берзин увидел, что все новые стройки просят, требуют людей, и не просто людей, а людей-арестантов, рабочую силу из заключенных. Лагеря открывались в каждом городе, в каждой области — Бамлаг, Рязанлаг, при каждом даже небольшом строительстве. Только на Днепрострое не было лагерей.

Берзинская идея была раздавлена в болотах Москанала, где уже ни о каких мастерских, ни о какой учебе не было речи, а говорили только о процентах, о выработке и физической силе, которая удивительным образом оценивалась начальством как сила моральная.

О переделке человека говорить перестали, и большие начальники отводили в сторону глаза, едва Берзин заговаривал об этом. В арестантской рабочей силе, в рабском труде видели спасение от всех зол. Все это было вовсе не похоже на робкие опыты Берзина и Филиппова над человеческим сердцем в лесах Северного Урала.

Берзин понял, что духи, которых он выпустил из бутылки, слишком могучи. Он испугался.

В 1932 году вместе с Филипповым представил правительству докладную записку, изложил новую идею. Колымскую.

Занятные люди окружали Берзина на Вишере. Был Степанов — когда-то эсер-максималист, политкаторжанин — командир сводного отряда бронепоездов во время гражданской войны на Тамбовщине, красный командир, который помог бежать Антонову — забытое историей дело. Забудется ли Локкарт? Нет, не забудется. Арест Локкарта — большая история. Антоновский мятеж — малая.

Был Цвирко — лихой пограничник, который, возвращаясь из отпуска, напился в Москве и ночью открыл стрельбу по Аполлоновой колеснице Большого театра — очнулся на Лубянке без ремней, без пуговиц и петлиц и не вернулся на заставу, а этапом ушел на три года в Вишерские лагеря и там был верным помощником Берзина по «перековочным» делам.

Был Шан-Гирей, шестидесятилетний татарский князь из свиты Николая Второго. В семнадцатом году, когда Корнилов шел на Петроград, Шан-Гирей командовал Дикой дивизией. Вместе с другими офицерами Дикой дивизии перешел на службу в Красную Армию. Командовал корпусом в операциях против Энвера-паши, против басмачей. Энвер ушел, прорвался, и что-то было неясное в обстоятельствах его бегства. Шан-Гирей был лично знаком с Энвером, встречался с ним при дворе. От командования корпусом Шан-Гирей был отстранен, демобилизован и в половине двадцатых годов работал как литературный критик в только что созданной тогда газете «Комсомольская правда». Тогда Шан-Гирей взял себе псевдоним — Тамарин-Мирецкий. С этим псевдонимом его и судил трибунал в 1927 году, когда басмаческие дела да кое-какая мемуарная литература на Западе дали обвинительный материал. Тамарин получил три года и уехал в Вишеру. Он отрицал свою связь с Энвером, да и срок наказания был слишком нелеп — ведь дело шло об измене родине. На Вишере в невиновность Тамарина поверил один человек. Этим человеком был Эдуард Петрович Берзин. Татарский князь Шан-Гирей, по воспитанию своему, принадлежал к тому кругу, где не растят бездельников — всякий, кто читал мемуары Игнатьева, обратил, наверное, внимание на воспитание сыновей Председателя Совета Министров. В лагерях, в ссылке давно обнаружилось, что царские офицеры почти всегда имели какую-нибудь специальность ремесленного типа. Это были любители — сапожники, столяры, агрономы. Страстью Александра Александровича Тамарина-Мирецкого, князя Шан-Гирея, были цветы, цветоводство и садоводство. Берзин разрешил организовать, как это тогда называлось, «сельхоз» вблизи лагеря, назначил шестидесятилетнего князя заведующим — и дело пошло. «Сельхоз» все рос и рос, свежие овощи часто попадали к столу заключенных, а на стол Берзина старик ежедневно ставил только что срезанный живой цветок — розу, астру, бегонию...

В 1930 году старика неожиданно вызвали в Москву — за несколько месяцев до окончания срока заключения.

— Хорошего не жду, — говорил Тамарин, уезжая.

Бывший чекист, Берзин понимал еще лучше Тамарина причину вызова. Конечно, какие-то новые материалы по энверовскому, не иначе, делу. Но Берзин, бывший чекист, понимал и другое — эти новые сведения, особенно если они из заграничного источника, могут быть просто провокацией.

— Во всяком случае, что бы то ни было, если не освободят, приезжайте опять сюда. Место — за вами. — Берзин с трудом улыбнулся — улыбаться он не умел.

Незадолго до вызова к Тамарину приехали его мать — восьмидесятилетняя старуха — и сестра, чуть помоложе самого князя. Сестра поступила на работу — машинисткой в контору Вишхимза. И обе женщины стали ждать сына и брата.

Через полгода Тамарина привез спецконвой. Все предположения были верны. Дело его было пересмотрено, и вместо трех лет Тамарин получил десять. За границей за эти годы были опубликованы мемуары каких-то энверовцев, где было рассказано о личном знакомстве Энвера и Тамарина. Берзин оказался прав. Но он верил старику. Тамарин был возвращен на Колыму. Здесь Александр Александрович организовал знаменитый «КОС» — Колымскую опытную станцию — близ будущего совхоза «Эльген» и стал пионером сельскохозяйственного освоения Дальнего Севера, добился больших успехов: по представлению Берзина был досрочно освобожден, а в 1936 году — к трехлетию Колымы — награжден орденом. Тамарин умер раньше, чем Берзин был арестован.

«Сейчас его тоже бы арестовали, — думал Берзин. — И все бы началось снова: Энвер-паша, Дикая дивизия, царь...»

Как все это было с Колымой — главным делом его, берзинской, жизни?

Он не просто был назначен генерал-губернатором Восточной Сибири — как Пестель, как Муравьев.

Он был директором Дальстроя, хозяином жизни и смерти десятков тысяч людей, он был высшей партийной инстанцией, главной советской властью золотого края, командующим пограничными войсками на границе с Японией и Америкой. Он был высшим представителем

Советской власти для десятков национальностей, населяющих Колыму, — юкагиров, эвенов, якутов, чукчей...

Этого было много для одного человека, но все это было не главное.

Главных дел было два — земля и люди, или, по Дзержинскому, люди и земля.

О том, что на Колыме много золота, — известно триста лет со времен походов Стадухина[84], а может быть, и раньше. Геологи давно писали, что Колыма и Аляска — «крылья» золотого пояса, главные сокровища которого под морским дном. Золото моют на Колыме не одну сотню лет — в краткие летние месяцы. Моют сибиряки, японцы, американцы. Старательским лотком, хищническим способом.

Но никогда правительство не решалось направить сюда в стосуточную ночь, на шестидесятиградусный мороз людей насильно, принудительно. Остров Сахалин хоть и почти рядом, но там теплое течение Куросиво, а не леденящий душу и тело полярный ветер Чукотки.

Как может быть повторен Клондайк? Какими «длинными рублями» можно заманить сюда на камень, на лед? Как и кем можно колонизовать край?

Опыт колонизации подобного рода велик и разнообразен. Австралия, Британская Гвиана, Кайенна, царский Сахалин, Байкало-Амурская «Колесуха»....

Но холод, холод...

Золота тут много. Билибин и Цареградский уже вычертили первые подземные карты. Тут было не только золото, но и то, что называется «вторым металлом» — все от олова до урана. Но главное — золото, первый металл. Расчеты показали, что все окупится, что можно пойти на огромные расходы — миллиардные расходы — зафрахтовать пароходы Севморпути на несколько рейсов, построить свои суда — завезти лучшие продукты, лучшие инструменты, лучшую одежду — и начать...

Построить дорогу через весь край — восьмую часть Советского Союза. От главной «трассы» отвести в сторону «зимники», «времянки», перекрестить шоссейными дорогами из местных материалов всю берзинскую страну, построить прииски, завести бутары и драги. Построить морской порт в бухте Нагаево, заложить новый город — столицу золотого края. Все окупится золотой добычей.

А люди? Кроме энтузиастов-начальников, приехавших с Вишеры, и всех, кто захочет работать честно и

энергично, хотя бы в погоне за «длинным рублем», — заключенные.

Вопрос не простой и не потому, что будет знать заграница, как она знала о Соловках, о Вишере; Берингов пролив — рядом. Зачеты рабочих дней уже применялись по всей стране, по всем многомиллионным лагерям Союза.

На Колыме надо сделать так, чтобы при любом сроке каждый осужденный мог выйти на свободу через несколько месяцев, да еще с большими деньгами. Расценки были одинаковыми для вольных и заключенных. Работай и, если ты хорошо работаешь, через лето, максимум два лета ты, десятилетник, будешь на свободе. С большими деньгами. Тебе дается возможность пойти по пути настоящей жизни — если ты захочешь.

Здесь вишерская «работа по специальности» была забыта... Здесь все кричали «Скорей, скорей!». Сломалась машина... Шофер, бери новую и — скорей, скорей! Завози лучшие продукты, одежду, инструмент.

Работали десять часов летом без выходных, только с «пересменком», суточным отдыхом раз в десять дней.

Но уже в октябре работали 8 часов, в декабре — шесть, в январе — 4. В феврале кривая поднималась — шесть, восемь, снова десять.

«В один день Колыма добывает золота столько, что на эти деньги можно прокормить один день целый мир», — писал Берзин в «Правде» в 1936 году, — когда отмечал трехлетие своего дела, когда были построены первые шестьсот километров знаменитой Колымской «трассы».

В 1937 году на Колыму в качестве «очередного пополнения» прислали осужденных «троцкистов» — как их тогда называли. Среди них было много людей, которых Берзин знал и лично. Они прибыли со странным предписанием: «использовать только на тяжелых физических работах», «запретить переписку», сообщать об их поведении ежемесячно.

Берзин и Филиппов написали докладную записку: что этот «контингент» не годится в условиях Крайнего Севера, что людей заслали без надлежащих медицинских актов, что в «этапах» много стариков и больных, что девяносто процентов новых арестантов — люди интеллигентного труда — использование которых на Крайнем Севере прежде всего неэкономично.

Берзин был вызван в Москву телеграммой и арестован прямо в поезде.

Сейчас он лежал в тюремной камере и ждал смерти. «Если арестуют Ивана Гавриловича, — думал он о Филиппове, — он не выдержит тюрьмы — умрет, сердце плохое». Берзин похвалил свое здоровье — здоровья хватило и на допросы, и на весь этот кровавый бред.

— Ты японский шпион! Отложиться задумал, передать Колыму Японии!

Лицо и жесты следователя кого-то Берзину напоминали.

«Ха-ха! Да это Локкарт! — с удивлением вспомнил. Конечно, тот давно в Англии, его ведь тогда обменяли на Литвинова, давно, наверное, умер, — и все же — какое сходство». И Берзин улыбнулся.

— Смеешься, сволочь! — закричал следователь и ударил Берзина по лицу. На уголке губ долго держался вкус соленой влаги.

«Сейчас я его ударю», — подумал Берзин. Но в кабинет уже вбегали люди в форменной одежде.

Сколько часов он просидел на допросе? Не одни сутки — несколько следователей менялось за допросным столом. Каждый, «отработав» свою смену, уступал место другому, и допрос продолжался. И Берзин сидел, падал от усталости, его поднимали, сажали на стул, и допрос начинался снова. Это называлось модным словом «конвейер».

Сейчас уже целые сутки не вызывают. Но скоро начнут все с начала. Главное теперь — достойно умереть. Не растеряться, не поддаться на обман, не испугаться, не просить о пощаде.

«Что-то случилось в царстве датском», — горько подумал Берзин. Впрочем, он знал, что случилось, еще со времени самоубийства Орджоникидзе знал. Ну, что ж!

Загремел ключ, и дверь камеры открылась.

— Кто здесь на букву «Б»? — закричал незнакомый надзиратель — рыжий, сытый, в пенсне без ободков.

Берзин встал и надел сапоги.

— Идите вперед. Налево. Направо. Вниз. Подождите. Идите. Направо. Опять направо. Вниз. Еще направо.

«Сейчас он выстрелит мне в затылок», — подумал Берзин.

Яркий синий огонь вспыхнул в его мозгу, и Берзин перестал жить.

Рыжий в пенсне подошел и выстрелил еше раз, в голову мертвого Берзина — как полагалось по инструкции.

1960-е годы

Несколько слов о Хренове

«Человек из песни» — Иулиан Петрович Хренов, которого звали уменьшительно то Ульян, то Ян, бывший директор Краматорского металлургического завода, репрессирован не в 1938 году, как полагает доцент Кемеровского института Борис Челышев (Новокузнецк) («Литература и жизнь», 16 декабря 1962 г.).

С девятого августа 1937 года Хренов, в числе тысяч других «троцкистов», плыл в верхнем трюме парохода «Кулу» из Владивостока в бухту Нагаево (пятый рейс). Здесь-то, в трюме тюремного парохода, и обнаружилась «причастность» Хренова к литературе. Чемодан Яна был свален, как и у всех, в общую кучу «вещей». На руках у арестантов не было ничего, кроме свитеров, пиджаков, брюк, — наиболее предприимчивые выменивали на эти вещи хлеб, сахар, масло у команды... Но таких, опытных и энергичных, было немного... Остальные же хранили свитера и домашние вещи до севера, до конца...

Среди этих тысяч людей лишь один человек был с книгой — Ян Хренов. Книга, которую он взял в трюм, берег и перечитывал — однотомник Маяковского, с красной корочкой. Желающим Хренов отыскивал в книге страницу и показывал стихотворение «Рассказ Хренова о людях Кузнецка». Но впечатления стихи не производили там, в пароходном трюме, никакого, и перечитывать Маяковского в такой обстановке никто не собирался. Не перечитывал стихи и сам Хренов. Грань, отделяющая стихи, искусство от жизни, уже была перейдена — в следственных камерах она еще сохранялась.

Хренов был бледен особой тюремной бледностью, кожа на пухлом лице его была с зеленоватым отливом.

Я не думаю, что Хренов возил книжку в качестве визитной карточки. Рядом с ним на нарах лежали люди, на которых такая визитная карточка не произвела бы ни малейшего впечатления. Притом любителей Маяковского в те годы было немного. Свистопляска вокруг имени поэта только-только начиналась. Просто Хренову было приятно как можно долее сохранить, держать в руках перед глазами это особенное свидетельство былого.

В дальний путь тоже такую рекомендацию не имело смысла брать. Лагерное начальство и блатари не любят стихов. А от тех и других зависела судьба Хренова.

В том мире, куда плыл Хренов, было благоразумнее забыть о стихах, притвориться, что ты никогда стихов

не слышал, чтобы не вызвать на себя огонь начальства, блатарей и даже собственных товарищей.

Через пять суток пароход «Кулу» пришел в бухту Нагаево, 14 августа 1937 года, три дня «общих работ» на устройстве шоссе в бухту Веселую — огромная работа «для дяди» — классическая работа тюремного «этапа».

Через три дня загудели машины и одна за другой помчались по шоссе вверх на север от Магадана. Это шоссе в августе 1937 года было всего шестьсот километров (сейчас оно более двух тысяч километров) и тянулось до Ягодного, до поселка Ягодный.

В стороне от Ягодного лежал прииск «Партизан». Туда-то мы и прибыли из Магадана в одной машине с Хреновым.

Хренов был встревожен, молчалив, томик Маяковского был упрятан в чемодан. Больше я этот томик в руках Хренова не видел. Позднее, в декабре 1937 года, Хренов говорил мне, что однотомник Маяковского отобрали на одном из многочисленных обысков — тогда, когда отбирали все «вольные» вещи, оставляя лишь казенное.

Болезнь спасла Хренова. Серьезное заболевание сердца, да еще камни в печени дали возможность Хренову работать на «легких работах», получать повышенный паек, ибо проценты выполнения норм пересчитывались, и хоть Хренов работал в бригаде — «трановщиком» или с метлой по забою, — но личный его паек пересчитывался с большой скидкой. Пайков было три: «стахановский» — начальство стремилось быть «с веком наравне» (свыше 110%), ударный (от 100 до 110) и производственный (от 80 до 100). В те сказочные времена родилось выражение «стахановцы болезни».

Вот стахановцем болезни называли и Хренова.

Потом пошли повальные расстрелы, аресты, но Хренов как-то уцелел. В зиму 1938 года Ян Петрович работал «пойнтистом» — бурил горячим паром, что тоже было посильно, несмотря на холод и голод. Это была одиночная работа, не зависящая от «процента» бригады.

В декабре 1938 года меня с «Партизана» увезли, и я потерял следы Хренова. Но встречаясь со своими знакомыми по 1937 году, узнал я, что Хренов кончил срок — у него было пять лет. Но «КРТД» освобожден в войну не был, и в конце войны получил «пожизненную ссылку» там же, где работал — на одном из приисков Севера. Работал «по вольному найму» нормировщиком на прииске, а в 1947 или 1948 году умер.

Все это небольшое дополнение к рассказу Б. Челышева в газете «Литература и жизнь» 16 декабря 1962 года.

1960-е годы

Павел Васильев

— Павла Васильева[85] я видел близко один-единственный раз в 1933 году в Москве. На литературных вечерах слышал много раз — тогда он читал «Одну ночь». Стихи в честь Натальи. Читал хорошо. Всякий поэт читает всегда свои стихи лучше, вернее, чем кто-нибудь другой, пусть самый распрекрасный чтец-актер. Поэт читает свои стихи вернее, чем чьи-либо стихи чужие.

В двадцать седьмом году в клубе 1-го МГУ было немало вечеров, когда поэты с эстрады читали чужие стихи, не свои. Особенным энтузиастом такой тонкой пропаганды чужого поэтического искусства был Николай Дементьев, постоянно вызываемый аплодисментами на сцену своего клуба. Дементьев учился тогда в МГУ и, к разочарованию слушателей, читал Сельвинского, Багрицкого — любых поэтов, только не себя. Поэты, в отличие от актеров — людей другого искусства, чем поэзия (Мандельштам даже считал «противоположного искусства»), могут открыть в строке пушкинской, и блоковской, и пастернаковской интонационные подробности, неведомые простым смертным. Поэт, читающий чужие стихи с эстрады, — это гораздо более квалифицированный чтец, чем актер. Таков этот вопрос с принципиальной стороны. Дементьевский же выбор был не очень богат, вкус не очень тонок.

Вот и Васильев, в квартире, где я его увидел, не читал стихов своих. Зато много читал Клюева, своего учителя, начав с «Песни о кольце». — Вот мой учитель!

Запомнилась цитата из Клюева, приведенная тогда Васильевым:

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах.
Как будто истоки разрух
Он ищет в поморских ответах.

И слова: «Подтекст этих стихов пропал для нас. Клюев — поэт сложный, серьезный. Балагана в нем нет. Поморские ответы[86] — это катехизис русского сектант-

ства, знаменитое исповедание веры Андрея Денисова. Истоки хозяйственной разрухи были именно в сопротивлении всяким новшествам, исходящим из Москвы. Да и печатают Поморские ответы со строчной, не заглавной буквы».

Васильев был прав в своем суждении о Клюеве. Роль Клюева в русской лирике XX века не разобрана, не оценена, не отмечена даже.

Клюев был великий знаток людей, великий искатель талантов. Ни Горький, ни Блок талантом этим не обладали. Клюев ввел последовательно в русскую поэзию: Есенина, Клычкова, Васильева, Прокофьева. Именно Клюев дал им знамя и вывел на крестный путь поэзии, научил жить стихом.

И еще, если уж не Клюев:

Беспечна, светла и любовна
Веселая юность моя
Да здравствует Марья Петровна!
И ручка и ножка ея!

— Ея! Ея! — повторял Васильев в восторге. — Это — Языков! Ея!

Стихотворение держится новизной, необычайностью. Изменение правил русской грамматики и орфографии вскрыло нам эту строку Языкова как самоцвет этой удивительно чистой воды. Ясно, что стихотворное достоинство этой строчки неизмеримо возросло после изменения правил орфографии.

В Васильеве поражало одно обстоятельство. Это был высокий хрупкий человек с матово-желтой кожей, с тонкими, длинными музыкальными пальцами, ясными голубыми глазами.

Во внешнем обличье не было ничего от сибирского хлебороба, от потомственного плугаря. Гибкая фигура очень хорошо одетого человека, радующегося своей новой одежде, своему новому имени — Гронский[87] уже начал печатать Васильева везде, и любая слава казалась доступной Павлу Васильеву. Слава Есенина. Слава Клюева. Скандалист или апостол — род славы еще не был определен. Синие глаза Васильева, тонкие ресницы были неправдоподобно красивы, цепкие пальцы неправдоподобно длинны.

Жестокость! — вот какой след мог оставить на земле Васильев-человек.

Пьянел он быстро.

— Ты — кто?

Васильев вцепился в пиджак Алексею Михайловичу Огану — доценту каких-то литературных наук.

— Я выступаю с театром, — сдержанно ответил Алексей Михайлович, пытаясь освободить пуговицу.

— С каким театром? — Васильев закрутил пуговицу покрепче.

— С литературным...

— А-а-а-а!.. Это — Пушкинский вечер. Тургеневский вечер.

— Вот-вот.

— Но ты ведь не актер. Или — актер?

— Нет, не актер.

— Ты-то там что делаешь?

— Я делаю вступительное слово.

— А-а — Пушкин родился в семье... имел общественное значение. Изобрел онегинскую строфу... Стихи на семьдесят пять процентов писал четырехстопным ямбом. Главное произведение — «Медный всадник». Расстрелян в 1837 году.

— Вот-вот.

— Хорошо. — Васильев отпустил пуговицу.

Оган поправил пиджак:

— А сколько ты получаешь?

— За что?

— Ну, за лекцию эту. За вступительное слово. Что дороже — Пушкин или Некрасов?

— Это все одинаково. Я получаю сто рублей в час.

— Сто рублей в час?

— Да.

Васильев расстегнул пиджак и вынул толстый новенький бумажник.

— На вот тебе двести рублей. Читай мне два часа. Сначала Пушкина, потом Некрасова. Да что ты сердишься? Не все ли тебе равно, если ты этим живешь...

Тут Васильева отвели в сторону, и разговор прервался.

В первой половине тридцать седьмого года в Бутырскую тюрьму пришла «параша». Поэт Павел Васильев арестован за то, что в пьяном виде сорвал портрет Сталина. Арестован и расстрелян.

Все тюремные «параши» сбываются. Сбылась и эта. Павел Васильев убит в 1937 году.

1960-е годы

Александр Константинович Воронский

Александр Константинович Воронский был человек романтический, твердо уверенный в непосредственном действии художественного произведения на душу человека, на его деяния и поступки. С верой в это облагораживающее начало литературы Воронский и действовал.

Осуждал Лассаля за то, что тот погиб на дуэли из-за женщины, не прощал страстям Пушкина, приведшим его к смерти, но сам готов был погибнуть на дуэли в споре за какой-нибудь классический идеал, вроде Андрея Болконского.

Героям Достоевского был чужд, сторонился всей этой темной силы, не понимал и не хотел понимать.

Воронский был романтический догматик.

Никаких других оценок, кроме полезно — не полезно, у Воронского по существу не было.

К стихам относился так, как к прозе — по примеру Белинского.

Есенинский талант признавал, но не хотел видеть, что успехи Есенина вроде поэм о 26, о 36 и даже «Анна Снегина» — все это вне большой литературы, что «Москва кабацкая», «Инония», «Сорокоуст» не будут превзойдены.

Столкновение с этой поэтикой привело Есенина к смерти.

И «Русь советская», «Персидские мотивы» и «Анна Снегина» значительно ниже по своему художественному уровню, чем «Сорокоуст», «Инония», «Пугачев» или вершина творчества Есенина — сборник «Москва кабацкая», где каждое из 18 стихотворений, составляющих этот удивительный цикл, — шедевр русской лирики, отличающийся необыкновенной оригинальностью, одетой в личную судьбу, помноженную на судьбу общества — с использованием всего, что накоплено русской поэзией XX века — выраженной с ярчайшей силой.

Но не только «Анна Снегина» и «Русь советская» — тут еще найден какой-то удовлетворительный компромисс за счет художественности, разумеется, при всей их многословности, антиесенинском стиле по существу — у Есенина нет сюжетных описательных стихов.

Есенин — это концентрация художественной энергии в небольшом количестве строк — в том его сила и признак.

Но речь даже не об «Анне Снегиной». Есенин написал и поспешно с помощью Воронского и Чагина опубли-

ковал плоды своей перестройки и «отказался от взглядов» — по модному тогдашнему выражению.

«Баллада о двадцати шести», «Баллада о тридцати шести», все это, как и прежде делаемые попытки в том же направлении — стихотворение «Товарищ», — вне искусства.

Попытки насиловать себя и привели к самоубийству. Сейчас мы знаем, что наряду с этой халтурой Есенин писал и «есенинские» стихотворения «Метель», «Черный человек»...

В то время каждый «вождь» оказывал покровительство какому-либо писателю, художнику, а подчас оказывал и материальную помощь.

Троцкий покровительствовал Пильняку, Бухарин — Пастернаку и Ушакову, Ягода — Горькому, Луначарский и Сталин — Маяковскому.

Троцкий написал о Пильняке несколько статей, требуя взаимной любви и ее доказательств.

«Талантлив Пильняк — но многое с него и спросится» — так оканчивалась статья Троцкого о «Голом годе» Пильняка.

Ягода покровительствовал Горькому. Не следует думать, что имя Горького открывало в двадцатые годы чьи-либо двери. Горькому никогда не простили его позиций в 1917 году, его выступления в защиту войны 1914 года. Положение Горького было более чем шатко, и РАПП и Маяковский травили Горького, не говоря уже о Сосновском[88], в сущности выполняя партийное решение.

Партийная точка зрения на Горького была изложена в специальной статье Теодоровича[89] «Классовые корни творчества Горького» (люмпен, волжские буржуазные антиленинские выступления, дружба с Богдановым, который — антиленинской школы на деньги миллионера Горького).

Обеспечить Горькому спокойную жизнь и взял на себя Генрих Ягода. Это было солидной поддержкой.

Со Сталиным Горький сговорился быстро и после расстрела своего друга Ягоды выступил с известным заявлением «Если враг не сдается — его уничтожают».

Тут уже Горькому не нужна была помощь и поддержка второстепенных лиц. Сталина Горький боялся панически.

Всеволод Иванов оставил рассказ о своем приглашении на завтрак к Горькому на Николину Гору.

Во время завтрака в столовую вошел сын Горького — известный автомобилист-любитель Максим и сказал: «Папа, я сейчас обогнал машину, кажется, Иосифа Виссарионовича».

Дачи Горького и Сталина были рядом.

Горький побледнел, побежал извиняться, завтрак прервался, и когда хозяин вернулся, на нем не было лица, и гости поспешили уйти. Этот красочный эпизод описан в журнале «Байкал» в 1969 году в № 1.

Но что происходило во второй половине тридцатых годов, стало возможно рассказать в куцем виде лишь через тридцать лет.

О двадцатых же годах и сейчас ничего правдивого не напечатано.

Но вернемся к меценатам, партийной политике самого верха.

Николай Иванович Бухарин в докладе на 1 Съезде писателей назвал Пастернака первым именем в русской поэзии. Но вместе с Пастернаком надеждой русской поэзии Николай Иванович назвал Ушакова.

В этом не было ничего необыкновенного.

Своими первыми книжками «Весна республики» и «50 стихотворений» Ушаков сразу вошел в первые ряды современной русской поэзии. От него ждали, к нему протягивали руки лефовцы, конструктивисты, рапповцы, спеша заполонить новый бесстрашный талант в свои сети.

Николай Николаевич Ушаков, человек скромный, убоялся веселой славы и отступил в тень, не решаясь занять место в борьбе титанов вроде Маяковского и Пастернака. От Ушакова ждали очень многого. Он не написал ничего лучше первых своих сборников.

Сталин покровительствовал Маяковскому. Оба деятеля обменивались комплиментами. Сталин на заявлении Лили Брик написал резолюцию, адресованную Н. И. Ежову: «Маяковский лучший талантливейший поэт нашей советской эпохи. Равнодушие к его памяти преступление».

Маяковский еще раньше сочинил стихотворение на ту же тему:

Я хочу, чтоб к штыку
приравняли перо,
С чугуном чтоб и с выделкой
стали,

О работе стихов на Политбюро
Чтобы делал доклады Сталин.

Пастернак решил обезопасить себя от мстительной враждебности Сталина, выражаемой против всех, кого хвалят враги, и написал сам стишок о Сталине в 1934 году, назвав цикл «Художник»:

Живет не человек — деянье,
Поступок ростом в шар земной.

Это стихотворение не только спасло Пастернака, но удостоило личной беседы по телефону со Сталиным, хотя не по поводу своей оды.

До сих пор никто не может понять, как поэт, к которому резко отрицательно относился Ленин, вписан в историю и позднее даже в школьный учебник.

Маяковского вписали Сталин и Луначарский.

Когда Горький жил на Капри и начинались переговоры о столь деликатном деле, как возвращение Горького в Советский Союз, Маяковский опубликовал в «Новом Лефе» свое письмо Горькому.

Воронский получил от Горького письмо, что он, Горький, пересмотрит свое решение о возвращении, если ему не гарантируют исключения подобных демаршей со стороны кого бы то ни было.

Воронский ответил, что он поставил об этом в известность членов правительства и Алексей Максимович может не беспокоиться. Маяковский будет поставлен на место.

Оба письма есть в архиве Горького.

К кому из членов правительства обращался Воронский? Не к Сталину же... И вряд ли к Луначарскому.

Во всяком случае, переговоры велись через Воронского, а Воронский отнюдь не был поклонником Горького — ни как художника, ни как общественного деятеля.

На многолюдном диспуте с Авербахом и рапповцами Воронский оспорил принадлежность Горького к пролетарской литературе (Гладков, Ляшко, Бахметьев и т. п.). Воронский потрясал перстом, и наброшенная для тепла бекеша спадала с плеч. В конце концов Воронский сбросил бекешу, положил ее на кафедру и договорил речь без бекеши — и потом только одел в рукава и сел за деревянный, некрашеный стол президиума.

В 1933 году я был на чистке Воронского в Гослите. Последняя работа Александра Константиновича в Мо-

скве — старший редактор Гослита. Сам Гослит помещался тогда в Ветошном переулке.

Чистку вел Магидов, старый большевик.

И Магидов, как и Теодорович — да все, все без исключения люди, чьи фамилии были в первых рядах строителей новой жизни, — все были уничтожены Сталиным, физически уничтожены.

Воронский рассказал о своей жизни, о том, что, дескать, ошибался, работал там-то и там-то.

Вопросов никаких не задавалось, народу было немного, человек шестьдесят в зале, а то и меньше. Магидов уже приготовился продиктовать секретарю: «Считать проверенным», как вдруг из задних рядов поднялась рука, просящая слова для вопроса.

Встал какой-то молодой парень. На лице его написано было искреннее желание постичь ситуацию, не уколоть, не намекнуть, а просто понять — для себя.

— Скажите, товарищ Воронский, вот вы были выдающимся критиком. Уже давно в советской печати не видно ваших критических статей. Вот вы написали книгу о Желябове — это хорошо. Воспоминания написали еще лучше. Повести, наконец главу «Урагана». Все это очень хорошо доказывает большой запас творческой энергии. Но критика, критика-то ваша где?

Воронский помолчал и ответил спокойно, неторопливо и холодно:

— По возвращении из липецкой ссылки я сломал свое перо журналиста.

Парень в задних рядах восторженно закивал головой, сел, пропал из глаз, и Магидов вызвал очередного на проверку.

Александр Константинович Воронский как редактор двух журналов — «Красной нови» и «Прожектора», как руководитель крупного издательства («Круг») и вождь литературной группировки «Перевал» отдавал огромное количество времени, энергии, сил нравственных и физических чтению чужих рукописей. Стихов всегда писалось много, и самотек двадцатых годов представлял такое же бурное море, как и сейчас.

Я сам был консультантом по художественной литературе при Центральной рабочей читальне им. Горького в Доме союзов в тридцать втором и тридцать третьем году. Поток рукописей, беседы с авторами и прочее. А ведь библиотека не журнал.

Александр Константинович читал день и ночь и ничего, понятно, путного не нашел, ни одного имени из са-

мотека не поднял и не мог поднять — ибо в мешанине такой количество и качество особые. Вот эту особенность искусства и не хотели принимать догматики и теоретики, реалисты и романтики, отшельники и дельцы.

Ни одного нового имени в литературе, которое бы вышло рукоположенное Воронским.

Чтение чужих рукописей — худшая из худших работ. Неблагодарное занятие. Но теоретические убеждения заставили Воронского обращаться в новых поисках и с новым вниманием. Впрочем, это внимание стал разъедать скепсис со временем. Дочь Воронского рассказывает, как принимал иногда отец чью-нибудь объемистую рукопись.

— Как фамилия автора?

— Пупырушкин.

Александр Константинович взвесил на руке бумажную тяжесть.

— Вышлите назад. Не пойдет.

— Почему? — недоумевала дочь.

— Потому, — назидательно говорил Воронский, — что если это талантливый автор, обладающий литературным вкусом, он писал бы под псевдонимом.

Резон тут, конечно, есть.

Тогда все ждали Пушкина: вот-вот пять лет пройдет — и появится новый Пушкин, ибо капитализм — это такой строй, который «мял и душил», а теперь...

Время шло, а Пушкина все не было. Постепенно стали понимать, что искусство живет по особым законам, вне общественных коллизий и не ими определяется.

То же самое внимание обращал в своей переписке, в своей писательской деятельности и Горький. Та же была политика и те же неудачи.

Кого в литературу ввел Горький? Ни чести, ни славы горьковские восприемники не принесли.

Мы не однажды заводили разговор с Воронским о будущем. Воронский не на новые фигуры надеялся, а на то, что все талантливые писатели перейдут на сторону советскую. А не перейдут — им не дадут писать — «Кто не с нами!».

Поэтому Мандельштам и Ахматова были и для Воронского чуждым советской власти элементом.

Будущее Александр Константинович рисовал перед нами в классическом стиле всеобщего расцвета, роста всех потребностей, удовлетворения всех вкусов.

Как-то случилось на ту же тему побеседовать с Раковским[90]. Раковский вежливо выслушал мальчишеские наши мечты и улыбнулся.

«Я должен сказать, ребята, — он так и сказал «ребята», — хотя у него были студенты университета, — что картина, нарисованная вами, привлекательна. Но не забывайте, — и Раковский улыбнулся, — что это представления людей буржуазного общества. И мои и, главное, ваши, ваши, хотя вы меня и моложе на сорок лет, — такие представления, идеалы буржуазного общества. Никто не знает, каким будет человек коммунистического общества. Какими будут его привычки, вкусы, желания. Может быть, он будет любить казармы.

Мы с вами вкусов его не знаем, не можем представить».

Много лет позже этого разговора попалась мне в руки автобиография Ганди. Ганди пишет о своей религии так. Человек должен интересоваться самоотречением, а не загробной жизнью, которую надо заслужить самоотречением. Если аскет на земле выполнит свой долг — то какую загробную жизнь лучше этой может он себе представить...

Как случилось, что Воронский настолько хорошо был знаком с Лениным, что даже организационное собрание первого советского литературно-художественного журнала «Красная новь» было на квартире Ленина в Кремле? На этом первом собрании присутствовали Ленин, Крупская, Горький и Воронский. Воронский делал доклад о программе нового журнала, который он должен был редактировать и где Горький руководил литературно-художественной частью.

Для этого первого номера Ленин дал свою статью о продналоге.

В каком-то мемуаре я прочел, что Ленин присмотрелся к газете «Рабочий край» — в Иванове, которой руководил Воронский, и вызвал его для новой работы. Разгадал в нем автора еще не написанных книг по искусству.

На самом же деле Александр Константинович Воронский, профессиональный революционер, большевик-подпольщик, член партии с 1904 года, был одним из организаторов партии. Воронский был делегатом Пражской конференции в 1912 году, партийной конференции, которую проводил Ленин в один из самых острых моментов партийной истории. Депутатов Пражской конференции было всего восемнадцать человек.

Личные качества Воронского — бессребреник, принципиальный, скромный в высшей степени — иллюстрированы по рассказам Крупской, Ленина. Воронский стал близким личным другом Ленина, бывавшим в Горках в

те последние месяцы 1923 года, когда Ленин уже лишился речи. Крупской написано о тех, кто посещал Ленина в Горках в то время: Воронский, Евгений Преображенский[91], Крестинский[92].

Сейчас все это вошло в справочники, приезд Воронского к Ленину 14 декабря 1923 года записан. Но не записан другой приезд, более поздний, в конце декабря, когда Александр Константинович был у Ленина на елке рождественской. Этот факт еще юридически не удостоверен.

Это свидетельство Крупской удалось опубликовать лишь через пятьдесят (!) лет в 1968 году (в сборнике «Волго-Дон» т. I, стр. 196).

Первая часть воспоминаний А. К. Воронского «За живой и мертвой водой» вышла в издательстве «Круг», которое организовал сам Воронский как руководитель «Перевала» в 1927 году. Писалась же первая часть в 1926 году — начало бурных партийных и литературных сражений.

Так называемая оппозиция, молодое подполье, в первую очередь нуждалось в самых популярных брошюрах с изложением элементарных правил конспирации.

Кравчинский, Бакунин, Кропоткин — все это штудировалось, изучалось молодежью, прежде всего студенчеством.

Задачу быстро написать катехизис подпольщика, где читающий мог научиться элементарным правилам конспирации, поведению на допросах, и взял на себя Александр Константинович Воронский.

Фишелев дал типографию, где набирал платформу 83, основной оппозиционный документ. Троцкий и его друзья Радек, Смилга, Раковский выступали с письмами, и эти платформы перепечатывались, развозились по ссылкам.

Александр Константинович Воронский взял на себя особую задачу — дать популярное руководство поведения.

Таким руководством и были вторая и третья части мемуаров «За живой и мертвой водой».

Вторая часть напечатана в журнале «Новый мир» в № 9—12 1928 года. Эта вторая часть имела особый эпиграф из Лермонтова.

И маршалы зова не слышат.
Иные погибли в бою,

Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

Этот в высшей степени [выразительный] эпиграф был снят в отдельных изданиях.

Вторая часть, где любой арестованный и ссыльный может получить добрый практический совет, очень высоко оценивалась среди оппортунистической молодежи.

Это — главная книга, настольное пособие молодых подпольщиков тех дней.

Имеется пример делегатов Пражской конференции, решившей судьбы России, — всех делегатов было восемнадцать человек.

Воронский написал в своей книге чрезвычайно коротко о своей близости к Ленину. Ленин был очень скромный, но еще более скромным был сам Воронский. Черты скромности у них обоих одинаковы.

В оппозиции А. К. Воронский был председателем ЦКК подпольным. Ведь оппозиция строилась как параллельная организация с теми же «штатами», но «теневыми».

Вне всякого сомнения, что, отказываясь от взглядов по модной тогдашней формуле, Воронский не занимал никакого даже теневого поста в подполье. Но когда-то, в какой-то день и час он этот подземный теневой пост занимал.

Мне известно также об исключительном отношении В. И. Ленина к А. К. Воронскому. Жорж Каспаров, сын секретарши Сталина Вари Каспаровой, которую Сталин загнал в ссылку и умертвил, говорил мне в Бутырской тюрьме в 1937 году весной, что Надежда Константиновна Крупская по просьбе Ленина — а Воронский бывал в Горках у Ленина во время его болезни, как личный друг, личный приятель — <спасала Воронского, пока могла>.

Из многолетнего чтения издательского и журнального самотека Воронским был сделан правильный вывод, что талант — это редкость. И Воронский обратил сугубое внимание на приближение к революции так называемых «попутчиков».

На попутчиках сломал себе шею РАПП, и также и нигилисты из ЛЕФа.

Роспуск РАПП шел мимо Воронского и пользы Воронскому не принес.

Воронскому к этому времени — начало тридцатых годов — был вменен худший грех, по сравнению с которым литературные сражения считались, да и на самом деле были делом менее важным.

1928 год — аресты по всей Москве, разгром университета. Воронский получил свою долю. Раковский, Радек, Сосновский — в политизоляторах. Воронский — в ссылке в Липецке. Это объясняется энергичным ходатайством Крупской, которой, по ее словам, поручил Ленин присматривать за здоровьем Воронского.

Крупская, сама подписавшая основную программу — платформу 83, — спасала жизнь Воронского, пока могла. В 1938 году Крупская умерла.

По сведениям печати, смерть Воронского отнесена к 1944 году. На самом же деле никто из товарищей с Воронским позже 1937 года не встречался. Личное следственное дело Воронского уничтожено неизвестной рукой.

Воронский подписал платформу 83 — основную программу левой оппозиции, под этим именем программа вошла в историю. Однако первоначальная программа эта называлась платформа 84. Восемьдесят четвертой была подпись Крупской, которую впоследствии Крупская сняла под нажимом Сталина. В Москве мрачно острили, что Сталин угрожал Крупской, что объявит женой Ленина Артюхину[93]. Эти мрачные остроты не очень были далеки от истины. Примеров этому в истории было сколько угодно.

Крупская даже выступала в защиту оппозиции на какой-то партийной конференции, но была немедленно дезавуирована Ярославским.

По специальному решению — уточнению сего деликатного и кровавого предмета — лидеры, т. е. подписавшие платформу, письма в ЦК и так далее, лишались права партийной реабилитации и восстанавливались в правах только гражданских.

Но это решение было принято не сразу. Задолго до этого решения ходатайство о партийной реабилитации возбудила дочь Воронского, на основании несостоявшихся исключений в тридцатые годы, — когда расстрел, уничтожение обгоняли формальности, вроде исключения из партии.

Жена Воронского давно умерла в лагерях, дочь вынесла двадцать два года на Колыме, — пять в лагере на Эльгене и семнадцать в самой Колыме

Семнадцатилетней девочкой она туда уехала — вернулась седой и больной матерью двух девочек.

Считал бы Воронский при его принципиальности, высоком нравственном требовании к себе возможным для себя заявление о реабилитации — не знаю. Отве-

тить на этот вопрос не могу. Но дочь подала заявление, и Александр Константинович Воронский получил полную партийную реабилитацию.

Раньше 1967 года о Воронском не писали. Книжки его издавались очень туго. «За живой и мертвой водой» издали только в 1970 году — через пятнадцать лет после реабилитации; сборник критических статей тщательно отфильтровывался, чтобы вытравить сомнительный дух.

Через год или два после реабилитации дочери Воронского понадобилась какая-то справка в ПК о партийном стаже отца. Работник секретариата, занятый этими делами, сообщил, что выдать справки не может, потому что ее отец реабилитирован неправильно: «Он, как подписавший платформу, не подлежит реабилитации».

Работник ЦК заявил: «Еще надо поглядеть, кто вашему отцу давал рекомендацию для реабилитации».

Но, посмотрев эти рекомендации, он успокоился и быстро выдал требуемую справку.

Заявление в ПК о реабилитации Воронского написали Микоян, тогдашний председатель ЦКК СССР, и Елена Стасова.

1970-е годы

Разговор с Михаилом Светловым

С Михаилом Светловым я разговаривал один раз в жизни. И тогда же записал число: 13 мая 1956 года.

Вечер переделкинский был ветреный, темный. За водкой ходили уже второй раз, и бесконечное количество раз я отражал приглашения Светлова и его товарища на тот вечер — способного журналиста Мыса... Мыс недавно вышел из вытрезвителя на Шаболовке, и рюмки, которые он опрокидывал в свой рот, чокаясь со Светловым, были первыми его рюмками после лечения антабусом. Хозяйка этой квартиры хоть и пила, но немного и все уговаривала Светлова прочесть «Гренаду». Мыс довольно живо рассказывал о житье-бытье вытрезвителя, о курсе лечения антабусом — не зная, что я «дипломированный» фельдшер в той, загробной моей жизни, откуда я только что вернулся и бывал в Москве полулегально, приезжая на воскресенья. Работал я там, где и положено было работать человеку, имеющему паспорт по 39-й статье, — в поселках с населением менее десяти

тысяч человек. Я жил в поселке со странным названием Туркмен в восьми верстах от станции Решетниково, работал агентом по техническому снабжению. Время было уже позднее, и я подсчитывал про себя время — пешком до станции Переделкино, потом электричкой в Москву, в Москве на метро «Кольцевой» до Комсомольской площади. Здесь если я не попадал на последний поезд в час ночи, то мог лечь на скамейку или на пол в вокзале и проспать до 4 часов утра — и с первым поездом уехать в Решетниково, а от Решетникова поймать «вертушку» до торфяных разработок или мотовоз, который иногда появлялся там. Или пройти пешком все эти восемь верст. При этом я попадал к началу «занятий», успевая даже умыться с дороги.

Путем этим я ездил не первый раз — нужно было только не опаздывать.

Мыс разговорился, сообщил, что постоянные посетители вытрезвителя — Погодин и Водопьянов, что процент преподавателей истории в вытрезвителе очень велик — превышает чуть не вдвое обыкновенное число этих людей, приходящееся на население каждого города.

Лицо мое не могло скрыть нетерпения, неудовольствия. Я встал и начал прощаться.

— Я вижу по вашему лицу, что вы пережили что-то серьезное.

— Это вас не должно интересовать, Михаил Александрович, — сказал я.

— Аркадьевич, — поправил Мыс, — Михаил Аркадьевич.

— Почему я пью? Потому, что водка помогает мне поддерживать форму. Я и сухой, худощавый поэтому. Сухой как кость. Понимаете, жидкость. Я — жид и я же — кость.

— Антрэ-кот, — сказал Мыс.

— Вот именно, — сказал я, вставая.

— Миша, прочти «Гренаду» на прощанье, — сказала хозяйка.

Светлов встал, протягивая мне руку:

— Подождите. Я вам кое-что скажу. Я, может быть, плохой поэт, но я никогда ни на кого не донес, ни на кого ничего не написал.

Я подумал, что для тех лет это немалая заслуга — потрудней, пожалуй, чем написать «Гренаду».

— Острота хорошая, Михаил Аркадьевич. Да вы и не такой уж плохой поэт. До свиданья.

В это время загремела дверь веранды, и прямо из ночи, из темноты возникла пьяная фигура взъерошенного какого-то человека — в телогрейке, в рабочей робе, плотника какого-нибудь. Плотник был вдребезги пьян.

— Эй вы! — заорал он, наваливаясь на стол и удерживая падающие бутылки. — Сидите тут! Федин застрелился!

— Федин? — сказал Светлов и изрек нечто непроизносимое.

Плотник исчез, растаял во тьме. Светлов налил рюмки Мысу и себе.

— Пьем!

Я распрощался и едва успел добежать до поезда. На другой день утром я узнал из газет, что застрелился не Федин, а Фадеев. Пьяный плотник перепутал фамилии.

1950-е годы

Пастернак[94]

Я не биограф Пастернака, не репортер. Мне было радостно найти в Пастернаке сходное понимание связей искусства и жизни. Радостно было узнать: то, что копилось в моей душе, в моем сердце понемногу, откладывалось, как жизненный опыт, как личные наблюдения и ощущения, разделяется и другим человеком, бесконечно мною уважаемым. Я — практик, эмпирик. Пастернак — книжник. Совпадение взглядов было удивительным. Возможно, что какая-то часть этой теории искусства воспитана во мне Пастернаком — его стихами, его прозой, его поведением, — ведь за его поэтической и личной судьбой я слежу много лет, не пытаясь познакомиться лично. Не потому, что идолы теряют, когда рассматриваешь их слишком близко — я бы рискнул на это! — а просто жизнь уводила меня очень далеко от городов, где жил Пастернак, и как-то не было ни права, ни возможности настаивать мне на этой встрече.

Когда мы стали встречаться, я казался Пастернаку не столько человеком, рожденным его собственными идеями, сколько единомышленником, пришедшим к его мыслям трудной дорогой. Записана тысячная часть наших разговоров. Есть большое количество моих писем к нему, писем, на которые он отвечал при встречах. По его просьбе я написал подробный разбор «Доктора Живаго»

в рукописи. Этот разбор, написанный в два приема (первая и вторая части), должен быть в бумагах Бориса Леонидовича.

В Бутырской тюрьме, во время следствия, мы часто играли «в слова». Из букв заданного слова надо было составить другие слова, повторяя комбинации букв сколько угодно. Все повторения вычеркивались взаимно, и победителем считался тот, кто записал больше слов-вариантов. Это было превосходное упражнение на аллитерации, специальная техника поэта, воспитание его уха.

— Фамилия героя романа? Это история непростая. Еще в детстве я был поражен, взволнован строками из молитвы церковной православной церкви: «Ты если воистину Христос, сын Бога живаго». Я повторял эту строку и по-детски ставил запятую после слова «Бога». Получалось таинственное имя Христа «Живаго». Не о живом Боге думал я, а о новом, только для меня доступном его имени «Живаго». Вся жизнь понадобилась на то, чтобы это детское ощущение сделать реальностью — назвать этим именем героя моего романа. Вот истинная история, «подпочва» выбора. Кроме того, «Живаго» — это звучная и выразительная сибирская фамилия (вроде Мертваго, Веселаго). Символ совпадает здесь с реальностью, не нарушает ее, не противоречит ей.

У Пастернака не было секретарей. На каждое письмо из любой страны отвечал он собственноручно — и на языке автора. Стихов Пастернаку слали немного, и заводить особый резиновый штамп для ответа, какой был у Льва Толстого, Пастернаку не было необходимости. Льву Толстому слали много стихов. Но он никогда их не читал — раз навсегда секретарям было дано распоряжение отсылать стихи обратно. Позднее был заведен резиновый штамп такого текста:

«Уважаемый имярек. Лев Николаевич прочел Ваши стихи и нашел их очень плохими. Секретарь (подпись)».

Письма Пастернака, написанные крупным разборчивым почерком, писались всегда обыкновенным школьным пером, химическими лиловыми чернилами. Никакими авторучками Пастернак не пользовался. Рукописи написаны простым черным карандашом, хорошо отточенным.

Пишущая машинка — не для Пастернака. Ему были бы под стать державинские, пушкинские перья. Я отлично представляю себе Пастернака с гусиным пером в руке.

Пастернак нездоров. Пастернак болеет. Не принимает, встретиться с ним нельзя. Сердце? Гипертония? Нет, экзема. Экзема выбрала место на щеке Пастернака, и это пустячное заболевание ужасно его угнетало, не давало показываться на людях.

С утра — работа, в три часа — послеобеденная прогулка. Вечер в чтении, прогулка перед сном и почти всегда — снотворное: нембутал, барбамил.

Пастернак не читал газет. Не имея газетного «иммунитета».

В. Ш. — Сейчас никто не говорит по вопросам искусства, по вопросам существа нашей работы.

Б. П. — Вы невысокого мнения о Сельвинском. Сельвинский поэт, не виршеписец. Я хотел прочесть что-либо из современного. Каверин, говорят, написал хороший роман «Доктор Власенкова». Но прочла жена, сказала, что начало хорошее, а дальше — неудача. У Каверина почти во всех его вещах начало лучше середины. Скоро надоедает автору собственный сюжет.

Я не люблю Горького. Притом наше время показало, что «человек» отнюдь не «звучит гордо».

На его творчество большое влияние, непрямое, может быть, кроме Анненского и Блока, имеет Андрей Белый. Это — гений. Когда Белый умер, мы написали некролог (он был напечатан в «Известиях»): «Считаем себя его учениками». Подписи было три: Пильняка, Санникова и моя.

...Сурков несколько лет назад обвинял меня в том, что я написал стихи о Керенском. У меня действительно есть такие стихи, но ведь они относятся к 1917 году.

...Когда отец уезжал в Англию, мы поссорились. Я видел много светлого тогда, вначале... Потом этот свет потускнел. Судьбы людей, которых я знал, говорили о многом. В 1930 или 31 году я ездил на Урал в составе писательской бригады и был поражен поездкой — вдоль вагонов бродили нищие — в домотканой южной одежде, просили хлеба. На путях стояли бесконечные эшелоны с семьями, детьми, криком, ревом. Окруженные конвоем — это тогдашних «кулаков» везли на север умирать. Я показывал на эти эшелоны своим товарищам по писательской бригаде, но те ничего путного ответить мне не могли. А через два-три года начались «кировские потоки» — и «ежовщина».

...На вечере в Политехническом, где Пастернак читал в числе прочих стихотворений «Другу», выступил Безы-

менский и сказал, что такие стихи — антисоветская пропаганда, выступление классового врага. Возмущенный до глубины души Пастернак вышел на авансцену:

— Я одно только скажу: Безыменскому я больше руки не подам, — и отошел в сторону.

От волнения и звонить не мог. В семьдесят вторую квартиру позвонила моя жена. Дверь быстро открылась, и вот Пастернак на пороге — седые волосы, темная кожа, большие блестящие глаза, тяжелый подбородок. Быстрые плавные движения. Маленькая прихожая, вешалка, открытая дверь в кабинет справа и крайняя комната с роялем, заваленным яблоками, глубокий диван у стены, стулья. По стенам комнаты — акварели отца.

У меня где-то записано это свиданье. Я пробовал его вспомнить сразу, когда шел пешком через мост на Красную площадь, мимо Василия Блаженного, — семнадцать лет я не был в Москве. Судьба была ко мне слишком добра, слишком. Через семнадцать лет я встретился с городом, который я любил и знал, в котором я вырос, учился и сражался, — встреча с городом тоже чего-то стоит.

Только вчера я приехал с Колымы, из ледяного тумана Заполярья, из страшного мира лагерей Колымы, только вчера я встретился с женой, которая ждала меня семнадцать лет. Только вчера я встретился с дочерью, которую оставил 12 января тридцать седьмого года, поцеловал ее в кроватке и ушел за следователем, делавшим обыск, — ушел на целых семнадцать лет. Дочь выросла без меня — она была уже студенткой. Впервые в ее и моей жизни встретились мы вчера. По Москве еще ходили ежевечерне милиционеры, проверяя в каждой квартире лишних и чужих, — а у меня был паспорт с 39-й статьей, с правом проживания в поселках с населением не выше 10 000 человек.

Куда я ехал? Сам еще не знаю. Что за человек моя дочь? Что за человек моя жена? Разделят ли они те чувства, которые переполняют меня до краев, чувства, которых хватит еще на 25 лет тюремного срока? Кого мне слушать? Только собственное сердце, собственную совесть, где никакая логика ничего не оправдает и ничему не поможет.

Счастье, великое мое счастье было в том, что на вторые сутки моего появления в Москве я мог звонить у этой двери в Лаврушинском переулке. Ибо завтра был уже поезд, ночевать мне было негде.

Но сегодня, 13 ноября 1953 года, я поднимался по лестнице и за дверью 72-й квартиры ждал меня Пастернак — что могло быть поразительнее?

Волнений было слишком много для одного дня, для одного года, может быть.

Я привез и отдал ему книжку стихов, синюю тетрадь, записанную еще около Оймякона, в Якутии.

Через час после моего ухода Пастернак позвонил сестре жены — он рад, он взволнован стихами. Но это я узнал только из письма — я уехал утром в Конаково, на фарфоровую фабрику.

Разговоры наши — не интервью, не беседы репортера со знаменитостью. Я приехал учиться жить, а не учиться писать. Пастернак задолго до нашей первой встречи был для меня больше, чем поэтом. Никакого вопросника не было во время наших встреч. В своих письмах я писал, спрашивал, и во время встреч Борис Леонидович на многое отвечал.

Мне было сорок шесть лет. Из них двадцать я пробыл в тюрьме и в ссылке.

Но все беседы наши больше касались общих вопросов искусства, чем лагеря, тюрьмы.

Борис Леонидович был «общий», и я это хорошо понимал. Но то, о чем мы говорили, имело важность прежде всего для меня, для моего собственного поведения.

Мне было легко и радостно узнать, что по целому ряду вопросов мы держимся одинаковых взглядов. Так и должно было быть, иначе — что бы меня заставило желать личной встречи?

Я — тяжелодум, я всегда вспоминал дома самые сложные аргументы, которые не пришли в голову.

— Где Пильняк? Вы не встречали такого, кто бы знал? Ничего не слышали?

— Нет. Пильняк умер.

— Я знаю: «там» на меня тоже заведено дело. Дело Пастернака. Мне рассказывали. Но — не арестовали. Сколько друзей... а я — жил и живу... В день, когда Сталин умер, я написал вам письмо — 5 марта — открытку, что перед смертью все равны. Я был в Переделкине, стоял у окна — увидел — несут траурные флаги и понял.

Соседка моя два-три года назад сказала:

— Я верю, глубоко верю, что настанет день, когда я увижу газету с траурной каймой. Мужество, не правда ли?

Шолохов — первая часть «Тихого Дона» великолепна. Сила, свежесть. Больше не написал ни строки. Очень

далек от гуманизма, от человеколюбия. Человеческая жестокость — вот его подстрочная тема.

Я гляжу ему в лицо, в веселые его глаза и весело слушаю:

— Нынешний год был хорошим годом. Я написал две тысячи строк «Фауста». Заново перевел. Была уже вторая корректура, но захотелось кое-что изменить — и как из строящегося здания выбивают несколько подпорок — и все готовое рассыпается в прах и надо строить заново. Так мне пришлось писать этот перевод заново. Я очень спешил, радостно спешил. Я понимал Фауста так: ведь Гете был ученый, естествоиспытатель, и чертовщина Фауста не могла быть темой его поэтического одушевления. Не легенда народная, а реальная жизнь, напоминающая эту легенду, поэтический земной поток сквозь маски Фауста — так надо было его понять и так переводить. Эта попытка мной и сделана, и новый перевод во многом отличен от того, что было напечатано.

Я. — Это первый полный «Фауст» на русском языке?

ПАСТЕРНАК. — Нет, не первый. «Фауста» переводил Фет, Холодковский. Но я не брал, не смотрел этих переводов, когда работал. Вот когда я переводил «Гамлета» — я обложился переводами чужими, всеми, которые мне были только доступны и известны, — и двигался от строки к строке, сверяясь поминутно; «Фауста» я переводил без всяких вех, один... «Фауст» выйдет в ноябре, днями.

Но этот год, пятьдесят третий год, был для меня не только годом переводческих удач. Я написал еще летом несколько стихотворений. Строго говоря, они еще не записаны. Хотите, я прочту?

— Еще бы.

Много лет назад, в клубе 1-го МГУ в бывшей церкви Пастернак читал «Второе рождение». На стульях сидели актеры, музыканты, ученые — чуть ли не каждый мог собрать публику на собственный вечер. Здесь все они были зрителями, слушателями, искателями истины. Где-то в толпе, забившись в самый безвестный угол, сидел и я, ловя каждое слово. Стихи читают по-разному. Есть манера Блока, равномерная, энергично отрубавшая строку за строкой. Есть напевное чтение Северянина и Есенина. Есть ораторское чтение Маяковского. Пастернак читал стихи как прозу, ритмизованную прозу. Получается теплее, проще, задушевнее. Тогда в университете Пастернак просил прощения, что не умеет читать стихи.

«Второе рождение» Пастернак читал по книжке, постоянно справляясь с текстом, не отводя от глаз маленькую книжицу.

— Не пропускайте, читайте все. Вы не прочли «Опять Шопен не ищет выгод».

— Сегодня мне не хочется читать это стихотворение.

Начались «ответы на записки», любимая московская потеха. Для этих ответов такой «характер», как Маяковский, заготовлял и вопросы и ответы заранее. Это называлось — «домашняя подготовка». Кто лучше сострит, тот и прав. Кто лучше обхамил литературного противника — тот и победитель. Но с Пастернаком дело обстояло совсем не так. Он развертывал и читал вслух подряд все записки, которые передавались на эстраду, и сразу отвечал со всей серьезностью, без тени улыбки, боясь только одного: как бы не солгать, не покривить душой при ответе ради «красного словца».

Помню — был вопрос явно провокационный: «Какую пользу принесет литературе постановление о роспуске РАПП?» Борис Леонидович провел рукой по виску, — был он тогда почти не седой — и ответил: «Литература живет по своим законам, и после постановления снег не будет идти снизу вверх».

Много говорил тогда Пастернак о том, что он не будет больше писать стихов, будет писать только прозу...

Было все это в тридцать третьем году, или в конце тридцать второго — двадцать, стало быть, лет назад.

Борис Леонидович читал в двух шагах от меня на память. Цветаева когда-то написала, что не знает своих стихов наизусть, и объяснила, почему это происходит. «Я слишком редко читала». Это замечание — правильное. Свои стихи надо учить, как чужие, и даже труднее запоминать, чем чужие, из-за вариантов, отвергнутых, выброшенных строк, строф и слов. Этой опасности нет при пользовании чужим текстом.

Я понял, что Пастернак тысячу раз уже повторил свои новые стихи — для себя ли, для близких, для знакомых читал ли — этого я не знал. Но любое стихотворение звучало без запинки. Все это были те самые стихи, которые после стали известны как «Стихотворения из романа в прозе».

Первым читалось «Половодье», «Мне далекое время мерещится», «Колыбельная» и «Август», конец которого затвердил я про себя тут же. «О плаще и хмеле», «Русская сказка».

— «Сказка» — ваша тема, — сказал Борис Леонидович.

Пирушки наши — завещанья,
Чтоб теплая[95] струя страданья
Согрела холод бытия.

В. Т. — Я когда-нибудь напишу рассказ, как я за вашим первым письмом ездил в пятидесятиградусный мороз, пересаживаясь с оленей на собак и с нарт — на автомобиль. Пять суток я ездил за этим письмом.

Б. П. — ...В ответе вашем на мое большое письмо мне больше всего понравилось суждение о рифме. Рифма — как поисковый инструмент поэта — это очень верно, очень хорошо. Теперь очень любят ссылаться на авторитеты. Так вот — это пушкинское определение рифмы.

...Понимание искусства надо выстрадать. Самой важной перепиской такого рода для меня была переписка с Цветаевой — она все это очень тонко, очень больно понимала и чувствовала. Вот мне приходится читать статьи искусствоведа нашего Алпатова — учено, книжно, а не выстрадано, не выбелено и потому — холодно, мертво. Огромный личный опыт, такой, как у вас, поможет вам найти правильный путь.

Я пытаюсь объяснить, чем был для нас Пастернак на колымской каторге, в заключение пытаюсь объяснить, почему стихи Пушкина или Маяковского не могли быть той последней нитью, соломинкой, за которую хватается человек, чтоб удержаться за жизнь — за настоящую жизнь, а не жизнь — существование...

Как Орлов, бывший референт Кирова, читал вечером в бараке накануне расстрела:

Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм <...>

Сядут там же за грехи тирана
В грязных клочьях поседелых пасм.
Будет так же ветрен день весенний,
Будет страшно стать живой мишенью,
Будут высшие соображенья
И капели вешней дребедень.

Б. П. — Маяковский? Разве вы не видите, что из него сделали теперь? Хорошо, что вы не знаете «Охранной грамоты».

«Охранную грамоту» я знал чуть ли не наизусть, но промолчал.

— Как много плохого принес Маяковский литературе — и мне, в частности, — своим литературным нигилизмом, фокусничеством. Я стыдился настоящего, которое получалось в стихах, как мальчишки стыдятся целомудрия перед товарищами, опередившими их в распутстве...

— Вы не знаете языков?

В. Т. — Нет, в нашем поколении знание иностранных языков считалось чуть ли не подготовкой к шпионажу. Во всяком случае отягощало «обвинение» при случае... Почти столь же тяжкое преступление, как иметь родственников за границей.

— Когда будет наконец время печатать то, что думаешь? — спрашивает он сам себя и вздыхает. — Я был на пленуме, послушал. К голосовым упражнениям такого рода можно привыкнуть года за два. Сидят и твердят, как заклинание: «Нам нужна хорошая драматургия! Нам нужна хорошая драматургия». Это похоже вот на что: по улице идет молодой человек и все ему желают хороших внуков, и он твердит, что хочет хороших внуков. А ему надо думать о детях, а не о внуках. Надо получить жизнь хорошую, тогда будет и хорошая драматургия.

Было ощущение, что грозная пелена спала, и казалось, что люди, как у Андерсена, заколдованные в жаб, будут опять превращаться в людей. Но время идет, а жабы в людей что-то не расколдовываются...

Павел Васильев — вот кто был истинно талантлив из молодежи. Это — клюевский ученик, а Клюев был настоящим поэтом. Большим поэтом.

В. Т. — Воронская Галочка, дочка Александра Константиновича, была на Колыме как «ЧС».

— Я это тоже все знаю. Как «член семьи». Ужасно. Александра Константиновича я знал и относился к нему с великим уважением. Позвольте спросить вас о Мандельштаме, о его судьбе.

В. Т. — Знаю только с чужих слов, что Мандельштам умер в 1938 году во Владивостоке, на пересылке, не попав на Колыму, куда его везли. Остался «должен» лет десять.

Б. П. — У нас нет Льва Толстого. Под силой его гения росло много писателей.

В одном из своих писем вы написали, что я обратился к евангельским темам. Но ведь дело не в евангель-

ских темах, а в том удивительном соответствии реальности, жизненного тона с каким-то с детства известным сказочным событием, перекличка душевная с чувствами и мотивами...

— Я так это и понимал и писал отнюдь не осуждающе.

— В ваших письмах было очень интересное для меня замечание о том, что поэтические идеи Пастернака близки поэтическим идеям Анненского, это совершенно верно, хотя никто никогда мне этого не говорил. Иннокентий Анненский — мой учитель.

— Вместе с Блоком...

— Блока мы все боготворили. Тогдашние молодые. Блок был всеобщий кумир. Но заражались от Блока жертвенностью, святостью поэтического долга, бурей чувств. Я находил у Анненского ряд тончайших замечаний, которые подсказывали пути, по которым никто еще никогда не ходил. Я писал уже вам, что я хотел бы уничтожить все из старого, за исключением «Февраль, достать чернил и плакать», «Был утренник, сводило челюсти», и написать по-новому, где деталь, подробность была бы столь же весома, как у Анненского или Льва Толстого.

Б. П. — Я в это лето вернулся к прежней работоспособности — вставал ночью к бумаге, забыл про режим, про инфаркты.

В. Т. — Я написал вам с Севера письма. Послал стихи, которые и отвезти-то все боялись, потом одна врачиха согласилась, привезла в Москву — а у Вас инфаркт. И я, получив об этом сообщение, подумал: «Вот как мне везет». Но вы поднялись, и встреча наша состоялась.

Б. П. — В марте — апреле (после смерти Сталина) звонили мне из «Знамени», из «Литгазеты» — нет ли у меня чего-нибудь готового для печати... Смешно...

Борис Леонидович целует меня в прихожей:

— Я хочу, чтоб вы прочли мой роман. Половина его — написана. Окончание романа — моя ближайшая работа. Возьмите первую часть у Н. А. Кастальской?[96] Все это — и роман, и стихи, и «Фауст» — работа одного плана. Человек ведь не пишет — вот одно, а вот другое, все, что написано — есть отражение, ощущение одного периода. Впрочем, все это хорошо известные вещи, и напрасно я вам все это говорю...

Мы выходим на лестницу. Борис Леонидович машет нам рукой. Сил спускаться почти нет, держусь за перила. Жена отчитывает меня:

— Ты поздоровался с Б. Л. раньше, чем он поздоровался со мной. Так не полагается.

Той же ночью я уехал в Конаково. Фельдшерское место Горздрав мне давал — при условии, если местное НКВД согласится на мое житье в поселке фарфоровой фабрики. Начальник райотдела НКВД был и не любезен и не груб — глубоко равнодушен. Выслушав краткую мою просьбу, сказал лениво:

— Найдете работу, и можно будет прописать, хоть в Конакове не 10, а 14 тысяч жителей.

Работа была — требовалось разрешение на прописку. Эту «спихотехнику» я знал хорошо и медлить не стал — уехал в Калинин. Оставив надежды на фельдшерскую работу, устроился товароведом, а вернее — агентом по техническому снабжению в Озерецко-Неплюевское строительное управление. Поселили меня в «гостинице», — в «доме приезжих». Это была обыкновенная крестьянская изба, которую хозяйка сдавала строительству. Пять коек в комнате. Стол. Стулья. Пьянство каждый вечер. Сюда-то привез я из Москвы первую часть «Доктора Живаго» и читал, читал, читал... А когда все засыпали — писал. Писал о всем, что было разбужено во мне этим романом.

В конце ноября я взял рукопись у Бориса Леонидовича. Опять никого не было дома. Этот второй разговор был в кабинетике справа. Там — книжные полки. Письменный стол с выдвижными ящиками — откуда-то из глубины вынырнула зеленая книжка стихотворений.

Борис Леонидович поправил карандашом ошибки и отдал книжку.

Идет разговор о моей «синей тетради» — той тетрадочке, которую отдал я в прошлый приезд. Ее у меня сейчас нет. Читает Б. Л., говорит несколько лестных слов о моих стихах.

— Если вы не должны писать стихов, то и я не должен писать. Послушайте стихотворение: «Ты значил все в моей судьбе». Я дал несколько стихотворений представителю «Литературной газеты». Тот выбрал «Рассвет» — это ведь Сталину посвящено, не правда ли? Какому Сталину? Это стихотворение посвящено Богу, Богу. Звонит снова: «Извините, мы ничего напечатать не можем». Я хочу, чтобы вы внимательно послушали «Свадьбу». В стихотворении этом есть кое-что новое для меня. И я хотел бы знать — действует ли «Свадьба» так же, как прежние мои вещи. «Свадьба» — пример выхо-

да на широкую публику, где самое откровенное, философское изложено в нарочито обнаженном виде.

Жизнь на свете только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других,
Как бы им в даренье.

В «Докторе Живаго» Андрей говорит то же самое. Позднее в стихах «Быть знаменитым» — «Во всем мне хочется дойти» та же мысль изложена в новых, еще более четких вариациях.

— Это — круто разлившийся свист,
Это — двух соловьев поединок.

Ожидание большого читателя перешло в ощущение приближения этого читателя. Поэт русской интеллигенции хочет говорить со всем народом, со всем миром.

— Всю жизнь я хотел сказать многое для немногих.

Стихи последнего времени, начиная со сборника «На ранних поездах», дышат другим. Я пожертвовал многим, возвращаясь на классические дороги.

— Напрасно вы с таким пренебрежением говорите о Сельвинском. Сельвинский — поэт. Просто его беда, что он увяз в «украшательстве», в «искусственности» и этому посвятил свою жизнь. Вместо того чтобы искать правду жизни, занялся формальными исканиями, задушившими в нем искренний голос.

Мартынов — это не поэт. Это — искусственность, а не искусство. Поэт, которому нечего сказать? Разве бывают такие поэты?

«1905 год» и «Лейтенант Шмидт» — это два сборника, которые я хотел бы забыть.

В. Ш. — Море из «Морского мятежа» мне кажется превосходным стихотворением.

Ты в гостях у детей,
Но какою неслыханной бурей
Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой.

Б. П. — Отдельные удачи — не в счет. Марина Цветаева, чье поэтическое ухо было всегда инструментом совести, отрицала самым категорическим образом ценность этих двух сборников моих. Сразу написала, что я — «списываю у соседа», что стихи меня недостойны.

Я не особенно обратил тогда на ее слова внимание, а потом увидел, услышал сам — сколько в них искусственности.

В 1956 году чехи прислали с Паустовским письмо Б. Л., предлагая издать «1905 год» и «Лейтенанта Шмидта» в «Избранном». Борис Леонидович категорически отказался. Я читал черновик ответного письма. Пастернак благодарит издателей за приглашение, но разрешение на издание этих сборников не дает. Если издатели действительно относятся к нему с уважением и могут помочь выполнить заветное желание поэта — пусть издадут его новый роман «Доктор Живаго», где он, Пастернак, отвечает на все вопросы искусства, жизни, истории и общества. В этом же письме Пастернак отрицательно отзывается о прозе Горького и Алексея Толстого — писателей, отступивших, по его мнению, от идей, от задач большой русской литературы. Послано ли было это письмо — я не знаю.

— Нобелевской премией меня хотели наградить в 1954 году. Но правительство наше в ответ на запрос Стокгольмского комитета сообщило, что возражает категорически. Правительственный кандидат — Шолохов.

Первая часть «Тихого Дона» была очень хороша.

Да. Весна была тогда, весна.

Всю жизнь я хотел писать прозу. Рассказы печатал — плохие. «Детство Люверс» показало мне, что кое-что новое я вижу. «Охранная грамота» — была развитием тех же начал, которые виделись в «Детстве Люверс». «Доктор Живаго» — это другое. Все косноязычие, что плыло свободным потоком, подобно стихам, где много находок связаны, подчеркнуты аллитерацией и, может быть, ею рождены. Все это мудрствование было выброшено, отметено. Я стремился, понятно, сохранить особую тональность. «Доктор Живаго» в этом отношении несомненный и значительный шаг вперед. Особенно меня беспокоит вторая часть. Столько есть примеров, когда вторая часть, конец, ослабевает. То ли писать надоело, то ли автор потерял интерес к тому, что бурлило в нем вчера. Для меня в этом отношении вторая часть была примером особых забот. Сделал все, что мог.

Третья встреча. 2 января 1954 года. Девять часов вечера.

— Вот вам «Фауст». Многие хотели получить, но я сберег для вас.

Телефонный звонок.

— Да, Коля, да. Благодарю. Поздравляю и тебя.

— Асеев. — Борис Леонидович говорит грустно и негромко. — Асеев. Бывший товарищ. Чужой, совсем чужой человек. Лефовские круги я вспоминаю с отвращением. Пусть переводы, пусть случайная работа — только не это лефотворчество.

Искусство гораздо серьезней и требует совсем других человеческих качеств, чем думали Маяковский и Асеев. Нравственная ответственность поэта, ответственность русского писателя очень велика.

В тридцать пятом году я был в Париже на конгрессе.

Это был тот самый Конгресс защиты культуры, на котором русскую делегацию представляли Шолохов, Шагинян и Виктор Финк. После первых выступлений советских делегатов организаторы конгресса — братья Манны, Мальро — бросились к Эренбургу. Эренбург был «офицером связи» между Западом и Востоком.

— Кого вы привезли? Мы хотим говорить о смысле жизни, о душе Запада и душе Востока, а нам читают цифры надоя и уборки свеклы. Спасайте.

Эренбург послал телеграмму, и в Париж спешно прибыли Пастернак и Бабель. Пастернак вышел говорить — ему аплодировали пятнадцать минут. Он сказал краткую речь — ту самую, где говорил, что поэзия — в траве — надо только нагнуться, чтобы ее поднять.

— Ко мне обращались писатели, журналисты — много, много, чтоб я высказал свое мнение, свое суждение о времени. Я обещал это сделать особо, а не в газетных беседах. Я хочу выполнить свое обещание. Я не хочу быть Хлестаковым, быть хвастуном. Я написал роман — в нем я даю ответ на все вопросы, которые задавали мне в течение ряда лет и устно, и письменно, и в выступлениях, и в речах, и в беседах. Я написал «Доктора Живаго». Я еще не кончил романа. По плану я проведу его через двадцатые годы и доведу до «ежовщины» — доктор погибает в концлагере.

Почему поэту важно писать прозу? Поэт Пушкин воспринимается вместе с его прозой, на ее фоне понимается. Не все можно сказать стихами. Стихи Лермонтова понимаются, чувствуются тоньше, точнее, лучше, если помнить о его прозе. Сама проза — материал для лучшего понимания стихов. А вот Верлен, который не писал стихов, требует для полного восприятия — современной ему французской живописи.

Единство нравственного и физического мира в «Докторе Живаго» — это от Толстого, его это принцип.

В. Ш. — Вам не кажется, что женщины лучше мужчин? На Севере я знаю много случаев, когда жены приезжали за мужьями-заключенными. Женщины мучились, голодали и холодали, подвергались всяческим издевательствам и штурмам похотливого лагерного начальства — губили себя, ведь свиданий не давали, да и Колыма — это ведь пол-Европы, восьмая часть Советского Союза. Поселки там разбросаны один от другого, а инструкция начальникам из Москвы — чтобы разлучать, а не соединять. Жена с трудом устраивается на работу поближе к мужу, и как только это установлено — мужа в тот же день переводят на какой-нибудь дальний участок. Режим, бдительность. И жены это все знают наперед и все-таки едут... Я не знаю ни одного случая, чтобы муж последовал за ссыльной женой.

Да, женщины лучше, лучше, лучше.

Вы знали Рейснер, Борис Леонидович?

— Знал. Познакомился на чьем-то докладе, вечере. Вижу — стоит женщина удивительной красоты и что ни скажет — как рублем подарит. Все умно, все к месту. Обаяния Ларисы Михайловны, я думаю, никто не избег.

Когда она умерла, Радек попросил меня написать стихотворение о ней. Я написал «Иди же в глубь преданья, героиня».

— Оно не так начинается.

— Я знаю. Но суть — в этих строках. В память Ларисы Михайловны я дал имя своей героине из «Доктора Живаго»

Поэту необходимо все время писать прозу. Куски отдельные, не заметки, не записи, а куски художественной ткани. Значение таких отрывков очень велико. Надо стараться никому не подражать. Именно в отрывках, в кусках вы избежите чужих стилевых влияний и, значит, добьетесь победы. Ваш огромный личный опыт, ответственность ваша велика. По письмам я уже получил представление о вас. Физический ваш облик укрепляет меня в моем суждении. Хочу верить, что вам дано сказать многое.

Я переводил много. Переводы мне даются легко.

Перевожу для театра. После шекспировских пьес получил заказ на «Марию Стюарт» Шиллера. Это будет легкая работа.

Я много переводил Тициана Табидзе, Яшвили. Я ведь их обоих знал.

— Вы никогда не переводили Гейне?

— Я не очень жалую романтическую иронию. И поэзия и жизнь слишком серьезны — там не до шуток. За шуткой не спасешься. Ирония — плохое оружие, плохой щит.

Со сборника «На ранних поездах» я вышел на новую дорогу. А прежнее — только самое лучшее — я ведь писал вам, что «Был утренник...», «Февраль, достать чернил и плакать...».

Гоголь о Пушкине написал: «У него в каждом слове — бездна пространства». Вот эти слова можно отнести к Пастернаку всех времен, а больше всего — времени «Сестры моей жизни» с необычайной, небывалой в мировой поэзии емкостью строки.

> Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
> По крепости тоски, по юности ее
> Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
> Я б штурмовал тебя, позорище мое[97].

Пастернак не только не был отшельником, но держал руку на пульсе времени. Стремился выступать везде, где только можно было выступать.

— Пусть мне дадут зал и продают билеты. Я покажу — соберу ли я слушателей.

Меня позвали к Пришвину незадолго до его смерти. Мы не были знакомы раньше. Приезжаю. Пришвин в постели. Говорит:

— Позвольте пожать вашу руку и поблагодарить вас за все, что вы написали. Как же, думаю, умру и не познакомлюсь с Вами. — Вот такой разговор. Меня очень тронул этот визит, эти слова.

— Каково ваше суждение о Пришвине?

— Очень высоко ставлю. Очень. Понимал все. Природа ему нашептала. Он человек не книжный.

«И творчество и чудотворство». Я повторял про себя эту строку из «Августа», взволнованный этим рассказом. Позднее оказалось, что «отпущение грехов» понадобилось не только Пришвину.

Приехал итальянский писатель Мачиаро.

— Мои пьесы идут во всех театрах мира, я признан, я писатель и драматург. Но у меня есть нечто, о чем бы я хотел поговорить именно с вами и притом без переводчика.

Выбирается французский язык. Итальянец рассказывает:

— Я долго шел к своей славе, трудно. В молодости у меня был друг — его романы, стихи, пьесы уже получили известность. Я не буду называть его имени — вы знаете это имя. Мы были очень дружны. Я был в полосе несчастий, я думал только о смерти. Мой друг сказал: «Я чувствую, что успех мой случаен, я ничего уже не создам. Я тоже хочу умереть». И мы назначили день и час, чтобы покончить с собой каждый у себя дома. Завтрашний день, завтрашний час. Мой друг покончил с собой. А я — я остался в живых. Я струсил, понимаете, струсил. И целую жизнь я ношу на себе это невидимое страшное клеймо. И вот о том, что такое самоубийство, я и приехал говорить с вами, господин Пастернак. Мне кажется — в мире нет людей, поэтов, писателей, философов, так далеких от самоубийства, как вы. Говорите со мной.

Борис Леонидович говорил, что все проходят через это. Но не все кончают с собой.

— Часто плачу от волнения. Кажется, и причин нет. На экране покажут лошадь крупным планом, а у меня слезы от волнения. Или Брамса играют — плачу и приговариваю: плохой, плохой композитор...

— Содержание не должно перегружать стихи. Стихи должны быть легче, более игрой... Пример, где содержание раздавило стихотворение и убило поэзию — работы Владимира Соловьева... А обратные примеры, где поэт чутко следит, чтоб содержание, главенствуя, не ущемляло бы прав всего остального, — Тютчев, Баратынский, Рильке.

Это — тоже отрицание прежнего. «Сестра моя жизнь» велика огромной смысловой нагрузкой каждой строки. Емкость строк «Сестры моей жизни» необычайна, несравненна. И кроме того, разве есть у самого Б. Л. стихи, в которых бы содержание потеснилось, уступая главное место чему-то другому. «Все другое» в его стихах и прежних и новых занимает ровно столько места, сколько ему отведено содержанием.

— Не бывает гениального пустозвонства. Гениальный шут может быть только тогда, когда его шутки — не шутки.

— Конечно, я тоже дежурил на крыше дома, сбрасывал немецкие «зажигалки». Военные стихи мои не халтура, не принуждение. В большой войне тиран сливается с народом — это закон старый.

Борис Леонидович был не фанатик, не скептик, не поучающий вождь, проповедующий новую теорию ис-

кусства. Теория искусства и жизни была у него законченная, цельная, и лекций никаких по этому поводу он не читал, и взгляды излагались им всегда по какому-нибудь конкретному случаю.

Несомненно, он много думал о смерти, о смысле жизни, о своем месте в обществе — и сделал все выводы из своих размышлений.

Б. П. — Мне кажется, что по-настоящему захватить человека может только произведение, трактующее страдания, боль... Что в искусстве минор сильнее мажора. Что «Евгений Онегин» не потому волнует всех, что это — «энциклопедия русской жизни», а потому, что там любовь и смерть.

В. Ш. — Возможно... Кстати, Белинский отнюдь не такой большой авторитет среди русских литераторов. Есть старая традиция, отрицающая Белинского: Гоголь, Достоевский, Блок — большие имена.

24 июня 1956 года я обедал у Пастернака в Переделкине. Будучи человеком, не очень сведущим в вопросах этикета, явился я ровно к назначенному времени — и застал хозяина в ванне. Провели меня на террасу, познакомили с женой Луговского, которая явилась с какой-то литературной просьбой мужа — стихи для сборника должен был дать или обещать Пастернак. Гости съезжались на дачу. Пришел Асмус, Симонов (актер), ждали только Нейгаузов, чтобы начать обедать. Борис Леонидович читал на террасе нам куски из новой автобиографии, которую он тогда готовил для сборника своих стихов в Гослитиздате — сборник этот вышел много лет спустя в очень ощипанном виде, а автобиография была напечатана во Франции, кажется. У нас она ходила по рукам — Пастернак, как и Мандельштам, Цветаева, Ходасевич, обходился без помощи Гутенберга.

Эти куски автобиографии (которую я читал и раньше) о Блоке, о первом своем сборнике «Близнец в тучах», где никаких «технических» задач не ставилось, о попытке писать свободно, дать вылиться тому, что накоплено неизвестно как, как эта великая способность потом была понемногу утрачена.

На стенах переделкинских комнат — акварели отца, такие же, как и в Лаврушинском.

Помню, обратил я внимание, что в доме очень мало зеркал. Когда входишь в комнату, обычно раньше всего замечаешь зеркала — это самые живые кусочки любой комнаты. Здесь зеркал не было. Случайность? Нет. Хо-

зяева дачи были уже в таком возрасте, когда зеркала могут только подсказывать неприятное, неизбежное.

И старость дом не миновала,
Как бы ни крепок был закал.
Вот почему зеркал здесь мало,
Напоминательных зеркал.
(В. Шаламов)

Б. Л. свел меня наверх, пока собирались гости, на чердак, откуда сходит небо — большая комната с диваном, с большим письменным столом, со шторами во все огромное окно. Распахнув эти шторы, Пастернак встречался ежедневно с небом, с лесом, с солнцем. Отсюда, из своего рабочего кабинета, присмотрел он и место для своей могилы. У трех сосен на Кладбищенской горе он и похоронен. Но он умер только через четыре года, еще не было ни Нобелевской премии, ни радиостанций всего мира, ревущих: Пастернак, Пастернак, не было ни письма Неру, ни героических усилий написать «Слепую красавицу».

— Вот хочу вам показать свой рабочий кабинет.

Я поблагодарил. Мы вышли к гостям. Пастернак: вот человек, который отразил в русской поэзии ту самую эпоху.

Приехали Нейгаузы — отец и сын с женой, пришла Ольга Берггольц, Луговской, и обед начался.

— Сыграйте это — Борис Леонидович к Нейгаузам. И тот, и другой отказываются.

— Если бы я был музыкант, — Борис Леонидович берет меня за плечо, — я бы такие разделывал вещи, такие...

Борис Леонидович весел, оживлен. Рюмку за рюмкой пьет коньяк, тост следует за тостом.

Ощущение какой-то фальши не покидает меня. Может быть, потому, что за обедом много внимания отдано коньяку — я ненавижу алкоголь. Мне кажется, что жена и Нейгаузы — словом, ближайшее его окружение — относятся к нему как к ребенку-мудрецу. Не очень считаются с его просьбами (отказ Нейгаузов играть и кое-что другое). Сами просьбы, с которыми он обращается к домашним, как-то нетверды. Он — чужой человек в доме. Дача, хозяйство, приемы, обеды — все, что миновало и минует его (житейская чаша) — обошлось, видимо, дорого.

Нейгауз рассказывает о встрече с Варпаховским в Киеве — встретился на улице со своим собственным следователем. Что тут удивительного?

Разговор о «Высокой болезни».

Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

— Эти знаменитые последние строки «Высокой болезни» в однотомник (который редактировал Луппол) входили, — рассказывает очень оживленно Борис Леонидович. — Я уже держал в руках «листы», где эти строки сохранялись. Я позвонил Лупполу — как бы его не подвести, и Луппол перепугался страшно. Благодарил. Еще раз звонил — благодарил. Где теперь Луппол? Там, где все.

— Церковные стихи Есенина и богохульство Маяковского — для искусства лишь равноправное использование одного и того же материала. Один — богохульничает, второй — славословит, а главное в том, что ни Маяковский, ни Есенин обойтись без этих образов не могут. Евангельские церковные образы важны для жизни, необходимы. Своими стихами из романа в прозе я подтверждаю ту же самую мысль.

Я читал «Ландыш», «Шесть стихотворений», «Камею».

Как слушали? Рубен Симонов слушал как актер — бесстрастно и вовсе равнодушно. С таким же беспристрастием и равнодушием глотал он коньяк. Луговской слушал больше как редактор, чем как поэт. Это — можно напечатать, а это — нельзя. Его жена замечала только то, что научил ее замечать муж — «бронзы звон» или «гранита грань» — грубые аллитерации.

Нейгауз-старший слушал с великим добросердечием и симпатией, сдобренными хорошей дозой коньяку, не особенно вникая в содержание и не волнуясь этим содержанием.

Станислав Нейгауз, увидя с первых строк, что ни о чем, что могло бы потревожить дух музыки, тут речи не пойдет, слушал с дружелюбным и терпеливым вниманием.

Ольга Берггольц слушала хорошо, косясь на Пастернака, не зная еще, как оценить, и готовилась читать сама свои тюремные стихи.

Зинаида Николаевна слушала одобрительно — стихи с Севера должны быть одобрены, да и Борису Леонидовичу они нравятся.

Борис Леонидович слушал, опасливо обводя глазами гостей, готовый броситься на любого, кому бы эти стихи не понравились. Но понравились всем.

Гений в плену семьи.

Вскоре после этой нашей встречи я узнал, что Бориса Леонидовича Литературный институт — тот самый, имени Горького, просил прочесть несколько лекций. Борис Леонидович отказался.

— Все мои заботы — нынешние — это хлопоты по опубликованию романа. «Доктор Живаго» должен увидеть свет. Больше ни о чем не хочу думать, ничем не хочу заниматься. Это — краткий разговор на ходу в Переделкине, около калитки, Борис Леонидович — в войлочной круглой шляпе грибом.

2 декабря 1956 года я еще раз видался с Б. Л. не на улице. Я был не один, не задавал вопросов и все записанное тогда — произнесено почти что «urbi et orbi». Борис Леонидович сразу начинает говорить о параллельности двух своих существований, двух своих жизней. Одна — вот этот мир повседневности, другая жизнь — в каком-то большом плане, если не бессмертия, то жизни в кругу больших вопросов, в отвоеванном им месте, в движении каких-то вечных идей, так неохотно пускающих за порог всякого нового человека. Параллельная жизнь — это не приспособляемость. В обоих существованиях живут, не кривя душой.

Мы — свидетели времени, когда идеи, имеющие начало в Сен-Симоне и кончающиеся опытами осуществления этих идей в реальности последних лет, уступят место в искусстве и жизни росткам чего-то нового, «нераспропагандированной» живой траве, уже растущей.

— О Бурлюке. Я отказался видеться с Бурлюком. Лиля Юрьевна Брик подготовляла эту встречу. Сослался на экзему. Да и в самом деле экзема тогда разыгралась. Что у меня общего с Бурлюком: нарисуют женщину с одной рукой и объявляют свое произведение гениальным. Я давно, слава богу, избавился от этого бреда. Так мы и не повидались. Когда Маяковский читал «Человек», Белый слушал его зачарованно, слушал, как ребенок. Я рассказывал об этом вечере в «Охранной грамоте». Белый — гений. Но не универсален, не всегда. Наставленный на что-нибудь одно, он прозорлив, гениален. Наставленный на другое — ничтожен. Хороша, отлична его проза. Дань этой прозе отдал и я в «Детстве Люверс». Из стихов лучший сборник Белого «Пепел»...

Белый — методист. Если бы от его дыхания, от его голоса лопнуло какое-нибудь стекло в зале, он выбил бы остальные стекла кулаком.

После самоубийства Маяковского я был у него на квартире, потрясенный. В соседней комнате — Бухарин. Бухарин говорит пошлые вещи. Я думал — мне тяжело, но я чего-то не понимаю, в чем-то ошибаюсь, не верю чувству своему. И только на процессах 37—38 годов я увидал, что и им тяжело, что время мучает всех.

Белый мог чувствовать, воспринимать искусство, как никто. Коры самодовольства (положения, славы) не было у него. Он обнаженными нервами воспринимал все талантливое. Белый был потрясен «Человеком» Маяковского. Тогда Бальмонт читал какие-то сонеты. Я был молод, сказал что-то резкое Бальмонту. Бурлюк отвел меня в сторону и шепнул:

— Не горячитесь. Вы тоже талантливы, вы еще будете с нами работать.

— С кем я вижусь? Иванов, Нейгаузы, Ливанов, Симонов...

Чем я занимаюсь сейчас? Застой творческий. Вероятно, еще напишу несколько стихотворений. Читаю французские, немецкие книги — для практики в языке. Если поеду за границу (меня зовут в Венецию), хочу свободно владеть языком. Хочу напечатать роман — вот главная моя задача, цель жизни. Скоро выходит мой однотомник. Банников просил написать меня предисловие — напишу поправки к «Охранной грамоте».

В этом однотомнике, который был рассыпан в 1957 году и вновь собран в 1961-м, подверглись жестокой ухудшающей авторской правке ранние стихи Бориса Леонидовича.

Банников в свое время безуспешно протестовал против исправлений, ратовал за привычные, известные всему миру варианты, но Б. Л. настоял на своем.

В тот вечер Борис Леонидович выглядел превосходно, крепким физически и духовно.

«Я дышу легко. Я не чувствую необходимости лгать, фальшивить. Я не подписал письма против французских писателей (Сартра и других), и, кажется, наши именно хотели, чтоб я не подписал его».

Зато Сартр в своей статье о «Холодной войне» написал, что Пастернак — отшельник, живущий вне времени и пространства. Но о Сартре после.

Волков-Ланнит[98] спросил о мнении Пастернака о Шкловском. Б. Л. ответил, что ценит и помнит интересные книги Шкловского, но все его открытия («приемы» и т. п.) — вовсе чуждое, чужое творческим принципам и практике Пастернака:

— Сейчас не важно, кто талантлив, кто не талантлив в нашем искусстве. Важно столкнуть искусство с мертвой точки...

Б. Л. далеко не вне политики. Он — в центре ее. Он постоянно определяет «пеленги» и свое положение в пространстве и времени.

Б. П. — В стихах первый вариант — всегда самый лучший. Самый честный, вернее. Когда-то я смотрел на себя, как на инструмент, которым владеет кто-то, чтоб стих лился свободно, как бы чужой рукой писались стихи. В юности, в молодости я отдавался силе этого потока.

В. Т. — Мне кажется, даже у больших поэтов в небольшом стихотворении можно угадать, какая строфа была написана первой.

— По всей вероятности.

Позднее, читая воспоминания Фокина[99], я встретился с той же мыслью — первый танец всегда самый искренний. («Первый исполнитель и является наиболее подходящим».)

Это — та же трактовка того же вопроса. Пастернак писал стихи пятьдесят лет. Всякий, кто сколько-нибудь внимательно перечитывал стихи поэта, сборники, изданные им, знает, что канонических текстов его стихов не существует. При подготовке каждого издания (а их было немало за пятьдесят лет работы, за семьдесят лет жизни), Пастернак всегда делал исправления строк, меняя слова, снимая строфы, меняя их порядок. Эти исправления далеко не всегда улучшали стихотворение.

Даже в самых первых переизданиях тексты отличаются от первоначальных; особенно много правки было внесено при подготовке ленинградских изданий 1932 и 1933 годов.

Не всегда можно установить — по чьей воле сняты строфы, изменены слова — самого поэта или цензуры.

Окончание стихотворения «Весной бездонной»[100] в журнальном тексте и тексте «Второго рождения» было:

О том ведь и веков рассказ,
Как, с красотой не справясь,

Пошли топтать, не осмотрев
Ее живую завязь.
Но в жизни красота как раз
И крылась жизнь красавиц,
Но их дурманил лоботряс
И развивал мерзавец.
Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.

В ленинградском издании 1932 года «Высокая болезнь» кончается известными, широко известными строками:

Я думал о происхождении
Века связующих тягот,
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

В том же издании 1933 года этих строк нет.

Особенно много исправлений в однотомнике, который собирался в 1956 году (издан в 1961). Здесь редактор Банников безуспешно боролся с поэтом, защищая старые, известные, канонические варианты.

Замечательные строки «Зеркала» из «Сестры моей жизни» испорчены. Было:

И вот в гипнотической этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.

Теперь:

И вот в усыпительной этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.

Мотивом всех этих переделок была отнюдь не требовательность. Просто Пастернаку казалось, что строй образов того, молодого времени чужд его последним поэтическим идеям и поэтому подлежит изменению, правке. Пастернак не видел и не хотел видеть, что стих его живет, что операции он проделывает не над мертвым стихом, а над живым, что жизнь этого стиха дорога множеству читателей. Пастернак не видел, что стихи его канонических текстов близки к совершенству и что каждая операция по улучшению, упрощению лишь разрывает словесную ткань, разрушает постройку.

С этим он считаться не хотел.

Второе, что обязательно надо иметь в виду, — его особые отношения к собственному творчеству. Распоря-

жаться своим стихом свободно, никаким опубликованием текстов себя не связывая, — так Пастернак всегда смотрел на печатание своих стихов. Богатство словесное было неисчислимо, и он просто не видел необходимости за что-то цепляться, что-то чересчур придирчиво защищать.

Не надо собирать архива
Над рукописями трястись.

Стихи — это далеко не все в жизни. Эту мысль он высказывал неоднократно. В так называемой второй автобиографии, напечатанной в Париже, он пишет о Пушкине, что «все будущее и настоящее Пушкину было менее дорого, чем улыбка Гончаровой». В этой фразе — оправдание собственного поведения, претворяющего разносторонность живой жизни, участие в ней. Это проповедь жизнелюбия, оптимизма, активности — всех тех самых черт характера, которыми и отличался Пастернак.

Пастернак к сороковым годам резко изменил свои прежние оценки людей и событий, осудил Маяковского и лефовцев, разорвал и личные отношения со всем этим кругом. Но из бывших его товарищей остался человек, к которому Пастернак относился с неизменной симпатией. Этот человек — Алексей Крученых.

После 1956 года я видел Бориса Леонидовича лишь однажды — зимой пятьдесят седьмого года, на улице в Переделкине. Говорить с ним не пришлось... Случилось так, что о всех событиях до и после Нобелевской премии пришлось мне узнавать из газет.

12 января 1960 года в тетради сделана запись. Пастернак работает с большим увлечением над пьесой «в прозе». Пьеса — история русского крепостного актера перед освобождением (1861). Кроме пьесы — переводы и переписка громадная — каждому Б. Л. отвечает на языке автора письма. Летом 1959 года шли слухи, что Б. Л. «пишет роман из жизни идолопоклонников».

Работа над переводами Шекспира для Художественного театра, и особенно «Мария Стюарт» Шиллера, сблизила Б. Л. с актерами театра. Театр сделался для него не только отдушиной, но одним из путей познания мира. Великолепное стихотворение «Актрисе», посвященное А. П. Зуевой:

Талант — единственная новость,
Которая всегда жива, —

напечатанное в журнале «Театр», дает понятие о настроениях того времени.

Я мог бы написать рассказ о своем колымском путешествии за письмом Пастернака.

31 мая 1960 года постучала в дверь Ариадна Борисовна Асмус и тревожным голосом сказала, что Борис Леонидович умер в ночь на 31-е[101]. Валентин Фердинандович Асмус был с Пастернаком всю его болезнь, а со времени ухудшения и ночевал на пастернаковской даче. Не инфаркт, не инсульт. А рак легких с метастазами в желудок и кишечник. Нечто вроде тургеневской диагностической ошибки. Быть может, и инфаркты были не инфаркты. Врачом у него был Френкель из Литфонда, но, конечно, приглашали и профессоров. Профессор Петров (по позднейшему рассказу Перли) был неприятно поражен оживленностью Пастернака, его стремлением облечь каждую фразу в красивую форму. «Ломанье», «предсмертное кокетство» — так умозаключил профессор Попов. Но это было не ломанье, не поза, а нездешний поэтический ход его мыслей, обгоняющих друг друга.

Профессор Петров немного в своей жизни имел дело с людьми искусства.

День и час похорон? Кремация? Панихида? Переделкинская могила? Выбрана была могила у трех сосен, а панихида не служилась, хотя слухи о том, что отслужили тайно, в деревне ходили.

Из Лондона приехала сестра. Ее известили с первых дней болезни, но до самой смерти поэта тянули выдачу визы, и сестра, 58 лет, с дочерью, не знающей русского языка, прилетела уже после похорон.

Б. Л. лежал с 25 апреля, состояние все ухудшалось. Рентген показал опухоль легких, рак легких. Все время работал лежа. Торопился дописать пьесу (последняя за это время получила название — «Слепая красавица»). Говорил:

— Пусть ничего в моей личной жизни больше не случается ни плохого, ни хорошего — только бы кончить пьесу.

За несколько дней до смерти говорил Зинаиде Николаевне:

— Если мне суждено поправиться, я буду заниматься разоблачением пошлости — ее одинаково много на Западе и у нас.

В 0.30 31 мая он умер, а через полтора часа Би-би-си уже передавало о его смерти по радио.

Газетные объявления были даны в обеих литературных газетах, но сквозь зубы, нонпарелью: о смерти писателя, члена Литфонда Пастернака Бориса Леонидовича. Ни слова о дне и часе и месте похорон, совсем как пушкинские похороны.

Первого июня я поехал и попрощался с Борисом Леонидовичем. Доступ к нему был открыт с вечера 31 мая (утром «замораживали»). Из маленькой комнатки, «музыкальной», вынесли рояль — на крашеном полу остались резкие царапины — и внесли туда самого духа музыки. Внесли мертвым. Все время казалось, что чудо обязательно произойдет, что поэт воскреснет. Но Пастернак не отвечал, цветов было мало — сирень, полевые. Все было тихо, сердечно. Вставали на колени, крестились, плакали — хотя и мало было людей. Я помню все это очень смутно. «Порядком» и справками распоряжались актеры Художественного театра. Кто-то бритый сообщил мне, что «вынос завтра в четыре часа».

Похороны — дело суетное, мирское. Я приехал пораньше, к двум часам, чтоб еще раз поговорить с поэтом, в последний раз послушать его. Не удалось. Уже было полно людей и по всем тропам и дорогам шли гости. И гроб был уже перенесен из «музыкальной» комнаты и поставлен в столовой, и провожающие ходили вокруг гроба «по лучшим образцам».

Трещали невыносимо самолеты, опускающиеся во Внуково, жгло солнце, толпа людей во дворе все росла. Люди топтали башмаками сирень, гряды, траву, наступали на клумбы, крошили каблуками глиняные цветочные горшки. Шелестели киноаппараты, вспыхивали лампочки фотокорреспондентов. В два часа дня еще казалось, что фотокорреспондентов больше, чем друзей.

«Музыкальная» с царапинами рояля, который упирался, когда его вытаскивали отсюда, была зашторена, и в ней перезаряжали фотоаппараты.

В пять часов (а не в четыре) гроб поплыл к кладбищу, и оказалось, что людей собралось более тысячи. Много это или мало? Для «пушкинских» похорон много, а для прощания с первым лириком мира, с признанным поэтом мирового значения, нобелевским лауреатом — ничтожно мало. Это объясняется не только «дисциплинированностью» общества, плохой информацией, неудобным временем.

Но главной причиной, удержавшей многих дома, были известные покаянные письма Пастернака, опубликованные в газетах.

Львом Толстым Пастернак не стал. Эти люди, для которых Пастернак был больше чем поэтом, — остались дома. Пришли те, кому были дороги его стихи, главным образом стихи. У многих из карманов торчали сборники стихов Пастернака, как некие молитвенники, взятые на последние проводы. Эти молитвенники развертывались, раскрывались на знакомых местах:

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют.

Великая сосредоточенность была в его посмертных чертах. На мертвых темной кожи щеках исчезли знакомые морщины. Лицо приняло другое выражение. Это было лицо человека, который сказал людям все, что хотел.

Публика на последние проводы пришла очень разная, отчетливо разная. Много было крестьян и крестьянок переделкинских, тех, что посещают любые похороны по русской деревенской традиции. Переводчик Андрей Сергеев (тот самый, которого через несколько лет в журнале «Иностранная литература» назвали Сергеем Андреевым) шептал: «Есть народ, настоящий народ, и это очень хорошо». Это были не те люди, которых хотел бы видеть за своим гробом Борис Леонидович (если такая фраза не звучит кощунственно).

Третья часть была людьми, для которых стихи Пастернака и его личность были (для их собственной жизни) чем-то важным, значительным. С его стихотворениями эти люди советовались как с евангельскими текстами и разлюбить поэта за его житейскую слабость, за нетвердость не могли. Многие из этих людей писали стихи — Винокуров, Межиров, Боков, Корнилов, Петровых, Звягинцева — или прозу, как Паустовский, Казаков, Каверин. Или актерами. Весь Художественный театр был здесь; отнюдь не навязчиво, не демонстративно, просто Пастернак был их автор.

Были художники — Бродская и другие, литературоведы, как Клюева и просто любители стихов — как Кастальская. Для всех этих людей участие в похоронах, в последних проводах любимого поэта было делом совести, делом долга.

Кроме этих людей, было много писателей, приехавших из-за уважения к Пастернаку, но не потому, что требование души властно заставило их бросить все дела и приехать в Переделкино. Из «видных» писательских имен не было никого — ни Федина, ни Эренбурга, ни

Леонова, не было, конечно, и руководящих представителей Союза писателей.

Наконец, четверть этой толпы, следовавшей за гробом, была любителями сенсаций, прибывшими на похороны в жадном ожидании какого-нибудь скандальчика или происшествия, если уж не политического, то личного. В числе этих любителей сенсации была и литературная молодежь институтская. Эта публика оттеснила всех пастернаковских друзей от могилы, куда был опущен гроб.

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста.

Было в нем что-то от эйнштейновского глубокого равнодушия к людям, известного правила писать рекомендательные письма всем, кто обращался к Эйнштейну.

Похвалы Пастернака были всегда неумеренны, но истинный восторг испытывал он, лишь перечитывая собственные стихи.

Автографы, фотографии, книги дарились часто случайным людям, и Пастернак не давал себе труда разобраться, кто достоин его подарка, а кто — нет.

Когда актер Ливанов усомнился в философской ценности «Доктора Живаго», Б. Л. чуть не поссорился с ним и отказал ему от дома. Я ставил этот роман высоко, писал большие разборы, хвалил напропалую, но речь рабочих в романе казалась мне лубком. Это было сказано вскользь, в большом письме, а Пастернак это запомнил, подчеркнул, что «упорствует в своих ошибках».

Может быть, было не равнодушие, а желание как можно больше «посеять».

Угнетающее впечатление производила манера хвалить в лицо и ругать за глаза. Луговскому, которого Пастернак не считал поэтом, в лицо Б. Л. говорил только комплименты, общие фразы.

В автобиографии (второй) при перечислении (в конце) поэтов, которых Пастернак считает достойными этого звания, встречаются фамилии Симонова и Мартынова, которых не было в первоначальном тексте автобиографии и которые внесены «по просьбе знакомых» (?).

До нашей личной встречи я считал его богом, пророком, по крайней мере. Ни богом, ни пророком он не был.

Вокруг него всегда был закручен комок чьих-то личных интриг.

«Вас будут печатать тогда, когда меня будут свободно печатать». Он не то что не хотел сделать что-нибудь для другого, а не умел, не знал, как подступить, кому написать. И, как Эйнштейн, писал «по просьбе».

Б. Л. написал в Литературный институт, что я могу заменить его по части лекций в институте — все это было несерьезно, по-ребячески.

Это был человек, живой человек, благодаря которому я не утратил веры в поэзию, живой человек, о встрече с которым я когда-то мечтал, человек, которому я послал плохие стихи, написанные на обрывках бумаги, тайком от конвоя, от надзирателей, от товарищей. И не стыд, не поэтическая скромность заставляли меня таиться, а страх за собственную жизнь, боязнь доноса, боязнь «дела». Где уж тут было править стихи! Да и стихи ли были в этих двух лагерных тетрадках, увезенных на самолете едущим в отпуск знакомым врачом. Отправленные тогда, когда надежд на возвращение, на то, что я умру не на Колыме, не было. В 1951 году, когда я освободился, с Колымы не выпускали бывших заключенных, да еще с моей статьей. Я написал записку, посылая тетради:

«Это единственная возможность для меня свидетельства моего бесконечного уважениям любви к человеку, стихами которого я жил двадцать лет». Это было истинной правдой. С необычайным волнением переступил я порог квартиры в Лаврушинском. Но я понимал и другое — что и я по-своему интересен для Пастернака, что то представление, которое создалось у него по письмам, он хотел бы проверить личной встречей — настоящее ли это?

Я был человеком из ада, первым вернувшимся «оттуда» человеком поэтического строя и хоть изломанной, но живой души. Но я надумал уже после. Прошло два года со времени начала нашей переписки, я привез ему синюю тетрадь новых моих стихов, которые удалось написать, быть может, лучше, чем то, что было знакомо ему ранее. Я протянул ему тетрадь, он взял ее и отнес в другую комнату. А этой же ночью, когда я ушел домой, он позвонил сестре жены — что синяя тетрадь — настоящие стихи, что он поздравляет меня.

Моральный авторитет, чаша святого Грааля — дело хрупкое. Он копится по капле всю жизнь, а оступился — и разбилась чаша. Вот почему не надо было писать этих «покаянных» писем — увеличивать столь знакомый российскому обывателю по 30-м годам жанр.

Поэт и современники — интереснейшая тема. Здесь и Гейне — провокатор, и Некрасов, которому не подавали рук Тургенев, А. К. Толстой, А. Н. Толстой, и Герцен, и Салтыков-Щедрин на руках Иоанна Кронштадтского. Оценка современников всегда особая, отличная от потомков. Моральной стороне жизни отдается много внимания. Человеческие качества оцениваются строже.

Плащ героя, пророка и бога был Пастернаку не по плечу.

Он не читал моих стихов, то есть читал только «ранние».

И не знал стихотворений, когда моя дорога уже определилась.

Если помнить, что возраст лагерный — особого рода, что лагерное время «не считается», то Пастернак знал именно мои ранние стихи, не вышедшие из круга подражания, чужого примера.

В записке не было никакого преувеличения. Пастернак был тем поэтом, каждое слово которого было для меня дорого. Первая встреча еще в 1926 году с книгой «Сестра моя жизнь» читалась в Ленинской библиотеке, навсегда соединила мои интересы в поэзии с именем Пастернака. «Лейтенант Шмидт» был второй книгой, с которой я познакомился. Потом был «Близнец в тучах», и «Второе рождение», и «Темы и вариации».

Пастернак давно перестал быть для меня только поэтом. Он был совестью моего поколения, наследником Льва Толстого. Русская интеллигенция искала у него решения всех вопросов времени, гордилась его нравственной твердостью, его творческой силой. Я всегда считал, считаю и сейчас, что в жизни должны быть такие люди, живые люди, наши современники, которым мы могли бы верить, чей нравственный авторитет был бы безграничен. И это обязательно должны быть наши соседи. Тогда нам легче жить, легче сохранять веру в человека. Эта человеческая потребность рождает религию живых будд. Таким человеком был для меня Пастернак.

1960-е годы

Вставная новелла[102]

Я могу написать этот рассказ гораздо лучше, чем я его пишу. И не спешка вынуждает меня держаться не очень строгой манеры. Я хочу, чтобы каждое слово этой

вставной новеллы дошло до ушей Глеба Гусляка[103] в не искаженном моим и его мозгом виде, в наиболее понятной, не допускающей лжетолкований форме.

«Сколько лет я тебя не видел? Пять? Шесть?» — подумал Горданов, пропуская Гусляка в узкую дверь своего нового жилья, куда, казалось, не могла пробраться ни одна земная тварь — ни крыса, ни мышь, ни паук.

— Мы не виделись восемь лет, — сказал Гусляк, выставляя вперед, как щиток, свою жирную ладошку. — Ты плохо принимал меня последний раз — не подарил ни одной книжки своей, не снабдил никакой информацией, так нужной мне в моей глуши. Я, признаться, был обижен — ведь наши отношения... Но потом я думал, думал и придумал. Я понял, что ты занят каким-то важным секретным делом, куда для меня нет доступа. И тогда успокоился.

«Член ЦК, — тоскливо подумал Горданов. — Опять член ЦК». В словаре гордановском с юности существовало выражение «член ЦК», нечто вроде модной идиомы, когда людям воздавалась честь, им не принадлежащая, под шумный шепот окружающих...

«Член ЦК» — это и есть слух, одна из моделей «холодной войны».

Услышав, что дело течет по знакомому руслу, где можно предсказать любой поворот, любой перепад в неудержимости потока, Горданов хотел прекратить этот разговор.

— Это все?

— Нет, не все! Весной этого года меня вызывали и допрашивали по поводу твоих рассказов.

— Но ведь мои рассказы есть во всех редакциях, во всех издательствах, и не одной Москвы. Я впервые за семнадцать лет, что прожил в Москве, сталкиваюсь с такой самодеятельностью, чисто художественной самодеятельностью, местным следовательским творчеством. Ввиду ошеломительности известия, важности вопроса, принципиальности его прошу рассказать мне все подробно и подряд.

25 мая 1972 года магаданский бывший зэк Глеб Гусляк получил неприятный вызов. Гусляк решил встретить судьбу лицом к лицу и храбро отправился туда, куда его вызывали и где он не бывал более тридцати лет.

На крыльце учреждения, куда его вызывали, мелькнула знакомая Гусляку женская фигура и не только махнула, а как бы сделала ручкой. Встревоженный, во-

шел Гусляк в дверь учреждения, порядки в котором, как он слышал от многих знакомых, здорово изменились. Это внутреннее сознание изменившихся порядков и поддерживало дух экономиста, видавшего и тридцать седьмой, и тридцать восьмой год на Колыме.

Поправив галстук, он вошел в кабинет. Кабинет был открыт, окна распахнуты. День был солнечный, для Магадана это редкость, и все ловят эти лучи — и следователи и подсудимые. Солнце било через плечо следователя, как сильная лампа, прямо в глаза Гусляка. Гусляк сощурился и отодвинулся.

— Значит, это вы и есть Гусляк, Глеб Гусляк, — с видимым интересом сказал следователь.

— Да, это я.

— Тогда мне придется сначала закончить официальную часть. — Следователь подвинул к себе бланк допроса, авторучку: — Фамилия?

— Ну, я могу побеседовать и без записи.

— Нет, нет, память человека — шаткая вещь, а мы — люди официальные. Не откажите в любезности начать все с самого начала.

В животе Гусляка что-то забурчало, и он, отвечая на анкету, все пытался уловить момент начала настоящего допроса, какого-нибудь сверхтайного удара из-за частокола анкетных данных. Но анкетное колесо катилось обычным порядком, не убыстряя и не замедляя свои обороты. Все было записано и доведено до нынешнего утра в этой истории болезни.

— Скажите, вы хозяин литературного салона в Магадане?

— Салона?

— Ну да, вроде парихмахерской, где обмениваются новостями, читают газеты, обсуждают литературные новинки, знакомятся с метеосводкой Би-би-си.

— У меня действительно бывают люди, обмениваются новостями, литературными новинками. Ведь это не запрещено?

— Отнюдь. Весь вопрос, с какими целями существуют эти салоны и какие новости там обсуждают.

— Но ведь в Москве и Ленинграде есть такие, почти официальные.

— Все дело в этом «почти», — сказал следователь, — но я не работник Москвы, я отвечаю только за Магадан. За то, что читается в Магадане.

— У меня нет ничего недозволенного.

— Надеюсь. Вот у меня только что была гражданка, с которой вы поздоровались на моем крыльце. Вот ее допрос. У нее найдены рассказы московского автора под названием «Колымские рассказы». Я прочел их внимательно. Колыма — моя служба. Ничего в этих рассказах нет, чего бы не признавало правительство, а стало быть, и я. Там есть только один рассказ, который я считаю измышлением досужего пера. Это рассказ о том, как лошадь посадили в карцер.

— «Калигула»?

— Совершенно верно.

— Если даже это и неправда, товарищ следователь, — медленно, смакуя заранее взвешенную фразу, выговорил Гусляк, — то ведь это не моя вина, а автора.

— Конечно, я так, к слову. Ну, какие бы ни были рассказы этого автора, гражданка, которая встретилась с вами на моем крыльце, сказала, а я записал ее слова, что она получила эти рассказы от вас для распространения. Вот, подпишите здесь и можете быть свободны.

— Я никогда не подпишу этой клеветы на себя, этой возмутительной лжи, которой...

— В чем тут ложь, не пойму, — сказал следователь.

— Я никогда не давал ей этих рассказов для распространения.

— Но вы давали эти рассказы?

— Давал.

— Ну, так в чем же дело?

— Я давал для прочтения, а не для распространения.

— Ах, вот в чем дело, — холодно сказал следователь. — Я исправляю в вашем присутствии: для прочтения. Теперь подпишите.

— Подписываю. В этом деле надо следить за всякой тонкостью, за всяким опасным оборотом речи. Мой тридцатилетний опыт говорит...

— Безусловно. Теперь перейдем ко второй части нашего знакомства. Вы ведь собираетесь лететь в отпуск?

— Да, в последний годовой отпуск.

— Москву, конечно, будете проезжать? Скажите мне, — Чарусов откинулся на кресле, пропуская солнце, бившее из-за его спины, прямо в лицо Гусляка. — Скажите, зачем вы это делаете? Ну, показываете эти рассказы о том, что было в тридцать седьмом году? Ну, автор их хочет попасть в историю, а вы-то размножаете их зачем?

— Я — не размножаю.

— Ну, показываете, обсуждаете, ведь ничего этого нет сейчас. Вы объехали вдоль и поперек всю Колыму, ведь ничего подобного нет.

— На всякий случай.

— На какой случай?

— Ну, чтобы все это не повторилось.

— Ах, вот что. Вы считаете, что распространение таких рассказов...

— Я не распространял таких рассказов.

— Ну, хорошо — чтение. Вы считаете, что чтение таких рассказов...

— Да, я верю в Литературу с большой буквы.

— Вы, наверное, пользуетесь его личным доверием?

— Безусловно, — сказал Гусляк.

— Вот-вот. Только нам не нужна ни пейзажная лирика, ни мертвая вода. Нам нужно нечто более гражданственное, более реалистическое. Например, где, когда, сколько договоров им подписано, цифры, даты, записывайте все, чтобы нам потом вас не проверять. Это — элементарно на вашем новом поприще. На что он живет?

— На пенсию.

— Сколько?

— Семьдесят два рубля в месяц.

— На эти деньги жить нельзя. Поэтому сугубое внимание, а мы его оформим сразу как тунеядца, если его годовой заработок, баланс, будет не в его пользу. Вы поняли меня?

— Понял.

— Я считаю вас советским человеком, который сам отдаст в руки то, что, по его мнению, может представлять интерес для такого учреждения, как наше. Сейчас мы с вами пойдем в вашу квартиру, и вы отдадите своей рукой все, что считаете вредным. Кстати, немножко прояснилось, и я с удовольствием пройдусь пешком. Редко приходится бывать на улице...

— Я не буду входить к вам, — сказал следователь, не вешая плаща и стоя у порога, весьма невнимательно оглядывая помещение местного литературного салона. — Вы сами, своей рукой достаньте из своих тайников, — следователь улыбнулся, — то, что вы считаете сами наиболее зловредным для советской власти.

— Вот. — Гусляк протянул две книжечки стихов и несколько листков, напечатанных на машинке.

— Весьма лестные надписи, — сказал следователь, укладывая сборники в свой портфель.

— Этот человек мне лично многое обещал.

— Тем лучше.

— Вот так ты и назвал мою фамилию.

— Это не я, это она, эта подлая растлительница душ, я только подтвердил.

Горданов смотрел на Гусляка не с удивлением, а с омерзением, ему так хотелось, чтоб хоть один человек, прошедший Колыму, остался человеком. А впрочем, это было ребяческое желание. В самых глубинных слоях его мира, воспитанных опытом, его опытом, не было места для таких надежд.

— Так что тебе нужно от меня?

— Мне нужно, чтобы ты подтвердил, ты ли мне лично давал эти четыре рассказа.

Гусляк чуть не плакал, голос его дрожал.

— Все это правда, правда.

— Ты не откажешься от своих слов?

— Да, конечно.

Гусляк перевел дыхание.

— Значит, я могу записать, — в руках Гусляка оказалась новая записная книжечка, — склероз, брат, записать, что ты лично мне давал эти рассказы.

— Конечно.

— Спасибо.

Рукопожатие чуть не привело к уловлению руки, но Горданов вывернул руку:

— Еще что?

— Понимаешь, мне следователь сказал, чтобы я записал все твои заработки за последний год. Я, помню, видел у тебя, ты нес какую-то рукопись в издательство.

— Мои переводы в Алма-Ате.

— И договор есть?

— Да.

— Позволь мне записать его номер, мне это очень важно.

Горданов открыл папку своих договоров:

— Еще что?

— Ну, прощай, ты меня просто спас.

Горданов хотел добавить еще несколько слов, но Гусляк выскользнул на лестницу.

1972 г.

ЧТО Я ВИДЕЛ И ПОНЯЛ В ЛАГЕРЕ

1. Чрезвычайную хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек становился зверем через три недели — при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях.

2. Главное средство растления души — холод, в среднеазиатских лагерях, наверное, люди держались дольше — там было теплее.

3. Понял, что дружба, товарищество никогда не зарождается в трудных, по-настоящему трудных — со ставкой жизни — условиях. Дружба зарождается в условиях трудных, но возможных (в больнице, а не в забое).

4. Понял, что человек позднее всего хранит чувство злобы. Мяса на голодном человеке хватает только на злобу — к остальному он равнодушен.

6. Понял, что сталинские «победы» были одержаны потому, что он убивал невинных людей — организация, в десять раз меньшая по численности, но организация смела бы Сталина в два дня.

7. Понял, что человек стал человеком потому, что он физически крепче, цепче любого животного — никакая лошадь не выдерживает работы на Крайнем Севере.

8. Увидел, что единственная группа людей, которая держалась хоть чуть-чуть по-человечески в голоде и надругательствах, — это религиозники — сектанты — почти все и большая часть попов.

9. Легче всего, первыми разлагаются партийные работники, военные.

10. Увидел, каким веским аргументом для интеллигента бывает обыкновенная плюха.

11. Что народ различает начальников по силе их удара, азарту битья.

12. Побои как аргумент почти неотразимы (метод № 3).

13. Узнал правду о подготовке таинственных процессов от мастеров сих дел.

14. Понял, почему в тюрьме узнают политические новости (арест и т. д.) раньше, чем на воле.

15. Узнал, что тюремная (и лагерная) «параша» никогда не бывает «парашей».

16. Понял, что можно жить злобой.

17. Понял, что можно жить равнодушием.

18. Понял, почему человек живет не надеждами — надежд никаких не бывает, не волей — какая там воля, а инстинктом, чувством самосохранения — тем же началом, что и дерево, камень, животное.

19. Горжусь, что решил в самом начале, еще в 1937 году, что никогда не буду бригадиром, если моя воля может привести к смерти другого человека — если моя воля должна служить начальству, угнетая других людей — таких же арестантов, как я.

20. И физические и духовные силы мои оказались крепче, чем я думал, — в этой великой пробе, и я горжусь, что никого не продал, никого не послал на смерть, на срок, ни на кого не написал доноса.

21. Горжусь, что ни одного заявления до 1955 года не писал*.

22. Видел на месте так называемую «амнистию Берия» — было чего посмотреть.

23. Видел, что женщины порядочнее, самоотверженнее мужчин — на Колыме нет случаев, чтобы муж приехал за женой. А жены приезжали, многие (Фаина Рабинович, жена Кривошея**).

24. Видел удивительные северные семьи (вольнонаемных и бывших заключенных) с письмами «законным мужьям и женам» и т. д.

25. Видел «первых Рокфеллеров», подпольных миллионеров, слушал их исповеди.

26. Видел каторжников, а также многочисленные «контингента «Д», «Б» и т. п., «Берлаг».

27. Понял, что можно добиться очень многого — больницы, перевода, — но рисковать жизнью — побои, карцерный лед.

28. Видел ледяной карцер, вырубленный в скале, и сам в нем провел одну ночь.

29. Страсть власти, свободного убийство велика — от больших людей до рядовых оперативников — с винтовкой (Серошапка*** и ему подобные).

30. Неудержимую склонность русского человека к доносу, к жалобе.

31. Узнал, что мир надо делить не на хороших и плохих людей, а на трусов и не трусов. 95% трусов при слабой угрозе способны на всякие подлости, смертельные подлости.

32. Убежден, что лагерь — весь — отрицательная школа, даже час провести в нем нельзя — это час рас-

---

* В 1955 г Шаламов написал заявление на реабилитацию.

** См очерк «Зеленый прокурор» Собр соч., т I, с 531—571

*** См. рассказ «Ягоды». Собр соч., т. 1, с. 54—56.

тления. Никому никогда ничего положительного лагерь не дал и не мог дать.

На всех — заключенных и вольнонаемных — лагерь действует растлевающе.

33. В каждой области были свои лагеря, на каждой стройке. Миллионы, десятки миллионов заключенных.

34. Репрессии касались не только верха, а любого слоя общества — в любой деревне, на любом заводе, в любой семье были или родственники, или знакомые репрессированы.

35. Лучшим временем своей жизни считаю месяцы, проведенные в камере Бутырской тюрьмы, где мне удавалось крепить дух слабых и где все говорили свободно.

36. Научился «планировать» жизнь на день вперед, не больше.

37. Понял, что воры — не люди.

38. Что в лагере никаких преступников нет, что там сидят люди, которые были рядом с тобой (и завтра будут), которые пойманы за чертой, а не те, что преступили черту закона.

39. Понял, какая страшная вещь — самолюбие мальчика, юноши: лучше украсть, чем попросить. Похвальба и это чувство бросают мальчиков на дно.

39. Женщины в моей жизни не играли большой роли — лагерь тому причиной.

41. Что знание людей — бесполезно, ибо своего поведения в отношении любого мерзавца я изменить не могу.

42. Последние в рядах, которых все ненавидят — и конвоиры, и товарищи, — отстающих, больных, слабых, тех, которые не могут бежать на морозе.

43. Я понял, что такое власть и что такое человек с ружьем.

44. Что масштабы смещены и это самое характерное для лагеря.

45. Что перейти из состояния заключенного в состояние вольного очень трудно, почти невозможно без длительной амортизации.

46. Что писатель должен быть иностранцем — в вопросах, которые он описывает, а если он будет хорошо знать материал — он будет писать так, что его никто не поймет.

<*1961*>

ПРИМЕЧАНИЯ

Воспоминания В Т. Шаламова впервые публиковались в ж. «Знамя», 1993, № 4 в сокращенном виде. Полностью публикуются впервые.

Подлинники рукописей хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства. Ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 94.

[1] *Преображенский* Евгений Алексеевич (1886—1937). чл. РСДРП с 1903, чл. ВЦИК и кандидат в чл. ЦК (с 1917), работал в газ. «Правда», один из теоретиков РСДРП(б), 1920—1928 — находился в рядах «троцкистской оппозиции», исключен из партии в 1927, в 1931 — восстановлен, в 1933 — исключен, в 1936 арестован, расстрелян в 1937.

[2] *Каменев* (наст. фам. Розенфельд) Лев Борисович (1883—1936), чл. РСДРП с 1901. В 1914 направлен в Петербург как представитель ЦК для руководства газ. «Правда», возглавил Русское бюро ЦК. Член ВЦИК, избранного I Всероссийским съездом Советов. В дальнейшем вместе со Сталиным и Зиновьевым составил «тройку», противостоящую Троцкому. Возглавлял вместе с Г.Е. Зиновьевым «новую оппозицию» — группировку в партии, сформировавшуюся внутри ВКП(б) в 1925 г. Основой ее платформы был тезис о невозможности построения социализма в СССР до победы мировой пролетарской революции.

Критикуя внутрипартийные отношения, они заявляли, что ЦК стоит перед опасностью термидорианского перерождения.

На XIV съезде ВКП(б) оппозиция потерпела поражение. В 1926 г. вступил в союз с Л. Троцким. Неоднократно исключался и восстанавливался в партии. Арестован в декабре 1934, в 1936 — расстрелян.

[3] *Крестинский* Николай Николаевич (1883—1938), в революционном движении с 1901, в 1905 примкнул к большевикам, сотрудничал в социал-демократических изданиях, неоднократно арестовывался.

С декабря 1917 — член коллегии Наркомата финансов, гл. комиссар Народного банка, с 1918 одновременно — комиссар юстиции. С авг. 1918 — нарком финансов РСФСР, в 1920—1921 поддерживал Л. Д. Троцкого. В 1921—1930 полпред РСФСР и СССР в Германии. С 1930 — зам. наркома иностранных дел, член ЦИК СССР. В 1937 арестован и в 1938 — расстрелян.

[4] АРА — Американская администрация помощи (1919—1923), руководимая Г. Гувером, создана для помощи европейским странам, пострадавшим в I мировой войне. В 1921 деятельность Ара была разрешена в РСФСР.

[5] В 20-е годы действовала трехбалльная система оценки знаний: весьма удовлетворительно, удовлетворительно и неудовлетворительно.

[6] См. прим 28 на стр. 293.

[7] *Валленрод* Конрад — гроссмейстер Тевтонского ордена в 1391—1393, по легенде — литвин. Орден в это время вел войну с литвинами.

[8] РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук (1924—1930).

[9] *Фурье* Шарль (1772—1837)— французский утопический социалист. Первичной ячейкой нового общества считал фалангу, сочетающую промышленное и сельскохозяйственное производства. Новое общество должно было утвердиться путем мирной пропаганды новых идей.

Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760—1825) — французский мыслитель, социалист-утопист.

Мор Томас (1478—1535) — английский гуманист, государственный деятель, один из основоположников утопического социализма.

[10] Коммунистическая академия создана в 1918, с 1924 — Социалистическая академия, просуществовала до 1936. В составе ее были институты: философии, истории, литературы, искусства, советского строительства и права, мирового хозяйства, мировой политики, экономики, аграрный, естествознания. Объединена с АН СССР.

[11] *Пятаков* Георгий Леонидович (1890—1937) — партийный и государственный деятель, чл. РСДРП(б) с 1910, в 1917—1918 комиссар Народного банка, с 1920 руководил восстановлением Донбасса, был зам. пред. Госплана РСФСР. С 1923 — зам. пред. ВСНХ, с 1928 — зам. пред, с 1929 — пред. Правления Госбанка СССР. С 1930 — член Президиума ВСНХ С 1932 — зам., в 1934—1936 первый зам. наркома тяжелой промышленности СССР Г. К. Орджоникидзе. Член ЦК 1923—1927, 1930—1936. Член ВЦИК, ЦИК СССР. Необоснованно репрессирован.

[12] *Штеренберг* Давид Петрович (1881—1948) — живописец и график.

[13] *Шагал* Марк (1887—1985) — живописец и график, с 1922 — за рубежом. Его иррациональные произведения отмечаются тонкой красочностью и выразительным рисунком.

[14] *Малевич* Казимир Северинович (1878—1935) — художник, основоположник супрематизма, в нач. 20-х годов примкнул к «промышленному искусству».

[15] *Кандинский* Василий Васильевич (1886—1944) — живописец и график, один из основоположников абстрактного искусства, с 1931 — жил за границей.

[16] *Мильман* Гдалий Маркович (1907—1938) — руководитель оппозиции на историческом отделении 1-го МГУ. Арестован в мае 1928. Расстрелян 1 марта 1938 г.

Коган Арон Моисеевич (1905—1937) — активный участник оппозиции, студент физико-математического отделения 1-го МГУ. Арестован в марте 1929. Расстрелян 17 июня 1937 г.

[17] Шаламов арестован 19 февраля 1929 в засаде на ул Сретенка, 26, где была подпольная типография и печаталось «Завещание В. И. Ленина» и другие документы оппозиции. Ордер на его арест подписан Г. Ягодой 1 марта 1929 г.

[18] Шаламов имеет в виду, что в течение 1926—1927 оппозиция выступала с заявлениями и платформами («Заявление 13», «Платформа 83» и др.), требуя внутрипартийной дискуссии. В 1927 Троцкий и Зиновьев были исключены из ВКП(б) и оппозиция перешла к открытым формам борьбы, обратилась к народу (демонстрации, митинги, стачки), Шаламов участвовал в альтернативной демонстрации 7 ноября 1927 г.

Многочисленны документы, в том числе заявления в Политбюро старых членов партии о разгоне с помощью мордобоя альтернативной демонстрации 7 ноября 1927 г. (*Л. Троцкий.* «Портреты революционеров». М., 1991, с. 356, прим 70).

[19] ОРС — отдел рабочего снабжения.

[20] «Шесть условий товарища Сталина» — комплекс хозяйственно-политических мероприятий, выдвинутых И. В. Сталиным на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г.: распределение и использование рабочей силы, зарплата по труду, организация труда, создание своей производственно-технической интеллигенции и привлечение старой интеллигенции, внедрение хозрасчета.

[21] Зощенко Михаил Михайлович (1894—1958) — прозаик, в рассказах 20-х годов создал образ обывателя с убогой моралью и примитивным взглядом на окружающую жизнь. Цикл сатирических новелл «Голубая книга» (1934—1935).

После постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (14 авг. 1946) был немедленно исключен из СП СССР, вновь принят в 1953 г.

[22] Шаламов вернулся в Москву в янв. 1932, в 1933—1937 работал в журналах «За ударничество», «За овладение техникой», «За промышленные кадры». В это же время он день и ночь, по его словам, писал стихи и рассказы.

[23] «Три смерти доктора Аустино» — рассказ Шаламова, опубл. «Октябрь», 1936, № 1.

[24] *Амундсен* Руаль (1872—1928) — первым достиг Южного полюса (1911). В 1926 руководил первым перелетом через Северный полюс на дирижабле «Норвегия». Погиб в Баренцевом море при поисках итальянской экспедиции У. Нобиле.

[25] *Пири* Роберт Эдвин (1856—1920) — американский полярный путешественник. В 1909 на собачьих упряжках достиг района Северного полюса.

[26] *Гамсун* (наст. фам. Педерсен) Кнут (1859—1952) — норвежский писатель, противопоставлял в своих произведениях капиталистическому городу патриархальный труд земледельца, роман «Соки земли» (1917).

[27] Второй раз Шаламов был арестован в ночь с 11 на 12 янв. 1937. Первоначально дело вел мл. лейтенант ГБ Туртанов, затем оперуполномоченный ГБ Ботвин. (См. следственное дело.)

[28] *Гродзенский* Яков Давидович (1906—1971) — друг Шаламова со студенческих лет. Репрессирован в 1935, отбывал заключение на Воркуте.

[29] Декретом СНК от 23 марта 1923 судьям предписывалось указывать, подлежит заключенный «более или менее строгой изоляции».

[30] Хотя следствие по делу Шаламова велось по 58-й статье, он был осужден Особым совещанием при НКВД СССР на 5 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях по литеру КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность). Протокол ОСО при НКВД СССР от 2 июня 1937 г.

[31] *Гудзь* Галина Игнатьевна (1910— 1986) — первая жена В. Шаламова. Янушевская Елена Варламовна (1935—1990) — дочь В. Шаламова.

[32] См. пр. 201 к воспоминаниям «Двадцатые годы». Дзидзиевский <Аркадий> сидел в Бутырской тюрьме одновременно с В. Т. Шаламовым, участник гражданской войны на Украине. См. очерк Шаламова «Бутырская тюрьма», собр соч., т. IV, с. 278.

[33] С августа 1937 по декабрь 1938 Шаламов работал в забоях золотого прииска «Партизан».

[34] Перерывы — время, когда Шаламов лежал в больнице в 1943 г.

[35] *Гаранин* Степан Николаевич был в 1938 начальником Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей (УСВИТЛ). Впоследствии был репрессирован, но не расстрелян.

[36] СПО — секретно-политический отдел.

В декабре 1938 Шаламов был арестован по сфабрикованному «делу юристов». Дело фальсифицировать не удалось, и он был отпущен из тюрьмы в пересыльный лагерь (транзитку), где был тифозный карантин, там он находился до апреля 1939. Это описано им в рассказах «Дело юристов», «Тифозный карантин».

[37] Серпантинка — «расстрельная» командировка УСВИТЛ. Командировками назывались небольшие лагерные пункты с переменным составом заключенных.

[38] Иван Иванович — прозвище интеллигентов в лагере.

[39] ОЛП — отдельный лагерный пункт.

[40] УРЧ — учетно-распределительная часть.

[41] На Черном озере Шаламов работал с апреля 1939 по август 1940 г.

[42] *Горбатов* Александр Васильевич (1891—1973) — генерал армии, автор воспоминаний «Годы и войны», «Новый мир», 1964, № 3—5.

[43] С августа 1940 по декабрь 1942 Шаламов работал в угольных забоях на Кадыкчане и Аркагале.

[44] *Лунин* Сергей Михайлович — врач, с которым Шаламов встречался на Аркагале и в Центральной больнице заключенных (пос. Дебин). О нем — рассказ Шаламова «Потомок декабриста».

У М. С. Лунина не было детей, его брат Никита погиб под Аустерлицем, осталась сестра Екатерина (в замужестве Уварова), поддерживавшая брата-декабриста. Наследником по завещанию М. С. Лунина был его двоюродный брат Николай Александрович Лунин.

45 Имеется в виду белый хлеб из американской муки.

46 За «систематическое невыполнение норм выработки» Шаламов был переведен на штрафной прииск Джелгала в декабре 1942 г. Срок его заключения кончился в январе 1942 и вновь по доносам он был арестован 3 мая 1943 г.

47 Драбкин Авель был с 1943 начальником УСВИТЛа

48 Дом Герцена — дом на Тверском бульваре, где сейчас расположен Литературный институт.

49 Павлов Карп Александрович — директор Дальстроя в 1937—1938 гг

50 Суд в Ягодном 22 июня 1943 приговорил Шаламова «на основании ст. 58-10 УК — лишить свободы на десять лет с отбытием в исправительно-трудовых лагерях и поражением в правах на 5 лет без конфискации имущества за отсутствием такового у осужденного».

Главными свидетелями обвинения были Е. Б. Кривицкий и И. П. Заславский. Защиты, естественно, не было.

51 *Заславский* Илья Петрович (1904 — ?), образование высшее, показал: «Заключенный Шаламов <...> заявил: «вся структура и управление стран советского государства построено все на обмане и лжи...» и т. д.

52 *Кривицкий* Ефим Борисович (1897 — ?), образование высшее, показал: «Заключенный Шаламов <...> заявил: «Свободное развитие русской культуры возможно только лишь в эмигрантских кругах за границей, в Советском Союзе из русской культуры выбрасывается все ценное, но не нужное сталинскому руководству...» и т. д.

53 *Лесняк* Борис Николаевич — фельдшер в Беличьей, районной больнице для заключенных. Упоминается в рассказе Шаламова «Перчатка», «Вставной новелле». Освобожден в 1945 году, не получив, как многие, «довеска сроком» до конца войны.

После освобождения стал мужем И. В. Савоевой.

54 *Калембет* Петр Семенович — зав. терапевтическим отделением больницы Беличья, упоминается в рассказе Шаламова «Перчатка» и др.

55 *Траут* Валентин Николаевич — хирург, упоминается в рассказах Шаламова, в т. ч. под фамилией Брауде — «Последний бой майора Пугачева».

56 Родственники жены, особенно ее брат, работник НКВД, Борис Игнатьевич Гудзь (1902—2006), настаивали, чтобы Шаламов написал письмо в НКВД СССР с «отречением от троцкистских взглядов».

57 *Молчанов* Георгий Андреевич (1897— 1937) — комиссар Госбезопасности II ранга. В органах ВЧК-ОГПУ с 1926, нач.

УГПУ по Ивановской области, 1931—1936 — начальник СПО ОГПУ и СПО ГУГБ НКВД СССР. Нарком внутренних дел Белоруссии 1936—1937. Арестован 3 февр. 1937 как один из главных виновников «позорного провала органов Госбезопасности в борьбе с зиновьевцами и троцкистами». Расстрелян 9 окт. 1937 г.

58 *Варпаховский* Леонид Викторович (1908—1976) — театральный режиссер. Шаламов встречался с ним на Колыме (см. рассказ «Иван Федорович»).

59 *Пантюхов* Андрей Максимович — врач из заключенных В 1946, находясь в Сусумане, где был и Шаламов, направил его на фельдшерские курсы и тем спас его жизнь

60 СГПУ — Северное горно-промышленное управление.

61 Щербаков — подполковник, нач. санотдела, отправил тяжело больного А. М. Пантюхова в Усть-Неру, чтобы разлучить его с лагерной женой доктором О. Н. Поповой.

62 О праведнике, как называл Лоскутова Шаламов, хотелось бы рассказать подробнее.

Лоскутов Федор Ефимович (1897—1972) родился в дер. Липовке Рославльского уезда Смоленской губернии. Отец его умер, когда Ф. Е. было три года. Не желая быть обузой для семьи, Ф. Е. в 1910 г. уехал в Москву и мыл посуду в ресторане «Мартемьянович», потом был посыльным и сортировщиком на складе «Боярский двор» на Старой площади. Всегда старался учиться — на курсах для рабочих, у студентов (за уборку квартиры).

В 1916 г. был призван в армию, там направили его на курсы ротных фельдшеров.

В 1918 г. был мобилизован в Красную Армию. Служил фельдшером в разных частях, в том числе во Второй конной армии. «Брал Перекоп, гонялись за Махно», — как пишет он Шаламову. По ранению и контузии был демобилизован в 1920 г., в 1922 году поступил в медицинский институт, который и окончил успешно в 1927 году. Работал врачом-окулистом в Смоленской области.

В 1936 г. арестован и осужден по ст. 58-10 на три года. Обвинения были таковы: восхваление Троцкого, английской конституции и столыпинской системы хуторов.

В 1938 г. арестован повторно, тройкой ОСО осужден на 10 лет за «соучастие в контрреволюционной повстанческой организации».

В 1947 г. арестован и осужден в третий раз по ст. 58-10 и 58-11 на 10 лет и поражение в правах — на 5 лет.

Надо ли пояснять, что обвинения все были фантазией следователей. Видимо, служба под началом Ф. К. Миронова, командира Второй конной армии, убитого в 1921 г. в Бутырской тюрьме, была клеймом на всю жизнь, как литер КРТД для Шаламова.

Освободился по зачетам рабочих дней Ф. Е. в 1954, однако со ссылкой. Реабилитирован был в 1955, а по первому сроку — в 1956 году.

На Колыме он находился с апреля 1937 г. Работал на прииске «Партизан», там же, где и Шаламов, в 1937 году, затем на других ОЛПах, а с 1940 по 1953 — в Центральной больнице для заключенных сначала на 23 км колымской трассы, затем переведенной в пос. Дебин («Левый берег»). Здесь он и познакомился с Шаламовым, в 1946 г. направленным врачом А. М. Пантюховым на курсы фельдшеров.

Сохранились 19 писем Ф. Е. Лоскутова Шаламову за 1955—1968 гг Шаламов хотел написать рассказ о Лоскутове, даже включил его название в сборник «Перчатка или КР-2», но так и не написал.

Письма Лоскутова — это безыскусная повесть о добром, одаренном деревенском мальчике, ставшем врачом, чтобы исцелять людей от боли и горя. Он часто присылает Шаламову «темы» — рассказы из своей жизни и врачебной практики: «...Решающее влияние на мой психосклад оказала деревня с ее натуральной помощью ближнему... А если кто умрет, псалтырь ребята почитают.

В лагере были все несчастные, но среди несчастных были более человечные, более гуманные, родственные по духу, независимо от склада ума и образования, за них иногда шел «на плаху»...

«...Я не разделял больных на блатных, бытовиков и политических, которых в сущности и не было, кроме ярлыка, приклеенного МВД. Навара, как Вы знаете, я от них не имел, но убийства среди них приходилось иногда прекращать» (из письма от 4 янв. 1965 г.).

Лоскутов предотвратил покушение блатных на В. Т. Шаламова, который, будучи фельдшером приемного покоя, вел непримиримую войну с симулянтами-блатарями (см. рассказ «В приемном покое»). В рассказе Шаламова «Курсы» несколько страниц посвящено Ф. Е. Лоскутову.

[63] *Кундуш* Вениамин А. — бывший чекист, был репрессирован, вместе с Шаламовым работал в Центральной больнице для заключенных (пос. Дебин). Упоминается в рассказах «Курсы», «Букинист».

[64] *Гудзь* Галина Игнатьевна была в ссылке в Чарджоу (1939—1946). С Шаламовым она развелась.

[65] *Кастальская* Наталья Александровна — дочь композитора А. Д. Кастальского (1856—1926).

[66] *Кони* Анатолий Федорович (1844—1927) — юрист и общественный деятель.

[67] *Горбунов-Посадов* (наст. фам. Горбунов) Иван Иванович (1864—1940) — педагог, издатель, последователь Льва Толстого.

[68] *Михайлов* Михаил Ларионович (1829—1865) — писатель, революционер, переводчик Г. Гейне, сотрудник журн. «Современник».

[69] *Бубенцов* Михаил Семенович (1909—1983) — прозаик, его роман «Белая береза» получил Сталинскую премию 1948 г.

[70] *Бабаевский* Семен Петрович (1909—2000), прозаик — дилогия «Кавалер Золотой звезды», «Свет над землей» получила Сталинскую премию за 1949, 1951 гг.

[71] «Монт-Ориоль» (1886) — роман Ги де Мопассана (1850—1893).

[72] Ключ Ду Сканья — небольшая командировка лесорубов, где в 1949 Шаламов работал фельдшером и жил в отдельной избушке медпункта. Здесь впервые на Колыме он стал записывать стихи.

[73] *Воронская* Галина Александровна (1914—1991) — дочь А. К. Воронского, была в заключении на Колыме как «член семьи».

[74] *Мамучашвили* Елена Александровна — вольнонаемный хирург Центральной больницы для заключенных.

[75] Шаламов Тихон Николаевич (1868—1933)— священник, с 1893 по 1904 служил в Североамериканской епархии на о. Кальяк.

[76] Родители Шаламова Тихон Николаевич и Надежда Александровна (1870—1934) после того, как дети разъехались из Вологды, остались одинокими.

[77] *Гудзь* Мария Игнатьевна — сестра жены В. Шаламова.

[78] *Сорохтина* (урожд Шаламова) Галина Тихоновна — старшая сестра В Шаламова.

[79] Шаламов был реабилитирован 18 июня 1956 по делам 1937 и 1943 годов, однако по делу 1929 года он был реабилитирован только 12 апреля 2000 г.

[80] См. пр. 30.

[81] До конца жизни В. Шаламов любил читать эти стихи, глубоко созвучные его ощущению предназначения своего дара, своей жизни.

«...Стою и шлю, окаменев от взлету,
Сей громкий зов в небесные пустоты.
И сей пожар в груди тому залог,
Что некий Карл тебя услышит, Рог!»

[82] «Играю в карты, пью вино,
С людьми живу и лба не хмурю,
Ведь знаю — сердце все равно
Летит в излюбленную бурю.
Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья,
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье...»

[83] *Берзин* Эдуард Петрович (1894—1938), участвовал в раскрытии заговора Локкарта (1918), возглавлял строительство Вишерского химического завода, в ноябре 1931 г. направлен на Колыму, с 3 декабря директор Дальстроя, 19 декабря 1937 г. арестован, 1 августа 1938 г. — расстрелян.

[84] *Стадухин* Михаил — якутский «служилый человек», один из известных землепроходцев по Сибири. В 1644 г открыл р. Колыму.

[85] *Васильев* Павел Николаевич (1909/10 — 1937) — поэт, автор произведений о гражданской войне и коллективизации: «Песня о гибели казачьего войска» (1928—1932), «Соляной бунт» (1933)

[86] Поморские ответы — старообрядческая доктрина (1723 г.), авторами которой были братья Денисовы, в основном — Андрей Денисов. Поводом к составлению ответов послужило утверждение в 1722 г. Священным Синодом областных миссий для собеседований со старообрядцами.

[87] *Гронский* Иван Михайлович (1894—1985), член РСДРП (б) с 1918 г., журналист, с 1928—1934 гг. — отв. редактор газеты «Известия ВЦИК».

[88] *Сосновский* Лев Семенович (1886—1937) — член РСДРП (б) с 1904 г. В 1912—1913 гг. работал в «Правде», в 1921 г. — зав. агитпропом ЦК РКП (б).

[89] *Теодорович* Иван Адольфович (1875—1937) — член РСДРП (б) с 1895 г., избран в члены ЦК партии в 1907 г., историк революционного движения

[90] *Раковский* Христиан Георгиевич (1873—1941) — дипломат, член РСДРП (б) в 1917—1927, 1935—1937 гг., член ЦК партии 1919—1927 гг.

[91] *Преображенский* Евгений Алексеевич (1886—1937), экономист, член РСДРП(б) с 1903 г., член ЦК в 1920—1921 гг., см. пр. 1.

[92] *Крестинский* Николай Николаевич (1883—1938), член РСДРП(б) с 1903 г., член ЦК партии (1917—1921), см. пр. 3.

[93] *Артюхина* Александра Васильевна (1889—1969) — советский партийный и государственный деятель, редактор журнала «Работница».

[94] Впервые: Воспоминания о Борисе Пастернаке. М.: Слово, 1993.

[95] У Пастернака — «тайная».

[96] Кастальская Н. А. — Наталья Александровна Кастальская, дочь композитора А. Д. Кастальского, профессора Московской консерватории.

[97] Из цикла «Разрыв» стихотворение «Когда бы, человек — я был пустым собраньем...».

[98] *Волков-Ланнит* Леонид Филиппович (1903—1985) — журналист, историк фотоискусства. Шаламов познакомился с ним в кружке «Молодой ЛЕФ», руководимом О. М. Бриком.

[99] *Фокин* Михаил Михайлович (1880—1942) — артист балета, балетмейстер, педагог, участник Русских сезонов 1909—1912 и 1914 г. Автор книги воспоминаний «Против течения» (М., 1962).

[100] Стихотворение «Весеннею порою льда...» из цикла «Второе рождение».

[101] Б. Л. Пастернак умер ночью 30 мая 1960 г.

[102] Впервые: ЛГ, 1993, 8 октября.

[103] Настоящая фамилия — Борис Николаевич Лесняк, знакомый В. Т. Шаламова по больнице Беличьей, где Б. Н. Лесняк был фельдшером.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛОГДА 5

ВИШЕРА. *Антироман* 149
Бутырская тюрьма (1929 год) 151
Вишера 155
Лазарсон 183
Ушаков 190
Миллер, вредитель 193
Дело Стукова 207
Кузнецов 220
Жидков и Штоф 222
Осипенко 224
Павловский 225
Русалка 227
Васьков 232
Поездка в Чердынь 234
Степанов 237
Лагерная свадьба. 241
М. А. Блюменфельд 245
В лагере нет виноватых 253
Эккерман 263
Бутырская тюрьма 263

Примечания 289

ВОСПОМИНАНИЯ

Моя жизнь — несколько моих жизней 297

Примечания 315

Начало 316
Двадцатые годы 318

Примечания 398

Москва 20—30-х годов 420
Курукин 422

Курсы подготовки в вуз 426
Луначарский 430
Штурм неба 431
Консерватория 433
[Университет] 433
Москва 30-х годов 435

[О Колыме] 439
Предисловие автора 439
Память 440
Язык 442
[Арест] 443
Дорога в ад 446
Бесстрашие 451
Тридцать восьмой 458
Дом Васькова 469
Черное озеро 480
Саша Коновалов 485
Кадыкчан, Аркагала 485
Джелгала. Драбкин 495
Джелгала. Суд в Ягодном 498
Витаминная командировка 503
Беличья 506
Ася 511
Черная мама 517
Спокойный 520
Конец Беличьей 524
Ключ Алмазный 525
Снова Джелгала 527
Сусуман 528
Пантюхов 531
[На 23-м километре] 534
Амосов и Белова 534
Рогоз 541
1953—1956 гг. 547
Конаково. Туркмен 549
Большие пожары 553
[Реабилитация 1956 г.] 557
Герман Хохлов 558
Берзин 562
Несколько слов о Хренове 572
Павел Васильев 574
Александр Константинович Воронский 577
Разговор с Михаилом Светловым 587
Пастернак 589
Вставная новелла 619
Что я видел и понял в лагере 625

Примечания 628

Варлам Тихонович
Шаламов

Собрание сочинений в шести томах
+ том седьмой, дополнительный

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Редактор *Ю Григорьян*

Художественный редактор *А Балашова*

Технический редактор *Л Платонова*

Корректор *Е Петрова*

Компьютерная верстка *А Деева*

Подписано в печать 30.07.13 г.
Гарнитура «Журнальная» Формат 84x108 $^{1}/_{32}$.
Печать офсетная Усл. печ. л. 33,6. Уч -изд. л. 36,8.

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su

Отпечатано BALTO print
www.balto lt
www.baltoprint.ru

Литературное
приложение

ОГОНЁК

www.terra.su
ISBN 978-5-4224-0697-5
9 785422 406975